

# ВАРТАМ ШАЛАМОВ

1



**ВАРЛАМ  
ШАЛАМОВ**  
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

# **ВАРЛАМ ШАЛАМОВ**

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ**

**Москва  
"ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  
ЛИТЕРАТУРА"  
"ВАГРИУС"  
1998**

# **ВАРЛАМ ШАЛАМОВ**

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
ТОМ 1**

## **КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗЫ**

**КОЛЫМСКИЕ  
РАССКАЗЫ**

•  
**ЛЕВЫЙ  
БЕРЕГ**

•  
**АРТИСТ  
ЛОПАТЫ**

**Москва  
"ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  
ЛИТЕРАТУРА"  
"ВАГРИУС"  
1998**

Составление, подготовка текста и примечания  
**И. Сиротинской**

Оформление художника  
**Ю. Боярского**

ISBN 5-280-03161-5 (Т. 1)  
ISBN 5-280-03162-3

© Составление, подготовка текста,  
примечания. Сиротинская И. П.,  
1998 г.  
© Оформление. Боярский Ю. А.,  
1998 г.

# КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗЫ



---

---

## ПО СНЕГУ

Как топчут дорогу по снежной целине? Впереди идет человек, потая и ругаясь, едва переставляя ноги, поминутно увязая в рыхлом глубоком снегу. Человек уходит далеко, отмечая свой путь неровными черными ямами. Он устает, ложится на снег, закуривает, и махорочный дым стелется синим облачком над белым блестящим снегом. Человек уже ушел дальше, а облачко все еще висит там, где он отдыхал, — воздух почти неподвижен. Дороги всегда прокладывают в тихие дни, чтоб ветры не замели людских трудов. Человек сам намечает себе ориентиры в бескрайности снежной: скалу, высокое дерево, — человек ведет свое тело по снегу так, как рулевой ведет лодку по реке с мыса на мыс.

По проложенному узкому и неверному следу двигаются пять-шесть человек в ряд плечом к плечу. Они ступают около следа, но не в след. Дойдя до намеченного заранее места, они поворачивают обратно и снова идут так, чтобы растоптать снежную целину, то место, куда еще не ступала нога человека. Дорога пробита. По ней могут идти люди, санные обозы, тракторы. Если идти по пути первого след в след, будет заметная, но едва проходима узкая тропка, стежка, а не дорога, — ямы, по которым пробираться труднее, чем по целине. Первому тяжелее всех, и когда он выбивается из сил, вперед выходит другой из той же головной пятерки. Из идущих по следу каждый, даже самый маленький, самый слабый, должен ступить на кусочек снежной целины, а не в чужой след. А на тракторах и лошадях ездят не писатели, а читатели.

⟨1956⟩



## НА ПРЕДСТАВКУ

Играли в карты у коногона Наумова. Дежурные надзиратели никогда не заглядывали в барак коногонов, справедливо полагая свою главную службу в наблюдении за осужденными по пятьдесят восьмой статье. Лошадей же, как правило, контрреволюционерам не доверяли. Правда, начальники-практики втихомолку ворчали: они лишались лучших, заботливейших рабочих, но инструкция на сей счет была определена и строга. Словом, у коногонов было всего безопасней, и каждую ночь там собирались блатные для своих карточных поединков.

В правом углу барака на нижних нарах были разостланы разноцветные ватные одеяла. К угловому столбу была прикручена проволокой горящая «колымка» — самодельная лампочка на бензинном паре. В крышку консервной банки впаивались три-четыре открытые медные трубки — вот и все приспособление. Для того чтобы эту лампу зажечь, на крышку клали горячий уголь, бензин согревался, пар поднимался по трубкам, и бензиновый газ горел, зажженный спичкой.

На одеялах лежала грязная пуховая подушка, и по обеим сторонам ее, поджав по-бурятски ноги, сидели партнеры — классическая поза тюремной карточной битвы. На подушке лежала новенькая колода карт. Это не были обыкновенные карты, это была тюремная самодельная колода, которая изготавливается мастерами сих дел со скоростью необычайной. Для изготовления ее нужны бумага (любая книжка), кусок хлеба (чтобы его изжевать и протереть сквозь тряпку для получения крахмала — склеивать листы), огрызок химического карандаша (вместо типографской краски) и нож (для вырезывания и трафаретов мастей, и самих карт).

Сегодняшние карты были только что вырезаны из томика Виктора Гюго — книжка была кем-то позабыта вчера в конторе. Бумага была плотная, толстая — листков не пришлось склеивать, что делается, когда бумага тонка. В лагере при всех обысках неукоснительно отбирались химические карандаши. Их отбирали и при проверке полученных посылок. Это делалось не только для пресечения возможности изготовления документов и штампов (было много художников и таких), но для уничтожения всего, что может соперничать с государственной карточной монополией. Из химического карандаша делали чернила,

и чернилами сквозь изготовленный бумажный трафарет наносили узоры на карту — дамы, валеты, десятки всех мастей... Масти не различались по цвету — да различие и не нужно игроку. Валету пик, например, соответствовало изображение пики в двух противоположных углах карты. Расположение и форма узоров столетиями были одинаковыми — уметь собственной рукой изготовить карты входит в программу «рыцарского» воспитания молодого блатаря.

Новенькая колода карт лежала на подушке, и один из играющих похлопывал по ней грязной рукой с тонкими, белыми, нерабочими пальцами. Ноготь мизинца был сверхъестественной длины — тоже блатарский шик, так же, как «фиксы» — золотые, то есть бронзовые, коронки, надеваемые на вполне здоровые зубы. Водились даже мастера — самозванные зубопротезисты, немало подрабатывающие изготовлением таких коронок, неизменно находивших спрос. Что касается ногтей, то цветная полировка их, бесспорно, вошла бы в быт преступного мира, если б можно было в тюремных условиях завести лак. Холеный желтый ноготь поблескивал, как драгоценный камень.левой рукой хозяин ногтя перебирал лишние и грязные светлые волосы. Он был подстрижен «под бокс» самым аккуратнейшим образом. Низкий, без единой морщинки лоб, желтые кустики бровей, ротик бантиком — все это придавало его физиономии важное качество внешности вора: незаметность. Лицо было такое, что запомнить его было нельзя. Поглядел на него — и забыл, потерял все черты, и не узнать при встрече. Это был Севочка, знаменитый знаток терца, штоса и буры — трех классических карточных игр, вдохновенный истолкователь тысячи карточных правил, строгое соблюдение которых обязательно в настоящем сражении. Про Севочку говорили, что он «превосходно исполняет» — то есть показывает умение и ловкость шулера. Он и был шулер, конечно; честная воровская игра — это и есть игра на обман: следи и уличай партнера, это твое право, умей обмануть сам, умей отспорить сомнительный выигрыш.

Играли всегда двое — один на один. Никто из мастеров не унижал себя участием в групповых играх вроде очка. Садиться с сильными «исполнителями» не боялись — так и в шахматах настоящий боец ищет сильнейшего противника.

Партнером Севочки был сам Наумов, бригадир кононов. Он был старше партнера (впрочем, сколько лет Се-

вочке — двадцать? тридцать? сорок?), черноволосый малый с таким страдальческим выражением черных, глубоко запавших глаз, что, не зная я, что Наумов железнодорожный вор с Кубани, я принял бы его за какого-нибудь странника — монаха или члена известной секты «Бог знает», секты, что вот уже десятки лет встречается в наших лагерях. Это впечатление увеличивалось при виде гайтана с оловянным крестиком, висевшего на шее Наумова, — ворот рубахи его был расстегнут. Этот крестик отнюдь не был кощунственной шуткой, капризом или импровизацией. В то время все блатные носили на шее алюминиевые крестики — это было опознавательным знаком ордена, вроде татуировки.

В двадцатые годы блатные носили технические фуражки, еще ранее — капитанки. В сороковые годы зимой носили они кубанки, подвертывали голенища валенок, а на шее носили крест. Крест обычно был гладким, но если случались художники, их заставляли иглой расписывать по кресту узоры на любимые темы: сердце, карта, крест, обнаженная женщина... Наумовский крест был гладким. Он висел на темной обнаженной груди Наумова, мешая прочесть синюю наколку-татуировку — цитату из Есенина, единственного поэта, признанного и канонизированного преступным миром:

Как мало пройдено дорог,  
Как много сделано ошибок.

— Что ты играешь? — процедил сквозь зубы Севочка с бесконечным презрением: это тоже считалось хорошим тоном начала игры.

— Вот, тряпки. Лепеху эту... — И Наумов похлопал себя по плечам.

— В пятистах играю, — оценил костюм Севочка.

В ответ раздалась громкая многословная ругань, которая должна была убедить противника в гораздо большей стоимости вещи. Окружающие игроков зрители терпеливо ждали конца этой традиционной увертюры. Севочка не оставался в долгу и ругался еще язвительней, сбивая цену. Наконец костюм был оценен в тысячу. Со своей стороны, Севочка играл несколько поношенных джемперов. После того как джемперы были оценены и брошены тут же на одеяло, Севочка стасовал карты.

Я и Гаркунов, бывший инженер-текстильщик, пилили для наумовского барака дрова. Это была ночная работа — после своего рабочего забойного дня надо было на-

пилить и наколоть дров на сутки. Мы забирались к коногонам сразу после ужина — здесь было теплей, чем в нашем бараке. После работы наумовский дневальный наливал в наши котелки холодную «юшку» — остатки от единственного и постоянного блюда, которое в меню столовой называлось «украинские галушки», и давал нам по куску хлеба. Мы садились на пол где-нибудь в углу и быстро съедали заработанное. Мы ели в полной темноте — барачные бензинки освещали карточное поле, но, по точным наблюдениям тюремных старожилов, ложки мимо рта не пронесешь. Сейчас мы смотрели на игру Севочки и Наумова.

Наумов проиграл свою «лепеху». Брюки и пиджак лежали около Севочки на одеяле. Игралась подушка. Ноготь Севочки вычерчивал в воздухе замысловатые узоры. Карты то исчезали в его ладони, то появлялись снова. Наумов был в нательной рубашке — сатиновая косоворотка ушла вслед за брюками. Услужливые руки накинули ему на плечи телогрейку, но резким движением плеч он сбросил ее на пол. Внезапно все затихло. Севочка неторопливо почесывал подушку своим ногтем.

— Одеяло играю, — хрипло сказал Наумов.

— Двести, — безразличным голосом ответил Севочка.

— Тысячу, сука! — закричал Наумов.

— За что? Это не вещь! Это — локш, дрянь, — выговорил Севочка. — Только для тебя — играю за триста.

Сражение продолжалось. По правилам, бой не может быть окончен, пока партнер еще может чем-нибудь отвечать.

— Валенки играю.

— Не играю валенок, — твердо сказал Севочка. — Не играю казенных тряпок.

В стоимости нескольких рублей был проигран какой-то украинский рушник с петухами, какой-то портсигар с вытисненным профилем Гоголя — все уходило к Севочке. Сквозь темную кожу щек Наумова проступил густой румянец.

— На представку, — заискивающе сказал он.

— Очень нужно, — живо сказал Севочка и протянул назад руку: тотчас же в руку была вложена зажженная махорочная папироса. Севочка глубоко затянулся и закашлялся. — Что мне твоя представка? Этапов новых нет — где возьмешь? У конвоя, что ли?

Согласие играть «на представку», в долг, было необя-

зательным одолжением по закону, но Севочка не хотел обижать Наумова, лишать его последнего шанса на отыгрыш.

— В сотне,— сказал он медленно.— Даю час пред-  
ставки.

— Давай карту.— Наумов поправил крестик и сел. Он отыграл одеяло, подушку, брюки — и вновь проиграл все.

— Чифирку бы подварить,— сказал Севочка, уклады-  
вая выигранные вещи в большой фанерный чемодан.—  
Я подожду.

— Заварите, ребята,— сказал Наумов.

Речь шла об удивительном северном напитке —  
крепком чае, когда на небольшую кружку заваривается  
пятьдесят и больше граммов чая. Напиток крайне горек,  
пьют его глотками и закусывают соленой рыбой. Он сни-  
мает сон и потому в почете у блатных и у северных шофе-  
ров в дальних рейсах. Чифирь должен бы разрушительно  
действовать на сердце, но я знал многолетних чифири-  
стов, переносящих его почти безболезненно. Севочка от-  
хлебнул глоток из поданной ему кружки.

Тяжелый черный взгляд Наумова обводил окружаю-  
щих. Волосы спутались. Взгляд дошел до меня и остано-  
вился.

Какая-то мысль сверкнула в мозгу Наумова.

— Ну-ка, выйди.

Я вышел на свет.

— Снимай телогрейку.

Было уже ясно, в чем дело, и все с интересом следили  
за попыткой Наумова.

Под телогрейкой у меня было только казенное натель-  
ное белье — гимнастерку выдавали года два назад, и она  
давно истлела. Я оделся.

— Выходи ты,— сказал Наумов, показывая пальцем  
на Гаркунова.

Гаркунов снял телогрейку. Лицо его побелело. Под  
грязной нательной рубахой был надет шерстяной сви-  
тер — это была последняя передача от жены перед отпра-  
вкой в дальнюю дорогу, и я знал, как берег его Гаркунов,  
стирая его в бане, суша на себе, ни на минуту не выпуская  
из своих рук,— фуфайку украли бы сейчас же товарищи.

— Ну-ка, снимай,— сказал Наумов.

Севочка одобрительно помахивал пальцем — шер-  
стяные вещи ценились. Если отдать выстирать фуфаеч-  
ку да выпарить из нее вшей, можно и самому носить —  
узор красивый.

— Не сниму,— сказал Гаркунов хрипло.— Только с кожей...

На него кинулись, сбили с ног.

— Он кусается,— крикнул кто-то.

С пола медленно поднялся Гаркунов, вытирая рукавом кровь с лица. И сейчас же Сашка, дневальный Наумова, тот самый Сашка, который час назад наливал нам супчику за пилку дров, чуть присел и выдернул что-то из-за голенища валенка. Потом он протянул руку к Гаркунову, и Гаркунов всхлипнул и стал валиться на бок.

— Не могли, что ли, без этого! — закричал Севочка.

В мерцавшем свете бензинки было видно, как сереет лицо Гаркунова.

Сашка растянул руки убитого, разорвал нательную рубашку и стянул свитер через голову. Свитер был красный, и кровь на нем была едва заметна. Севочка бережно, чтобы не запачкать пальцев, сложил свитер в фанерный чемодан. Игра была кончена, и я мог идти домой. Теперь надо было искать другого партнера для пилки дров.

1956

## НОЧЬЮ

Ужин кончился. Глебов неторопливо вылизал миску, тщательно сгреб со стола хлебные крошки в левую ладонь и, поднеся ее ко рту, бережно слизал крошки с ладони. Не глотая, он ощущал, как слюна во рту густо и жадно обволакивает крошечный комочек хлеба. Глебов не мог бы сказать, было ли это вкусно. Вкус—это что-то другое, слишком бедное по сравнению с этим страстным, самозабвенным ощущением, которое давала пища. Глебов не торопился глотать: хлеб сам таял во рту, и таял быстро.

Ввалившиеся, блестящие глаза Багрецова неотрывно глядели Глебову в рот — не было ни в ком такой могучей воли, которая помогла бы отвести глаза от пищи, исчезающей во рту другого человека. Глебов проглотил слюну, и сейчас же Багрецов перевел глаза к горизонту — на большую оранжевую луну, выползавшую на небо.

— Пора,— сказал Багрецов.

Они молча пошли по тропе к скале и поднялись на небольшой уступ, огибавший сопку; хоть солнце зашло недавно, камни, днем обжигавшие подошвы сквозь рези-

новые галоши, надетые на босу ногу, сейчас уже были холодными. Глебов застегнул телогрейку. Ходьба не грела его.

— Далеко еще? — спросил он шепотом.

— Далеко, — негромко ответил Багрецов.

Они сели отдыхать. Говорить было не о чем, да и думать было не о чем — все было ясно и просто. На площадке, в конце уступа, были кучи развороченных камней, сорванного, ссохшегося мха.

— Я мог бы сделать это и один, — усмехнулся Багрецов, — но вдвоем веселее. Да и для старого приятеля...

Их привезли на одном пароходе в прошлом году.

Багрецов остановился.

— Надо лечь, увидят.

Они легли и стали отбрасывать в сторону камни. Больших камней, таких, чтобы нельзя было поднять, переместить вдвоем, здесь не было, потому что те люди, которые набрасывали их сюда утром, были не сильнее Глебова.

Багрецов негромко выругался. Он оцарапал палец, текла кровь. Он присыпал рану песком, вырвал клочок ваты из телогрейки, прижал — кровь не останавливалась.

— Плохая свертываемость, — равнодушно сказал Глебов.

— Ты врач, что ли? — спросил Багрецов, отсасывая кровь.

Глебов молчал. Время, когда он был врачом, казалось очень далеким. Да и было ли такое время? Слишком часто тот мир за горами, за морями казался ему каким-то сном, выдумкой. Реальной была минута, час, день от подъема до отбоя — дальше он не загадывал и не находил в себе сил загадывать. Как и все.

Он не знал прошлого тех людей, которые его окружали, и не интересовался им. Впрочем, если бы завтра Багрецов объявил себя доктором философии или маршалом авиации, Глебов поверил бы ему, не задумываясь. Был ли он сам когда-нибудь врачом? Утрачен был не только автоматизм суждений, но и автоматизм наблюдений. Глебов видел, как Багрецов отсасывал кровь из грязного пальца, но ничего не сказал. Это лишь скользнуло в его сознании, а воли к ответу он в себе найти не мог и не искал. То сознание, которое у него еще оставалось и которое, возможно, уже не было человеческим сознанием, имело слишком мало граней и сейчас было направлено лишь на одно — чтобы скорее убрать камни.

— Глубоко, наверно? — спросил Глебов, когда они улеглись отдыхать.

— Как она может быть глубокой? — сказал Багрецов.

И Глебов сообразил, что он спросил чепуху и что яма действительно не может быть глубокой.

— Есть, — сказал Багрецов.

Он дотронулся до человеческого пальца. Большой палец ступни выглядывал из камней — на лунном свете он был отлично виден. Палец был не похож на пальцы Глебова или Багрецова, но не тем, что был безжизненным и окоченелым, — в этом-то было мало различия. Ногти на этом мертвом пальце были острижены, сам он был полнее и мягче глебовского. Они быстро откинули камни, которыми было завалено тело.

— Молодой совсем, — сказал Багрецов.

Вдвоем они с трудом вытащили труп за ноги.

— Здоровый какой, — сказал Глебов, задыхаясь.

— Если бы он не был такой здоровый, — сказал Багрецов, — его похоронили бы так, как хоронят нас, и нам не надо было бы идти сюда сегодня.

Они разогнули мертвецу руки и стащили рубашку.

— А кальсоны совсем новые, — удовлетворенно сказал Багрецов.

Стащили и кальсоны. Глебов запрятал комок белья под телогрейку.

— Надень лучше на себя, — сказал Багрецов.

— Нет, не хочу, — пробормотал Глебов.

Они уложили мертвеца обратно в могилу и закидали ее камнями.

Синий свет взошедшей луны ложился на камни, на редкий лес тайги, показывая каждый уступ, каждое дерево в особом, не дневном виде. Все казалось по-своему настоящим, но не тем, что днем. Это был как бы второй, ночной, облик мира.

Белье мертвеца согрелось за пазухой Глебова и уже не казалось чужим.

— Закурить бы, — сказал Глебов мечтательно.

— Завтра закуришь.

Багрецов улыбался. Завтра они продадут белье, променяют на хлеб, может быть, даже достанут немного табаку...



## ПЛОТНИКИ

Круглыми сутками стоял белый туман такой густоты, что в двух шагах не было видно человека. Впрочем, ходить далеко в одиночку не приходилось. Немногие направления — столовая, больница, вахта — угадывались неведомо как приобретенным инстинктом, сродни тому чувству направления, которым в полной мере обладают животные и которое в подходящих условиях просыпается и в человеке.

Градусника рабочим не показывали, да это было и не нужно — выходить на работу приходилось в любые градусы. К тому же старожилы почти точно определяли мороз без градусника: если стоит морозный туман, значит, на улице сорок градусов ниже нуля; если воздух при дыхании выходит с шумом, но дышать еще не трудно — значит, сорок пять градусов; если дыхание шумно и заметна одышка — пятьдесят градусов. Свыше пятидесяти пяти градусов — плевки замерзают на лету. Плевки замерзали на лету уже две недели.

Каждое утро Поташников просыпался с надеждой — не упал ли мороз? Он знал по опыту прошлой зимы, что, как бы ни была низка температура, для ощущения тепла важно резкое изменение, контраст. Если даже мороз упадет до сорока — сорока пяти градусов — два дня будет тепло, а дальше чем на два дня не имело смысла строить планы.

Но мороз не падал, и Поташников понимал, что выдержать дольше не может. Завтрака хватало, самое большее, на один час работы, потом приходила усталость, и мороз пронизывал все тело до костей — это народное выражение отнюдь не было метафорой. Можно было только махать инструментом и скакать с ноги на ногу, чтобы не замерзнуть до обеда. Горячий обед, пресловутая юшка и две ложки каши, мало восстанавливал силы, но все же согревал. И опять силы для работы хватало на час, а затем Поташникова охватывало желание не то согреться, не то просто лечь на колючие мерзлые камни и умереть. День все же кончался, и после ужина, напившись воды с хлебом, который ни один рабочий не ел в столовой с супом, а уносил в барак, Поташников тут же ложился спать.

Он спал, конечно, на верхних нарах — внизу был ледяной погреб, и те, чьи места были внизу, половину ночи простаивали у печки, обнимая ее по очереди руками, — печка была чуть теплая. Дров вечно не хватало: за дровами надо было идти за четыре километра после работы, все и всячески уклонялись от этой повинности. Вверху было теплее, хотя, конечно же, спали в том, в чем работали, — в шапках, телогрейках, бушлатах, ватных брюках. Вверху было теплее, но и там за ночь волосы примерзали к подушке.

Поташников чувствовал, как с каждым днем сил становилось все меньше и меньше. Ему, тридцатилетнему мужчине, уже трудно взбираться на верхние нары, трудно спускаться. Сосед его умер вчера, просто умер, не проснулся, и никто не интересовался, отчего он умер, как будто причина смерти была лишь одна, хорошо известная всем. Дневальный радовался, что смерть произошла не вечером, а утром — суточное довольствие умершего оставалось дневальному. Все это понимали, и Поташников осмелел и подошел к дневальному: «Отломи корочку», — но тот встретил его такой крепкой руганью, какой может ругаться только человек, ставший из слабого сильным и знающий, что его ругань безнаказанна. Только при чрезвычайных обстоятельствах слабый ругает сильного, и это — смелость отчаяния. Поташников замолчал и отошел.

Надо было на что-то решаться, что-то выдумывать своим ослабевшим мозгом. Или — умереть. Смерти Поташников не боялся. Но было тайное страстное желание, какое-то последнее упрямство — желание умереть где-нибудь в больнице, на койке, на постели, при внимании других людей, пусть казенном внимании, но не на улице, не на морозе, не под сапогами конвоя, не в бараке среди брани, грязи и при полном равнодушии всех. Он не винил людей за равнодушие. Он понял давно, откуда эта душевная тупость, душевный холод. Мороз, тот самый, который обращал в лед слюну на лету, добрался и до человеческой души. Если могли промерзнуть кости, мог промерзнуть и отупеть мозг, могла промерзнуть и душа. На морозе нельзя было думать ни о чем. Все было просто. В холод и голод мозг снабжался питанием плохо, клетки мозга сохли — это был явный материальный процесс, и бог его знает, был ли этот процесс обратимым, как говорят в медицине, подобно отморожению, или разрушения были навечно. Так и душа — она промерзла, сжалась и, мо-

жет быть, навсегда останется холодной. Все эти мысли были у Поташникова раньше — теперь не оставалось ничего, кроме желания перетерпеть, переждать мороз живым.

Нужно было, конечно, раньше искать каких-то путей спасения. Таких путей было не много. Можно было стать бригадиром или смотрителем, вообще держаться около начальства. Или около кухни. Но на кухню были сотни конкурентов, а от бригадирства Поташников отказался еще год назад, дав себе слово не позволять насиловать чужую человеческую волю здесь. Даже ради собственной жизни он не хотел, чтобы умиравшие товарищи бросали в него свои предсмертные проклятия. Поташников ждал смерти со дня на день, и день, кажется, подошел.

Проглотив миску теплого супа, дожевывая хлеб, Поташников добрался до места работы, едва волоча ноги. Бригада была выстроена перед началом работы, и вдоль рядов ходил какой-то толстый краснорожий человек в оленьей шапке, якутских торбасах и в белом полушубке. Он вглядывался в изможденные, грязные, равнодушные лица рабочих. Люди молча топтались на месте, ожидая конца неожиданной задержки. Бригадир стоял тут же, почтительно говоря что-то человеку в оленьей шапке:

— А я вас уверяю, Александр Евгеньевич, что у меня нет таких людей. К Соболеву и Битовичкам сходите, а это ведь интеллигенция, Александр Евгеньевич, — одно мученье.

Человек в оленьей шапке перестал разглядывать людей и повернулся к бригадиру.

— Бригадиры не знают своих людей, не хотят знать, не хотят нам помочь, — хрипло сказал он.

— Воля ваша, Александр Евгеньевич.

— Вот я тебе сейчас покажу. Как твоя фамилия?

— Иванов моя фамилия, Александр Евгеньевич.

— Вот, гляди. Эй, ребята, внимание. — Человек в оленьей шапке встал перед бригадой. — Управлению нужны плотники — делать короба для возки грунта.

Все молчали.

— Вот видите, Александр Евгеньевич, — зашептал бригадир.

Поташников вдруг услышал свой собственный голос:

— Есть. Я плотник. — И сделал шаг вперед.

С правого фланга молча шагнул другой человек. Поташников знал его — это был Григорьев.

— Ну, — человек в оленьей шапке повернулся к бригадиру, — ты шляпа и дерьмо. Ребята, пошли за мной.

Поташников и Григорьев поплелись за человеком в оленьей шапке. Он приостановился.

— Если так будем идти, — прохрипел он, — мы и к обеде не придем. Вот что. Я пойду вперед, а вы приходите в столярную мастерскую к прорабу Сергееву. Знаете, где столярная мастерская?

— Знаем, знаем! — закричал Григорьев. — Угостите закурить, пожалуйста.

— Знакомая просьба, — сквозь зубы пробормотал человек в оленьей шапке и, не вынимая коробки из кармана, вытащил две папиросы.

Поташников шел впереди и напряженно думал. Сегодня он будет в тепле столярной мастерской — точить топор и делать топорнице. И точить пилу. Торопиться не надо. До обеда они будут получать инструмент, выписывать, искать кладовщика. А сегодня к вечеру, когда выяснится, что он топорнице сделать не может, а пилу развести не умеет, его выгонят, и завтра он вернется в бригаду. Но сегодня он будет в тепле. А может быть, и завтра, и послезавтра он будет плотником, если Григорьев — плотник. Он будет подручным у Григорьева. Зима уже кончается. Лето, короткое лето он как-нибудь проживет.

Поташников остановился, ожидая Григорьева.

— Ты можешь это... плотничать? — задыхаясь от внезапной надежды, выговорил он.

— Я, видишь ли, — весело сказал Григорьев, — аспирант Московского филологического института. Я думаю, что каждый человек, имеющий высшее образование, тем более гуманитарное, обязан уметь вытесать топорнице и развести пилу. Тем более если это надо делать рядом с горячей печкой.

— Значит, и ты...

— Ничего не значит. На два дня мы их обманем, а потом — какое тебе дело, что будет потом.

— Мы обманем на один день. Завтра нас вернут в бригаду.

— Нет. За один день нас не успеют перевести по учету в столярную мастерскую. Надо ведь подавать сведения, списки. Потом опять отчислять...

Вдвоем они едва отворили примерзшую дверь. Посредине столярной мастерской горела раскаленная докрасна

железная печка, и пять столяров на своих верстаках работали без телогреек и шапок. Пришедшие встали на колени перед открытой дверцей печки, перед богом огня, одним из первых богов человечества. Скинув рукавицы, они простерли руки к теплу, совали их прямо в огонь. Многократно отмороженные пальцы, потерявшие чувствительность, не сразу ощутили тепло. Через минуту Григорьев и Поташников сняли шапки и расстегнули бушлаты, не вставая с колен.

— Вы зачем?— недружелюбно спросил их столяр.

— Мы плотники. Будем работать тут,— сказал Григорьев.

— По распоряжению Александра Евгеньевича, — добавил поспешно Поташников.

— Это, значит, о вас говорил прораб, чтобы выдать вам топоры,— сказал Арнштрем, пожилой инструментальщик, стругавший в углу черенки к лопатам.

— О нас, о нас...

— Берите,— недоверчиво оглядев их, сказал Арнштрем.— Вот вам два топора, пила и разводка. Разводку потом назад отдайте. Вот мой топор, вытешьте топориче.

Арнштрем улыбнулся.

— Дневная норма мне на топорича — тридцать штук,— сказал он.

Григорьев взял чурку из рук Арнштрема и начал тесать. Загудел обеденный гудок. Арнштрем, не одеваясь, молча смотрел на работу Григорьева.

— Теперь ты,— сказал он Поташникову.

Поташников поставил полено на чурбан, взял топор из рук Григорьева и начал тесать.

— Хватит,— сказал Арнштрем.

Столяры уже ушли обедать, и в мастерской никого, кроме трех людей, не было.

— Возьмите вот два моих топорича,— Арнштрем подал готовые топорича Григорьеву,— и насадите топоры. Точите пилу. Сегодня и завтра грейтесь у печки. После завтра идите туда, откуда пришли. Вот вам кусок хлеба к обеду.

Сегодня и завтра они грелись у печки, а послезавтра мороз упал сразу до тридцати градусов — зима уже кончалась.

## ОДИНОЧНЫЙ ЗАМЕР

Вечером, сматывая рулетку, смотритель сказал, что Дугаев получит на следующий день одиночный замер. Бригадир, стоявший рядом и просивший смотрителя дать в долг «десяток кубиков до послезавтра», внезапно замолчал и стал глядеть на замерцавшую за гребнем сопки вечернюю звезду. Баранов, напарник Дугаева, помогавший смотрителю замерять сделанную работу, взял лопату и стал подчищать давно вычищенный забой.

Дугаеву было двадцать три года, и все, что он здесь видел и слышал, больше удивляло, чем пугало его.

Бригада собралась на перекличку, сдала инструмент и в арестантском неровном строю вернулась в барак. Трудный день был кончен. В столовой Дугаев, не садясь, выпил через борт миски порцию жидкого холодного крупяного супа. Хлеб выдавался утром на весь день и был давно съеден. Хотелось курить. Он огляделся, соображая, у кого бы выпросить окурочек. На подоконнике Баранов собирал в бумажку махорочные крупинки из вывернутого кисета. Собрав их тщательно, Баранов свернул тоненькую папироску и протянул ее Дугаеву.

— Кури, мне оставишь,— предложил он.

Дугаев удивился — они с Барановым не были дружны. Впрочем, при голоде, холоде и бессоннице никакая дружба не завязывается, и Дугаев, несмотря на молодость, понимал всю фальшивость поговорки о дружбе, проверяемой несчастьем и бедою. Для того чтобы дружба была дружбой, нужно, чтобы крепкое основание ее было заложено тогда, когда условия, быт еще не дошли до последней границы, за которой уже ничего человеческого нет в человеке, а есть только недоверие, злоба и ложь. Дугаев хорошо помнил северную поговорку, три арестантские заповеди: не верь, не бойся и не проси...

Дугаев жадно всосал сладкий махорочный дым, и голова его закружилась.

— Слабею,— сказал он.

Баранов промолчал.

Дугаев вернулся в барак, лег и закрыл глаза. Последнее время он спал плохо, голод не давал хорошо спать. Сны снились особенно мучительные — буханки хлеба, дымящиеся жирные супы... Забыть наступало не скоро, но все же за полчаса до подъема Дугаев уже открыл глаза.

Бригада пришла на работу. Все разошлись по своим забоям.

— А ты подожди,— сказал бригадир Дугаеву.— Тебя смотритель поставит.

Дугаев сел на землю. Он уже успел утомиться настолько, чтобы с полным безразличием отнестись к любой перемене в своей судьбе.

Загрелись первые тачки на трапе, заскрежетали лопаты о камень.

— Иди сюда,— сказал Дугаеву смотритель.— Вот тебе место.— Он вымерил кубатуру забоя и поставил метку — кусок кварца.— Досюда,— сказал он.— Траповщик тебе доску до главного трапа дотянет. Вези туда, куда и все. Вот тебе лопата, кайло, лом, тачка — вози.

Дугаев послушно начал работу.

«Еще лучше»,— думал он. Никто из товарищей не будет ворчать, что он работает плохо. Бывшие хлеборобы не обязаны понимать и знать, что Дугаев новичок, что сразу после школы он стал учиться в университете, а университетскую скамью променял на этот забой. Каждый за себя. Они не обязаны, не должны понимать, что он истощен и голоден уже давно, что он не умеет красть: уметь красть — это главная северная добродетель во всех ее видах, начиная от хлеба товарища и кончая выпиской тысячных премий начальству за несуществующие, небывшие достижения. Никому нет дела до того, что Дугаев не может выдержать шестнадцатичасового рабочего дня.

Дугаев возил, кайлил, сыпал, опять возил и опять кайлил и сыпал.

После обеденного перерыва пришел смотритель, поглядел на сделанное Дугаевым и молча ушел... Дугаев опять кайлил и сыпал. До кварцевой метки было еще очень далеко.

Вечером смотритель снова явился и размотал рулетку. Он смерил то, что сделал Дугаев.

— Двадцать пять процентов,— сказал он и посмотрел на Дугаева.— Двадцать пять процентов. Ты слышишь?

— Слышу,— сказал Дугаев. Его удивила эта цифра. Работа была так тяжела, так мало камня подцеплялось лопатой, так тяжело было кайлить. Цифра — двадцать пять процентов нормы — показалась Дугаеву очень большой. Ныли икры, от упора на тачку нестерпимо болели руки, плечи, голова. Чувство голода давно покинуло его.

Дугаев ел потому, что видел, как едят другие, что-то подсказывало ему: надо есть. Но он не хотел есть.

— Ну, что ж,— сказал зритель, уходя.— Желая здравствовать.

Вечером Дугаева вызвали к следователю. Он ответил на четыре вопроса: имя, фамилия, статья, срок. Четыре вопроса, которые по тридцать раз в день задают арестанту. Потом Дугаев пошел спать. На следующий день он опять работал с бригадой, с Барановым, а в ночь на послезавтра его повели солдаты за конбазу, и повели по лесной тропке к месту, где, почти перегораживая небольшое ущелье, стоял высокий забор с колючей проволокой, натянутой поверху, и откуда по ночам доносилось отдаленное стрекотание тракторов. И, поняв, в чем дело, Дугаев пожалел, что напрасно проработал, напрасно промучился этот последний сегодняшний день.

(1955)

## ПОСЫЛКА

Посылки выдавали на вахте. Бригадиры удостоверяли личность получателя. Фанера ломалась и трещала по-своему, по-фанерному. Здешние деревья ломались не так, кричали не таким голосом. За барьером из скамеек люди с чистыми руками в чересчур аккуратной военной форме вскрывали, проверяли, встряхивали, выдавали. Ящики посылок, едва живые от многомесячного путешествия, подброшенные умело, падали на пол, раскалывались. Куски сахара, сушеные фрукты, загнивший лук, мятые пачки махорки разлетались по полу. Никто не подбирал рассыпанное. Хозяева посылок не протестовали — получить посылку было чудом из чудес.

Возле вахты стояли конвоиры с винтовками в руках — в белом морозном тумане двигались какие-то незнакомые фигуры.

Я стоял у стены и ждал очереди. Вот эти голубые куски — это не лед! Это сахар! Сахар! Сахар! Сахар! Пройдет еще час, и я буду держать в руках эти куски, и они не будут таять. Они будут таять только во рту. Такого большого куска мне хватит на два раза, на три раза.

А махорка! Собственная махорка! Материковская махорка, ярославская «Белка» или «Кременчуг № 2». Я буду



курить, буду угощать всех, всех, всех, а прежде всего тех, у кого я докуривал весь этот год. Материковская махорка! Нам ведь давали в пайке табак, снятый по срокам хранения с армейских складов,— авантюра гигантских масштабов: на лагерь списывались все продукты, что вылежали сроки хранения. Но сейчас я буду курить настоящую махорку. Ведь если жена не знает, что нужна махорка покрепче, ей подскажут.

— Фамилия?

Посылка треснула, и из ящика высыпался чернослив, кожаные ягоды чернослива. А где же сахар? Да и чернослива — две-три горсти...

— Тебе бурки! Летчицкие бурки! Ха-ха-ха! С каучуковой подошвой! Ха-ха-ха! Как у начальника прииска! Держи, принимай!

Я стоял растерянный. Зачем мне бурки? В бурках здесь можно ходить только по праздникам — праздников-то и не было. Если бы оленьи пимы, торбаса или обыкновенные валенки. Бурки — это чересчур шикарно... Это не подходит. Притом...

— Слышь ты... — Чья-то рука тронула мое плечо.

Я повернулся так, чтобы было видно и бурки, и ящик, на дне которого было немного чернослива, и начальство, и лицо того человека, который держал мое плечо. Это был Андрей Бойко, наш горный смотритель.

А Бойко шептал торопливо:

— Продай мне эти бурки. Я тебе денег дам. Сто рублей. Ты ведь до барака не донесешь — отнимут, вырвут эти. — И Бойко ткнул пальцем в белый туман. — Да и в бараке украдут. В первую ночь.

«Сам же ты и подошлешь», — подумал я.

— Ладно, давай деньги.

— Видишь, какой я! — Бойко отсчитывал деньги. — Не обманываю тебя, не как другие. Сказал сто — и даю сто. — Бойко боялся, что переплатил лишнего.

Я сложил грязные бумажки вчетверо, ввосьмеро и упрятал в брючный карман. Чернослив пересыпал из ящика в бушлат — карманы его давно были вырваны на кисеты.

Куплю масла! Килограмм масла! И буду есть с хлебом, супом, кашей. И сахару! И сумку достану у кого-нибудь — торбочку с бечевочным шнурком. Непременная принадлежность всякого приличного заключенного из фраеров. Блатные не ходят с торбочками.

Я вернулся в барак. Все лежали на нарах, только Ефремов сидел, положив руки на остывшую печку, и тянулся лицом к исчезающему теплу, боясь разогнуться, оторваться от печки.

— Что же не растопляешь?

Подошел дневальный.

— Ефремовское дежурство! Бригадир сказал: пусть где хочет, там и берет, а чтоб дрова были. Я тебе спать все равно не дам. Иди, пока не поздно.

Ефремов выскользнул в дверь барака.

— Где ж твоя посылка?

— Ошиблись...

Я побежал к магазину. Шапаренко, завмаг, еще торговал. В магазине никого не было.

— Шапаренко, мне хлеба и масла.

— Угровишь ты меня.

— Ну, возьми, сколько надо.

— Денег у меня видишь сколько? — сказал Шапаренко. — Что такой фитиль, как ты, может дать? Бери хлеб и масло и отрывайся быстро.

Сахару я забыл попросить. Масла — килограмм. Хлеба — килограмм. Пойду к Семену Шейнину. Шейнин был бывший референт Кирова, еще не расстрелянный в это время. Мы с ним работали когда-то вместе, в одной бригаде, но судьба нас развела.

Шейнин был в бараке.

— Давай есть. Масло, хлеб.

Голодные глаза Шейнина заблестали.

— Сейчас я кипятку...

— Да не надо кипятку!

— Нет, я сейчас. — И он исчез.

Тут же кто-то ударил меня по голове чем-то тяжелым, и, когда я вскочил, пришел в себя, сумки не было. Все оставались на своих местах и смотрели на меня со злобной радостью. Развлечение было лучшего сорта. В таких случаях радовались вдвойне: во-первых, кому-то плохо, во-вторых, плохо не мне. Это не зависть, нет...

Я не плакал. Я еле остался жив. Прошло тридцать лет, и я помню отчетливо полутемный барак, злобные, радостные лица моих товарищей, сырое полено на полу, бледные щеки Шейнина.

Я пришел снова в ларек. Я больше не просил масла и не спрашивал сахару. Я выпросил хлеба, вернулся в барак, натаял снегу и стал варить чернослив.

Барак уже спал: стонал, хрипел и кашлял. Мы трое ва-

рили у печки каждый свое: Синцов кипятил сбереженную от обеда корку хлеба, чтобы съесть ее, вязкую, горячую, и чтобы выпить потом с жадностью горячую снеговую воду, пахнущую дождем и хлебом. А Губарев натолкал в котелок листьев мерзлой капусты — счастливец и хитрец. Капуста пахла, как лучший украинский борщ! А я варил посылочный чернослив. Все мы не могли не глядеть в чужую посуду.

Кто-то пинком распахнул двери барака. Из облака морозного пара вышли двое военных. Один, помоложе, — начальник лагеря Коваленко, другой, постарше, — начальник прииска Рябов. Рябов был в авиационных бурках — в моих бурках! Я с трудом сообразил, что это ошибка, что бурки рябовские.

Коваленко бросился к печке, размахивая кайлом, которое он принес с собой.

— Опять котелки! Вот я сейчас вам покажу котелки! Покажу, как грязь разводить!

Коваленко опрокинул котелки с супом, с коркой хлеба и листьями капусты, с черносливом и пробил кайлом дно каждого котелка.

Рябов грел руки о печную трубу.

— Есть котелки — значит, есть что варить, — глубокомысленно изрек начальник прииска. — Это, знаете, признак довольства.

— Да ты бы видел, что они варят, — сказал Коваленко, растапывая котелки.

Начальники вышли, и мы стали разбирать смятые котелки и собирать каждый свое: я — ягоды, Синцов — размокший, бесформенный хлеб, а Губарев — крошки капустных листьев. Мы все сразу съели — так было надежней всего.

Я проглотил несколько ягод и заснул. Я давно научился засыпать раньше, чем согреются ноги, — когда-то я этого не мог, но опыт, опыт... Сон был похож на забытьё.

Жизнь возвращалась, как сновиденье, — снова раскрылись двери: белые клубы пара, прилегшие к полу, пробежавшие до дальней стены барака, люди в белых полушубках, вонючих от новизны, необношенности, и рухнувшее на пол что-то, не шевелящееся, но живое, хрюкающее.

Дневальный, в недоуменной, но почтительной позе склонившийся перед белыми тулупами десятников.

— Ваш человек? — И смотритель показал на комок грязного тряпья на полу.

— Это Ефремов,— сказал дневальный.

— Будет знать, как воровать чужие дрова.

Ефремов много недель пролежал рядом со мной на нарах, пока его не увезли, и он умер в инвалидном городке. Ему отбили «нутро» — мастеров этого дела на прииске было немало. Он не жаловался — он лежал и тихонько стонал.

1960

## ДОЖДЬ

Мы бурили на новом полигоне третий день. У каждого был свой шурф, и за три дня каждый углубился на полметра, не больше. До мерзлоты еще никто не дошел, хотя и ломы и кайла заправлялись без всякой задержки — редкий случай; кузнецам было нечего оттягивать — работала только наша бригада. Все дело было в дожде. Дождь лил третьи сутки не переставая. На каменистой почве нельзя узнать — час льет дождь или месяц. Холодный мелкий дождь. Соседние с нами бригады давно уже сняли с работы и увели домой, но то были бригады блатарей — даже для зависти у нас не было силы.

Десятник в намокшем огромном брезентовом плаще с капюшоном, угловатом, как пирамида, появлялся редко. Начальство возлагало большие надежды на дождь, на холодные плети воды, опускавшиеся на наши спины. Мы давно были мокры, не могу сказать, до белья, потому что белья у нас не было. Примитивный тайный расчет начальства был таков, что дождь и холод заставят нас работать. Но ненависть к работе была еще сильнее, и каждый вечер десятник с проклятием опускал в шурф свою деревянную мерку с зарубками. Конвой стерег нас, укрывшись под «грибом» — известным лагерным сооружением.

Мы не могли выходить из шурфов — мы были бы застрелены. Ходить между шурфами мог только наш бригадир. Мы не могли кричать друг другу — мы были бы застрелены. И мы стояли молча, по пояс в земле, в каменных ямах, длинной вереницей шурфов растягиваясь по берегу высохшего ручья.

За ночь мы не успевали высушить наши бушлаты, а гимнастерки и брюки мы ночью сушили своим телом

и почти успевали высушить. Голодный и злой, я знал, что ничто в мире не заставит меня покончить с собой. Именно в это время я стал понимать суть великого инстинкта жизни — того самого качества, которым наделен в высшей степени человек. Я видел, как изнемогали и умирали наши лошади — я не могу выразиться иначе, воспользоваться другими глаголами. Лошади ничем не отличались от людей. Они умирали от Севера, от непосильной работы, плохой пищи, побоев, и хоть всего этого было дано им в тысячу раз меньше, чем людям, они умирали раньше людей. И я понял самое главное, что человек стал человеком не потому, что он божье создание, и не потому, что у него удивительный большой палец на каждой руке. А потому, что был он *физически* крепче, выносливее всех животных, а позднее потому, что заставил свое духовное начало успешно служить началу физическому.

Вот обо всем этом в сотый раз думал я в этом шурфе. Я знал, что не покончу с собой потому, что проверил эту свою жизненную силу. В таком же шурфе, только глубоко, недавно я выкайлил огромный камень. Я много дней бережно освобождал его страшную тяжесть. Из этой тяжести недоброй я думал создать нечто прекрасное — по словам русского поэта. Я думал спасти свою жизнь, сломав себе ногу. Воистину это было прекрасное намерение, явление вполне эстетического рода. Камень должен был рухнуть и раздробить мне ногу. И я — навеки инвалид! Эта страстная мечта подлежала расчету, и я точно подготовил место, куда поставлю ногу, представил, как легонько поверну кайлом — и камень рухнет. День, час и минута были назначены и пришли. Я поставил правую ногу под висящий камень, похвалил себя за спокойствие, поднял руку и повернул, как рычаг, заложенное за камень кайло. И камень пополз по стене в назначенное и вычисленное место. Но сам не знаю, как это случилось, — я отдернул ногу. В тесном шурфе нога была помята. Два синяка, три ссадины — вот и весь результат так хорошо подготовленного дела.

И я понял, что не гожусь ни в членовредители, ни в самоубийцы. Мне оставалось только ждать, пока маленькая неудача сменится маленькой удачей, пока большая неудача исчерпает себя. Ближайшей удачей был конец рабочего дня, три глотка горячего супу — если даже суп будет холодный, его можно подогреть на железной печке, а котелок — трехлитровая консервная банка — у меня есть. За-

курить, вернее, докурить, я попрошу у нашего дневального Степана.

Вот так, перемешивая в мозгу «звездные» вопросы и мелочи, я ждал, вымокший до нитки, но спокойный. Были ли эти рассуждения некой тренировкой мозга? Ни в коем случае. Все это было естественно, это была жизнь. Я понимал, что тело, а значит, и клетки мозга получают питание недостаточное, мозг мой давно уже на голодном пайке и что это неминуемо скажется сумасшествием, ранним склерозом или как-нибудь еще... И мне весело было думать, что я не доживу, не успею дожить до склероза. Лил дождь.

Я вспомнил женщину, которая вчера прошла мимо нас по тропинке, не обращая внимания на окрики конвоя. Мы приветствовали ее, и она нам показалась красавицей — первая женщина, увиденная нами за три года. Она помахала нам рукой, показала на небо, куда-то в угол небосвода, и крикнула: «Скоро, ребята, скоро!» Радостный рев был ей ответом. Я никогда ее больше не видел, но всю жизнь ее вспоминал — как могла она так понять и так утешить нас. Она указывала на небо, вовсе не имея в виду загробный мир. Нет, она показывала только, что невидимое солнце спускается к западу, что близок конец трудового дня. Она по-своему повторила нам гетевские слова о горных вершинах. О мудрости этой простой женщины, какой-то бывшей или сущей проститутки — ибо никаких женщин, кроме проституток, в то время в этих краях не было, — вот о ее мудрости, о ее великом сердце я и думал, и шорох дождя был хорошим звуковым фоном для этих мыслей. Серый каменный берег, серые горы, серый дождь, серое небо, люди в серой рваной одежде — все было очень мягкое, очень согласное друг с другом. Все было какой-то единой цветовой гармонией — дьявольской гармонией.

И в это время раздался слабый крик из соседнего шурфа. Моим соседом был некто Розовский, пожилой агроном, изрядные специальные знания которого, как и знания врачей, инженеров, экономистов, не могли здесь найти применения. Он звал меня по имени, и я откликнулся ему, не обращая внимания на угрожающий жест конвоира — издали, из-под гриба.

— Слушайте, — кричал он, — слушайте! Я долго думал! И понял, что смысла жизни нет... Нет...

Тогда я выскочил из своего шурфа и подбежал к нему раньше, чем он успел броситься на конвойных. Оба конвоира приближались.

— Он заболел, — сказал я.

В это время донесся отдаленный, заглушенный дождем гудок, и мы стали строиться.

Мы работали с Розовским еще некоторое время вместе, пока он не бросился под грузеную вагонетку, катившуюся с горы. Он сунул ногу под колесо, но вагонетка просто перескочила через него, и даже синяка не осталось. Тем не менее за покушение на самоубийство на него завели дело, он был судим, и мы расстались, ибо существует правило, что после суда осужденный никогда не направляется в то место, откуда он прибыл. Боятся мести под горячую руку — следователю, свидетелям. Это мудрое правило. Но в отношении Розовского его можно было бы и не применять.

1958

## КАНТ

Сопки были белые, с синеватым отливом, как сахарные головы. Круглые, безлесные, они были покрыты тонким слоем плотного снега, спрессованного ветрами. В ущельях снег был глубок и крепок — держал человека, а на склонах сопок он как бы вздувался огромными пузырями. Это были кусты стланика, распластавшегося по земле и улегшегося на зимнюю ночевку еще до первого снега. Они-то и были нам нужны.

Из всех северных деревьев я больше других любил стланик, кедрач.

Мне давно была понятна и дорога та завидная торопливость, с какой бедная северная природа стремилась поделиться с нищим, как и она, человеком своим нехитрым богатством: процвести поскорее для него всеми цветами. В одну неделю, бывало, цвело все взапуски, и за какой-нибудь месяц с начала лета горы в лучах почти незаходящего солнца краснели от брусники, чернели от темно-синей голубики. На низкорослых кустах — и руку поднимать не надо — наливалась желтая крупная водянистая рябина. Медовый горный шиповник — его розовые лепестки были единственными цветами здесь, которые пахли как цветы, все остальные пахли только сыростью, болотом, и это было под стать весеннему безмолвию птиц, безмолвию лиственничного леса, где ветви медленно оде-

вались зеленой хвоей. Шиповник берег плоды до самых морозов и из-под снега протягивал нам сморщенные мясистые ягоды, фиолетовая жесткая шкура которых скрывала сладкое темно-желтое мясо. Я знал веселость лоз, меняющих окраску весной много раз,—то темно-розовых, то оранжевых, то бледно-зеленых, будто обтянутых цветной лайкой. Лиственницы протягивали тонкие пальцы с зелеными ногтями, вездесущий жирный кипрей покрывал лесные пожарища. Все это было прекрасно, доверчиво, шумно и торопливо, но все это было летом, когда матовая зеленая трава мешалась с муравчатым блеском замшелых, блестящих на солнце скал, которые вдруг оказывались не серыми, не коричневыми, а зелеными.

Зимой все это исчезало, покрытое рыхлым, жестким снегом, что ветры наметали в ущелья и утрамбовывали так, что для подъема в гору надо было вырубать в снегу ступеньки топором. Человек в лесу был виден за версту — так все было голо. И только одно дерево было всегда зелено, всегда живо — стланик, вечнозеленый кедрач. Это был предсказатель погоды. За два-три дня до первого снега, когда днем было еще по-осеннему жарко и безоблачно и о близкой зиме никому не хотелось думать, стланик вдруг растягивал по земле свои огромные, двухсаженные лапы, легко сгибал свой прямой черный ствол толщиной кулака в два и ложился плашмя на землю. Проходил день, другой, появлялось облачко, а к вечеру задувала метель и падал снег. А если поздней осенью собирались снеговые низкие тучи, дул холодный ветер, но стланик не ложился — можно было быть твердо уверенным, что снег не выпадет.

В конце марта, в апреле, когда весной еще и не пахло и воздух был по-зимнему разрежен и сух, стланик вокруг поднимался, стряхивая снег со своей зеленой, чуть рыжеватой одежды. Через день-два менялся ветер, теплые струи воздуха приносили весну.

Стланик был инструментом очень точным, чувствительным до того, что порой он обманывался, — он поднимался в оттепель, когда оттепель затягивалась. Перед оттепелью он не поднимался. Но еще не успело похолодать, как он снова торопливо укладывался в снег. Бывало и такое: разведешь с утра костер пожарче, чтобы в обед было где согреть ноги и руки, заложишь побольше дров и уходишь на работу. Через два-три часа из-под снега протягивает ветви стланик и расправляется потихоньку, думая,



что пришла весна. Еще не успел костер погаснуть, как стланик снова ложился в снег. Зима здесь двухцветна — бледно-синее высокое небо и белая земля. Весной обнажается грязно-желтое прошлогоднее осеннее тряпье, и долго-долго земля одета в этот нищенский убор, пока новая зелень не наберет силу и все не станет цвести — торопливо и бурно. И вот среди этой унылой весны, безжалостной зимы, ярко и ослепительно зеленея, сверкал стланик. К тому же на нем росли орехи — мелкие кедровые орехи. Это лакомство делили между собой люди, кедровки, медведи, белки и бурундуки.

Выбрав площадку с подветренной стороны сопки, мы натаскали сучьев, мелких и покрупнее, нарвали сухой травы на прометинах — голых местах горы, с которых ветер сорвал снег. Мы принесли с собой из барака несколько дымящихся головешек, взятых перед уходом на работу из топящейся печки, — спичек здесь не было.

Головешки носили в большой консервной банке с приделанной ручкой из проволоки, тщательно следя, чтобы головни не погасли дорогой. Вытащив головни из банки, обдув их и сложив тлеющие концы вместе, я раздул огонь и, положив головни на ветки, заложил костер — сухую траву и мелкие сучья. Все это было закрыто большими сучьями, и скоро синий дымок неуверенно потянулся по ветру.

Я никогда раньше не работал в бригадах, заготавливающих хвою стланика. Заготовка шла вручную, зеленые сухие иглы щипали, как перья у дичи, руками, захватывая побольше в горсть, набивали хвоей мешки и вечером сдавали выработку десятнику. Затем хвоя увозилась на таинственный витаминный комбинат, где из нее варили темно-желтый густой и вязкий экстракт непередаваемо противного вкуса. Этот экстракт нас заставляли пить или есть (кто как сумеет) перед каждым обедом. Вкусом экстракта был испорчен не только обед, но и ужин, и многие видели в этом лечении дополнительное средство лагерного воздействия. Без стопки этого лекарства в столовых нельзя было получить обед — за этим строго следили. Цинга была повсеместно, и стланик был единственным средством от цинги, одобренным медициной. Вера все преодолевает, и, хотя впоследствии была доказана полная несостоятельность этого «препарата» как противоцинготного средства и от него отказались, а витаминный комбинат закрыли, в наше время люди пили эту вонючую дрянь, отплеивались и выздоравливали от цинги. Или не выздоравливали.

Или не пили и выздоравливали. Везде по свету была тьма шиповника, но его никто не заготавливал, не использовал как противочинготное средство — в московской инструкции ничего о шиповнике не говорилось. (Через несколько лет шиповник стали завозить с материка, но собственной заготовки, сколько мне известно, так никогда и не было налажено.)

Представителем витамина С инструкция считала только хвою стланика. Нынче я был заготовщиком этого драгоценного сырья — я ослабел и из золотого забоя был переведен щипать стланик.

— Походишь на стланик, — сказал утром нарядчик. — Дам тебе кант на несколько дней.

«Кант» — это широко распространенный лагерный термин. Обозначает он что-то вроде временного отдыха, не то что полный отдых (в таком случае говорят: он «припухает», «припух» на сегодня), а такую работу, при которой человек не выбивается из сил, легкую временную работу.

Работа на стланике считалась не только легкой — легчайшей работой, и притом она была бесконвойной.

После многих месяцев работы в обледенелых разрезах, где каждый замороженный до блеска камешек обжигает руки, после щелканья винтовочных затворов, лая собак и матерщины смотрителей за спиной работа на стланике был огромным, ощущаемым каждым усталым мускулом удовольствием. На стланик посылали позже обычного развода на работу еще в темноте.

Хорошо было, грея руки о банку с дымящимися головешками, не спеша идти к сопкам, таким непостижимо далеким, как мне казалось раньше, и подниматься все выше и выше, все время ощущая как радостную неожиданность свое одиночество и глубокую зимнюю горную тишину, как будто все дурное в мире исчезло и есть только твой товарищ, и ты, и узкая темная бесконечная полоска в снегу, ведущая куда-то высоко, в горы.

Товарищ мой неодобрительно смотрел на мои медленные движения. Он уже давно ходил на стланик и справедливо предполагал во мне неумелого и слабого напарника. Работали парами, заработок был общий и делился пополам.

— Я буду рубить, а ты садись щипать, — сказал он. — И поживей ворочайся, а то мы не сделаем нормы. А идти отсюда снова в забой я не хочу.

Он нарубил стланиковых веток и приволок огромную кучу лап к костру. Я отламывал сучья поменьше и, начиная с вершины ветки, обдирал иглы вместе с корой. Они были похожи на зеленую бахрому.

— Надо быстрее,— сказал мой товарищ, возвращаясь с новой охапкой.— Плохо, брат!

Я и сам понимал, что плохо. Но я не мог работать быстрее. В ушах звенело, и отмороженные в начале зимы пальцы рук давно уже ныли знакомой тупой болью. Я драл иглы, ломал целые ветки на куски, не обдирая коры, и заталкивал добычу в мешок. Но мешок никак не хотел наполняться. Уже целая гора ободранных веток, похожих на обмытые кости, поднялась около костра, а мешок все раздувался и раздувался и принимал новые охапки стланика.

Товарищ стал помогать. Дело пошло быстрее.

— Пора домой,— сказал он вдруг.— А то к ужину опоздаем. На норму тут не хватит.— И, взяв из золы костра большой камень, он затолкал его в мешок.— Там не развязывают,— сказал он, хмурясь.— Теперь будет норма.

Я встал, раскидал горящие сучья в стороны и нагреб ногами снег на рдеющие угли. Костер зашипел, погас, и сразу стало холодно и ясно, что вечер близок. Товарищ помог мне взвалить на спину мешок. Я закачался под тяжестью.

— Волоком волоки,— сказал товарищ.— Вниз ведь тащить, не вверх.

Мы едва успели получить свой суп и чай. На этой легкой работе вторых блюд не полагалось.

1956

## СУХИМ ПАЙКОМ

Когда мы, все четверо, пришли на ключ Дусканья, мы так радовались, что почти не говорили друг с другом. Мы боялись, что наше путешествие сюда чья-то ошибка или чья-то шутка, что нас вернут назад в зловещие, залитые холодной водой — растаявшим льдом — каменные забои прииска. Казенные резиновые галоши, чуни, не спасали от холода наши многократно отмороженные ноги.

Мы шли по тракторным следам, как по следам какого-то доисторического зверя, но тракторная дорога кончи-

лась, и по старой пешеходной тропинке, чуть заметной, мы дошли до маленького сруба с двумя прорезанными окнами и дверью, висящей на одной петле из куска автомобильной шины, укрепленного гвоздями. У маленькой двери была огромная деревянная ручка, похожая на ручку ресторанных дверей в больших городах. Внутри были голые нары из цельного накатника, на земляном полу валялась черная, закопченная консервная банка. Такие же банки, проржавевшие и пожелтевшие, валялись около крытого мхом маленького домика в большом количестве. Это была изба горной разведки; в ней никто не жил уже не один год. Мы должны были тут жить и рубить просеку — с нами были топоры и пилы.

Мы впервые получили свой продуктовый паек на руки. У меня был заветный мешочек с крупами, сахаром, рыбой, жирами. Мешочек был перевязан обрывками бечевки в нескольких местах так, как перевязывают сосиски. Сахарный песок и крупа двух сортов — ячневая и магар. У Савельева был точно такой же мешочек, а у Ивана Ивановича было целых два мешочка, сшитых крупной мужской сметкой. Наш четвертый — Федя Шапов — легкомысленно насыпал крупу в карманы бушлата, а сахарный песок завязал в портянку. Вырванный внутренний карман бушлата служил Феде кisetом, куда бережно складывались найденные окурки.

Десятидневные пайки выглядели пугающе: не хотелось думать, что все это должно быть поделено на целых тридцать частей — если у нас будет завтрак, обед и ужин, и на двадцать частей — если мы будем есть два раза в день. Хлеба мы взяли на два дня — его будет нам приносить десятник, ибо даже самая маленькая группа рабочих не может быть мыслима без десятника. Кто он — мы не интересовались вовсе. Нам сказали, что до его прихода мы должны подготовить жилище.

Всем нам надоела барачная еда, где всякий раз мы готовы были плакать при виде внесенных в барак на палках больших цинковых бачков с супом. Мы готовы были плакать от боязни, что суп будет жидким. И когда случалось чудо и суп был густой, мы не верили и, радуясь, ели его медленно-медленно. Но и после густого супа в потеплевшем желудке оставалась сосущая боль — мы голодали давно. Все человеческие чувства — любовь, дружба, зависть, человеколюбие, милосердие, жажда славы, честность — ушли от нас с тем мясом, которого мы лишились за время своего продолжительного голодания. В том незна-

чительном мышечном слое, что еще оставался на наших костях, что еще давал нам возможность есть, двигаться, и дышать, и даже пилить бревна, и насыпать лопатой камень и песок в тачки, и даже возить тачки по нескончаемому деревянному трапу в золотом забое, по узкой деревянной дороге на промывочный прибор, в этом мышечном слое размещалась только злоба — самое долговечное человеческое чувство.

Савельев и я решили питаться каждый сам по себе. Приготовление пищи — арестантское наслаждение особого рода; ни с чем не сравнимое удовольствие приготовить пищу для себя, своими руками и затем есть, пусть сваренную хуже, чем бы это сделали умелые руки повара, — наши кулинарные знания были ничтожны, поварского умения не хватало даже на простой суп или кашу. И все же мы с Савельевым собирали банки, чистили их, обжигали на огне костра, что-то замачивали, кипятили, учась друг у друга.

Иван Иванович и Федя смешали свои продукты, Федя бережно вывернул карманы и, обследовав каждый шов, выгребал крупинки грязным обломанным ногтем.

Мы, все четверо, были отлично подготовлены для путешествия в будущее — хоть в небесное, хоть в земное. Мы знали, что такое научно обоснованные нормы питания, что такое таблица замены продуктов, по которой выходило, что ведро воды заменяет по калорийности сто граммов масла. Мы научились смирению, мы разучились удивляться. У нас не было гордости, сёбялюбия, самолюбия, а ревность и страсть казались нам марсианскими понятиями, и притом пустяками. Гораздо важнее было наловчиться зимой на морозе застегивать штаны — взрослые мужчины плакали, не умея подчас это сделать. Мы понимали, что смерть несколько не хуже, чем жизнь, и не боялись ни той, ни другой. Великое равнодушие владело нами. Мы знали, что в нашей воле прекратить эту жизнь хоть завтра, и иногда решались сделать это, и всякий раз мешали какие-нибудь мелочи, из которых состоит жизнь. То сегодня будут выдавать «ларек» — премиальный килограмм хлеба, — просто глупо было кончать самоубийством в такой день. То дневальный из соседнего барака обещал дать закурить вечером — отдать давнишний долг.

Мы поняли, что жизнь, даже самая плохая, состоит из смены радостей и горя, удач и неудач, и не надо бояться, что неудач больше, чем удач.

Мы были дисциплинированны, послушны начальникам. Мы понимали, что правда и ложь — родные сестры, что на свете тысячи правд...

Мы считали себя почти святыми, думая, что за лагерные годы мы искупили все свои грехи.

Мы научились понимать людей, предвидеть их поступки, разгадывать их.

Мы поняли — это было самое главное, — что наше знание людей ничего не дает нам в жизни полезного. Что толку в том, что я понимаю, чувствую, разгадываю, предвижу поступки другого человека? Ведь своего-то поведения по отношению к нему я изменить не могу, я не буду доносить на такого же заключенного, как я сам, чем бы он ни занимался. Я не буду добиваться должности бригадира, дающей возможность остаться в живых, ибо худшее в лагере — это навязывание своей (или чьей-то чужой) воли другому человеку, арестанту, как я. Я не буду искать полезных знакомств, давать взятки. И что толку в том, что я знаю, что Иванов — подлец, а Петров — шпион, а Заславский — лжесвидетель?

Невозможность пользоваться известными видами оружия делает нас слабыми по сравнению с некоторыми нашими соседями по лагерным нарам. Мы научились довольствоваться малым и радоваться малому.

Мы поняли также удивительную вещь: в глазах государства и его представителей человек физически сильный лучше, именно лучше, нравственнее, ценнее человека слабого, того, что не может выбросить из траншеи двадцать кубометров грунта за смену. Первый моральнее второго. Он выполняет «процент», то есть исполняет свой главный долг перед государством и обществом, а потому всеми уважается. С ним советуются и считаются, приглашают на совещания и собрания, по своей тематике далекие от вопросов выбрасывания тяжелого скользкого грунта из мокрых склизких канав.

Благодаря своим физическим преимуществам он обращается в моральную силу при решении ежедневных многочисленных вопросов лагерной жизни. Притом он — моральная сила до тех пор, пока он — сила физическая.

Афоризм Павла I: «В России знатен тот, с кем я говорю и пока я с ним говорю» — нашел свое неожиданно новое выражение в забоях Крайнего Севера.

Иван Иванович в первые месяцы своей жизни на приiske был передовым работягой. Сейчас он не мог понять, почему его теперь, когда он ослабел, все бьют походя —

не больно, но бьют: дневальный, парикмахер, нарядчик, староста, бригадир, конвоир. Кроме должностных лиц, его бьют блатари. Иван Иванович был счастлив, что выбрался на эту лесную командировку.

Федя Шапов, алтайский подросток, стал доходягой раньше других потому, что его полудетский организм еще не окреп. Поэтому Федя держался недели на две меньше, чем остальные, скорее ослабел. Он был единственным сыном вдовы, и судили его за незаконный убой скота — единственной овцы, которую заколол Федя. Убои эти были запрещены законом. Федя получил десять лет, присковая, торопливая, вовсе не похожая на деревенскую, работа была ему тяжела. Федя восхищался привольной жизнью блатарей на прииске, но было в его натуре такое, что мешало ему сблизиться с ворами. Это здоровое крестьянское начало, природная любовь, а не отвращение к труду помогало ему немножко. Он, самый молодой среди нас, прилепился сразу к самому пожилому, к самому положительному — Ивану Ивановичу.

Савельев был студент Московского института связи, мой земляк по Бутырской тюрьме. Из камеры он, потрясенный всем виденным, написал письмо вождю партии, как верный комсомолец, уверенный, что до вождя не доходят такие сведения. Его собственное дело было настолько пустячным (переписка с собственной невестой), где свидетельством агитации (пункт десять пятьдесят восьмой статьи) были письма жениха и невесты друг другу; его «организация» (пункт одиннадцатый той же статьи) состояла из двух лиц. Все это самым серьезным образом записывалось в бланки допроса. Все же думали, что, кроме ссылки, даже по тогдашним масштабам, Савельев ничего не получит.

Вскоре после отсылки письма, в один из «заявительных» тюремных дней, Савельева вызвали в коридор и дали ему расписаться в извещении. Верховный прокурор сообщал, что лично будет заниматься рассмотрением его дела. После этого Савельева вызвали только один раз — вручить ему приговор особого совещания: десять лет лагерей.

В лагере Савельев «доплыл» очень быстро. Ему и до сих пор непонятна была эта зловещая расправа. Мы с ним не то что дружили, а просто любили вспоминать Москву — ее улицы, памятники, Москва-реку, подернутую тонким слоем нефти, отливающим перламутром. Ни Ленинград, ни Киев, ни Одесса не имеют таких поклонников, це-

нителей, любителей. Мы готовы были говорить о Москве без конца.

Мы поставили принесенную нами железную печку в избу и, хотя было лето, затопили ее. Теплый сухой воздух был необычайного, чудесного аромата. Каждый из нас привык дышать кислым запахом поношенного платья, пота — еще хорошо, что слезы не имеют запаха.

По совету Ивана Ивановича мы сняли белье и закопали его на ночь в землю, каждую рубашку и кальсоны порознь, оставив маленький кончик наружу. Это было народное средство против вшей, а на прииске в борьбе с ними мы были бессильны. Действительно, наутро вши собрались на кончиках рубах. Земля, покрытая вечной мерзлотой, все же оттаивала здесь летом настолько, что можно было закопать белье. Конечно, это была земля здешняя, в которой было больше камня, чем земли. Но и на этой каменистой, оледенелой почве выростали густые леса огромных лиственниц со стволами в три обхвата — такова была сила жизни деревьев, великий назидательный пример, который показывала нам природа.

Вшей мы сожгли, поднося рубашку к горячей головне из костра. Увы, этот остроумный способ не уничтожил гнид, и в тот же день мы долго и яростно варили белье в больших консервных банках — на этот раз дезинфекция была надежной.

Чудесные свойства земли мы узнали позднее, когда ловили мышей, ворон, чаек, белок. Мясо любых животных теряет свой специфический запах, если его предварительно закапывать в землю.

Мы позаботились о том, чтобы поддерживать неугасимый огонь, — ведь у нас было только несколько спичек, хранившихся у Ивана Ивановича. Он замотал драгоценные спички в кусочек брезента и в тряпки самым тщательным образом.

Каждый вечер мы складывали вместе две головни, и они тлели до утра, не потухая и не сгорая. Если бы головней было три, они сгорели бы. Этот закон я и Савельев знали со школьной скамьи, а Иван Иванович и Федя знали с детства, из дома. Утром мы раздували головни, вспыхивал желтый огонь, и на разгоревшийся костер мы наваливали бревно потолще...

Я разделил крупу на десять частей, но это оказалось слишком страшно. Операция по насыщению пятью хлебами пяти тысяч человек была, вероятно, легче и проще, чем



арестанту разделить на тридцать порций свой десятидневный паек. Пайки, карточки были всегда декадные. На материке давно уже играли отбой по части всяких «пятидневок», «декадок», «непрерывок», но здесь десятичная система держалась гораздо тверже. Никто здесь не считал воскресенье праздником — дни отдыха для заключенных, введенные много позже нашего житья-бытья на лесной командировке, были три раза в месяц по произволу местного начальства, которому дано было право использовать дни дождливые летом или слишком холодные зимой для отдыха заключенных в счет выходных.

Я смешал крупу снова, не выдержав этой новой муки. Я попросил Ивана Ивановича и Федю принять меня в компанию и сдал свои продукты в общий котел. Савельев последовал моему примеру.

Сообща мы, все четверо, приняли мудрое решение: варить два раза в день — на три раза продуктов решительно не хватало.

— Мы будем собирать ягоды и грибы, — сказал Иван Иванович. — Ловить мышей и птиц. И день-два в декаде жить на одном хлебе.

— Но если мы будем голодать день-два перед получением продуктов, — сказал Савельев, — как удержаться, чтобы не съесть лишнего, когда привезут приварок?

Решили есть два раза в день во что бы то ни стало и, в крайнем случае, разводите пожиже. Ведь тут у нас никто не украдет, мы получили все полностью по норме: тут у нас нет пьяниц-поваров, вороватых кладовщиков, нет жадных надзирателей, воров, вырывающих лучшие продукты, — всего бесконечного начальства, объедающего, обирающего заключенных без всякого контроля, без всякого страха, без всякой совести.

Мы получили полностью свои жиры в виде комочка гидрожира, сахарный песок — меньше, чем я намывал лотком золотого песка, хлеб — липкий, вязкий хлеб, над выпечкой которого трудились великие, неподражаемые мастера привеса, кормившие и начальство пекарен. Крупа двадцати наименований, вовсе не известных нам в течение всей нашей жизни: магар, пшеничная сечка — все это было чересчур загадочно. И страшно.

Рыба, заменившая по таинственным табличкам заменны мясо, — ржавая селедка, обещавшая возместить усиленный расход наших белков.

Увы, даже полученные полностью нормы не могли питать, насыщать нас. Нам было надо втрое, вчетверо боль-

ше — организм каждого голодал давно. Мы не понимали тогда этой простой вещи. Мы верили нормам — и известное поварское наблюдение, что легче варить на двадцать человек, чем на четверых, не было нам известно. Мы понимали только одно совершенно ясно: что продуктов нам не хватит. Это нас не столько пугало, сколько удивляло. Надо было начинать работать, надо было пробивать бурелом просекой.

Деревья на Севере умирают лежа, как люди. Огромные обнаженные корни их похожи на когти исполинской хищной птицы, вцепившейся в камень. От этих гигантских когтей вниз, к вечной мерзлоте, тянулись тысячи мелких щупалец, беловатых отростков, покрытых коричневой теплой корой. Каждое лето мерзлота чуть-чуть отступала, и в каждый вершок оттаявшей земли немедленно вонзалось и укреплялось там тончайшими волосками щупальце — корень. Лиственницы достигали зрелости в триста лет, медленно поднимая свое тяжелое, мощное тело на своих слабых, распластанных вдоль по каменистой земле корнях. Сильная буря легко валила слабые на ногах деревья. Лиственницы падали навзничь, головами в одну сторону, и умирали, лежа на мягком толстом слое мха — ярко-зеленом и ярко-розовом.

Только крученые, верченые, низкорослые деревья, измученные поворотами за солнцем, за теплом, держались крепко в одиночку, далеко друг от друга. Они так долго вели напряженную борьбу за жизнь, что их истерзанная, измятая древесина никуда не годилась. Короткий суковатый ствол, обвитый страшными наростами, как лубками каких-то переломов, не годился для строительства даже на Севере, нетребовательном к материалу для возведения зданий. Эти крученые деревья и на дрова не годились — своим сопротивлением топору они могли измучить любого рабочего. Так они мстили всему миру за свою изломанную Севером жизнь.

Нашей задачей была просека, и мы смело приступили к работе. Мы пилили от солнца до солнца, валили, раскряжевывали и сносили в штабеля. Мы забыли обо всем, мы хотели здесь остаться подольше, мы боялись золотых забоев. Но штабеля росли слишком медленно, и к концу второго напряженного дня выяснилось, что сделали мы мало, больше сделать не в силах. Иван Иванович сделал метровую мерку, отмерив пять своих четвертей на срубленной молодой десятилетней лиственнице.

Вечером пришел десятник, смерил нашу работу своим посошком с зарубками и покачал головой. Мы сделали десять процентов нормы!

Иван Иванович что-то доказывал, замерял, но десятник был непреклонен. Он бормотал про какие-то «фесметры», про дрова «в плотном теле» — все это было выше нашего понимания. Ясно было одно: мы будем возвращены в лагерную зону, опять войдем в ворота с обязательной, официальной, казенной надписью: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства». Говорят, что на воротах немецких лагерей выписывалась цитата из Ницше: «Каждому свое». Подражая Гитлеру, Берия превзошел его в циничности.

Лагерь был местом, где учили ненавидеть физический труд, ненавидеть труд вообще. Самой привилегированной группой лагерного населения были блатари — не для них ли труд был геройством и доблестью?

Но мы не боялись. Более того, признание десятником безнадежности нашей работы, никчемности наших физических качеств принесло нам небывалое облегчение, вовсе не огорчая, не пугая.

Мы плыли по течению, и мы «доплывали», как говорят на лагерном языке. Нас ничто уже не волновало, нам жить было легко во власти чужой воли. Мы не заботились даже о том, чтобы сохранить жизнь, и если и спали, то тоже подчиняясь приказу, распорядку лагерного дня. Душевное спокойствие, достигнутое притупленностью наших чувств, напоминало о «высшей свободе казармы», о которой мечтал Лоуренс, или о толстовском непротивлении злу — чужая воля всегда была на страже нашего душевного спокойствия.

Мы давно стали фаталистами, мы не рассчитывали нашу жизнь далее как на день вперед. Логичным было бы съесть все продукты сразу и уйти обратно, отсидеть положенный срок в карцере и выйти на работу в забой, но мы и этого не сделали. Всякое вмешательство в судьбу, в волю богов было неприличным, противоречило кодексам лагерного поведения.

Десятник ушел, а мы остались рубить просеку, ставить новые штабеля, но уже с большим спокойствием, с большим безразличием. Теперь мы уже не ссорились, кому становиться под комель бревна, а кому под вершину, при переноске их в штабеля — трелевке, как это называется по-лесному.

Мы больше отдыхали, больше обращали внимание на солнце, на лес, на бледно-синее высокое небо. Мы фило-нили.

Утром мы с Савельевым кое-как свалили огромную черную лиственницу, чудом выстоявшую бурю и пожар. Мы бросили пилу прямо на траву, пила зазвенела о камни, и сели на ствол поваленного дерева.

— Вот,— сказал Савельев.— Помечтаем. Мы выжи-вем, уедем на материк, быстро состаримся и будем боль-ными стариками: то сердце будет колоть, то ревматиче-ские боли не дадут покоя, то грудь заболит; все, что мы сейчас делаем, как мы живем в молодые годы— бессонные ночи, голод, тяжелая многочасовая работа, зо-лотые забои в ледяной воде, холод зимой, побои конвои-ров, все это не пройдет бесследно для нас, если даже мы и останемся живы. Мы будем болеть, не зная причины бо-лезни, стонать и ходить по амбулаториям. Непосильная работа нанесла нам непоправимые раны, и вся наша жизнь в старости будет жизнью боли, бесконечной и разно-образной физической и душевной боли. Но среди этих страшных будущих дней будут и такие дни, когда нам бу-дет дышаться легче, когда мы будем почти здоровы и страдания наши не станут тревожить нас. Таких дней бу-дет не много. Их будет столько, сколько дней каждый из нас сумел профилонить в лагере.

— А честный труд?— сказал я.

— К честному труду в лагере призывают подлецы и те, которые нас бьют, калечат, съедают нашу пищу и за-ставляют работать живые скелеты— до самой смерти. Это выгодно им— этот «честный» труд. Они верят в его возможность еще меньше, чем мы.

Вечером мы сидели вокруг нашей милой печки, и Федя Щапов внимательно слушал хриплый голос Савельева.

— Ну, отказался от работы. Составили акт— одет по сезону...

— А что это значит— «одет по сезону»?— спросил Федя.

— Ну, чтобы не перечислять все зимние или летние вещи, что на тебе надеты. Нельзя ведь писать в зимнем ак-те, что послали на работу без бушлата или без рукавиц. Сколько раз ты оставался дома, когда рукавиц не было?

— У нас не оставляли,— робко сказал Федя.— Начальник дорогу топтать заставлял. А то бы это назы-валось: остался «по раздетости».

— Вот-вот.

— Ну, расскажи про метро.

И Савельев рассказывал Феде о московском метро. Нам с Иваном Ивановичем было тоже интересно послушать Савельева. Он знал такие вещи, о которых я, москвич, и не догадывался.

— У магометан, Федя,— говорил Савельев, радуясь, что мозг его еще подвижен,— на молитву скликает муэдзин с минарета. Магомет выбрал голос призывом-сигналом к молитве. Все перепробовал Магомет: трубу, игру на тамбурине, сигнальный огонь — все было отвергнуто Магометом... Через полторы тысячи лет на испытании сигнала к поездам метро выяснилось, что ни свисток, ни гудок, ни сирена не улавливаются человеческим ухом, ухом машиниста метро, с той безусловностью и точностью, как улавливается живой голос дежурного отпавителя, кричащего: «Готово!»

Федя восторженно ахал. Он был более всех нас приспособлен для лесной жизни, более опытен, несмотря на свою юность, чем любой из нас. Федя мог плотничать, мог срубить немудрящую избушку в тайге, знал, как завалить дерево и укрепить ветвями место ночевки. Федя был охотник — в его краях к оружию привыкали с детских лет. Холод и голод свели все Федины достоинства на нет, земля пренебрегала его знаниями, его умением. Федя не завидовал горожанам, он просто преклонялся перед ними, и рассказы о достижениях техники, о городских чудесах он готов был слушать без конца, несмотря на голод.

Дружба не зарождается ни в нужде, ни в беде. Те «трудные» условия жизни, которые, как говорят нам сказки художественной литературы, являются обязательным условием возникновения дружбы, просто недостаточно трудны. Если беда и нужда сплестили, родили дружбу людей — значит, это нужда не крайняя и беда не большая. Горе недостаточно остро и глубоко, если можно разделить его с друзьями. В настоящей нужде познается только своя собственная душевная и телесная крепость, определяются пределы своих возможностей, физической выносливости и моральной силы.

Мы все понимали, что выжить можно только случайно. И, странное дело, когда-то в молодости моей у меня была поговорка при всех неудачах и провалах: «Ну, с голоду не умрем». Я был уверен, всем телом уверен в этой фразе. И я в тридцать лет оказался в положении человека, умирающего с голоду по-настоящему, дерущегося из-за куска хлеба буквально,— и все это задолго до войны.

Когда мы вчетвером собрались на ключе Дусканья, мы знали все, что не для дружбы собрались мы сюда; мы знали, что, выжив, мы неохотно будем встречаться друг с другом. Нам будет неприятно вспоминать плохое: сводящий с ума голод, выпаривание вшей в обеденных наших котелках, безудержное вранье у костра, вранье-мечтанье, гастрономические басни, ссоры друг с другом и одинаковые наши сны, ибо мы все видели во сне одно и то же: пролетающие мимо нас, как болиды или как ангелы, буханки ржаного хлеба.

Человек счастлив своим умением забывать. Память всегда готова забыть плохое и помнить только хорошее. Хорошего не было на ключе Дусканья, не было его ни впереди, ни позади путей каждого из нас. Мы были отравлены Севером навсегда, и мы это понимали. Трое из нас перестали сопротивляться судьбе, и только Иван Иванович работал с тем же трагическим старанием, как и раньше.

Савельев пробовал урезонить Ивана Ивановича во время одного из перекуров. Перекур — это самый обыкновенный отдых, отдых для некурящих, ибо махорки у нас не один год не было, а перекуры были. В тайге любители курения собирали и сушили листья черной смородины, и были целые дискуссии, по-арестантски страстные, на тему: брусничный или смородинный лист вкуснее. Ни тот, ни другой никуда не годился, по мнению знатоков, ибо организм требовал никотинного яда, а не дыма, и обмануть клетки мозга таким простым способом было нельзя. Но для перекуров-отдыхов смородинный лист годился, ибо в лагере слово «отдых» во время работы слишком одиозно и идет вразрез с теми основными правилами производственной морали, которые воспитываются на Дальнем Севере. Отдыхать через каждый час — это вызов, это и преступление, но ежечасная перекурка — в порядке вещей. Так и здесь, как и во всем на Севере, явления не совпадали с правилами. Сушеный смородинный лист был естественным камуфляжем.

— Послушай, Иван,— сказал Савельев.— Я расскажу тебе одну историю. В Бамлаге на вторых путях мы возили песок на тачках. Откатка дальняя, норма двадцать пять кубометров. Меньше полноремы сделаешь — штрафной паек: триста граммов и баланда один раз в день. А тот, кто делает норму, получает килограмм хлеба, кроме приварка, да еще в магазине имеет право за наличные купить килограмм хлеба. Работали попарно. А нормы немислимые. Так мы словчили так: сегодня катаем на тебя вдвоем

из твоего забоя. Выкатаем норму. Получаем два килограмма хлеба да триста граммов штрафных моих — каждому достается кило сто пятьдесят. Завтра работаем на меня. Потом снова на тебя. Целый месяц так катали. Чем не жизнь? Главное, десятник был душа — он, конечно, знал. Ему было даже выгодно — люди не очень слабели, выработка не уменьшалась. Потом кто-то из начальства разоблачил эту штуку, и кончилось наше счастье.

— Что ж, хочешь здесь попробовать? — сказал Иван Иванович.

— Я не хочу, а просто мы тебе поможем.

— А вы?

— Нам, милый, все равно.

— Ну, и мне все равно. Пусть приходит сотский.

Сотский, то есть десятник, пришел через несколько дней. Худшие опасения наши сбылись.

— Ну, отдохнули, пора и честь знать. Дать место другим. Работа ваша вроде оздоровительного пункта или оздоровительной команды, как ОП и ОК, — важно пошутил десятник.

— Да, — сказал Савельев, —

Сначала ОП, потом ОК,  
На ногу бирку и — пока!

Посмеялись для приличия.

— Когда обратно-то?

— Да завтра и пойдем.

Иван Иванович успокоился. Он повесился ночью в десяти шагах от избы в развилке дерева, без всякой веревки — таких самоубийств мне еще не приходилось видеть. Нашел его Савельев, увидел с тропы и закричал. Подбежавший десятник не велел снимать тела до прихода «оперативки» и заторопил нас.

Федя Шапов и я собирались в великом смущении — у Ивана Ивановича были хорошие, еще целые портянки, мешочки, полотенце, запасная бязевая нижняя рубашка, из которой Иван Иванович уже выварил вшей, чиненые ватные бурки, на нарах лежала его телогрейка. После краткого совещания мы взяли все эти вещи себе. Савельев не участвовал в дележе одежды мертвеца — он все ходил около тела Ивана Ивановича. Мертвое тело всегда и везде на воле вызывает какой-то смутный интерес, притягивает, как магнит. Этого не бывает на войне и не бывает в лагере — обыденность смертей, притупленность чувств снимает интерес к мертвому телу. Но у Савельева смерть Ивана Ивановича затронула, осветила, потревожила ка-

кие-то темные уголки души, толкнула его на какие-то решения.

Он вошел в избушку, взял из угла топор и перешагнул порог. Десятник, сидевший на завалинке, вскочил и заорал непонятное что-то. Мы с Федей выскочили во двор.

Савельев подошел к толстому, короткому бревну лиственницы, на котором мы всегда пилили дрова,— бревно было изрезано, кора сколота. Он положил левую руку на бревно, растопырил пальцы и взмахнул топором.

Десятник закричал визгливо и пронзительно. Федя бросился к Савельеву — четыре пальца отлетели в опилки, их не сразу даже видно было среди веток и мелкой щепы. Алая кровь била из пальцев. Федя и я разорвали рубашку Ивана Ивановича, затащили жгут на руке Савельева, завязали рану.

Десятник увел всех нас в лагерь. Савельева — в амбулаторию для перевязки, в следственный отдел — для начала дела о членовредительстве, Федя и я вернулись в ту самую палатку, откуда две недели назад мы выходили с такими надеждами и ожиданием счастья.

Места наши на верхних нарах были уже заняты другими, но мы не заботились об этом — сейчас лето, и на нижних нарах было, пожалуй, даже лучше, чем на верхних, а пока придет зима, будет много, много перемен.

Я заснул быстро, а в середине ночи проснулся и подошел к столу дежурного дневального. Там примостился Федя с листком бумаги в руке. Через его плечо я прочел написанное.

«Мама,— писал Федя,— мама, я живу хорошо. Мама, я одет по сезону...»

1959

## ИНЖЕКТОР

*Начальнику прииска тов. А. С. Королеву  
начальника участка «Золотой ключ» Кудинова Л. В.*

### РАПОРТ

Согласно Вашему распоряжению о предоставлении объяснений по поводу шестичасового простоя 4 бригады з/к з/к, имевшего место 12 ноября с. г. на участке «Золотой ключ» вверенного Вам прииска, доношу:



Температура воздуха утром была свыше пятидесяти градусов. Наш градусник сломан дежурным надзирателем, о чем я докладывал вам. Однако определить температуру было можно, потому что плевок замерзал на лету.

Бригада была выведена своевременно, но к работе приступить не могла из-за того, что у бойлера, которым обслуживается наш участок и разогревается мерзлый грунт, вовсе отказался работать инжектор. О плохой работе инжектора я неоднократно ставил в известность главного инженера, но мер никаких не принимается, и инжектор вовсе разболтался. Заменять его в данное время главный инженер не хочет.

Плохая работа инжектора вызвала неподготовленность грунта, и бригаду пришлось держать несколько часов без работы. Греться у нас негде, а костров раскладывать не разрешают. Отправить же бригаду обратно в барак не разрешает конвой.

Я уже всюду, куда только можно, писал, что с таким инжектором я работать больше не могу. Он уже пять дней работал безобразно, а ведь от него зависит выполнение плана всего участка. Мы не можем с ним справиться, а главный инженер не обращает внимания, а только требует кубики.

К сему начальник участка «Золотой ключ» горный инженер

*Л. Кудинов.*

Наискось рапорта четким почерком выписано:

1) За отказ от работы в течение пяти дней, вызвавший срыв производства и простои на участке, з/к Инжектора арестовать на трое суток без выхода на работу, водворив его в роту усиленного режима. Дело передать в следственные органы для привлечения з/к Инжектора к законной ответственности.

2) Главному инженеру Гореву ставлю на вид отсутствие дисциплины на производстве. Предлагаю заменить з/к Инжектора вольнонаемным.

Начальник прииска

*Александр Королев.*

⟨1956⟩

Когда я вывихнул ступню, сорвавшись в шурфе со скользкой лестницы из жердей, начальству стало ясно, что я прохромаю долго, и так как без дела сидеть было нельзя, меня перевели помощником к нашему столяру Адаму Фризоргеру, чему мы оба — и Фризоргер и я — были очень рады.

В своей первой жизни Фризоргер был пастором в каком-то немецком селе близ Маркштадта на Волге. Мы встретились с ним на одной из больших пересылок во время тифозного карантина и вместе приехали сюда, в угольную разведку. Фризоргер, как и я, уже побывал в тайге, побывал и в доходягах и полусумасшедшим попал с прииска на пересылку. Нас отправили в угольную разведку как инвалидов, как обслугу — рабочие кадры разведки были укомплектованы только вольнонаемными. Правда, это были вчерашние заключенные, только что отбывшие свой «термин», или срок, и называвшиеся в лагере полупрезрительным словом «вольняшки». Во время нашего переезда у сорока человек этих вольнонаемных едва нашлось два рубля, когда понадобилось купить махорку, но все же это был уже не наш брат. Все понимали, что пройдет два-три месяца, и они приоденутся, могут выпить, паспорт получают, может быть, даже через год уедут домой. Тем ярче были эти надежды, что Парамонов, начальник разведки, обещал им огромные заработки и полярные пайки. «В цилиндрах домой поедете», — постоянно твердил им начальник. С нами же, арестантами, разговоров о цилиндрах и полярных пайках не заводилось.

Впрочем, он и не грубил нам. Заключенных ему в разведку не давали, и пять человек в обслугу — это было все, что Парамонову удалось выпросить у начальства.

Когда нас, еще не знавших друг друга, вызвали из бараков по списку и доставили пред его светлые и пронизательные очи, он остался весьма доволен опросом. Один из нас был печник, седоусый остряк ярославец Изгибин, не потерявший природной бойкости и в лагере. Мастерство ему давало кое-какую помощь, и он не был так истощен, как остальные. Вторым был одноглазый гигант из Каменец-Подольска — «паровозный кочегар», как он отрекомендовался Парамонову.

— Слесарить, значит, можешь маленько,— сказал Парамонов.

— Могу, могу,— охотно подтвердил кочегар. Он давно сообразил всю выгодность работы в вольнонаемной разведке.

Третьим был агроном Рязанов. Такая профессия привела в восторг Парамонова. На рваное тряпье, в которое был одет агроном, не было обращено, конечно, никакого внимания. В лагере не встречают людей по одежке, а Парамонов достаточно знал лагерь.

Четвертым был я. Я не был ни печником, ни слесарем, ни агрономом. Но мой высокий рост, по-видимому, успокоил Парамонова, да и не стоило возиться с исправлением списка из-за одного человека. Он кивнул головой.

Но наш пятый повел себя очень странно. Он бормотал слова молитвы и закрывал лицо руками, не слыша голоса Парамонова. Но и это начальнику не было внове. Парамонов повернулся к нарядчику, стоявшему тут же и державшему в руках желтую стопку скоросшивателей — так называемых «личных дел».

— Это столяр,— сказал нарядчик, угадывая вопрос Парамонова. Прием был закончен, и нас увезли в разведку.

Фризоргер после рассказывал мне, что, когда его вызвали, он думал, что его вызывают на расстрел, так его запугал следователь еще на прииске. Мы жили с ним целый год в одном бараке, и не было случая, чтобы мы поругались друг с другом. Это редкость среди арестантов и в лагере, и в тюрьме. Ссоры возникают по пустякам, мгновенно ругань достигает такого градуса, что кажется — следующей ступенью может быть только нож или, в лучшем случае, какая-нибудь кочерга. Но я быстро научился не придавать большого значения этой пышной ругани. Жар быстро спадал, и если оба продолжали еще долго лениво отругиваться, то это делалось больше для порядка, для сохранения «лица».

Но с Фризоргером я не ссорился ни разу. Я думаю, что в этом была заслуга Фризоргера, ибо не было человека мирнее его. Он никого не оскорблял, говорил мало. Голос у него был старческий, дребезжащий, но какой-то искусственно, подчеркнуто дребезжащий. Таким голосом говорят в театре молодые актеры, играющие стариков. В лагере многие стараются (и небезуспешно) показать себя старше и физически слабее, чем на самом деле. Все это делает

тся не всегда с сознательным расчетом, а как-то инстинктивно. Ирония жизни здесь в том, что большая половина людей, прибавляющих себе лета и убавляющих силы, дошли до состояния еще более тяжелого, чем они хотят показать.

Но ничего притворного не было в голосе Фризоргера.

Каждое утро и вечер он неслышно молился, отвернувшись от всех в сторону и глядя в пол, а если и принимал участие в общих разговорах, то только на религиозные темы, то есть очень редко, ибо арестанты не любят религиозных тем. Старый похабник, милейший Изгибин, пробовал было подсмеиваться над Фризоргером, но остроты его были встречены такой мирной улыбочкой, что изгибинский заряд шел вхолостую. Фризоргера любила вся разведка и даже сам Парамонов, которому Фризоргер сделал замечательный письменный стол, проработав над ним, кажется, полгода.

Наши койки стояли рядом, мы часто разговаривали, и иногда Фризоргер удивлялся, по-детски взмахивая небольшими ручками, встретив у меня знание каких-либо популярных евангельских историй — материал, который он по простоте душевной считал достоянием только узкого круга религиозников. Он хихикал и очень был доволен, когда я обнаруживал подобные познания. И, воодушевившись, принимался рассказывать мне то евангельское, что я помнил нетвердо или чего я не знал вовсе. Очень ему нравились эти беседы.

Но однажды, перечисляя имена двенадцати апостолов, Фризоргер ошибся. Он назвал имя апостола Павла. Я, который со всей самоуверенностью невежды считал всегда апостола Павла действительным создателем христианской религии, ее основным теоретическим вождем, знал немного биографию этого апостола и не упустил случая поправить Фризоргера.

— Нет, нет, — сказал Фризоргер, смеясь, — вы не знаете, вот. — И он стал загибать пальцы. — Питер, Пауль, Маркус...

Я рассказал ему все, что знал об апостоле Павле. Он слушал меня внимательно и молчал. Было уже поздно, пора было спать. Ночью я проснулся и в мерцающем, дымном свете коптилки увидел, что глаза Фризоргера открыты, и услышал шепот: «Господи, помоги мне! Питер, Пауль, Маркус...» Он не спал до утра. Утром он ушел на работу рано, а вечером пришел поздно, когда я уже за-

снул. Меня разбудил тихий старческий плач. Фризоргер стоял на коленях и молился.

— Что с вами?—спросил я, дождавшись конца молитвы.

Фризоргер нашел мою руку и пожал ее.

— Вы правы,—сказал он.— Пауль не был в числе двенадцати апостолов. Я забыл про Варфоломея.

Я молчал.

— Вы удивляетесь моим слезам?—сказал он.— Это слезы стыда. Я не мог, не должен был забывать такие вещи. Это грех, большой грех. Мне, Адаму Фризоргеру, указывает на мою непростительную ошибку чужой человек. Нет, нет, вы ни в чем не виноваты—это я сам, это мой грех. Но это хорошо, что вы поправили меня. Все будет хорошо.

Я едва успокоил его, и с той поры (это было незадолго до вывиха ступни) мы стали еще большими друзьями.

Однажды, когда в столярной мастерской никого не было, Фризоргер достал из кармана засаленный матерчатый бумажник и поманил меня к окну.

— Вот,—сказал он, протягивая мне крошечную обломанную фотографию— «моменталку». Это была фотография молодой женщины, с каким-то случайным, как на всех снимках «моменталок», выражением лица. Пожелтевшая, потрескавшаяся фотография была бережно обклеена цветной бумажкой.

— Это моя дочь,—сказал Фризоргер торжественно.— Единственная дочь. Жена моя давно умерла. Дочь не пишет мне, правда, адреса не знает, наверно. Я писал ей много и теперь пишу. Только ей. Я никому не показываю этой фотографии. Это из дому везу. Шесть лет назад я ее взял с комода.

В дверь мастерской бесшумно вошел Парамонов.

— Дочь, что ли?—сказал он, быстро оглядев фотографию.

— Дочь, гражданин начальник,—сказал Фризоргер, улыбаясь.

— Пишет?

— Нет.

— Чего ж она старика забыла? Напиши мне заявление о розыске, я отошлю. Как твоя нога?

— Хромаю, гражданин начальник.

— Ну, хромай, хромай.—Парамонов вышел.

С этого времени, уже не таясь от меня, Фризоргер, окончив вечернюю молитву и улегшись на койку, до-

ставал фотографию дочери и поглаживал цветной ободочек.

Так мы мирно жили около полугода, когда однажды привезли почту. Парамонов был в отъезде, и почту принимал его секретарь из заключенных Рязанов, который оказался вовсе не агрономом, а каким-то эсперантистом, что, впрочем, не мешало ему ловко снимать шкуры с павших лошадей, гнуть толстые железные трубы, наполняя их песком и раскаляя на костре, и вести всю канцелярию начальника.

— Смотри-ка,— сказал он мне,— какое заявление на имя Фризоргера прислали.

В пакете было казенное отношение с просьбой познать заключенного Фризоргера (статья, срок) с заявлением его дочери, копия которого прилагалась. В заявлении она коротко и ясно писала, что, убедившись в том, что отец является врагом народа, она отказывается от него и просит считать родство не бывшим.

Рязанов повертел в руках бумажку.

— Экая пакость,— сказал он.— Для чего ей это нужно? В партию, что ли, вступает?

Я думал о другом: для чего пересылать отцу-арестанту такие заявления? Есть ли это вид своеобразного садизма, вроде практиковавшихся извещений родственникам о мнимой смерти заключенного, или просто желание выполнить все по закону? Или еще что?

— Слушай, Ванюшка,— сказал я Рязанову.— Ты регистрировал почту?

— Где же, только сейчас пришла.

— Отдай-ка мне этот пакет.— И я рассказал Рязанову, в чем дело.

— А письмо?— сказал он неуверенно.— Она ведь напишет, наверное, и ему.

— Письмо ты тоже удержишь.

— Ну бери.

Я скомкал пакет и бросил его в открытую дверцу топящейся печки.

Через месяц пришло и письмо, такое же короткое, как и заявление, и мы его сожгли в той же самой печке.

Вскоре меня куда-то увезли, а Фризоргер остался, и как он жил дальше — я не знаю. Я часто вспоминал его, пока были силы вспоминать. Слышал его дрожащий, взволнованный шепот: «Питер, Пауль, Маркус...»

(1954)

Фадеев сказал:

— Подожди-ка, я с ним сам поговорю,— подошел ко мне и поставил приклад винтовки около моей головы.

Я лежал в снегу, обняв бревно, которое я уронил с плеча и не мог поднять и занять свое место в цепочке людей, спускающихся с горы,— у каждого на плече было бревно, «палка дров», у кого побольше, у кого поменьше: все торопились домой, и конвоиры и заключенные, всем хотелось есть, спать, очень надоел бесконечный зимний день. А я— лежал в снегу.

Фадеев всегда говорил с заключенными на «вы».

— Слушайте, старик,— сказал он,— быть не может, чтобы такой лоб, как вы, не мог нести такого полена, палочки, можно сказать. Вы явный симулянт. Вы фашист. В час, когда наша родина сражается с врагом, вы суете ей палки в колеса.

— Я не фашист,— сказал я,— я больной и голодный человек. Это ты фашист. Ты читаешь в газетах, как фашисты убивают стариков. Подумай о том, как ты будешь рассказывать своей невесте, что ты делал на Колыме.

Мне было все равно. Я не выносил розовощеких, здоровых, сытых, хорошо одетых, я не боялся. Я согнулся, защищая живот, но и это было прародительским, инстинктивным движением— я вовсе не боялся ударов в живот. Фадеев ударил меня сапогом в спину. Мне стало внезапно тепло, а совсем не больно. Если я умру— тем лучше.

— Послушайте,— сказал Фадеев, когда повернул меня лицом к небу носками своих сапог.— Не с первым с вами я работаю и повидал вашего брата.

Подошел другой конвоир— Серошапка.

— Ну-ка, покажись, я тебя запомню. Да какой ты злой да некрасивый. Завтра я тебя пристрелю собственноручно. Понял?

— Понял,— сказал я, поднимаясь и сплевывая соленую кровавую слюну.

Я поволок бревно волоком под улюлюканье, крик, ругань товарищей— они замерзли, пока меня били.

На следующее утро Серошапка вывел нас на работу— в вырубленный еще прошлой зимой лес собирать все, что можно сжечь зимой в железных печах. Лес валили зи-

мой — пеньки были высокие. Мы вырывали их из земли вагами-рычагами, пилили и складывали в штабеля.

На редких уцелевших деревьях вокруг места нашей работы Серошапка развесил вешки, связанные из желтой и серой сухой травы, очертив этими вешками запретную зону.

Наш бригадир развел на пригорке костер для Серошапки — костер на работе полагался только конвоем, — натаскал дров в запас.

Выпавший снег давно разнесло ветрами. Стылая заиндевевшая трава скользила в руках и меняла цвет от прикосновения человеческой руки. На кочках леденел невысокий горный шиповник, темно-лиловые замороженные ягоды были аромата необычайного. Еще вкуснее шиповника была брусника, тронутая морозом, перезревшая, сияя... На коротеньких прямых веточках висели ягоды голубики — яркого синего цвета, сморщенные, как пустой кожаный кошелек, но хранившие в себе темный, иссиня-черный сок неизреченного вкуса.

Ягоды в эту пору, тронутые морозом, вовсе не похожи на ягоды зрелости, ягоды сочной поры. Вкус их гораздо тоньше.

Рыбаков, мой товарищ, набирал ягоды в консервную банку в наш перекур и даже в те минуты, когда Серошапка смотрел в другую сторону. Если Рыбаков наберет полную банку, ему повар отряда охраны даст хлеба. Предприятие Рыбакова сразу становилось важным делом.

У меня не было таких заказчиков, и я ел ягоды сам, бережно и жадно прижимая языком к небу каждую ягоду — сладкий душистый сок раздавленной ягоды дурманил меня на секунду.

Я не думал о помощи Рыбакову в сборе, да и он не захотел бы такой помощи — хлебом пришлось бы делиться.

Баночка Рыбакова наполнялась слишком медленно, ягоды становились все реже и реже, и незаметно для себя, работая и собирая ягоды, мы придвинулись к границам зоны — вешки повисли над нашей головой.

— Смотри-ка, — сказал я Рыбакову, — вернемся.

А впереди были кочки с ягодами шиповника, и голубики, и брусники... Мы видели эти кочки давно. Дереву, на котором висела вешка, надо было стоять на два метра подалее.

Рыбаков показал на банку, еще не полную, и на спускающееся к горизонту солнце и медленно стал подходить к очарованным ягодам.



Сухо щелкнул выстрел, и Рыбаков упал между кочек лицом вниз. Серошапка, размахивая винтовкой, кричал: — Оставьте на месте, не подходите!

Серошапка отвел затвор и выстрелил еще раз. Мы знали, что значит этот второй выстрел. Знал это и Серошапка. Выстрелов должно быть два — первый бывает предупредительный.

Рыбаков лежал между кочками неожиданно маленький. Небо, горы, река были огромны, и бог весть сколько людей можно уложить в этих горах на тропках между кочками.

Баночка Рыбакова откатилась далеко, я успел подобрать ее и спрятать в карман. Может быть, мне дадут хлеба за эти ягоды — я ведь знал, для кого их собирал Рыбаков.

Серошапка спокойно построил наш небольшой отряд, пересчитал, скомандовал и повел нас домой.

Концом винтовки он задел мое плечо, и я повернулся.

— Тебя хотел, — сказал Серошапка, — да ведь не сунулся, сволочь!..

1959

## СУКА ТАМАРА

Суку Тамару привел из тайги наш кузнец — Моисей Моисеевич Кузнецов. Судя по фамилии, профессия у него была родовой. Моисей Моисеевич был уроженцем Минска. Был Кузнецов сиротой, как, впрочем, можно было судить по его имени и отчеству — у евреев сына называют именем отца только и обязательно, если отец умирает до рождения сына. Работе он учился с мальчиков — у дяди, такого же кузнеца, каким был отец Моисея.

Жена Кузнецова была официанткой одного из минских ресторанов, была много моложе сорокалетнего мужа и в тридцать седьмом году, по совету своей задушевной подружки-буфетчицы, написала на мужа донос. Это средство в те годы было вернее всякого заговора или наговора и даже вернее какой-нибудь серной кислоты — муж, Моисей Моисеевич, немедленно исчез. Кузнец он был заводской, не простой коваль, а мастер, даже немножко поэт, работник той породы кузнецов, что могли отковать розу. Инструмент, которым он работал, был изготовлен им собственноручно. Инструмент этот — шипцы, долота, мо-

лотки, кувалды — имел несомненное изящество, что отличало любовь к своему делу и понимание мастером души своего дела. Тут дело было вовсе не в симметрии или асимметрии, а кое в чем более глубоком, более внутреннем. Каждая подкова, каждый гвоздь, откованный Моисеем Моисеевичем, были изящны, и на всякой вещи, выходящей из его рук, была эта печать мастера. Над всякой вещью он оставлял работу с сожалением: ему все казалось, что нужно ударить еще раз, сделать еще лучше, еще удобней.

Начальство его очень ценило, хотя кузнечная работа для геологического участка была невелика. Моисей Моисеевич шутил иногда шутки с начальством, и эти шутки ему прощались за хорошую работу. Так, он заверил начальство, что буры лучше закаляются в масле, чем в воде, и начальник выписывал в кузницу сливочное масло — вничтожном, конечно, количестве. Малое количество этого масла Кузнецов бросал в воду, и кончики стальных буров приобретали мягкий блеск, которого никогда не бывало при обычном закаливании. Остальное масло Кузнецов и его молотобоец съедали. Начальнику вскорости донесли о комбинациях кузнеца, но никаких репрессий не последовало. Позднее Кузнецов, настойчиво уверяя в высоком качестве масляного закаливания, выпросил у начальника обрезки масляных брусков, тронутых плесенью на складе. Эти обрезки кузнец перетапливал и получал топленое, чуть-чуть горьковатое масло. Человек он был хороший, тихий и всем желал добра.

Начальник наш знал все тонкости жизни. Он, как Ликург, позаботился о том, чтобы в его таежном государстве было два фельдшера, два кузнеца, два десятника, два повара, два бухгалтера. Один фельдшер лечил, а другой работал на черной работе и следил за своим коллегой — не совершит ли тот чего-либо противозаконного. Если фельдшер злоупотреблял «наркотикой» — всяким «кодеинчиком» и «кофеинчиком», он разоблачался, подвергался наказанию и отправлялся на общие работы, а его коллега, составив и подписав приемочный акт, водворялся в медицинской палатке. По мысли начальника, резервные кадры специалистов не только обеспечивали замену в нужный момент, но и способствовали дисциплине, которая, конечно, сразу упала бы, если хоть один специалист чувствовал себя незаменимым.

Но бухгалтеры, фельдшера, десятники менялись местами довольно бездумно и, уж во всяком случае, не отка-

зывались от стопки спирту, хотя бы ее подносил провокатор.

Кузнецу, подобранному начальником в качестве противовеса Моисею Моисеевичу, так и не пришлось держать молотка в руках — Моисей Моисеевич был безупречен, неуязвим, да и квалификация его была высока.

Он-то и встретил на таежной тропе неизвестную якутскую собаку волчьего вида: суку с полоской вытертой шерсти на белой груди — это была ездовая собака.

Ни поселков, ни кочевых стойбищ якутских вокруг нас не было — собака возникла на таежной тропе перед Кузнецовым, перепуганным до крайности. Моисей Моисеевич подумал, что это волк, и побежал назад, хлюпая сапогами по тропинке, — за Кузнецовым шли другие.

Но волк лег на брюхо и подполз, виляя хвостом, к людям. Его погладили, похлопали по тощим бокам и накормили.

Собака осталась у нас. Скоро стало ясно, почему она не рискнула искать своих настоящих хозяев в тайге.

Ей было время щениться — в первый же вечер она начала рыть яму под палаткой, торопливо, едва отвлекаясь на приветствия. Каждому из пятидесяти хотелось ее погладить, приласкать и собственную свою тоску по ласке рассказать, передать животному.

Сам прораб Касаев, тридцатилетний геолог, справивший недавно десятилетие своей работы на Дальнем Севере, вышел, продолжая наигрывать на неразлучной своей гитаре, и осмотрел нового нашего жителя.

— Пусть он называется Боец, — сказал прораб.

— Это сука, Валентин Иванович, — радостно сказал Славка Ганушкин, повар.

— Сука? Ах, да. Тогда пусть называется Тамарой. — И прораб удалился.

Собака улыбнулась ему вслед, повиляла хвостом. Она быстро установила хорошие отношения со всеми нужными людьми. Тамара понимала роль Касаева и десятника Василенко в нашем поселке, понимала важность дружбы с поваром. На ночь заняла место рядом с ночным сторожем.

Скоро выяснилось, что Тамара берет пищу только из рук и ничего не трогает ни на кухне, ни в палатке, есть там люди или нет.

Эта твердость нравственная особенно умиляла выдавших виды и бывавших во всяких переплетах жителей поселка.

Перед Тамарой раскладывали на полу консервированное мясо, хлеб с маслом. Собака обнюхивала съестные припасы, выбирала и уносила всегда одно и то же — кусок соленой кеты, самое родное, самое вкусное, наверняка безопасное.

Сука вскоре оценилась — шесть маленьких щенят стало в темной яме. Щенятам сделали конуру, перетащили их туда. Тамара долго волновалась, унижалась, виляла хвостом, но, по-видимому, все было в порядке, щенки были целы.

В это время поисковой партии пришлось подвинуться еще километра на три в горы — от базы, где были склады, кухня, начальство, место жилья было километрах в семи. Конура со щенятами была взята на новое место, и Тамара дважды и трижды в день бегала к повару и тащила щенятам в зубах какую-нибудь кость, которую ей давал повар. Щенят бы накормили и так, но Тамара никогда не была в этом уверена.

Случилось так, что в наш поселок прибыл лыжный отряд «оперативки», рыскавший в тайге в поисках беглецов. Побег зимой — крайне редкое дело, но были сведения, что с соседнего прииска бежали пять арестантов, и тайгу прочесывали.

На поселке лыжному отряду отвели не палатку, вроде той, в которой мы жили, а единственное в поселке рубленое здание — баню. Миссия лыжников была слишком серьезна, чтобы вызвать чьи-либо протесты, как объяснил нам прораб Касаев.

Жители отнеслись к незванным гостям с привычным безразличием, покорностью. Только одно существо выразило резкое недовольство по этому поводу.

Сука Тамара молча бросилась на ближайшего охранника и прокусила ему валенок. Шерсть на Тамаре стояла дыбом, и бесстрашная злоба была в ее глазах. Собаку с трудом отогнали, удержали.

Начальник опергруппы Назаров, о котором мы кое-что слышали и раньше, схватился было за автомат, чтобы пристрелить собаку, но Касаев удержал его за руку и втащил за собой в баню.

По совету плотника Семена Парменова на Тамару надели веревочную лямку и привязали ее к дереву — не век же оперативники будут у нас жить.

Лаять Тамара не умела, как всякая якутская собака. Она рычала, старые клыки пытались перегрызть веревку — это была совсем не та мирная якутская сука, которая

прожила с нами зиму. Ненависть ее была необыкновенна, и за этой ненавистью вставало ее прошлое: не в первый раз собака встречалась с конвоирами, это было видно каждому.

Какая лесная трагедия осталась навсегда в собачьей памяти? Было ли это страшное былое причиной появления якутской суки в тайге близ нашего поселка?

Назаров мог бы, вероятно, кое-что рассказать, если помнил не только людей, но и животных.

Дней через пять ушли три лыжника, а Назаров с приятелем и с нашим прорабом собрались уходить на следующее утро. Всю ночь они пили, опохмелились на рассвете и пошли.

Тамара зарычала, и Назаров вернулся, снял с плеча автомат и выпустил в собаку патронную очередь в упор. Тамара дернулась и замолчала. Но на выстрел уже бежали из палаток люди, хватая топоры, ломы. Прораб бросился наперерез рабочим, и Назаров скрылся в лесу.

Иногда исполняются желания, а может быть, ненависть всех пятидесяти человек к этому начальнику была так страстна и велика, что стала реальной силой и догнала Назарова.

Назаров ушел на лыжах вдвоем со своим помощником. Они пошли не руслом вымерзшей до дна реки — лучшей зимней дороги к большому шоссе в двадцати километрах от нашего поселка, — а горами через перевал. Назаров боялся погони, притом путь горами был ближе, а лыжник он был превосходный.

Уже стемнело, когда поднялись они на перевал, только на вершинах гор был еще день, а провалы ущелий были темными. Назаров стал спускаться с горы наискось, лес стал гуще. Назаров понял, что ему надо остановиться, но лыжи увлекали его вниз, и он налетел на длинный, обточенный временем пень упавшей лиственницы, укрытой под снегом. Пень пропорол Назарову брюхо и спину, разорвав шинель. Второй боец был далеко внизу на лыжах, он добежал до шоссе и только на другой день поднял тревогу. Нашли Назарова через два дня, он висел на этом пне зачленевший в позе движения, бега, похожий на фигуру из батальной диорамы.

Шкуру с Тамары содрали, растянули гвоздями на стене конюшни, но растянули плохо — высохшая шкура стала совсем маленькой, и нельзя было подумать, что она была в пору крупной ездовой якутской лайке.

Приехал вскоре лесничий выписывать задним числом билеты на порубки леса, произведенные больше года назад. Когда валили деревья, никто не думал о высоте пеньков, пеньки оказались выше нормы — требовалась повторная работа. Это была легкая работа. Лесничему дали купить кое-что в магазине, дали денег, спирту. Уезжая, лесничий выпросил собачью шкуру, висевшую на стене конюшни, — он ее выделает и сошьет «собачины» — северные собачьи рукавицы мехом вверх. Дыры на шкуре от пуль не имели, по его словам, значения.

1959

## ШЕРРИ-БРЕНДИ

Поэт умирал. Большие, вздутые голодом кисти рук с белыми бескровными пальцами и грязными, отросшими трубочкой ногтями лежали на груди, не прячась от холода. Раньше он совал их за пазуху, на голое тело, но теперь там было слишком мало тепла. Рукавицы давно украли; для краж нужна была только наглость — воровали среди бела дня. Тусклое электрическое солнце, загаженное мухами и закованное круглой решеткой, было прикреплено высоко под потолком. Свет падал в ноги поэта — он лежал, как в ящике, в темной глубине нижнего ряда силовых двухэтажных нар. Время от времени пальцы рук двигались, щелкали, как кастаньеты, и ощупывали пуговицу, петлю, дыру на бушлате, смахивали какой-то сор и снова останавливались. Поэт так долго умирал, что перестал понимать, что он умирает. Иногда приходила, болезненно и почти ощутимо проталкиваясь через мозг, какая-нибудь простая и сильная мысль — что у него украли хлеб, который он положил под голову. И это было так обжигающе страшно, что он готов был спорить, ругаться, драться, искать, доказывать. Но сил для всего этого не было, и мысль о хлебе слабела... И сейчас же он думал о другом, о том, что всех должны везти за море, и почему-то опаздывает пароход, и хорошо, что он здесь. И так же легко и зыбко он начинал думать о большом родимом пятне на лице дневального барака. Большую часть суток он думал о тех событиях, которые наполняли его жизнь здесь. Видения, которые вставали перед его глазами, не были видениями детства, юности, успеха. Всю жизнь он куда-то спешил. Было прекрасно, что торопиться не надо,

что думать можно медленно. И он не спеша думал о великом однообразии предсмертных движений, о том, что поняли и описали врачи раньше, чем художники и поэты. Гиппократово лицо — предсмертная маска человека — известно всякому студенту медицинского факультета. Это загадочное однообразие предсмертных движений послужило Фрейдю поводом для самых смелых гипотез. Однообразие, повторение — вот обязательная почва науки. То, что в смерти неповторимо, искали не врачи, а поэты. Приятно было сознавать, что он еще может думать. Голодная тошнота стала давно привычной. И все было равноправно — Гиппократ, дневальный с родимым пятном и его собственный грязный ноготь.

Жизнь входила в него и выходила, и он умирал. Но жизнь появлялась снова, открывались глаза, появлялись мысли. Только желаний не появлялось. Он давно жил в мире, где часто приходится возвращать людям жизнь — искусственным дыханием, глюкозой, камфорой, кофеином. Мертвый вновь становился живым. И почему бы нет? Он верил в бессмертие, в настоящее человеческое бессмертие. Часто думал, что просто нет никаких биологических причин, почему бы человеку не жить вечно... Старость — это только излечимая болезнь, и, если бы не это не разгаданное до сей минуты трагическое недоразумение, он мог бы жить вечно. Или до тех пор, пока не устанет. А он вовсе не устал жить. Даже сейчас, в этом пересыльном бараке, «транзитке», как любовно выговаривали здешние жители. Она была преддверием ужаса, но сама ужасом не была. Напротив, здесь жил дух свободы, и это чувствовалось всеми. Впереди был лагерь, позади — тюрьма. Это был «мир в дороге», и поэт понимал это.

Был еще один путь бессмертия — тютчевский:

Блажен, кто посетил сей мир  
В его минуты роковые.

Но если уж ему, как видно, не придется быть бессмертным в человеческом образе, как некая физическая единица, то уж творческое-то бессмертие он заслужил. Его называли первым русским поэтом двадцатого века, и он часто думал, что это действительно так. Он верил в бессмертие своих стихов. У него не было учеников, но разве поэты их терпят? Он писал и прозу — плохую, писал статьи. Но только в стихах он нашел кое-что новое для поэзии, важное, как казалось ему всегда. Вся его прошлая жизнь бы-

ла литературой, книгой, сказкой, сном, и только настоящий день был подлинной жизнью.

Все это думалось не в споре, а потаенно, где-то глубоко в себе. Размышлениям этим не хватало страсти. Равнодушные давно владело им. Какими все это было пустяками, «мышьей беготней» по сравнению с недоброй тяжестью жизни. Он удивлялся себе — как он может думать так о стихах, когда все уже было решено, а он это знал очень хорошо, лучше, чем кто-либо? Кому он нужен здесь и кому он равен? Почему же все это надо было понять, и он ждал... и понял.

В те минуты, когда жизнь возвращалась в его тело и его полуоткрытые мутные глаза вдруг начинали видеть, веки вздрагивать и пальцы шевелиться, возвращались и мысли, о которых он не думал, что они — последние.

Жизнь входила сама как самовластная хозяйка: он не звал ее, и все же она входила в его тело, в его мозг, входила, как стихи, как вдохновение. И значение этого слова впервые открылось ему во всей полноте. Стихи были той животворящей силой, которой он жил. Именно так. Он не жил ради стихов, он жил стихами.

Сейчас было так наглядно, так ошутимо ясно, что вдохновение и было жизнью; перед смертью ему дано было узнать, что жизнь была вдохновением, именно вдохновением.

И он радовался, что ему дано было узнать эту последнюю правду.

Все, весь мир сравнивался со стихами: работа, конский топот, дом, птица, скала, любовь — вся жизнь легко входила в стихи и там размещалась удобно. И это так и должно было быть, ибо стихи были словом.

Строфы и сейчас легко вставали, одна за другой, и, хоть он давно не записывал и не мог записывать своих стихов, все же слова легко вставали в каком-то заданном и каждый раз необычайном ритме. Рифма была искателем, инструментом магнитного поиска слов и понятий. Каждое слово было частью мира, оно откликалось на рифму, и весь мир проносился с быстротой какой-нибудь электронной машины. Все кричало: возьми меня. Нет, меня. Искать ничего не приходилось. Приходилось только отбрасывать. Здесь было как бы два человека — тот, который сочиняет, который запустил свою вертушку всюю, и другой, который выбирает и время от времени останавливает запущенную машину. И, увидя, что он — это



два человека, поэт понял, что сочиняет сейчас настоящие стихи. А что в том, что они не записаны? Записать, напечатать — все это суета сует. Все, что рождается небескорыстно, — это не самое лучшее. Самое лучшее то, что не записано, что сочинено и исчезло, растаяло без следа, и только творческая радость, которую ощущает он и которую ни с чем не спутать, доказывает, что стихотворение было создано, что прекрасное было создано. Не ошибается ли он? Безошибочна ли его творческая радость?

Он вспомнил, как плохи, как поэтически беспомощны были последние стихи Блока и как Блок этого, кажется, не понимал...

Поэт заставил себя остановиться. Это было легче делать здесь, чем где-нибудь в Ленинграде или Москве.

Тут он поймал себя на том, что он уже давно ни о чем не думает. Жизнь опять уходила из него.

Долгие часы он лежал неподвижно и вдруг увидел недалеко от себя нечто вроде стрелковой мишени или геологической карты. Карта была немая, и он тщетно пытался понять изображенное. Прошло немало времени, пока он сообразил, что это его собственные пальцы. На кончиках пальцев еще оставались коричневые следы докуренных, дососанных махорочных папирос — на подушечках ясно выделялся дактилоскопический рисунок, как чертеж горного рельефа. Рисунок был одинаков на всех десяти пальцах — концентрические кружки, похожие на срез дерева. Он вспомнил, как однажды в детстве его остановил на бульваре китаец из прачечной, которая была в подвале того дома, где он вырос. Китаец случайно взял его за руку, за другую, вывернул ладони вверх и возбужденно закричал что-то на своем языке. Оказалось, что он объявил мальчика счастливым, обладателем верной приметы. Эту метку счастья поэт вспоминал много раз, особенно часто тогда, когда напечатал свою первую книжку. Сейчас он вспоминал китайца без злобы и без иронии — ему было все равно.

Самое главное, что он еще не умер. Кстати, что значит: умер как поэт? Что-то детски наивное должно быть в этой смерти. Или что-то нарочитое, театральное, как у Есенина, у Маяковского.

Умер как актер — это еще понятно. Но умер как поэт?

Да, он догадывался кое о чем из того, что ждало его впереди. На пересылке он многое успел понять и угадать. И он радовался, тихо радовался своему бессилию и на-

деялся, что умрет. Он вспомнил давнишний тюремный спор: что хуже, что страшнее — лагерь или тюрьма? Никто ничего толком не знал, аргументы были умозрительные, и как жестоко улыбался человек, привезенный из лагеря в ту тюрьму. Он запомнил улыбку этого человека навсегда, так, что боялся ее вспоминать.

Подумайте, как ловко он их обманет, тех, что привезли его сюда, если сейчас умрет, — на целых десять лет. Он был несколько лет назад в ссылке и знал, что он занесен в особые списки навсегда. Навсегда?! Масштабы сместились, и слова изменили смысл.

Снова он почувствовал начинающийся прилив сил, именно прилив, как в море. Многочасовой прилив. А потом — отлив. Но море ведь не уходит от нас навсегда. Он еще поправится.

Внезапно ему захотелось есть, но не было силы двигаться. Он медленно и трудно вспомнил, что отдал сегоднешний суп соседу, что кружка кипятку была его единственной пищей за последний день. Кроме хлеба, конечно. Но хлеб выдавали очень, очень давно. А вчерашний — украли. У кого-то еще были силы воровать.

Так он лежал легко и бездумно, пока не наступило утро. Электрический свет стал чуть желтее, и принесли на больших фанерных подносах хлеб, как приносили каждый день.

Но он уже не волновался, не высматривал горбушку, не плакал, если горбушка доставалась не ему, не запихивал в рот дрожащими пальцами довесок, и довесок мгновенно таял во рту, ноздри его надувались, и он всем своим существом чувствовал вкус и запах свежего ржаного хлеба. А довеска уже не было во рту, хотя он не успел сделать глотка или пошевелить челюстью. Кусок хлеба растаял, исчез, и это было чудо — одно из многих здешних чудес. Нет, сейчас он не волновался. Но когда ему вложили в руки его суточную пайку, он обхватил ее своими бескровными пальцами и прижал хлеб ко рту. Он кусал хлеб цинготными зубами, десны кровоточили, зубы шатались, но он не чувствовал боли. Изо всех сил он прижимал ко рту, запихивал в рот хлеб, сосал его, рвал и грыз...

Его останавливали соседи.

— Не ешь все, лучше потом съешь, потом...

И поэт понял. Он широко раскрыл глаза, не выпуская окровавленного хлеба из грязных синеватых пальцев.

— Когда потом? — отчетливо и ясно выговорил он. И закрыл глаза.

К вечеру он умер.

Но списали его на два дня позднее, — изобретательным соседям его удавалось при раздаче хлеба двое суток получать хлеб на мертвеца; мертвец поднимал руку, как кукла-марионетка. Стало быть, он умер раньше даты своей смерти — немаловажная деталь для будущих его биографов.

1958

## ДЕТСКИЕ КАРТИНКИ

Нас выгоняли на работу без всяких списков, отсчитывали в воротах пятерки. Строили всегда по пятеркам, ибо таблицей умножения умели бегло пользоваться далеко не все конвоиры. Любое арифметическое действие, если его производить на морозе и притом на живом материале, — штука серьезная. Чаша арестантского терпения может переполниться внезапно, и начальство считалось с этим.

Нынче у нас была легкая работа, блатная работа — пилка дров на циркулярной пиле. Пила вращалась в станке, легонько постукивая. Мы заваливали огромное бревно на станок и медленно подвигали к пиле.

Пила взвизгивала и яростно рычала — ей, как и нам, не нравилась работа на Севере, но мы двигали бревно все вперед и вперед, и вот бревно распадалось на две части, неожиданно легкие отрезки.

Третий наш товарищ колот дрова тяжелым синеватым колуном на длинной желтой ручке. Толстые чурки он окальывал с краев, те, что потоньше, разрубал с первого удара. Удары были слабы — товарищ наш был так же голоден, как и мы, но замороженная лиственница колется легко. Природа на Севере не безразлична, не равнодушна — она в сговоре с теми, кто послал нас сюда.

Мы кончили работу, сложили дрова и стали ждать конвоя. Конвоир-то у нас был, он грелся в учреждении, для которого мы пилили дрова, но домой полагалось возвращаться в полном параде — всей партией, разбившейся в городе на малые группы.

Кончив работу, греться мы не пошли. Давно уже мы заметили большую мусорную кучу близ забора — дело, которым нельзя пренебрегать. Оба моих товарища ловко и привычно обследовали кучу, снимая заледевшие на-

слоения одно за другим. Куски замороженного хлеба, смерзшийся комок котлет и рваные мужские носки были их добычей. Самым ценным были, конечно, носки, и я жалел, что не мне досталась эта находка. Носки, шарфы, перчатки, рубашки, брюки вольные — «штатские» — большая ценность среди людей, десятилетиями надевающих лишь казенные вещи. Носки можно починить, залатать — вот и табак, вот и хлеб.

Удача товарищей не давала мне покоя. Я тоже отламывал ногами и руками разноцветные куски мусорной кучи. Отодвинув какую-то тряпку, похожую на человеческие кишки, я увидел — впервые за много лет — серую ученическую тетрадку.

Это была обыкновенная школьная тетрадка, детская тетрадка для рисования. Все ее страницы были разрисованы красками, тщательно и трудолюбиво. Я перевертывал хрупкую на морозе бумагу, заиндевелые яркие и холодные наивные листы. И я рисовал когда-то — давно это было, — примостясь у семилинейной керосиновой лампы на обеденном столе. От прикосновения волшебных кисточек оживал мертвый богатырь сказки, как бы sprыснутый живой водой. Акварельные краски, похожие на женские пуговицы, лежали в белой жестяной коробке. Иван Царевич на сером волке скакал по еловому лесу. Елки были меньше серого волка. Иван Царевич сидел верхом на волке так, как эвенки ездят на оленях, почти касаясь пятками мха. Дым пружинной поднимался к небу, и птички, как отчеркнутые галочки, виднелись в синем звездном небе.

И чем сильнее я вспоминал свое детство, тем яснее понимал, что детство мое не повторится, что я не встречу и тени его в чужой ребяческой тетради.

Это была грозная тетрадь.

Северный город был деревянным, заборы и стены домов красились светлой охрой, и кисточка юного художника честно повторила этот желтый цвет везде, где мальчик хотел говорить об уличных зданиях, об изделии рук человеческих.

В тетрадке было много, очень много заборов. Люди и дома почти на каждом рисунке были огорожены желтыми ровными заборами, обвитыми черными линиями колючей проволоки. Железные нити казенного образца покрывали все заборы в детской тетрадке.

Около забора стояли люди. Люди тетрадки не были ни крестьянами, ни рабочими, ни охотниками — это были сол-

даты, это были конвойные и часовые с винтовками. Дождевые будки-грибы, около которых юный художник разместил конвойных и часовых, стояли у подножья огромных караульных вышек. И на вышках ходили солдаты, блестя винтовочные стволы.

Тетрадка была невелика, но мальчик успел нарисовать в ней все времена года своего родного города.

Яркая земля, однотонно-зеленая, как на картинах раннего Матисса, и синее-синее небо, свежее, чистое и ясное. Закаты и восходы были добротны алыми, и это не было детским неумением найти полутона, цветовые переходы, раскрыть секреты светотени.

Сочетания красок в школьной тетради были правдивым изображением неба Дальнего Севера, краски которого необычайно чисты и ясны и не имеют полутонов.

Я вспомнил старую северную легенду о боге, который был еще ребенком, когда создавал тайгу. Красок было немного, краски были по-ребячески чисты, рисунки просты и ясны, сюжеты их немудреные.

После, когда бог вырос, стал взрослым, он научился вырезать причудливые узоры листвы, выдумал множество разноцветных птиц. Детский мир надоел богу, и он закидал снегом таежное свое творенье и ушел на юг навсегда. Так говорила легенда.

И в зимних рисунках ребенок не отошел от истины. Зелень исчезла. Деревья были черными и голыми. Это были даурские лиственницы, а не сосны и елки моего детства.

Шла северная охота; зубастая немецкая овчарка натягивала поводок, который держал в руке Иван Царевич. Иван Царевич был в шапке-ушанке военного образца, в белом овчинном полушубке, в валенках и в глубоких рукавицах, крагах, как их называют на Дальнем Севере. За плечами Ивана Царевича висел автомат. Голые треугольные деревья были натканы в снег.

Ребенок ничего не увидел, ничего не запомнил, кроме желтых домов, колючей проволоки, вышек, овчарок, конвоиров с автоматами и синего, синего неба.

Товарищ мой заглянул в тетрадку и пощупал листы.

— Газету бы лучше искал на курево.— Он вырвал тетрадку из моих рук, скомкал и бросил в мусорную кучу. Тетрадка стала покрываться инеем.

## СГУЩЕННОЕ МОЛОКО

От голода наша зависть была тупа и бессильна, как каждое из наших чувств. У нас не было силы на чувства, на то, чтобы искать работу полегче, чтобы ходить, спрашивать, просить... Мы завидовали только знакомым, тем, вместе с которыми мы явились в этот мир, тем, кому удалось попасть на работу в контору, в больницу, в конюшню — там не было многочасового тяжелого физического труда, прославленного на фронтонах всех ворот как дело доблести и геройства. Словом, мы завидовали только Шестакову.

Только что-либо внешнее могло вывести нас из безразличия, отвести от медленно приближающейся смерти. Внешняя, а не внутренняя сила. Внутри все было выжжено, опустошено, нам было все равно, и дальше завтрашнего дня мы не строили планов.

Вот и сейчас — хотелось уйти в барак, лечь на нары, а я все стоял у дверей продуктового магазина. В этом магазине могли покупать только осужденные по бытовым статьям, а также причисленные к «друзьям народа» воры-рецидивисты. Нам там было нечего делать, но нельзя было отвести глаз от хлебных буханок шоколадного цвета; сладкий и тяжелый запах свежего хлеба щекотал ноздри — даже голова кружилась от этого запаха. И я стоял и не знал, когда я найду в себе силы уйти в барак, и смотрел на хлеб. И тут меня окликнул Шестаков.

Шестакова я знал по Большой земле, по Бутырской тюрьме: сидел с ним в одной камере. Дружбы у нас там не было, было просто знакомство. На прииске Шестаков не работал в забое. Он был инженер-геолог, и его взяли на работу в геологоразведку, в контору, стало быть. Счастливцев едва здоровался со своими московскими знакомыми. Мы не обижались — мало ли что ему могли на сей счет приказать. Своя рубашка и т. д.

— Кури, — сказал Шестаков и протянул мне обрывок газеты, насыпал махорки, зажег спичку, настоящую спичку...

Я закурил.

— Мне надо с тобой поговорить, — сказал Шестаков.

— Со мной?

— Да.

Мы отошли за бараки и сели на борт старого забоя. Ноги мои сразу отяжелели, а Шестаков весело болтал

своими новенькими казенными ботинками, от которых слегка пахло рыбьим жиром. Брюки завернулись и открыли шахматные носки. Я обозревал шестаковские ноги с истинным восхищением и даже некоторой гордостью — хоть один человек из нашей камеры не носит портянок. Земля под нами тряслась от глухих взрывов — это готовили грунт для ночной смены. Маленькие камешки падали у наших ног, шелестя, серые и незаметные, как птицы.

— Отойдем подальше,— сказал Шестаков.

— Не убьет, не бойся. Носки будут целы.

— Я не о носках,— сказал Шестаков и провел указательным пальцем по горизонту.— Как ты смотришь на все это?

— Умрем, наверно,— сказал я. Меньше всего мне хотелось думать об этом.

— Ну нет, умирать я не согласен.

— Ну?

— У меня есть карта,— вяло сказал Шестаков.— Я возьму рабочих, тебя возьму и пойду на Черные Ключи — это пятнадцать километров отсюда. У меня будет пропуск. И мы уйдем к морю. Согласен?

Он выложил все это равнодушной скороговоркой.

— А у моря? Поплывем?

— Все равно. Важно начать. Так жить я не могу. «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях»,— торжественно произнес Шестаков.— Кто это сказал?

В самом деле. Знакомая фраза. Но не было сил вспомнить, кто и когда говорил эти слова. Все книжное было забыто. Книжному не верили. Я засучил брюки, показал красные цинготные язвы.

— Вот в лесу и вылечишь,— сказал Шестаков,— на ягодах, на витаминах. Я выведу, я знаю дорогу. У меня есть карта...

Я закрыл глаза и думал. До моря отсюда три пути — и все по пятьсот километров, не меньше. Не только я, но и Шестаков не дойдет. Не берет же он меня как пищу с собой? Нет, конечно. Но зачем он лжет? Он знает это не хуже меня; и вдруг я испугался Шестакова — единственного из нас, кто устроился на работу по специальности. Кто его туда устроил и какой ценой? За все ведь надо платить. Чужой кровью, чужой жизнью...

— Я согласен,— сказал я, открывая глаза.— Только мне надо подкормиться.

— Вот и хорошо, хорошо. Обязательно подкормишься. Я принесу тебе... консервов. У нас ведь можно...

Есть много консервов на свете — мясных, рыбных, фруктовых, овощных... Но прекрасней всех — молочные, сгущенное молоко. Конечно, их не надо пить с кипятком. Их надо есть ложкой, или мазать на хлеб, или глотать понемножку, из банки, медленно есть, глядя, как желтеет светлая жидкая масса, как налипают на банку сахарные звездочки...

— Завтра,— сказал я, задыхаясь от счастья,— молочных...

— Хорошо, хорошо. Молочных.— И Шестаков ушел.

Я вернулся в барак, лег и закрыл глаза. Думать было нелегко. Это был какой-то физический процесс — материальность нашей психики впервые представляла мне во всей наглядности, во всей осязательности. Думать было больно. Но думать было надо. Он соберет нас в побег и сдаст — это совершенно ясно. Он заплатит за свою конторскую работу нашей кровью, моей кровью. Нас или убьют там же, на Черных Ключах, или приведут живыми и осудят — добавят еще лет пятнадцать. Ведь не может же он не знать, что выйти отсюда нельзя. Но молоко, сгущенное молоко...

Я заснул, и в своем рваном голодном сне я видел эту шестаковскую банку сгущенного молока — чудовищную банку с облачно-синей наклейкой. Огромная, синяя, как ночное небо, банка была пробита в тысяче мест, и молоко просачивалось и текло широкой струей Млечного Пути. И легко доставал я руками до неба и ел густое, сладкое, звездное молоко.

Не помню, что я делал в этот день и как работал. Я ждал, ждал, пока солнце склонится к западу, пока заржут лошади, которые лучше людей угадывают конец рабочего дня.

Хрипло загудел гудок, и я пошел к бараку, где жил Шестаков. Он ждал меня на крыльце. Карманы его телогрейки оттопыривались.

Мы сели за большой вымытый стол в бараке, и Шестаков вытащил из кармана две банки сгущенного молока.

Углом топора я пробил банку. Густая белая струя потекла на крышку, на мою руку.

— Надо было вторую дырку пробить. Для воздуха,— сказал Шестаков.

— Ничего,— сказал я, облизывая грязные сладкие пальцы.

— Дайте ложку,— сказал Шестаков, поворачиваясь к обступившим нас рабочим. Десять блестящих, отлизан-



ных ложек потянулись над столом. Все стояли и смотрели, как я ем. В этом не было неделикатности или скрытого желания угоститься. Никто из них и не надеялся, что я поделюсь с ним этим молоком. Такое не было видано — интерес их к чужой пище был вполне бескорыстен. И я знал, что нельзя не глядеть на пищу, исчезающую во рту другого человека. Я сел поудобнее и ел молоко без хлеба, запивая изредка холодной водой. Я съел обе банки. Зрители отошли в сторону — спектакль был окончен. Шестаков смотрел на меня сочувственно.

— Знаешь что,— сказал я, тщательно облизывая ложку,— я передумал. Идите без меня.

Шестаков понял и вышел, не сказав мне ни слова.

Это было, конечно, ничтожной мстью, слабой, как все мои чувства. Но что я мог сделать еще? Предупредить других — я не знал их. А предупредить было надо — Шестаков успел уговорить пятерых. Они бежали через неделю, двоих убили недалеко от Черных Ключей, троих судили через месяц. Дело о самом Шестакове было выделено производством, его вскоре куда-то увезли, через полгода я встретил его на другом прииске. Дополнительного срока за побег он не получил — начальство играло с ним честно, а ведь могло быть и иначе.

Он работал в геологоразведке, был брит и сыт, и шахматные носки его все еще были целы. Со мной он не здоровался, и зря: две банки сгущенного молока не такое уж большое дело, в конце концов...

⟨1956⟩

## ХЛЕБ

Двустворчатая огромная дверь раскрылась, и в пере-сылный барак вошел раздатчик. Он встал в широкой полосе утреннего света, отраженного голубым снегом. Две тысячи глаз смотрели на него отовсюду: снизу — из-под нар, прямо, сбоку и сверху — с высоты четырехэтажных нар, куда забирались по лесенке те, кто еще сохранил силу. Сегодня был селедочный день, и за раздатчиком несли огромный фанерный поднос, прогнувшийся под горой селедок, разрубленных пополам. За подносом шел дежурный надзиратель в белом, сверкающем как солнце дубленом овчинном полушубке. Селедку выдавали по утрам — через день по половинке. Какие расчеты белков и калорий

были тут произведены, этого не знал никто, да никто и не интересовался такой схоластикой. Шепот сотен людей повторял одно и то же слово: хвостики. Какой-то мудрый начальник, считаясь с арестантской психологией, распорядился выдавать одновременно либо селедочные головы, либо хвосты. Преимущества тех и других были многократно обсуждены: в хвостиках, кажется, было побольше рыбьего мяса, но зато голова давала больше удовольствия. Процесс поглощения пищи длился, пока обсасывались жабры, выедалась головизна. Селедку выдавали нечищенной, и это все одобряли: ведь ее ели со всеми костями и шкурой. Но сожаление о рыбьих головках мелькнуло и исчезло: хвостики были данностью, фактом. К тому же поднос приближался, и наступала самая волнующая минута: какой величины обрезок достанется, менять ведь было нельзя, протестовать тоже, все было в руках удачи — картой в этой игре с голодом. Человек, которой невнимательно режет селедки на порции, не всегда понимает (или просто забыл), что десять граммов больше или меньше — десять граммов, кажущихся десять граммов на глаз, — могут привести к драме, к кровавой драме, может быть. О слезах же и говорить нечего. Слезы часты, они понятны всем, и над плачущими не смеются.

Пока раздатчик приближается, каждый уже подсчитал, какой именно кусок будет протянут ему этой равнодушной рукой. Каждый успел уже огорчиться, обрадоваться, приготовиться к чуду, достичь края отчаяния, если он ошибся в своих торопливых расчетах. Некоторые зажмуривали глаза, не совладав с волнением, чтобы открыть их только тогда, когда раздатчик толкнет его и протянет селедочный паек. Схватив селедку грязными пальцами, погладив, пожав ее быстро и нежно, чтоб определить — сухая или жирная досталась порция (впрочем, охотские селедки не бывают жирными, и это движение пальцев — тоже ожидание чуда), он не может удержаться, чтоб не обвести быстрым взглядом руки тех, которые окружают его и которые тоже гладят и мнут селедочные кусочки, боясь поторопиться проглотить этот крохотный хвостик. Он не ест селедку. Он ее лижет, лижет, и хвостик малопомалу исчезает из пальцев. Остаются кости, и он жует кости осторожно, бережно жует, и кости тают и исчезают. Потом он принимается за хлеб — пятьсот граммов выдается на сутки с утра, — отщипывает по крошечному кусочку и отправляет его в рот. Хлеб все едят сразу — так никто не украдет и никто не отнимет, да и сил нет его уберечь. Не

надо только торопиться, не надо запивать его водой, не надо жевать. Надо сосать его, как сахар, как леденец. Потом можно взять кружку чаю — тепловатой воды, зачерненной жженой коркой.

Съедена селедка, съеден хлеб, выпит чай. Сразу становится жарко и никуда не хочется идти, хочется лечь, но уже надо одеваться — натянуть на себя оборванную телогрейку, которая была твоим одеялом, подвязать веревками подошвы к рваным буркам из стеганой ваты, буркам, которые были твоей подушкой, и надо торопиться, ибо двери вновь распахнуты и за проволочной колючей загородкой дворика стоят конвоиры и собаки...

Мы — в карантине, в тифозном карантине, но нам не дают бездельничать. Нас гоняют на работу — не по спискам, а просто отсчитывают пятерки в воротах. Существует способ, довольно надежный, попасть каждый день на сравнительно выгодную работу. Нужны только терпение и выдержка. Выгодная работа — это всегда та работа, куда берут мало людей: двух, трех, четырех. Работа, куда берут двадцать, тридцать, сто, — это тяжелая работа, земляная большей частью. И хотя никогда арестанту не объявляют заранее места работы, он узнает об этом уже в пути, удача в этой страшной лотерее достается людям с терпением. Надо жаться сзади, в чужие шеренги, отходить в сторону и кидаться вперед тогда, когда строят маленькую группу. Для крупных же партий самое выгодное — переборка овощей на складе, хлебозавод, словом, все те места, где работа связана с едой, будущей или настоящей, — там есть всегда остатки, обломки, обрезки того, что можно есть.

Нас выстроили и повели по грязной апрельской дороге. Сапоги конвоиров бодро шлепали по лужам. Нам в городской черте ломать строй не разрешалось — луж не обходил никто. Ноги сырели, но на это не обращали внимания — простуд не боялись. Студились уже тысячу раз, и притом самое грозное, что могло случиться, — воспаление легких, скажем, — привело бы в желанную больницу. По рядам отрывисто шептали:

— На хлебозавод, слышь, вы, на хлебозавод!

Есть люди, которые вечно все знают и все угадывают. Есть и такие, которые во всем хотят видеть лучшее, и их

сангвинический темперамент в самом тяжелом положении всегда отыскивает какую-то формулу согласия с жизнью. Для других, напротив, события развиваются к худшему, и всякое улучшение они воспринимают недоверчиво, как некий недосмотр судьбы. И эта разница суждений мало зависит от личного опыта: она как бы дается в детстве — на всю жизнь...

Самые смелые надежды сбылись — мы стояли перед воротами хлебозавода. Двадцать человек, засунув руки в рукава, топтались, подставляя спины пронизывающему ветру. Конвоиры, отойдя в сторону, закуривали. Из маленькой двери, прорезанной в воротах, вышел человек без шапки, в синем халате. Он поговорил с конвоирами и пошел к нам. Медленно он обводил взглядом всех. Колыма каждого делает психологом, а ему надо было сообразить в одну минуту очень много. Среди двадцати оборванцев надо было выбрать двоих для работы внутри хлебозавода, в цехах. Надо, чтобы эти люди были покрепче прочих, чтоб они могли таскать носилки с битым кирпичом, оставшимся после перекладки печи. Чтобы они не были ворами, блатными, ибо тогда рабочий день будет потрачен на всякие встречи, передачу «ксив» — записок, а не на работу. Надо, чтоб они не дошли еще до границы, за которой каждый может стать вором от голода, ибо в цехах их никто караулить не будет. Надо, чтоб они не были склонны к побегу. Надо...

И все это надо было прочесть на двадцати арестантских лицах в одну минуту, тут же выбрать и решить.

— Выходи,— сказал мне человек без шапки.— И ты,— ткнул он моего веснушчатого всеведущего соседа.— Вот этих возьму,— сказал он конвоиру.

— Ладно,— сказал тот равнодушно.  
Завистливые взгляды провожали нас.

У людей никогда не действуют одновременно с полной напряженностью все пять человеческих чувств. Я не слышу радио, когда внимательно читаю. Строчки прыгают перед глазами, когда я вслушиваюсь в радиопередачу, хотя автоматизм чтения сохраняется, я веду глазами по строчкам, и вдруг обнаруживается, что из только что прочитанного я не помню ничего. То же бывает, когда среди чтения задумываешься о чем-либо другом,— это уж дей-

ствуют какие-то внутренние переключатели. Народная поговорка — когда я ем, я глух и нем — известна каждому. Можно бы добавить: «и слеп», ибо функция зрения при такой еде с аппетитом сосредотачивается на помощи вкусовому восприятию. Когда я что-либо нащупываю рукой глубоко в шкафу и восприятие локализовано на кончиках пальцев, я ничего не вижу и не слышу, все вытеснено напряжением ощущения осязательного. Так и сейчас, переступив порог хлебозавода, я стоял, не видя сочувственных и доброжелательных лиц рабочих (здесь работали и бывшие, и сущие заключенные), и не слышал слов мастера, знакомого человека без шапки, объяснявшего, что мы должны вытащить на улицу битый кирпич, что мы не должны ходить по другим цехам, не должны воровать, что хлеба он даст и так, — я ничего не слышал. Я не ощущал и того тепла жарко натопленного цеха, тепла, по которому так стосковалось за долгую зиму тело.

Я выдохал запах хлеба, густой аромат буханок, где запах горящего масла смешивался с запахом поджаренной муки. Ничтожнейшую часть этого подавляющего все аромата я жадно ловил по утрам, прижав нос к корочке еще не съеденной пайки. Но здесь он был во всей густоте и мощи и, казалось, разрывал мои бедные ноздри.

Мастер прервал очарование.

— Загляделся, — сказал он. — Пойдем в котельную.

Мы спустились в подвал. В чисто подметенной котельной у столика кочегара уже сидел мой напарник. Кочегар в таком же синем халате, что и у мастера, курил у печки, и было видно сквозь отверстия в чугунной дверце топки, как внутри металось и сверкало пламя — то красное, то желтое, и стенки котла дрожали и гудели от судорог огня.

Мастер поставил на стол чайник, кружку с повидлом, положил буханку белого хлеба.

— Напой их, — сказал он кочегару. — Я приду минут через двадцать. Только не тяните, ешьте быстрее. Вечером хлеба дадим еще, на куски поломайте, а то у вас в лагере отберут.

Мастер ушел.

— Ишь, сука, — сказал кочегар, вертя в руках буханку. — Пожалел тридцатки, гад. Ну, подожди.

И он вышел вслед за мастером и через минуту вернулся, подкидывая на руках новую буханку хлеба.

— Тепленькая, — сказал он, бросая буханку веснушчатому парню. — Из тридцаточки. А то вишь, хотел полубе-

лым отделаться! Дай-ка сюда.— И, взяв в руки буханку, которую нам оставил мастер, кочегар распахнул дверцу котла и швырнул буханку в гудящий и воющий огонь. И, захлопнув дверцу, засмеялся.— Вот так-то,— весело сказал он, поворачиваясь к нам.

— Зачем это,— сказал я,— лучше бы мы с собой взяли.

— С собой мы еще дадим,— сказал кочегар.

Ни я, ни веснушчатый парень не могли разломить буханки.

— Нет ли у тебя ножа?— спросил я у кочегара.

— Нет. Да зачем нож?

Кочегар взял буханку в две руки и легко разломил ее. Горячий ароматный пар шел из разломанной ковриги. Кочегар ткнул пальцем в мякиш.

— Хорошо печет Федька, молодец,— похвалил он.

Но нам не было времени доискиваться, кто такой Федька. Мы принялись за еду, обжигаясь и хлебом, и кипятком, в который мы замешивали повидло. Горячий пот лился с нас ручьем. Мы торопились — мастер вернулся за нами.

Он уже принес носилки, подтащил их к куче битого кирпича, принес лопаты и сам насыпал первый ящик. Мы приступили к работе. И вдруг стало видно, что обоим нам носилки непосильно тяжелы, что они тянули жилы, а рука внезапно слабела, лишаясь сил. Кружилась голова, нас пошатывало. Следующие носилки грузил я и положил вдвое меньше первой ноши.

— Хватит, хватит,— сказал веснушчатый парень. Он был еще бледнее меня, или веснушки подчеркивали его бледность.

— Отдохните, ребята,— весело и отнюдь не насмешливо сказал проходивший мимо пекарь, и мы покорно сели отдыхать. Мастер прошел мимо, но ничего нам не сказал.

Отдохнув, мы снова принялись за дело, но после каждого двух носилок садились снова — куча мусора не убывала.

— Покурите, ребята,— сказал тот же пекарь, снова появляясь.

— Табаку нету.

— Ну, я вам дам по сигарочке. Только надо выйти. Курить здесь нельзя.

Мы поделили махорку, и каждый закурил свою папиросу — роскошь, давно забытая. Я сделал несколько медленных затяжек, бережно потушил пальцем папиросу, завернул ее в бумажку и спрятал за пазуху.

— Правильно,— сказал веснушчатый парень.— А я и не подумал.

К обеденному перерыву мы освоились настолько, что заглядывали и в соседние комнаты с такими же пекаренными печами. Везде из печей вылезали с визгом железные формы и листы, и на полках везде лежал хлеб, хлеб. Время от времени приезжала вагонетка на колесиках, выпеченный хлеб грузили и увозили куда-то, только не туда, куда нам нужно было возвращаться к вечеру,— это был белый хлеб.

В широкое окно без решеток было видно, что солнце переместилось к закату. Из дверей потянуло холодком. Пришел мастер.

— Ну, кончайте. Носилки оставьте на мусоре. Мало-вато сделали. Вам и за неделю не перетаскать этой кучи, работнички.

Нам дали по буханке хлеба, мы изломали его на куски, набили карманы... Но сколько могло войти в наши карманы?

— Прячь прямо в брюки,— командовал веснушчатый парень.

Мы вышли на холодный вечерний двор — партия уже строилась,— нас повели обратно. На лагерной вахте нас обыскивать не стали — в руках никто хлеба не нес. Я вернулся на свое место, разделил с соседями принесенный хлеб, лег и заснул, как только согрелись намокшие, застывшие ноги.

Всю ночь передо мной мелькали буханки хлеба и озорное лицо кочегара, швырявшего хлеб в огненное жерло топки.

1956

## ЗАКЛИНАТЕЛЬ ЗМЕЙ

Мы сидели на поваленной бурей огромной лиственнице. Деревья в краю вечной мерзлоты едва держатся за неуютную землю, и буря легко вырывает их с корнями и валит на землю. Платонов рассказывал мне историю своей здешней жизни — второй нашей жизни на этом свете. Я нахмурился при упоминании прииска «Джанхара». Я сам побывал в местах дурных и трудных, но страшная слава «Джанхары» гремела везде.

— И долго вы были на «Джанхаре»?

— Год,— сказал Платонов негромко. Глаза его сузились, морщины обозначились резче — передо мной был другой Платонов, старше первого лет на десять.

— Впрочем, трудно было только первое время, два-три месяца. Там одни воры. Я был единственным... грамотным человеком там. Я им рассказывал, «тискал романы», как говорят на блатном жаргоне, рассказывал по вечерам Дюма, Конан Дойля, Уоллеса. За это они меня кормили, одевали, и я работал мало. Вы, вероятно, тоже в свое время использовали это единственное преимущество грамотности здесь?

— Нет,— сказал я,— нет. Мне это казалось всегда последним унижением, концом. За суп я никогда не рассказывал романов. Но я знаю, что это такое. Я слышал «романистов».

— Это — осуждение? — сказал Платонов.

— Ничуть,— ответил я.— Голодному человеку можно простить многое, очень многое.

— Если я останусь жив,— произнес Платонов священную фразу, которой начинались все размышления о времени дальше завтрашнего дня,— я напишу об этом рассказ. Я уже и название придумал: «Заклинатель змей». Хорошее?

— Хорошее. Надо только дожить. Вот — главное.

Андрей Федорович Платонов, киносценарист в своей первой жизни, умер недели через три после этого разговора, умер так, как умирали многие,— взмахнул кайлом, покачнулся и упал лицом на камни. Глюкоза внутривенно, сильные сердечные средства могли бы его вернуть к жизни — он хрипел еще час-полтора, но уже затих, когда подошли носилки из больницы, и санитары унесли в морг этот маленький труп — легкий груз костей и кожи.

Я любил Платонова за то, что он не терял интереса к той жизни за синими морями, за высокими горами, от которой нас отделяло столько верст и лет и в существование которой мы уже почти не верили или, вернее, верили так, как школьники верят в существование какой-нибудь Америки. У Платонова, бог весть откуда, бывали и книжки, и, когда было не очень холодно, например в июле, он избегал разговоров на темы, которыми жило все население,— какой будет или был на обед суп, будут ли давать



хлеб трижды в день или сразу с утра, будет ли завтра дождь или ясная погода.

Я любил Платонова, и я попробую сейчас написать его рассказ «Заклинатель змей».

Конец работы — это вовсе не конец работы. После гудка надо еще собрать инструмент, отнести его в кладовую, сдать, построиться, пройти две из десяти ежедневных переключек под матерную брань конвоя, под безжалостные крики и оскорбления своих же товарищей, пока еще более сильных, чем ты, товарищей, которые тоже устали и спешат домой и сердятся из-за всякой задержки. Надо еще пройти переключку, построиться и отправиться за пять километров в лес за дровами — ближний лес давно весь вырублен и сожжен. Бригада лесорубов заготовляет дрова, а шурфовые рабочие носят по бревнышку каждый. Как доставляются тяжелые бревна, которые не под силу взять даже двум людям, никто не знает. Автомашинны за дровами никогда не посылаются, а лошади все стоят на конюшне по болезни. Лошадь ведь слабеет гораздо скорее, чем человек, хотя разница между ее прежним бытом и нынешним неизмеримо, конечно, меньше, чем у людей. Часто кажется, да так, наверное, оно и есть на самом деле, что человек потому и поднялся из звериного царства, стал человеком, то есть существом, которое могло придумать такие вещи, как наши острова со всей невероятностью их жизни, что он был физически выносливее любого животного. Не рука очеловечила обезьяну, не зародыш мозга, не душа — есть собаки и медведи, поступающие умней и нравственней человека. И не подчинением себе силы огня — все это было после выполнения главного условия превращения. При прочих равных условиях в свое время человек оказался значительно крепче и выносливей физически, только физически. Он был живуч как кошка — эта поговорка неверна. О кошке правильнее было бы сказать — эта тварь живуча, как человек. Лошадь не выносит месяца зимней здешней жизни в холодном помещении с многочасовой тяжелой работой на морозе. Если это не якутская лошадь. Но ведь на якутских лошадях и не работают. Их, правда, и не кормят. Они, как олени зимой, копытят снег и вытаскивают сухую прошлогоднюю траву. А человек живет. Может быть, он живет надеждами? Но ведь никаких надежд у него нет. Если он не дурак, он не может жить надеждами. Поэтому так много самоубийц.

Но чувство самосохранения, цепкость к жизни, физическая именно цепкость, которой подчинено и сознание, спасает его. Он живет тем же, чем живет камень, дерево, птица, собака. Но он цепляется за жизнь крепче, чем они. И он выносливей любого животного.

О всем таком и думал Платонов, стоя у входных ворот с бревном на плече и ожидая новой переключки. Дрова принесены, сложены, и люди, теснясь, торопясь и ругаясь, вошли в темный бревенчатый барак.

Когда глаза привыкли к темноте, Платонов увидел, что вовсе не все рабочие ходили на работу. В правом дальнем углу на верхних нарах, перетащив к себе единственную лампу, бензиновую коптилку без стекла, сидели человек семь-восемь вокруг двоих, которые, скрестив потатарски ноги и положив между собой засаленную подушку, играли в карты. Дымящаяся коптилка дрожала, огонь удлинял и качал тени.

Платонов присел на край нар. Ломило плечи, колени, мускулы дрожали. Платонова только утром привезли на «Джанхару», и работал он первый день. Свободных мест на нарах не было.

«Вот все разойдутся,— подумал Платонов,— и я лягу». Он задремал.

Игра вверху кончилась. Черноволосый человек с усиками и большим ногтем на левом мизинце перевалился к краю нар.

— Ну-ка, позовите этого Ивана Ивановича,— сказал он.

Толчок в спину разбудил Платонова.

— Ты... Тебя зовут.

— Ну, где он, этот Иван Иванович? — звали с верхних нар.

— Я не Иван Иванович,— сказал Платонов, щурясь.

— Он не идет, Федечка.

— Как не идет?

Платонова вытолкали к свету.

— Ты думаешь жить? — спросил его негромко Федя, вращая мизинец с отрошенным грязным ногтем перед глазами Платонова.

— Думаю,— ответил Платонов.

Сильный удар кулаком в лицо сбил его с ног. Платонов поднялся и вытер кровь рукавом.

— Так отвечать нельзя,— ласково объяснил Федя.— Вас, Иван Иванович, в институте разве так учили отвечать?

Платонов молчал.

— Иди, тварь,— сказал Федя.— Иди и ложись к параше. Там будет твое место. А будешь кричать — удавим.

Это не было пустой угрозой. Уже дважды на глазах Платонова душили полотенцем людей — по каким-то своим воровским счетам. Платонов лег на мокрые вонючие доски.

— Скука, братцы,— сказал Федя, зевая,— хоть бы пятки кто почесал, что ли...

— Машка, а Машка, иди чеши Федечке пятки.

В полосу света вынырнул Машка, бледный хорошенький мальчик, воренок лет восемнадцати.

Он снял с ног Федечки заношенные желтые полуботинки, бережно снял грязные рваные носки и стал, улыбаясь, чесать пятки Феде. Федя хихикал, вздрагивая от щекотки.

— Пошел вон,— вдруг сказал он.— Не можешь чесать. Не умеешь.

— Да я, Федечка...

— Пошел вон, тебе говорят. Скребет, царапает. Нежности нет никакой.

Окружающие сочувственно кивали головами.

— Вот был у меня на «Косом» жид — тот чесал. Тот, братцы мои, чесал. Инженер.

И Федя погрузился в воспоминания о жиде, который чесал пятки.

— Федя, а Федя, а этот, новый-то... Не хочешь попробовать?

— Ну его,— сказал Федя.— Разве такие могут чесать. А впрочем, подымите-ка его.

Платонова вывели к свету.

— Эй, ты, Иван Иванович, заправь-ка лампу,— распоряжался Федя.— И ночью будешь дрова в печку подкладывать. А утром — парашку на улицу. Дневальный покажет, куда выливать...

Платонов молчал покорно.

— За это,— объяснял Федя,— ты получишь миску супчику. Я ведь все равно юшки-то не ем. Иди спи.

Платонов лег на старое место. Рабочие почти все спали, свернувшись по двое, по трое — так было теплее.

— Эх, скука, ночи длинные,— сказал Федя.— Хоть бы роман кто-нибудь тиснул. Вот у меня на «Косом»...

— Федя, а Федя, а этот, новый-то... Не хочешь попробовать?

— И то,— оживился Федя.— Подымите его.

Платонова подняли.

— Слушай,— сказал Федя, улыбаясь почти заискивающе,— я тут погорячился немного.

— Ничего,— сказал Платонов сквозь зубы.

— Слушай, а романы ты можешь тискать?

Огонь блеснул в мутных глазах Платонова. Еще бы он не мог. Вся камера следственной тюрьмы заслушивалась «Графом Дракулой» в его пересказе. Но там были люди. А здесь? Стать шутком при дворе миланского герцога, шутком, которого кормили за хорошую шутку и били за плохую? Есть ведь и другая сторона в этом деле. Он познакомит их с настоящей литературой. Он будет просветителем. Он разбудит в них интерес к художественному слову, он и здесь, на дне жизни, будет выполнять свое дело, свой долг. По старой привычке Платонов не хотел себе сказать, что просто он будет накормлен, будет получать лишний супчик не за вынос параша, а за другую, более благородную работу. Благородную ли? Это все-таки ближе к чесанию грязных пяток вора, чем к просветительству. Но голод, холод, побои...

Федя, напряженно улыбаясь, ждал ответа.

— М-могу,— выговорил Платонов и в первый раз за этот трудный день улыбнулся.— Могу тиснуть.

— Ах ты, милый мой! — Федя развеселился.— Иди, лезь сюда. На тебе хлебушка. Получше уж завтра покушаешь. Садись сюда, на одеяло. Закуривай.

Платонов, не куривший неделю, с болезненным наслаждением сосал махорочный окурочок.

— Как тебя звать-то?

— Андрей,— сказал Платонов.

— Так вот, Андрей, значит, что-нибудь подлинней, позабористой. Вроде «Графа Монте-Кристо». О тракторах не надо.

— «Отверженные», может быть? — предложил Платонов.

— Это о Жан Вальжане? Это мне на «Косом» тискали.

— Тогда «Клуб червонных валетов» или «Вампира»?

— Вот-вот. Давай валетов. Тише вы, твари...

Платонов откашлялся.

— В городе Санкт-Петербурге в тысяча восемьсот девяносто третьем году совершено было одно таинственное преступление...

Уже рассветало, когда Платонов окончательно обессилен.

— На этом кончается первая часть,— сказал он.

— Ну, здорово,— сказал Федя.— Как он ее. Ложись здесь с нами. Спать-то много не придется — рассвет. На работе поспишь. Набирайся сил к вечеру...

Платонов уже спал.

Выводили на работу. Высокий деревенский парень, проспавший вчерашних валетов, злобно толкнул Платонова в дверях.

— Ты, гадина, ходи да поглядывай.

Ему тотчас же зашептали что-то на ухо.

Строились в ряды, когда высокий парень подошел к Платонову.

— Ты Феде-то не говори, что я тебя ударил. Я, брат, не знал, что ты романист.

— Я не скажу,— ответил Платонов.

1954

## ТАТАРСКИЙ МУЛЛА И ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

Жара в тюремной камере была такая, что не было видно ни одной мухи. Огромные окна с железными решетками были распахнуты настежь, но это не давало облегчения — раскаленный асфальт двора посылал вверх горячие воздушные волны, и в камере было даже прохладней, чем на улице. Вся одежда была сброшена, и сотня голых тел, пышущих тяжелым влажным жаром, ворочалась, истекая потом, на полу — на нарах было слишком жарко. На коммандатские поверки арестанты выстраивались в одних кальсонах, по часу торчали в уборных на оправке, бесконечно обливаясь холодной водой из умывальника. Но это помогало ненадолго. Поднарники сделались вдруг обладателями лучших мест. Надо было готовиться в места «далеких таборив», и острили, по-тюремному, мрачно, что после пытки выпариванием их ждет пытка вымораживанием.

Татарский мулла, следственный арестант по знаменитому делу «Большой Татарии», о котором мы знали гораздо раньше того дня, когда об этом намекнули газеты, крепкий шестидесятилетний сангвиник, с мощной грудью, поросшей седыми волосами, с живым взглядом темных круглых глаз, говорил, непрерывно вытирая мокрой тряпочкой лысый лоснящийся череп:

— Только бы не расстреляли. А дадут десять лет — чепуха. Тому этот срок страшен, кто собирается жить до сорока лет. А я собираюсь жить до восьмидесяти.

Мулла взбегал на пятый этаж без одышки, возвращаясь с прогулки.

— Если дадут больше десяти, — продолжал он раздумывать, — то в тюрьме я проживу еще лет двадцать. А если в лагере, — мулла помолчал, — на чистом воздухе, то — десять.

Я вспомнил этого бодрого и умного муллу сегодня, когда перечитывал «Записки из Мертвого дома». Мулла знал, что такое «чистый воздух».

Морозов и Фигнер пробыли в Шлиссельбургской крепости при строжайшем тюремном режиме по двадцать лет и вышли вполне трудоспособными людьми. Фигнер нашла силы для дальнейшей активной работы в революции, затем написала десятитомные воспоминания о перенесенных ужасах, а Морозов написал ряд известных научных работ и женился по любви на какой-то гимназистке.

В лагере для того, чтобы здоровый молодой человек, начав свою карьеру в золотом забое на чистом зимнем воздухе, превратился в доходягу, нужен срок по меньшей мере от двадцати до тридцати дней при шестнадцатичасовом рабочем дне, без выходных, при систематическом голоде, рваной одежде и ночевке в шестидесятиградусный мороз в дырявой брезентовой палатке, побоях десятников, старост из блатарей, конвоя. Эти сроки многократно проверены. Бригады, начинающие золотой сезон и носящие имена своих бригадиров, не сохраняют к концу сезона ни одного человека из тех, кто этот сезон начал, кроме самого бригадира, дневального бригады и кого-либо еще из личных друзей бригадира. Остальной состав бригады меняется за лето несколько раз. Золотой забой непрерывно выбрасывает отходы производства в больницы, в так называемые оздоровительные команды, в инвалидные городки и на братские кладбища.

Золотой сезон начинается пятнадцатого мая и кончается пятнадцатого сентября — четыре месяца. О зимней же работе и говорить не приходится. К лету основные забойные бригады формируются из новых людей, еще здесь не зимовавших.

Арестанты, получившие срок, рвались из тюрьмы в лагерь. Там — работа, здоровый деревенский воздух, досрочные освобождения, переписка, посылки от родных,

денежные заработки. Человек всегда верит в лучшее. У щели дверей теплушки, в которой нас везли на Дальний Восток, день и ночь толкались пассажиры-этапники, упоенно вдыхая прохладный, пропитанный запахом полевых цветов тихий вечерний воздух, приведенный в движение ходом поезда. Этот воздух был не похож на спертый, пахнувший карболкой и человеческим потом воздух тюремной камеры, ставшей ненавистной за много месяцев следствия. В этих камерах оставляли воспоминания о поруганной и растоптанной чести, воспоминания, которые хотелось забыть.

По простоте душевной люди представляли следственную тюрьму самым жестоким переживанием, так круто перевернувшим их жизнь. Именно арест был для них самым сильным нравственным потрясением. Теперь, вырвавшись из тюрьмы, они подсознательно хотели верить в свободу, пусть относительную, но все же свободу, жизнь без проклятых решеток, без унижительных и оскорбительных допросов. Начиналась новая жизнь без того напряжения воли, которое требовалось всегда для допроса во время следствия. Они чувствовали глубокое облегчение от сознания того, что все уже решено бесповоротно, приговор получен, не нужно думать, что именно отвечать следователю, не нужно волноваться за родных, не нужно строить планов жизни, не нужно бороться за кусок хлеба — они уже в чужой воле, уже ничего нельзя изменить, никуда нельзя повернуть с этого блестящего железнодорожного пути, медленно, но неуклонно ведущего их на Север.

Поезд шел навстречу зиме. Каждая ночь была холоднее прежней, жирные зеленые листья тополей здесь были уже тронуты светлой желтизной. Солнце уже не было таким жарким и ярким, как будто его золотую силу впитали, всосали в себя листья кленов, тополей, берез, осин. Листья сами сверкали теперь солнечным светом. А бледное, малокровное солнце не нагревало даже вагона, большую часть дня прячась за теплые сизые тучки, еще не пахнущие снегом. Но и до снега было недалеко.

Пересылка — еще один маршрут к Северу. Приморская бухта их встретила небольшой метелью. Снег еще не ложился — ветер сметал его с замороженных желтых обрывов в ямы с мутной, грязной водой. Сетка метели была прозрачна. Снегопад был редок и похож на рыболовную сеть из белых ниток, накинутую на город. Над

морем снег вовсе не был виден — темно-зеленые гривастые волны медленно набегали на позеленелый скользкий камень. Пароход стал на рейде и сверху казался игрушечным, и, даже когда на катере их подвезли к самому борту и они один за другим взбирались на палубу, чтобы сразу разойтись и исчезнуть в горловинах трюмов, пароход был неожиданно маленьким, слишком много воды окружало его.

Через пять суток их выгрузили на суровом и мрачном таежном берегу, и автомашины развезли их по тем местам, где им предстояло жить — и выжить.

Здоровый деревенский воздух они оставили за морем. Здесь их окружал налитанный испарениями болот разреженный воздух тайги. Сопки были покрыты болотным покровом, и только лысины безлесных сопок сверкали голым известняком, отполированным бурями и ветрами. Нога тонула в топком мхе, и редко за летний день ноги были сухими. Зимой все леденело. И горы, и реки, и болота зимой казались каким-то одним существом, зловецким и недружелюбным.

Легом воздух был слишком тяжел для сердечников, зимой невыносим. В большие морозы люди прерывисто дышали. Никто здесь не бегал бегом, разве только самые молодые, и то не бегом, а как-то вприпрыжку.

Тучи комаров облепляли лицо — без сетки было нельзя сделать шага. А на работе сетка душила, мешала дышать. Поднять же ее было нельзя из-за комаров.

Работали тогда по шестнадцать часов, и нормы были рассчитаны на шестнадцать часов. Если считать, что подъем, завтрак, и развод на работу, и ходьба на место ее занимают полтора часа минимум, обед — час и ужин вместе со сбором ко сну полтора часа, то на сон после тяжелой физической работы на воздухе оставалось всего четыре часа. Человек засыпал в ту самую минуту, когда переставал двигаться, умудрялся спать на ходу или стоя. Недостаток сна отнимал больше силы, чем голод. Невыполнение нормы грозило штрафным пайком — триста граммов хлеба в день и без баланды.

С первой иллюзией было покончено быстро. Это — иллюзия работы, того самого труда, о котором на воротах всех лагерных отделений находится предписанная лагерным уставом надпись: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства». Лагерь же мог прививать и прививал только ненависть и отвращение к труду.

Раз в месяц лагерный почтальон увозил накопив-



шуюся почту в цензуру. Письма с материка и на материк шли по полгода, если вообще шли. Посылки выдавались только тем, кто выполняет норму, остальные подвергались конфискации. Все это не носило характера произвола, отнюдь. Об этом читались приказы, в особо важных случаях заставляли всех поголовно расписываться. Это не было дикой фантазией какого-то дегенерата начальника, это был приказ высшего начальства.

Но даже если кем-либо посылки и получались,— можно было пообещать какому-нибудь воспитателю половину, а половину все же получить,— то нести такую посылку было некуда. В бараке давно ждали блатные, чтобы отнять на глазах у всех и поделиться со своими Ванечками и Сенечками. Посылку надо было или сразу съесть, или продать. Покупателей было сколько угодно — десятники, начальники, врачи.

Был и третий, самый распространенный выход. Многие отдавали хранить посылки своим знакомым по лагерю или тюрьме, работавшим на каких-либо должностях и работах, где можно было запереть и спрятать. Или давали кому-либо из вольнонаемных. И в том и в другом случае всегда был риск — никто не верил в добросовестность хозяев,— но это была единственная возможность спасти полученное.

Денег не платили вовсе. Ни копейки. Платили только лучшим бригадам, и то пустяки, которые не могли дать им серьезной помощи. Во многих бригадах бригадиры делали так: выработку бригады записывали на два-три человека, давая им перевыполненный процент, за что полагалась денежная премия. На остальные двадцать — тридцать человек в бригаде полагался штрафной паек. Это было остроумным решением. Если бы на всех заработок был поделен поровну, никто не получил бы ни копейки. А тут получали два-три человека, выбираемые совсем случайно, часто даже без участия бригадира в составлении ведомости.

Все знали, что нормы невыполнимы, что заработка нет и не будет, и все же за десятником ходили, интересовались выработкой, бежали встречать кассира, ходили в контору за справками.

Что это такое? Есть ли это желание обязательно выдать себя за работягу, поднять свою репутацию в глазах начальства, или это просто какое-то психическое расстройство на фоне упадка питания? Последнее более верно.

Светлая, чистая, теплая следственная тюрьма, которую так недавно и так бесконечно давно они покинули, всем, неукоснительно всем казалась отсюда лучшим местом на земле. Все тюремные обиды были забыты, и все с увлечением вспоминали, как они слушали лекции настоящих ученых и рассказы бывалых людей, как они читали книги, как они спали и ели досыта, ходили в чудесную баню, как получали они передачи от родственников, как они чувствовали, что семья вот здесь, рядом, за двойными железными воротами, как они говорили свободно, о чем хотели (в лагере за это полагался дополнительный срок заключения), не боясь ни шпионов, ни надзирателей. Следственная тюрьма казалась им свободнее и родней родного дома, и не один говорил, размечтавшись на больничной койке, хотя оставалось жить немного: «Я бы хотел, конечно, повидать семью, уехать отсюда. Но еще больше мне хотелось бы попасть в камеру следственной тюрьмы — там было еще лучше и интересней, чем дома. И я рассказал бы теперь всем новичкам, что такое «чистый воздух».

Если ко всему этому прибавить чуть не поголовную цингу, выраставшую, как во времена Беринга, в грозную и опасную эпидемию, уносившую тысячи жизней; дизентерию, ибо ели что попало, стремясь только наполнить ноющий желудок, собирая кухонные остатки с мусорных куч, густо покрытых мухами; пеллагру — эту болезнь бедняков, истощение, после которого кожа на ладонях и стопах слезала с человека, как перчатка, а по всему телу шелушилась крупным круглым лепестком, похожим на дактилоскопические отпечатки, и, наконец, знаменитую алиментарную дистрофию — болезнь голодных, которую только после ленинградской блокады стали называть своим настоящим именем. До того времени она носила разные названия: РФИ — таинственные буквы в диагнозах историй болезни, переводимые как резкое физическое истощение, или, чаще, полиавитаминоз, чудное латинское название, говорящее о недостатке нескольких витаминов в организме человека и успокаивающее врачей, нашедших удобную и законную латинскую формулу для обозначения одного и того же — голода.

Если вспомнить неотопливаемые, сырые бараки, где во всех щелях изнутри намерзал толстый лед, будто какая-то огромная стеариновая свеча оплыла в углу барака... Плохая одежда и голодный паек, отморожения, а отморожения — это ведь мученье навек, если даже не прибегать

к ампутациям. Если представить, сколько при этом должно было появиться и появлялось гриппа, воспаления легких, всяческих простуд и туберкулеза в болотистых этих горах, губительных для сердечника. Если вспомнить эпидемии саморубов-членовредителей. Если принять во внимание и огромную моральную подавленность, и безнадежность, то легко увидеть, насколько чистый воздух был опаснее для здоровья человека, чем тюрьма.

Поэтому нет нужды полемизировать с Достоевским насчет преимущества «работы» на каторге по сравнению с тюремным бездельем и достоинствами «чистого воздуха». Время Достоевского было другим временем, и каторга тогдашняя еще не дошла до тех высот, о которых здесь рассказано. Об этом заранее трудно составить верное представление, ибо все тамошнее слишком необычайно, невероятно, и бедный человеческий мозг просто не в силах представить в конкретных образах тамошнюю жизнь, о которой смутное, неуверенное понятие имел наш тюремный знакомый — татарский мулла.

1955

## ПЕРВАЯ СМЕРТЬ

Много я видел человеческих смертей на Севере — пожалуй, даже слишком много для одного человека, но первую виденную смерть я запомнил ярче всего.

Той зимой пришлось нам работать в ночной смене. Мы видели на черном небе маленькую светло-серую луну, окруженную радужным нимбом, зажигавшимся в большие морозы. Солнце мы не видели вовсе — мы приходили в бараки (не домой — домом их никто не называл) и уходили из них затемно. Впрочем, солнце показывалось так ненадолго, что не могло успеть даже разглядеть землю сквозь белую плотную марлю морозного тумана. Где находится солнце, мы определяли по догадке — ни света, ни тепла не было от него.

Ходить в забой было далеко — два-три километра, и путь лежал посреди двух огромных, трехсаженных снежных валов; нынешней зимой были большие снежные заносы, и после каждой метели прииск отгребался. Тысячи людей с лопатами выходили чистить эту дорогу, чтобы дать проход автомашинам. Всех, кто работал на расчистке пути, окружали сменным конвоем с собаками и целыми

сутками держали на работе, не разрешая ни погреться, ни поесть в тепле. На лошадях привозили примороженные пайки хлеба, иногда, если работа затягивалась, консервы — по одной банке на двух человек. На тех же лошадях отвозили в лагерь больных и ослабевших. Людей отпускали только тогда, когда работа была сделана, с тем чтобы они могли выспаться и снова идти на мороз для своей «настоящей» работы. Я заметил тогда удивительную вещь — тяжело и мучительно трудно в такой многочасовой работе бывает только первые шесть-семь часов. После этого теряешь представление о времени, подсознательно следя только за тем, чтобы не замерзнуть: топчешься, машешь лопатой, не думая вовсе ни о чем, ни на что не надеясь.

Окончание этой работы бывает всегда неожиданностью, внезапным счастьем, на которое ты как будто никак и не смел рассчитывать. Все веселы, шумны, и на какое-то время будто нет ни голода, ни смертельной усталости. Наскоро построясь в ряды, все весело бегут «домой». А по бокам поднимаются валы огромной снеговой траншеи, валы, отрезающие нас от всего мира.

Метели давно уже не было, и пухлый снег осел, уплотнен и казался еще мощнее и тверже. По гребню вала можно было пройти не проваливаясь. Оба вала в нескольких местах были прорезаны перекрестной дорогой.

Часам к двум ночи мы приходили обедать, наполняя барак шумом намерзшихся людей, лязгом лопат, громким говором людей, вошедших с улицы, говором, который лишь постепенно стихает и глохнет, возвращаясь к обычной человеческой речи. Ночью обед был всегда в бараке, а не в мерзлой столовой с выбитыми стеклами, столовой, которую все ненавидели. После обеда те, у кого была махорка, закуривали, а тем, кто махорки не имел, товарищи оставляли покурить, и в общем выходило так, что «задохнуться» успевал каждый.

Наш бригадир, Коля Андреев, бывший директор МТС, а сущий заключенный, осужденный на десять лет по модной пятьдесят восьмой статье, ходил всегда впереди бригады и всегда быстро. Бригада наша была бесконвойная. Конвоя в те времена не хватало — этим и объяснялось доверие начальства. Однако сознание своей особенности, бесконвойности для многих было не последним делом, как это ни наивно. Бесконвойное хождение на работу всем по-серьезному нравилось, составляло предмет гор-

дости и похвальбы. Бригада действительно и работала лучше, чем потом, когда конвоя стало достаточно и андреевская бригада была уравнена в правах со всеми остальными.

Нынешней ночью Андреев вел нас новой дорогой — не низом, а прямо по хребту снежного вала. Мы видели мерцанье золотых огней прииска, темную громаду леса влево и сливавшиеся с небом далекие вершины сопок. Впервые ночью мы видели свое жилье издали.

Дойдя до перекрестка, Андреев вдруг круто повернул вправо и сбежал вниз прямо по снегу. За ним, покорно повторяя его непонятные движения, посыпались гурьбой вниз люди, гремя ломami, кайлами, лопатами; инструмент никогда не оставляли на работе, там его крали, а за потерю инструмента грозил штраф.

В двух шагах от перекрестка дороги стоял человек в военной форме. Он был без шапки, короткие темные волосы его были взъерошены, пересыпаны снегом, шинель расстегнута. Еще дальше, заведенная прямо в глубокий снег, стояла лошадь, запряженная в легкие сани-кошевку.

А около ног этого человека лежала навзничь женщина. Шубка ее была распахнута, пестрое платье измято. Около головы ее валялась скомканная черная шаль. Шаль была втоптана в снег, так же как и светлые волосы женщины, казавшиеся почти белыми в лунном свете. Худенькое горло было открыто, и на шее справа и слева проступали овальные темные пятна. Лицо было белым, без кровинки, и, только взглядевшись, я узнал Анну Павловну, секретаршу начальника нашего прииска.

Мы все знали ее в лицо хорошо — на прииске женщин было очень мало. Месяцев шесть назад, летом, она проходила вечером мимо нашей бригады, и восхищенные взгляды арестантов провожали ее худенькую фигурку. Она улыбнулась нам и показала рукой на солнце, уже отяжелевшее, спускавшееся к закату.

— Скоро уж, ребята, скоро! — крикнула она.

Мы, как и лагерные лошади, весь рабочий день думали только о минуте его окончания. И то, что наши немудреные мысли были так хорошо поняты, и притом такой красивой, по нашим тогдашним понятиям, женщиной, расторогало нас. Анну Павловну наша бригада любила.

Сейчас она лежала перед нами мертвая, удушенная пальцами человека в военной форме, который растерянно

и дико озирался вокруг. Его я знал гораздо лучше. Это был наш приисковый следователь Штеменко, который «дал дела» многим из заключенных. Он неутомимо допрашивал, нанимал за махорку или миску супа ложных свидетелей-клеветников, вербуя их из голодных заключенных. Некоторых он уверял в государственной необходимости лжи, некоторым угрожал, некоторых подкупал. Он не давал себе труда раньше ареста нового следственного познакомиться с ним, вызвать его к себе, хотя все жили на одном прииске. Готовые протоколы и побои ждали арестованного в следственном кабинете.

Штеменко был именно тот начальник, который при посещении нашего барака месяца три назад изломал все арестантские котелки, сделанные из консервных банок, — в них варили все, что можно сварить и съесть. В них носили обед из столовой, чтобы съесть его сидя и съесть горячим, разогрев в своем бараке на печке. Поборник чистоты и дисциплины, Штеменко потребовал кайло и собственноручно пробил днища консервных банок.

Сейчас он, заметив Андреева в двух шагах от себя, схватился за кобуру пистолета, но, увидев толпу людей, вооруженных ломом и кайлами, так и не вытащил оружия. Но ему уже крутили руки. Это делалось со страстью — узел затянули так, что веревку потом разрезать пришлось ножом.

Труп Анны Павловны положили в кошевку и двинулись в поселок, к дому начальника прииска. С Андреевым туда пошли не все — многие бросились скорей в барак, к супу.

Долго не отпирал начальник, разглядев сквозь стекло толпу арестантов, собравшихся у дверей его дома. Наконец Андрееву удалось объяснить, в чем дело, и он, вместе со связанным Штеменко и двумя заключенными, вошел в дом.

Обедали мы в эту ночь очень долго. Андреева водили куда-то давать показания. Но потом он пришел,скомандовал, и мы пошли на работу.

Штеменко вскоре осудили на десять лет за убийство из ревности. Наказание было минимальным. Судили его на нашем же прииске и после приговора куда-то увезли. Бывших лагерных начальников в таких случаях содержат где-то особо — никто никогда не встречал их в обыкновенных лагерях.

## ТЕТЯ ПОЛЯ

Тетя Поля умерла в больнице от рака желудка в возрасте пятидесяти двух лет. Вскрытие подтвердило диагноз лечащего врача. Впрочем, в нашей больнице патологоанатомический диагноз редко расходился с клиническим — так бывает в самых лучших и самых плохих больницах.

Фамилию тети Поли знали только в конторе. Не помнила подлинной фамилии даже жена начальника, у которого тетя Поля семь лет была «дневальной», то есть прислугой.

Все знают, кто такой дневальный или дневальная, но не все знают, кем они могут быть. Доверенное лицо недоступного властителя тысяч человеческих судеб; свидетель его слабостей, его темных сторон. Человек, знающий теневые стороны дома. Раб, но и непременный участник подводной, подземной квартирной войны; участник или, по крайней мере, наблюдатель домашних сражений. Негласный арбитр в ссорах мужа и жены. Ведущий хозяйство семьи начальника, умножающий его богатство, и не только экономией и честностью. Один такой дневальный торговал в пользу начальника махорочными папиросами, продавая их заключенным по десять рублей папироса. Лагерная палата мер и весов установила, что в спичечную коробку входит махорки на восемь папирос, а восьмушка махорки состоит из восьми таких спичечных коробочек. Эти меры сыпучих тел действуют на 1/8 территории Советского Союза — во всей Восточной Сибири.

Наш дневальный выручал за каждую пачку махорки шестьсот сорок рублей. Но и эта цифра не была, как говорится, пределом. Можно было насыпать неполные коробочки — разница на взгляд почти незаметна, да и ссориться с дневальным начальника никто не захочет. Можно было вертеть более тонкие папиросы. Вся закрутка — дело рук и совести дневального. Наш дневальный скупал у начальника махорку по пятьсот рублей за пачку. Стосорокарублевая разница шла в карман дневального.

Хозяин тети Поли махоркой не торговал, и вообще никакими темными делами тете Поле у него заниматься не приходилось. Тетя Поля была великая стряпуха, а дневальные, сведущие в кулинарии, ценились особенно дорого. Тетя Поля могла взяться — и действительно бралась — устроить кого-либо из земляков-украинцев на легкую работу или включить в какой-нибудь список на освобожде-

ние. Помощь тети Поли своим землякам была весьма серьезной. Другим она не помогала, разве только советом.

Тетя Поля работала у начальника седьмой год и думала, что и все свои десять «рокив» проживет безбедно.

Тетя Поля была расчетливой бессребреницей и справедливо полагала, что ее равнодушие к подаркам, к деньгам не может не прийтись по душе любому начальнику. Расчеты ее оправдались. Она была своим человеком в семье начальника, и уже был намечен план ее освобождения — она должна была числиться грузчицей автомашины на прииске, где работал брат начальника, и прииск ходатайствовал бы о ее освобождении.

Но тетя Поля заболела, ей становилось все хуже, и ее отвезли в больницу. Главный врач распорядился, чтобы тете Поле отвели отдельную палату. Десять полутрупов вытащили в холодный коридор, чтобы освободить место дневальной начальника.

Больница оживилась. Ежедневно во второй половине дня приезжали «виллисы», приезжали грузовики; из кабин выходили дамы в тулупах, выходили военные — все стремились к тете Поле. И тетя Поля обещала каждому: если выздоровеет — замолвит словечко начальнику.

Каждое воскресенье лимузин ЗИС-110 въезжал в больничные ворота — тете Поле везли посылочку, записочку от жены начальника.

Тетя Поля отдавала все санитаркам, попробует ложечку и отдаст. Болезнь свою она знала.

Но выздороветь тетя Поля не могла. И вот однажды в больницу явился с запиской начальника необычайный посетитель — отец Петр, как он назвал себя нарядчику. Оказывается, тетя Поля желала исповедаться.

Необычайный посетитель был Петька Абрамов. Его все знали. Он даже лежал в этой больнице несколько месяцев назад. А сейчас это был отец Петр.

Визит преподобного взволновал всю больницу. Оказывается, в наших краях есть священники! И они исповедуют желающих! В самой большой палате больничной — палате номер два, где между обедом и ужином ежедневно рассказывался кем-либо из больных гастрономический рассказ, во всяком случае, не для улучшения аппетита, а из-за потребности голодного человека в возбуждении пищевых эмоций, — в этой палате говорили только об исповеди тети Поли.

Отец Петр был в кепке, в бушлате. Ватные его брюки заправлены в кирзовые старенькие сапоги. Волосы были



острижены коротко — для лица духовного звания гораздо короче, чем волосы стилига пятидесятых годов. Отец Петр расстегнул бушлат и телогрейку — стала видна голубая косоворотка и большой наперсный крест. Это был не простой крест, а распятие — только самодельное, выточенное умелой рукой, но без необходимых инструментов.

Отец Петр исповедал тетю Полю и ушел. Он долго стоял на шоссе, поднимая руки, когда приближались грузовики. Две машины прошли не останавливаясь. Тогда отец Петр вынул из-за пазухи готовую, свернутую папиросу, поднял ее над головой, и первая же машина затормозила, шофер гостеприимно открыл дверцу кабины.

Тетя Поля умерла, и похоронили ее на больничном кладбище. Это было большое кладбище под горой (вместо «умереть» больные говорили «попасть под сопку») с братскими могилами «А», «Б», «В» и «Г», несколькими хордообразными линиями могил-одиночек. Ни начальника, ни его супруги, ни отца Петра не было на похоронах тети Поли. Обряд похорон был обычным: нарядчик навязал на левую голень тети Поли деревянную бирку с номером. Это был номер личного дела. По инструкции номер должен быть написан простым черным карандашом, а отнюдь не химическим, как и на лесных топографических реперах-затесах.

Привычные могильщики-санитары закидали камнями сухонькое тело тети Поли. Нарядчик укрепил в камнях палочку — опять с тем же номером личного дела.

Прошло несколько дней, и в больницу явился отец Петр. Он уже побывал на кладбище и сейчас гремел в конторе:

— Крест надо поставить. Крест.

— Еще чего, — ответил нарядчик.

Ругались они долго. Наконец отец Петр объявил:

— Даю вам неделю срока. Если за эту неделю крест не будет поставлен, буду жаловаться на вас начальнику управления. Тот не поможет — буду писать начальнику Дальстроя. Тот откажет — буду жаловаться на него в Совнарком. Совнарком откажет — в Синод напишу, — орал отец Петр.

Нарядчик был старым арестантом и хорошо знал «страну чудес»: он знал, что там могут случаться самые неожиданные вещи. И, подумав, он решил доложить обо всей истории главному врачу.

Главный врач, когда-то бывший не то министром, не то заместителем министра, посоветовал не спорить и поставить крест на могиле тети Поли.

— Если поп так уверенно говорит, значит, тут что-то есть. Он что-то знает. Все может быть, все может быть,— бормотал бывший министр.

Поставили крест, первый крест на этом кладбище. Его было далеко видно. И хотя он был единственным, все это место приняло настоящий кладбищенский вид. Все ходячие больные ходили смотреть на этот крест. И досочка была прибита с надписью в траурной рамке. Сделать надпись поручили старику художнику, который уже второй год лежал в больнице. Он, собственно, не лежал, а только числился на койке, а все свое время тратил на массовое производство трех видов копий: «Золотая осень», «Три богатыря» и «Смерть Иоанна Грозного». Художник клялся, что может писать эти копии с закрытыми глазами. Заказчиками его было все поселковое и больничное начальство.

Но досочку на крест тети Поли художник согласился сделать. Он спросил, что надо писать. Нарядчик порывлся в своих списках.

— Ничего не нахожу, кроме инициалов,— сказал он.— Тимошенко П. И. Пиши: Полина Ивановна. Умерла такого-то числа.

Художник, никогда с заказчиками не споривший, так и написал. А ровно через неделю явился Петька Абрамов, то есть отец Петр. Он сказал, что тетю Полю зовут не Полина, а Прасковья, и не Ивановна, а Ильинична. Он сообщил дату ее рождения и потребовал вставить ее в могильную надпись. Надпись исправили в присутствии отца Петра.

1958

## ГАЛСТУК

Как рассказать об этом проклятом галстуке?

Это правда особого рода, это правда действительности. Но это не очерк, а рассказ. Как мне сделать его вещью прозы будущего—чем-либо вроде рассказов Сент-Экзюпери, открывшего нам воздух.

В прошлом и настоящем для успеха необходимо, чтобы писатель был кем-то вроде иностранца в той стране,

о которой он пишет. Чтобы он писал с точки зрения людей, — их интересов, кругозора, — среди которых он вырос и приобрел привычки, вкусы, взгляды. Писатель пишет на языке тех, от имени которых он говорит. И не больше. Если же писатель знает материал слишком хорошо, те, для кого он пишет, не поймут писателя. Писатель изменил, перешел на сторону своего материала.

Не надо знать материал слишком. Таковы все писатели прошлого и настоящего, но проза будущего требует другого. Заговорят не писатели, а люди профессии, обладающие писательским даром. И они расскажут только о том, что знают, видели. Достоверность — вот сила литературы будущего.

А может быть, рассуждения здесь ни к чему и самое главное — постараться вспомнить, во всем вспомнить Марусю Крюкову, хромую девушку, которая травилась вероналом, скопила несколько блестящих крошечных желтеньких яйцеобразных таблеток и проглотила их. Веронал она выменяла на хлеб, на кашу, на порцию селедки у соседок по палате, коим был прописан веронал. Фельдшера знали о торговле вероналом и заставляли больных глотать таблетку на глазах, но корочка у таблетки была жесткая, и обычно больным удавалось заложить веронал за щеку или под язык и после ухода фельдшера выплюнуть на собственную ладонь.

Маруся Крюкова не рассчитала дозы. Она не умерла, ее просто вырвало, и после оказанной помощи — промывания желудка — Марусю выписали на пересылку. Но все это было много позже истории с галстуком.

Маруся Крюкова приехала из Японии в конце тридцатых годов. Дочь эмигранта, жившего на окраине Киото, Маруся с братом вступила в союз «Возвращение в Россию», связалась с советским посольством и в 1939 году получила въездную русскую визу. Во Владивостоке Маруся была арестована вместе со своими товарищами и с братом, увезена в Москву и больше никогда никого из друзей своих не встречала.

На следствии Марусе сломали ногу и, когда кость срослась, увезли на Колыму — отбывать двадцатипятилетний срок заключения. Маруся была великая рукодельница, мастерица вышивки — на эти вышивки и жила Марусина семья в Киото.

На Колыме это уменье Маруси обнаружили начальники сразу. Ей никогда не платили за вышивки: либо принесут кусок хлеба, два куска сахара, папиросы, — Маруся,

впрочем, не научилась курить. И ручная вышивка чудной работы стоимостью в несколько сотен рублей оставалась в руках начальства.

Услышав о способностях заключенной Крюковой, начальница санчасти положила Марусю в больницу, и с этого времени Маруся вышивала врачихе.

Когда пришла телефонограмма в совхоз, где Маруся работала, чтобы всех мастериц-рукодельниц направить попутной машиной в распоряжение ..., начальник лагеря спрятал Марусю — у жены был большой заказ для мастерицы. Но кто-то немедленно написал высшему начальству донос, и Марусю пришлось отправить. Куда?

Две тысячи километров тянется, вьется центральная колымская трасса — шоссе среди сопок, ущелий, столбики, рельсы, мосты... Рельсов на колымской трассе нет. Но все повторяли и повторяют здесь некрасовскую «Железную дорогу» — зачем сочинять стихи, когда есть вполне пригодный текст. Дорога построена вся от кайла и лопаты, от тачки и бура...

Через каждые четыреста — пятьсот километров на трассе стоит «дом дирекции», сверхроскошный отель люкс, находящийся в личном распоряжении директора Дальстроя, сиречь генерал-губернатора Колымы. Только он, во время своих поездок по вверенному ему краю, может там ночевать. Дорогие ковры, бронза и зеркала. Картины-подлинники — немало имен живописцев первого ранга, вроде Шухаева. Шухаев был на Колыме десять лет. В 1957 году на Кузнецком мосту была выставка его работ, его книга жизни. Она началась светлыми пейзажами Бельгии и Франции, автопортретом в золотом камзоле Арлекина. Потом магаданский период: два небольших портрета маслом — портрет жены и автопортрет в мрачной темно-коричневой гамме, две работы за десять лет. На портретах — люди, увидевшие страшное. Кроме этих двух портретов — эскизы театральных декораций.

После войны Шухаева освобождают. Он едет в Тбилиси — на юг, на юг, унося ненависть к Северу. Он сломлен. Он пишет картину «Клятва Сталина в Гори» — подхалимскую. Он сломлен. Портреты ударников, передовиков производства. «Дама в золотом платье». Меры блеска в портрете этом нет — кажется, художник заставляет себя забыть о скупости северной палитры. И все. Можно умирать.

Для «дома дирекции» художники писали и копии: «Иван Грозный убивает своего сына», шишкинское «Утро в лесу». Эти две картины — классика халтуры.

Но самое удивительное там были вышивки. Шелковые занавеси, шторы, портьеры были украшены ручной вышивкой. Коврики, накидки, полотенца — любая тряпка становилась драгоценной после того, как побывала в руках заключенных мастериц.

Директор Дальстроя ночевал в своих «домах» — их было несколько на трассе — два-три раза в год. Все остальное время его ждали сторож, завхоз, повар и заведующий «домом», четыре человека из вольнонаемных, получающих процентные надбавки за работу на Крайнем Севере, ждали, готовились, топили печи зимой, проветривали «дом».

Вышивать занавеси, накидки и все, что задумают, привезли сюда Машу Крюкову. Были еще две мастерицы, равные Маше по уменью и выдумке. Россия — страна проверок, страна контроля. Мечта каждого доброго россиянина — и заключенного, и вольнонаемного, — чтобы его поставили что-нибудь, кого-нибудь проверять. Во-первых: я над кем-то командир. Во-вторых: мне оказано доверие. В-третьих: за такую работу я меньше отвечаю, чем за прямой труд. А в-четвертых: помните атаку «В окопах Сталинграда» Некрасова.

Над Машей и ее новыми знакомыми были поставлена женщина, член партии, выдававшая ежедневно мастерицам материал и нитки. К концу рабочего дня она отбирала работу и проверяла сделанное. Женщина эта не работала, а проходила по штатам центральной больницы как старшая операционная сестра. Она караулила тщательно, уверенная в том, что только отвернись — и кусок тяжелого синего шелка исчезнет.

Мастерицы привыкли давно к такой охране. И хотя обмануть эту женщину не составило бы, верно, труда, они не воровали. Все трое были осуждены по пятьдесят восьмой статье.

Мастериц поместили в лагере, в зоне, на воротах которой, как на всех лагерных зонах Союза, были начертаны незабываемые слова: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства». И фамилия автора цитаты... Цитата звучала иронически, удивительно подходя к смыслу, к содержанию слова «труд» в лагере. Труд был чем угодно, только не делом славы. В 1906 году издательством, в котором участвовали эсеры, была выпущена

книжка «Полное собрание речей Николая II». Это были перепечатки из «Правительственного вестника» в момент коронации царя и состояли из заздравных тостов: «Пью за здоровье Кексгольмского полка», «Пью за здоровье молодцов-черниговцев».

Заздравным тостам было предпослано предисловие, выдержанное в ура-патриотических тонах: «В этих словах как в капле воды отражается вся мудрость нашего великого монарха», — и т. д.

Составители сборника были сосланы в Сибирь.

Что было с людьми, поднявшими цитату о труде на ворота лагерных зон всего Советского Союза?..

За отличное поведение и успешное выполнение плана мастерицам разрешали смотреть кино во время сеансов для заключенных.

Сеансы для вольнонаемных немного по своим порядкам отличались от кино для заключенных.

Киноаппарат был один — между частями были пере­рывы.

Однажды показывали фильм «На всякого мудреца до­вольно простоты». Кончилась первая часть, зажегся, как всегда, свет и, как всегда, погас, и послышался треск киноаппарата — желтый луч дошел до экрана.

Все затопали, закричали. Механик явно ошибся — показывали снова первую часть. Триста человек: здесь были фронтовики с орденами, заслуженные врачи, приехавшие на конференцию, — все, купившие билеты на этот сеанс для вольнонаемных, кричали, стучали но­гами.

Механик не спеша «провернул» первую часть и дал в зал свет. Тогда все поняли, в чем дело. В кино явился за­меститель начальника больницы по хозяйственной части Долматов: он опоздал на первую часть, и фильм показы­вался сначала.

Началась вторая часть, и все пошло как следует. Ко­лымские нравы были известны всем: фронтовикам — меньше, врачам — больше.

Когда билетов продавали мало, сеанс был общим для всех: лучшие места для вольнонаемных — последние ряды, а первые ряды — для заключенных; женщины слева, муж­чины справа от прохода. Проход делил зрительный зал крестообразно на четыре части, и это было очень удобно в рассуждении лагерных правил.

Хромая девушка, заметная и на киносеансах, попа­ла в больницу, в женское отделение. Палат маленьких

тогда еще не было построено; все отделение было размещено в одной воинской спальне — коек пятьдесят, не меньше. Маруся Крюкова попала на лечение к хирургу.

— А что у нее?

— Остеомиелит, — сказал хирург Валентин Николаевич.

— Пропадет нога?

— Ну, почему пропадет...

Я ходил делать перевязку Крюковой и о ее жизни уже рассказал. Через неделю температура спала, а еще через неделю Марусю выписали.

— Я подарю вам галстук — вам и Валентину Николаевичу. Это будут хорошие галстуки.

— Хорошо, хорошо, Маруся.

Полоска шелка среди десятков метров, сотен метров ткани, расшитой, разукрашенной за несколько смен в «доме дирекции».

— А контроль?

— Я попрошу у нашей Анны Андреевны.

Так, кажется, звали надсмотрщицу.

...  
— Анна Андреевна разрешила. Вышиваю, вышиваю, вышиваю... Не знаю, как и объяснить вам. Вошел Долматов и отобрал.

— Как отобрал?

— Ну, я вышивала. Валентину Николаевичу уже был готов. А ваш — оставалось немного. Серый. Дверь открылась. «Галстуки вышиваете?» Обыскал тумбочку. Сложил галстук в карман и ушел.

— Теперь вас отправят.

— Меня не отправят. Работы еще много. Но мне так хотелось вам галстук...

— Пустяки, Маруся, я бы все равно не носил. Разве продать?

На концерт лагерной самодеятельности Долматов опоздал, как в кино. Грузный, брюхатый не по возрасту, он шел к первой пустой скамейке.

Крюкова поднялась с места и махала руками. Я понял, что это знаки мне.

— Галстук, галстук!

Я успел рассмотреть галстук начальника. Галстук Долматова был серый, узорный, высокого качества.

— Ваш галстук! — кричала Маруся. — Ваш или Валентина Николаевича!

Долматов сел на свою скамейку, занавес распахнулся по-старинному, и концерт самодеятельности начался.

1960

## ТАЙГА ЗОЛОТАЯ

«Малая зона» — это пересылка. «Большая зона» — лагерь горного управления — бесконечные приземистые бараки, арестантские улицы, тройная ограда из колючей проволоки, караульные вышки по-зимнему, похожие на скворечни. В малой зоне еще больше колючей проволоки, еще больше вышек, замков и щеколд — ведь там живут проезжие, транзитные, от которых можно ждать всякой беды.

Архитектура малой зоны идеальна. Это один квадратный барак, огромный, где нары в четыре этажа и где «юридических» мест не менее пятисот. Значит, если нужно, можно вместить тысячи. Но сейчас зима, этапов мало, и зона изнутри кажется почти пустой. Барак еще не успел высохнуть внутри — белый пар, на стенах лед. При входе — огромная лампа электрическая в тысячу свечей. Лампа то желтеет, то загорается ослепительным белым светом — подача энергии неровная.

Днем зона спит. По ночам раскрываются двери, под лампой появляются люди со списками в руках и хриплыми, простуженными голосами выкрикивают фамилии. Те, кого вызвали, застегивают бушлаты на все пуговицы, шагают через порог и исчезают навсегда. За порогом ждет конвой, где-то пыхтят моторы грузовиков, заключенных везут на прииски, в совхозы, на дорожные участки...

Я тоже лежу здесь — недалеко от двери на нижних нарах. Внизу холодно, но наверх, где теплее, я подниматься не решаюсь, меня оттуда сбросят вниз: там место для тех, кто посильней, и прежде всего для воров. Да мне и не взобраться наверх по ступенькам, прибитым гвоздями к столбу. Внизу мне лучше. Если будет спор за место на нижних нарах — я уползу под нары, вниз.

Я не могу ни кусаться, ни драться, хотя приемы тюремной драки мною освоены хорошо. Ограниченность пространства — тюремная камера, арестантский вагон, барачная теснота — продиктовала приемы захвата, укуса,



перелома. Но сейчас сил нет и для этого. Я могу только рычать, материться. Я сражаюсь за каждый день, за каждый час отдыха. Каждый клочок тела подсказывает мне мое поведение.

Меня вызывают в первую же ночь, но я не подпоясываюсь, хотя веревочка у меня есть, не застегиваюсь наглухо.

Дверь закрывается за мной, и я стою в тамбуре.

Бригада — двадцать человек, обычная норма для одной автомашины, стоит у следующей двери, из которой выбивается густой морозный пар.

Нарядчик и старший конвоир считают и осматривают людей. А справа стоит еще один человек — в стеганке, в ватных брюках, в ушанке, помахивает меховыми рукавицами-крагами. Его-то мне и нужно. Меня возили столько раз, что закон я знал в совершенстве.

Человек с крагами — представитель, который принимает людей, который волен не принять.

Нарядчик выкрикивает мою фамилию во весь голос — точно так же, как кричал в огромном бараке. Я смотрю только на человека с крагами.

— Не берите меня, гражданин начальник. Я больной и работать на прииске не буду. Мне надо в больницу.

Представитель колеблется — на прииске, дома, ему говорили, чтобы он отобрал только работяг, других прииску не надо. Потому-то он и приехал сам.

Представитель разглядывает меня. Мой рваный бушлат, засаленная гимнастерка без пуговиц, открывающая грязное тело в расчесах от вшей, обрывки тряпок, которыми перевязаны пальцы рук, веревочная обувь на ногах, веревочная в шестидесятиградусный мороз, воспаленные голодные глаза, непомерная костлявость — он хорошо знает, что все это значит.

Представитель берет красный карандаш и твердой рукой вычеркивает мою фамилию.

— Иди, сволочь, — говорит мне нарядчик зоны.

И дверь распаивается, и я снова внутри малой зоны. Место мое уже занято, но я отгаскиваю того, кто лег на мое место, в сторону. Тот недовольно рычит, но вскоре успокаивается.

А я засыпаю похожим на забытье сном и просыпаюсь от первого шороха. Я выучился просыпаться, как зверь, как дикарь, без полусна.

Я открываю глаза. С верхних нар свисает нога в изношенной до предела, но все же туфле, а не казенном ботин-

ке. Грязный блатной мальчик возникает передо мной и говорит куда-то вверх томным голосом педераста.

— Скажи Валюше,— говорит он кому-то невидимому на верхних нарах,— что артистов привели...

Пауза. Потом хриплый голос сверху:

— Валюша спрашивает: кто они?

— Артисты из культбригады. Фокусник и два певца. Один певец харбинский.

Туфля зашевелилась и исчезла... Голос сверху сказал:

— Веди их.

Я продвинулся к краю нар. Три человека стояли под лампой: двое в бушлатах, один в вольной «москвичке». На лицах всех изображалось благоговение.

— Кто тут харбинский?— сказал голос.

— Это я,— почтительно ответил человек в бекеше.

— Валюша велит спеть что-нибудь.

— На русском? Французском? Итальянском? Английском?— спрашивал, вытягивая шею вверх, певец.

— Валюша сказал: на русском.

— А конвой? Можно негромко?

— Ничто... ничто... Вовсю валяй, как в Харбине.

Певец отошел и спел куплеты Тореадора. Холодный пар вылетал с каждым выдохом.

Тяжелое ворчание, и голос сверху:

— Валюша сказал: какую-нибудь песню.

Побледневший певец пел:

Шуми, золотая, шуми, золотая,  
Моя золотая тайга,  
Ой, вейтесь, дороги, одна и другая,  
В раздольные наши края...

Голос сверху:

— Валюша сказал: хорошо.

Певец вздохнул облегченно. Мокрый от волнения лоб дымился и казался нимбом вокруг головы певца. Ладонью певец вытер пот, и нимб исчез.

— Ну, а теперь,— сказал голос,— снимай-ка свою «москвичку». Вот тебе сменка!

Сверху сбросили рваную телогрейку.

Певец молча снял «москвичку» и надел телогрейку.

— Иди теперь,— сказал голос сверху.— Валюша спать хочет.

Харбинский певец и его товарищи растаяли в барачном тумане.

Я подвинулся глубже, скорчился, засунул руки в рукава телогрейки и заснул.

И, казалось, тотчас же проснулся от громкого, выразительного шепота:

— В тридцать седьмом в Улан-Баторе идем мы по улице с товарищем. Время обедать. На углу — китайская столовая. Заходим. Смотрю меню: китайские пельмени. Я сибиряк, знаю сибирские, уральские пельмени. А тут вдруг китайские. Решили взять по сотне. Хозяин китаец смеется: «Многа будет», — и рот растягивает до ушей. «Ну, по десятку?» Хохочет: «Многа будет». «Ну, по паре!» Пожал плечами, ушел на кухню, тащит — каждый пельмень с ладонь, все залито жиром горячим. Ну, мы по полпельменя на двоих съели и ушли.

— А вот я...

Усилием воли заставляю себя не слушать и засыпаю снова. Просыпаюсь от запаха дыма. Где-то вверху, в воровском царстве, курят. Кто-то слез с махорочной сигаркой вниз, и острый сладкий запах дыма разбудил всех внизу.

И снова шепот:

— В райкоме у нас, в Северном, этих окурков, боже мой, боже мой! Тетя Поля, уборщица, все ругалась, подметать не успевала. А я и не понимал тогда, что такое табачный окурочек, чинарик, бычок.

Снова я засыпаю.

Кто-то дергает меня за ногу. Это нарядчик. Воспаленные глаза его злы. Он ставит меня в полосу желтого света у двери.

— Ну, — говорит он, — на прииск ты не хочешь ехать. Я молчу.

— А в совхоз? В теплый совхоз, черт бы тебя побрал, сам бы поехал.

— Нет.

— А на дорожную? Метлы вязать. Метлы вязать, подумай.

— Знаю, — говорю я, — сегодня метлы вязать, а завтра — тачку в руки.

— Чего же ты хочешь?

— В больницу! Я болен.

Нарядчик что-то записывает в тетрадь и уходит. Через три дня в малую зону приходит фельдшер и вызывает меня, ставит термометр, осматривает язвы фурункулов на спине, втирает какую-то мазь.

(1961)

## ВАСЬКА ДЕНИСОВ, ПОХИТИТЕЛЬ СВИНЕЙ

Для вечерней поездки пришлось одолжить бушлат у товарища. Васькин бушлат был слишком грязен и рван, в нем нельзя было пройти по поселку и двух шагов — сразу бы сцапал любой вольняшка.

По поселку таких, как Васька, водят только с конвоем, в рядах. Ни военные, ни штатские вольные жители не любят, чтобы по улицам поселка ходили подобные Ваське в одиночку. Они не вызывают подозрения только тогда, когда несут дрова: небольшое бревнышко или, как здесь говорят, «палку дров» на плече.

Такая палка была зарыта в снегу недалеко от гаража — шестой телеграфный столб от поворота, в кювете. Это было сделано еще вчера после работы.

Сейчас знакомый шофер придержал машину, и Денисов перегнулся через борт и сполз на землю. Он сразу нашел место, где закопал бревно, — синеватый снег здесь был чуть потемнее, был примят, это было видно в начинавшихся сумерках. Васька спрыгнул в кювет и расшвырял снег ногами. Показалось бревно, серое, крутобокое, как большая замороженная рыба. Васька вытащил бревно на дорогу, поставил его стоймя, постучал, чтобы сбить с бревна снег, и согнулся, подставляя плечо и приподнимая бревно руками. Бревно качнулось и легло на плечо. Васька зашагал в поселок, время от времени меняя плечо. Он был слаб и истощен, поэтому быстро согрелся, но тепло держалось недолго — как ни ощутителен был вес бревна, Васька не согревался. Сумерки сгустились белой мглой, поселок зажег все желтые электрические огни. Васька усмехнулся, довольный своим расчетом: в белом тумане он легко доберется до цели своей незамеченным. Вот сломанная огромная лиственница, серебряный в инее пень, значит — в следующий дом.

Васька бросил бревно у крыльца, обил рукавицами снег с валенок и постучался в квартиру. Дверь приоткрылась и пропустила Ваську. Пожилая простоволосая женщина в расстегнутом нагольном полушубке вопросительно и испуганно смотрела на Ваську.

— Дровишек вам принес, — сказал Васька, с трудом раздвигая замерзшую кожу лица в складки улыбки. — Мне бы Ивана Петровича.

Но Иван Петрович сам уже выходил, приподнимая рукой занавеску.

— Это добре,— сказал он.— Где они?

— На дворе,— сказал Васька.

— Так ты подожди, мы попилим, сейчас я оденусь.

Иван Петрович долго искал рукавицы. Они вышли на крыльцо и без козел, прижимая бревно ногами, приподнимая его, распилили. Пила была неточеная, с плохим разводом.

— После зайдешь,— сказал Иван Петрович.— Направишь. А теперь вот колун... И потом сложишь, только не в коридоре, а прямо в квартиру тащи.

Голова у Васьки кружилась от голода, но он переколот все дрова и перетащил в квартиру.

— Ну, все,— сказала женщина, вылезая из-под занавески.— Все.

Но Васька не уходил и топтался у двери. Иван Петрович появился снова.

— Слушай,— сказал он,— хлеба у меня сейчас нет, суп тоже весь пороссятам отнесли, нечего мне тебе сейчас дать. Зайдешь на той неделе...

Васька молчал и не уходил.

Иван Петрович порылся в бумажнике.

— Вот тебе три рубля. Только для тебя за такие дрова, а табачку — сам понимаешь! — табачок ныне дорог.

Васька спрятал мятую бумажку за цазуху и вышел. За три рубля он не купил бы и щепотку махорки.

Он все еще стоял на крыльце. Его тошнило от голода. Поросята съели Васькин хлеб и суп. Васька вынул зеленую бумажку, разорвал ее намелко. Ключки бумаги, подхваченные ветром, долго катились по отполированному, блестящему насту. И когда последние обрывки скрылись в белом тумане, Васька сошел с крыльца. Чуть покачиваясь от слабости, он шел, но не домой, а в глубь поселка, все шел и шел — к одноэтажным, двухэтажным, трехэтажным деревянным дворцам...

Он вошел на первое же крыльцо и дернул ручку двери. Дверь скрипнула и тяжело отошла. Васька вошел в темный коридор, слабо освещенный тусклой электрической лампочкой. Он шел мимо квартирных дверей. В конце коридора был чулан, и Васька, навалившись на дверь, открыл ее и переступил через порог. В чулане стояли мешки с луком, может быть, с солью. Васька разорвал один из мешков — крупа. В досаде он, снова разгорячась, налег

плечом и отвалил мешок в сторону — под мешками лежали мерзлые свиные туши. Васька закричал от злости — не хватило силы оторвать от туши хоть кусок. Но дальше под мешками лежали мороженые поросята, и Васька уже больше ничего не видел. Он оторвал примерзшего поросенка и, держа его в руках, как куклу, как ребенка, пошел к выходу. Но уже из комнат выходили люди, белый пар наполнял коридор. Кто-то крикнул: «Стой!» — и кинулся в ноги Ваське. Васька подпрыгнул, крепко держа поросенка в руках, и выбежал на улицу. За ним помчались обитатели дома. Кто-то стрелял вслед, кто-то ревел позвериному, но Васька мчался, ничего не видя. И через несколько минут он увидел, что ноги сами его несут в единственный казенный дом, который он знал в поселке, — в управление витаминных командировок, на одной из которых и работал Васька сборщиком стланика.

Погоня была близка. Васька взбежал на крыльцо, оттолкнул дежурного и помчался по коридору. Толпа преследователей грохотала сзади. Васька кинулся в кабинет заведующего культурной работой и выскочил в другую дверь — в красный уголок. Дальше бежать было некуда. Васька сейчас только увидел, что потерял шапку. Мерзлый поросенок все еще был в его руках. Васька положил поросенка на пол, своротил массивные скамейки и заложил ими дверь. Кафедру-трибуну он подтащил туда же. Кто-то потряс дверь, и наступила тишина.

Тогда Васька сел на пол, взял в обе руки поросенка, сырого, мороженого поросенка, и грыз, грыз...

Когда вызван был отряд стрелков, и двери были открыты, и баррикада разобрана, Васька успел съесть половину поросенка...

1958

## СЕРАФИМ

Письмо лежало на черном закопченном столе как льдинка. Дверцы железной печки-бочки были раскрыты, каменный уголь рдел, как брусничное варенье в консервной банке, и льдинка должна была растаять, истончиться, исчезнуть. Но льдинка не таяла, и Серафим испугался, поняв, что льдинка — письмо, и письмо именно ему, Серафиму. Серафим боялся писем, особенно бесплатных, с казенными штампами. Он вырос в деревне, где до сих пор

полученная или отправленная, «отбитая», телеграмма говорит о событии трагическом: похоронах, смерти, тяжелой болезни...

Письмо лежало вниз лицом, адресной стороной, на Серафимовом столе; разматывая шарф и расстегивая задуbevшую от мороза овчинную шубу, Серафим глядел на конверт, не отрывая глаз.

Вот он уехал за двенадцать тысяч верст, за высокие горы, за синие моря, желая все забыть и все простить, а прошлое не хочет оставить его в покое. Из-за гор пришло письмо, письмо стого, не забытого еще света. Письмо везли на поезде, на самолете, на пароходе, на автомобиле, на оленях до того поселка, где спрятался Серафим.

И вот письмо здесь, в маленькой химической лаборатории, где Серафим работает лаборантом.

Бревенчатые стены, потолок, шкафы лаборатории почернели не от времени, а от круглосуточной топки печей, и внутренность домика кажется какой-то древней избой. Квадратные окна лаборатории похожи на слюдяные окошки петровских времен. На шахте берегут стекло и переплеты окон делают в мелкую решетку: чтоб пошел в дело каждый обломок стекла, а при надобности и битая бутылка. Желтая электролампа под колпаком свешивалась с деревянной балки, как самоубийца. Свет ее то тускнел, то разгорался — вместо движков на электростанции работали тракторы.

Серафим разделся и сел к печке, все еще не трогая конверта. Он был один в лаборатории.

Год назад, когда случилось то, что называют «семейной размолвкой», он не хотел уступать. Он уехал на Дальний Север не потому, что был романтиком или человеком долга. Длинный рубль тоже его не интересовал. Но Серафим считал, в соответствии с суждениями тысячи философов и десятка знакомых обывателей, что разлука уносит любовь, что версты и годы справятся с любым горем.

Год прошел, и в сердце Серафима все оставалось по-прежнему, и он втайне дивился прочности своего чувства. Не потому ли, что он не говорил больше с женщинами. Их просто не было. Были жены высоких начальников — общественного класса, необычайно далекого от лаборанта Серафима. Каждая раскормленная дама считала себя красавицей, и такие дамы жили в поселках, где было больше развлечений и ценители их прелестей были побогаче. Притом в поселках было много военных: даме не грозило

и внезапное групповое изнасилование шоферней или блатарями-заключенными — такое то и дело случалось в дороге или на маленьких участках.

Поэтому геологоразведчики, лагерные начальники держали своих жен в крупных поселках, местах, где маниюри создавали себе целые состояния.

Но была и другая сторона дела — «телесная тоска» оказалась вовсе не такой страшной штукой, как думал Серафим в молодости. Просто надо было меньше об этом думать.

На шахте работали заключенные, и Серафим много раз летом смотрел с крыльца на серые ряды арестантов, вползающих в главную штольню и выползающих из нее после смены.

В лаборатории работали два инженера из заключенных, их приводил и уводил конвой, и Серафим боялся с ними заговорить. Они спрашивали только деловое — результат анализа или пробы, — он им отвечал, отводя глаза в сторону. Серафима напугали на этот счет еще в Москве при найме на Дальний Север, сказали, что там опасные государственные преступники, и Серафим боялся принести даже кусок сахару или белого хлеба своим товарищам по работе. За ним, впрочем, следил заведующий лабораторией Пресняков, комсомолец, растерявшийся от собственного необычайно высокого жалованья и высокой должности сразу после окончания института. Главной своей обязанностью он считал политконтроль за своими сотрудниками (а может быть, только этого от него и требовали), и заключенными, и вольнонаемными.

Серафим был постарше своего заведующего, но послушно выполнял все, что тот приказывал в смысле пресловутой бдительности и осмотрительности.

За год он и десятком слов на посторонние темы не обменялся с заключенными инженерами.

С дневальным же и ночным сторожем Серафим и вовсе ничего не говорил.

Через каждые шесть месяцев оклад договорника-северянина увеличивался на десять процентов. После получения второй надбавки Серафим выпросил себе поездку в соседний поселок, всего за сто километров, — что-нибудь купить, сходить в кино, пообедать в настоящей столовой, «посмотреть на баб», побриться в парикмахерской.

Серафим взобрался в кузов грузовика, поднял воротник, закутался поплотнее, и машина помчалась.



Через часа полтора машина остановилась у какого-то домика. Серафим слез и сощурился от весеннего резкого света.

Два человека с винтовками стояли перед Серафимом.

— Документы!

Серафим полез в карман пиджака и похолодел — паспорт он забыл дома. И, как назло, никакой бумажки, удостоверяющей его личность. Ничего, кроме анализа воздуха с шахты. Серафиму велели идти в избу.

Машина уехала.

Небритый, коротко стриженный Серафим не внушал доверия начальнику.

— Откуда бежал?

— Ниоткуда...

Внезапная затрещина свалила Серафима с ног.

— Отвечать, как полагается!

— Да я буду жаловаться! — завопил Серафим.

— Ах, ты будешь жаловаться? Эй, Семен!

Семен прицелился и гимнастическим жестом привычно и ловко ударил ногой в солнечное сплетение Серафиму.

Серафим охнул и потерял сознание.

Смутно он помнил, как его куда-то волокли прямо по дороге, он потерял шапку. Зазвенел замок, скрипнула дверь, и солдаты вбросили Серафима в какой-то вонючий, но теплый сарай.

Через несколько часов Серафим отдышался и понял, что он находится в изоляторе, куда собирали всех беглецов и штрафников — заключенных поселка.

— Табак есть? — спросил кто-то из темноты.

— Нет. Я некурящий, — виновато сказал Серафим.

— Ну и дурак. Есть у него что-нибудь?

— Нет, ничего. После этих бакланов разве что останется?

Серафим с величайшим усилием сообразил, что речь идет о нем, а «бакланами», очевидно, называют конвоиров за их жадность и всеядность.

— У меня были деньги, — сказал Серафим.

— Вот именно «были».

Серафим обрадовался и замолчал. Он взял с собой в поездку две тысячи рублей, и, слава богу, эти деньги изъяты и хранятся у конвоя. Все скоро выяснится, и Серафима освободят и вернут ему деньги. Серафим повеселел.

«Надо будет дать сотню конвоирам, — подумал он, — за хранение». Впрочем, за что давать? За то, что они его избили?

В тесной избушке без всяких окон, где единственный доступ воздуха был через входную дверь и обросшие льдом щели в стенах, лежали прямо на земле человек двадцать.

Серафиму захотелось есть, и он спросил соседа, когда будет ужин.

— Да ты что, на самом деле вольный, что ли? Завтра поешь. Мы ведь на казенном положении: кружка воды и пайка—трехсотка на сутки. И семь килограммов дров.

Серафима никуда не вызывали, и он прожил здесь целых пять дней. Первый день он кричал, стучал в дверь, но после того, как дежурный конвойный, изловчившись, хватил его прикладом в лоб, перестал жаловаться. Вместо потерянной шапки Серафиму дали какой-то комок материи, который он с трудом напялил на голову.

На шестой день его вызвали в контору, где за столом сидел тот же начальник, который его принимал, а у стены стоял заведующий лабораторией, крайне недовольный и прогулом Серафима, и потерей времени на поездку для удостоверения личности лаборанта.

Пресняков слегка ахнул, увидя Серафима: под правым глазом был синий кровоподтек, на голове—рваная грязная матерчатая шапка без завязок. Серафим был в тесной изорванной телогрейке без пуговиц, заросший бородой, грязный—шубу пришлось оставить в карцере,—с красными, воспаленными глазами. Он произвел сильное впечатление.

— Ну,—сказал Пресняков,—этот самый. Можно нам идти?—И заведующий лабораторией потащил Серафима к выходу.

— А д-деньги?—замычал Серафим, упираясь и отталкивая Преснякова.

— Какие деньги?—металлом зазвенел голос начальника.

— Две тысячи рублей. Я брал с собой.

— Вот видите,—хохотнул начальник и толкнул Преснякова в бок.—Я же вам рассказывал. В пьяном виде, без шапки...

Серафим шагнул через порог и молчал до самого дома.

После этого случая Серафим стал думать о самоубийстве. Он даже спросил заключенного инженера, почему тот, арестант, не кончает самоубийством.

Инженер был поражен — Серафим за год не сказал с ним двух слов. Он помолчал, стараясь понять Серафима.

— Как же вы? Как же вы живете? — горячо шептал Серафим.

— Да, жизнь арестанта — сплошная цепь унижений с той минуты, когда он откроет глаза и уши и до начала благодетельного сна. Да, все это верно, но ко всему привыкаешь. И тут бывают дни лучше и дни хуже, дни безнадежности сменяются днями надежды. Человек живет не потому, что он во что-то верит, на что-то надеется. Инстинкт жизни хранит его, как он хранит любое животное. Да и любое дерево, и любой камень могли бы повторить то же самое. Берегитесь, когда приходится бороться за жизнь в самом себе, когда нервы подтянуты, воспалены, берегитесь обнажить свое сердце, свой ум с какой-нибудь неожиданной стороны. Сосредоточив остатки силы против чего-либо, берегитесь удара сзади. На новую, непривычную борьбу сил может не хватить. Всякое самоубийство обязательный результат двойного воздействия, двух, по крайней мере, причин. Вы поняли меня?

Серафим понимал.

Сейчас он сидел в закопченной лаборатории и вспоминал свою поездку почему-то с чувством стыда и с чувством тяжелой ответственности, которая легла на него навсегда. Жить он не хотел.

Письмо все еще лежало на лабораторном черном столе, и страшно было взять его в руки.

Серафим представил себе его строки, почерк своей жены, почерк с наклоном влево: по такому почерку разгадывался ее возраст — в двадцатых годах в школах не учили писать наклонно вправо, писал кто как хотел.

Серафим представил себе строки письма, будто прочел его, не разрывая конверта. Письмо могло начинаться: «Дорогой мой», или «Дорогой Сима», или «Серафим». Последнего он боялся.

А что, если он возьмет и, не читая, разорвет конверт в мелкие клочья и бросит их в рубиновый огонь печи? Все наваждение кончится, и ему снова будет легче дышать — хотя бы до следующего письма. Но не такой же он трус, в конце концов! Он вовсе не трус, это инженер трус, и он ему докажет. Он всем докажет.

И Серафим взял письмо и вывернул его адресом кверху. Его догадка была верной — письмо было из Москвы, от

жены. Он яростно разорвал конверт и, подойдя к лампочке, стоя прочитал письмо. Жена писала ему о разводе.

Серафим бросил письмо в печь, и оно вспыхнуло белым пламенем с голубым ободком и исчезло.

Серафим стал действовать уверенно и неспешно. Он достал из кармана ключи и отпер шкаф в комнате Преснякова. Из стеклянной банки он высыпал в мензурку щепотку серого порошка, черпнул кружкой воду из ведра, долил в мензурку, размешал и выпил.

Жжение в горле, легкий позыв на рвоту — и все.

Он присидел, глядя на часы-ходики, ни о чем не вспоминая, целых тридцать минут. Никакого действия, кроме боли в горле. Тогда Серафим заторопился. Он открыл ящик стола и вытащил свой перочинный нож. Потом Серафим разорвал вену на левой руке: темная кровь потекла на пол. Серафим ощутил радостное чувство слабости. Но кровь текла все меньше, все тише.

Серафим понял, что кровь не пойдет, что он останется жив, что самозащита собственного тела сильнее желания умереть. Сейчас же он вспомнил, что надо сделать. Он кое-как, в один рукав, надел на себя полушубок — без полушубка на улице было слишком холодно — и без шапки, подняв воротник, побежал к речке, которая текла в ста шагах от лаборатории. Это была горная речка с глубокими узкими промоинами, дымящимися, как кипяток, в темном морозном воздухе.

Серафим вспомнил, как в прошлом году поздней осенью выпал первый снег и тонким ледком затянуло реку. И отставшая от перелета утка, обессиленная в борьбе со снегом, опустилась на молодой лед. Серафим вспомнил, как выбежал на лед человек, какой-то заключенный и, смешно растопырив руки, пытался поймать утку. Утка отбегала по льду до промоины и ныряла под лед, выскакивая в следующей полынье. Человек бежал, проклиная птицу; он измучился не меньше утки и продолжал бегать за ней от промоины к промоине. Два раза он проваливался на льду и, грязно ругаясь, долго выползал на льдину.

Кругом стояло много людей, но ни один не помог ни утке, ни охотнику. Это была его добыча, его находка, а за помощь надо было платить, делиться... Измученный человек полз по льду, проклиная все на свете. Дело кончилось тем, что утка нырнула и не вынырнула — наверное, утонула от усталости.

Серафим вспомнил, как он тогда пытался представить себе смерть утки, как она бьется в воде головой об лед и как сквозь лед видит голубое небо. Сейчас Серафим бежал к этому самому месту реки.

Он спрыгнул прямо в ледяную дымящуюся воду, обломив опущенную снегом кромку синего льда. Воды было по пояс, но течение было сильным, и Серафима сбilo с ног. Он бросил полушубок и соединил руки, заставляя себя нырнуть под лед.

Но уже кругом кричали и бежали люди, тащили доски и прилаживали поперек промоины. Кто-то успел схватить Серафима за волосы.

Его понесли прямо в больницу. Раздели, согрели, пытались влить ему в глотку теплый сладкий чай. Серафим молчал и мотал головой.

Больничный врач подошел к нему, держа шприц с раствором глюкозы, но увидел рваную вену и поднял глаза на Серафима.

Серафим улыбнулся. Глюкозу ввели в правую руку. Видавший виды старик врач разжал шпателью зубы Серафима, посмотрел горло и вызвал хирурга.

Операция была сделана немедленно, но слишком поздно. Стенки желудка и пищевод были съедены кислотой — первоначальный расчет Серафима был совершенно верен.

1959

## ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

Две белки небесного цвета, черномордые, чернохвостые, увлеченно вглядывались в то, что творилось за серебряными лиственницами. Я подошел к дереву, на ветвях которого они сидели, почти вплотную, и только тогда белки заметили меня. Беличьи когти зашуршали по коре дерева, синие тела зверьков метнулись вверх и где-то высоко-высоко затихли. Крошки коры перестали сыпаться на снег. Я увидел то, что разглядывали белки.

На лесной полянке молился человек. Матерчатая шапка-ушанка комочком лежала у его ног, иней успел уже выбелить стриженую голову. На лице его было выражение удивительное — то самое, что бывает на лицах людей, вспоминающих детство или что-либо равноценно дорогое. Человек крестился размашисто и быстро: тремя сложенными пальцами правой руки он будто тянул вниз

свою собственную голову. Я не сразу узнал его — так много нового было в чертах его лица. Это был заключенный Замятин, священник из одного барака со мной.

Все еще не видя меня, он выговаривал негромко и торжественно немеющими от холода губами привычные, заповенные мной с детства слова. Это были славянские формулы литургийной службы — Замятин служил обедню в серебряном лесу.

Он медленно перекрестился, выпрямился и увидел меня. Торжественность и умиленность исчезли с его лица, и привычные складки на переносице сблизили его брови. Замятин не любил насмешек. Он поднял шапку, встряхнул и надел ее.

— Вы служили литургию, — начал я.

— Нет, нет, — сказал Замятин, улыбаясь моей невежественности. — Как я могу служить обедню? У меня ведь нет ни даров, ни епитрахили. Это казенное полотенце.

И он поправил грязную вафельную тряпку, висевшую у него на шее и в самом деле напоминавшую епитрахиль. Мороз pokrыл полотенце снежным хрусталем, хрусталь радужно сверкал на солнце, как расшитая церковная ткань.

— Кроме того, мне стыдно — я не знаю, где восток. Солнце сейчас встает на два часа и заходит за ту же гору, из-за которой выходило. Где же восток?

— Разве это так важно — восток?

— Нет, конечно. Не уходите. Говорю же вам, что я не служу и не могу служить. Я просто повторяю, вспоминаю воскресную службу. И я не знаю, воскресенье ли сегодня?

— Четверг, — сказал я. — Надзиратель утром говорил.

— Вот видите, четверг. Нет, нет, я не служу. Мне просто легче так. И меньше есть хочется, — улыбнулся Замятин.

Я знаю, что у каждого человека здесь было свое *самое последнее*, самое важное — то, что помогало жить, цепляться за жизнь, которую так настойчиво и упорно у нас отнимали. Если у Замятина этим последним была литургия Иоанна Златоуста, то моим спасительным последним были стихи — чужие любимые стихи, которые удивительным образом помнились там, где все остальное было давно забыто, выброшено, изгнано из памяти. Единственное, что еще не было подавлено усталостью, морозом, голодом и бесконечными унижениями.

Солнце зашло. Стремительная мгла зимнего раннего вечера уже заполнила пространство между деревьями.

Я побрел в барак, где мы жили, — низенькую продолговатую избушку с маленькими окнами, похожую на крошечную конюшню. Ухватясь обеими руками за тяжелую, обледенелую дверь, я услышал шорох в соседней избушке. Там была «инструменталка» — кладовая, где хранился инструмент: пилы, лопаты, топоры, ломы, кайла горнорабочих.

По выходным дням инструменталка была на замке, но сейчас замка не было. Я шагнул через порог инструменталки, и тяжелая дверь чуть не прихлопнула меня. Щелей в кладовой было столько, что глаза быстро привыкли к полумраку.

Два блатаря щекотали большого щенка-овчарку месяцев четырех. Щенок лежал на спине, повизгивал и махал всеми четырьмя лапами. Блатарь постарше придерживал щенка за ошейник. Мой приход не смутил блатарей — мы были из одной бригады.

— Эй, ты, на улице кто есть?

— Никого нету, — ответил я.

— Ну, давай, — сказал блатарь постарше.

— Подожди, дай я поиграюсь еще маленько, — отвечал молодой. — Ишь как бьется. — Он ощупал теплый щенячий бок близ сердца и пощекотал щенка.

Щенок доверчиво взвизгнул и лизнул человечесью руку.

— А, ты лизаться... Так не будешь лизаться. Сеня...

Семен, левой рукой удерживая щенка за ошейник, правой вытащил из-за спины топор и быстрым коротким взмахом опустил его на голову собаки. Щенок рванулся, кровь брызнула на ледяной пол инструменталки.

— Держи его крепче! — закричал Семен, поднимая топор вторично.

— Чего его держать, не петух, — сказал молодой.

— Шкуру-то сними, пока теплая, — учил Семен. —

И зарой ее в снег.

Вечером запах мясного супа не давал никому спать в бараке, пока все не было съедено блатарями. Но блатарей у нас было слишком мало в бараке, чтоб съесть целого щенка. В котелке еще оставалось мясо.

Семен пальцем поманил меня.

— Забери.

— Не хочу, — сказал я.

— Ну, тогда... — Семен обвел нары глазами. — Тогда попу отдадим. Э, батя, вот прими от нас баранинки. Только котелок вымой...

Замятин явился из темноты на желтый свет копилки-

бензинки, взял котелок и исчез. Через пять минут он вернулся с вымытым котелком.

— Уже?— спросил Семен с интересом.— Быстро ты глотаешь... Как чайка. Это, батя, не баранинка, а псина. Собачка тут к тебе ходила — Норд называется.

Замятин молча глядел на Семена. Потом повернулся и вышел. Вслед за ним вышел и я. Замятин стоял за дверьми на снегу. Его рвало. Лицо его в лунном свете казалось свинцовым. Липкая клейкая слюна свисала с его синих губ. Замятин вытерся рукавом и сердито посмотрел на меня.

— Вот мерзавцы,— сказал я.

— Да, конечно,— сказал Замятин.— Но мясо было вкусное. Не хуже баранины.

1959

## ДОМИНО

Санитары свели меня с площадки десятичных весов. Их могучие холодные руки не давали мне опуститься на пол.

— Сколько?— крикнул врач, со стуком макая перо в чернильницу-непроливайку.

— Сорок восемь.

Меня уложили на носилки. Мой рост — сто восемьдесят сантиметров, мой нормальный вес — восемьдесят килограммов. Вес костей — сорок два процента общего веса — тридцать два килограмма. В этот ледяной вечер у меня осталось шестнадцать килограммов, ровно пуд всего: кожи, мяса, внутренностей и мозга. Я не мог бы высчитать все это тогда, но я смутно понимал, что все это делает врач, глядящий на меня исподлобья.

Врач отпер замок стола, выдвинул ящик, бережно достал термометр, потом наклонился надо мной и осторожно заложил градусник в мою левую подмышечную ямку. Тотчас же один из санитаров прижал мою левую руку к груди, а второй санитар обхватил обеими руками запястье моей правой руки. Эти заученные, отработанные движения стали мне ясны позднее — во всей больнице на сотню коек был один термометр. Стеклашка изменила свою ценность, свой масштаб — ее берегли, как драгоценность. Только тяжелым и вновь поступающим больным разрешалось измерять температуру этим инструментом.



Температура выздоравливающих записывалась по пульсу, и только в случаях сомнения отпирался ящик стола.

Часы-ходики отщелкали десять минут, врач осторожно вынул термометр, руки санитаров разжались.

— Тридцать четыре и три,— сказал врач.— Ты можешь отвечать?

Я показал глазами — «могу». Я берег силы. Слова выговаривались медленно и трудно — это было вроде перевода с иностранного языка. Я все забыл. Я отвык вспоминать. Запись истории болезни кончилась, и санитары легко подняли носилки, на которых я лежал навзничь.

— В шестую,— сказал врач.— Поближе к печке.

Меня положили на топчан у печки. Матрасы были набиты ветками стланика, хвоя осыпалась, высохла, голые ветки угрожающе горбились под грязной полосатой тканью. Сенная труха сыпалась из туго набитой грязной подушки. Реденькое, выношенное суконное одеяло с нашитыми серыми буквами «ноги» укрывало меня от всего мира. Похожие на бечевку мускулы рук и ног ныли, отмороженные пальцы зудели. Но усталость была сильнее боли. Я свернулся в клубок, охватил руками ноги, грязными голеньями, покрытыми крупнозернистой, как бы крокодиловой кожей, уперся в подбородок и заснул.

Я проснулся через много часов. Мои завтраки, обеды, ужины стояли возле койки на полу. Я протянул руку, ухватил ближайшую жестяную мисочку и стал есть все подряд, время от времени откусывая крошечные кусочки от пайки хлеба, лежавшей тут же. Больные с соседних топчанов смотрели, как я глотаю пищу. Они меня не спрашивали, кто я и откуда: моя крокодиловая кожа говорила сама за себя. Они бы и не смотрели на меня, но — я это знал по себе — от зрелища человека вкушающего нельзя отвести глаз.

Я проглотил поставленную пищу. Тепло, восхитительная тяжесть в желудке и снова сон — недолгий, ибо за мной пришел санитар. Я накинул на плечи единственный «расхожий» халат палаты, грязный, прожженный окурками, отяжелевший от впитавшегося пота многих сотен людей, сунул ступни в огромные шлепанцы и, медленно передвигая ноги, чтобы не свалилась обувь, побрел за санитаром в процедурную.

Тот же молодой врач стоял у окна и смотрел на улицу сквозь закуржавевшее, мохнатое от наросшего льда стекло. С угла подоконника свешивалась тряпочка, с нее капала вода, капля за каплей в подставленную жестяную

обеденную миску. Железная печка гудела. Я остановился, держась обеими руками за санитаря.

— Продолжим,— сказал врач.

— Холодно,— ответил я негромко. Съеденная только что пища уже перестала греть меня.

— Садитесь к печке. Где вы работали на воле?

Я раздвинул губы, подвигал челюстями — должна была получиться улыбка. Врач это понял и улыбнулся ответно.

— Зовут меня Андрей Михайлович,— сказал он.— Лечиться вам нечего.

У меня засосало под ложечкой.

— Да,— повторил врач громким голосом.— Вам нечего лечиться. Вас надо кормить и мыть. Вам надо лежать, лежать и есть. Правда, матрасы наши — не перина. Ну, вы еще ничего — ворочайтесь побольше, и пролежней не будет. Полежите месяца два. А там и весна.

Врач усмехнулся. Я чувствовал радость, конечно: еще бы! Целых два месяца! Но я не в силах был выразить радость. Я держался руками за табуретку и молчал. Врач что-то записал в истории болезни.

— Идите.

Я вернулся в палату, спал и ел. Через неделю я уже ходил нетвердыми ногами по палате, по коридору, по другим палатам. Я искал людей жующих, глотающих, я смотрел им в рот, ибо чем больше я отдыхал, тем больше и острее мне хотелось есть.

В больнице, как и в лагере, не выдавали ложек вовсе. Мы научились обходиться без вилки и ножа еще в следственной тюрьме. Давно мы были обучены приему пищи «через борт», без ложки — ни суп, ни каша никогда не были такими густыми, чтобы понадобилась ложка. Палец, корка хлеба и язык очищали дно котелка или миски любой глубины.

Я ходил и искал людей жующих. Это была настоящая, повелительная потребность, и чувство это было знакомо Андрею Михайловичу.

Ночью меня разбудил санитар. Палата была шумна обычным ночным больничным шумом: хрип, храп, стоны, бредовый разговор, кашель — все мешалось в своеобразную звуковую симфонию, если из таких звуков может быть составлена симфония. Но заведи меня с закрытыми глазами в такое место — я узнаю лагерную больницу.

На подоконнике лампа — жестяное блюдечко с каким-то маслом — только не рыбий жир! — и дымным фитиль-

ком, скрученным из ваты. Было, вероятно, еще не очень поздно, наша ночь начиналась с отбоя, с девяти часов вечера, и засыпали мы как-то сразу, чуть согреются ноги.

— Андрей Михайлович звали,—сказал санитар.— Вон Козлик тебя проводит.

Больной, называемый Козликом, стоял передо мной.

Я подошел к жестяному рукомойнику, умылся и, вернувшись в палату, вытер лицо и руки о наволочку. Огромное полотенце из старого полосатого матраса было одно на палату в тридцать человек и выдавалось только по утрам. Андрей Михайлович жил при больнице в одной из крайних маленьких палат — в такие палаты клали послеоперационных больных. Я постучал в дверь и вошел.

На столе лежали книги, сдвинутые в сторону, книги, которых так много лет я не держал в руках. Книги были чужими, недружелюбными, ненужными. Рядом с книгами стоял чайник, две жестяные кружки и полная миска какой-то каши...

— Не хотите ли сыграть в домино?—сказал Андрей Михайлович, дружелюбно разглядывая меня.— Если у вас есть время.

Я ненавижу домино. Эта игра самая глупая, самая бессмысленная, самая нудная. Даже лото интереснее, не говоря уж о картах — о любой карточной игре. Всего бы лучше в шахматы, в шашки хоть бы, я покосился на шкаф — не видно ли там шахматной доски, но доски не было. Но не могу же я обидеть Андрея Михайловича отказом. Я должен его развлечь, должен отплатить добром за добро. Я никогда в жизни не играл в домино, но убежден, что великой мудрости для овладения этим искусством не надо.

И потом — на столе стояли две кружки чая, миска с кашей. И было тепло.

— Выпьем чаю,—сказал Андрей Михайлович.— Вот сахар. Не стесняйтесь. Ешьте эту кашу и рассказывайте — о чем хотите. Впрочем, эти два дела нельзя делать одновременно.

Я съел кашу, хлеб, выпил три кружки чаю с сахаром. Сахару я не видел несколько лет. Я согрелся, и Андрей Михайлович смешал костяшки домино.

Я знал, что начинает игру обладатель двойной шестерки — ее поставил Андрей Михайлович. Потом по очереди играющие приставляют подходящие по очкам кости. Дру-

гой науки тут не было, и я смело вошел в игру, непрерывно потея и икая от сытости.

Мы играли на кровати Андрея Михайловича, и я с удовольствием смотрел на ослепительно белую наволочку на перьевой подушке. Это было физическое наслаждение — смотреть на чистую подушку, видеть, как другой человек мнет ее рукой.

— Наша игра, — сказал я, — лишена самого главного своего очарования — игроки в домино должны стучать с размаху о стол, выставляя костяшки. — Я отнюдь не шутил. Именно эта сторона дела представлялась мне наиболее важной в домино.

— Перейдем на стол, — любезно сказал Андрей Михайлович.

— Ну, что вы, я просто вспоминаю всю многогранность этой игры.

Партия игралась медленно — мы рассказывали друг другу наши жизни. Андрей Михайлович, врач, не работал в приисковых забоях на общих работах и видел прииск лишь отраженно — в тех людских отходах, остатках, отбросах, которые выкидывал прииск в больницу и в морг. Я тоже был людским приисковым шлаком.

— Ну, вот вы и выиграли, — сказал Андрей Михайлович. — Поздравляю вас, а в качестве приза — вот. — Он достал из тумбочки пластмассовый портсигар. — Давно не курили?

Я оторвал кусочек газеты и свернул махорочную папиросу. Лучше газетной бумаги для махорки ничего не придумать. Следы типографской краски не только не портят махорочного букета, но оттеняют его наилучшим образом. Я зажег полоску бумаги от рдеющих углей в печке и закурил, жадно втягивая тошнотворный сладковатый дым.

С табаком мы бедствовали, и надо было давно бросить курить — условия были самые подходящие, но я не бросал курить никогда. Было страшно подумать, что я могу по собственной воле лишиться этого единственного великого арестантского удовольствия.

— Спокойной ночи, — сказал Андрей Михайлович, улыбаясь. — Я уже спать собрался. Но так хотелось сыграть партию. Спасибо вам.

Я вышел из его комнаты в темный коридор — кто-то стоял у стены на моей дороге. Я узнал силуэт Козлика.

— Что ты? Чего ты тут?

— Я покурить. Покурить бы. Не дал?

Мне стало стыдно своей жадности, стыдно, что я не подумал ни о Козлике и ни о ком другом в палате, чтобы принести им окурок, корку хлеба, горсть каши.

А Козлик ждал несколько часов в темном коридоре.

Прошло еще несколько лет, кончилась война, власовцы сменили нас на золотом приiske, и я попал в малую зону, в пересыльные бараки Западного управления. Огромные бараки с многоэтажными нарами вмещали по пятьсот—шестьсот человек. Отсюда шла отправка на прииски запада.

По ночам зона не спала—шли этапы, и в «красном углу» зоны, застеленном грязными ватными одеялами блатарей, шли еженощно концерты. И какие концерты! Именитейших певцов и рассказчиков—не только из лагерных агитбригад, но и повыше. Какой-то харбинский баритон, имитирующий Лещенко и Вертинского, имитирующий самого себя Вадим Козин и многие, многие другие пели здесь для блатных без конца, выступали в лучшем своем репертуаре. Рядом со мной лежал лейтенант танковых войск Свечников, нежный розовощекий юноша, осужденный военным трибуналом за какие-то преступления по службе. Здесь он тоже был под следствием—работая на приiske, он был уличен в том, что ел мясо человеческих трупов из морга, вырубая куски человечины, «не жирной, конечно», как он совершенно спокойно объяснял.

Соседей на пересылке не выбирают, да есть, наверно, дела и похуже, чем обедать человеческим трупом.

Редко, редко в малую зону являлся фельдшер и проводил прием температурающих. На фурункулы, густо меня облепившие, фельдшер не захотел и смотреть. Сосед мой Свечников, знавший фельдшера по больничному моргу, разговаривал с ним как с хорошо знакомым. Неожиданно фельдшер назвал фамилию Андрея Михайловича.

Я умолил фельдшера передать Андрею Михайловичу записку—больница, где он работал, была в километре от малой зоны.

Планы мои изменились. Теперь до ответа Андрея Михайловича надо было задержаться в зоне.

Нарядчик уже приметил меня и приписывал к каждому уходящему с пересылки этапу. Но представители, принимающие этап, столь же неукоснительно вычеркивали меня из списков. Они подозревали недоброе, да и вид мой говорил сам за себя.

— Почему ты не хочешь ехать?

— Я болен. Мне надо в больницу.

— В больнице тебе нечего делать. Завтра будем отправлять на дорожные работы. Будешь метлы вязать?

— Не хочу на дорожные. Не хочу метлы вязать.

День проходил за днем, этап за этапом. Ни о фельдшере, ни об Андрее Михайловиче не было ни слуху ни духу.

К концу недели мне удалось попасть на медосмотр в амбулаторию метров за сто от малой зоны. Новая записка к Андрею Михайловичу была зажата у меня в кулаке. Статистик санчасти взял ее у меня и обещал передать Андрею Михайловичу на другое утро.

Во время осмотра я спросил у начальника санчасти об Андрее Михайловиче.

— Да, есть такой врач из заключенных. Вам незачем его видеть.

— Я его знаю лично.

— Мало ли кто знает его лично.

Фельдшер, который взял у меня записку в малой зоне, стоял тут же. Я негромко спросил его:

— Где записка?

— Никакой записки я в глаза не видел...

Если до послезавтрашнего дня я ничего нового об Андрее Михайловиче не узнаю — я еду... На дорожные работы, в сельхоз, на прииск, к чертовой матери...

Вечером следующего дня, уже после проверки, меня вызвали к зубному врачу. Я пошел, думая, что это какая-то ошибка, но в коридоре увидел знакомый черный полушубок Андрея Михайловича. Мы обнялись.

Еще через сутки меня вызвали — четырех больных из лагеря повели, повезли в больницу. Двое лежали, обнявшись, на санях-розвальнях, двое шли за санями. Андрей Михайлович не успел меня предупредить о диагнозе — я не знал, чем я болен. Мои болезни — дистрофия, пеллагра, цинга — еще не подросли до необходимости в госпитализации лагерной. Я знал, что ложусь в хирургическое отделение. Андрей Михайлович работал там, но какое хирургическое заболевание мог я предъявить — грыжи у меня не было. Остеомиелит четырех пальцев ноги после отморожения — это мучительно, но вовсе не достаточно для госпитализации. Я был уверен, что Андрей Михайлович сумеет меня предупредить, встретит где-нибудь.

Лошади подъехали к больнице, санитары втащили лежачих, а мы — я и новый товарищ мой — разделись на лавочке и стали мыться. На каждого давался таз теплой воды.

В ванную вошел пожилой врач в белом халате и, смотря поверх очков, оглядел нас обоих.

— Ты с чем? — спросил он, тронув пальцем плечо моего товарища.

Тот повернулся и выразительно показал на огромную паховую грыжу.

Я ждал того же вопроса, решив пожаловаться на боли в животе.

Но пожилой врач равнодушно взглянул на меня и вышел.

— Кто это? — спросил я.

— Николай Иванович, главный хирург здешний. Заведующий отделением.

Санитар выдал нам белье.

— Куда тебя? — Это относилось ко мне.

— А черт его знает! — У меня отлегло от сердца, и я уже не боялся.

— Ну, чем ты болен в натуре, скажи?

— Живот у меня болит.

— Аппендицит, наверно, — сказал бывалый санитар.

Андрея Михайловича я увидел только на другой день. Главный хирург был им предупрежден о моей госпитализации с подострым аппендицитом. Вечером того же дня Андрей Михайлович рассказал мне свою невеселую историю.

Он заболел туберкулезом. Рентгеновские снимки и лабораторные анализы были угрожающими. Районная больница ходатайствовала о вывозе заключенного Андрея Михайловича на материк для лечения. Андрей Михайлович был уже на пароходе, когда кто-то донес начальнику санотдела Черпакову, что болезнь Андрея Михайловича — ложная, мнимая, «туфта», по-лагерному.

А может быть, и не доносил никто — майор Черпаков был достойным сыном своего века подозрений, недоверия и бдительности.

Майор разгневался, распорядился снять Андрея Михайловича с парохода и заслать его в самую глушь — далеко от того управления, где мы повстречались. И Андрей Михайлович уже сделал тысячекилометровое путешествие по морозу. Но в дальнейшем управлении выяснилось, что там нет ни одного врача, который мог бы наклады-

вать искусственный пневмоторакс. Вдувания уже делали Андрею Михайловичу несколько раз, но лихой майор объявил пневмоторакс обманом и жульничеством.

Андрею Михайловичу становилось все хуже и хуже, и он был чуть жив, пока удалось добиться у Черпакова разрешения на отправку Андрея Михайловича в Западное управление — ближайшее, где врачи умели накладывать пневмоторакс.

Теперь Андрею Михайловичу было получше, несколько вдуваний были проведены удачно, и Андрей Михайлович стал работать ординатором хирургического отделения.

После того как я немного окреп, я работал у Андрея Михайловича санитаром. По его рекомендации и настоянию я уехал учиться на курсы фельдшеров, окончил эти курсы, работал фельдшером и вернулся на материк. Андрей Михайлович и есть тот человек, которому я обязан жизнью. Сам он давно умер — туберкулез и майор Черпаков сделали свое дело.

В больнице, где мы работали вместе, мы жили дружно. Срок у нас кончался в один и тот же год, и это как бы связывало наши судьбы, сближало.

Однажды, когда вечерняя уборка закончилась, санитары сели в углу играть в домино и застучали костяшками.

— Дурацкая игра,— сказал Андрей Михайлович, показывая глазами на санитаров и морщась от стука костяшек.

— В домино я играл один раз в жизни,— сказал я.— С вами, по вашему приглашению. Я даже выиграл.

— Немудрено выиграть,— сказал Андрей Михайлович.— Я тоже впервые тогда взял домино в руки. Хотел вам приятное сделать.

1959

## ГЕРКУЛЕС

Последним запоздавшим гостем на серебряной свадьбе начальника больницы Сударина был врач Андрей Иванович Дударь. Он нес в руках плетенную из лозы корзину, завязанную марлей, украшенную бумажными цветами. Под звон стаканов и нестройный гул пьяных голосов пирующих Андрей Иванович поднес корзину юбиляру. Сударин взвесил корзину на руке.



— Что это?

— Там увидите.

Сняли марлю. На дне корзины лежал большой красноперый петух. Он невозмутимо поворачивал голову, оглядывая раскрасневшиеся лица шумливых пьяных гостей.

— Ах, Андрей Иванович, как кстати, — защебетала седая юбилярша, поглаживая петуха.

— Чудесный подарок, — лепетали врачихи. — И красивый какой. Это ведь ваш любимец, Андрей Иванович? Да?

Юбиляр с чувством жал руку Дударя.

— Покажите, покажите мне, — раздался вдруг хриплый тонкий голос.

На почетном месте во главе стола по правую руку хозяина сидел знатный приезжий гость. Это был Черпаков, начальник санотдела, давний приятель Сударина, прикативший еще утром на персональной «Победе» из областного города за шестьсот верст на серебряную свадьбу друга.

Корзина с петухом явилась перед мутными глазами приезжего гостя.

— Да. Славный петушок. Твой, что ли? — Перст почетного гостя указал на Андрея Ивановича.

— Теперь мой, — улыбаясь, доложил юбиляр.

Почетный гость был заметно моложе окружающих его лысых и седых невропатологов, хирургов, терапевтов и фтизиатров. Ему было лет сорок. Нездоровое, желтое, вздутое лицо, небольшие серые глазки, щегольской китель с серебряными погонами полковника медицинской службы. Китель был явно тесен полковнику, и было видно, что он был сшит еще тогда, когда брюшко еще не обозначалось отчетливо и шея еще не наваливалась на стоячий воротник. Лицо почетного гостя хранило скучающее выражение, но от каждой выпитой стопки спирта (как русский, да еще и северянин, почетный гость не употреблял других горячительных) оно становилось все оживленней, и гость все чаще поглядывал на окружавших его медицинских дам и все чаще вмешивался в разговоры, неизменно стихавшие при звуках надтреснутого тенора.

Когда душа-мера достигла надлежащего градуса, почетный гость выбрался из-за стола, толкнув какую-то не успевшую отодвинуться врачиху, засучил рукава и стал поднимать тяжелые лиственничные стулья, ухватя переднюю ножку одной рукой, то правой, то левой попеременно, демонстрируя гармоничность своего физического развития.

Никто из восхищенных гостей не мог поднять столько раз те стулья, которые поднимал почетный гость. От стульев он перешел к креслам, и успех по-прежнему сопутствовал ему. Пока поднимали стулья другие, почетный гость своей могучей дланью привлекал к себе молоденьких, розовых от счастья врачей и заставлял их щупать свои напряженные бицепсы, что врачи исполняли с явным восхищением.

После этих упражнений почетный гость, неистощимый на выдумки, перешел к национальному русскому номеру: рукой, поставленной на локоть, он прижимал к столу руку противника, поставленную в том же положении. Серьезного сопротивления седые и лысые невропатологи и терапевты оказать не могли, и только главный хирург продержался несколько дольше других.

Почетный гость искал новых испытаний для своей русской мощи. Извинившись перед дамами, он снял китель, немедленно подхваченный и повешенный на спинку стула хозяйкой дома. По внезапному оживлению лица было видно, что почетный гость что-то придумал.

— Я барану, барану, понимаете, голову назад заворачиваю. Крак — и готово. — Почетный гость поймал за пуговицу Андрея Ивановича. — А у этого твоего... подарка — у живого голову оторву, — сказал он, любуясь произведенным впечатлением. — Где петух?

Петуха извлекли из домашнего курятника, куда он был уже впущен рачительной хозяйкой. На Севере все начальники держат в квартирах (зимой, конечно) по несколько десятков кур; холостые начальники или женатые — во всех случаях куры очень, очень доходная статья.

Почетный гость вышел на середину комнаты, держа в руках петуха. Любимец Андрея Ивановича лежал все так же спокойно, сложив обе ноги и свесив на сторону голову, Андрей Иванович года два таскал его так в своей одинокой квартире.

Мощные пальцы ухватили петуха за шею. На лице почетного гостя сквозь нечистую толстую кожу проступил румянец. Движением, каким разгибают подковы, почетный гость оторвал голову петуха напрочь. Петушья кровь забрызгала отглаженные брюки и шелковую рубашку.

Дамы, выхватив душистые платочки, бросились наперерыв вытирать брюки почетного гостя.

— Одеколону.

— Нашатырным спиртом.

— Водой холодной замойте.

— Но сила, сила. Вот это по-русски. Крак — и готово, — восхищался юбиляр.

Почетного гостя потащили в ванную отмываться.

— Танцевать будем в зале, — суетился юбиляр. — Ну, Геркулес...

Завели патефон. Зашипела иголка.

Андрей Иванович, выбираясь из-за стола, чтобы принять участие в танцах (почетный гость любил, чтобы все танцевали), наступил ногой на что-то мягкое. Наклонившись, он увидел мертвое петушиное тело, безголовый труп своего любимца.

Андрей Иванович выпрямился, огляделся и ногой затолкал мертвую птицу поглубже под стол. Затем торопливо вышел из комнаты — почетный гость не любил, когда опаздывали на танцы.

⟨1956⟩

## ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ

Еще в то благодатное время, когда Мерзляков работал конюхом и в самодельной крупорушке — большой консервной банке с пробитым дном на манер сита — можно было приготовить из овса, полученного для лошадей, крупу для людей, варить кашу и этим горьким горячим месивом заглушать, утишать голод, еще тогда он думал над одним простым вопросом. Крупные обозные материковские кони получали ежедневно порцию казенного овса, вдвое большую, чем приземистые и косматые якутские лошаденки, хотя те и другие возили одинаково мало. Ублюдку-першерону Грому засыпалось в кормушку столько овса, сколько хватило бы пяти «якуткам». Это было правильно, так велось везде, и не это мучило Мерзлякова. Он не понимал, почему лагерный людской паек, эта таинственная роспись белков, жиров, витаминов и калорий, предназначенных для поглощения заключенными и называемая котловым листом, составляется вовсе без учета живого веса людей. Если уж к ним относятся как к рабочей скотине, то и в вопросах рациона надо быть более последовательным, а не держаться какой-то арифметической средней — канцелярской выдумки. Эта страшная средняя в лучшем случае была выгодна только малорослым, и действительно, малорослые доходили позже дру-

гих. Мерзляков по своей комплекции был вроде першерона Грома, и жалкие три ложки каши на завтрак только увеличивали сосущую боль в желудке. А ведь кроме пайка бригадный рабочий не мог получить почти ничего. Все самое ценное — и масло, и сахар, и мясо — попадало в котел вовсе не в том количестве, какое записано в котловом листе. Видел Мерзляков и другое. Первыми умирали рослые люди. Никакая привычка к тяжелой работе не меняла тут ровно ничего. Шупленкий интеллигент все же держался дольше, чем гигант калужанин — природный землекоп, — если их кормили одинаково, в соответствии с лагерной пайкой. В повышении пайки за проценты выработки тоже было мало проку, потому что основная роспись оставалась прежней, никак не рассчитанной на рослых людей. Для того чтобы лучше есть, надо было лучше работать, а для того чтобы лучше работать, надо было лучше есть. Эстонцы, латыши, литовцы умирали первыми повсеместно. Они первыми доходили, что вызывало всегда замечания врачей: дескать, вся эта Прибалтика послабее русского народа. Правда, родной быт латышей и эстонцев дальше стоял от лагерного быта, чем быт русского крестьянина, и им было труднее. Но главное все же заключалось в другом: они не были менее выносливы, они просто были крупнее ростом.

Года полтора назад случилось Мерзлякову после цинги, которая быстро свалила новичка, поработать внештатным санитаром в местной больничке. Там он увидел, что выбор дозы лекарства делается по весу. Испытание новых лекарств проводится на кроликах, мышах, морских свинках, а человеческая доза определяется пересчетом на вес тела. Дозы для детей меньше, чем дозы для взрослых.

Но лагерный рацион не рассчитывался по весу человеческого тела. Вот это и был тот вопрос, неправильное решение которого удивляло и волновало Мерзлякова. Но раньше, чем он ослабел окончательно, ему чудом удалось устроиться конюхом — туда, где можно было красть у лошадей овес и набивать им свой желудок. Мерзляков уже думал, что перезимует, а там — что бог даст. Но вышло не так. Заведующий конебазой был снят за пьянство, и на место его был назначен старший конюх — один из тех, кто в свое время научил Мерзлякова обращаться с жестяной крупорушкой. Старший конюх сам поворовал овса немало и в совершенстве знал, как это делается. Стремясь зарекомендовать себя перед начальством, он, не нуждаясь уже в овсяной крупе, нашел и собственноручно разломал все

крупурушки. Овес стали жарить, варить и есть в природном виде, полностью приравнивая свой желудок к лошадиному. Новый заведующий написал рапорт по начальству. Несколько конюхов, в том числе и Мерзляков, были посажены в карцер за кражу овса и направлены с конебазы туда, откуда они пришли,— на общие работы.

На общих работах Мерзляков скоро понял, что смерть близка. Его шатало под тяжестью бревен, которые приходилось перетаскивать. Десятник, невзлюбивший этого ленивого лба («лоб» — это и значит «рослый» на местном языке), всякий раз ставил Мерзлякова «под комелек», заставляя тащить комель, толстый конец бревна. Однажды Мерзляков упал, не мог встать сразу со снега и, внезапно решившись, отказался тащить это проклятое бревно. Было уже поздно, темно, конвоиры торопились на политзанятия, рабочие хотели скорей добраться до барака, до еды, десятник в этот вечер опаздывал к карточному сражению,— во всей задержке был виноват Мерзляков. И он был наказан. Он был избит сначала своими же товарищами, потом десятником, конвоирами. Бревно так и осталось лежать в снегу — вместо бревна в лагерь принесли Мерзлякова. Он был освобожден от работы и лежал на нарах. Поясница болела. Фельдшер мазал спину Мерзлякова солидолом — никаких средств для растирания в медпункте давно не было. Мерзляков все время лежал, полусогнувшись, настойчиво жалуясь на боли в пояснице. Боли давно уже не было, сломанное ребро срослось очень быстро, и Мерзляков стремился ценой любой лжи оттянуть выписку на работу. Его и не выписывали. Однажды его одели, уложили на носилки, погрузили в кузов автомашины и вместе с другим больным увезли в районную больницу. Рентгенокабинета там не было. Теперь следовало подумать обо всем серьезно, и Мерзляков подумал. Он пролежал там несколько месяцев, не разгибаясь, был перевезен в центральную больницу, где, конечно, рентгенокабинет был и где Мерзлякова поместили в хирургическое отделение, в палаты травматических болезней, которые, по простоте душевной, больные называли «драматическими» болезнями, не думая о горечи этого каламбура.

— Вот еще этого,— сказал хирург, указывая на историю болезни Мерзлякова,— переводим к вам, Петр Иванович, лечить его в хирургическом нечего.

— Но вы же пишете в диагнозе: анкилоз на почве

травмы позвоночника. Мне-то он к чему? — сказал невропатолог.

— Ну, анкилоз, конечно. Что же я еще могу написать? После побоев и не такие штуки могут быть. Вот у меня на прииске «Серый» был случай. Десятник избил работягу...

— Некогда, Сережа, слушать мне про ваши случаи. Я спрашиваю: зачем переводите?

— Я же написал: «Для обследования на предмет активирования». Потычьте его иголочками, активируем — и на пароход. Пусть будет вольным человеком.

— Но вы же делали снимки? Нарушения должны быть видны и без иголочек.

— Делал. Вот, извольте видеть. — Хирург навел на марлевою занавеску темный пленочный негатив. — Черт тут поймет в такой снимке. До тех пор, пока не будет хорошего света, хорошего тока, наши рентгенотехники все время будут такую муть давать.

— Истинно муть, — сказал Петр Иванович. — Ну, так и быть. — И он подписал на истории болезни свою фамилию, согласие на перевод Мерзлякова к себе.

В хирургическом отделении, шумном, бестолковом, переполненном отморожениями, вывихами, переломами, ожогами — северные шахты не шутили, — в отделении, где часть больных лежала прямо на полу палат и коридоров, где работал один молодой, бесконечно утомленный хирург с четырьмя фельдшерами: все они спали в сутки по три-четыре часа, — там и не могли внимательно заняться Мерзляковым. Мерзляков понял, что в нервном отделении, куда его внезапно перевели, и начнется настоящее следствие.

Вся его арестантская, отчаянная воля была сосредоточена давно на одном: не разогнуться. И он не разгибался. Как хотелось телу разогнуться хоть на секунду. Но он вспоминал прииск, щемящий дыхание холод, мерзлые, скользкие, блестящие от мороза камни золотого забоя, миску супчику, которую за обедом он выпивал залпом, не пользуясь ненужной ложкой, приклады конвоиров и сапоги десятников — и находил в себе силу, чтобы не разогнуться. Впрочем, сейчас уже было легче, чем первые недели. Он спал мало, боясь разогнуться во сне. Он знал, что дежурным санитарам давно приказано следить за ним, чтобы уличить его в обмане. А вслед за уличением — и это тоже знал Мерзляков — следовала отправка на штрафной прииск, а какой же должен быть штрафной прииск, если

обыкновенный оставил у Мерзлякова такие страшные воспоминания?

На другой день после перевода Мерзлякова повели к врачу. Заведующий отделением расспросил коротко о начале заболевания, сочувственно покивал головой. Рассказал, как бы между прочим, что даже и здоровые мышцы при многомесячном неестественном положении привкают к нему, и человек сам себя может сделать инвалидом. Затем Петр Иванович приступил к осмотру. На вопросы при уколах иглы, при постукивании резиновым молоточком, при надавливании Мерзляков отвечал наугад.

Больше половины своего рабочего времени Петр Иванович тратил на разоблачение симулянтов. Он понимал, конечно, причины, которые толкали заключенных на симуляцию. Петр Иванович сам был недавно заключенным, и его не удивляло ни детское упрямство симулянтов, ни легкомысленная примитивность их подделок. Петр Иванович, бывший доцент одного из сибирских институтов, сам сложил свою научную карьеру в те же снега, где его больные спасали свою жизнь, обманывая его. Нельзя сказать, чтобы он не жалел людей. Но он был врачом в большей степени, чем человеком, он был специалистом прежде всего. Он гордился тем, что год общих работ не выбил из него врача-специалиста. Он понимал задачу разоблачения обманщиков вовсе не с какой-нибудь высокой, общегосударственной точки зрения и не с позиций морали. Он видел в ней, в этой задаче, достойное применение своим знаниям, своему психологическому умению расставлять западни, в которые должны были к вящей славе науки попадаться голодные, полусумасшедшие, несчастные люди. В этом сражении врача и симулянта на стороне врача было все — и тысячи хитрых лекарств, и сотни учебников, и богатая аппаратура, и помощь конвоя, и огромный опыт специалиста, а на стороне больного был только ужас перед тем миром, откуда он пришел в больницу и куда он боялся вернуться. Именно этот ужас и давал заключенному силу для борьбы. Разоблачая очередного обманщика, Петр Иванович испытывал глубокое удовлетворение: еще раз он получает свидетельство жизни, что он хороший врач, что он не потерял квалификацию, а, наоборот, отточил, отшлифовал ее, словом, что он еще может...

«Дураки эти хирурги, — думал он, закуривая папиросу после ухода Мерзлякова. — Топографической анатомии не знают или забыли, а рефлексов и никогда не знали. Спасаются одним рентгеном. А нет снимка — и не могут уве-

ренно сказать даже о простом переломе. А фасону сколько! — Что Мерзляков симулянт — это Петру Ивановичу ясно, конечно. — Ну, пусть полежит недельку. За эту недельку все анализы соберем, чтобы все было по форме. Все бумажки в историю болезни подклеим».

Петр Иванович улыбнулся, предвкушая театральный эффект нового разоблачения.

Через неделю в больнице собирали этап на пароход — перевод больных на Большую землю. Протоколы писались тут же в палате, и приехавший из управления председатель врачебной комиссии самолично просматривал больных, приготовленных больницей к отправке. Его роль сводилась к просмотру документов, проверке надлежащего оформления — личный осмотр больного отнимал полминуты.

— В моих списках, — сказал хирург, — есть некто Мерзляков. Ему год назад конвоиры позвоночник сломали. Я бы хотел его отправить. Он недавно переведен в нервное отделение. Документы на отправку — вот, заготовлены.

Председатель комиссии повернулся в сторону невропатолога.

— Приведите Мерзлякова, — сказал Петр Иванович.

Полусогнутого Мерзлякова привели. Председатель бегло взглянул на него.

— Экая горилла, — сказал он. — Да, конечно, держать таких нечего. — И, взяв перо, он потянулся к спискам.

— Я своей подписи не даю, — сказал Петр Иванович громким и ясным голосом. — Это симулянт, и завтра я буду иметь честь показать его и вам и хирургу.

— Ну, тогда оставим, — равнодушно сказал председатель, положив перо. — И вообще, давайте кончать, уже поздно.

— Он симулянт, Сережа, — сказал Петр Иванович, беря под руку хирурга, когда они выходили из палаты.

Хирург высвободил руку.

— Может быть, — сказал он, брезгливо морщась. — Дай вам бог успеха в разоблачении. Получите массу удовольствия.

На следующий день Петр Иванович на совещании у начальника больницы доложил о Мерзлякове подробно.

— Я думаю, — сказал он в заключение, — что разоблачение Мерзлякова мы проведем в два приема. Первым будет рауш-наркоз, о котором вы позабыли, Сергей Федорович, — сказал он с торжеством, поворачиваясь в сторону



хирурга.— Это надо было сделать сразу. А уж если и рауш ничего не даст, тогда...— Петр Иванович развел руками,— тогда шоковая терапия. Это занятная вещь, уверяю вас.

— Не слишком ли? — сказала Александра Сергеевна, заведующая самым большим отделением больницы — туберкулезным, полная, грузная женщина, недавно приехавшая с материка.

— Ну,— сказал начальник больницы,— такую сволочь...— Он мало стеснялся в присутствии дам.

— Посмотрим по результатам рауша,— сказал Петр Иванович примирительно.

Рауш-наркоз — это оглушающий эфирный наркоз кратковременного действия. Больной засыпает на пятнадцать — двадцать минут, и за это время хирург должен успеть вправить вывих, ампутировать палец или вскрыть какой-нибудь болезненный нарыв.

Начальство, наряженное в белые халаты, окружило операционный стол в перевязочной, куда положили послушного полусогнутого Мерзлякова. Санитары взялись за холщовые ленты, которыми обычно привязывают больных к операционному столу.

— Не надо, не надо! — закричал Петр Иванович, подбегая.— Вот лент-то и не надо.

Лицо Мерзлякова вывернули вверх. Хирург наложил на него наркозную маску и взял в руку бутылочку с эфиром.

— Начинайте, Сережа!

Эфир закапал.

— Глубже, глубже дыши, Мерзляков! Считаю вслух!

— Двадцать шесть, двадцать семь,— ленивым голосом считал Мерзляков, и, внезапно оборвав счет, он заговорил что-то, не сразу понятное, отрывочное, пересыпанное матерной бранью.

Петр Иванович держал в своей руке левую руку Мерзлякова. Через несколько минут рука ослабла. Петр Иванович выпустил ее. Рука мягко и мертво упала на краю стола. Петр Иванович медленно и торжественно разогнул тело Мерзлякова. Все ахнули.

— Вот теперь привяжите его,— сказал Петр Иванович санитарам.

Мерзляков открыл глаза и увидел волосатый кулак начальника больницы.

— Ну что, гадина,— хрипел начальник.— Под суд теперь пойдешь.

— Молодец, Петр Иванович, молодец! — твердил председатель комиссии, хлопая невропатолога по плечу. — А ведь я вчера совсем собрался этой горилле вольную выдать!

— Развяжите его! — командовал Петр Иванович. — Слезай со стола!

Мерзляков еще не очнулся окончательно. В висках стучало, во рту был тошный, сладкий вкус эфира. Мерзляков еще и сейчас не понимал — сон это или явь, и, может быть, такие сны видел он не один раз и раньше.

— А ну вас всех к матери! — неожиданно крикнул он и согнулся, как раньше.

Широкоплечий, костлявый, почти касаясь своими длинными, толстыми пальцами пола, с мутным взглядом и взъерошенными волосами, действительно похожий на гориллу, Мерзляков вышел из перевязочной. Петру Ивановичу доложили, что больной Мерзляков лежит на койке в своей обычной позе. Врач велел привести его в свой кабинет.

— Ты разоблачен, Мерзляков, — сказал невропатолог. — Но я просил начальника. Тебя не отдадут под суд, не пошлют на штрафной прииск, тебя просто выпишут из больницы, и ты вернешься на свой прииск, на старую работу. Ты, брат, герой. Целый год морочил нам голову.

— Ничего я не знаю, — сказала горилла, не поднимая глаз.

— Как не знаешь? Ведь тебя только что разогнули!

— Никто меня не разгибал.

— Ну, милый мой, — сказал невропатолог. — Это уже вовсе лишнее. Я с тобой хотел по-хорошему. А так — гляди, сам будешь проситься на выписку через неделю.

— Ну что там еще будет через неделю, — тихо сказал Мерзляков. Как ему было объяснить врачу, что даже лишняя неделя, лишний день, лишний час, прожитый не на прииске, это и есть его, мерзляковское, счастье. Если врач не понимает этого сам, как объяснить ему? Мерзляков молчал и глядел в пол.

Мерзлякова увели, а Петр Иванович пошел к начальнику больницы.

— Так можно завтра, а не через неделю, — сказал начальник, выслушав предложение Петра Ивановича.

— Я обещал ему неделю, — сказал Петр Иванович, — не обеднеет же больница.

— Ну, ладно, — сказал начальник. — Пусть через неделю. Только меня позовите. А привязывать будете?

— Нельзя привязывать,— сказал невропатолог.— Вывихнет руку или ногу. Держать будут.— И, взяв историю болезни Мерзлякова, невропатолог написал в графе назначений «шоковая терапия» и поставил дату.

При шоковой терапии вводится в кровь больного доза камфорного масла в количестве, в несколько раз превышающей дозу того же лекарства, когда его вводят подкожным уколом для поддержания сердечной деятельности тяжелобольных. Действие ее приводит к внезапному приступу, подобному приступу буйного сумасшествия или эпилептическому припадку. Под ударом камфоры резко повышается вся мышечная деятельность, все двигательные силы человека. Мышцы приходят в напряжение небывалое, и сила больного, потерявшего сознание, удесятывается. Приступ длится несколько минут.

Прошло несколько дней, а Мерзляков и не думал разгибаться по своей воле. Пришло утро, записанное в истории болезни, и Мерзлякова привели к Петру Ивановичу. На Севере дорожат всяким развлечением— докторский кабинет был полон. Восемь здоровенных санитаров выстроились вдоль стен. Посреди кабинета стояла кушетка.

— Здесь и будем делать,— сказал Петр Иванович, вставая из-за стола.— К хирургам ходить не станем. Кстати, где Сергей Федорович?

— Он не придет,— сказала Анна Ивановна, дежурная сестра.— Он сказал «занят».

— Занят, занят,— повторил Петр Иванович.— Ему полезно было бы посмотреть, как я делаю за него его работу.

Мерзлякову засучили рукав, и фельдшер помазал его руку йодом. Взяв в правую руку шприц, фельдшер проколол иглой вену близ локтевого сгиба. Темная кровь хлынула из иглы внутрь шприца. Фельдшер мягким движением большого пальца нажал поршень, и желтый раствор стал уходить в вену.

— Побыстрее вливайте!— сказал Петр Иванович.— И живей отходите в сторону. А вы,— сказал он санитарам,— держите его.

Огромное тело Мерзлякова подпрыгнуло и забилось в руках санитаров. Восемь человек держали его. Он хрипел, бился, лягался, но санитары держали его крепко, и он стал затихать.

— Тигра, тигра так удержать можно,— кричал Петр Иванович в восторге.— В Забайкалье тигров так руками ловят. Вот обратите внимание,— говорил он начальнику больницы,— как Гоголь преувеличивает. Помните конец

«Тараса Бульбы»? «Мало не тридцать человек повисло у него по рукам и по ногам». А эта горилла покрупнее Бульбы-то. И всего восемь человек.

— Да, да,— сказал начальник. Гоголя он не помнил, но шоковая терапия ему чрезвычайно понравилась.

На следующее утро Петр Иванович во время обхода больных задержался у койки Мерзлякова.

— Ну, как,— спросил он,— какое твое решение?

— Выписывайте,— сказал Мерзляков.

(1956)

## СТЛАНИК

На Крайнем Севере, на стыке тайги и тундры, среди карликовых берез, низкорослых кустов рябины с неожиданно крупными светло-желтыми водянистыми ягодами, среди шестисотлетних лиственниц, что достигают зрелости в триста лет, живет особенное дерево — стланик. Это дальний родственник кедра, кедрач,— вечнозеленые хвойные кусты со стволами потолще человеческой руки и длиной в два-три метра. Он неприхотлив и растет, уцепившись корнями за щели в камнях горного склона. Он мужествен и упрям, как все северные деревья. Чувствительность его необычайна.

Поздняя осень, давно пора быть снегу, зиме. По краю белого небосвода много дней ходят низкие, синеватые, будто в кровоподтеках, тучи. А сегодня осенний пронизывающий ветер с утра стал угрожающе тихим. Пахнет снегом? Нет. Не будет снега. Стланик еще не ложился. И дни проходят за днями, снега нет, тучи бродят где-то за сопками, и на высокое небо вышло бледное маленькое солнце, и все по-осеннему...

А стланик гнется. Гнется все ниже, как бы под безмерной, все растущей тяжестью. Он царапает своей вершиной камень и прижимается к земле, растягивая свои изумрудные лапы. Он стелется. Он похож на спрута, одетого в зеленые перья. Лежа, он ждет день, другой, и вот уже с белого неба сыплется, как порошок, снег, и стланик погружается в зимнюю спячку, как медведь. На белой горе взбухают огромные снежные волдыри — это кусты стланика легли зимовать.

А в конце зимы, когда снег еще покрывает землю трехметровым слоем, когда в ущельях метели утрамбовали

плотный, поддающийся только железу снег, люди тщетно ищут признаков весны в природе, хотя по календарю весне пора уж прийти. Но день неотличим от зимнего — воздух разрежен и сух и ничем не отличен от январского воздуха. К счастью, ощущения человека слишком грубы, восприятия слишком просты, да и чувств у него немного, всего пять — этого недостаточно для предсказаний и угадываний.

Природа тоньше человека в своих ощущениях. Кое-что мы об этом знаем. Помните рыб лососевых пород, приходящих метать икру только в ту реку, где была выметана икринка, из которой развилась эта рыба? Помните таинственные трассы птичьих перелетов? Растений-барометров, цветов-барометров известно нам немало.

И вот среди снежной бескрайней белизны, среди полной безнадежности вдруг встает стланик. Он стряхивает снег, распрямляется во весь рост, поднимает к небу свою зеленую, обледенелую, чуть рыжеватую хвою. Он слышит неуловимый нами зов весны и, веря в нее, встает раньше всех на Севере. Зима кончилась.

Бывает и другое: костер. Стланик слишком легковверен. Он так не любит зиму, что готов верить теплу костра. Если зимой, рядом с согнувшимся, скрюченным позимнему кустом стланика развести костер — стланик встанет. Костер погаснет — и разочарованный кедрач, плача от обиды, снова согнется и ляжет на старое место. И его занесет снегом.

Нет, он не только предсказатель погоды. Стланик — дерево надежд, единственное на Крайнем Севере вечнозеленое дерево. Среди белого блеска снега матово-зеленые хвойные его лапы говорят о юге, о тепле, о жизни. Летом он скромнен и незаметен — все кругом торопливо цветет, стараясь процвести в короткое северное лето. Цветы весенние, летние, осенние перегоняют друг друга в безудержном бурном цветении. Но осень близка, и вот уже сыплется желтая мелкая хвоя, оголяя лиственницы, палевая трава свертывается и сохнет, лес пустеет, и тогда далеко видно, как среди бледно-желтой травы и серого мха горят среди леса огромные зеленые факелы стланика.

Мне стланик представлялся всегда наиболее поэтичным русским деревом, лучше, чем прославленные плакучая ива, чинара, кипарис. И дрова из стланика жарче.

⟨1960⟩

## КРАСНЫЙ КРЕСТ

Лагерная жизнь так устроена, что действительную реальную помощь заключенному может оказать только медицинский работник. Охрана труда — это охрана здоровья, а охрана здоровья — это охрана жизни. Начальник лагеря и подчиненные ему надзиратели, начальник охраны с отрядом бойцов конвойной службы, начальник райотдела МВД со своим следовательским аппаратом, деятель на ниве лагерного просвещения — начальник культурно-воспитательной части со своей инспектурой: лагерное начальство так многочисленно. Воле этих людей — доброй или злой — доверяют применение режима. В глазах заключенного все эти люди — символ угнетения, принуждения. Эти люди заставляют заключенного работать, стерегут его и ночью и днем от побегов, следят, чтобы заключенный не ел и не пил лишнего. Все эти люди ежедневно, ежечасно твердят заключенному только одно: работай! Давай!

И только один человек в лагере не говорит заключенному этих страшных, надоевших, ненавидимых в лагере слов. Это врач. Врач говорит другие слова: отдохни, ты устал, завтра не работай, ты болен. Только врач не посылает заключенного в белую зимнюю тьму, в заледенелый каменный забой на много часов повседневно. Врач — защитник заключенного по должности, оберегающий его от произвола начальства, от чрезмерной ретивости ветеранов лагерной службы.

В лагерных бараках в иные годы висели на стене большие печатные объявления: «Права и обязанности заключенного». Здесь было много обязанностей и мало прав. «Право» подавать заявление начальнику — только не коллективное... «Право» писать письма родным через лагерных цензоров... «Право» на медицинскую помощь.

Это последнее право было крайне важным, хотя дизентерию лечили во многих приисковых амбулаториях раствором марганцовокислого калия и тем же раствором, только погуще, смазывали гнойные раны или отморожения.

Врач может освободить человека от работы официально, записав в книгу, может положить в больницу, определить в оздоровительный пункт, увеличить паек. И самое главное в трудовом лагере — врач определяет «трудовую категорию», степень способности к труду, по которой

рассчитывается норма работы. Врач может представить даже к освобождению — по инвалидности, по знаменитой статье четыреста пятьдесят восемь. Освобожденного от работы по болезни никто не может заставить работать — врач бесконтролен в этих своих действиях. Лишь врачебные более высокие чины могут его проконтролировать. В своем медицинском деле врач никому не подчинен.

Надо еще помнить, что контроль за закладкой продуктов в котел — обязанность врача, равно как и наблюдение за качеством приготовленной пищи.

Единственный защитник заключенного, реальный его защитник — лагерный врач. Власть у него очень большая, ибо никто из лагерного начальства не мог контролировать действия специалиста. Если врач давал неверное, недобросовестное заключение, определить это мог только медицинский работник высшего или равного ранга — опять же специалист. Почти всегда лагерные начальники были во вражде со своими медиками — сама работа разводила их в разные стороны. Начальник хотел, чтобы группа «В» (временно освобожденные от работы по болезни) была поменьше, чтобы лагерь побольше людей выставил на работу. Врач же видел, что границы добра и зла тут давно перейдены, что люди, выходящие на работу, больны, устали, истощены и имеют право на освобождение от работы в гораздо большем количестве, чем это думалось начальству.

Врач мог при достаточно твердом характере настоять на освобождении от работы людей. Без санкции врача ни один начальник лагеря не послал бы людей на работу.

Врач мог спасти арестанта от тяжелой работы — все заключенные поделены, как лошади, на «категории труда». Трудовые группы эти — их бывало три, четыре, пять — назывались «трудовыми категориями», хотя, казалось бы, это выражение из философского словаря. Это одна из острот, вернее, из гримас жизни.

Дать легкую категорию труда часто значило спасти человека от смерти. Всего грустнее было то, что люди, стремясь получить категорию легкого труда и стараясь обмануть врача, на самом деле были больны гораздо серьезней, чем они сами считали.

Врач мог дать отдых от работы, мог направить в больницу и даже «сактировать», то есть составить акт об инвалидности, и тогда заключенный подлежал вывозу на материк. Правда, больничная койка и активировка в медицин-

ской комиссии не зависели от врача, выдающего путевку, но важно ведь было начать этот путь.

Все это и еще многое другое, попутное, ежедневное, было прекрасно учтено, понято блатарями. Особое отношение к врачу было введено в кодекс воровской морали. Наряду с тюремной пайкой и воровом-джентльменом в лагерном и тюремном мире укрепилась легенда о Красном Кресте.

«Красный Крест» — блатной термин, и я каждый раз настораживаюсь, когда слышу это выражение.

Блатные демонстративно выражали свое уважение к работникам медицины, обещали им всяческую свою поддержку, выделяя врачей из необъятного мира «фраеров» и «штимпов».

Была сочинена легенда — она и по сей день бытует в лагерях, — как обокрали врача мелкие воришки, «съявки», и как крупные вору разыскали и с извинениями воротили краденое. Ни дать ни взять «Брегет Эррио».

Более того, у врачей действительно не воровали, старались не воровать. Врачам делали подарки — вещами, деньгами, — если это были вольнонаемные врачи. Упрашивали и грозили убийством, если это были врачи-заключенные. Подхваляли врачей, оказывавших помощь блатарям.

Иметь врача «на крючке» — мечта всякой блатной компании. Блатарь может быть груб и дерзок с любым начальником (этот шик, этот дух он даже обязан в некоторых обстоятельствах показать во всей яркости) — перед врачом блатарь лебезит, подчас пресмыкается и не позволит грубого слова в отношении врача, пока блатарь не увидит, что ему не верят, что его наглые требования никто выполнять не собирается.

Ни один медицинский работник, дескать, не должен в лагере заботиться о своей судьбе, блатари ему помогут материально и морально: материальная помощь — это краденые «лепехи» и «шкеры», моральная — блатарь удостоит врача своими беседами, своим посещением и расположением.

Дело за немногим — вместо больного фраера, истощенного непосильной работой, бессонницей и побоями, положить на больничную койку здорового педераста-убийцу и вымогателя. Положить и держать его на больничной кровати, пока тот сам не соизволит выписаться.



Дело за немногим: регулярно освобождать от работы блатных, чтоб они могли «поддержать короля за бороду».

Послать блатарей по медицинским путевкам в другие больницы, если им это понадобится в каких-то своих блатных, высших целях.

Покрывать симулянтов-блатарей, а блатари все — симулянты и агграванты, с вечными «мостырьками» трофических язв на голеньях и бедрах, с легкими, но впечатляющими резаными ранами живота и т. п.

Угощать блатарей «порошочками», «кодеинчиком» и «кофеинчиком», отведя весь запас наркотических средств и спиртовых настоек в пользование благодетелей.

Много лет подряд принимал я этапы в большой лагерной больнице — сто процентов симулянтов, прибывших по врачебным путевкам, были воры. Воры или подкупали местного врача, или запугивали, и врач сочинял фальшивый медицинский документ.

Бывало часто и так, что местный врач или местный начальник лагеря, желая избавиться от надоевшего и опасного элемента в своем хозяйстве, отправлял блатных в больницу в надежде, что если они и не исчезнут совсем, то некоторую передышку его хозяйство получит.

Если врач был подкуплен — это плохо, очень плохо. Но если он был запуган — это можно извинить, ибо угрозы блатарей вовсе не пустые слова. На медпункт прииска «Спокойный», где было много блатарей, откомандировали из больницы молодого врача и, главное, молодого арестанта Суrowого, недавно кончившего Московский медицинский институт. Друзья отговаривали Суrowого — можно было отказаться, пойти на общие работы, но не ехать на явно опасную работу. Суrowый попал в больницу с общих работ — он боялся туда вернуться и согласился поехать на прииск работать по специальности. Начальство дало Суrowому инструкции, но не дало советов, как себя держать. Ему было запрещено категорически направлять с прииска здоровых воров. Через месяц он был убит прямо на приеме — пятьдесят две ножевые раны было насчитано на его теле.

В женской зоне другого прииска пожилая женщина-врач Шицель была зарублена топором собственной санитаркой — блатаркой Крошкой, выполнявшей приговор блатных.

Так выглядел на практике Красный Крест в тех случаях, когда врачи не были покладисты и не брали взятки.

Наивные врачи искали объяснения противоречий у идеологов блатного мира. Один из таких философ-главарей лежал в это время в хирургическом отделении больницы. Два месяца назад, находясь в изоляторе, он, желая оттуда выйти, применил обычный безошибочный, но не безопасный способ: он засыпал себе оба — для верности — глаза порошком химического карандаша. Случилось так, что медпомощь запоздала, и блатарь ослеп — в больнице он лежал инвалидом, готовясь к выезду на материк. Но, подобно знаменитому сэру Вильямсу из «Рокамболя», он и слепой принимал участие в разработке планов преступлений, а уж в судах чести считался прямо непревзойденным авторитетом. На вопрос врача о Красном Кресте и об убийствах медиков на приисках, совершенных ворами, сэр Вильямс ответил, смягчая гласные после шипящих, как выговаривают все блатари:

— В жизни разные положения могут быть, когда закон не должен применяться. — Он был диалектик, этот сэр Вильямс.

Достоевский в «Записках из Мертвого дома» с умилением подмечает поступки несчастных, которые ведут себя как большие дети, увлекаются театром, по-ребячески безгневно ссорятся между собой. Достоевский не встречал и не знал людей из настоящего блатного мира. Этому миру Достоевский не позволил бы высказать никакого сочувствия.

Неисчислимы злодеяния воров в лагере. Несчастные люди — работяги, у которых вор забирает последнюю тряпку, отнимает последние деньги, и работяга боится пожаловаться, ибо видит, что вор сильнее начальства. Работягу бьет вор и заставляет его работать — десятки тысяч людей забиты ворами насмерть. Сотни тысяч людей, побывавших в заключении, растлены воровской идеологией и перестали быть людьми. Нечто блатное навсегда поселилось в их душах, вору, их мораль навсегда оставили в душе любого неизгладимый след.

Груб и жесток начальник, лжив воспитатель, бессовестен врач, но все это пустяки по сравнению с растлевающей силой блатного мира. Те все-таки люди, и нет-нет да и проглянет в них человеческое. Блатные же — не люди.

Влияние их морали на лагерную жизнь безгранично, всесторонне. Лагерь — отрицательная школа жизни целиком и полностью. Ничего полезного, нужного никто оттуда не вынесет, ни сам заключенный, ни его начальник, ни

его охрана, ни невольные свидетели — инженеры, геологи, врачи, — ни начальники, ни подчиненные.

Каждая минута лагерной жизни — отравленная минута.

Там много такого, чего человек не должен знать, не должен видеть, а если видел — лучше ему умереть.

Заключенный приучается там ненавидеть труд — ничему другому и не может он там научиться.

Он обучается там лести, лганию, мелким и большим подлостям, становится эгоистом.

Возвращаясь на волю, он видит, что он не только не вырос за время лагеря, но что интересы его сузились, стали бедными и грубыми.

Моральные барьеры отодвинулись куда-то в сторону.

Оказывается, можно делать подлости и все же жить.

Можно лгать — и жить.

Можно обещать — и не исполнять обещаний и все-таки жить.

Можно пропить деньги товарища.

Можно выпрашивать милостыню и жить! Попрошайничать и жить!

Оказывается, человек, совершивший подлость, не умирает.

Он приучается к лодырничеству, к обману, к злобе на всех и вся. Он винит весь мир, оплакивая свою судьбу.

Он чересчур высоко ценит свои страдания, забывая, что у каждого человека есть свое горе. К чужому горю он разучился относиться сочувственно — он просто его не понимает, не хочет понимать.

Скептицизм — это еще хорошо, это еще лучшее из лагерного наследства.

Он приучается ненавидеть людей.

Он боится — он трус. Он боится повторений своей судьбы — боится доносов, боится соседей, боится всего, чего не должен бояться человек.

Он раздавлен морально. Его представления о нравственности изменились, и он сам не замечает этого.

Начальник приучается в лагере к почти бесконтрольной власти над арестантами, приучается смотреть на себя как на бога, как на единственного полномочного представителя власти, как на человека высшей расы.

Конвойный, в руках у которого была многократно жизнь людей и который часто убивал вышедших из запретной зоны, что он расскажет своей невесте о своей работе

на Дальнем Севере? О том, как бил прикладом голодных стариков, которые не могли идти?

Молодой крестьянин, попавший в заключение, видит, что в этом аду только урки живут сравнительно хорошо, с ними считаются, их побаивается всемогущее начальство. Они всегда одеты, сыты, поддерживают друг друга.

Крестьянин задумывается. Ему начинает казаться, что правда лагерной жизни — у блатарей, что, только подражая им в своем поведении, он встанет на путь реального спасения своей жизни. Есть, оказывается, люди, которые могут жить и на самом дне. И крестьянин начинает подражать блатарям в своем поведении, в своих поступках. Он поддакивает каждому слову блатарей, готов выполнить все их поручения, говорит о них со страхом и благоговением. Он спешит украсить свою речь блатными словечками — без этих блатных словечек не остался ни один человек мужского или женского пола, заключенный или вольный, побывавший на Колыме.

Слова эти — отравы, яд, влезающий в душу человека, и именно с овладения блатным диалектом и начинается сближение фраера с блатным миром.

Интеллигент-заключенный подавлен лагерем. Все, что было дорогим, растоптано в прах, цивилизация и культура слетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями.

Аргумент спора — кулак, палка. Средство понуждения — приклад, зуботычина.

Интеллигент превращается в труса, и собственный мозг подсказывает ему оправдание своих поступков. Он может уговорить сам себя на что угодно, присоединиться к любой из сторон в споре. В блатном мире интеллигент видит «учителей жизни», борцов «за народные права».

«Плюха», удар, превращает интеллигента в покорного слугу какого-нибудь Сенечки или Костечки.

Физическое воздействие становится воздействием моральным.

Интеллигент напуган навечно. Дух его сломлен. Эту напуганность и сломленный дух он приносит и в вольную жизнь.

Инженеры, геологи, врачи, прибывшие на Колыму по договорам с Дальстроем, развращаются быстро: длинный рубль, закон — тайга, рабский труд, которым так легко и выгодно пользоваться, сужение интересов культур-

ных — все это развращает, растлевает, человек, долго поработавший в лагере, не едет на материк — там ему грош цена, а он привык к богатой, обеспеченной жизни. Вот эта развращенность и называется в литературе «зовом Севера».

В этом растлении человеческой души в значительной мере повинен блатной мир, уголовники-рецидивисты, чьи вкусы и привычки сказываются на всей жизни Колымы.

1959

## ЗАГОВОР ЮРИСТОВ

В бригаду Шмелева сгребали человеческий шлак — людские отходы золотого забоя. Из разреза, где добывают пески и снимают торф, было три пути: «под сопку» — в братские безымянные могилы, в больницу и в бригаду Шмелева, три пути доходят. Бригада эта работала там же, где и другие, только дела ей поручались не такие важные. Лозунги «Выполнение плана — закон» и «Довести план до забойщиков» были не просто словами. Их толковали так: не выполнил норму — нарушил закон, обманул государство и должен отвечать сроком, а то и собственной жизнью.

И кормили шмелевцев похуже, поменьше. Но я хорошо помнил здешнюю поговорку: «В лагере убивает большая пайка, а не маленькая». Я не гнался за большой пайкой основных забойных бригад.

Я был переведен к Шмелеву недавно, недели три, и не знал его лица — была в разгаре зима, голова бригадира была замысловато укутана каким-то рваным шарфом, а вечером в бараке было темно — бензиновая колымка едва освещала дверь. Я и не помню бригадирского лица. Голос только, хриплый, простуженный голос.

Работали мы в ночной смене в декабре, и каждая ночь казалась пыткой — пятьдесят градусов не шутка. Но все же ночью было лучше, спокойней, меньше начальства в забое, меньше ругани и битья.

Бригада строилась на выход. Зимой строились в бараке, и эти последние минуты перед уходом в ледяную ночь на двенадцатичасовую смену мучительно вспоминать и сейчас. Здесь, в этой нерешительной толкотне у приоткрытых дверей, откуда ползет ледяной пар, сказывается человеческий характер. Один, пересилив дрожь, шагнул

прямо в темноту, другой торопливо досасывал неизвестно откуда взявшийся окурок махорочной цигарки, где и махорки-то не было ни запаха, ни следа; третий заслонял лицо от холодного ветра; четвертый стоял над печкой, держа рукавицы и набирая в них тепло.

Последних выталкивал из барака дневальный. Так поступали везде, в каждой бригаде, с самыми слабыми.

Меня в этой бригаде еще не выталкивали. Здесь были люди и слабее меня, и это вносило какое-то успокоение, нечаянную радость какую-то. Здесь я пока еще был человеком. Толчки и кулаки дневального остались в той «золотой» бригаде, откуда меня перевели к Шмелеву.

Бригада стояла в бараке у двери, готовая к выходу. Шмелев подошел ко мне.

— Останешься дома,— прохрипел он.

— На утро перевели, что ли? — недоверчиво сказал я.

Из смены в смену переводили всегда навстречу часовой стрелке, чтоб рабочий день не терялся, и заключенный не мог получить несколько лишних часов отдыха. Эту механику я знал.

— Нет, тебя Романов вызывает.

— Романов? Кто такой Романов?

— Ишь, гад, Романова не знает,— вмешался дневальный.

— Уполномоченный, понял? Не доходя конторы живет. Придешь в восемь часов.

— В восемь часов!

Чувство величайшего облегчения охватило меня. Если уполномоченный меня продержит до двенадцати, до ночного обеда и больше, я имею право совсем не ходить сегодня на работу. Сразу тело почувствовало усталость. Но это была радостная усталость, заныли мускулы.

Я развязав ~~завязав~~ подпояску, расстегнул бушлат и сел около печки. Сразу стало тепло, и зашевелились вши под гимнастеркой. Обкусанными ногтями я почесал шею, грудь. И задремал.

— Пора, пора,— тряс меня за плечо дневальный.— Иди — покурить принеси, не забудь.

Я постучал в дверь дома, где жил уполномоченный. Загремели щеколды, замки, множество щеколд и замков, и кто-то невидимый крикнул из-за двери:

— Ты кто?

— Заключенный Андреев по вызову.

Раздался грохот щеколд, звон замков — и все замолкло.

Холод забирался под бушлат, ноги стыли. Я стал колотить буркой о бурку — носили мы не валенки, а стеганые, шитые из старых брюк и телогреек ватные бурки.

Снова загремели щеколды, и двойная дверь открылась, пропуская свет, тепло и музыку.

Я вошел. Дверь из передней в столовую была не закрыта — там играл радиоприемник.

Уполномоченный Романов стоял передо мной. Вернее, я стоял перед ним, а он, низенький, полный, пахнувший духами, подвижный, вертелся вокруг меня, разглядывая мою фигуру черненькими быстрыми глазами.

Запах заключенного дошел до его ноздрей, и он вытащил белоснежный носовой платок и встряхнул его. Волны музыки, тепла, одеколona охватили меня. Главное — тепла. Голландская печка была раскалена.

— Вот и познакомились, — восторженно твердил Романов, передвигаясь вокруг меня и взмахивая душистым платком. — Вот и познакомились. Ну, проходи. — И он открыл дверь в соседнюю комнату — кабинетик с письменным столом, двумя стульями.

— Садись. Ни за что не угадаешь, зачем я тебя вызвал. Закуривай.

Он порылся в бумагах на столе.

— Как твое имя? Отчество?

Я сказал.

— А год рождения?

— Тысяча девятьсот седьмой.

— Юрист?

— Я, собственно, не юрист, но учился в Московском университете на юридическом во второй половине двадцатых годов.

— Значит, юрист. Вот и отлично. Сейчас ты сиди, я позвоню кое-куда, и мы с тобой поедем.

Романов выскользнул из комнаты, и вскоре в столовой выключили музыку и начался телефонный разговор.

Я задремал, сидя на стуле. Даже сон какой-то начал сниться. Романов то исчезал, то опять возникал.

— Слушай. У тебя есть какие-нибудь вещи в бараке?

— Все со мной.

— Ну, вот и отлично, право, отлично. Машина сейчас придет, и мы с тобой поедем. Знаешь, куда поедем? Не угадаешь! В самый Хаттынах, в управление! Бывал там? Ну, я шучу, шучу...

— Мне все равно.

— Вот и хорошо.

Я переобулся, размял руками пальцы ног, перевернул портянки.

Ходики на стене показывали половину двенадцатого. Даже если все это шутки — насчет Хатгынаха, то все равно, сегодня уже я на работу не пойду.

Загудела близко машина, и свет фар скользнул по ставням и задел потолок кабинета.

— Поехали, поехали.

Романов был в белом полушубке, в якутском малахае, расписных торбасах.

Я застегнул бушлат, подпоясался, подержал рукавицы над печкой.

Мы вышли к машине. Полуторатонка с откинутым кузовом.

— Сколько сегодня, Миша? — спросил Романов у шофера.

— Шестьдесят, товарищ уполномоченный. Ночные бригады сняли с работы.

Значит, и наша, шмелевская, дома. Мне не так уж повезло, выходит.

— Ну, Андреев, — сказал оперуполномоченный, прыгая вокруг меня. — Ты садись в кузов. Недалеко ехать. А Миша поедет побыстрее. Правда, Миша?

Миша промолчал. Я влез в кузов, свернулся в клубок, обхватил руками ноги. Романов втиснулся в кабину, и мы поехали.

Дорога была плохая, и так кидало, что я не застыл.

Думать ни о чем не хотелось, да на холоде и думать нельзя.

Часа через два замелькали огни, и машина остановилась около двухэтажного деревянного рубленого дома. Везде было темно, и только в одном окне второго этажа горел свет. Двое часовых в тулупах стояли около большого крыльца.

— Ну, вот и доехали, вот и отлично. Пусть он тут постоит. — И Романов исчез на большой лестнице.

Было два часа ночи. Огонь был потушен везде. Горела только лампочка за столом дежурного.

Ждать пришлось недолго. Романов — он уже успел раздеться и был в форме НКВД — сбежал с лестницы и замахал руками.

— Сюда, сюда.

Вместе с помощником дежурного мы двинулись вверх и в коридоре второго этажа остановились перед



дверью с дощечкой «Ст. уполномоченный НКВД Смертин». Столь угрожающий псевдоним (не настоящая же это фамилия) произвел впечатление даже на меня, уставшего беспредельно.

«Для псевдонима — чересчур», — подумал я, но надо было уже входить, идти по огромной комнате с портретом Сталина во всю стену, остановиться перед письменным столом исполинских размеров, разглядывать бледное рыжеватое лицо человека, который всю жизнь провел в комнатах, в таких вот комнатах.

Романов почтительно сгнул плечи у стола.

Тусклые голубые глаза старшего уполномоченного товарища Смертина остановились на мне. Остановились очень недолго: он что-то искал на столе, перебирал какие-то бумаги. Услужливые пальцы Романова нашли то, что было нужно найти.

— Фамилия? — спросил Смертин, вглядываясь в бумаги. — Имя? Отчество? Статья? Срок?

Я ответил.

— Юрист?

— Юрист.

Бледное лицо поднялось от стола.

— Жалобы писал?

— Писал.

Смертин засопел:

— За хлеб?

— И за хлеб, и просто так.

— Хорошо. Ведите его.

Я не сделал ни одной попытки что-нибудь выяснить, спросить. Зачем? Ведь я не на холоде, не в ночном золотом забое. Пусть выясняют, что хотят.

Пришел помощник дежурного с какой-то запиской, и меня повели по ночному поселку на самый край, где под защитой четырех караульных вышек за тройной загородкой из колючей проволоки помещался изолятор, лагерная тюрьма.

В тюрьме были камеры большие, а были и одиночки. В одну из таких одиночек и втолкнули меня. Я рассказал о себе, не ожидая ответа от соседей, не спрашивая их ни о чем. Так положено, чтобы не думали, что я подсажен.

Настало утро, очередное колымское зимнее утро, без света, без солнца, сначала неотличимое от ночи. Ударили в рельс, принесли ведро дымящегося кипятка. За мной пришел конвой, и я попрощался с товарищами. Я не знал о них ничего.

Меня привели к тому же самому дому. Дом мне показался меньше, чем ночью. Пред светлые очи Смертина я уже не был допущен.

Дежурный велел мне сидеть и ждать, и я сидел и ждал до тех пор, пока не услышал знакомый голос:

— Вот и хорошо! Вот и отлично! Сейчас вы поедете! — На чужой территории Романов называл меня на «вы».

Мысли лениво передвигались в мозгу — почти физически ощутимо. Надо было думать о чем-то новом, к чему я не привык, не знаю. Это новое — не приисковое. Если бы мы возвращались на свой прииск «Партизан», то Романов сказал бы: «Сейчас мы поедем». Значит, меня везут в другое место. Да пропади все пропадом!

По лестнице почти вприпрыжку спустился Романов. Казалось, вот-вот он сядет на перила и съедет вниз, как мальчишка. В руках он держал почти целую буханку хлеба.

— Вот, это вам на дорогу. И еще вот. — Он исчез наверху и вернулся с двумя селедками. — Порядок, да? Все, кажется... Да, самое-то главное и забыл, что значит некурящий человек.

Романов поднялся наверх и появился снова с газетой. На газете была насыпана махорка. «Коробочки три, наверное», — опытным глазом определил я. В пачке-восьмушке восемь спичечных коробок махорки. Это лагерная мера объема.

— Это вам на дорогу. Сухой паек, так сказать.

Я кивнул.

— А конвой уже вызвали?

— Вызвали, — сказал дежурный.

— Наверх пришлите старшего.

И Романов исчез на лестнице.

Пришли два конвоира — один постарше, рябой, в папахе кавказского образца, другой молодой, лет двадцати, розовощекий, в красноармейском шлеме.

— Вот этот, — сказал дежурный, показывая на меня.

Оба — молодой и рябой — оглядели меня очень внимательно с ног до головы.

— А где начальник? — спросил рябой.

— Вверху. И пакет там.

Рябой пошел наверх и скоро вернулся с Романовым.

Они говорили негромко, и рябой показывал на меня.

— Хорошо, — сказал наконец Романов, — мы дадим записку.

Мы вышли на улицу. Около крыльца, там же, где ночью стоял грузовичок с «Партизана», стоял комфортабель-

ный «ворон» — тюремный автобус с решетчатыми окнами. Я сел внутрь. Решетчатые двери закрылись, конвоиры уселись в тамбуре, и машина двинулась. Некоторое время «ворон» шел по трассе, по центральному шоссе, что разрезает пополам всю Колыму, но потом свернул куда-то в сторону. Дорога вилась между сопок, мотор все время хралел на подъемах; отвесные скалы с редким листовым лесом и заиндевевшие ветки ивняка. Наконец, сделав несколько поворотов вокруг сопок, машина, идущая по руслу ручья, вышла на небольшую площадку. Здесь была просека, караульные вышки, а в глубине, метрах в трехстах, — косые вышки и темная масса барачных, окруженных колючей проволокой.

Дверь маленькой будочки-домика на дороге отворилась, и вышел дежурный, опоясанный револьвером.

Машина остановилась, не глуша мотора.

Шофер выскочил из кабины и прошел мимо моего окна.

— Вишь, как кружило. Истинно «Сerpантинная».

Это название было мне знакомо, говорило мне больше, чем угрожающая фамилия Смертина. Это была «Сerpантинная» — знаменитая следственная тюрьма Колымы, где столько людей погибло в прошлом году. Трупы их не успели еще разложиться. Впрочем, их трупы будут нетленны всегда — мертвецы вечной мерзлоты.

Старший конвоир ушел по тропке к тюрьме, а я сидел у окна и думал, что вот пришел и мой час, моя очередь. Думать о смерти было так же трудно, как и о чем-нибудь другом. Никаких картин собственного расстрела я себе не рисовал. Сидел и ждал.

Наступали уже сумерки зимние. Дверь «ворона» открылась, старший конвоир бросил мне валенки.

— Обувайся! Снимай бурки.

Я разулся, попробовал. Нет, не лезут. Малы.

— В бурках не доедешь, — сказал рябой.

— Доеду.

Рябой швырнул валенки в угол машины.

— Поехали!

Машина развернулась, и «ворон» помчался прочь от «Сerpантинной».

Вскоре по мелькающим мимо машинам я понял, что мы снова на трассе.

Машина сбавила ход — кругом горели огни большого поселка. Автобус подошел к крыльцу ярко освещенного дома, и я вошел в светлый коридор, очень похожий на тот,

где хозяином был уполномоченный Смертин: за деревянным барьером возле стенного телефона сидел дежурный с пистолетом на боку. Это был поселок Ягодный. В первый день путешествия мы проехали всего семнадцать километров. Куда мы поедem дальше?

Дежурный отвел меня в дальнюю комнату, которая оказалась карцером с топчаном, ведром воды и парашей. В двери был прорезан «глазок».

Я прожил там два дня. Успел даже подсушить и перемотать бинты на ногах — ноги в цинготных язвах гноились.

В доме райотдела НКВД стояла какая-то захолустная тишина. Из своего уголка я прислушивался напряженно. Даже днем редко-редко кто-то топал по коридору. Редко открывалась входная дверь, поворачивались ключи в дверях. И дежурный, постоянный дежурный, небритый, в старой телогрейке, с наганом через плечо — все выглядело захолустным по сравнению с блестящим Хаттынахом, где товарищ Смертин творил высокую политику. Телефон звонил редко-редко.

— Да. Заправляются. Да. Не знаю, товарищ начальник.

— Хорошо, я им передам.

О ком тут шла речь? О моих конвоирах? Раз в день, к вечеру, дверь моей камеры раскрывалась, и дежурный вносил котелок супу, кусок хлеба.

— Ешь!

Это мой обед. Казенный. И приносил ложку. Второе блюдо было смешано с первым, вылито в суп.

Я брал котелок, ел и вылизывал дно до блеска по привычке.

На третий день дверь открылась, и рябой боец, одетый в тулуп поверх полушубка, шагнул через порог карцера.

— Ну, отдохнул? Поехали.

Я стоял на крыльце. Я думал, что мы поедem опять в утепленном тюремном автобусе, но «ворона» нигде не было видно. Обыкновенная трехтонка стояла у крыльца.

— Садись.

Я послушно перевалился через борт.

Молодой боец влез в кабину шофера. Рябой сел рядом со мной. Машина двинулась, и через несколько минут мы очутились на трассе.

Куда меня везут? К северу или к югу? К западу или к востоку?

Спрашивать было не нужно, да конвой и не должен говорить.

На другой участок передают? На какой?

Машина тряслась много часов и вдруг остановилась. — Здесь мы пообедаем. Слезай.

Я слез.

Мы вошли в дорожную трассовую столовую.

Трасса — артерия и главный нерв Колымы. В обе стороны непрерывно движутся грузы техники — без охраны, продукты с обязательным конвоем: беглецы нападают, грабят. Да и от шофера и агента снабжения конвой хоть и ненадежная, но все же защита — может предупредить воровство.

В столовых встречаются геологи, разведчики поисковых партий, едущие в отпуск с заработанным длинным рублем, подпольные продавцы табака и чифиря, северные герои и северные подлецы. В столовых спирт здесь продают всегда. Они встречаются, спорят, дерутся, обмениваются новостями и спешат, спешат... Машину с невыключенным мотором оставляют работать, а сами ложатся спать в кабину на два-три часа, чтобы отдохнуть и снова ехать. Тут же везут заключенных чистенькими стройными партиями вверх, в тайгу, и грязной кучей отбросов — сверху, обратно из тайги. Тут и сыщики-оперативники, которые ловят беглецов. И сами беглецы — часто в военной форме. Здесь едет в ЗИСах начальство — хозяева жизни и смерти всех этих людей. Драматургу надо показывать Север именно в дорожной столовой — это наилучшая сцена.

Там я стоял, стараясь протиснуться поближе к печке, огромной печке-бочке, раскаленной докрасна. Конвоиры не очень беспокоились, что я сбегу, — я слишком ослабел, и это было хорошо видно. Всякому было ясно, что доходяге на пятидесятиградусном морозе некуда бежать.

— Садись вон, ешь.

Конвоир купил мне тарелку горячего супа, дал хлеба.

— Сейчас поедем дальше, — сказал молодой. — Старшой придет — и поедем.

Но рябой пришел не один. С ним был немолодой боец (солдатами их еще в те времена не звали) с винтовкой и в полушубке. Он поглядел на меня, на рябого.

— Ну, что же, можно, — сказал он.

— Пошли, — сказал мне рябой.

Мы перешли в другой угол огромной столовой. Там

у стены сидел, скорчившись, человек в бушлате и шапочке-бамлагерке, черной фланелевой ушанке.

— Садись сюда,— сказал мне рябой.

Я послушно опустил на пол рядом с тем человеком. Он не повернул головы.

Рябой и незнакомый боец ушли. Молодой мой конвоир остался с нами.

— Они отдых себе делают, понял?— зашептал мне внезапно человек в арестантской шапочке.— Не имеют права.

— Да, душа из них вон,— сказал я.— Пусть делают, как хотят. Тебе что — кисло от этого?

Человек поднял голову.

— Я тебе говорю, не имеют права...

— А куда нас везут?— спросил я.

— Куда тебя везут, не знаю, а меня в Магадан. На расстрел.

— На расстрел?

— Да. Я приговоренный. Из Западного управления. Из Сусумана.

Это мне совсем не понравилось. Но я ведь не знал порядков, процедурных порядков высшей меры. Я смущенно замолчал.

Подошел рябой боец вместе с новым нашим спутником.

Они стали говорить что-то между собой. Как только конвоя стало больше, они стали резче, грубее. Мне уже больше не покупали супа в столовой.

Проехали еще несколько часов, и в столовой к нам подвели еще троих — этап, партия, собирался уже значительный.

Трое новых были неизвестного возраста, как все колымские доходяги; вздутая белая кожа, припухлость лиц говорили о голоде, о цинге. Лица были в пятнах отморожений.

— Вас куда везут?

— В Магадан. На расстрел. Мы приговоренные.

Мы лежали в кузове трехтонки скрючившись, уткнувшись в колени, в спины друг друга. У трехтонки были хорошие рессоры, трасса была отличной дорогой, нас почти не подбрасывало, и мы начали замерзать.

Мы кричали, стонали, но конвой был неумолим. Надо было засветло добраться до «Спорного».

Приговоренный к расстрелу умолял «перегреться» хоть на пять минут.

Машина влетела в «Спорный», когда уже горел свет. Пришел рябой.

— Вас поместят на ночь в лагерный изолятор, а утром поедем дальше.

Я промерз до костей, онемел от мороза, стучал из последних сил подошвами бурок о снег. Не согревался. Бойцы все искали лагерное начальство. Наконец через час нас отвели в мерзлый, нетопленный лагерный изолятор. Иней затянул все стены, земляной пол весь оледенел. Кто-то внес ведро воды. Загремел замок. А дрова? А печка?

Вот здесь в эту ночь на «Спорном» я отморозил ново все десять пальцев ног, безуспешно пытаюсь заснуть хоть на минуту.

Утром нас вывели, посадили в машину. Замелькали сопки, захрипели встречные машины. Машина спустилась с перевала, и нам стало так тепло, что захотелось никуда не ехать, подождать, походить хоть немного по этой чудесной земле.

Разница была градусов в десять, не меньше. Да и ветер был какой-то теплый, чуть не весенний.

— Конвой! Оправиться!..

Как еще рассказать бойцам, что мы рады теплу, южному ветру, избавлению от ледящей душу тайги.

— Ну, вылезай!

Конвоирам тоже было приятно размяться, закурить. Мой искатель справедливости уже приближался к конвою.

— Покурим, гражданин боец?

— Покурим. Иди на место.

Один из новичков не хотел слезать с машины. Но, видя, что оправка затянулась, он передвинулся к борту и поманил меня рукой.

— Помоги спуститься.

Я протянул руки и, бессильный доходяга, вдруг почувствовал необычайную легкость его тела, какую-то смертную легкость. Я отошел. Человек, держась руками за борт машины, сделал несколько шагов.

— Как тепло.— Но глаза были смутны, без всякого выражения.

— Ну, поехали, поехали. Тридцать градусов.

С каждым часом становилось все теплее.

В столовой поселка Палатка наши конвоиры обедали последний раз. Рябой купил мне килограмм хлеба.

— Возьми вот беляшки. Вечером приедем.

Шел мелкий снег, когда далеко внизу показались огни

Магадана. Было градусов десять. Безветренно. Снег падал почти отвесно — мелкие-мелкие снежинки.

Машина остановилась близ райотдела НКВД. Конвоиры вошли в помещение.

Вышел человек в штатском костюме, без шапки. В руках он держал разорванный конверт.

Он выкрикнул чью-то фамилию привычно, звонко. Человек с легким телом отполз по его знаку в сторону.

— В тюрьму!

Человек в костюме скрылся в здании и сейчас же явился.

В руках его был новый пакет.

— Иванов!

— Константин Иванович.

— В тюрьму!

— Угрицкий!

— Сергей Федорович!

— В тюрьму!

— Симонов!

— Евгений Петрович!

— В тюрьму!

Я не прощался ни с конвоем, ни с теми, кто ехал вместе со мной в Магадан. Это не принято.

Перед крыльцом райотдела стоял только я вместе со своими конвоирами.

Человек в костюме показался на крыльце с пакетом.

— Андреев! В райотдел! Сейчас я вам дам расписку, — сказал человек моим конвоирам.

Я вошел в помещение. Первым делом — где печка? Вот она — батарея центрального отопления. Дежурный за деревянным барьером. Телефон. Победнее, чем у товарища Смертина в Хаттынахе. А может быть, потому, что то был первый такой кабинет в моей колымской жизни.

Вверх по коридору уходила крутая лестница на второй этаж.

Недолго я ждал. Сверху спустился тот самый человек в костюме, который принимал нас на улице.

— Идите сюда.

По узкой лесенке поднялись мы на второй этаж, дошли до двери с надписью: «Я. Атлас, ст. уполномоченный».

— Садитесь.

Я сел. В крошечном кабинете главное место занимал стол. Бумаги, папки, списки какие-то.

Атласу было лет тридцать восемь — сорок. Полный,



спортивного вида мужчина, черноволосый, чуть лысоватый.

— Фамилия?

— Андреев.

— Имя, отчество, статья, срок?

Я ответил.

— Юрист?

— Юрист.

Атлас вскочил с места и обошел вокруг стола.

— Прекрасно! С вами будет говорить капитан Ребров!

— А кто такой капитан Ребров?

— Начальник СПО. Идите вниз.

Я возвратился к своему месту около батареи. Размыслив над новостями, я решил заблаговременно съесть тот килограмм «беляшки», который мне дали конвоиры. Бак с водой и прикованная к нему кружка были тут же. Ходики на стене мерно тикали. В полудреме я слышал, как кто-то прошел мимо меня наверх быстрыми шагами, и дежурный разбудил меня.

— К капитану Реброву.

Меня провели на второй этаж. Открылась дверь небольшого кабинета, и я услышал резкий голос:

— Сюда, сюда!

Обыкновенный кабинет, чуть побольше того, где я был часа два назад. Стекловидные глаза капитана Реброва устремлены были прямо на меня. На углу стола стоял недопитый стакан чая с лимоном, обкусанная корочка сыра на блюде. Телефоны. Папки. Портреты.

— Фамилия?

— Андреев.

— Имя? Отчество? Статья? Срок? Юрист?

— Юрист.

Капитан Ребров перегнулся через стол, приближая ко мне стеклянные глаза, и спросил:

— Вы Парфентьева знаете?

— Да, знаю.

Парфентьев был моим бригадиром в забойной бригаде на прииске еще до того, как я попал в бригаду Шмелева. Из Парфентьевской бригады меня перевели в бригаду Потураева, а оттуда — к Шмелеву. У Парфентьева я работал несколько месяцев.

— Да. Знаю. Это мой бригадир, Дмитрий Тимофеевич Парфентьев.

— Так. Хорошо. Значит, Парфентьева знаете?

— Да, знаю.

— А Виноградова знаете?

— Виноградова не знаю.

— Виноградова, председателя Далькрайсуда?

— Не знаю.

Капитан Ребров зажег папиросу, глубоко затянулся и продолжал разглядывать меня, думая о чем-то своем.

Капитан Ребров потушил папиросу о блюде.

— Значит, ты знаешь Виноградова и не знаешь Парфентьева?

— Нет, я не знаю Виноградова...

— Ах, да. Ты знаешь Парфентьева и не знаешь Виноградова. Ну, что ж!

Капитан Ребров нажал кнопку звонка. Дверь за моей спиной открылась.

— В тюрьму!

Блюдечко с окурком и недоеденной корочкой сыра осталось в кабинете начальника СПО на письменном столе справа, возле графина с водой.

Глубокой ночью конвоир вел меня по спящему Магадану.

— Шагай скорее.

— Мне некуда спешить.

— Поговори еще! — Боец вынул пистолет. — Застрелю, как собаку. Списать нетрудно.

— Не спишешь, — сказал я. — Ответишь перед капитаном Ребровым.

— Иди, зараза!

Магадан — город маленький. Вскоре мы добрались до «Дома Васькова», как называется местная тюрьма. Васьков был заместителем Берзина, когда строился Магадан. Деревянная тюрьма была одним из первых магаданских зданий. Тюрьма сохранила имя человека, который строил ее. В Магадане давно построена каменная тюрьма, но и это новое, «благоустроенное» здание по последнему слову пенитенциарной техники называется «Домом Васькова».

После кратких переговоров на вахте меня впустили во двор «Дома Васькова». Низкий, приземистый, длинный корпус тюрьмы из гладких тяжелых лиственничных бревен. Через двор — две палатки, деревянные здания.

— Во вторую, — сказал голос сзади.

Я ухватился за ручку двери, открыл дверь и вошел.

Двойные нары, полные людьми. Но не тесно, не вплотную. Земляной пол. Печка-полубочка на длинных железных ногах. Запах пота, лизола и грязного тела.

С трудом я вполз наверх — теплее все-таки — и пролез на свободное место.

Сосед проснулся.

— Из тайги?

— Из тайги.

— Со вшами?

— Со вшами.

— Ложись тогда в угол. У нас здесь вшей нет. Здесь дезинфекция бывает.

«Дезинфекция — это хорошо, — думал я. — А главное — тепло».

Утром кормили. Хлеб, кипяток. Мне еще хлеба не полагалось. Я снял с ног бурки, положил их под голову, спустил ватные брюки, чтобы согреть ноги, заснул и проснулся через сутки, когда уже давали хлеб и я был зачислен на полное довольствие «Дома Васькова».

В обед давали юшку от галушек, три ложки пшенной каши. Я спал до утра следующего дня, до той минуты, когда дикий голос дежурного разбудил меня.

— Андреев! Андреев! Кто Андреев?

Я слез с нар.

— Вот я.

— Выходи во двор — иди вот к тому крыльцу.

Двери подлинного «Дома Васькова» открылись передо мной, и я вошел в низкий, тускло освещенный коридор. Надзиратель отпер замок, отвалил массивную железную щеколду и открыл крошечную камеру с двойными нарами. Два человека, согнувшись, сидели в углу нижних нар.

Я подошел к окну, сел.

За плечи меня тряс человек. Это был мой приисковый бригадир Дмитрий Тимофеевич Парфентьев.

— Ты понимаешь что-нибудь?

— Ничего не понимаю. Когда тебя привезли?

— Три дня назад. На легковушке Атлас привез.

— Атлас? Он допрашивал меня в райотделе. Лет сорока, лысоватый. В штатском.

— Со мной он ехал в военном. А что тебя спрашивал капитан Ребров?

— Не знаю ли я Виноградова.

— Ну?

— Откуда же мне его знать?

— Виноградов — председатель Далькрайсуда.

— Это ты знаешь, а я — не знаю, кто такой Виноградов.

— Я учился с ним.

Я начал кое-что понимать. Парфентьев был до ареста областным прокурором в Челябинске, карельским прокурором. Виноградов, проезжая через «Партизан», узнал, что его университетский товарищ в забое, передал ему деньги, попросил начальника «Партизана» Анисимова помочь Парфентьеву. Парфентьева перевели в кузницу молотобойцем. Анисимов сообщил о просьбе Виноградова в НКВД, Смертину, тот — в Магадан, капитану Реброву, и начальник СПО приступил к разработке дела Виноградова. Были арестованы все юристы-заключенные по всем приискам Севера. Остальное было делом следовательской техники.

— А здесь мы зачем? Я был в палатке...

— Нас выпускают, дурак,— сказал Парфентьев.

— Выпускают? На волю? То есть не на волю, а на пересылку, на транзитку.

— Да,— сказал третий человек, выползая на свет и оглядывая меня с явным презрением.

Раскормленная розовая рожа. Одет он был в черную дошку, зефирная рубашка была расстегнута на его груди.

— Что, знакомы? Не успел вас задавить капитан Ребров. Враг народа...

— А ты-то друг народа?

— Да уж, по крайней мере, не политический. Ромбов не носил. Не издевался над трудовыми людьми. Вот из-за вас, из-за таких, и нас сажают.

— Блатной, что ли?— сказал я.

— Кому блатной, а кому портной.

— Ну, перестаньте, перестаньте,— заступился за меня Парфентьев.

— Гад! Не терплю!

Загремели двери.

— Выходи!

Около вахты толклось человек семь. Мы с Парфентьевым подошли поближе.

— Вы что, юристы, что ли?— спросил Парфентьев.

— Да! Да!

— А что случилось? Почему нас выпускают?

— Капитан Ребров арестован. Велено освободить всех, кто по его ордерам,— негромко сказал кто-то всеведущий.

## ТИФОЗНЫЙ КАРАНТИН

Человек в белом халате протянул руку, и Андреев вложил в растопыренные, розовые, вымытые пальцы с остриженными ногтями свою соленую, ломкую гимнастерку. Человек отмахнулся, затряс ладонью.

— Белья у меня нет,— сказал Андреев равнодушно.

Тогда фельдшер взял андреевскую гимнастерку обеими руками, ловким, привычным движением вывернул рукава и взгляделся...

— Есть, Лидия Ивановна.— И заорал на Андреева:— Что же ты так обовшивел, а?

Но врачиха Лидия Ивановна не дала ему продолжать.

— Разве они виноваты?— сказала Лидия Ивановна негромко и укоризненно, подчеркивая слово *они*, и взяла со стола стетоскоп.

На всю свою жизнь запомнил Андреев эту рыженькую Лидию Ивановну, тысячу раз благословлял ее, вспоминая всегда с нежностью и теплотой. За что? За то, что она подчеркнула слово *они* в этой фразе, единственной, которую Андреев слышал от нее. За доброе слово, сказанное вовремя. Дошли ли до нее эти благословения?

Осмотр был недолго. Стетоскоп не нужен был для этого осмотра.

Лидия Ивановна подышала на фиолетовую печать и с силой, обеими руками прижала ее к типографскому какому-то бланку. Она вписала туда несколько слов, и Андреева увели.

Конвоир, ждавший в сенях санчасти, повел Андреева не обратно в тюрьму, а в глубь поселка, к одному из больших складов. Двор возле склада был огорожен колючей проволокой в десять законных рядов, с калиткой, около которой ходил часовой в тулупе и с винтовкой. Они вошли во двор и подошли к пакгаузу. Яркий электрический свет бил из дверной щели. Конвоир с трудом распахнул дверь, огромную, сделанную для автомашин, а не для людей, и исчез в пакгаузе. На Андреева пахнуло запахом грязного тела, лежалых вещей, кислым человеческим потом. Смутный гул человеческих голосов наполнял эту огромную коробку. Четырехэтажные сплошные нары, рубленные из цельных лиственниц, были строением вечным, рассчитанным навечно, как мосты Цезаря. На стеллажах огромного пакгауза лежало более тысячи людей. Это был один из двух десятков бывших складов, доверху набитых

новым, живым товаром, — в порту был тифозный карантин, и вывоза, или, как говорят по-тюремному, «этапа», из него не было уже более месяца. Лагерное кровообращение, где эритроциты — живые люди, было нарушено. Транспортные машины простаивали. Прииски увеличивали рабочий день заключенных. В самом городе хлебозавод не справлялся с выпечкой хлеба — ведь каждому надо было дать по пятьсот граммов ежедневно, и хлеб пытались печь на частных квартирах. Злость начальства нарастала тем более, что из тайги понемногу попадал в город арестантский шлак, который выбрасывали прииски.

В «секции», как по-модному называли тот склад, куда привели Андреева, было более тысячи человек. Но сразу это множество не было заметным. Люди лежали на верхних нарах голыми от жары, на нижних нарах и под нарами — в телогрейках, бушлатах и шапках. Большинство лежало навзничь или ничком (никто не объяснит, отчего арестанты почти не спят на боку), и их тела на массивных нарах казались наростами, горбами дерева, выгнувшейся доской.

Люди сдвигались в тесные группы возле или вокруг рассказчика-«романиста» либо вокруг случая — а случай возникал со всей необходимостью ежеминутно при такой прорве людей. Люди лежали здесь уже больше месяца, на работу они не ходили — ходили только в баню для дезинфекции вещей. Двадцать тысяч рабочих дней, ежедневно потерянных, сто шестьдесят тысяч рабочих часов, а может быть, и триста двадцать тысяч часов — рабочие дни бывают разные. Или двадцать тысяч сохранных дней жизни.

Двадцать тысяч дней жизни. По-разному можно рассуждать о цифрах, статистика — наука коварная.

Когда раздавалась пища, все были на местах (питание выдавалось по десяткам). Людей было так много, что раздатчики пищи едва успевали раздать завтрак, как наступало время раздачи обеда. И, едва закончив раздачу обеда, принимались выдавать ужин. В секции с утра до вечера раздавали пищу. А ведь утром выдавался только хлеб на весь день и чай — теплая кипяченая вода — и через день по полседьки, в обед — только суп, в ужин — только каша.

И все-таки на выдачу этого не хватало времени.

Нарядчик подвел Андреева к нарам и показал на вторые нары:

— Вот твое место!

Вверху запротестовали, но нарядчик выругался. Андреев, уцепясь обеими руками за край нар, пытался безуспешно закинуть правую ногу на нары. Сильная рука нарядчика подкинула его, и он тяжело плюхнулся посреди голых тел. Никто не обращал на него внимания. Процедура «прописки» и «въезда» была закончена.

Андреев спал. Он просыпался только тогда, когда давали пищу, и после, аккуратно и бережно вылизав свои руки, снова спал, только некрепко — вши не давали крепко спать.

Никто его не расспрашивал, хотя во всей этой транзитке не много было людей из тайги, а всем остальным суждена была туда дорога. И они это понимали. Именно поэтому они не хотели ничего знать о неотвратимой тайге. И это было правильно, как рассудил Андреев. Все, что видел он, им не надо было знать. Избежать ничего нельзя — ничего тут не предусмотреть. Лишний страх, к чему он? Здесь были еще люди — Андреев был представителем мертвецов. И его знания, знания мертвого человека, не могли им, еще живым, пригодиться.

Дня через два настал банный день. Дезинфекции и бани всем уже надоели, и собирались неохотно, но Андрееву очень хотелось расправиться со своими вшами. Времени у него теперь было сколько угодно, и несколько раз в день он просматривал все швы своей побелевшей гимнастерки. Но окончательный успех могла дать только дезкамера. Поэтому он шел охотно, и, хоть белья ему не дали, сырую гимнастерку пришлось надеть на голое тело, но привычных укусов он не чувствовал.

В бане давали воды по норме: таз горячей и таз холодной, но Андреев обманул банщика и еще лишний таз получил.

Кусочек мыла крошечный давали, но на полу можно было собрать обмылки, и Андреев постарался вымыться как следует. За последний год это была лучшая баня. И пусть кровь и гной текли из цинготных язв на голених Андреева. Пусть шарахаются от него в бане люди. Пусть безгласно отодвигаются от его вшивой одежды.

Выдали из дезкамеры вещи, и сосед Андреева Огнев вместо овчинных меховых чулок получил игрушечные — так села кожа. Огнев заплакал — меховые чулки были его спасением на Севере. Но Андреев недоброжелательно смотрел на него. Столько он видел плачущих мужчин по самым различным причинам. Были хитрецы —

притворщики, были нервнобольные, были потерявшие надежду, были обозленные. Были плачущие от холода. Плачущих от голода Андреев не видал.

Обратно шли по темному молчаливому городу. Алюминиевые лужи застыли, но воздух был свежий, весенний. После этой бани Андреев спал особенно крепко, «сытно поспал», как говорил его сосед Огнев, уже забывший про свое банное приключение.

Никого никуда не выпускали. Но все же в секции была единственная должность, позволявшая выход за проволоку. Правда, здесь шла речь не о выходе из лагерного поселка за внешнюю проволоку — три забора по десять ниток колючки, да еще запретное пространство, обнесенное низко натянутой проволокой. О том никто и не мечтал. Здесь шла речь о выходе из проволочного двора. Там была столовая, кухня, склады, больница — словом, иная, запретная для Андреева жизнь. За проволоку выходил единственный человек — ассенизатор. И когда он умер внезапно (жизнь полна благодетельных случайностей), Огнев — сосед Андреева — проявил чудеса энергии и догадливости. Он два дня не ел хлеба, затем выменял на хлеб большой фибровый чемодан.

— У барона Манделя, Андреев!

Барон Мандель! Потомок Пушкина! Вон там, там. Барон — длинный, узкоплечий, с крошечным лысым черепом — был далеко виден. Но познакомиться с ним не пришлось Андрееву.

У Огнева сохранился коверкотовый пиджак еще с воли, в карантине Огнев был всего несколько месяцев.

Огнев преподнес нарядчику пиджак и фибровый чемодан и получил должность умершего ассенизатора. Недели через две блатные придушили Огнева в темноте — не до смерти, к счастью, — и отняли у него около трех тысяч рублей деньгами.

Андреев почти не встречался с Огневым в расцвет его коммерческой карьеры. Избитый и истерзанный, Огнев исповедовался Андрееву ночью, заняв старое место.

Андреев мог бы ему рассказать кое-что из того, что он видел на приiske, но Огнев ничуть не раскаивался и не жаловался.

— Сегодня они меня, завтра я их. Я их... обыграю... В штос, в терц, в буру обыграю. Все верну!

Огнев ни хлебом, ни деньгами не помог Андрееву, но это и не было принято в таких случаях — с точки зрения лагерной этики все обстояло нормально.



В один из дней Андреев удивился, что он еще живет. Подниматься на нары было так трудно, но все же он поднимался. Самое главное — он не работал, лежал, и даже пятьсот граммов ржаного хлеба, три ложки каши и миска жидкого супа в день могли воскрешать человека. Лишь бы он не работал.

Именно здесь он понял, что не имеет страха и жизнью не дорожит. Понял и то, что он испытан великой пробой и остался в живых. Что страшный приисковый опыт суждено ему применить для своей пользы. Он понял, что, как ни мизерны возможности выбора, свободной воли арестанта, они все же есть; эти возможности — реальность, они могут спасти жизнь при случае. И Андреев был готов к этому великому сражению, когда звериную хитрость он должен противопоставить зверю. Его обманывали. И он обманет. Он не умрет, не собирается умирать.

Он будет выполнять желания своего тела, то, что ему рассказало тело на золотом прииске. На прииске он проиграл битву, но это была не последняя битва. Он — шлак, выброшенный с прииска. И он будет этим шлаком. Он видел, что фиолетовый оттиск, который сделан на какой-то бумаге руками Лидии Ивановны, оттиск трех букв: ЛФТ — легкий физический труд. Андреев знал, что на эти метки не обращают внимания на приисках, но здесь, в центре, он собирался извлечь из них все, что можно.

Но возможностей было мало. Можно было сказать нарядчику: «Вот я, Андреев, здесь лежу и никуда не хочу ехать. Если меня пошлют на прииск, то на первом перевале, как затормозит машина, я прыгаю вниз, пусть конвой меня застрелит — все равно на золото я больше не поеду».

Возможностей было мало. Но здесь он будет умнее, будет больше доверять телу. И тело его не обманет. Его обманула семья, обманула страна. Любовь, энергия, способности — все было растоптано, разбито. Все оправдания, которые искал мозг, были фальшивы, ложны, и Андреев это понимал. Только разбуженный прииском звериный инстинкт мог подсказать и подсказывал выход.

Именно здесь, на этих циклопических нарах, понял Андреев, что он кое-что стоит, что он может уважать себя. Вот он здесь еще живой и никого не предал и не продал ни на следствии, ни в лагере. Ему удалось много сказать правды, ему удалось подавить в себе страх. Не то что он ничего вовсе не боялся, нет, моральные барьеры определились яснее и четче, чем раньше, все стало проще, ясней.

Ясно было, например, что нельзя выжить Андрееву. Препятствие здоровью утеряно бесследно, сломано навеки. Навсегда ли? Когда Андреева привезли в этот город, он думал, что жизни его две-три недели. А для того, чтобы вернулась прежняя сила, нужен полный отдых, многомесячный, на чистом воздухе, в курортных условиях, с молоком, с шоколадом. И так как совершенно ясно, что такого курорта Андрееву не видать, ему придется умереть. Что опять-таки не страшно. Умерло много товарищей. Но что-то сильнее смерти не давало ему умереть. Любовь? Злоба? Нет. Человек живет в силу тех же самых причин, почему живет дерево, камень, собака. Вот это понял, и не только понял, а почувствовал хорошо Андреев именно здесь, на городской транзитке, во время тифозного карантина.

Расчесы на коже зажили гораздо раньше, чем другие раны Андреева. Исчезал понемногу черепаховый панцирь, в который превратилась на прииске человеческая кожа; ярко-розовые кончики отмороженных пальцев потемнели: тончайшая кожица, покрывавшая их после того, как лопнул пузырь отморожения, чуть загрубела. И даже — самое главное — кисть левой руки разогнулась. За полтора года работы на прииске обе кисти рук согнулись по толщине черенка лопаты или кайла и заострились, как казалось Андрееву, навсегда. Во время еды рукоятку ложки он держал, как и все его товарищи, кончиками пальцев, щепотью, и забыл, что можно держать ложку иначе. Кисть руки, живая, была похожа на протез-крючок. Она выполняла только движения протеза. Кроме этого, ею можно было креститься, если бы Андреев молился богу. Но ничего, кроме злобы, не было в его душе. Раны его души не были так легко залечены. Они никогда не были залечены.

Но руку-то Андреев все-таки разогнул. Однажды в бане пальцы левой руки разогнулись. Это удивило Андреева. Дойдет очередь и до правой, еще согнутой по-старому. И ночами Андреев тихонько трогал правую, пробовал отогнуть пальцы, и ему казалось, что вот-вот она разогнется. Он обкусал ногти самым аккуратным образом и теперь грыз грязную, толстую, чуть размягчившуюся кожу по кусочку. Эта гигиеническая операция была одним из немногих развлечений Андреева, когда он не ел и не спал.

Кровавые трещины на подошвах ног уже не были такими болезненными, как раньше. Цинготные язвы на но-

гах еще не зажили и требовали повязок, но ран оставалось все меньше и меньше — их место занимали сине-черные пятна, похожие на тавро, на клеймо рабовладельца, торговца неграми. Не заживали только большие пальцы обеих ног — там отморожениехватило и костный мозг, оттуда понемногу вытекал гной. Конечно, гноя было гораздо меньше, чем раньше, на прииске, где гной и кровь так натекали в резиновую галошу-чуню, летнюю обувь заключенных, что нога хлюпала при каждом шаге, как будто в луже.

Много еще лет пройдет, пока пальцы эти заживут у Андреева. Много лет после заживления будут напоминать они о северном прииске ноющей болью при малейшем холоде. Но Андреев не думал о будущем. Он, выученный на прииске не рассчитывать жизнь дальше чем на день вперед, старался бороться за близкое, как делает всякий человек на близком расстоянии от смерти. Сейчас он хотел одного — чтобы тифозный карантин длился бесконечно. Но этого не могло быть, и пришел день, когда карантин кончился.

Этим утром всех жителей секции выгнали на двор. Не один час заключенные молча толклись за проволочной изгородью, мерзли. Нарядчик, стоя на бочке, хриплым, отчаянным голосом выкрикивал фамилии. Вызванные выходили в калитку — безвозвратно. На шоссе гудели грузовики, гудели так громко в морозном утреннем воздухе, что мешали нарядчику.

«Только бы не вызвали, только бы не вызвали», — детским заклинанием умолял судьбу Андреев. Нет, ему не будет удачи. Если даже не вызовут сегодня, то вызовут завтра. Он поедет опять в золотые забои, на голод, побои и смерть. Заныли отмороженные пальцы рук и ног, заныли уши, щеки. Андреев переступал с ноги на ногу все чаще и чаще, согнувшись и дыша в сложенные трубочкой пальцы, но онемевшие ноги и больные руки не так просто было согреть. Все бесполезно. Он бессилен в борьбе с этой исполинской машиной, зубья которой перемалывали его тело.

— Воронов! Воронов! — надрывался нарядчик. — Воронов! Здесь ведь, сука!.. — И нарядчик злобно швырнул тоненькую желтую папку «дела» на бочку и придавил «дело» ногой.

И тогда Андреев все понял сразу. Это был грозовой молниеносный свет, указавший дорогу к спасению. И сейчас же, разгорячившись от волнения, он осмелел и двинулся вперед, к нарядчику. Тот называл фамилию за фамилией, люди уходили со двора один за другим. Но толпа была еще велика. Вот сейчас, сейчас...

— Андреев! — крикнул нарядчик.

Андреев молчал, разглядывая бритые щеки нарядчика. После созерцания щек взгляд его перешел на папки «дел». Их было совсем немного.

«Последняя машина», — подумал Андреев.

Нарядчик подержал андреевскую папку в руке и, не повторяя вызова, отложил в сторону, на бочку.

— Сычев! Обзывайся — имя и отчество!

— Владимир Иванович, — ответил по всем правилам какой-то пожилой арестант и растолкал толпу.

— Статья? Срок? Выходи!

Еще несколько человек откликнулись на вызов, ушли. И за ними ушел нарядчик. Заключенных вернули в секцию.

Кашель, топот, выкрики сгладились, растворились в многоголосом говоре сотен людей.

Андреев хотел жить. Две простые цели поставил он перед собой и положил добиваться их. Было необыкновенно ясно, что здесь надо продержаться как можно дольше, до последнего дня. Постараться не делать ошибок, держать себя в руках... Золото — смерть. Никто лучше Андреева в этой транзитке не знает этого. Надо во что бы то ни стало избежать тайги, золотых забоев. Как этого может добиться он, бесправный раб Андреев? А вот как. Тайга за время карантина обезлюдела — холод, голод, тяжелая многочасовая работа и бессонница лишили тайгу людей. Значит, в первую очередь из карантина будут отправлять машины в «золотые» управления, и только тогда, когда заказ приисков на людей («Пришлите две сотни деревьев», как пишут в служебных телеграммах) будет выполнен, — только тогда будут отправлять не в тайгу, не на золото. А куда — это Андрееву все равно. Лишь бы не на золото.

Обо всем этом Андреев не сказал никому ни слова. Ни с кем он не советовался, ни с Огневым; ни с Парфентьевым, приисковым товарищем, ни с одним из этой тысячи людей, что лежали с ним вместе на нарах. Ибо он знал: каждый, кому он расскажет свой план, выдаст его начальству — за похвалу, за махорочный окурочок, просто так...

Он знал, что такое тяжесть тайны, секрет, и мог его сбегать. Только в этом случае он не боялся. Одному было легче, вдвое, втрое, вчетверо легче проскочить сквозь зубья машины. Его игра была его игрой — этому тоже он был хорошо выучен на прииске.

Много дней Андреев не отзывался. Как только карантин кончился, заключенных стали гонять на работы, и на выходе надо было словчить так, чтобы не попасть в большие партии — тех водили обычно на земляные работы с ломом, кайлом и лопатой; в маленьких же партиях по два-три человека была всегда надежда заработать лишний кусок хлеба или даже сахару — более полутора лет Андреев не видел сахару. Этот расчет был немудрен и совершенно правилен. Все эти работы были, конечно, незаконными: заключенных числили на этапе, и находилось много желающих пользоваться бесплатным трудом. Те, кто попадал на земляные работы, ходили туда из расчета где-либо выпросить табаку, хлеба. Это удавалось, даже у прохожих. Андреев ходил в овощехранилище, где вволю ел свеклу и морковь, и приносил «домой» несколько сырых картофелин, которые жарил в золе печи и полусырыми вытаскивал и съедал, — жизнь здешняя требовала, чтоб все пищевые отправления производились быстро, — слишком много было голодных вокруг.

Начались дни почти осмысленные, наполненные какой-то деятельностью. Ежедневно с утра приходилось простаивать часа два на морозе. И нарядчик кричал: «Эй, вы, обзывайся, имя и отчество». И когда ежедневная жертва молоху была закончена, все, топоча, бежали в барак — оттуда выводили на работу. Андреев побывал на хлебозаводе, носил мусор на женской пересылке, мыл полы в отряде охраны, где в полутемной столовой собирал с оставшихся тарелок липкие и вкусные мясные остатки с командирских столов. После работы на кухню выносили большие тазы, полные сладкого киселя, горы хлеба, и все садились вокруг, ели и набивали хлебом карманы.

Только один раз расчет Андреева оказался неверным. Чем меньше группа — тем лучше: вот была его заповедь. А всего лучше — одному. Но одного редко куда-либо брали. Однажды нарядчик, уже запомнивший Андреева в лицо (он знал его как Муравьева), сказал:

— Я тебе такую работу нашел, век будешь помнить. Дрова пилить к высокому начальству. Вдвоем с кем-нибудь пойдешь.

Они весело бежали впереди провожатого в кавалерийской шинели. Тот в сапогах скользил, оступался, прыгал через лужи и потом догонял их бегом, придерживая полы шинели обеими руками. Вскоре они подошли к небольшому дому с запертой калиткой и колючей проволокой поверх забора. Провожатый постучал. Во дворе залаяла собака. Им отпер дневальный начальника, молча отвел их в сарай, закрыл их там и выпустил на двор огромную овчарку. Принес ведро воды. И пока арестанты не перепилили и не перекололи всех дров в сарае, собака держала их взаперти. Поздно вечером их увели в лагерь. На следующий день их посылали туда же, но Андреев спрятался под нары и вовсе не ходил на работу в этот день.

На другой день утром перед раздачей хлеба ему пришла в голову одна простая мысль, которую Андреев сразу же осуществил.

Он снял бурки со своих ног и положил их на край нары одна на другую подошвами наружу — так, как если бы он сам лежал в бурках на нарах. Рядом он лег на живот и голову опустил на локоть руки.

Раздатчик быстро сосчитал очередной десяток и выдал Андрееву десять порций хлеба. У Андреева осталось две порции. Но такой способ был ненадежен, случаен, и Андреев вновь стал искать работу вне барака...

Думал ли он тогда о семье? Нет. О свободе? Нет. Читал ли он на память стихи? Нет. Вспоминал ли прошлое? Нет. Он жил только равнодушной злобой. Именно в это время он встретил капитана Шнайдера.

Блатные занимали место поближе к печке. Нары были застланы грязными ватными одеялами, покрыты множеством пуховых подушек разного размера. Ватное одеяло — неперемный спутник удачливого вора, единственная вещь, которую вор таскает с собой по тюрьмам и лагерям, ворует ее, отнимает, когда не имеет, а подушка — подушка не только подголовник, но и ломберный столик во время бесконечных карточных сражений. Этому столику можно придать любую форму. И все же он — подушка. Картежники раньше проигрывают брюки, чем подушку.

На одеялах и подушках располагались главари, вернее, те, кто на сей момент был вроде главарей. Еще выше, на третьих нарах, где было темно, лежали еще одеяла и подушки: туда затаскивали каких-то женоподобных молодых воришек, да и не только воришек — педерастом был чуть не каждый вор.

Воров окружала толпа холопов и лакеев — придворные рассказчики, ибо блатные считают хорошим тоном интересоваться «рómанами»; придворные парикмахеры с флакончиком духов есть даже в этих условиях, и еще толпа служащих, готовых на что угодно, лишь бы им отломали корочку хлеба или налили супчику.

— Тише! Сенечка говорит что-то. Тише, Сенечка ложится спать...

Знакомая приисковая картина.

Вдруг среди толпы попрошаек, вечной свиты блатарей, Андреев увидел знакомое лицо, знакомые черты лица, услышал знакомый голос. Сомнения не было — это был капитан Шнайдер, товарищ Андреева по Бутырской тюрьме.

Капитан Шнайдер был немецкий коммунист, коминтерновский деятель, прекрасно владевший русским языком, знаток Гете, образованный теоретик-марксист. В памяти Андреева остались беседы с ним, беседы «высокого давления» долгими тюремными ночами. Весельчак от природы, бывший капитан дальнего плавания поддерживал боевой дух тюремной камеры.

Андреев не верил своим глазам.

— Шнайдер!

— Да? Что тебе? — обернулся капитан. Взгляд его тусклых голубых глаз не узнавал Андреева.

— Шнайдер!

— Ну, что тебе? Тише! Сенечка проснется.

Но уже край одеяла приподнялся, и бледное, нездоровое лицо высунулось на свет.

— А, капитан, — томно зазвенел тенор Сенечки. — Заснуть не могу, тебя не было.

— Сейчас, сейчас, — засуетился Шнайдер.

Он влез на нары, отогнул одеяло, сел, засунул руку под одеяло и стал чесать пятки Сенечке.

Андреев медленно шел к своему месту. Жить ему не хотелось. И хотя это было небольшое и нестрашное событие по сравнению с тем, что он видел и что ему предстояло увидеть, он запомнил капитана Шнайдера навек.

А людей становилось все меньше. Транзитка пустела. Андреев столкнулся лицом к лицу с рядчиком.

— Как твоя фамилия?

Но Андреев уже давно подготовил себя к такому.

— Гуков, — сказал он смиренно.

— Подожди!

Нарядчик полистал папиросную бумагу списков.

— Нет, нету.

— Можно идти?

— Иди, скотина,— проревел нарядчик.

Однажды он попал на уборку и мытье посуды в столовую пересылки уезжающих освобожденных, окончивших срок наказания людей. Его партнером был изможденный фитиль, доходяга неопределенного возраста, только что выпущенный из местной тюрьмы. Это был первый выход доходяги на работу. Он все спрашивал — что они будут делать, покормят ли их и удобно ли попросить что-нибудь съестное хоть немного раньше работы. Доходяга рассказал, что он профессор-невропатолог, и фамилию его Андреев помнил.

Андреев по опыту знал, что лагерные повара, да и не только повара не любят Иван Ивановичей, как презрительно называли они интеллигенцию. Он посоветовал профессору ничего заранее не просить и грустно подумал, что главная работа по мытью и уборке достанется на его, андреевскую, долю — профессор был слишком слаб. Это было правильно, и обижаться не приходилось — сколько раз на прииске Андреев был плохим, слабым напарником для своих тогдашних товарищей, и никто никогда не говорил ни слова. Где они все? Где Шейнин, Рютин, Хвостов? Все умерли, а он, Андреев, ожил. Впрочем, он еще не ожил и вряд ли оживет. Но он будет бороться за жизнь.

Предположения Андреева оказались правильными — профессор действительно оказался слабым, хотя и суетливым помощником.

Работа была кончена, и повар посадил их на кухне и поставил перед ними огромный бачок густого рыбного супа и большую железную тарелку с кашей. Профессор всплеснул руками от радости, но Андреев, выдавший на прииске, как один человек съедает по двадцать порций обеда из трех блюд с хлебом, покосился на предложенное угощение неодобрительно.

— Без хлеба, что ли? — спросил Андреев хмуро.

— Ну, как без хлеба, дам понемножку. — И повар вынул из шкафа два ломтя хлеба.

С угощением было быстро покончено. В таких «гостях» предусмотрительный Андреев всегда ел без хлеба.



И сейчас он положил хлеб в карман. Профессор же отламывал хлеб, глотал суп, жевал, и крупные капли грязного пота выступали на его стриженной седой голове.

— Вот вам еще по рублю,— сказал повар.— Хлеба у меня нынче нет.

Это была превосходная плата.

На пересылке была лавчонка, ларек, где можно было купить вольнонаемным хлеб. Андреев сказал об этом профессору.

— Да-да, вы правы,— сказал профессор.— Но я видел: там торгуют сладким квасом. Или это лимонад? Мне очень хочется лимонаду, вообще чего-нибудь сладкого.

— Дело ваше, профессор. Только я бы в вашем положении лучше хлеба купил.

— Да-да, вы правы,— повторил профессор,— но очень хочется сладкого. Выпейте и вы.

Но Андреев наотрез отказался от кваса.

В конце концов Андреев добился одиночной работы — стал мыть полы в конторе пересыльной хозчасти. Каждый вечер за ним приходил дневальный, чьей обязанностью и было поддерживать контору в чистоте. Это были две крошечные комнатки, заставленные столами, метра четыре квадратных каждая. Полы были крашенные. Это была пустая десятиминутная работа, и Андреев не сразу понял, почему дневальный нанимает рабочего для такой уборки. Ведь даже воду для мытья дневальный приносил через весь лагерь сам, чистые тряпки тоже были всегда приготовлены раньше. А плата была щедрая — махорка, суп и каша, хлеб и сахар. Дневальный обещал дать Андрееву даже легкий пиджак, но не успел.

Очевидно, дневальному казалось зазорным мыть самому полы — хотя бы и пять минут в день, когда он в силах нанять себе работягу. Это свойство, присущее русским людям, Андреев наблюдал и на прииске. Даст начальник на уборку барака дневальному горсть махорки: половину махорки дневальный высыплет в свой кисет, а за половину наймет дневального из барака пятьдесят восьмой статьи. Тот, в свою очередь, переполовинит махорку и наймет работягу из своего барака за две папиросы махорочных. И вот работяга, отработав двенадцать — четырнадцать часов в смену, моет полы ночью за эти две папиросы. И еще считает за счастье — ведь на табак он выменяет хлеб.

Валютные вопросы — самая сложная теоретическая область экономики. И в лагере валютные вопросы сло-

жны, эталоны удивительны: чай, табак, хлеб — вот под-  
дающиеся курсу ценности.

Дневальный хозчасти платил Андрееву иногда талона-  
ми в кухню. Это были куски картона с печатью, вроде же-  
тонов — десять обедов, пять вторых блюд и т. п. Так, дне-  
вальный дал Андрееву жетон на двадцать порций каши,  
и эти двадцать порций не покрыли дна жестяного та-  
зика.

Андреев видел, как блатные совали вместо жетонов  
в окошечко сложенные жетонообразно ярко-оранжевые  
тридцатирублевки. Это действовало без отказа. Тазик на-  
полняется кашей, высакивая из окошечка в ответ на «же-  
тон».

Людей на транзитке становилось все меньше и мень-  
ше. Настал наконец день, когда после отправки последней  
машины на дворе осталось всего десятка три человек.

На этот раз их не отпустили в барак, а построили и по-  
вели через весь лагерь.

— Все же не расстреливать ведь нас ведут, — сказал  
шагавший рядом с Андреевым огромный большерукий  
одноглазый человек.

Именно это — не расстреливать же — подумал и Анд-  
реев. Всех привели к нарядчику в отдел учета.

— Будем вам пальцы печатать, — сказал нарядчик,  
выходя на крыльцо.

— Ну, если пальцы, то можно и без пальцев, — весело  
сказал одноглазый. — Моя фамилия Филипповский Георг-  
ий Адамович.

— А твоя?

— Андреев Павел Иванович.

Нарядчик отыскал личные дела.

— Давненько мы вас ищем, — сказал он беззлобно. —  
Идите в барак, я потом вам скажу, куда вас назначат.

Андреев знал, что он выиграл битву за жизнь. Просто  
не могло быть, чтоб тайга еще не насытилась людьми.  
Отправки если и будут, то на ближние, на местные коман-  
дировки. Или в самом городе — это еще лучше. Далеко  
отправить не могут — не только потому, что у Андреева  
«легкий физический труд». Андреев знал практику внезап-  
ных перекомиссовок. Не могут отправить далеко, потому  
что наряды тайги уже выполнены. И только ближние ко-  
мандировки, где жизнь легче, проще, сытнее, где нет золо-  
тых забоев, а значит, есть надежда на спасение, ждут  
своей, последней очереди. Андреев выстрадал это своей  
двухлетней работой на прииске. Своим звериным наприя-

жением в эти карантинные месяцы. Слишком много было сделано. Надежды должны сбыться во что бы то ни стало.

Ждать пришлось всего одну ночь.

После завтрака нарядчик влетел в барак со списком, с маленьким списком, как сразу облегченно отметил Андреев. Присковые списки были по двадцать пять человек на автомашину, и таких бумажек было всегда несколько.

Андреева и Филипповского вызвали по этому списку; в списке было людей больше — немного, но не две и не три фамилии.

Вызванных повели к знакомой двери учетной части. Там стояло еще три человека — седой, важный, неторопливый старик в хорошем овчинном полушубке и в валенках и грязный вертлявый человек в ватной телогрейке, брюках и резиновых галошах с портянками на ногах. Третий был благообразный старик, глядящий себе под ноги. Поодаль стоял человек в военной бекеше, в кубанке.

— Вот все, — сказал нарядчик. — Подойдут?

Человек в бекеше поманил пальцем старика.

— Ты кто?

— Изгибин Юрий Иванович, статья пятьдесят восьмая. Срок двадцать пять лет, — бойко отрапортовал старик.

— Нет, нет, — поморщилась бекеша. — По специальности ты кто? Я ваши установочные данные найду без вас...

— Печник, гражданин начальник.»

— А еще?

— По жестяному могу.

— Очень хорошо. Ты? — Начальник перевел взор на Филипповского.

Одноглазый великан рассказал, что он кочегар с паровоза из Каменец-Подольска.

— А ты?

Благообразный старик пробормотал неожиданно несколько слов по-немецки.

— Что это? — сказала бекеша с интересом.

— Вы не беспокойтесь, — сказал нарядчик. — Это столяр, хороший столяр Фризоргер. Он немножко не в себе. Но он опомнится.

— А по-немецки-то зачем?

— Он из-под Саратова, из автономной республики...

— А-а-а... А ты? — Это был вопрос Андрееву.

«Ему нужны специалисты и вообще рабочий народ, — подумал Андреев. — Я буду кожевником».

— Дубильщик, гражданин начальник.

— Очень хорошо. А лет сколько?

— Тридцать один.

Начальник покачал головой. Но так как он был человек опытный и видывал воскрешение из мертвых, он промолчал и перевел глаза на пятого.

Пятый, вертлявый человек, оказался ни много ни мало как деятелем общества эсперантистов.

— Я, понимаете, вообще-то агроном, по образованию агроном, даже лекции читал, а дело у меня, значит, по эсперантистам.

— Шпионаж, что ли?— равнодушно сказала бекеша.

— Вот-вот, вроде этого,— подтвердил вертлявый человек.

— Ну как?— спросил нарядчик.

— Беру,— сказал начальник.— Все равно лучших не найдешь. Выбор нынче небогат.

Всех пятерых повели в отдельную камеру— комнату при бараке. Но в списке было еще две-три фамилии— это Андреев заметил очень хорошо. Пришел нарядчик.

— Куда мы едем?

— На местную командировку, куда же еще,— сказал нарядчик.— А это ваш начальник будет. Через час и отправим. Три месяца припухали тут, друзья, пора и честь знать.

Через час их вызвали, только не к машине, а в кладовую. «Очевидно, заменять обмундирование»,— думал Андреев. Ведь весна на носу— апрель. Выдадут летнее, а это, зимнее, ненавистное, присковое, он сдаст, бросит, забудет. Но вместо летнего обмундирования им выдали зимнее. По ошибке? Нет— на списке была метка красным карандашом: «Зимнее».

Ничего не понимая, в весенний день они оделись во второсрочные телогрейки и бушлаты, в старые, чиненные валенки. И, прыгая кое-как через лужи, в тревоге добрались до барачной комнаты, откуда они пришли на склад.

Все были встревожены чрезвычайно, и все молчали, и только Фризоргер что-то лопотал и лопотал по-немецки.

— Это он молитвы читает, мать его...— шепнул Филипповский Андрееву.

— Ну, кто тут что знает?— спросил Андреев.

Седой, похожий на профессора печник перечислил все ближние командировки: порт, четвертый километр, семнадцатый километр, двадцать третий, сорок седьмой...

Дальше начинались участки дорожных управлений — места немногим лучше золотых приисков.

— Выходи! Шагай к воротам!

Все вышли и пошли к воротам пересылки. За воротами стоял большой грузовик, закрытый зеленой парусиной.

— Конвой, принимай!

Конвоир сделал переключку. Андреев чувствовал, как холодеют у него ноги, спина...

— Садись в машину!

Конвоир откинул край большого брезента, закрывавшего машину, — машина была полна людей, сидевших по всей форме.

— Полежай!

Все пятеро сели вместе. Все молчали. Конвоир сел в машину, затарахтел мотор, и машина двинулась по шоссе, выезжая на главную трассу.

— На четвертый километр везут, — сказал печник.

Верстовые столбы уплывали мимо. Все пятеро сдвинули головы около щели в брезенте, не верили глазам...

— Семнадцатый...

— Двадцать третий... — считал Филипповский.

— На местную, сволочи! — злобно прохрипел печник.

Машина давно уже вертелась витой дорогой между скал. Шоссе было похоже на канат, которым тащили море к небу. Тащили горы-бурлаки, согнув спину.

— Сорок седьмой, — безнадежно пискнул вертлявый эсперантист.

Машина пролетела мимо.

— Куда мы едем? — спросил Андреев, ухватив чье-то плечо.

— На Атке, на двести восьмом будем ночевать.

— А дальше?

— Не знаю... Дай закурить.

Грузовик, тяжело пыхтя, взбирался на перевал Яблонового хребта.

# ЛЕВЫЙ БЕРЕГ

*И. П. Сиротинской*

*Ире — мое бесконечное  
воспоминание,  
заторможенное в книжке  
«Левый берег»*



---

---

## ПРОКУРАТОР ИУДЕИ

Пятого декабря тысяча девятьсот сорок седьмого года в бухту Нагаево вошел пароход «КИМ» с человеческим грузом. Рейс был последний, навигация кончилась. Сорокаградусными морозами встречал гостей Магадан. Впрочем, на пароходе были привезены не гости, а истинные хозяева этой земли — заключенные.

Все начальство города, военное и штатское, было в порту. Все бывшие в городе грузовики встречали в Нагаевском порту пришедший пароход «КИМ». Солдаты, кадровые войска окружили мол, и выгрузка началась.

За пятьсот километров от бухты все свободные приисковые машины двинулись к Магадану порожняком, подчиняясь зову селектора.

Мертвых бросали на берегу и возили на кладбище, складывали в братские могилы, не привязывая бирок, а составив только акт о необходимости эксгумации в будущем.

Наиболее тяжелых, но еще живых — развозили по больницам для заключенных в Магадане, Оле, Армани, Дукче.

Больных в состоянии средней тяжести везли в центральную больницу для заключенных — на левый берег Колымы. Больница туда только что переехала с двадцать третьего километра. Приди бы пароход «КИМ» годом раньше — ехать за пятьсот километров не пришлось бы.

Заведующий хирургическим отделением Кубанцев, только что из армии, с фронта, был потрясен зрелищем этих людей, этих страшных ран, которые Кубанцеву в жизни не

были ведомы и не снились никогда. В каждой приехавшей из Магадана машине были трупы умерших в пути. Хирург понимал, что это легкие, транспортабельные, те, что полегче, а самых тяжелых оставляют на месте.

Хирург повторял слова генерала Риджуэя, которые где-то сразу после войны удалось ему прочитать: «Фронтовой опыт солдата не может подготовить человека к зрелищу смерти в лагерях».

Кубанцев терял хладнокровие. Не знал, что приказать, с чего начать. Колыма обрушила на фронтowego хирурга слишком большой груз. Но надо было что-то делать. Санитары снимали больных с машин, несли на носилках в хирургическое отделение. В хирургическом отделении носилки стояли по всем коридорам тесно. Запахи мы запоминаем, как стихи, как человеческие лица. Запах этого первого лагерного гноя навсегда остался во вкусовой памяти Кубанцева. Всю жизнь он вспоминал потом этот запах. Казалось бы, гной пахнет везде одинаково и смерть везде одинакова. Так нет. Всю жизнь Кубанцеву казалось, что это пахнут раны тех первых его больных на Колыме.

Кубанцев курил, курил и чувствовал, что теряет выдержку, не знает, что приказать санитарам, фельдшерам, врачам.

— Алексей Алексеевич,— услышал Кубанцев голос рядом. Это был Браудэ, хирург из заключенных, бывший заведующий этим же самым отделением, только что смещенный с должности приказом высшего начальства только потому, что Браудэ был бывшим заключенным, да еще с немецкой фамилией.— Разрешите мне командовать. Я все это знаю. Я здесь десять лет.

Взволнованный Кубанцев уступил место командиру, и работа завертелась. Три хирурга начали операции одновременно — фельдшера вымыли руки, как ассистенты. Другие фельдшера делали уколы, наливали сердечные лекарства.

— Ампутации, только ампутации, — бормотал Браудэ. Он любил хирургию, страдал, по его собственным словам, если в его жизни выдавался день без единой операции, без единого разреза.— Сейчас скучать не придется,— радовался Браудэ.— А Кубанцев хоть и парень неплохой, а растерялся. Фронтовой хирург! У них там все инструкции, схемы, приказы, а вот вам живая жизнь, Колыма!



Но Браудэ был незлой человек. Снятый без всякого повода со своей должности, он не возненавидел своего преемника, не делал ему гадости. Напротив, Браудэ видел растерянность Кубанцева, чувствовал его глубокую благодарность. Как-никак у человека семья, жена, сын-школьник. Офицерский полярный паек, высокая ставка, длинный рубль. А что у Браудэ? Десять лет срока за плечами, очень сомнительное будущее. Браудэ был из Саратова, ученик знаменитого Краузе и сам обещал очень много. Но тридцать седьмой год вдребезги разбил всю судьбу Браудэ. Так Кубанцеву ли он будет мстить за свои неудачи...

И Браудэ командовал, резал, ругался. Браудэ жил, забывая себя, и хоть в минуты раздумья часто ругал себя за эту презренную забывчивость — переделать себя он не мог.

Сегодня решил: «Уйду из больницы. Уеду на материк».

...Пятого декабря тысяча девятьсот сорок седьмого года в бухту Нагаево вошел пароход «КИМ» с человеческим грузом — тремя тысячами заключенных. В пути заключенные подняли бунт, и начальство приняло решение залить все трюмы водой. Все это было сделано при сорокаградусном морозе. Что такое отморожение третьей-четвертой степени, как говорил Браудэ, — или обморожение, как выражался Кубанцев, — Кубанцеву дано было знать в первый день его колымской службы ради выслуги лет.

Все это надо было забыть, и Кубанцев, дисциплинированный и волевой человек, так и сделал. Заставил себя забыть.

Через семнадцать лет Кубанцев вспоминал имя, отчество каждого фельдшера из заключенных, каждую медсестру, вспоминал, кто с кем из заключенных «жил», имея в виду лагерные романы. Вспомнил подробный чин каждого начальника из тех, что поподлее. Одного только не вспомнил Кубанцев — парохода «КИМ» с тремя тысячами обмороженных заключенных.

У Анатоля Франса есть рассказ «Прокуратор Иудеи». Там Понтий Пилат не может через семнадцать лет вспомнить Христа.

## ПРОКАЖЕННЫЕ

Сразу после войны на моих глазах в больнице была сыграна еще одна драма — вернее, развязка драмы.

Война подняла со дна жизни и вынесла на свет такие пласты, такие куски жизни, которые всегда и везде скрывались от яркого солнечного света. Это — не уголовица и не подпольные кружки. Это — совсем другое.

Во время военных действий были сломаны лепрозории, и прокаженные смешались с населением. Тайная ли это или явная война? Химическая или бактериологическая?

Пораженные проказой легко выдавали себя за раненых, за увечных во время войны. Прокаженные смешались с бегущими на восток, вернулись в настоящую, хоть и страшную жизнь, где их принимали за жертв войны, за героев, быть может.

Прокаженные жили, работали. Надо было кончиться войне, чтобы о прокаженных вспомнили врачи, и страшные картотеки лепрозориев стали пополняться снова.

Прокаженные жили среди людей, разделяя отступление, наступление, радость или горечь победы. Прокаженные работали на фабриках, на земле. Становились начальниками и подчиненными. Солдатами они только не становились никогда — мешали культи пальцев, похожие, неотличимые от военных травм. Прокаженные и выдавали себя за увечных войны — единицы среди миллионов.

Сергей Федоренко был заведующим складом. Инвалид войны, он ловко справлялся со своими непослушными обрубками пальцев и хорошо выполнял свое дело. Его ждали карьера, партбилет, но, добравшись до денег, Федоренко начал пить, гулять, был арестован, судим и приплыл с одним из рейсов колымских кораблей в Магадан, как осужденный на десять лет по бытовой статье.

Здесь Федоренко переменял свой диагноз. Хотя и здесь хватало увечных, саморубов, например. Но было выгоднее, моднее, незаметнее раствориться в море отморожений.

Вот так я его и встретил в больнице — последствия отморожения третьей-четвертой степени, незаживающая рана, культя стопы, культя пальцев обеих кистей.

Федоренко лечился. Лечение не давало результатов. Но ведь всякий больной боролся с лечением, как мог

и умел. Федоренко после многих месяцев трофических язв выписался, и, желая задержаться в больнице, Федоренко стал санитаром, попал старшим санитаром в хирургическое отделение мест на триста. Больница эта была больница центральная, на тысячу коек только заключенных. В пристройке на одном из этажей была больница для вольнонаемных.

Случилось так, что врач, который вел историю болезни Федоренко, заболел и вместо него «записывать» стал доктор Красинский, старый военный врач, любитель Жюля Верна (почему?), человек, в ком колымская жизнь не отбила желанья поболтать, побеседовать, обсудить.

Осматривая Федоренко, Красинский был поражен чем-то — он и сам не знал чем. Со студенческих лет поднималась эта тревога. Нет, это не трофическая язва, не обрубок от взрыва, от топора. Это медленно разрушающаяся ткань. Сердце Красинского застучало. Он вызвал Федоренко еще раз и потащил его к окну, к свету, жадно вглядываясь в лицо, сам себе не веря. Это — лепра! Это — львиная маска. Человеческое лицо, похожее на морду льва. Красинский лихорадочно листал учебники. Взял большую иглу и несколько раз уколол белое пятнышко, которых было немало на коже Федоренко. Никакой боли! Обливаясь потом, Красинский написал рапорт по начальству. Больной Федоренко был изолирован в отдельную палату, кусочки кожи для биопсии были отправлены в центр, в Магадан, а оттуда — в Москву. Ответ пришел недели через две. Лепра! Красинский ходил именинником. Начальство переписывалось с начальством о выписке наряда в Колымский лепрозорий. Там лепрозорий на острове расположен, а на обоих берегах стоят наведенные на переправу пулеметы. Наряд, нужен был наряд.

Федоренко не отрицал, что он был в лепрозории и что прокаженные, предоставленные сами себе, бежали на волю. Одни — догонять отступавших, другие — встречать гитлеровцев. Так, как и в жизни. Федоренко ждал отправки спокойно, но бушевала больница. Вся больница. И те, которых избивали на допросах и чья душа была превращена в прах тысячами допросов, а тело изломано, измучено непосильной работой — со сроками двадцать пять и пять — сроками, которые нельзя было прожить, выжить, остаться в живых... Все трепетали, кричали, проклинали Федоренко, боялись проказы.

Это тот же самый психический феномен, который заставляет беглеца отложить хорошо подготовленный по-

бег потому, что в лагере в этот день дают табак — или «ларек». Сколько есть лагерей — столько есть таких странных примеров, далеких от логики.

Человеческий стыд, например. Где его границы и мера? Люди, у которых погибла жизнь, растоптаны будущее и прошлое, вдруг оказывались во власти какого-то пустячного предрассудка, какой-то чепухи, которую люди не могут почему-то переступить, не могут почему-то отвергнуть. И это внезапное проявление стыда возникает как тончайшее человеческое чувство и вспоминается потом всю жизнь как что-то настоящее, как что-то бесконечно дорогое. В больнице был случай, когда фельдшеру, который не был еще фельдшером, а просто помогал, — поручили брить женщин, брить женский этап. Развлекающееся начальство приказало женщинам брить мужчин, а мужчинам — женщин. Каждый развлекается как умеет. Но парикмахер-мужчина умолял свою знакомую сделать этот обряд санобработки самой и никак не хотел подумывать, что ведь загублена жизнь; что все эти развлечения лагерного начальства — это все лишь грязная накипь на этом страшном котле, где намертво варится его собственная жизнь.

Это человеческое, смешное, нежное обнаруживается в людях внезапно.

В больнице была паника. Ведь Федоренко работал несколько месяцев там. Увы, продромальный период заболевания, до появления внешних признаков болезни, у проказы продолжается несколько лет. Мнительные были обречены сохранить страх в своей душе навеки, вольные и заключенные — все равно.

Паника была в больнице. Врачи лихорадочно искали у больных и у персонала эти белые нечувствительные пятнышки. Иголка стала вместе с фонендоскопом и молоточком неотделимой принадлежностью врача для первичного осмотра.

Больного Федоренко приводили и раздевали перед фельдшерами, врачами. Надзиратель с пистолетом стоял поодаль больного. Доктор Красинский, вооруженный огромной указкой, рассказывал о лепре, протягивая палку то к львиному лицу бывшего санитаря, то к его отваливающимся пальцам, то к блестящим белым пятнам на его спине.

Пересмотрены были буквально все жители больницы, вольные и заключенные, и вдруг белое пятнышко, нечувствительное белое пятнышко, оказалось на спине Шуры

Лещинской, фронтовой сестры — ныне дежурной женского отделения. Лещинская в больнице была недавно, несколько месяцев. Никакой львиной маски. Вела Лещинская себя не строже и не снисходительней, не громче и не развязней, чем любая больничная сестра из заключенных.

Лещинская была заперта в одной из палат женского отделения, а кусочек ее кожи увезен в Магадан, в Москву на анализ. И ответ пришел: лепра!

Дезинфекция после проказы — трудное дело. Полагается сжигать домик, в котором жил прокаженный. Так велят учебники. Но сжечь, выжечь одну из палат огромного двухэтажного дома, дома-гиганта! На это никто не решался. Подобно тому, как при дезинфекции дорогих меховых вещей идут на риск, оставляя заразу, но сохраняя пушное богатство — лишь символически побрызгав на драгоценные меха, — ибо от «жарилки», от высокой температуры, погибнут не только микробы, погибнут и сами вещи. Начальство молчало бы даже в случае чумы или холеры.

Кто-то взял на себя ответственность не сжигать. Палату, в которой был заперт Федоренко, ожидавший отправки в лепрозорий, тоже не сжигали. А просто залили все фенолом, карболкой, опрыскивали многократно.

Сейчас же появилась новая важная тревога. И Федоренко и Лещинская каждый занимали по большой палате на несколько коек.

Ответ и наряд — наряд на двух человек, конвой на двух человек все еще не приходил, не приезжал, как ни напоминало начальство в своих ежедневных, вернее, еженочных телефонограммах в Магадан.

Внизу, в подвале, было выгорожено помещение и построены две маленькие камеры для арестантов-прокаженных. Туда перевели Федоренко и Лещинскую. Запертые на тяжелый замок, с конвоем, прокаженные были оставлены ждать приказа, наряда в лепрозорий, конвоя.

Сутки прожили в своих камерах Федоренко и Лещинская, а через сутки смена часовых нашла камеры пустыми.

В больнице началась паника. Все в камерах было на месте, окна и двери.

Красинский догадался первый. Они ушли через пол.

Силач Федоренко разобрал бревна, вышел в коридор, ограбил хлебрезку, операционную хирургического отде-

ления и, собрав весь спирт, все настойки из шкафчика, все «кодеинчики», уволок добычу в подземную нору.

Прокаженные выбрали место, выгородили ложе, набросали на него одеял, матрасов, загородились бревнами от мира, конвоя, больницы, лепрозория и прожили вместе, как муж и жена, несколько дней, три дня, кажется.

На третий день и сыскные люди, и сыскные собаки охраны нашли прокаженных. Я тоже шел в этой группе, чуть [согнувшись], по высокому подвалу больницы. Фундамент там был очень высокий. Разобрали бревна. В глубине, не вставая, лежали обнаженные оба прокаженных. Изуродованные темные руки Федоренко обнимали белое блестящее тело Лещинской. Оба были пьяны.

Их закрыли одеялами и унесли в одну из камер, не разлучая больше.

Кто же закрывал их одеялом, кто прикасался к этим страшным телам? Особый санитар, которого нашли в больнице для obsługi, давая (с разъяснения высшего начальства) по семь дней зачета за один рабочий день. Выше, стало быть, чем на вольфраме, на олове, на уране. Семь дней за день. Статья тут не имела на этот раз значения. Найден был фронтовик, сидевший за измену родине, имевший двадцать пять и пять и наивно полагавший, что своим геройством уменьшит срок, приблизит день возвращения на свободу.

Заключенный Корольков — лейтенант с войны — дежурил у камеры круглосуточно. У дверей камеры и спал. А когда приехал конвоем с острова, заключенного Королькова взяли вместе с прокаженными, как obsług. Больше я ничего никогда не слышал ни о Королькове, ни о Федоренко, ни о Лещинской.

1963

## В ПРИЕМНОМ ПОКОЕ

- Этап с Золотистого!
- Чей прииск?
- Сучий.
- Вызывай бойцов на обыск. Не справишься ведь сам.
- А бойцы прохлопают. Кадры.
- Не прохлопают. Я постою в дверях.

— Ну, разве так.

Этап, грязный, пыльный, сгружался. Это был этап «со значением» — слишком много широкоплечих, слишком много повязок, процент хирургических больных чересчур велик для этапа с прииска.

Вошел дежурный врач, Клавдия Ивановна, вольнонаемная женщина.

— Начнем?

— Подождем, пока придут бойцы для обыска.

— Новый порядок?

— Да. Новый порядок. Сейчас вы увидите, в чем дело, Клавдия Ивановна.

— Проходи на середину — вот ты, с костылями. Документы!

Нарядчик подал документы — направление в больницу. Личные дела нарядчик оставил себе, отложил.

— Снимай повязку. Дай бинты, Гриша. Наши бинты. Клавдия Ивановна, прошу вас осмотреть перелом.

Белая змейка бинта скользнула на пол. Ногой фельдшер отбросил бинт в сторону. К транспортной шине был прибинтован не нож, а копье, большой гвоздь — самое портативное оружие «сучьей» войны. Падая на пол, копье зазвенело, и Клавдия Ивановна побледнела.

Бойцы подхватили копье.

— Снимайте все повязки.

— А гипс?

— Ломайте весь гипс. Наложат завтра новый.

Фельдшер, не глядя, прислушивался к привычным звукам кусков железа, падающих на каменный пол. Под каждой гипсовой повязкой было оружие. Заложено и загипсовано.

— Вы понимаете, что это значит, Клавдия Ивановна?

— Понимаю.

— И я понимаю. Рапорта мы по начальству писать не будем, а на словах начальнику санчасти прииска скажем, да, Клавдия Ивановна?

— Двадцать ножей — сообщите врачу, надзиратель, на пятнадцать человек этапа.

— Это вы называете ножами? Скорее, это копья.

— Теперь, Клавдия Ивановна, всех здоровых — назад. И идите досматривать фильм. Вы понимаете, Клавдия Ивановна, на этом прииске безграмотный врач однажды написал диагноз о травме, когда больной упал с машины и разбился, «проляпсус из машины» — на манер «проляп-

сус ректи» — выпадение прямой кишки. Но загипсовывать оружие он научился.

Безнадежный злобный глаз смотрел на фельдшера.

— Ну, кто болен — будет положен в больницу, — сказала Клавдия Ивановна. — Подходите по одному.

Хирургические больные, ожидая обратной отправки, матерились, ничего не стесняясь. Утраченные надежды развязали им языки. Блатари материли дежурного врача, фельдшера, охрану, санитаров.

— Тебе еще глаза порежем, — задавался пациент.

— Что ты можешь мне сделать, дерьмо. Сонного зарезать только. Вы в тридцать седьмом пятьдесят восьмую статью и забивали палкой в забое немало. Стариков и всяких Иван Ивановичей забыли?

Но не только за «хирургическими» блатарями надо было следить. Гораздо большее было разоблачать попытки попасть в туберкулезное отделение, где больной в тряпочке привозил бацилльный «харчок» — явно туберкулезного больного готовили к осмотру врача. Врач говорил: «Харкай в баночку» — делался экстренный анализ на присутствие бацилл Коха. Перед осмотром врача больной брал в рот отравленный бациллами «харчок» — и заражался туберкулезом, конечно. Зато попадал в больницу, спасался от самого страшного — приисковой работы в золотом забое. Хоть на час, хоть на день, хоть на месяц.

Большее было разоблачать тех, которые привозили в бутылочке кровь или царапали себе палец, чтобы прибавить капли крови в собственную мочу и с гематурией войти в больницу, полежать хоть до завтра, хоть неделю. А там — что бог даст.

Таких было немало. Эти были пограмотней. Туберкулезный «харчок» в рот бы не взяли для госпитализации. Слышали эти люди и о том, что такое белок, для чего берут анализ мочи. Какая в нем польза больному. Месяцы, проведенные на больничных койках, многому их научили. Были больные с контрактурами — ложными, — под наркозом, под раушем, им разгибали коленный и локтевой суставы. А раза два контрактура, сращение было настоящим, и разоблачающий врач, силач, разорвал живые ткани, разгибая колено. Переусердствовал, не рассчитал своей собственной силы.

Большинство было с «мастырками» — трофическими язвами, — иголкой, сильно смазанной керосином, вызывалось подкожное воспаление. Этих больных можно при-



нять, а можно и не принять. Жизненных показаний тут нет.

Особенно много «мастырщиков»-женщин с совхоза «Эльген», а потом, когда был открыт особый женский золотой прииск Дебна—с тачкой, лопатой и кайлом для женщин, количество «мастырщиков» с этого прииска резко увеличилось. Это был тот самый прииск, где санитарки зарубили топором врача, прекрасного врача по фамилии Шицель, седую крымчанку. Раньше Шицель работала при больнице, но анкета увела ее на прииск и на смерть.

Клавдия Ивановна идет досматривать постановку лагерной культбригады, а фельдшер ложится спать. Но через час его будят: «Этап. Женский этап с «Эльгена».

Это этап—где будет очень много вещей. Это дело надзирателей. Этап небольшой, и Клавдия Ивановна вызывается принять весь этап сама. Фельдшер благодарит и засыпает и тут же просыпается от толчка, от слез, горьких слез Клавдии Ивановны. Что такое там случилось?

— Я не могу больше жить здесь. Не могу больше. Я брошу дежурство.

Фельдшер плещет в лицо пригоршню холодной воды из крана и, утираясь рукавом, выходит в приемную комнату.

Хохоют все! Больные, приезжая охрана, надзиратели. Отдельно на кушетке мечется из стороны в сторону красивая, очень красивая девушка. Девушка не первый раз в больнице.

— Здравствуйте, Валя Громова.

— Ну вот, хоть теперь человека увидела.

— Что тут за шум?

— Меня в больницу не кладут.

— А почему ее в самом деле не кладут? У ней с туберкулезом неблагополучно.

— Да ведь это кобёл,—грубо вмешивается нарядчик.—О ней постановление было. Запрещено принимать. Да ведь спала же без меня. Или без мужа...

— Врут они все,—кричит Валя Громова бесстыдно.— Видите, какие у меня пальцы. Какие пяти...

Фельдшер плюет на пол и уходит в другую комнату. У Клавдии Ивановны истерический приступ.

## ГЕОЛОГИ

Ночью Криста разбудили, и дежурный надзиратель провел его по бесконечным темным коридорам в кабинет начальника больницы. Подполковник медицинской службы еще не спал. Львов, уполномоченный МВД, сидел у стола начальника и рисовал на листке бумаги каких-то равнодушных птичек.

— Фельдшер приемного покоя Крист явился по вашему вызову, гражданин начальник.

Подполковник махнул рукой, и пришедший с Кристом дежурный надзиратель исчез.

— Слушай, Крист,— сказал начальник,— к тебе привезут гостей.

— Этап придет,— сказал уполномоченный.

Крист выжидательно молчал.

— Вымоешь их. Дезинфекция и прочее.

— Слушаюсь.

— Ни один человек знать об этих людях не должен. Никакого общения.

— Доверяем тебе,— разъяснил уполномоченный и закашлялся.

— С дезкамерой я один не управлюсь, гражданин начальник,— сказал Крист.— Там управление камерой далеко от смесителя с горячей и холодной водой. Пар и вода разобщены.

— Значит...

— Нужен еще санитар, гражданин начальник.

Начальники переглянулись.

— Пусть будет санитар,— сказал уполномоченный.

— Так ты понял? Никому ни слова.

— Понял, гражданин начальник.

Крист и уполномоченный вышли. Начальник встал, загасил верхний свет и стал надевать шинель.

— Откуда такой этап?— негромко спросил Крист у уполномоченного, проходя сквозь глубокий тамбур кабинета — московская мода, которой подражали везде, где были кабинеты начальников — штатских или военных — все равно.

— Откуда?

Уполномоченный расхохотался.

— Ах, Крист, Крист, никак не думал, что ты мне можешь задать такой вопрос...— И выговорил холодно:— Из Москвы самолетом.

— Значит, лагеря не знают. Тюрьма, следствие и все прочее. Первая щелочка на вольный воздух, как кажется им — всем, кто не знает лагеря. Из Москвы самолетом...

Следующей ночью гулкий, просторный, большой вестибюль наполнился чужим народом — офицерами, офицерами, офицерами. Майоры, подполковники, полковники. Даже один генерал был — низенький, молодой, черноглазый. Ни одного солдата в конвое не было.

Худощавый и рослый старик, начальник больницы, с трудом сгибался, рапортуя маленькому генералу:

— Все готово к приему.

— Отлично, отлично.

— Баня!

Начальник махнул Криту рукой, и двери приемного покоя растворились.

Толпа офицерских шинелей расступилась. Золотой звездный свет погон померк — все внимание приезжих и встречающих было отдано маленькой группе грязных людей в истрепанных каких-то лохмотьях — но не казенных, нет — еще своих, гражданских, следственных, выношенных на подстилках на полах тюремной камеры.

Двенадцать мужчин и одна женщина.

— Анна Петровна, пожалуйста, — проговорил арестант, пропуская женщину вперед.

— Что вы, — идите и мойтесь. Я посижу пока, отдохну.

Дверь приемного покоя закрылась.

Все стояли вокруг меня и жадно глядели мне в глаза, пытаюсь разгадать что-то, еще не спрашивая.

— Вы давно на Колыме? — спросил самый храбрый, разглядев во мне «Ивана Ивановича».

— С тридцать седьмого.

— В тридцать седьмом мы все были еще...

— Замолчи, — вмешался другой, постарше.

Вошел наш надзиратель, секретарь парторганизации больницы Хабибулин, особо доверенное лицо начальника. Хабибулин наблюдал и за приезжими и за мной.

— А бритье?

— Парикмахер вызван, — сказал Хабибулин. — Это перс из блатных, Юрка.

Перс из блатных, Юрка, скоро явился со своим инструментом. Он получил инструкцию на вахте и только мычал.

Внимание приезжих вновь обратилось к Кристу.

— А мы вас не подведем?

— Как вы можете меня подвести, господа инженеры,— так, должно быть?

— Геологи.

— Господа геологи.

— А где мы?

— На Колыме. В пятистах километрах от Магадана.

— Ну, прощайте. Хорошая это штука — баня.

Геологи были — все! — с заграничной, зарубежной работы. Получили срок — от 15 до 25. И распорядилось их судьбой особое управление, где было так мало солдат и так много офицеров и генералов.

Колыме и Дальстрою «хозяйство» этих генералов не подчинялось. Колыма давала только горный воздух из зарешеченных окон, большой паек, баню три раза в месяц, постель и белье без вшей, крышу. О прогулках и кино речи не было еще. Москва выбрала геологам их заполярную дачу.

Какую-то большую работу по специальности предложили сделать начальству эти геологи — очередная вариация прямоточного котла Рамзина.

Искру творческого огня можно выбивать обыкновенной палкой — это хорошо известно после «перековки» и многочисленных Беломорканалов. Подвижная шкала пищевых поощрений и взысканий, зачеты рабочих дней и надежда — и вот рабский труд превращается в труд благословенный.

Через месяц приехал маленький генерал. Геологи пожелали ходить в кино, кино для заключенных и вольных. Маленький генерал согласовал вопрос с Москвой и разрешил геологам кино. Балкон — ложу, где сидело раньше начальство, разгородили, укрепили тюремными решетками. В соседстве с начальством на киносеансы поместили геологов.

Книг из лагерной библиотеки геологам не давали. Только техническую литературу.

Секретарь парторганизации, больной старый дальстроец, Хабибулин, впервые за свою надзирательскую жизнь собственными руками таскал узлы с бельем геологов в прачечную. Это угнетало надзирателя больше всего на свете.

Еще через месяц приехал маленький генерал, и геологи попросили занавески на окна.

— Занавески,— грустно говорил Хабибулин,— занавески им понадобились.

Маленький генерал был доволен. Работа геологов двигалась вперед. Раз в десять дней ночью отпирался приемный покой, и геологи мылись в бане.

Крист мало вел разговоров с ними. Да и что могли ему рассказать следственные геологи такого, чего Крист бы не знал за свою лагерную жизнь.

Тогда внимание геологов обратилось на парикмахера-перса.

— Ты не говори много с ними, Юрка,— сказал как-то Крист.

— Всякий фраер еще будет меня учить.— И перс выругался матерно.

Прошла еще одна баня; перс пришел явно выпивши, а может быть, «начифирился» или «хватил кодеинчику». Только держался он слишком бойко, заторопился домой, выскочил с вахты на улицу, не дожидаясь попутного провожатого в лагерь, и в открытое окно Крист услышал сухой щелчок револьверного выстрела. Перс был убит надзирателем, тем самым, которого он только что брил. Скрюченное тело лежало у крыльца. Дежурный врач пощупал пульс, подписал акт. Пришел другой парикмахер, Ашот — армянский террорист из той самой боевой группы армянских эсеров, которая убила в 1926 году трех турецких министров — во главе с Талаат-пашой — виновником армянской резни 1915 года, когда был уничтожен миллион армян... Следственная часть проверила личное дело Ашота, и брить геологов ему больше не пришлось. Нашли кого-то из блатарей, да и самый принцип был изменен — каждый раз брил новый парикмахер. Так считалось безопаснее — не наладят связи. В Бутырской тюрьме так меняют часовых — скользящей системой постов.

Геологи ни о персе, ни об Ашоте ничего не узнали. Работа их двигалась успешно, и приехавший маленький генерал разрешил геологам получасовую прогулку. Это тоже было сущим унижением для старого надзирателя Хабибулина. Надзиратель в лагере покорных, трусливых, бесправных людей — начальник большой. А здесь надзирательская служба в ее чистом виде не понравилась Хабибулину.

Все грустнее становились его глаза, все краснее нос — Хабибулин запил решительно. И однажды упал с моста

вниз головой в Колыму, но был спасен и не прервал своей важной надзирательской службы. Покорно таскал узлы белья в прачечную, покорно мел комнату, меня занавески на окнах.

— Ну, как жизнь?— спрашивал Хабибулина Крист— как-никак они дежурили тут вместе больше года.

— Плохая жизнь,— выдохнул Хабибулин.

Приехал маленький генерал. Работа геологов шла отлично. Радуюсь, улыбаясь, генерал обходил тюрьму геологов. Генералу выходила награда за их работу.

Вытянувшись в струнку у порога, Хабибулин провожал генерала.

— Ну, хорошо, хорошо. Вижу, что не подвели,— весело говорил маленький генерал.— А вы,— генерал перевел глаза на стоявших у порога надзирателей,— вы обращайтесь с ними повежливей. А то я вас, суки, в гроб вколочу!

И генерал удалился.

Хабибулин, шатаясь, дошел до приемного покоя, выпил у Криста двойную порцию валерьянки и написал рапорт о немедленном переводе с работы на любую другую. Показал рапорт Кристу, ища сочувствия. Крист пытался объяснить надзирателю, что для генерала важнее эти геологи, чем сотня Хабибулиных, но оскорбленный в своих чувствах старший надзиратель не захотел понять этой простой истины.

Геологи исчезли в одну из ночей.\*

1965

## МЕДВЕДИ

Котенок вылез из-под топчана и едва успел прыгнуть обратно— геолог Филатов швырнул в него сапогом.

— Чего ты бесишься?— сказал я, откладывая в сторону засаленный том «Монте-Кристо».

— Не люблю кошек. Вот это— дело другое.— Филатов притянул к себе серого густошерстного щенка и потрепал его по шее.— Чистый овчар. Куси его, Казбек, куси,— геолог науськивал щенка на котенка. Но на носу щенка были две свежих царапины от кошачьих когтей, и Казбек только глухо рычал, но не двигался.

Житья котенку у нас не было. Пятеро мужчин вымещали на нем скуку безделья,— разлив реки задержал наш

отъезд. Южиков и Кочубей, плотники, вторую неделю играли в шестьдесят шесть на будущую получку. Счастье было переменным. Повар открыл дверь и крикнул:

— Медведи! — Все опрометью бросились к двери.

Итак, нас было пятеро, винтовка была у нас одна — у геолога. Топоров всем не хватало, и повар захватил с собой кухонный нож, острый, как бритва.

Медведи шли по горе за ручьем — самец и самка. Они трясли, ломали, выдергивали с корнями молодые лиственницы, швыряли их в ручей. Они были одни на свете в этом таежном мае, и люди подошли к ним с подветренной стороны очень близко — шагов на двести. Медведь был бурый, с рыжеватым отливом, вдвое крупнее медведицы, старик — желтые крупные клыки были хорошо видны.

Филатов — он был лучшим стрелком, сел и положил винтовку на ствол упавшей лиственницы, чтоб бить с упора, наверняка. Он водил стволом, ища дорогу пуле между листьями кустов, начинающих желтеть.

— Бей, — рычал повар с побелевшим от азарта лицом. — бей!

Медведи услышали шорох. Реакция их была мгновенной, как у футболиста во время матча. Медведица помчалась вверх по склону горы — за перевал. Старый медведь не побежал. Повернув морду в сторону опасности и оскалив клыки, он медленно пошел по горе — к заросли стланиковых кустов. Он явно принимал опасность на себя, он, самец, жертвовал жизнью, чтоб спасти свою подругу, он отвлекал от нее смерть, он прикрывал ее бегство.

Филатов выстрелил. Он, как я уже говорил, был хорошим стрелком — медведь упал и покатился по склону в ущелье — пока лиственница, которую он сломал, играя, полчаса назад, не задержала тяжелого тела. Медведица давно исчезла.

Все было таким огромным — небо, скалы, что медведь казался игрушечным. Убит он был наповал. Мы связали ему лапы, проделали шест и, качаясь от тяжести огромной туши, спустились на дно ущелья, на скользкий двухметровый лед, который еще не успел растаять. Волоком мы подтащили медведя к порогу нашей избушки.

Двухмесячный щенок, который за свою короткую жизнь не видел медведей, забился под койку, обезумев от страха. Котенок повел себя не так. Он в бешенстве бросился на медвежью тушу, с которой мы впятером снимали

шкуру. Котенок рвал куски теплого мяса, хватал крошки свернувшейся крови, плясал на узловатых красных мускулах зверя...

Шкура вышла в четыре квадратных метра.

— Пудов на двенадцать мяска-то,— повторял повар каждому.

Добыча была богатая, но так как вывезти ее и продать было нельзя, то она была разделена тут же поровну. Котелки и сковороды геолога Филатова кипели день и ночь, пока он не заболел желудком. Южиков и Кочубей, убедившись, что для расчетов по карточной игре медвежье мясо — материал неподходящий, засолили каждый свою долю в выложенных из камня ямах и каждый день ходили проверять сохранность. Повар упрятал мясо неизвестно куда — он знал какой-то секрет засолки, но никому его не открыл. А я кормил котенка и щенка, и мы трое расправились с медвежьим мясом благополучней всех. Воспоминаний об удачной охоте хватило на два дня. Ссориться стали лишь на третий день, к вечеру.

⟨1956⟩

## ОЖЕРЕЛЬЕ КНЯГИНИ ГАГАРИНОЙ

Тюремное следственное время скользит по памяти и не оставляет заметных и резких следов. Для каждого следственного тюрьма, ее встречи, ее люди — не главное. Главное же, на что тратятся все душевные, все духовные и нервные силы в тюрьме — борьба со следователем. То, что происходит в кабинетах допросного корпуса, лучше запоминается, чем тюремная жизнь. Ни одна книга, прочитанная в тюрьме, не остается в памяти — только «срочные» тюрьмы были университетом, из которого выходят звездочеты, романисты, мемуаристы. Книги, прочитанные в следственной тюрьме, — не запоминаются. Для Криста не поединок со следователем играл главную роль. Крист понимал, что он обречен, что арест — это осуждение, заключение. И Крист был спокоен. Он сохранил способность наблюдать, сохранил способность действовать вопреки убаюкивающему ритму тюремного режима. Крист не раз встречался с пагубной человеческой привычкой — рассказывать самое главное о себе, высказать всего себя



соседу — соседу по камере, по больничной койке, по вагонному купе. Эти тайны, хранимые на дне людской души, были иной раз ошеломительны, невероятны.

Сосед Криста справа, механик волоколамской фабрики, в ответ на просьбу вспомнить самое яркое событие жизни, самое хорошее, что в жизни случилось, сообщил, весь сияя от переживаемого воспоминания, что по карточкам в 1933 году получил двадцать банок овощных консервов и, когда вскрыл дома — все банки оказались мясными консервами. Каждую банку механик рубил топором пополам, запершись на ключ от соседей — все банки были с мясом, ни одна не оказалась овощной. В тюрьме не смеются над такими воспоминаниями. Сосед Криста слева, генеральный секретарь общества политкаторжан, Александр Георгиевич Андреев, сдвинул свои серебряные брови к переносице. Черные глаза его заблестели.

— Да, такой день в моей жизни есть — 12 марта 1917 года. Я — вечник царской каторги. Волею судеб двадцатилетнюю годовщину этого события я встретил в тюрьме здесь, с вами.

С противоположных нар слез стройный и пухлый человек.

— Разрешите мне принять участие в вашей игре. Я — доктор Миролюбов, Валерий Андреевич. — Доктор слабо и жалобно улыбнулся.

— Садитесь, — сказал Крист, освобождая место. Сделать это было очень просто — только подогнуть ноги. Никаким другим способом освободить место было нельзя. Миролюбов тут же влез на нары. Ноги доктора были в домашних тапочках. Крист удивленно поднял брови.

— Нет, не из дома, но в Таганке, где я сидел два месяца, порядки попроще.

— Таганка ведь уголовная тюрьма?

— Да, уголовная, конечно, — рассеянно подтвердил доктор Миролюбов. — С вашим приходом в камеру, — сказал Миролюбов, поднимая глаза на Криста, — жизнь изменилась. Игры стали более осмысленными. Не то что этот ужасный «жучок», которым все увлекались. Ждали даже оправки, чтобы вволю поиграть в «жучка» в уборной. Наверное, опыт есть...

— Есть, — сказал Крист печально и твердо.

Миролюбов заглянул в глаза Криту своими выпуклыми, добрыми, близорукими глазами.

— Очки у меня блатары забрали. В Таганке.

В мозгу Криста бегло, привычно пробежали вопросы, предположения, догадки... Ищет совета. Не знает, за что арестован. Впрочем...

— А почему вас перевели из Таганки сюда?

— Не знаю. Ни одного допроса два месяца. А в Таганке... Меня ведь вызвали как свидетеля по делу о квартирной краже. У нас в квартире пальто украли у соседа. Допросили меня и предъявили постановление об аресте... Абракадабра. Ни слова — вот уже третий месяц. И перевели в Бутырки.

— Ну что ж, — сказал Крист. — Набирайтесь терпения. Готовьтесь к сюрпризам. Не такая уж тут абракадабра. Организованная путаница, как выражался критик Иуда Гроссман-Роцин! Помните такого? Соратника Махно?

— Нет, не помню, — сказал доктор. Надежда на всеведение Криста угасла, и блеск в миролюбовских глазах исчез.

Художественные узоры сценарной ткани следствия были очень, очень разнообразны. Это было известно Кристу. Привлечение по делу о квартирной краже — пусть в качестве свидетеля — наводило на мысль о знаменитых «амальгамах». Во всяком случае, таганские приключения доктора Миролюбова были следственным камуфляжем, бог знает зачем нужным поэтам из НКВД.

— Поговорим, Валерий Андреевич, о другом. О лучшем дне жизни. О самом, самом ярком событии вашей жизни.

— Да, я слышал, слышал ваш разговор. У меня есть такое событие, перевернувшее всю мою жизнь. Только все, что случилось со мной, не похоже ни на рассказ Александра Георгиевича, — Миролюбов склонился влево к генеральному секретарю общества политкаторжан, — ни на рассказ этого товарища, — Миролюбов склонился вправо, к волоколамскому механику... — В 1901 году я был первокурсником-медиком, студентом Московского университета. Молодой был. Возвышенных мыслей. Глупый. Недогадливый.

— «Лох» — по-блатному, — подсказал Крист.

— Нет, не «лох». Я немножко после Таганки понимаю по-блатному. А вы откуда?

— Изучал по самоучителю, — сказал Крист.

— Нет, не «лох», а такой... «гаудеамус». Ясно? Вот так.

— К делу, ближе к делу, Валерий Андреевич, — сказал волоколамский механик.

— Сейчас буду ближе. У нас здесь так мало свободно-го времени... Читаю газеты. Огромное объявление. Княгиня Гагарина потеряла свое брильянтовое ожерелье. Фамильная драгоценность. Нашедшему — пять тысяч рублей. Читаю газету, комкаю, бросаю в мусорный ящик. Иду и думаю: вот бы мне найти это ожерелье. Половину матери послал бы. На половину съездил бы за границу. Пальто хорошее купил бы. Абонемент в Малый театр. Тогда еще не было Художественного. Иду по Никитскому бульвару. Да не по бульвару, а по доскам деревянного тротуара — еще там гвоздь один вылезал постоянно, как наступишь. Сошел на землю, чтобы обойти этот гвоздь, и смотрю — в канаве... Словом, нашел ожерелье. Посидел на бульваре, помечтал. Подумал о своем будущем счастье. В университет не пошел, а пошел к мусорному ящику, достал свою газету, развернул, прочитал адрес.

Звоню... Звоню. Лакей. «Насчет ожерелья». Выходит сам князь. Выбегает жена. Двадцать лет мне тогда было. Двадцать лет. Испытание было большим. Проба всего, с чем я вырос, чему научился... Надо было решать сразу — человек я или не человек. «Я сейчас принесу деньги, — это князь. — Или, может быть, вам чек? Садитесь». А княгиня здесь же, в двух шагах от меня. Я не сел. Говорю — я студент. Я принес ожерелье не затем, чтобы получить какую-то награду. «Ах, вот что, — сказал князь. — Простите нас. Прошу к столу, позавтракаем с нами». И жена его, Ирина Сергеевна, поцеловала меня.

— Пять тысяч, — зачарованно выговорил волоколамский механик.

— Большая проба, — сказал генеральный секретарь общества политкаторжан. — Так я первую свою бомбу бросал в Крыму.

— Потом я стал бывать у князя, чуть не каждый день. Влюбился в его жену. Три лета подряд за границу с ними ездил. Врачом уже. Так я и не женился. Прожил жизнь холостяком из-за этого ожерелья... И потом — революция. Гражданская война. В гражданскую войну я хорошо познакомился с Путной, с Витовтом Путной. Был у него домашним врачом. Путна был хороший мужик, но, конечно, не князь Гагарин. Не было в нем чего-то... этакого. Да и жены такой не было.

— Просто вы стали старше на двадцать лет, на двадцать лет старше «гаудеамуса».

— Может быть...

— А где сейчас Путна?

— Военный атташе в Англии.

Александр Георгиевич, сосед слева, улыбнулся.

— Я думаю, разгадку ваших бедствий, как любил выражаться Мюссе, следует искать именно в Путне, во всем этом комплексе. А?

— Но каким образом?

— Это уж следователи знают. Готовьтесь к бою под Путной — вот вам совет старика.

— Да вы моложе меня.

— Моложе не моложе, просто во мне «гаудеамуса» было меньше, а бомб — больше, — улыбнулся Андреев. — Не будем ссориться.

— А ваше мнение?

— Я согласен с Александром Георгиевичем, — сказал Крист.

Миролюбов покраснел, но сдержался. Тюремная ссора вспыхивает, как пожар в сухом лесу. И Крист и Андреев об этом знали. Миролюбову это еще предстояло узнать.

Пришел такой день, такой допрос, после которого Миролюбов двое суток лежал вниз лицом и не ходил на прогулку.

На третьи сутки Валерий Андреевич встал и подошел к Кристу, трогая пальцами покрасневшие веки голубых своих, бессонных глаз. Подошел и сказал:

— Вы были правы.

Прав был Андреев, а не Крист, но тут была тонкость в признании своих ошибок, тонкость, которую и Крист и Андреев хорошо почувствовали.

— Путна?

— Путна. Все это слишком ужасно, слишком. — И Валерий Андреевич заплакал. Двое суток он крепился и все же не выдержал. И Андреев и Крист не любили плачущих мужчин.

— Успокойтесь.

Ночью Криста разбудил горячий шепот Миролюбова:

— Я вам все скажу. Я гибну непоправимо. Не знаю, что делать. Я домашний врач Путны. И сейчас меня допрашивают не о квартирной краже, а — страшно подумать — о подготовке покушения на правительство.

— Валерий Андреевич, — сказал Крист, отгоняя от себя сон и зевая. — В нашей камере ведь не только вы в этом обвиняетесь. Вон лежит неграмотный Ленька из Тумского района Московской области. Ленька развинчивал гайки на полотне железной дороги. На грузила, как

чеховский злоумышленник. Вы ведь сильны в литературе, во всех этих «гаудеамусах». Ленку обвиняют во вредительстве и терроре. И никакой истерики. А рядом с Ленкой лежит брюхач — Воронков, шеф-повар кафе «Москва» — бывшее кафе «Пушкин» на Страстной — бывали? В коричневых тонах пущено было это кафе. Воронкова переманивали в «Прагу» на Арбатскую площадь — директором там был Филиппов. Так вот в воронковском деле следовательской рукой записано, — и каждый лист подписан Воронковым! — что Филиппов предлагал Воронкову квартиру из трех комнат, поездки за границу для повышения квалификации. Поварское дело ведь умирает... «Директор ресторана «Прага» Филиппов предлагал мне все это в случае моего согласия на переход, а когда я отказался — предложил мне отравить правительство. И я согласился». Ваше дело, Валерий Андреевич, тоже из отдела «техники на грани фантастики».

— Что вы меня успокаиваете? Что вы знаете? Я с Путной вместе чуть не с революцией. С гражданской войны. Я — свой человек в его доме. Я был с ним вместе и в Приморье и на юге. Только в Англию меня не пустили. Визы не дали.

— А Путна — в Англии?

— Я уже вам говорил — был в Англии. Был в Англии. Но сейчас он не в Англии, а здесь, с нами.

— Вот как.

— Третьего дня, — шепнул Миролубов, — было два допроса. На первом допросе мне было предложено написать все, что я знаю о террористической работе Путны, о его суждениях на этот счет. Кто у него бывал. Какие велись разговоры. Я все написал. Подробно. Никаких террористических разговоров я не слышал, никто из гостей... Потом был перерыв. Обед. И меня кормили обедом тоже. Из двух блюд. Горох на второе. У нас в Бутырках все дают чечевицу из бобовых, а там — горох. А после обеда, когда мне дали покурить, — вообще-то я не курю, но в тюрьме стал привыкать, — сели снова записывать. Следователь говорит: «Вот вы, доктор Миролубов, так преданно защищаете, выгораживаете Путну, вашего многолетнего хозяина и друга. Это делает вам честь, доктор Миролубов. Путна к вам относится не так, как вы к нему...» — «Что это значит?» — «А вот что. Вот пишет сам Путна. Почитайте». Следователь дал мне многостраничные показания, написанные рукой самого Путны.

— Вот как...

— Да. Я почувствовал, что седею. В заявлении этом Путна пишет: «Да, в моей квартире готовилось террористическое покушение, плелся заговор против членов правительства, Сталина, Молотова. Во всех этих разговорах принимал самое ближайшее участие, самое активное участие Климент Ефремович Ворошилов». И последняя фраза, выжженная в моем мозгу: «Все это может подтвердить мой домашний врач, доктор Мироллюбов».

Крист свистнул. Смерть придвинулась слишком близко к Мироллюбову.

— Что делать? Что делать? Как говорить? Почерк Путны не подделан. Я знаю его почерк слишком хорошо. И руки не дрожали, как у царевича Алексея после кнута — помните эти исторические сыскные дела, этот протокол допроса петровского времени.

— Искренне завидую вам, — сказал Крист, — что любовь к литературе все преодолевает. Впрочем, это любовь к истории. Но если уж хватает душевных сил на аналогии, на сравнения, хватит и для того, чтобы разумно разобраться в вашем деле. Ясно одно: Путна арестован.

— Да, он здесь.

— Или на Лубянке. Или в Лефортове. Но не в Англии. Скажите мне, Валерий Андреевич, по чистой совести — были ли хоть какие-нибудь неодобрительные суждения, — Крист закрутил свои воображаемые усы, — хотя бы в самой общей форме.

— Никогда.

— Или: «в моем присутствии никогда». Эти следственные тонкости вам должны быть известны.

— Нет, никогда. Путна — вполне правоверный товарищ. Военный. Грубоватый.

— Теперь еще один вопрос. Психологически — самый важный. Только по совести.

— Я везде отвечаю одинаково.

— Ну, не сердитесь, маркиз Поза.

— Мне кажется, вы смеетесь надо мной...

— Нет, не смеюсь. Скажите мне откровенно, как Путна относился к Ворошилову?

— Путна его ненавидел, — горячо выдохнул Мироллюбов.

— Вот мы и нашли решение, Валерий Андреевич. Здесь — не гипноз, не работа господина Орнальдо, не уколы, не медикаменты. Даже не угрозы, не выстойки на «конвейере». Это — холодный расчет обреченного. Последнее сражение Путны. Вы — пешка в такой игре, Валерий Анд-

реевич. Помните, в «Полтаве»... «Утратить жизнь — и с нею честь. Врагов с собой на плаху весть».

— «Друзей с собой на плаху весть», — поправил Миролюбов.

— Нет. «Друзей» — это читалось для вас и для таких, как вы, Валерий Андреевич, милый мой «гаудеамус». Тут расчет больше на врагов, чем на друзей. Побольше прихватить врагов. Друзей возьмут и так.

— Но что же делать мне, мне?

— Хотите добрый совет, Валерий Андреевич?

— Добрый или злой, мне все равно. Я не хочу умирать.

— Нет, только добрый. Показывайте только правду. Если Путна захотел солгать перед смертью — это его дело. Ваше спасение — только правда, одна правда, ничего кроме правды.

— Я всегда говорил только правду.

— И показывал правду? Тут есть много оттенков. Ложь во спасение, например. Или: интересы общества и государства. Классовые интересы отдельного человека и личная мораль. Формальная логика и логика неформальная.

— Только правду!

— Тем лучше. Значит, есть опыт показывать правду. На этом стойте.

— Не много вы мне посоветовали, — разочарованно сказал Миролюбов.

— Случай нелегкий, — сказал Крест. — Будем верить, что «там» отлично знают, что к чему. Понадобится ваша смерть — умрете. Не понадобится — спасетесь.

— Печальные советы.

— Других нет.

Крест встретил Миролюбова на пароходе «Кулу» — пятый рейс навигации 1937 года. Рейс «Владивосток — Магадан».

Личный врач князя Гагарина и Витовта Путны поздоровался с Крестом холодно — ведь Крест был свидетелем душевной слабости, опасного какого-то часа его жизни, и — так чувствовал Миролюбов — ничем не помог Валерию Андреевичу в трудный, смертный момент.

Крест и Миролюбов пожали друг другу руки.

— Рад видеть вас живым, — сказал Крест. — Сколько?

— Пять лет. Вы издеваетесь надо мной. Ведь я не виноват ни в чем. А тут пять лет лагерей. Колыма.

— Положение у вас было очень опасное. Смертельно опасное. Счастье не изменило вам,— сказал Крист.

— Подите вы к черту с таким счастьем.

И Крист подумал: Миролюбов прав. Это слишком русское счастье — радоваться, что невинному дали пять лет. Ведь могли бы дать десять, даже вышка.

На Колыме Крист и Миролюбов не встречались. Колыма велика. Но из рассказов, из расспросов Крист узнал, что счастья доктора Миролюбова хватило на все пять лет его лагерного срока. Миролюбов был освобожден в войну, работал врачом на прииске, состарился и умер в 1965 году.

1965

## ИВАН ФЕДОРОВИЧ

Иван Федорович встречал Уоллеса в штатском костюме. Караульные вышки в ближайшем лагере были спилены, а арестанты получили благословенный выходной день. На полки поселкового магазина были выворочены все «заначки», и торговля велась так, как будто не было войны.

Уоллес принял участие в воскреснике по уборке картошки. На огороде Уоллесу дали американскую горбатую лопату, недавно полученную по лендлизу, и это было Уоллесу приятно. Сам Иван Федорович был вооружен такой же лопатой, только рукоятка была русской — длинной. Уоллес спросил что-то, показывая на лопату, стоявший рядом с Иваном Федоровичем человек в штатском что-то сказал, потом что-то сказал Иван Федорович, и переводчик любезно перевел его слова Уоллесу. Что в Америке — передовой технической стране — подумали даже о форме лопаты — и дотронулся до лопаты, которую держал в руках Уоллес. Лопата всем хороша, только ручка не для русских — очень коротка, не подбориста. Переводчик с трудом перевел слово «подбориста». Но что русские, которые подковали блоху (об этом и Уоллес кое-что читал, готовясь к поездке в Россию), внесли улучшение в американский инструмент: пересадили лопату на другую, длинную ручку. Наиболее удобная длина черенка и лопаты — от земли до переносицы работающего. Стоявший рядом



с Иваном Федоровичем человек в штатском показал, как это делается. Пора было приступать к «ударнику» — к уборке картофеля, который не худо рос на Крайнем Севере.

Уоллесу все было интересно. Как здесь растут капуста, картошка? Как ее сажают? Рассадой? Как капусту? Удивительно. Какой урожай с гектара?

Уоллес по временам оглядывался на своих соседей. Вокруг начальников копали молодые люди — краснощекие, довольные. Копали весело, бойко. Уоллес, улучив минуту, пригляделся к их рукам, белым, не знавшим лопаты пальцам и усмехнулся, поняв, что это переодетая охрана. Уоллес видел все: и спиленные вышки, и вышки не спиленные, и гроздь арестантских бараков, окруженных проволокой. Он знал об этой стране не меньше Ивана Федоровича.

Копали весело. Иван Федорович скоро утомился — он был человек сырой, грузный, но не хотел отстать от вице-президента Америки. Уоллес был легкий, как мальчик, подвижной, хотя по годам и постарше Ивана Федоровича.

— Я привык у себя на ферме к такой работе, — весело говорил Уоллес.

Иван Федорович улыбался, все чаще отдыхал.

«Вот вернусь в лагерь, — думал Иван Федорович, — обязательно сделаю укол глюкозы». Иван Федорович очень любил глюкозу. Сердце глюкоза поддерживала отлично. Придется рискнуть — домашнего врача своего Иван Федорович не взял с собой в эту поездку.

«Ударник» кончился, и Иван Федорович приказал позвать начальника санчасти. Тот явился бледный, ожидая самого худшего. Доносы об этой проклятой рыбалке, где больные ловили рыбку для начальника санчасти? Но ведь это — освященная временем традиция.

Иван Федорович, увидя врача, постарался улыбнуться как можно милостивее.

— Мне нужно сделать укол глюкозы. Ампулы с глюкозой у меня есть. Свои.

— Вы? Глюкозу?

— А что это тебя так удивляет? — подозрительно посмотрев на развеселившегося начальника санчасти, сказал Никишев. — Вот, сделай мне укол!

— Я? Вам?

— Ты. Мне.

— Глюкозу?

— Глюкозу.

— Я прикажу Петру Петровичу, хирургу нашему. Он лучше меня сделает.

— А ты что — не умеешь, что ли? — сказал Иван Федорович.

— Умею, товарищ начальник. Но Петр Петрович умеет еще лучше. А шприц я дам свой, личный.

— У меня есть и шприц свой.

Послали за хирургом.

— Слушаю, товарищ начальник. Хирург больницы Красницкий.

— Ты — хирург?

— Да, товарищ начальник.

— Бывший зэка?

— Да, товарищ начальник.

— Можешь сделать мне укол?

— Нет, товарищ начальник. Я не умею.

— Уколов не умеешь делать?

— Мы, гражданин начальник, — вмешался начальник санчасти, — фельдшера вам сейчас пришлем. Из зэка. Тот делает — не услышите. Давайте ваш шприц сюда. Я его в вашем присутствии вскипачу. Мы с Петром Петровичем последим, чтобы не оказал вредительства какого-нибудь, терроризма. Мы жгут подержим. Рукав вам засучим.

Пришел фельдшер из зэка, вымыл руки, обтер их спиртом, сделал укол.

— Можно идти, гражданин начальник?

— Иди, — сказал Иван Федорович. — Дайте ему пачку папирос из портфеля.

— Не стоит, гражданин начальник.

Вот как сложно оказалось с глюкозой в пути. Ивану Федоровичу долго казалось, что у него жар, голова кружится, что он отравлен этим фельдшером из зэка, но в конце концов Иван Федорович успокоился.

На следующий день Иван Федорович проводил Уоллеса в Иркутск и от радости перекрестился и приказал поставить караульные вышки обратно, а товары из магазина — убрать.

С недавнего времени Иван Федорович чувствовал себя особенным другом Америки, разумеется, в дипломатических границах дружбы. Всего несколько месяцев назад на опытном заводе в сорока семи километрах от Магадана было налажено производство электролампочек. Только колымчанин может оценить такое. За пропажу лампочек судили; на приисках потеря лампочки приводила к тысячам потерянных рабочих часов. Привозных лампочек не

напасешься. А тут вдруг такое счастье. Создали свое! Освободились от «иностранной зависимости»!

Москва оценила достижения Ивана Федоровича — он был награжден орденом. Орденами поменьше награждены директор завода, начальник цеха, где производились эти лампочки, лаборанты. Все, кроме того человека, который это производство создал. Это был харьковский физик-атомщик, инженер Георгий Георгиевич Демидов — литерник с пятилетним сроком — не то «аса», не то что-то в этом роде. Демидов думал, что его хоть на досрочное представят, да и директор завода на это намекал, но Иван Федорович счел такое ходатайство политической ошибкой. Фашист. и вдруг — досрочное освобождение! Что скажет Москва. Нет, пусть радуется, что работает не на «общих», в тепле — это лучше всякого досрочного. И орден он, Демидов, получить, конечно, не может. Орденами награждаются верные слуги государства, а не фашисты.

— Вот премию рублей двадцать пять подбросить — это можно. Махорочки там, сахару...

— Демидов не курит, — почтительно сказал директор завода.

— Не курит, не курит... На хлеб променяет или еще на что... а не надо махорки, так надо ему новую одежду — не лагерную, а, понимаешь... Те гарнитуры американские в коробках, что мы вам начали давать в премию. Я и забыл. Костюм там, рубашка, галстук. В коробке такой белой. Вот так и премируйте.

На торжественном заседании в присутствии самого Ивана Федоровича каждому герою вручалась коробка с американским подарком. Все кланялись и благодарили. Но когда дошла очередь до Демидова, он вышел к столу президиума, положил коробку на стол и сказал:

— Я американских обносков носить не буду, — повернулся и ушел.

Иван Федорович оценил это прежде всего с политической точки зрения, как выпад фашиста против советско-американского блока свободолюбивых стран, и позвонил тем же вечером в райотдел. Демидова судили, дали «довеска» восемь лет, сняли с работы, послали на штрафной прииск, на «общие».

Сейчас, после визита Уоллеса, Иван Федорович вспомнил случай с Демидовым с явным удовольствием. Политическая прозорливость всегда была достоинством Ивана Федоровича.

Иван Федорович особенно заботился о своем сердце после недавней женитьбы на двадцатилетней комсомолке

Рыдасовой. Иван Федорович сделал ее своей женой, начальницей большого лагерного отделения — хозяйкой жизни и смерти многих тысяч людей. Романтическая комсомолка быстро превратилась в зверя. Она ссылала, давала дела, сроки, «довески» и стала в центре всяческих интриг, по-лагерному подлых.

Театр доставлял мадам Рыдасовой очень много забот.

— Вот поступил донос от Козина, что режиссер Варпаховский разрабатывал планы первомайской демонстрации в Магадане — оформить праздничные колонны как крестный ход, с хоругвями, с иконами. И что, конечно, тут затаенная контрреволюционная работа.

Мадам Рыдасовой на заседании эти планы не показались чем-то криминальным. Демонстрация и демонстрация. Ничего особенного. И вдруг — хоругви! Надо было что-то делать; она посоветовалась с мужем. Муж, Иван Федорович, — человек опытный — сразу отнесся к сообщению Козина в высшей степени серьезно.

— Он, наверное, прав, — сказал Иван Федорович. — Он пишет и не только насчет хоругвей. Оказывается, Варпаховский сошелся с одной еврейкой — из актрис, — дает ей главные роли — певица она... А что это за Варпаховский?

— Это — фашист, из спецзоны его привезли. Режиссер, у Мейерхольда ставил, я сейчас вспомнила, вот у меня записано. — Рыдасова порылась в своей картотеке. Этой «картотеке» обучил ее Иван Федорович. — Какую-то «Даму с камелиями». И в театре сатиры «Историю города Глупова». С 1937 года — на Колыме. Ну, вот видишь. А Козин — человек надежный. Педераст, а не фашист.

— А в театре Варпаховский что ставил?

— «Похищение Елены». Мы смотрели. Помнишь, ты еще смеялся. Еще художнику на досрочное освобождение подписывали.

— Да-да, припоминаю. Это «Похищение Елены» не нашего автора.

— Французский какой-то автор. Вот у меня записано.

— Да не надо, не надо, все ясно. Ты пошли этого Варпаховского с разъездной бригадой, а жену — как ее фамилия?

— Зыскинд.

— Еврейку — оставь дома. У них ведь любовь коротка, не то что у нас, — милостиво пошутил Иван Федорович.

Иван Федорович готовил большой сюрприз своей молодой жене. Рыдасова была любительницей безделушек,

всяких редкостных сувениров. Уже два года под Магаданом работал один заключенный — знаменитый косторез, — точил из бивня мамонта замысловатый ларец для молодой жены Ивана Федоровича. Сначала этого костореза числили как больного, а потом ввели в штат какой-то мастерской, чтоб мастер мог заработать себе зачеты. И он получал зачеты — по три дня за день — как перевыполняющий план работы урановых рудников Колымы, где за вредность зачет выше «золотого», выше «первого металла».

Сооружение ларца близилось к концу. Завтра кончится эта морока с Уоллесом, и можно будет возвращаться в Магадан.

Рыдасова отдала распоряжение насчет зачисления Варпаховского в выездную бригаду, переслала донос певца в райотдел МВД и задумалась. Было о чем подумать — Иван Федорович старел, начал пить. Приехало много начальников новых, молодых. Иван Федорович их ненавидел и боялся. В заместители приехал Луценко и, объезжая Колыму, записывал во всех больницах — кто получил травмы из-за побоев. Таких оказалось немало. Стучачи Ивана Федоровича сообщили ему, конечно, о записях Луценко.

Луценко сделал доклад на хозактиве.

— Если начальник управления ругается матом, то что должен делать начальник прииска? Прораб? Десятник? Что должно делаться в забоях? Я прочту вам цифры, полученные в больницах при опросах — явно преуменьшенные — о переломах, о побоях.

По докладу Луценко Иван Федорович выступил с большой речью.

— К нам, — рассказывал Иван Федорович, — много приезжало новичков, но все постепенно убеждались, что здесь условия особые, колымские, и знать это надо. — Иван Федорович надеется, что молодые товарищи это поймут и будут работать вместе с нами.

Последняя фраза заключительного слова Луценко была:

— Мы приехали сюда работать, и мы будем работать, но мы будем работать не так, как говорит Иван Федорович, а как говорит партия.

Все, весь хозактив, вся Колыма поняла, что дни Ивана Федоровича сочтены. Думала так и Рыдасова. Но старик знал жизнь лучше, чем какой-то Луценко, комиссара ему, Ивану Федоровичу, не хватало. Иван Федорович написал

письмо. И Луценко, его заместитель, начальник политотдела Дальстроя, герой Отечественной войны — исчез, «как корова языком слизала». Перевели его куда-то срочно. Иван Федорович напился в честь победы и, напившись, буянил в Магаданском театре.

— Гоните этого певца в шею, не хочу слушать гадину,— бушевал Иван Федорович в собственной ложе.

И певец исчез из Магадана навсегда.

Но это была последняя победа. Луценко где-то что-то писал,— это Иван Федорович понимал, но сил предупредить удар не было.

«На пенсию пора,— думал Иван Федорович,— вот только бы ларец...»

— Пенсию тебе дадут большую,— утешала его жена.— Вот мы и уедем. Все забудем. Всех Луценок, всех Варпаховских. Купим домик под Москвой с садом. Будешь председателем Осоавиахима, активистом райсовета, а? Пора, пора.

— Экая мерзость,— сказал Иван Федорович,— председатель Осоавиахима? Бр-р. А ты? — внезапно спросил он.

— И я с тобой.

Иван Федорович понимал, что жена подождет года два-три, пока он умрет.

«Луценко! На мое место, что ли, захотел? — думал Иван Федорович.— Ишь ты! И работаем не так — «хищническая», дескать, добыча, старательская. Старательская добыча, дорогой товарищ Луценко, с войны, по приказу правительства, чтобы увеличить золотишко, а переломы, побои, смерти — так было и будет. Здесь Крайний Север — не Москва. Закон тайга, как говорят блатные. На побережье продукты смыло в море, три тысячи человек умерло. Заместитель по лагерю Вышневецкий был отдан Никишевым под суд. И срок получил. А как еще надо действовать? Луценко, что ли, научит?»

— Машину мне!

Черный ЗИМ Ивана Федоровича летел прочь от Магадана, где плелись какие-то интриги, сети — у Ивана Федоровича не было сил бороться.

Ночевать Иван Федорович остановился в Доме дирекции. Дом был творением Ивана Федоровича. Ни при Берзине, ни при Павлове Домов дирекции не было на Колыме. «Но,— рассуждал Иван Федорович,— раз мне положено, пусть будет». Через каждые пятьсот километров на огромной трассе было построено здание с картинами, коврами,

зеркалами, бронзой, превосходным буфетом, поваром, завхозом и охраной, где мог бы достойно переночевать Иван Федорович, директор Дальстроя. Раз в год он действительно ночевал в своих домах.

Сейчас черный ЗИМ мчал Ивана Федоровича на Дебин, в центральную больницу, где был ближайший Дом дирекции. Туда уже позвонили, разбудили начальника больницы, всю больницу подняли «по боевой тревоге». Везде чистили, мыли, скребли.

Вдруг Иван Федорович посетит центральную больницу для заключенных, и если найдет грязь, пыль — тогда несдобровать начальнику. А начальник обвинял нерадивых фельдшеров и врачей в скрытом вредительстве — дескать, они плохо смотрят за чистотой, чтобы Иван Федорович увидел и снял начальника с работы. Такая, дескать, затаенная мысль у заключенного-врача или фельдшера, не усмотревших пылинки на письменном столе.

Все в больнице трепетало, пока черный ЗИМ Ивана Федоровича летел по трассе Колымы.

Дом дирекции не имел никакого отношения к больнице, просто расположен был рядом, метрах в пятистах, но это соседство было достаточным для всякого рода забот.

Иван Федорович за девять лет своей колымской жизни ни разу не посетил центральной больницы для заключенных, больницы на тысячу коек — ни разу. Но все были на чеку, пока он завтракал, обедал, ужинал в Доме дирекции. Лишь когда черный ЗИМ выезжал на трассу, давался «отбой».

На сей раз «отбой» не последовал вовремя. Живет! Пьет! Гости приехали — вот какие сведения из Дома дирекции. На третий день ЗИМ Ивана Федоровича приблизился к поселку вольнонаемных, где жили врачи, фельдшера, обслуга больницы из вольнонаемных.

Все замерло. И начальник больницы, задыхаясь, лез через ручей, отделявший поселок от больницы.

Иван Федорович вылез из ЗИМа. Лицо его опухшее, не свежее. Он жадно закурил.

— Эй, как тебя, — перст Ивана Федоровича уперся в халат начальника больницы.

— Слушаю, товарищ начальник.

— У тебя тут есть дети?

— Мои дети? Они в Москве учатся, товарищ начальник.

— Да не твои. Дети, ну, маленькие дети. Детсад у вас есть? Где детсад? — рывкнул Иван Федорович.

— Вот в этом доме, товарищ начальник.

ЗИМ двинулся за Иваном Федоровичем к дому-детсаду. Все молчали.

— Зовите детей,— распорядился Иван Федорович.

Выскочила дежурная няня.

— Они спят...

— Тсссс,— отвел няню в сторону начальник больницы.— Всех звать, всех будить. Смотри, чтобы ручки были вымыты.

Няня умчалась внутрь детсада.

— Я хочу покатать детей в ЗИМе,— сказал Иван Федорович, закуривая.

— Ах, покатать, товарищ начальник. Как это чудесно!

Дети уже сбежали по лестнице, окружили Ивана Федоровича.

— Залезайте в машину,— кричал начальник больницы.— Иван Федорович вас будет катать. По очереди.

Дети влезли в ЗИМ, Иван Федорович сел рядом с шофером. Так ЗИМ покатал всех детишек в три очереди.

— А завтра-то, завтра? Приедете за нами?

— Приеду, приеду,— уверял Иван Федорович.

«Пожалуй, это неплохо,— думал он, укладываясь на белоснежной простыне Дома,— дети, добрый дядя. Как Иосиф Виссарионович с ребенком на руках».

На следующий день его вызвали в Магадан. Иван Федорович получил повышение — министром цветной промышленности, но дело было, конечно, в другом.

Выездная магаданская культбригада путешествовала по трассе, по приискам Колымы. В ней был и Леонид Варпаховский. Дуся Зыскинд, его лагерная жена, осталась в Магадане по приказу начальницы Рыдасовой. Лагерная жена. Это была настоящая любовь, настоящее чувство. Уж он-то знал, актер, профессиональный мастер поддельных чувств. Что делать дальше, кого просить? Варпаховский чувствовал страшную усталость.

В Ягодном его окружили местные врачи — вольные и заключенные.

В Ягодном. Два года назад он проезжал из Ягодного в спецзону, ему удалось «притормозиться» в Ягодном, не попасть на страшную Джелгалу. Какого это стоило труда! Надо было показать бездну выдумки, мастерства, умения обойти тем маленьким, что было в его руках на Севере. И он мобилизовал себя — он поставит музыкальный спектакль. Нет, не «Бал-маскарад» Верди, что он поставил для Кремлевского театра через пятнадцать лет, не



«Мораль пани Дульской», не Лермонтова в Малом театре, не главная режиссура в театре Ермоловой. Он поставит оперетту «Черный тюльпан»! Нет рояля? Аккомпанировать будет гармонист. Варпаховский сам аранжирует оперную музыку для гармони, сам играет на баяне. И ставит. И побеждает. И ускользает от Джелгалы.

Удается добиться перевода в Магаданский театр, где он пользуется покровительством Рыдасовой. Он на лучшем счету у начальства. Варпаховский готовит смотры самодеятельности, готовит спектакль за спектаклем в Магаданском театре — один интересней другого. И вот — встреча с Дусей Зыскинд, с певицей, любовь, донос Козина, дальняя дорога.

Многих из тех, кто стоял сейчас около грузовика, на котором путешествовала культбригада, Варпаховский знал. Вот Андреев, с которым когда-то они вместе ехали из Невсикана в колымскую спецзону. Они встретились в бане, в зимней бане — темнота, грязь, потные, скользкие тела, татуировка, матерщина, толкотня, окрики конвоя, теснота. Коптилка на стене, около коптилки парикмахер на табуретке с машинкой в руках — всех подряд, мокрое белье, ледяной пар в ногах, черпак на все умыванье. Связки вещей взлетают на воздух в полной темноте. «Чье? Чье?»

И вот этот гул, шум почему-то вдруг прекращается. И сосед Андреева, стоящий в очереди для того, чтобы снять пышную шевелюру, говорит звонким, спокойным, очень актерским голосом:

То ли дело — рюмка рома,  
Ночью — сон, поутру — чай,  
То ли дело, братцы, дома.

Они познакомились, разговорились — москвичи. В Ягодном, в Управлении Севера, от этапа удалось отбиться только Варпаховскому. Андреев не был ни режиссером, ни актером. На Джелгале он получил срок, потом долго лежал в больнице, да и сейчас в районной больнице на Беличьей, километрах в шести от Ягодного — в обслуге. На спектакле культбригады не был, но Варпаховского рад повидать.

Варпаховский отстал от бригады — был положен в больницу экстренно, — пока бригада поедет на «Эльген» в женский совхоз и вернется, он, Варпаховский, успеет подумать, сообразить.

Беседовали Андреев и Варпаховский много и решили

так: Варпаховский обратится к Рыдасовой с письмом, где объяснит всю серьезность своего чувства, обратится к лучшим чувствам самой Рыдасовой. Письмо писали несколько дней, шлифуя каждую фразу. Гонец из верных врачей увез письмо в Магадан, оставалось только ждать. Ответ пришел, когда Андреев и Варпаховский уже расстались, когда культбригада уже возвращалась в Магадан: Варпаховского снять с работы в культбригаде и послать на общие работы на штрафной прииск. Зыскинд, его жену, — послать на общие работы на «Эльген» — в женский сельскохозяйственный лагерь.

«Таков ответ был неба» — как говорится в одном из стихотворений Ясенского.

Андреев с Варпаховским встретился в Москве на улице. Варпаховский работал главным режиссером театра имени Ермоловой. Андреев — в одном из московских журналов.

Письмо Варпаховского Рыдасова получила прямо из почтового ящика своей магаданской квартиры.

Это не понравилось ей и очень не понравилось Ивану Федоровичу.

— Обнаглели до крайности. Любой террорист...

Дежурный коридорный был немедленно снят с работы, посажен на гауптвахту. Следователю Иван Федорович решил дела не передавать — власть его, как-никак ослабела — он это чувствовал.

— Ослабела моя власть, — сказал Иван Федорович жене, — вот и лезут прямо в квартиру.

Судьба Варпаховского и Зыскинд была решена еще до чтения письма. Выбирали только наказание: Иван Федорович — строже, Рыдасова — помягче. Остановились на варианте Рыдасовой.

1962

## АКАДЕМИК

Оказалось, что беседу с академиком очень трудно напечатать. Не потому, что академик наговорил чепухи, нет. Это был академик с большим именем, многоопытный любитель всевозможных интервью, а беседовал он на хорошо ему знакомую тему. Журналист, посланный для

беседы, обладал достаточной квалификацией. Это был хороший журналист, а двадцать лет назад — очень хороший. Причина была в стремительности научного прогресса. Журнальные сроки — гранки, верстки, издательские графики безнадежно отставали от движения науки. Осенью пятьдесят седьмого года, четвертого октября, был запущен спутник. О подготовке к его запуску академик знал кое-что, а журналист ничего не знал. Но и академику, и журналисту, и редактору журнала было ясно, что не только границы информации после запуска спутника должны быть раздвинуты, но и сам тон статьи изменен. Статья в ее первом варианте должна была дышать ожиданием больших, исключительных событий. Сейчас эти события наступили. Поэтому через месяц после беседы академик слал в редакцию длиннейшие телеграммы из ялтинского санатория, телеграммы за собственный счет, с оплаченным ответом. Умело приоткрывая занавес кибернетических тайн, академик стремился во что бы то ни стало быть «на уровне» и в то же время не сказать лишнего. Редакция, которую занимали те же заботы о современности и о своевременности, вносила исправления в статью академика до последней минуты.

Гранки статьи были посланы в Ялту специальным самолетным курьером и, испещренные помарками академика, вернулись в редакцию.

«Бальзаковская правка», — сокрушенно сказал заведующий редакцией. Все было улажено, увязано, вычитано. Громоздкая колымага издательской техники выехала на просторные колеи. Но ко времени верстки в космос полетела Лайка, и академик из Румынии, где он находился на конгрессе мира, слал новые телеграммы, умоляя, требуя. Редакция заказывала срочные международные телефонные переговоры с Бухарестом.

Наконец журнал вышел в свет, и редакция немедленно утратила интерес к статье академика.

Но все это было после, а сейчас журналист Голубев поднимался по узкой мраморной лестнице огромного дома на главной улице города, где жил академик. Дом был одних лет с журналистом. Он был построен во время домостроительного бума в начале столетия. Коммерческие квартиры: ванна, газ, телефон, канализация, электричество.

В подъезде стоял стол дежурного дворника. Электрическая лампочка была приспособлена так, чтобы свет па-

дал на лицо входящих. Это чем-то напоминало следственную тюрьму.

Голубев назвал фамилию академика, дежурный дворник позвонил по телефону, получил ответ, сказал журналисту «пожалуйста» и распахнул перед Голубевым украшенные бронзовым литьем двери лифта.

«Бюро пропусков», — лениво подумал Голубев. Уж чего-чего, а бюро пропусков он за свою жизнь повидал немало.

— Академик живет на шестом этаже, — почтительно сообщил дежурный дворник. Лицо его не выразило удивления, когда Голубев прошел мимо открытой двери лифта и шагнул на чистую узкую мраморную лестницу. Лифта Голубев после болезни не переносил — ни подъема, ни спуска, особенно спуска с его коварной невесомостью.

Отдыхая на каждой площадке, Голубев добрался до шестого этажа. Шум в ушах немножко утих, стук сердца стал равномернее, дыхание ровнее. Голубев постоял перед дверью академика, вытянул руки и осторожно проделал несколько гимнастических движений головой — так рекомендовали врачи, лечившие журналиста.

Голубев перестал вертеть головой, нащупал в кармане платок, авторучку, блокнот и твердой рукой позвонил.

Популярный академик открыл дверь сам. Он был молод, вертляв, с быстрыми черными глазами и выглядел гораздо моложе, свежее Голубева. Перед беседой журналист просмотрел в библиотеке энциклопедические словари, а также несколько биографий академика — депутатских и научных — и знал, что он, Голубев, и академик — сверстники. Листая статьи по вопросам будущей беседы, Голубев обратил внимание, что академик метал громы и молнии со своего научного Олимпа в кибернетику, объявленную им «вреднейшей идеалистической квазинаукой». «Воинствующая лженаука» — так выражался академик два десятка лет тому назад. Беседа, для которой приехал Голубев к академику, и должна была касаться современного значения кибернетики.

Академик зажег свет, чтобы Голубев мог раздеться.

В огромном зеркале с бронзовой рамой, стоящем в передней, отражались они оба — академик в черном костюме с черным галстуком, черноволосый, черноглазый, гладколицый, подвижной, и прямая фигура Голубева и его утомленное лицо со множеством морщин, похожих на глубокие шрамы. Но голубые глаза Голубева сверкали,

пожалуй, помоложе, чем блестящие живые глаза академика.

Голубев повесил на вешалку свое негибкое, новенькое, недавно купленное пальто из искусственной кожи. Рядом с потертым коричневым кожаным, подбитым елотом пальто хозяина оно выглядело вполне прилично.

— Прошу,— сказал академик, отворяя дверь налево.— И прошу извинить меня. Я сейчас вернусь.

Журналист осмотрелся. Анфилада комнат уходила вглубь в двух направлениях — прямо и направо. Двери были стеклянные, с низом из красного дерева, и где-то в глубине возникали тени людей при полном безмолвии. Голубеву не приходилось жить в квартирах, где комнаты были бы расположены анфиладой, но он помнил кинофильм «Маскарад», квартиру Арбенина. Академик появился где-то далеко и снова исчез, и снова появился, и снова исчез, как Арбенин в фильме.

Направо в первой большой комнате — дальше опять начиналась анфилада, — светлой, со стеклянными дверями, с венецианскими окнами — стоял огромный белый рояль. Рояль был закрыт, и на крышке толпились, мешая друг другу, какие-то фарфоровые фигурки. На великолепных подставках стояли вазы, вазочки, статуи, статуэтки. На стенах висели тарелочки, коврики. Два просторных кресла были обиты белым, в тон роялю. Где-то в глубине за стеклом двигались человеческие тени.

Голубев вошел в кабинет академика. Крошечный кабинетик был темен, узок и казался чуланом. Книжные полки по всем четырем стенам сжимали комнату. Маленький, вроде игрушечного, резной письменный столик красного дерева, казалось, прогибался под тяжестью огромной мраморной чернильницы с крышкой из вызолоченной бронзы. Три стены книжных полок библиотеки были отведены справочникам, а одна — собственным сочинениям академика. Биографии и автобиографии, уже знакомые Голубеву, стояли тут же. Втиснутый в эту же комнату, задыхался черный маленький рояль. К роялю был прижат круглый стол для корреспонденции, заваленный свежими техническими журналами. Голубев перенес груды журналов на рояль, подвинул стул и положил авторучку и два карандаша на край стола. Дверь в прихожую академик оставил открытой.

«Как в «тех» кабинетах», — лениво подумал Голубев.

Везде: на черном рояле, на книжных полках — стояли кувшинчики, фарфоровые и глиняные фигурки. Голубев

взял в руки пепельницу в виде головы Мефистофеля. Давно когда-то любил он фарфор, стекло, поражался чуду человеческих рук в Эрмитаже — белой фарфоровой фигурке «Сон», где лицо спящего в кресле человека было покрыто тончайшим платком, и казалось, что сотрудники музея накинули на статую кусочек марли, чтоб фигурка не запылилась, — а это была не марля, а тончайший фарфоровый платок. И много еще других чудес человеческого умения помнил Голубев. Но голова Мефистофеля — грузная, провинциальная — была непонятна. С полки трубили глиняные бараны, прижавшись к корешкам книг, как к деревьям, сидели зайцы с львиными мордами. Личная память?

Два добротных кожаных чемодана с наклейками иностранных гостиниц стояли около двери. Наклеек было много, чемоданы — новы.

Академик возник на пороге, перехватывая взгляд Голубева и сразу все объясняя:

— Прошу прощения. Завтра уезжаю в Грецию самолетом. Прошу.

Академик протискался к письменному столу, занял удобную позицию.

— Я думал о предложении вашей редакции, — сказал он, глядя на форточку: ветер вносил в комнату желтый пятипалый кленовый лист, похожий на отрубленную кисть человеческой руки. Лист повертелся в воздухе и упал на пол. Академик нагнулся, изломал сухой лист в пальцах и бросил его в плетеную корзиночку, которая прижалась к ножке письменного столика.

— И согласился на него, — продолжал академик. — Я наметил три главных пункта моего ответа, моего выступления, мнения, — называйте это как хотите.

Академик ловко извлек из-под огромной чернильницы крошечный листок бумаги, где каракулями было записано несколько слов.

— Вопрос первый формулируется мной так...

— Я прошу вас, — сказал Голубев, бледнея, — говорить чуть-чуть громче. Дело в том, что я плохо слышу. Прошу прощения.

— Ну что вы, что вы, — вежливо сказал академик. — Вопрос первый формулируется... Так достаточно?

— Да, благодарю вас.

— Итак, первый вопрос...

Черные бегающие глаза академика смотрели на руки Голубева. Голубев понимал, вернее, не понимал, а чувствовал всем телом, о чем академик думает. Он думает

о том, что присланный к нему журналист не владеет стенографией. Это слегка обидело академика. Конечно, есть журналисты, не знающие стенографии, особенно из пожилых. Академик посмотрел на темное морщинистое лицо журналиста. Есть, конечно. Но ведь в таких случаях редакция посылает второго человека — стенографистку. Могла бы прислать одну стенографистку — без журналиста — это было бы еще лучше. «Природа и Вселенная», например, всегда присылает ему только стенографистку. Ведь не думает же редакция, пославшая этого немолодого журналиста, что журналист может задавать острые вопросы ему, академику. Ни о каких острых вопросах не идет речи. И никогда не шло. Журналист — это дипломатический курьер, — думал академик, — если не просто курьер. Он, академик, теряет время из-за того, что нет стенографистки. Стенографистка — это элементарно, это, если угодно, вежливость редакции. Редакция поступила с ним невежливо.

Вот на Западе — там всякий журналист владеет стенографией, умеет писать на пишущей машинке. А сейчас — будто сто лет назад, где-нибудь в кабинете Некрасова. Какие журналы были сто лет назад? Кроме «Современника» он никаких не помнит, а ведь, наверное, были.

Академик был самолюбивым человеком, весьма чувствительным человеком. В поступке редакции ему чудилось неуважение. Притом — он знал это по опыту — живая запись неизбежно изменит беседу. Придется много тратить труда на правку. Да и теперь: на беседу был отведен час — больше часа академик не может, не имеет права: его время дороже, чем время журналиста, редакции.

Так думал академик, диктуя привычные фразы интервью. Впрочем, он не подал и виду, что он рассержен или удивлен. «Вино, разлитое в стаканы, надо пить», — припомнил он французскую поговорку. Академик думал по-французски — из всех языков, которые он знал, он больше всего любил французский — лучшие научные журналы по его специальности, лучшие детективные романы... Академик произнес французскую фразу вслух, но журналист, не владевший стенографией, не откликнулся на нее — этого академик и ждал.

Да, вино разлито, — думал академик, диктуя, — решение принято, дело уже начато, и не в привычках академика останавливаться на полдороге. Он успокоился и продолжал говорить.

В конце концов, это своеобразная техническая задача:

уложиться ровно в час, диктуя не быстро, чтоб журналист успел записать, и достаточно громко — тише, чем с кафедры в институте, и тише, чем на конгрессах мира, но значительно громче, чем в своем кабинете — примерно так, как на лабораторных занятиях. Увидев, что все эти задачи разрешены удачно и досадные неожиданные трудности побеждены, академик развеселился.

— Простите,— сказал академик,— вы не тот Голубев, что много печатался во времена моей молодости, моей научной молодости, в начале тридцатых годов? За его статьями все молодые ученые следили тогда. Я как сейчас помню название одной его статьи — «Единство науки и художественной литературы». В те годы,— академик улыбнулся, показывая свои хорошо отремонтированные зубы,— были в моде такие темы. Статья бы и сейчас пригодилась для разговора о физиках и лириках с кибернетиком Полетаевым. Давно все это было,— вздохнул академик.

— Нет,— сказал журналист.— Я не тот Голубев. Я знаю, о ком вы говорите. Тот Голубев умер в тридцать восьмом году.

И Голубев твердым взглядом посмотрел в быстрые черные глаза академика.

Академик издал неясный звук, который следовало оценить как сочувствие, понимание, сожаление.

Голубев писал не отдыхая. Французскую поговорку насчет вина он понял не сразу. Он знал язык и забыл, давно забыл, а сейчас незнакомые слова ползли по его утомленному, иссохшему мозгу. Тарабарская фраза медленно двигалась, будто на четвереньках, по темным закоулкам мозга, останавливалась, набирала силы и доползала до какого-то освещенного угла, и Голубев с болью и страхом понял ее значение на русском языке. Суть была не в ее содержании, а в том, что он понял ее — она как бы открыла, указала ему на новую область забытого, где тоже надо все восстанавливать, укреплять, поднимать. А сил уже не было — ни нравственных, ни физических, и казалось, что гораздо легче ничего нового не вспоминать. Холодный пот выступил на спине журналиста. Очень хотелось курить, но врачи запретили табак — ему, курившему сорок лет. Запретили — и он бросил — струсил, захотел жить. Воля была нужна не для того, чтобы бросить курить, а для того, чтобы не слушать советов врачей.

В дверь просунулась женская голова в парикмахерском шлеме. «Услуги на дому», — отметил журналист.



— Простите,— и академик вылез из-за рояля и выскользнул из комнаты, плотно притворив дверь.

Голубев помахал затекшей рукой и очинил карандаш.

Из передней слышался голос академика — энергичный, в меру резкий, никем не перебиваемый, безответный.

— Шофер,— пояснил академик, возникая в комнате,— не может никак сообразить, к какому часу подать машину... Продолжим,— сказал академик, заходя за рояль и перегибаясь через него, чтобы Голубеву было слышнее.— Второй раздел — это успехи теории информации, электроники, математической логики — словом, всего того, что принято называть кибернетикой.

Пытливые черные глаза встретились с глазами Голубева, но журналист был невозмутим. Академик бодро продолжал:

— В этой модной науке сперва мы немножко отстали от Запада, но быстро выправились и теперь идем впереди. Подумываем об открытии кафедр математической логики и теории игр.

— Теории игр?

— Именно: она еще называется теория Монте-Карло,— грассируя, протянул академик.— Поспеваем за веком. Впрочем, вам...

— Журналисты никогда не попевали за веком,— сказал Голубев.— Не то что ученые...

Голубев передвинул пепельницу с головой Мефистофеля.

— Вот залюбовался пепельницей,— сказал он.

— Ну что вы,— сказал академик.— Случайная покупка. Я ведь не коллекционер, не «аматер», как говорят французы, а просто на глине отдыхает глаз.

— Конечно, конечно, прекрасное занятие,— Голубев хотел сказать — увлечение, но побоялся звука «у», чтобы не вылетел зубной протез, вставленный совсем недавно. Протез не переносил звука «у». — Ну, благодарю вас,— сказал Голубев, вставая и складывая листочки.— Желаю вам всего хорошего. Гранки пришлем.

— Там, в случае чего,— сказал академик, поморщившись,— пусть в редакции сами прибавят то, что нужно. Я ведь человек науки, могу не знать.

— Не беспокойтесь. Все вы увидите в гранках.

— Желаю удачи.

Академик вышел проводить журналиста в переднюю, зажег свет и с сочувствием смотрел, как Голубев напяти-

вает на себя свое чересчур новое, негнущееся пальто. Левая рука с трудом попала в левый рукав пальто, и Голубев покраснел от натуги.

— Война? — с вежливым вниманием спросил академик.

— Почти, — сказал Голубев. — Почти. — И вышел на мраморную лестницу.

Плечевые суставы Голубева были разорваны на допросах в тридцать восьмом году.

1961

## АЛМАЗНАЯ КАРТА

В тридцать первом году на Вишере были часты грозы.

Прямые короткие молнии рубили небо, как мечи. Кольчуга дождя сверкала и звенела; скалы были похожи на руины замка.

— Средние века, — сказал Вилемсон, спрыгивая с лошади. — Челноки, кони, камни... Отдохнем у Робин Гуда.

Могучее двуногое дерево стояло на пригорке. Ветер и старость сорвали кору со стволов двух сросшихся тополей — босой гигант в коротких штанах был и впрямь похож на шотландского героя. Робин Гуд шумел и размахивал руками.

— Ровно десять верст до дому, — сказал Вилемсон, привязывая лошадей к правой ноге Робин Гуда. Мы спрятались от дождя в маленькой пещере под стволом и закурили.

Начальник геологической партии Вилемсон не был геологом. Он был военный моряк, командир подводной лодки. Лодка сбилась с курса, всплыла у берегов Финляндии. Экипаж был отпущен, но командира Маннергейм продержал целых полгода в зеркальной камере. Вилемсон был в конце концов выпущен, приехал в Москву. Невропатологи и психиатры настояли на демобилизации, с тем чтобы Вилемсону работать где-нибудь на чистом воздухе, в лесу, в горах. Так он стал начальником геологической разведочной группы.

С последней пристани мы поднимались десять суток вверх по горной реке — на шестах проталкивая челнок-основку вдоль берегов. Пятые сутки мы ехали верхом, пото-

му что реки уже не было — осталось только каменистое русло. Еще день лошади шли тайгой по выючной тропе, и путь казался бесконечным.

В тайге все неожиданно, все — явление: луна, звезды, зверь, птица, человек, рыба. Незаметно поредел лес, разошлись кусты, тропа превратилась в дорогу, и перед нами возникло огромное кирпичное замшелое здание без окон. Круглые пустые окна казались бойницами.

— Откуда кирпич? — спросил я, пораженный необыкновенностью старого строения в таежной глуши.

— Молодец, — крикнул Вилемсон, осаживая коня. — Увидел! Завтра все поймешь!

Но и на другой день я ничего не понял. Мы снова были в пути, мы скакали по лесной дороге странной прямизны. Молодой березняк кое-где перебежал дорогу, ели с обеих сторон протягивали друг другу косматые старые лапы, порыжелые от старости, но синее небо не закрывалось ветвями ни на минуту. Красный от ржавчины вагонный скат рос из земли, как дерево без сучьев и листьев. Мы остановили лошадей.

— Это узкоколейка, — сказал Вилемсон. — Шла от завода до склада — того, кирпичного. Вот, слушай. Здесь когда-то, еще при царе, была бельгийская железорудная концессия. Завод, две домны, узкоколейка, поселок, школа, певички из Вены. Концессия давала большие барыши. Железо плавил в баржах по паводкам — весной и осенью. Срок концессии кончался в 1912 году. Русские промышленники во главе с князем Львовым, которым не давали спокойно спать сказочные барыши бельгийцев, просили у царя передать дело им. Они добились успеха — концессия бельгийцам не была продлена. От оплаты затрат бельгийцы отказались. Они ушли. Но, уходя, взорвали все — завод и домны, в поселке камня на камне не оставили. Даже узкоколейку разобрали до последнего стыка рельс. Все надо было начинать сначала. Не на это рассчитывал князь Львов. Не успели начать заново — война. Затем — революция, гражданская война. И вот сейчас, в 1930 году, — мы здесь. Вот домны, — Вилемсон показал куда-то вправо, но, кроме бурной зелени, я не увидел ничего. — А вот и завод, — сказал Вилемсон.

Перед нами было большое неглубокое ущелье, падь, сплошь заросшая молодым лесом. Посредине ущелье горбилось, и горб смутно напоминал остов какого-то разрушенного здания. Тайга затянула остатки завода, и на

обломанной трубе, как на вершине скалы, сидел бурый ястреб.

— Надо знать, чтобы видеть, что здесь был завод,— сказал Вилемсон.— Завод без человека. Знатная работа. Всего двадцать лет. Двадцать травяных поколений: порея, осоки, кипрея... И нет цивилизации. И ястреб сидит на заводской трубе.

— У человека такой путь гораздо длиннее,— сказал я.

— Гораздо короче,— сказал Вилемсон.— Людских поколений надо меньше.— И, не постучав, он открыл дверь ближайшей избы.

Серебряноголовый огромный старик в касторовом черном сюртуке старинного покроя, в золотых очках сидел за грубым столом, оструганным, отмытым добела. Подагрические синеватые пальцы обнимали темный переплет толстой кожаной книги с серебряными застежками. Голубые глаза с красными старческими прожилками спокойно смотрели на нас.

— Здравствуйте, Иван Степанович,— сказал Вилемсон, подходя.— Вот, гостя к вам привел.— Я поклонился.

— Все роете?— захрипел старик в золотых очках.— Пустое дело, пустое. Угостили бы вас чаем, ребята, да все в разгоне. Бабы с малышами по ягоды ушли, сыны на охоте. Засим— простите. У меня это время особое,— и Иван Степанович постучал пальцем по толстой книге.— Впрочем, вы мне не мешаете.

Застежка щелкнула, и книжка открылась.

— Что за книга?— спросил я невольно.

— Библия, сынок. Других книг не держу в доме уже двадцать лет... Мне слушать лучше, чем читать,— глаза ослабли.

Я взял в руки Библию. Иван Степанович улыбнулся. Книга была на французском языке.

— Я не умею по-французски.

— То-то,— сказал Иван Степанович и затрещал страницами. Мы вышли.

— Кто это такой?— спросил я Вилемсона.

— Бухгалтер, бросивший вызов миру. Иван Степанович Бугреев, вступивший в борьбу с цивилизацией. Он— единственный, кто остался в этой глуши с двенадцатого года. Был у бельгийцев главным бухгалтером. Уничтожением заводов был так ошеломлен, что сделался последователем Руссо. Видите, какой патриарх. Ему лет семьдесят, я думаю. Восемь сыновей. Дочерей у него нет. Старуха жена. Внуки. Дети грамотны. Они успели выучиться

в школе. Внучат старик учить грамоте не дает. Рыбная ловля, охота, огород какой-то, пчелы и французская Библия в дедовском пересказе — вот их жизнь. Верст за сорок здесь есть поселок, школа, магазин. Я ухаживаю за ним — есть слухи, что он хранит подземную карту здешних краев, — осталась от бельгийских разведок. Возможно, что это и правда. Разведки-то были — я сам встречал в тайге чьи-то старые шурфы. Не дает старик карту. Не хочет сократить нам работу. Придется обойтись без нее.

Мы ночевали в избе у старшего сына Ивана Степановича — Андрея. Андрею Бугрееву было лет сорок.

— Что же не пошел шурфовщиком ко мне? — сказал Вилемсон.

— Отец не одобряет, — сказал Андрей Бугреев.

— Заработал бы денег!

— Да денег-то у нас хватает. Здесь ведь зверя богато. Лесозаготовки тоже. Да и по хозяйству работы много — дед ведь на каждого план составляет. Трехлетний, — улыбнулся Андрей.

— Вот, возьми газету.

— Не надо. Отец узнает. Да и читать я почти научился.

— А сын? Ему ведь пятнадцатый год.

— А Ванюшка и вовсе неграмотен. Отцу скажите, а со мной что говорить. — И Андрей Иванович стал яростно стаскивать сапоги. — А что, верно, здесь школу строить будут?

— Верно. Через год откроют. А ты вот на разведку и работать не хочешь. Мне каждый человек дорог.

— Где все твой-то? — сказал Андрей Иванович, деликатно меняя тему разговора.

— На Красном ключе. По старым шурфам ковыряемся. У Ивана Степановича ведь есть карта, а, Андрей?

— Нет у него никакой карты. Враки это все. Брехня.

На свет вдруг выскочило встревоженное и озлобленное лицо Марьи, Андреевой жены:

— Нет, есть! Есть! Есть!

— Марья!

— Есть! Есть! Я десять лет назад сама видела.

— Марья!

— На черта хранить эту проклятую карту? Зачем Ванюшка неграмотный? Живем как звери. Травой скоро зарастем!

— Не зарастете, — сказал Вилемсон. — Будет поселок. Город будет. Завод будет. Жизнь будет. И хоть певичек

венских не будет, зато школы, театры. Ванюшка твой еще станет инженером.

— Не станет, не станет,— заплакала Марья.— Ему уж жениться пора. А кто за него пойдет, за неграмотного?

— Что за шум? — Иван Степанович стоял на пороге.— Ты, Марья, иди к себе — спать пора. Андрей, за женой плохо смотришь. А вы, граждане хорошие, в семью мою ссор не вносите. Карта у меня есть, и я ее не дам, — не нужно все это для жизни.

— Нам не очень нужна ваша карта, — сказал Вилемсон.— Мы за год работы свою вычертим. Богатства открыты. Завтра Васильчиков привезет чертежи, — будем лес валить для поселка.

Иван Степанович вышел, хлопнув дверью. Все заторопились спать.

Я проснулся от присутствия многих людей. Рассвет осторожно входил в комнату. Вилемсон сидел у стены прямо на полу, вытянув грязные босые ноги, и вокруг него громко дышало все семейство Бугреевых, все его восемь сыновей, восемь снох, двадцать внучат и пятнадцать внуков. Впрочем, внучата и внучки дышали где-то на крыльце. Не было только самого Ивана Степановича да его старушки жены — востроносенькой Серафимы Ивановны.

— Так будет? — спрашивал задыхающийся голос Андрея.

— Будет.

— А как же он? — И все Бугреевы глубоко вздохнули и замерли.

— А что он? — спросил Вилемсон твердо.

— Дед умрет, — жалобно выговорил Андрей, и все Бугреевы вздохнули снова.

— Может быть, и не умрет, — неуверенно сказал Вилемсон.

— И бабка умрет. — И снохи заплакали.

— Мать ни в коем случае не умрет, — заверил Вилемсон и добавил: — Впрочем, она женщина пожилая.

Вдруг все зашумели, зашевелились. Внучата помоложе юркнули в кусты, снохи бросились к своим избам. От дедовской избы к нам медленно шел Иван Степанович, держа в обеих руках огромную, грязную, пахнущую землей связку бумаг.

— Вот она, карта. — Иван Степанович держал в руках пергаментные слежавшиеся листы, и пальцы его дрожали. Из-за его могучей спины выглядывала Серафима Иванов-

на.— Вот — отдаю. Двадцать лет. Сима, прости, Андрей, Петр, Николай, все сродники — простите.— Бугреев заплакал.

— Ну, полно, полно, Иван Степанович,— сказал Вилемсон.— Не волнуйся. Радуйся, а не огорчайся.— И велел мне держаться поближе к Бугрееву. Старик вовсе не думал умирать. Он скоро успокоился, помолодел и болтал с утра до вечера, хватая за плечи меня, Вилемсона, Васильчикова,— все рассказывал о бельгийцах, как что было, где стояло, какие были прибыли у хозяев. Память у старика была хорошая.

В пергаментной, пахнущей землей связке бумаг была подземная карта этого края, составленная бельгийцами. Руды: золото, железо... Драгоценные камни: топаз, бирюза, берилл... Самоцветы: агат, яшма, горный хрусталь, малахит... Не было только тех камней, ради которых и приехал сюда Вилемсон.

Иван Степанович не отдал алмазной карты. Алмазы на Вишере нашли только через тридцать лет.

(1959)

## НЕОБРАЩЕННЫЙ

Я бережно храню свой старый складной стетоскоп. Это — подарок в день окончания фельдшерских лагерных курсов от Нины Семеновны — руководителя практики по внутренним болезням.

Стетоскоп этот — символ и знак возвращения моего к жизни, обещание свободы, обещание воли, сбывшееся обещание. Впрочем, свобода и воля — разные вещи. Я никогда не был вольным, я был только свободным во все взрослые мои годы. Но все это было позже, много позже того самого дня, когда я принял этот подарок с чуть затаенной болью, с чуть затаенной грустью, как будто не мне, а кому-то другому следовало подарить этот стетоскоп — символ и знак главной моей победы, главной моей удачи на Дальнем Севере, на рубеже смерти и жизни. Я отчетливо чувствовал все это — не знаю, понимал ли, но чувствовал безусловно, укладывая стетоскоп рядом с собой под вытертое лагерное одеяло, бывшее солдатское, одеяло второго, а то и третьего срока, которые давались курсантам. Я гладил стетоскоп отмороженными

пальцами, и пальцы не понимали — дерево это или железо. Однажды из мешка, собственного мешка, я на ощупь вынул стетоскоп вместо ложки. И в этой ошибке был глубокий смысл.

Бывшие заключенные, которым лагерь достался легко, — если кому-нибудь лагерь может быть легок, — считают самым трудным временем своей жизни послелагерное бесправие, послелагерные скитания, когда никак не удавалось обрести бытовую устойчивость — ту самую устойчивость, которая помогла им выжить в лагере. Эти люди как-то приспособились к лагерю, и лагерь приспособился к ним, давая им еду, крышу и работу. Привычки нужно было резко менять. Люди увидели крушение своих надежд, столь скромных. Доктор Калембет, отбывший пять лет своего лагерного срока, не справился с послелагерной волей и через год покончил с собой, оставив записку: «Дураки жить не дают». Но дело было не в дураках. Другой врач, доктор Миллер, с необычайной энергией всю войну доказывал, что он не немец, а еврей, — кричал об этом на каждом углу, в каждой анкете. Еще был третий, доктор Браудэ, — пересидел три года из-за своей фамилии. Доктор Миллер знал, что судьба шутить не любит. Доктору Миллеру удалось доказать, что он не немец. Доктор Миллер был освобожден в срок. Но уже через год вольной жизни доктора Миллера он был обвинен в космополитизме. Впрочем, доктора Миллера еще не обвиняли. Грамотный начальник, читавший газеты и следивший за художественной литературой, пригласил доктора Миллера для предварительной беседы. Ибо приказ есть приказ, а угадать «линию» раньше приказа — большое удовольствие грамотных начальников. То, что началось в центре, обязательно дойдет в свое время до Чукотки, до Индигирки и Яны, до Колымы. Доктор Миллер все это хорошо понимал. В поселке Аркагала, где Миллер работал врачом, в яме для нечистот утонул поросенок. Поросенок задохся в дерьме, но был вытащен, и началась одна из самых острых тяжб; в разрешении вопроса участвовали все общественные организации. Вольный поселок — человек сто начальников и инженеров с семьями требовали, чтобы поросенок был отдан в вольную столовую: это была бы редкость — свинья отбивная, сотни свиных отбивных. У начальства текли слюнки. Но начальник лагеря Кучеренко настаивал, чтобы поросенок был продан в лагерь — и весь лагерь, вся зона обсуждали судьбу поросенка несколько дней. Все остальное было забыто. В поселке шли



собрания — партийной организации, профсоюзной организации, бойцов отряда охраны.

Доктор Миллер, бывший зэка, начальник санитарной части поселка и лагеря, должен был решить этот острый вопрос. И доктор Миллер решил — в пользу лагеря. Был написан акт, в котором говорилось, что поросенок утонул в дерьме, но может быть использован для лагерного котла. Таких актов на Колыме было немало. Компот, который провонял керосином. «К продаже в магазине поселка вольнонаемных не годится, но может быть промыт и продан в лагерный котел».

Вот этот акт о поросенке Миллер подписал за день до беседы о космополитизме. Это — простая хронология, то, что остается в памяти, как жизненно важное, отметное.

После беседы со следователем Миллер не пошел домой, а вошел в зону, надел халат, открыл свой кабинет, шкаф, достал шприц и ввел себе в вену раствор морфия.

Зачем весь этот рассказ — о врачах-самоубийцах, о поросенке, утонувшем в нечистотах, о радости заключенных, которой не было границ? А вот зачем.

Для нас — для меня и для сотен тысяч других, которые работали в лагере не врачами, послелагерное время было сплошным счастьем, ежедневным, ежечасным. Слишком грозен был ад за нашими плечами, и никакие мытарства по спецотделам и отделам кадров, никакие скитания, никакое бесправие тридцать девятой статьи паспортной системы не лишали нас этого ощущения счастья, радости — по сравнению с тем, что мы видели в нашем вчерашнем и позавчерашнем дне.

Для курсанта фельдшерских курсов попасть на практику в третье терапевтическое отделение было большой честью. Третьим отделением руководила Нина Семеновна — бывший доцент кафедры диагностической терапии Харьковского медицинского института.

Только два человека, два курсанта из тридцати могли проходить месячную практику в третьем терапевтическом отделении.

Практика, живое наблюдение за больными — ах, как это бесконечно далеко от книги, от «курса». Медиком нельзя стать по книгам — ни фельдшером, ни врачом.

В третье отделение пойдут только двое мужчин — я и Бокис.

— Двое мужчин? Почему?

Нина Семеновна была сгорбленная зеленоглазая старая женщина, седая, морщинистая, недобрая.

— Двое мужчин? Почему?

— Нина Семеновна ненавидит женщин.

— Ненавидит?

— Ну, не любит. Словом, двое мужчин. Счастливицы.

Староста курсов, Муза Дмитриевна, привела меня и Бокиса перед зеленые очи Нины Семеновны.

— Вы давно здесь?

— С тридцать седьмого.

— А я—с тридцать восьмого. На «Эльгене» была сначала. Триста родов там приняла, а до «Эльгена» роды не принимала. Потом война — муж у меня погиб в Киеве. И двое детей. Мальчики. Бомба.

Вокруг меня умерло больше людей, чем в любом сражении войны. Умерло без всякой войны, до всякой войны. И все же. Горе бывает разное, как и счастье.

Нина Семеновна села на койку больного, отвела одеяло.

— Ну, начнем. Берите в руки стетоскоп, приставьте к груди больного и слушайте... Французы слушают через полотенце. Но стетоскоп — вернее, надежней всего. Я не поклонница фонендоскопов, врач-барин пользуется фонендоскопом — ему лень нагнуться к больному. Стетоскоп... То, что я показываю вам, вы не найдете ни в одном учебнике. Слушайте.

Скелет, обтянутый кожей, покорно выполнял команду Нины Семеновны. Выполнял и мои команды.

— Слушайте этот коробчатый звук, этот глухой оттенок. Запомните его на всю жизнь, как и эти кости, эту сухую кожу, этот блеск в глазах. Запомните?

— Запомню. На всю жизнь.

— Помните, какой звук был вчера? Слушайте больного снова. Звук изменился. Описывайте все это — записывайте в историю болезни. Смело. Твердой рукой.

В палате было двадцать больных.

— Интересных больных сейчас нет. А то, что вы видели, — это голод, голод и голод. Садитесь слева. Вот сюда, на мое место. Берите больного левой рукой за плечи. Тверже, тверже. Что слышится?

Я рассказывал.

— Ну, пора обедать. Идите, вас покормят в раздатке.

Раздобрившая раздатчица Шура щедрой рукой налила нам «докторский» обед. Темные глаза сестры-хозяйки

улыбались мне, но больше улыбались самой себе, внутрь себя самой.

— Почему это, Ольга Томасовна?

— А-а, вы заметили. Я всегда думаю о другом. О прошлом. О вчерашнем. Стараюсь не видеть сегодняшнего.

— Сегодняшнее — не очень плохое, не очень страшное.

— Налить вам еще супу?

— Налейте.

Мне было не до темных глаз. Урок у Нины Семеновны, овладение лечебным искусством важнее было мне всего на свете.

Нина Семеновна жила в отделении, в комнате, называемой на Колыме «кабинкой». Никто никогда, кроме хозяйки, не входил туда. Убирала и подметала пол хозяйка сама. Мыла ли она сама пол — не знаю. В открытую дверь была видна жесткая, плохо застеленная койка, больничная тумбочка, табуретка, беленые стены. Был еще кабинетик рядом с кабинкой, только дверь открывалась в палату, а не в сени. В кабинетике — стол вроде письменного, две табуретки, кушетка.

Все было так, как и в других отделениях, и чем-то непохоже: цветов, что ли, здесь не было — ни в кабинке, ни в кабинетике, ни в палате. А может быть, строгость Нины Семеновны, ее безулыбчатость виновата? Темно-зеленым, изумрудным огнем ее глаза вспыхивали как-то невпопад, не к месту. Глаза вспыхивали без связи с разговором, с делом. Но глаза жили не сами по себе — а жили вместе с чувствами и мыслями Нины Семеновны.

В отделении не было дружбы, даже самой поверхностной дружбы санитарок, медсестер. Все приходили на работу, на службу, на дежурство, и было видно, что истинная жизнь сотрудников третьего терапевтического отделения — в женском бараке, после службы, после работы. Обычно в больницах лагерных истинная жизнь приклеивается, прилипает к месту и времени работы — в отделение идут радостно, чтоб скорее расстаться с проклятым баракком.

В третьем терапевтическом отделении не было дружбы. Санитарки и сестры не любили Нину Семеновну. Только уважали. Боялись. Боялись страшного «Эльгена», совхоза колымского, где и в лесу и на земле работают женщины-заключенные.

Боялись все, кроме Шуры-раздатчицы.

— Мужиков водить сюда — трудное дело, — говорила

Шура, с грохотом зашвыривая вымытые миски в шкаф.— Но я уж, слава богу, на пятом месяце. Скоро отправят в «Эльген»—освободят! Мамок освобождают каждый год: один у нашего брата шанс.

— Пятьдесят восьмую не освобождают.

— У меня десятый пункт. Десятый пункт освобождают. Не троцкисты. Катюшка тут в прошлом году на моем месте работала. Ее мужик, Федя, сейчас со мной живет—Катюшку освободили с ребенком, приходила прощаться. Федя говорит: «Помни, я тебя освободил». Это уж не по сроку, не по амнистии, не по зеленому прокурору, а собственным способом, самым надежным... И верно—освободил. Кажется, и меня освободил...

Шура доверительно показала на свой живот.

— Наверное, освободил.

— Вот то-то и оно. Из отделения этого проклятого я уйду.

— А что тут за тайна, Шура?

— Увидишь сам. Давайте-ка лучше—завтра воскресенье—варить медицинский суп. Хоть Нина Семеновна и не очень любит эти праздники... Разрешит все же...

Медицинский суп—это был суп из медикаментов—всевозможных корней, мясных кубиков, растворенных в физиологическом растворе,—и соли не надо, как восхищенно сообщила мне Шура... Кисели черничные и малиновые, шиповник, блинчики.

Медицинский обед был одобрен всеми. Нина Семеновна доела свою порцию и встала.

— Зайдите ко мне в кабинет.

Я вошел.

— У меня есть книжка для вас.

Нина Семеновна порылась в ящике стола и достала книжку, похожую на молитвенник.

— Евангелие?

— Нет, не Евангелие,—медленно сказала Нина Семеновна, и зеленые глаза ее заблестели.—Нет, не Евангелие. Это—Блок. Берите.—Я взял в руки благоговейно и робко грязно-серый томик малой серии «Библиотеки поэта». Грубой, еще приисковой кожей отмороженных пальцев моих провел по корешку, не чувствуя ни формы, ни величины книги. Две бумажных закладки были в томике.

— Прочтите мне вслух эти два стихотворения. Где закладки.

— «Девушка пела в церковном хоре». «В голубой далекой спальне». Я когда-то знал наизусть эти стихи.

— Вот как? Прочтите.

Я начал читать, но сразу забыл строчки. Память отказывалась «выдавать» стихи. Мир, из которого я пришел в больницу, обходился без стихов. В моей жизни были дни, и немало, когда я не мог вспомнить и не хотел вспоминать никаких стихов. Я радовался этому, как освобождению от лишней обузы — ненужной в моей борьбе, в нижних этажах жизни, в подвалах жизни, в выгребных ямах жизни. Стихи там только мешали мне.

— Читайте по книжке.

Я прочел оба стихотворения, и Нина Семеновна заплакала.

— Вы понимаете, что мальчик-то умер, умер. Идите, читайте Блока.

Я с жадностью читал и перечитывал Блока всю ночь, все дежурство. Кроме «Девушки» и «Голубой спаленки» там были «Заклятье огнем и мраком», там были огненные стихи, посвященные Волоховой. Эти стихи разбудили совсем другие силы. Через три дня я вернул Нине Семеновне книжку.

— Вы думали, что я вам даю Евангелие. Евангелие у меня тоже есть. Вот... — Похожий на Блока, но не грязно-голубой, а темно-коричневый томик был извлечен из стола. — Читайте апостола Павла. К коринфянам... Вот это.

— У меня нет религиозного чувства, Нина Семеновна. Но я, конечно, с великим уважением отношусь...

— Как? Вы, проживший тысячу жизней? Вы — воскресший?.. У вас нет религиозного чувства? Разве вы мало видели здесь трагедий?

Лицо Нины Семеновны сморщилось, потемнело, седые волосы рассыпались, выбились из-под белой врачебной шапочки.

— Вы будете читать книги... журналы.

— Журнал Московской патриархии?

— Нет, не Московской патриархии, а оттуда...

Нина Семеновна взмахнула белым рукавом, похожим на ангельское крыло, показывая вверх... Куда? За проволоку зоны? За больницу? За ограду вольного поселка? За море? За горы? За границу? За рубеж земли и неба?..

— Нет, — сказал я неслышным голосом, холодея от внутреннего своего опустошения. — Разве из человеческих трагедий выход только религиозный? — Фразы ворочались в мозгу, причиняя боль клеткам мозга. Я думал, что

я давно забыл такие слова. И вот вновь явились слова — и главное, повинуюсь моей собственной воле. Это было похоже на чудо. Я повторил еще раз, как бы читая написанное или напечатанное в книжке: — Разве из человеческих трагедий выход только религиозный?

— Только, только. Идите.

Я вышел, положив Евангелие в карман, думая почему не о коринфянах, и не об апостоле Павле, и не о чуде человеческой памяти, необъяснимом чуде, только что случившемся, а совсем о другом. И, представив себе это «другое», я понял, что я вновь вернулся в лагерный мир, в привычный лагерный мир, возможность «религиозного выхода» была слишком случайной и слишком неземной. Положив Евангелие в карман, я думал только об одном: дадут ли мне сегодня ужин.

Теплые пальцы Ольги Томасовны взяли меня за локоть. Темные глаза ее смеялись.

— Идите, идите,— сказала Ольга Томасовна, подвигая меня к выходной двери.— Вы еще не обращенный. Таким ужин у нас не дают.

На следующий день я вернул Евангелие Нине Семеновне, и она резким движением запрятала книжку в стол.

— Ваша практика кончается завтра. Давайте, я подпишу вашу карточку, вашу зачетку. И вот вам подарок — стетоскоп.

1963

## ЛУЧШАЯ ПОХВАЛА

Жила-была красавица. Марья Михайловна Добролюбова. Блок о ней писал в дневнике: главари революции слушали ее беспрекословно, будь она иначе и не погибни,— ход русской революции мог бы быть иной. Будь она иначе!

Каждое русское поколение — да и не только русское выводит в жизнь одинаковое число гигантов и ничтожеств. Гениев, талантов. Времени надлежит — дать герою, таланту дорогу — или убить случайностью, или удушить похвалой и тюрьмой.

Разве Маша Добролюбова меньше, чем Софья Перовская? Но имя Софьи Перовской на фонарных дощечках улиц, а Мария Добролюбова забыта.

Даже брат ее меньше забыт — поэт и сектант Александр Добролюбов.

Красавица, воспитанница Смольного института, Маша Добролюбова хорошо понимала свое место в жизни. Жертвенность, воля к жизни и смерти была у нее очень велика.

Девушкой работает она «на голоде». Сестрой милосердия на русско-японской войне.

Все эти пробы нравственно и физически только увеличивают требовательность к самой себе.

Между двумя революциями Маша Добролюбова сближается с эсерами. Она не пойдет «в пропаганду». Малые дела не по характеру молодой женщины, испытанной уже в жизненных бурях.

Террор — «акт» — вот о чем мечтает, чего требует Маша. Маша добивается согласия руководителей. «Жизнь террориста — полгода», как говорил Савинков. Получает револьвер и выходит «на акт».

И не находит в себе силы убить. Вся ее прошлая жизнь встает против последнего решения.

Борьба за жизнь умирающих от голода, борьба за жизнь раненых.

Теперь же надо смерть превратить в жизнь.

Живая работа с людьми, героическое прошлое Маши оказали ей плохую услугу в подготовке себя к покушению.

Нужно быть слишком теоретиком, слишком догматиком, чтобы отвлечься от живой жизни. Маша видит, что ею управляет чужая воля, и поражается этому, стыдится сама себя.

Маша не находит в себе силы выстрелить. И жить страшно в позоре, душевном кризисе острейшем. Маша Добролюбова стреляет себе в рот.

Было Маше 29 лет.

Это светлое, страстное русское имя я услышал впервые в Бутырской тюрьме.

Александр Георгиевич Андреев, генеральный секретарь общества политкаторжан, рассказывал мне о Маше.

— В терроре есть правило. Если покушение почему-либо не удастся — метальщик растерялся, или запал не сработал, или еще что, — второй раз исполнителя не поставят. Если террористы те же самые, что и в первый неудачный раз, — жди провала.

— А Каляев?

— Каляев исключение.

Опыт, статистика, подпольный опыт говорят, что внутренне собраться на поступок такой жертвенности и силы можно только один раз. Судьба Марьи Михайловны Добролюбовой — самый известный пример из нашей подпольной, изустной хрестоматии.

— Вот таких мы брали в боевики, — и серебряноголовый, темнокожий Андреев резким движением показал на Степанова, сидевшего на нарах, обхватив колени руками. Степанов — молодой монтер электросетей МОГЭСа, молчаливый, незаметный, с неожиданным пламенем темно-голубых глаз. Молча получал миску, молча ел, молча принимал добавку, часами сидел на краю нар, обхватив колени руками, думая о чем-то своем. Никто в камере не знал, за что привлечен Степанов. Не знал даже общительный Александр Филиппович Рындич, историк.

В камере восемьдесят человек, а мест в ней двадцать пять. Железные койки, приращенные к стенам, покрыты деревянными щитами, крашенными серой краской, под цвет стен. Около параши, у двери — гора запасных щитов, на ночь будет застелен проход чуть не сплошь, оставляют только два отверстия, чтобы нырнуть вниз, под нары, — там тоже лежат щиты, и на них спят люди. Пространство под нарами называется «метро».

Напротив двери с глазком и «кормушкой» — огромное зарешеченное окно с железным «намордником». Дежурный комендант, принимая суточную смену, проверяет акустическим способом целость решетки — проводит по ней сверху вниз ключом — тем же, которым запираются камеры. Этот особенный звон, да еще грохот дверного замка, запираемого на два оборота на ночь и днем — на один оборот, да щелканье ключом по медной поясной пряжке — вот, значит, для чего нужны пряжки — предупредительный сигнал конвойного своим товарищам во время путешествий по бесконечным коридорам Бутырок, — вот три элемента симфонии «конкретной» тюремной музыки, которую запоминают на всю жизнь.

Жители «метро» сидят днем на краю нар, на чужих местах, ждут своего места. Днем на щитах лежит человек пятьдесят. Это те, кто дождался очереди спать и жить на настоящем месте. Кто пришел в камеру раньше других — занимает лучшее место. Лучшими считаются места у окна, самые дальние от двери. Иногда следствие шло быстро, и арестант не успевал добраться до окна, до струйки свежего воздуха. Зимой эта видимая полоска живого воздуха робко сползала по стеклам быстро куда-то



вниз, а летом была тоже видимой — на границе с душным, потным зноем переполненной камеры. До этих блаженных мест добирались полгода: из «метро» к вонючей параше. От параша — «к звездам»!

В холодные зимы старожилы держались середины камеры, предпочитая тепло свету. Каждый день кого-то приводили, кого-то уводили. «Очередь» мест была не только развлечением. Нет, справедливость — самое главное на свете.

Человек тюрьмы впечатлителен. Колоссальная нервная энергия тратится в пустяки, в какой-нибудь спор о месте — до истерики, до драки. А мало ли тратится духовных и физических сил, изобретательности, догадки, риска, чтобы приобрести и сохранить какую-нибудь железку, огрызок карандаша, грифель — вещи, запрещенные тюремными правилами — и тем более желаемые. Здесь проба личности, в этом пустяке.

Никто здесь мест не покупает, не нанимает за себя дежурить по уборке камеры. Это запрещено строжайше. Здесь нет богатых и бедных, нет генералов и солдат.

Никто не может самовольно занять место, которое освободилось. Этим распоряжается выборный староста. Его право — дать лучшее место новичку, если тот старик.

С каждым новичком староста говорит сам. Очень важно успокоить новичка, вселить в него душевную бодрость. Всегда можно отличить тех, кто переступает порог тюремной камеры не впервые. Такие — спокойней, взгляд их живее, тверже. Такие разглядывают своих новых соседей с явным интересом, зная, что общая камера ничем особенным не грозит. Такие сразу, с первых часов различают лица и людей. Тем же, кто пришел впервые, — нужно несколько дней, пока камера тюрьмы перестанет быть общеликой, враждебной, непонятной...

В начале февраля — а может быть, в конце января 1937 года дверь шестьдесят седьмой камеры отворилась, и на пороге встал человек, серебряноголовый, чернобровый и темноглазый, в расстегнутом зимнем пальто со старым каракулевым воротником. В руках человек держал холщовый мешочек, «торбочку», как говорят на Украине. Старик, шестидесяти лет. Староста указал новичку место — не в «метро», не к параше, а рядом со мной, в середине камеры.

Серебряноголовый человек поблагодарил старосту, оценив. Черные глаза молодо блестели. Человек разгля-

дывал лица с жадностью, как будто долго сидел в одиночке и вдыхает полной грудью чистый воздух, наконец-то, общей камеры тюрьмы.

Ни страха, ни испуга, ни боли душевной. Истертый воротник пальто, помятый пиджачок доказывали, что хозяин знает, знал и раньше, что такое тюрьма, и арестован, конечно, дома.

— Вы — когда арестованы?

— Два часа назад. У себя дома.

— Вы — эсер?

Человек расхохотался. Зубы у него были белые, блестящие, но не протез ли это?

— Все стали физиономистами.

— Матушка-тюрьма!

— Да, эсер, и притом правый. Чудесно, что вы знаете эту разницу. Ваши однолетки не всегда подкованы в столь важном вопросе.

И добавил серьезно, глядя мне прямо в глаза немигающими, горящими своими черными глазами:

— Правый, правый. Настоящий. Я левых эсеров не понимаю. Отношусь с уважением к Спиридоновой, к Прошьяну, но все их действия... Моя фамилия — Андреев, Александр Георгиевич.

Александр Георгиевич приглядывался к соседям, давал им оценки, короткие, резкие, точные.

Суть репрессий не ускользнула от Андреева.

Мы всегда стирали вместе в бане, в знаменитой Бутырской бане, высланной желтым кафелем, на котором ничего нельзя написать и ничего нельзя нацарапать. Но почтовым ящиком была дверь, обитая железом изнутри и деревянная снаружи. Дверь была изрезана всяческими сообщениями. Время от времени эти сообщения срубали, соскабливали, как стирают грифель на грифельной доске, набивали новые доски, и «почтовый ящик» снова работал на полный ход.

Баня была большим праздником. В Бутырской тюрьме все следственные стирают себе белье сами — это давняя традиция. «Услуг» на сей счет казенных не существует, и от домашних не принимают. «Обезличенного» лагерного белья тоже тут, конечно, не было. Сушили белье в камере. На мытье, на стирку нам отводили много времени. Никто не торопился.

В бане я рассмотрел фигуру Андреева — гибкую, темнокожую, совсем не старческую, — а ведь Александру Георгиевичу было за шестьдесят.

Мы не пропускали ни одной прогулки — можно было оставаться в камере, полежать, сказаться больным. Но и мой личный опыт, и опыт Александра Георгиевича говорили, что прогулки нельзя пропускать.

Каждый день Андреев ходил до обеда по камере взад-перед — от окна до дверей. Чаще всего перед обедом.

— Это — старая привычка. Тысяча шагов в день — вот моя ежедневная норма. Тюремная порция. Два закона тюрьмы — поменьше лежать и поменьше есть. Арестант должен быть полуголодным, чтоб никакой тяжести на желудке не чувствовать.

— Александр Георгиевич, вы знали Савинкова?

— Да, знал. Я познакомился с ним за границей — на похоронах Гершуни.

Андрееву не надо было объяснять мне, кто такой Гершуни, — всех, кого он упоминал когда-либо, я знал по именам, представлял себе хорошо. И Андрееву это очень нравилось. Черные глаза его блестели, он оживлялся.

Эсеровская партия — партия трагической судьбы. Люди, которые за нее погибли, — и террористы, и пропагандисты — это были лучшие люди России, цвет русской интеллигенции, по своим нравственным качествам все эти люди, жертвовавшие и пожертвовавшие своими жизнями, были достойными преемниками героической «Народной воли», преемниками Желябова, Перовской, Михайлова, Кибальчича.

Эти люди перенесли огонь самых тяжелых репрессий — ведь жизнь террориста — полгода, по статистике Савинкова. Героически жили и героически умирали. Гершуни, Сазонов, Каляев, Спиридонова, Зильберберг — все эти личности не меньше, чем Фигнер или Морозов, Желябов или Перовская.

И в свержении самодержавия эсеровская партия сыграла великую роль. Но история не пошла по ее пути. И в этом была глубочайшая трагедия партии, ее людей.

Такие мысли приходили в голову часто.

Встреча с Андреевым укрепила меня в этих мыслях.

— Какой день вы считаете в своей жизни самым ярким?

— Мне даже и думать об ответе не надо — ответ давно готов. Этот день — 12 марта 1917 года. Перед войной меня судили в Ташкенте. По 102-й статье. Шесть лет каторги. Каторжная тюрьма — Псков, Владимир. 12 марта 1917 года я вышел на свободу. Сегодня 12 марта 1937 года, и я — в тюрьме!

Перед нами двигались люди Бутырской тюрьмы, близкие и чем-то чуждые Андрееву, вызывающие в нем жалость, вражду, сострадание.

Аркадий Дзидзиевский, знаменитый Аркаша гражданской войны, гроза всяческих батек Украины.

Фамилия эта названа Вышинским в допросах пятаковского процесса. Значит, умер позднее, назван по имени будущий мертвец Аркадий Дзидзиевский. Полусумасшедший после Лубянки и Лефортова. Пухлыми стариковскими руками разглаживал носовые цветные платки на колене. Платочков было три. «Это мои дочери — Нина, Лида, Ната».

Вот Свешников — инженер из Химстроя, которому следователь сказал: вот твое фашистское место, сволочь. Железнодорожный чин — Гудков: «У меня были пластинки с речами Троцкого, а жена — сообщила...» Вася Жаворонков: «Меня преподаватель на политкружке спрашивает — а если бы Советской власти не было, где бы ты, Жаворонков, работал?» — «Да так же и работал бы, в деле, как и сейчас...»

Еще один машинист — представитель московского центра «анекдотистов» (ей-богу — не вру!). Друзья собирались по субботам семьями и рассказывали друг другу анекдоты. Пять лет, Колыма, смерть.

Миша Выгон — студент Института связи: «Обо всем, что я увидел в тюрьме, я написал товарищу Сталину». Три года. Миша Выгон выжил, безумно откровенываясь, отрекаясь от всех своих бывших товарищей, пережил расстрелы, — сам стал начальником смены на том же прииске «Партизан», где погибли, где уничтожены все Мишины товарищи.

Синюков, завотделом кадров Московского комитета партии: сегодня написал заявление: «Льщу себя надеждой, что у Советской власти есть законы». Льщу!

Костя и Ника, пятнадцатилетние московские школьники, игравшие в камере в футбол мячом, сшитым из тряпок, — террористы, убившие Ханджяна. Много после узнал я, что Ханджяна застрелил Берия в собственном кабинете. А дети, которые обвинялись в этом убийстве, — Костя и Ника — погибли на Колыме в 1938 году, погибли, хотя и работать-то их не заставляли, — погибли просто от холода.

Капитан Шнайдер из Коминтерна. Присяжный оратор, веселый человек, показывает фокусы на камерных концертах.

Леня-злоумышленник, отвинтивший гайки на железнодорожном полотне, житель Тумского района Московской области.

Фальковский, чье преступление квалифицировано как 58—10, агитация; материал—письма Фальковского к невесте и письма ее—жениху. Переписка предполагает двух и более человек. Значит, 58, пункт 11—организация—много отяжеляющий дело.

Александр Георгиевич сказал тихо: «Здесь есть только мученики. Здесь нет героев».

— На одном моем «деле» есть резолюция Николая Второго. Военный министр докладывал царю об ограблении миноносца в Севастополе. Нам нужно было оружие, и мы взяли его с военного корабля. Царь написал на полях доклада: «Скверное дело».

Я начал гимназистом, в Одессе. Первое задание—бросил бомбу в театре. Это была вонючая бомба, безопасная. Экзамен, так сказать, сдавал. А потом пошло всерьез, больше. Я не пошел в пропаганду. Все эти кружки, беседы—очень трудно увидеть, ощутить конечный результат. Я пошел в террор. По крайней мере, раз—и квас!

Я был генеральным секретарем общества политкаторжан, пока это общество не распустили.

Огромная черная фигура метнулась к окну и, ухватив тюремную решетку, завывала. Эпилептик Алексеев, медведеобразный, голубоглазый, бывший чекист, тряс решетку и дико кричал: «На волю! На волю!»—и сполз с решетки в припадке. Над эпилептиком наклонились люди. Кто хватал руки, голову, ноги Алексеева.

И Александр Георгиевич сказал, показывая на эпилептика: «Первый чекист».

— Следователь у меня мальчик, вот несчастье. Ничего не знает о революционерах, и эсеры для него—вроде мастодонтов. Кричит только: сознавайтесь! Подумайте!

Я говорю ему: «Вы знаете, что такое эсеры?»—«Ну?»—«Если я вам говорю, что не делал,—значит, я не делал. А если я хочу вам солгать—никакие угрозы не изменят моего решения. Хотя бы немножко вам бы надо знать историю...»

Разговор был после допроса, но не было заметно по рассказу, что Андреев волнуется.

— Нет, он на меня не кричит. Я слишком стар. Он говорит только «подумайте». И мы сидим. Часами. Потом я подписываю протокол, и расстаемся до завтра.

Я придумал способ не скучать во время допросов. Я считаю узоры на стене. Стена оклеена обоями. Тысяча

четыреста шестьдесят два одинаковых рисунка. Вот обследование сегодняшней стены. Выключаю внимание. Репрессии были и будут. Пока существует государство.

Опыт, героический опыт политкаторжанина не нужен был, казалось, для новой жизни, которая шла новой дорогой. И вдруг оказалось, что дорога вовсе не новая, что все нужно: и воспоминания о Гершуни, и поведение на допросах, и умение считать узоры обоев на стене во время допроса. И героические тени своих товарищей, давно умерших на царской каторге, на виселице.

Андреев был оживлен, приподнят не тем нервным возбуждением, которое бывает почти у всех, попавших в тюрьму. Следственные ведь и смеются чаще, чем надо, по всяким пустяковым поводам. Смех этот, молодцеватость — защитная реакция арестанта, особенно на людях.

Оживление Андреева было другого рода. Это было как бы внутреннее удовлетворение тем, что он снова встал в ту же позицию, которую занимал всю свою жизнь и которая была ему дорога — и, казалось, — уходила в историю. Оказывается, нет, он еще нужен был времени.

Андреева не занимает истинность или ложность обвинений. Он знал, что такое массовые репрессии, и ничему не удивлялся.

В камере жил Ленька, семнадцатилетний юноша из глухой деревушки Тумского района Московской области. Неграмотный, он считал, что Бутырская тюрьма для него — величайшее счастье — кормят «от пуза», а люди какие хорошие! Ленька узнал за полгода следствия больше сведений, чем за всю свою прошлую жизнь. Ведь в камере каждый день читались лекции, и хоть тюремная память плохо усваивает слышанное, читанное, — все же в Ленькин мозг врезалось много нового, важного. Собственное «дело» Леньку не заботило. Он был обвинен в том же самом, что и чеховский злоумышленник, — в 1937 году он отвинчивал гайки на грузила с рельсов железной дороги. Это была явная пятьдесят восемь — семь — вредительство. Но у Леньки была еще и пятьдесят восемь — восемь — террор!

— А это что такое? — спросили во время одной из бесед с Ленькой.

— Судья за мной с револьвером гнался.

Над этим ответом много смеялись. Но Андреев сказал мне негромко и серьезно:

— Политика не знает понятия вины. Конечно, Ленька — Ленькой, но ведь Михаил Гоц был паралистик.

Это была блаженная весна тридцать седьмого года, когда еще на следствии не били, когда «пять лет» было штампованным оттиском приговоров Особых совещаний. «Пять рокив далеких таборів», как выражались украинские энкавэдэшники. Чекистами работников этих учреждений в то время уже не называли.

Радовались «пятеркам» — ведь русский человек радуется, что не десять, не двадцать пять, не расстрел. Радость была основательной — все было еще впереди. Все рвались на волю, на «чистый воздух», к зачетам рабочих дней.

— А вы?

— Нас — бывших политкаторжан — собирают на Дудинку, в ссылку. Навечно. Мне ведь много лет.

Впрочем, уже были в ходу «выстойки», когда по несколько суток не давали спать, «конвейер», когда следователи, отработав свою смену, менялись, а допрашиваемый сидел на стуле, пока не терял сознания.

Но «метод № 3» был еще впереди.

Я понимал, что моя тюремная деятельность нравится старому каторжанину. Я был не новичок, знал, чем и как надо утешать павших духом людей... Я был выборным старостой камеры. Андреев видел во мне — самого себя в свои молодые годы. И мой всегдашний интерес и уважение к его прошлому, мое понимание его судьбы было ему приятно.

Тюремный день проходил отнюдь не напрасно. Внутреннее самоуправление Бутырской следственной тюрьмы имело свои законы, и выполнение этих законов воспитывало характер, успокаивало новичков, приносило пользу.

Ежедневно читались лекции. Каждый, кто приходил в тюрьму, мог рассказывать что-то интересное о своей работе, жизни. Живой рассказ о Днепрострое простого слесаря-монтажника я помню и сейчас.

Доцент Военно-воздушной академии Коган прочел несколько лекций — «Как люди измерили Землю», «Звездный мир».

Жоржик Коспаров — сын первой секретарши Сталина, которую «шеф-пилот» довел до смерти в ссылках и лагерях, — рассказывал историю Наполеона.

Экскурсовод из Третьяковки рассказывал о Барбизонской школе живописи.

Плану лекций не было конца. Хранился план в уме — у старосты, у «культурга» камеры...

Каждого входящего, каждого новичка обычно удава-

лось уговорить рассказать в тот же вечер газетные новости, слухи, разговоры в Москве. Когда арестант привыкал, он находил в себе силы и для лекции.

Кроме того, в камере было всегда много книг — из знаменитой библиотеки Бутырской тюрьмы, не знающей изъятий. Здесь было много книг, каких не найдешь в вольных библиотеках. «История Интернационала» Илеса, «Записки» Массона, книги Кропоткина. Книжный фонд составлялся из пожертвований арестантов. Это была вековая традиция. Уже после меня, в конце тридцатых годов, и в этой библиотеке провели чистку.

Следственные изучали иностранные языки, читали вслух — О'Генри, Лондона, — со вступительным словом о творчестве, о жизни этих писателей выступали лекторы.

Время от времени — раз в неделю — устраивались концерты, где капитан дальнего плавания Шнайдер показывал фокусы, а Герман Хохлов, литературный критик «Известий», читал стихи Цветаевой и Ходасевича.

Хохлов был эмигрант, окончивший русский университет в Праге, просившийся на родину. Родина встретила его арестом, следствием, лагерным приговором. Никогда больше о Хохлове я не слышал. Роговые очки, близорукие голубые глаза, белокурые грязные волосы...

Кроме общеобразовательных занятий, в камере возникали, и часто, споры, дискуссии на очень серьезные темы.

Помню, Арон Коган, молодой, экспансивный, уверял, что интеллигенция дает образцы революционного поведения, революционной доблести, способна на высший героизм — выше рабочих и выше капиталистов, хотя интеллигенция и межклассовая «колеблющаяся» прослойка.

Я, со своим наибольшим тогда лагерным опытом, имел другое представление о поведении интеллигента в трудное время. Религиозники, сектанты — вот кто, по моим наблюдениям, имели огонь душевной твердости.

Тридцать восьмой год полностью подтвердил мою правоту — но Арона Когана уже не было в живых.

— Лжесвидетель! Мой товарищ! До чего мы дошли.

— Мы еще ни до чего не дошли. Уверяю тебя, если ты встретишься с подлецом — ты будешь с ним говорить, как будто и не было ничего.

И так случилось. В одной из «сухих бань» — так в Бутырской тюрьме называется обыск — в камеру втолкнули несколько человек — среди них был и знакомый Когана,



лжесвидетель. Коган не ударил его, говорил с ним. После «сухой бани» Арон рассказал мне все это.

Александр Георгиевич лекций не читал и в спорах участия не принимал, но прислушивался к этим спорам очень внимательно.

Как-то, когда я, отговорив свое, лег на нары — наши места были рядом, — Андреев сел около меня.

— Наверное, вы правы — но позвольте рассказать вам одну старую историю.

Я арестован не первый раз. В 1921 году меня выслали на три года в Нарым. Я расскажу вам хорошую историю о нарымской ссылке.

Вся ссылка устроена по одному образцу, по московскому приказу. Ссылные не имеют права общения с населением, ссылные вынуждены вариться в собственном соку.

Это — слабых растлевает, у сильных укрепляет характер, а иногда встречаются вещи и вовсе особенные.

Место жительства мне назначено очень дальнее, дальше всех и глуше всех. В долгом санном пути попадаю я на ночевку в деревушку, где ссылных целая колония — семь человек. Жить можно. Но я — слишком крупная дичь, мне нельзя — моя деревня еще за двести верст. Зима дрогнула, взрыв весны, мокрая пурга, дороги нет, и, к радости и моей, и моих конвойных, я остаюсь на целую неделю в колонии. Ссылных там семь человек. Два комсомольца-анархиста, муж и жена — последователи Петра Кропоткина, два сиониста — муж и жена, два правых эсера — муж и жена. Седьмой — православный богослов, епископ, профессор Духовной академии, читавший в Оксфорде лекции когда-то. Словом — пестрая компания. Все друг с другом во вражде. Бесконечные дискуссии, кружковщина самого дурного тона. Страшная жизнь. Мелкие ссоры, разрастающиеся в болезненные скандалы, взаимная недоброжелательность, вражда, злоба взаимная. Много свободного времени.

И все — каждый по-своему — думающие, читающие, честные, хорошие люди.

За неделю я о каждом подумал, каждого попытался понять.

Пурга легла наконец. Я уехал на целых два года в таежную глушь. Через два года мне разрешили — досрочно! — вернуться в Москву. И я возвращаюсь той же дорогой. На всем этом длинном пути у меня есть толь-

ко в одном месте знакомые — там, где меня задержала пурга.

Я ночую в этой же деревне. Все ссыльные здесь — все семь человек, никого не освободили. Но — я увидел там больше чем освобождение.

Там ведь были три семейных пары: сионисты, комсомольцы, эсеры. И профессор богословия. Так вот — все шесть человек приняли православие. Епископ всех их сагитировал, этот ученый профессор. Молятся теперь богу вместе, живут евангельской коммуной.

— Действительно, странная история.

— Я много думал об этом. Случай красноречивый. У всех этих людей — у эсеров, у сионистов, у комсомольцев, у всех шестерых была одна общая черта. Все они безгранично верили в силу интеллекта, в разум, в логос.

— Человек должен принимать решения чувством и не слишком верить разуму.

— Для решений не нужна логика. Логика — это оправдание, оформление, объяснение...

Прощаться нам было трудно. Александра Георгиевича вызвали «с вещами» раньше меня. Мы остановились на минуту у открытой двери камеры, и солнечный луч заставил нас обоих щурить глаза. Конвоир, негромко пощелкивая ключом о медную пряжку пояса, ждал. Мы обнялись.

— Желаю вам, — сказал Александр Георгиевич глухо и весело. — Желаю вам счастья, удачи. Берегите здоровье. Ну, — Андреев улыбнулся как-то особенно, по-доброму. — Ну, — сказал он, тихонько дергая меня за ворот рубахи. — Вы — можете сидеть в тюрьме, можете. Говорю вам это от всего сердца.

Похвала Андреева была самой лучшей, самой значительной, самой ответственной похвалой в моей жизни. Пророческой похвалой.

Справка журнала «Каторга и ссылка»: Андреев Александр Георгиевич, родился в 1882 г. В революционном движении с 1905 года в Одесской студенческой организации партии с.-р. и в общей; в Минске — в городской. В 1905—06 гг. в Черниговском и Одесском комитетах партии с.-р.; в Севастопольском комитете партии с.-р.; в 1907 г. в Южном областном комитете партии с.-р.; в 1908 г. в Ташкенте в боевом отряде при ЦК партии с.-р. Судился в Одессе в 1910 г. военным окр. судом, приговорен к 1 году крепости, и в 1913 г. в Ташкенте Туркестанским военным окружным судом по 102-й статье, приговорен к 6 го-

дам каторги. Каторгу отбывал в Псковской и Владимирской временных каторжных тюрьмах. Отсидел 10 лет 3 месяца (Крымское отделение).

У Андреева была дочь — Нина.

1964

## ПОТОМОК ДЕКАБРИСТА

О первом гусаре, знаменитом декабристе, написано много книг. Пушкин в уничтоженной главе «Евгения Онегина» так написал: «Друг Марса, Вакха и Венеры...»

Рыцарь, умница, необъятных познаний человек, слово которого не расходилось с делом. И какое большое это было дело!

О втором гусаре, гусаре-потомке, расскажу все, что знаю.

На Кадыкчане, где мы — голодные и бессильные — ходили, натирая в кровавые мозоли грудь, вращая египетский круговой ворот и вытаскивая из уклона вагонетки с породой, — шла «зарезка» штольни — той самой штольни, которая сейчас известна на всю Колыму. Египетский труд — мне довелось его видеть, испытать самому.

Подходила зима 1940/41 года, бесснежная, злая, колымская. Холод сжимал мускулы, обручем давил на виски. В дырявых брезентовых палатках, где мы жили летом, поставили железные печки. Но этими печами отапливался вольный воздух.

Изобретательное начальство готовило людей к зиме. Внутри палатки был построен второй, меньший каркас — с прослойкой воздуха сантиметров десять. Этот каркас (кроме потолка) был обшит толем и рубероидом, и получилась как бы двойная палатка — немногим теплей, чем брезентовая.

Первые же ночевки в этой палатке показали, что это — гибель, и гибель скорая. Надо было выбираться отсюда. Но как? Кто поможет? За одиннадцать километров был большой лагерь — Аркагала, где работали шахтеры. Наша командировка была участком этого лагеря. Туда, туда — в Аркагалу!

Но как?

Традиция арестантская требует, чтобы в таких случаях раньше всего, прежде всего обратились к врачу. На Ка-

дыкчане был фельдшерский пункт, а на нем работал «лепилой» какой-то недоучка-врач из бывших студентов Московского медицинского института — так говорили в нашей палатке.

Нужно большое усилие воли, чтобы после рабочего дня найти в себе силы подняться и пойти в амбулаторию, на прием. Одеваться и обуваться, конечно, не надо — все на тебе от бани до бани, — а сил нет. Жаль тратить отдых на тот «прием», который, возможно, кончится издевательством, может быть, побоями (и такое бывало). А самое главное — безнадежность, сомнительность удачи. Но в поисках случая нельзя пренебрегать ни малейшим шансом — это мне говорило тело, измученные мускулы, а не опыт, не разум.

Воля слушалась только инстинкта — как это бывает у зверей.

Через дорогу от палатки стояла избушка — убежище разведочных партий, поисковых групп, а то и «секретов» оперативки, бесконечных таежных патрулей.

Геологи давно ушли, и избушку сделали амбулаторией — кабинкой, в которой стоял топчан, шкаф с лекарством и висела занавеска из старого одеяла. Одеяло отгораживало койку-топчан, где жил «доктор».

Очередь на прием выстраивалась прямо на улице, на морозе.

Я протискался в избушку. Тяжелая дверь вдавила меня внутрь. Голубые глаза, большой лоб с залысиной и прическа — неременная прическа: волосы — утверждение себя. Волосы в лагере — свидетельство положения. Стригут ведь всех наголо. А тем, кого не стригут, — им все завидуют. Волосы — своеобразный протест против лагерного режима.

— Москвич? — это доктор спрашивал у меня.

— Москвич.

— Познакомимся.

Я назвал свою фамилию и пожал протянутую руку. Рука была холодная, чуть влажная.

— Лунин.

— Громкая фамилия, — сказал я, улыбаясь.

— Родной правнук. В нашем роде старшего сына называют либо Михаил, либо Сергей. Поочередно. Тот, пушкинский, был Михаил Сергеевич.

— Это нам известно. — Чем-то очень нелагерным дышала эта первая беседа. Я забыл свою просьбу, не решился внести в этот разговор неподобающую ноту. А я —

голодал. Мне хотелось хлеба и тепла. Но доктор об этом еще не подумал.

— Закуривай!

Отмороженными розовыми пальцами я стал скручивать папиросу.

— Да больше бери, не стесняйся. У меня дома о прадеде — целая библиотека. Я ведь студент медфака. Не доучился. Арестовали. У нас все в роду военные, а я вот — врач. И не жалею.

— Марса, стало быть, побоку. Друг Эскулапа, Вакха и Венеры.

— Насчет Венеры тут слабо. Зато насчет Эскулапа вольготно. Только диплома нет. Если мне бы да диплом, я бы им показал.

— А насчет Вакха?

— Есть спиртшко, сам понимаешь. Но я ведь рюмку выпью — и порядок. Пьянею быстро. Я ведь и вольный поселок обслуживаю, так что сам понимаешь. Приходи.

Я плечом приоткрыл дверь и вывалился из амбулатории.

— Ты знаешь, москвичи — это такой народ, больше всех других — киевлян там, ленинградцев — любят вспоминать свой город, улицы, катки, дома, Москва-реку...

— Я не природный москвич.

— А такие-то еще больше вспоминают, еще лучше запоминают.

Я приходил несколько вечеров в конце приема — выкуривал папиросу махорочную, боялся попросить хлеба.

Сергей Михайлович, как всякий, кому лагерь достался легко — из-за удачи, из-за работы, — мало думал за других и плохо мог понять голодных: его участок, Аркагала, еще не голодала в то время. Приисковые беды обошли Аркагалу стороной.

— Хочешь, я тебе сделаю операцию — кисту твою на пальце срежу.

— Ну что ж.

— Только, чур, освободить от работы не буду. Это мне, понимаешь, неудобно.

— А как же работать с оперированным пальцем?

— Ну, как-нибудь.

Я согласился, и Лунин вырезал довольно искусно кисту «на память». Когда через много лет я встретился с женой, в первую минуту встречи она с крайним удивлением,

сжимая мои пальцы, искала эту самую «лунинскую» кисть.

Я увидел, что Сергей Михайлович просто очень молод, что ему нужен собеседник пограмотнее, что все его взгляды на лагерь, на «судьбу» не отличаются от взглядов любого вольного начальника, что даже блатными он склонен восхищаться, что суть бури тридцать восьмого года прошла мимо него.

А мне был дорог любой час отдыха, день отдыха — мускулы, уставшие на всю жизнь на золотом прииске, ныли, просили покоя. Мне дорог был каждый кусок хлеба, каждая миска супчику — желудок требовал пищи, и глаза, помимо моей воли, искали на полках хлеб. Но я заставлял себя вспоминать Китай-город, Никитские ворота, где застрелился писатель Андрей Соболев, где Штерн стрелял в машину немецкого посла, — историю улиц Москвы, которую никто никогда не напишет.

— Да, Москва, Москва. А скажи — сколько у тебя было женщин?

Полуголодному человеку было немислимо поддерживать такой разговор, но молодой хирург слушал только себя и не обижался на молчание.

— Послушай, Сергей Михайлович, — ведь наши судьбы — это преступление, самое большое преступление века.

— Ну, я этого не знаю, — недовольно сказал Сергей Михайлович. — Это все жиды мутят. ♣

Я пожал плечами.

Вскоре Сергей Михайлович добился своего перевода на участок, на Аркагалу, и я думал, без грусти и обиды, что еще один человек ушел из моей жизни навсегда и какая это, в сущности, легкая штука — расставанье, разлука. Но все оказалось не так.

Начальником участка Кадыкчан, где я работал на египетском восточном входе, как раб, был Павел Иванович Киселев. Немолодой беспартийный инженер. Киселев избивал заключенных каждодневно. Выход начальника на участок сопровождался побоями, ударами, криком.

Безнаказанность? Дремлющая где-то на дне души жажда крови? Желание отличиться на глазах высшего начальства? Власть — страшная штука.

Зельфугаров, мальчик-фальшивомонетчик из моей бригады, лежал на снегу и выплевывал разбитые зубы.

— Всех родных моих, слышь, расстреляли за фальшивую монету, а я был несовершеннолетний — меня на

пятнадцать лет в лагеря. Отец следовательно говорил — возьми пятьсот тысяч, наличными, настоящими, прекрати дело... Следователь не согласился.

Мы, четверо сменщиков на круговом вороте, остановились около Зельфугарова. Корнеев — крестьянин сибирский, блатарь Леня Семенов, инженер Вронский и я. Блатарь Леня Семенов говорил:

— Только в лагере и учиться работать на механизмах — берись за всякую работу, отвечать ты не будешь, если сломаешь лебедку или подъемный кран. Понемногу научишься. — Рассуждение, которое в ходу у молодых колымских хирургов.

А Вронский и Корнеев были моими знакомыми, не друзьями, а просто знакомыми — еще с Черного озера, с той командировки, где я возвращался к жизни.

Зельфугаров, не вставая, повернул к нам окровавленное лицо с распухшими грязными губами.

— Не могу встать, ребята. Под ребро бил. Эх, начальник, начальник.

— Иди к фельдшеру.

— Боюсь, хуже будет. Начальнику скажет.

— Вот что, — сказал я, — конца этому не будет. Есть выход. Приедет начальник Дальстройугля или еще какое большое начальство, выйти вперед и в присутствии начальства дать по морде Киселеву. Прозвенит на всю Колыму, и Киселева снимут, безусловно переведут. А тот, кто ударит, примет срок. Сколько лет дадут за Киселева?

Мы шли на работу, вертели ворот, ушли в барак, поужинали, хотели ложиться спать. Меня вызвали в контору.

В конторе сидел, глядя в землю, Киселев. Он был не трус и угроз не любил.

— Ну, что, — сказал он весело. — На всю Колыму прогремит, а? Я вот под суд тебя отдам — за покушение. Иди отсюда, сволочь!..

Донести мог только Вронский, но как? Мы все время были вместе.

С тех пор жить на участке мне стало легче. Киселев даже не подходил к вороту и на работе бывал с мелкокалиберкой, а в шахту-штольню, уже углубленную, не спускался.

Кто-то вошел в барак.

— К доктору иди.

«Доктором», сменившим Лунина, был некто Колесников — тоже недоучившийся медик, молодой высокий парень из заключенных.

В амбулатории за столом сидел Лунин в полушубке.  
— Собирай вещи, поедем сейчас на Аркагалу. Колесников, пиши направление.

Колесников сложил лист бумаги в несколько раз, оторвал крошечный кусочек, чуть больше почтовой марки, и тончайшим почерком вывел: «В санчасть лагеря Аркагала».

Лунин взял бумажку и побежал:

— Пойду визу у Киселева возьму.

Вернулся он огорченный.

— Не пускает, понимаешь. Говорит — ты ему по морде дать обещал. Ни в какую не соглашается.

Я рассказал всю историю.

Лунин разорвал «направление».

— Сам виноват,— сказал он мне.— Какое твое дело до Зельфугарова, до всех этих... Тебя-то не били.

— Меня били раньше.

— Ну, до свиданья. Машина ждет. Что-нибудь придумаем.— И Лунин сел в кабинку грузовика.

Прошло еще несколько дней, и Лунин приехал снова.

— Сейчас иду к Киселеву. Насчет тебя.

Через полчаса он вернулся.

— Все в порядке. Согласился.

— А как?

— Есть у меня один способ укрощать сердца строптивых.

И Сергей Михайлович изобразил разговор с Киселевым:

— Какими судьбами, Сергей Михайлович? Садитесь. Закуривайте.

— Да нет, некогда. Я вам тут, Павел Иванович, акты о побоях привез,— мне оперативка переслала для подписи. Ну, прежде чем подписывать, я решил спросить у вас, правда ли все это?

— Неправда, Сергей Михайлович. Враги мои готовы...

— Вот и я так думал. Я не подпишу этих актов. Все равно уж, Павел Иванович, ничего не исправишь, выбитых зубов неставишь обратно.

— Так, Сергей Михайлович. Прошу ко мне домой, там жена наливочку изготовила. Берег к Новому году, да ради такого случая...

— Нет, нет, Павел Иванович. Только услуга за услугу. Отпустите на Аркагалу Андреева.



— Вот этого уж никак не могу. Андреев — это, что называется...

— Ваш личный враг?

— Да-да.

— Ну, а это мой личный друг. Я думал, вы повнимательней отнесетесь к моей просьбе. Возьмите, посмотрите акты о побоях.

Киселев помолчал.

— Пусть едет.

— Напишите аттестат.

— Пусть приходит сам.

Я шагнул за порог конторы. Киселев глядел в землю.

— Поедете на Аркагалу. Возьмите аттестат.

Я молчал. Конторщик выписал аттестат, и я вернулся в амбулаторию.

Лунин уже уехал, но меня ждал Колесников.

— Поедешь вечером, часов в девять. Острый аппендицит! — и протянул мне бумажку.

Больше ни Киселева, ни Колесникова я никогда не видел. Киселева вскоре перевели в другое место, на «Эльген», и там он был убит через несколько месяцев, случайно. В квартиру, в домик, где он жил, забрался ночью вор. Киселев, услышав шаги, схватил со стены двустволку заряженную, взвел курок и бросился на вора. Вор кинулся в окно, и Киселев ударил его в спину прикладом и выпустил заряд из обоих стволов в свой собственный живот.

Все заключенные во всех угольных районах Колымы радовались этой смерти. Газета с объявлением о похоронах Киселева переходила из рук в руки. В шахте во время работы измятый клочок газеты освещали рудничной лампочкой аккумулятора. Читали, радовались и кричали «ура». Киселев умер! Бог все-таки есть!

Вот от Киселева-то и выручил меня Сергей Михайлович.

Аркагагинский лагерь обслуживал шахту. На сто подземных рабочих, сто шахтеров — тысяча услуги всяческой.

Голод подступал к Аркагале. И, конечно, раньше всего голод вошел в бараки пятьдесят восьмой статьи.

Сергей Михайлович сердился.

— Я не солнышко, всех не обогрею. Тебя устроили дневальным в химлабораторию, надо было жить, надо было уметь жить. По-лагерному, понял? — хлопал меня Сергей Михайлович по плечу. — До тебя тут работал Димка. Так тот продал весь глицерин — две бочки стояло — по

двадцать рублей пол-литровая банка — медок, говорил, ха-ха-ха! Для заключенного все хорошо.

— Для меня это не годится.

— А что же для тебя годится?

Служба дневального была ненадежной. Меня быстро — насчет этого были строгие указания — перевели на шахту. Есть хотелось все больше.

Сергей Михайлович носился по лагерю. Была у него страсть: начальство в любом его виде прямо завораживало нашего доктора. Лунин невероятно гордился своей дружбой или хотя тенью дружбы с любым лагерным начальством, стремился показать свою близость к начальству, хвалился ею и мог об этой призрачной близости говорить целыми часами.

Я сидел у него на приеме голодный, боясь попросить кусок хлеба, и слушал бесконечную похвальбу.

— А что начальство? Начальство — это, брат, власть. Несть власти, аще не от бога, — ха-ха-ха! Надо уметь угождать ему — и все будет хорошо.

— Я могу с удовольствием угождать ему прямо в рожу.

— Ну, вот видишь. Слушай, давай так договоримся: ты можешь ко мне ходить — ведь скучно, наверно, в общем бараке?

— Скучно?!

— Ну да. Ты приходи. Посидишь, покуришь. В бараке ведь и покурить не дадут. Ведь я знаю — в сто глаз глядят на папиросу. Только не проси меня освободить от работы. Этого я не могу, то есть могу, но мне неудобно. Дело твое. Пожрать, сам понимаешь, где я могу взять — это дело моего санитаря. Я сам за хлебом не хожу. Так что если в случае тебе нужно будет хлеба — скажешь санитару Николаю. Неужели ты, старый лагерник, хлеба не можешь достать? Послушай вот, что жена начальника Ольга Петровна сегодня говорила. Меня ведь приглашают и выпить.

— Я пойду, Сергей Михайлович.

Настали дни голодные и страшные. И как-то раз, не в силах справиться с голодом, вошел я в амбулаторию.

Сергей Михайлович сидел на табуретке и листоновскими щипцами срывал помертвевшие ногти с отмороженных пальцев скорченного грязного человека. Ногти один за другим падали со стуком в пустой таз. Сергей Михайлович заметил меня.

— Вчера вот полтаза таких ногтей набросал.

Из-за занавески выглянуло женское лицо. Мы редко

видели женщин, да еще близко, да еще в комнате, лицом к лицу. Она показалась мне прекрасной. Я поклонился, поздоровался.

— Здравствуйте,— низким чудесным голосом сказала она.— Сережа, это твой товарищ? Что ты рассказывал?

— Нет,— сказал Сергей Михайлович, бросая листовские щипцы в таз и отходя к раковине мыть руки.

— Николай,— сказал он вошедшему санитару,— убери таз и вынеси ему,— он кивнул на меня,— хлеба.

Я дождался хлеба и ушел в барак. Лагерь есть лагерь. А женщина эта, нежное и прелестное лицо которой помню я и сейчас, хоть никогда ее больше не видел, была Эдит Абрамовна, вольнонаемная, партийная, договорница, медицинская сестра с прииска «Ольчан». Она влюбилась в Сергея Михайловича, сошлась с ним, добилась его перевода на «Ольчан», добилась его досрочного освобождения уже во время войны. Ездил в Магадан к Никишову, начальнику Дальстроя, хлопотать за Сергея Михайловича, и когда ее исключили из партии за связью с заключенным — обычная «мера пресечения» в таких случаях,— передала вопрос в Москву и добилась снятия судимости с Лунина, добилась, чтобы ему разрешили экзамен в Московском университете, получить диплом врача, восстановиться во всех правах, и вышла за него замуж формально.

А когда потомок декабриста получил диплом, он бросил Эдит Абрамовну и потребовал развода.

— Родственников у нее, как у всех жидов. Мне это не годится.

Эдит Абрамовну он бросил, но Дальстрой ему бросить не удалось. Пришлось вернуться на Дальний Север — хоть на три года. Уменье ладить с начальством принесло Луину, дипломированному врачу,— неожиданно крупное назначение — заведующим хирургическим отделением центральной больницы для заключенных на левом берегу в поселке Дебин. А я к этому времени — к 1948 году — был старшим фельдшером хирургического отделения.

Назначение Лунина было как внезапный удар грома.

Дело в том, что хирург Рубанцев, заведующий отделением, был фронтовой хирург — майор медицинской службы — дельный, опытный работник, приехавший сюда после войны отнюдь не на три дня. Одним Рубанцев был плох — он не ладил с высоким начальством, ненавидел подхалимов, лжецов и вообще был не ко двору Щербако-

ва — начальника санотдела Колымы. Договорник, приехавший настороженным врагом заключенных, Рубанцев, умный человек самостоятельных суждений, скоро увидел, что его обманывали в «политической» подготовке. Подлецы, самоснабженцы, клеветники, бездельники — таковы были товарищи Рубанцева по службе. А заключенные — всех специальностей, в том числе и врачебной, — были теми людьми, которые вели больницу, лечение, дело. Рубанцев понял правду и не стал ее скрывать. Он подал заявление о переводе в Магадан, где была средняя школа, — у него был сын школьного возраста. В переводе ему было отказано устно. После больших хлопот через несколько месяцев ему удалось устроить сына в интернат, километрах в девяноста от Дебина. Работу Рубанцев уже вел уверенно, разгонял бездельников и рвачей. Об этих угрожающих спокойствию действиях было незамедлительно сообщено в Магадан, в штаб Щербакова.

Щербаков не любил тонкостей в обращении. Матерщина, угрозы, дача «дел» — все это годилось для заключенных, для бывших заключенных, но не для договорника, фронтового хирурга, награжденного орденами.

Щербаков разыскал старое заявление Рубанцева и перевел его в Магадан. И хоть учебный год был в полном разгаре, хоть дело в хирургическом отделении было налажено — пришлось все бросить и уехать...

С Луниным мы встретились на лестнице. У него было свойство краснеть при смущении. Он налился кровью. Впрочем, «угостил меня закурить», порадовался моим успехам, моей «карьерой» и рассказал об Эдит Абрамовне.

Александр Александрович Рубанцев уехал. На третий же день в процедурной была устроена пьянка — хирургический спирт пробовал и главный врач Ковалев, и начальник больницы Винокуров, которые побаивались Рубанцева и не посещали хирургическое отделение. Во врачебных кабинетах начались пьянки с приглашением заключенных — медсестер, санитарок, словом, стоял дым коромыслом. Операции чистого отделения стали проходить с вторичным заживлением — на обработку операционного поля не стали тратить драгоценного спирта. Полупьяные начальники шагали по отделению взад и вперед.

Больница эта была моей больницей. После окончания курсов в конце 1946 года я приехал сюда с больными. На моих глазах больница выросла — это было бывшее здание Колымполка, и когда после войны какой-то специалист

по военной маскировке забраковал здание — видное среди гор за десятки верст, его передали больницы для заключенных. Хозяева, Колымполк, уезжая, выдернули все водопроводные и канализационные трубы, какие можно было выдернуть из огромного трехэтажного каменного здания, а из зрительного зала клуба вынесли всю мебель и сожгли ее в котельной. Стены были побиты, двери сломаны. Колымполк уезжал по-русски. Все это восстановили мы по винтику, по кирпичику.

Собрались врачи, фельдшера, которые пытались сделать все как можно лучше. Для очень многих это был священный долг — оплата за медицинское образование — помощь людям.

Все бездельники подняли головы с уходом Рубанцева.

— Зачем ты берешь спирт из шкафа?

— Пошел ты знаешь куда, — объявила мне сестра. — Теперь, слава богу, Рубанцева нету, Сергей Михайлович распорядился...

Я был поражен, подавлен поведением Лунина. Кутеж продолжался.

На очередной пятиминутке Лунин смеялся над Рубанцевым:

— Не сделал ни одной операции язвы желудка, хирург называется!

Это был вопрос не новый. Действительно, Рубанцев не делал операций язвы желудка. Больные терапевтических отделений с этим диагнозом были заключенными — истощенными, дистрофиками, и не было надежд, что они перенесут операцию. «Фон нехорош», — говаривал Александр Александрович.

— Трус, — кричал Лунин и взял к себе из терапевтического отделения двенадцать таких больных. И все двенадцать были оперированы — и все двенадцать умерли. Опыт и милосердие Рубанцева вспомнились больничным врачам.

— Сергей Михайлович, так работать нельзя.

— Ты мне указывать не будешь!

Я написал заявление о вызове комиссии из Магадана. Меня перевели в лес, на лесную командировку. Хотели на штрафной прииск, да уполномоченный райотдела отсоветовал — теперь не тридцать восьмой год. Не стоит.

Приехала комиссия, и Лунин был «уволен из Дальстроя». Вместо трех лет ему пришлось «отработать» всего полтора года.

А я через год, когда сменилось больничное начальство, вернулся из фельдшерского пункта лесного участка заведовать приемным покоем больницы.

Потомка декабриста я встретил как-то в Москве на улице. Мы не поздоровались.

Только через шестнадцать лет я узнал, что Эдит Абрамовна еще раз добилась возвращения Лунина на работу в Дальстрой. Вместе с Сергеем Михайловичем приехала она на Чукотку, в поселок Певек. Здесь был последний разговор, последнее объяснение, и Эдит Абрамовна бросилась в воду, утонула, умерла.

Иногда снотворные не действуют, и я просыпаюсь ночью. Я вспоминаю прошлое и вижу женское прелестное лицо, слышу низкий голос: «Сережа, это — твой товарищ?..»

1962

## «КОМБЕДЫ»

В трагических страницах России тридцать седьмого и тридцать восьмого года есть и лирические строки, написанные своеобразным почерком. В камерах Бутырской тюрьмы — огромного тюремного организма, со сложной жизнью множества корпусов, подвалов и башен, — переполненных до предела, до обмороков следственных заключенных, во всей свистопляске арестов, этапов без приговора и срока, в камерах, набитых живыми людьми, сложился любопытный обычай, традиция, державшаяся не один десяток лет.

Неустанно насаждаемая бдительность, переросшая в шпиономанию, была болезнью, охватившей всю страну. Каждой мелочи, пустяку, обмолвке придавался зловещий тайный смысл, подлежащий истолкованию в следственных кабинетах.

Вкладом тюремного ведомства было запрещение вещевых и продовольственных передач следственным арестантам. Мудрецы юридического мира уверяли, что, оперируя двумя французскими булками, пятью яблоками и парой старых штанов, можно сообщить в тюрьму любой текст, даже кусок из «Анны Карениной».

Эти «сигналы с воли» — продукт воспаленного мозга ретивых служак Учреждения — пресекались надежно.

Передачи отныне могли быть только денежными, а именно — не более пятидесяти рублей в месяц каждому арестанту. Перевод мог быть только в круглых цифрах — 10, 20, 30, 40, 50 рублей; так уберегались от возможности разработки новой «азбуки» сигналов цифрового порядка.

Проще всего, надежней всего было вообще запретить передачи — но эта мера была оставлена для следователя, ведущего «дело». «В интересах следствия» он имел право запретить переводы вообще. Был тут и некоторый коммерческий интерес — магазин-«лавочка» Бутырской тюрьмы многократно увеличила свои обороты со времени, когда были запрещены вещевые и продовольственные передачи.

Отвергнуть всякую помощь родных и знакомых администрация почему-то не решалась, хотя была уверена, что и в этом случае никакого протеста ни внутри тюрьмы, ни вне ее, на воле, — подобное действие не вызовет.

Ущемление, ограничение и без того призрачных прав следственных заключенных...

Русский человек не любит быть свидетелем на суде. По традиции, в русском процессе свидетель мало отличается от обвиняемого, и его «прикосновенность» к делу служит определенной отрицательной характеристикой на будущее. Еще хуже положение следственных заключенных. Все они — будущие «срочники», ибо считается, что «жена Цезаря не имеет пороков» и органы внутренних дел не ошибаются. Никого зря не арестуют. За арестом логически следует приговор; малый или большой срок наказания получает тот или иной следственный арестант — зависит или от удачи заключенного, от «счастья», или от целого комплекса причин, куда входят и клопы, кусавшие следователя в ночь перед докладом, и голосование в американском конгрессе.

Выход из дверей следственной тюрьмы, по сути дела, один — в «черный ворон», тюремный автобус, везущий приговоренных на вокзал. На вокзале — погрузка в теплушки, медленное движение бесчисленных арестантских вагонов по железнодорожным путям и, наконец, один из тысяч «трудовых» лагерей.

Эта обреченность накладывает свой отпечаток на поведение следственных арестантов. Беззаботность, молодечество сменяется мрачным пессимизмом, упадком духовных сил. Следственный арестант на допросах борется с призраком, призраком исполинской силы. Арестант привык иметь дело с реальностями, сейчас с ним сражает-

ся Призрак. Однако это «пламя — жжет, а эта пика больно колет». Все жутко реально, кроме самого «дела». Взвинченный, подавленный своей борьбой с фантастическими видениями, пораженный их величиной, арестант теряет волю. Он подписывает все, что придумал следователь, и с этой минуты сам становится фигурой того нереального мира, с которым он боролся, становится пешкой в страшной и темной кровавой игре, разыгрываемой в следовательских кабинетах.

— Куда его повезли?

— В Лефортово. Подписывать.

Следственные знают о своей обреченности. Знают это и те люди тюрьмы, которые находятся по ту сторону решетки, — тюремная администрация. Коменданты, дежурные, часовые, конвоиры привыкли смотреть на следственных не как на будущих, а как на сущих арестантов.

Подследственный арестант спросил в 1937 году на проверке сменного дежурного караульного коменданта что-то о вводимой тогда новой Конституции. Комендант резко ответил:

— Это вас не касается. Ваша Конституция — это Уголовный кодекс.

Следственных заключенных в лагере также ждали перемены. В лагере всегда полно следственных — ибо получить срок вовсе не значило избавить себя от перманентного действия всех статей Уголовного кодекса. Они действовали так же, как и на воле, только все — доносы, наказания, допросы — было еще более обнажено, еще более грубо-фантастично.

Когда в столице были запрещены продовольственные и вещевые передачи, на тюремной периферии, в лагерях, был введен особый «следственный паек» — кружка воды и триста граммов хлеба на день. Карцерное положение, на которое были переведены следственные, быстро приблизило их к могиле.

Этим «следственным пайком» пытались добиться «лучшей из улик» — собственного признания подследственного, подозреваемого, обвиняемого.

В Бутырской тюрьме 1937 года разрешались денежные передачи — не более 50 рублей в месяц. На эту сумму каждый, имеющий деньги, зачисленные на его лицевой счет, мог приобрести продукты в тюремной «лавочке», мог истратить четыре раза в месяц по тринадцать рублей —



«лавочки» бывали раз в неделю. Если при аресте у следственного было денег больше — деньги зачислялись на его лицевой счет, но истратить он не мог более 50 рублей.

Наличных денег, конечно, не было, выдавались квитанции, и расчет велся на обороте этих квитанций — рукой продавца магазина и обязательно красными чернилами.

Для общения с начальством и поддержания товарищеской дисциплины в камере с незапамятных времен существует институт камерных старост.

Администрация тюрьмы каждую неделю за день до «лавочки» вручает старосте на проверке грифельную доску и кусок мела. На этой доске староста должен сделать заранее расчет заказов всех покупок, которые хотят сделать арестанты камеры. Обычно лицевая сторона грифельной доски — это продукты в их общем количестве, а на обороте записано, из чьих именно заказов составились эти количества.

На этот расчет уходит обычно целый день — ведь тюремная жизнь переплетена событиями всякого рода — масштаб этих событий для всех арестантов значителен. Утром следующего дня староста и с ним один-два человека уходят в магазин за покупками. Остаток дня уходит на дележ принесенных продуктов — развешанных по «индивидуальным заказам».

В тюремном магазине был большой выбор продуктов — масло, колбаса, сыры, белые булки, папиросы, махорка...

Недельный рацион тюремного питания разработан раз навсегда. Если б арестанты забыли день недели, они могли бы узнать его по запаху обеденного супа, по вкусу единственного блюда ужина. По понедельникам был всегда в обед гороховый суп, а в ужин каша овсяная, по вторникам — пшенный суп и перловая каша. За шесть месяцев следственного жития каждое тюремное блюдо появлялось ровно двадцать пять раз — пища Бутырской тюрьмы всегда славилась своим разнообразием.

Тот, кто имел деньги, хотя бы эти четыре раза по тринадцать рублей, мог прикупить сверх тюремной баланды и «шрапнели» кое-что повкуснее, питательнее, полезнее.

Тот, кто денег не имел, — никаких закупок, конечно, не мог делать. В камере всегда были люди без копейки де-

нег — не один и не два человека. Это мог быть привезенный иногородний, арестованный где-либо на улице и «наисекретнейше». Его жена металась по всем тюрьмам и комендатурам и отделениям милиции города, тщетно пытаясь узнать «адрес» мужа. Правилom было уклонение от ответа, полное молчание всех учреждений. Жена носила посылку из тюрьмы в тюрьму — может быть, примут, значит, ее муж жив, а не примут — тревожные ночи ждали ее.

Или это был арестованный отец семейства; сразу же после ареста от него заставили отшатнуться его жену, детей, родственников. Мучая его непрерывными допросами с момента ареста, следователь пытался вынудить у него признание в том, чего он никогда не делал. В качестве меры воздействия, кроме угроз и избиений, — арестанта лишали денег.

Родные и знакомые с полным основанием боялись ходить в тюрьму и носить передачи. Настойчивость в передачах, в поисках, в справках влекла зачастую за собой подозрение, нежелательные и серьезные неприятности по службе и даже арест — бывали и такие случаи.

Были и другого рода безденежные арестанты. В шестьдесят восьмой камере был Ленька — подросток лет семнадцати, родом из Тумского района Московской области — из места глухого для тридцатых годов.

Ленька — толстый, белолицый, с нездоровой кожей, давно не видевший свежего воздуха, чувствовал себя в тюрьме великолепно. Кормили его так, как в жизни не кормили. Лакомствами из лавки его угощал чуть не каждый. Курить он приучился папиросы, а не махорку. Он умилялся всему — как тут интересно, какие хорошие люди, — целый мир открылся перед неграмотным парнем из Тумского района. Следственное дело свое он считал какой-то игрой, наваждением — дело его ничуть не беспокоило. Ему хотелось только, чтобы эта его тюремная следственная жизнь, где так сытно, чисто и тепло, длилась бесконечно.

Дело у него было удивительное. Это было точное повторение ситуации чеховского злоумышленника. Ленька отвинчивал гайки от рельсов полотна железной дороги на грузила и был пойман на месте преступления и привлечен к суду как вредитель, по седьмому пункту пятьдесят восьмой статьи. Чеховского рассказа Ленька никогда не слышал, а «доказывал» следователю, как классический чехов-

ский герой, что он не отвинчивает двух гаек сряду, что он «понимает»...

На показаниях тумского парня следователь строил какие-то необыкновенные «концепции» — самая невинная из которых грозила Ленке расстрелом. Но «связать» с кем-либо Леньку следствию не удавалось — и вот Ленька сидел в тюрьме второй год в ожидании, пока следствие найдет эти «связи».

Люди, у которых нет денег на лицевом счету тюрьмы, должны питаться казенным пайком без всякой добавки. Тюремный паек — скучная штука. Даже небольшое разнообразие в пище скрашивает арестантскую жизнь, делает ее как-то веселее.

Вероятно, тюремный паек (в отличие от лагерного) в калориях своих, в белках, жирах и углеводах выведен из каких-то теоретических расчетов, опытных норм. Расчеты эти опираются, вероятно, на какие-нибудь «научные» работы — трудами такого рода ученые любят заниматься. Столь же вероятно, что в Московской следственной тюрьме контроль за изготовлением пищи и доведением калорий до живого потребителя поставлен на достаточную высоту. И, вероятно, в Бутырской тюрьме проба отнюдь не издевательская формальность, как в лагере. Какой-нибудь старый тюремный врач, отыскивая в акте место, где ему нужно поставить свою подпись, утверждающую раздачу пищи, попросит, может быть, повара положить ему побольше чечевицы, наикалорийнейшего блюда. Врач пошутит, что вот арестанты жалуются на пищу зря — он, доктор, и то с удовольствием съел мисочку, впрочем, врачам пробу дают в тарелках — нынешней чечевицы.

На пищу в Бутырской тюрьме никогда не жаловались. Не потому, что пища эта была хороша. Следственному арестанту не до пищи, в конце концов. И даже самое нелюбимое арестантское блюдо — вареная фасоль, которую приготавливали здесь как-то удивительно невкусно, фасоль, которая получила энергичное прозвище «блюдо с проглотом», — даже фасоль не вызывала жалоб.

Лавочная колбаса, масло, сахар, сыр, свежие булки — были лакомствами. Каждому, конечно, было приятно съесть их за чаем, не казенным кипятком с «малиновым» напитком, а настоящим чаем, заваренным в кружку из огромного ведерного чайника красной меди, чайника царских времен, чайника, из которого пили, может быть, народовольцы.

Конечно, «лавочка» была радостным событием в жи-

зни камеры. Лишение «лавочки» было тяжелым наказанием, всегда приводящим к спорам, ссорам, — такие вещи переживаются арестантами очень тяжело. Случайный шум, услышанный коридорным, спор с дежурным комендантом — все это расценивалось как дерзость; наказанием за нее было лишение очередной «лавочки».

Мечты восьмидесяти человек, размещенных на двадцати местах, — шли прахом. Это было тяжелое наказание.

Для тех следственных, кто не имел денег, лишение «лавочки» должно было быть безразличным. Однако это было не так.

Продукты принесены, начинается вечернее чаепитие. Каждый купил, что хотел. Те же, у кого денег нет, чувствуют себя лишними на этом общем празднике. Только они не разделяют того нервного подъема, который наступает в день «лавочки».

Конечно, их все угощают. Но можно выпить кружку чаю с чужим сахаром и чужим белым хлебом, выкурить чужую папиросу — одну и другую, — все это вовсе не так, как «дома», как если бы он купил все это на свои собственные деньги. Безденежный настолько деликатен, что боится съесть лишний кусок.

Изобретательный коллективный мозг тюрьмы нашел выход, устраняющий ложность положения безденежных товарищей, щадящий их самолюбие и дающий почти официальное право каждому безденежному пользоваться «лавочкой». Он может вполне самостоятельно тратить свои собственные деньги, покупать то, что хочется.

Откуда же берутся эти деньги?

Здесь-то и рождается вновь знаменитое слово времен военного коммунизма, времен первых лет революции. Слово это — «комбеды», комитеты бедноты. Кто-то безвестный бросил это название в тюремной камере, и слово удивительным образом привилось, укрепилось, поползло из камеры в камеру — перестуком, запиской, спрятанной где-нибудь под скамейку в бане, а еще проще — при переводе из тюрьмы в тюрьму.

Бутырская тюрьма славится своим образцовым порядком. Огромная тюрьма на двенадцать тысяч мест при непрерывном круглосуточном движении текучего ее населения: каждый день возят в рейсовых тюремных автобусах на Лубянку и с Лубянки на допросы, на очные ставки, на суд, перевозят в другие тюрьмы...

Внутри тюремная администрация за «камерные» проступки сажает следственных заключенных в Полицей-

скую, Пугачевскую и Северную и Южную башни — в них особые «штрафные» камеры. Есть и карцерный корпус, где в камерах лечь нельзя и спать можно только сидя.

Пятую часть населения камеры ежедневно куда-либо водят — либо в фотографию, где снимают по всем правилам — анфас и в профиль, и номер прикреплен к занавеске, около которой садится арестант; либо «играть на рояле» — процедура дактилоскопии обязательна и почему-то никогда не считалась оскорбительной процедурой, или на допрос, в допросный корпус, по бесконечным коридорам исполинской тюрьмы, где при каждом повороте провожающий гремит ключом о медную пряжку собственного пояса, предупреждая о движении «секретного арестанта». И пока не ударят где-то в ладоши (на Лубянке в ладоши хлопают, отвечая на прищелкивание пальцами вместо звяканья ключами), провожающий не пускает арестанта вперед.

Движение непрерывно, бесконечно — входные ворота никогда не закрываются надолго, — и не было случая, чтобы однодельцы попали в одну и ту же камеру.

Арестант, перешагнувший порог тюрьмы, вышедший из нее хоть на секунду, если вдруг его поездка отменена, — не может вернуться обратно без дезинфекции всех вещей. Таков порядок, санитарный закон. У тех, кого часто возили на допросы на Лубянку, — одежда быстро пришла в ветхость. В тюрьме и без того верхняя одежда изнашивается много быстрее, чем на воле, — в одежде спят, ворочаются на досках щитков, которыми застланы нары. Вот эти доски вкупе с частыми энергичными «вошебойками» — «жарниками» быстро разрушают одежду каждого следственного.

Как ни строг учет, но «тюремщик думает о своих ключах меньше, чем арестант о побеге» — так говорит автор «Пармской обители».

«Комбеды» возникли стихийно, как арестантская самозащита, как товарищеская взаимопомощь. Кому-то вспомнились в этом случае именно «комитеты бедноты». И как знать, — автор, вложивший новое содержание в старый термин, — быть может, сам участвовал в настоящих комитетах бедноты русской деревни первых революционных лет. Комитеты взаимопомощи — вот чем были тюремные «комбеды».

Организация комбедского дела сводилась к самому простому виду товарищеской помощи. При выписке «лапочки» каждый, кто выписывал себе продукты, должен

был отчислить десять процентов в «комбед». Общая денежная сумма делилась на всех безденежных камеры — каждый из них получал право самостоятельной выписки продуктов из «лавочки».

В камере с населением 70—80 человек постоянно бывало 7—8 человек безденежных. Чаще всего бывало, что деньги приходили, должник пытался вернуть данное ему товарищами, но это не было обязательно. Просто он, в свою очередь, отчислял те же десять процентов, когда мог.

Каждый «комбедчик» получал 10—12 рублей в «лавочку» — тратил сумму, почти одинаковую с денежными людьми. За «комбед» не благодарили. Это выглядело как право арестанта, как непреложный тюремный обычай.

Долгое время, годы, быть может, тюремная администрация не догадывалась об этой организации — или не обращала внимания на верноподданническую информацию камерных стукачей и тюремных секстов. Трудно думать, что о «комбедах» не доносили. Просто администрация Бутырок не хотела повторить печального опыта безуспешной борьбы с пресловутой игрой в «спички».

В тюрьме всякие игры воспрещены. Шахматы, вылепленные из хлеба, разжеванного всей камерой, немедленно конфисковывались и уничтожались при обнаружении их бдительным оком наблюдающего через «волчок» часового. Самое выражение «бдительное око» приобретало в тюрьме свой подлинный, отнюдь не фигуральный смысл. Это был обрисованный «волчком» внимательный глаз часового.

Домино, шашки — все это строжайше запрещено в следственной тюрьме. Книги не запрещены, и тюремная библиотека богата, но следственный арестант читает, не извлекая из чтения никакой другой пользы, кроме отвлечения от собственных важных и острых дум. Сосредоточиться над книгой в общей камере невозможно. Книги служат развлечением, отвлечением, заменяют домино и шашки.

В камерах, где содержатся уголовники, в ходу карты — в Бутырской тюрьме карт нет. И нет там никаких игр, кроме «спичек».

Это — игра для двоих.

В спичечной коробке пятьдесят спичек. Для игры ставят тридцать и закладывают их в крышку, ставя ее вертикально, на попа. Крышку встряхивают, приподнимают, спички высыпаются на стол.

Играющий первым берет спичку двумя пальцами и, действуя ею как рычагом, отбрасывает или отодвигает в сторону все спички, какие можно выбрать из груды, не потревожив других. При сотрясении двух спичек вместе он теряет право играть. Дальше играет другой — до первой своей ошибки.

«Спички» — это самая обыкновенная детская игра в бирюльки, только приспособленная изобретательным арестантским умом к тюремной камере.

В «спички» играла вся тюрьма, с завтрака до обеда и с обеда до ужина, с увлечением и азартом.

Появились свои спичечные чемпионы, завелись наборы спичек особого качества — залоснившихся от постоянного употребления. Таких спичек не зажигали, прикуривая папиросы.

Игра эта сберегла много нервной энергии арестантам, внесла кое-какой покой в их смятенные души.

Администрация была бессильна уничтожить эту игру, запретить ее. Спички-то ведь были разрешены. Они и выдавались (поштучно) и продавались в магазине.

Корпусные коменданты пробовали ломать коробки, но ведь и без коробка можно было обойтись в игре.

Администрация в этой борьбе с игрой в бирюльки была посрамлена — все ее демарши ни к чему дельному не привели. Вся тюрьма продолжала играть в «спички».

По этой же самой причине, боясь посрамления, администрация смотрела сквозь пальцы и на «комбеды», не желая ввязываться в бесславную борьбу.

Но, увы, слух о «комбедах» полз все выше, все дальше и достиг Учреждения, откуда и последовал грозный приказ — ликвидировать «комбеды» — в самом названии которых чудился вызов, некая апелляция к революционной совести.

Сколько нравочений было прочтено на поверках. Сколько криминальных бумажек с зашифрованным подсчетом расходов и заказов при покупке было захвачено в камерах при внезапном обыске! Сколько старост побывало в Полицейской и Пугачевской башнях, где были карцеры и штрафные палаты.

Все было напрасно: «комбеды» существовали, несмотря на все предупреждения и санкции.

Проверить действительно было очень трудно. Притом корпусной комендант, надзиратель, долго работая в тюрьме, несколько иначе смотрит на арестантов, чем его высокий начальник, и подчас в душе становится на сторону

арестанта против начальника. Не то чтобы он помогал арестанту. Нет, он просто смотрит на проступки сквозь пальцы, когда можно посмотреть сквозь пальцы, он не видит, когда можно не видеть, он просто менее придирчив. Особенно если надзиратель немолод. Для арестанта лучше всего тот начальник, который немолод и в небольших чинах. Сочетание этих двух условий почти обещает относительно приличного человека. Если он к тому же еще и выпивает — тем лучше. Карьеры такой человек не ищет, а карьера надзирателя тюремного и особенно лагерного — на крови заключенных.

Но Учреждение требовало ликвидации «комбедов», и тюремное начальство безуспешно пыталось добиться этого.

Была сделана попытка взорвать «комбеды» изнутри — это было, конечно, самое хитрое из решений. «Комбеды» были организацией нелегальной, любой арестант мог воспротивиться отчислениям, которые делались насильно. Тот, кто не желал платить такие «налоги», не хотел содержать «комбеды», мог протестовать и в случае своего отказа, протеста нашел бы тотчас же полную поддержку тюремной администрации. Еще бы — ведь тюремный коллектив не государство, чтобы взимать налоги, — значит, «комбеды» — это вымогательство, «рэкёт», грабёж.

Бесспорно, любой арестант мог отказаться от отчислений. Не хочу — и баста! Деньги мои, и никто не имеет права посягать и т. д. При таком заявлении никаких вычетов не производилось и все заказанное доставлялось полностью.

Однако кто рискнет на такое заявление? Кто рискнет противопоставить себя тюремному коллективу — людям, которые с тобой двадцать четыре часа в сутки, и только сон спасает тебя от недружелюбных, враждебных взглядов товарищей? В тюрьме невольно каждый ищет душевную поддержку в соседе, и ставить себя под бойкот — слишком страшно. Это — пострашней угроз следователя, хотя никаких физических мер воздействия тут не применяется.

Тюремный бойкот — это орудие войны нервов. И не дай бог никому испытать на себе подчеркнутое презрение товарищей.

Но если антиобщественный гражданин слишком толстокож и упрям — у старосты есть еще более оскорбительное, еще более действенное оружие.

Лишить арестанта пайки в тюрьме никто не вправе



(кроме следователей, которым это бывает нужно для «ведения дела»), и упрямец получит свою миску супа, свою порцию каши, свой хлеб.

Пищу раздает раздатчик по указанию старосты (это одна из функций камерного старосты). Нары — по стенам камеры разделены проходом от двери до окна.

У камеры четыре угла, и пищу раздают с каждого из них по очереди, день — с одного, день — с другого. Смена эта нужна для того, чтобы повышенная нервная возбудимость арестантов не была растревожена каким-нибудь пустяком, вроде «вершков» и «корешков» бутырской баланды, чтобы уравнивать шансы всех на густоту, на температуру супа... мелочей в тюрьме нет.

Староста подает перед раздачей разрешительную команду и добавляет: а последнему дайте такому-то (имярек) — тому, кто не хочет считаться с «комбедами».

Это унижительное, непереносимое оскорбление может быть сделано четырежды за бутырский день — там утром и вечером дают чай, в обед — суп, в ужин — кашу.

Во время раздачи хлеба «воздействие» может быть оказано пятый раз.

Звать корпусного коменданта для разбора подобных дел — рискованно, ведь вся камера будет показывать против нашего упрянца. В таких случаях положено коллективно лгать, корпусной не найдет правды.

Но эгоист, жадюга — человек твердого характера. Притом он только себя считает невинно арестованным, а всех своих тюремных сожителей — преступниками. Он вдоволь толстокож, вдоволь упрямец. Бойкот товарищей он переносит легко — эти интеллигентские штучки не заставят его потерять терпение и выдержку. На него могла бы подействовать «темная» — старинный метод внушений. Но никаких «темных» в Бутырках не бывает. Эгоист уже готов торжествовать победу — бойкот не оказывает надлежащего действия.

Но в распоряжении старосты, в распоряжении людей тюремной камеры есть еще одно решительное средство. Ежедневно, на вечерней поверке, при сдаче дежурства, очередной вступающий на смену корпусной комендант задает, по уставу, вопрос, обращенный к арестантам: «Заявления есть?»

Староста делает шаг вперед и требует перевести бойкотированного упрянца в другую камеру. Никаких причин перевода объяснять не нужно, достаточно потребовать. Не позже чем через сутки, а то и раньше, перевод бу-

дет сделан обязательно — публичное предупреждение снимает со старост ответственность за поддержание дисциплины в камере:

Не переведут — упряма могут избить или убить, чего доброго, — душа арестанта темна, а подобные происшествия ведут за собой неприятные многократные объяснения дежурного корпусного коменданта по начальству.

Если будет следствие по этому тюремному убийству, сейчас же выяснится, что корпусной был предупрежден. Лучше уж перевести в другую камеру по-хорошему, уступить такому требованию.

Прийти в другую камеру переведенным, а не с «воли» — не очень приятно. Это всегда вызывает подозрение, настороженность новых товарищей — не доносчик ли это? «Хорошо, если он только за отказ от «комбеда» переведен к нам, — думает староста новой камеры. — А если что-нибудь похуже?» Староста будет пытаться узнать причину перевода — запиской, засунутой на дно мусорного ящика в уборной, перестуком, либо по системе декабриста Бестужева, либо по азбуке Морзе.

Пока не будет получен ответ, новичку нечего рассчитывать на сочувствие и доверие новых товарищей. Проходит много дней, причина перевода выяснена, страсти улеглись, но — и в новой камере есть свой «комбед», свои отчисления.

Все начинается сначала — если начнется, ибо в новой камере наученный горьким опытом упрямец поведет себя иначе. Его упрямото сломлено.

В следственных камерах Бутырской тюрьмы не было никаких «комбедов» — пока разрешались вещевые и продуктовые передачи, а пользование тюремным магазином было практически не ограничено.

«Комбеды» возникли во второй половине тридцатых годов как любопытная форма «собственной жизни» следственных арестантов, форма самоутверждения бесправного человека: тот крошечный участок, где человеческий коллектив, сплоченный, как это всегда бывает в тюрьме, в отличие от «воли» и лагеря, при полном бесправии своем, находит точку приложения своих духовных сил для настойчивого утверждения извечного человеческого права жить по-своему. Эти духовные силы противопоставлены всем и всяческим тюремным и следственным регламентам и одерживают над ними победу.

## МАГИЯ

В стекло стучала палка, и я узнал ее. Это был стек начальника отделения.

— Сейчас иду,— заорал я в окно, надел брюки и застегнул ворот гимнастерки. В ту же самую минуту на пороге комнаты возник курьер начальника Мишка и громким голосом произнес обычную формулу, которой начинался каждый мой рабочий день:

— К начальнику!

— В кабинет?

— На вахту!

Но я уже выходил.

Легко мне работалось с этим начальником. Он не был жесток с заключенными, умен, и хотя все высокие материи неизменно переводил на свой грубый язык, но понимал, что к чему.

Правда, тогда была в моде «перековка», и начальник просто хотел в незнакомом русле держаться верного фарватера. Может быть. Может быть. Тогда я не думал об этом.

Я знал, что у начальника — Стуков была его фамилия — было много столкновений с высшим начальством, много ему «шили» дел в лагере, но ни подробности, ни сути этих не кончившихся ничем дел, не начатых, а прекращенных следствий я не знаю.

Меня Стуков любил за то, что я не брал взяток, не любил пьяных. Почему-то Стуков ненавидел пьяных... Еще любил за смелость, наверное.

Стуков был человек пожилой, одинокий. Очень любил всякие новости техники, науки, и рассказы о Бруклинском мосте приводили его в восторг. Но я не умел рассказывать ничего, что было бы похоже на Бруклинский мост.

Зато это Стукову рассказывал Миллер, Павел Петрович Миллер, инженер-шахтинец.

Миллер был любимцем Стукова, жадного слушателя всяких научных новостей.

Я догнал Стукова у вахты.

— Спишь все.

— Я не сплю.

— А что этап пришел из Москвы — знаешь? Через Пермь. Я и говорю — спишь. Бери своих, и будем отбирать людей.

Наше отделение стояло на самом краю вольного мира, на конце железнодорожного пути — дальше следовали многодневные пешие этапы тайгой, — и Стукову было дано право оставлять требуемых людей самому.

Это была магия изумительная, фокусы из области прикладной психологии, что ли, фокусы, которые показывал Стуков, начальник, состарившийся на работе в местах заключения. Стукову нужны были зрители, и только я, наверное, мог оценить его удивительный талант, способности, которые долгое время казались мне сверхъестественными, до той минуты, пока я почувствовал, что и сам обладаю этой же магической силой.

Высшее начальство разрешило оставить в отделении пятьдесят плотников. Перед начальником выстраивался этап, но не по одному в ряд, а по три и по четыре.

Стуков медленно шел вдоль этапа, похлопывая стеклом по своим неначищенным сапогам. Рука Стукова время от времени поднималась.

— Выходи ты, ты. И ты. Нет, не ты. Вон — ты...

— Сколько вышло?

— Сорок два.

— Ну вот, еще восемь.

— Ты... Ты... Ты.

Все мы переписывали фамилии и отбирали личные дела.

Все пятьдесят умели обращаться с топором и пилой.

— Тридцать слесарей!

Стуков шел вдоль этапа, чуть хмурясь.

— Выходи ты... Ты... Ты... А ты — назад. Из блатных, что ли?

— Из блатных, гражданин начальник.

Без единой ошибки выбирались тридцать слесарей.

Надо было десять канцеляристов.

— Можешь отобрать на глаз?

— Нет.

— Тогда пойдем.

— Выходи ты... Ты... Ты...

Вышло шесть человек.

— Больше на этом этапе счетоводов нет, — сказал Стуков.

Проверил по делам, и верно: больше нет. Подобрали канцеляристов из следующих этапов.

Это была любимая игра Стукова, ошеломлявшая меня. Сам Стуков радовался как ребенок своей магиче-

ской способности и мучился, если терял уверенность. Он не ошибался, просто терял уверенность, и мы прекращали прием людей.

Я всякий раз с удовольствием смотрел на эту игру, ничего общего не имеющую ни с жестокостью, ни с чужой кровью.

Поражался знанию людей. Поражался той извечной связи между душой и телом.

Столько раз я видел эти фокусы, эти демонстрации таинственной силы начальника. За ними не стояло ничего, кроме многолетнего опыта работы с заключенными. Одежда арестанта сглаживает различия, и это только облегчает задачу — прочесть профессию человека по его лицу, рукам.

— Сегодня кого будем отбирать, гражданин начальник?

— Двадцать плотников. Да вот получил телефонограмму из управления — отобрать всех, кто раньше работал в органах, — Стуков усмехнулся, — и имеет бытовые или служебные статьи. Снова, значит, сядут за следовательский стол. Ну, что ты об этом думаешь?

— Ничего я не думаю. Приказ и приказ.

— А ты понял, как я плотников отбирал?

— Пожалуй...

— Я просто крестьян отбираю, крестьян. Всякий крестьянин плотник. И добросовестных работников тоже ищу из крестьян. И не ошибаюсь. А уж как мне по глазам работников органов узнать — не скажу. Бегают, что ли, у них глаза? Говори.

— Я не знаю.

— И я не знаю. Ну, может быть, под старость научусь. Еще до пенсии.

Этап был выстроен, как всегда, вдоль вагонов. Стуков произнес свою обыкновенную речь о работе, зачетах, протянул руку и прошел раза два вдоль вагонов.

— Мне нужны плотники. Двадцать человек. Но отбирать буду я сам, не шевелиться.

— Выходи ты... ты... ты. Вот и все. Отбирайте дела.

Пальцы начальника нащупали какую-то бумажку в кармане френча.

— Не расходись. Есть еще дело.

Стуков поднял руку с бумажкой:

— Есть среди вас работники органов?

Две тысячи арестантов молчали.

— Есть, спрашиваю, среди вас те, кто раньше работал в органах? В органах!

Из задних рядов, расталкивая пальцами соседей, энергично продирался худощавый человек, действительно с бегающими глазами.

— Я работал осведомителем, гражданин начальник.

— Пошел прочь! — с презрением и удовольствием сказал Стуков.

1964

## ЛИДА

Лагерный срок, последний лагерный срок Криста таял. Мертвый зимний лед подтачивался весенними ручейками времени. Крист выучил себя не обращать внимания на зачеты рабочих дней — средство, разрушающее волю человека, предательский призрак надежды, вносящий растление в арестантские души. Но ход времени был все быстрее — к концу срока всегда бывает так, — блаженны освободившиеся внезапно, досрочно.

Крист гнал от себя мысли о возможной свободе, о том, что называется в мире Криста свободой.

Это очень трудно — освобождаться. Крист знал это по собственному опыту. Знал, как приходится переучиваться жизни, как трудно входить в мир других масштабов, других нравственных мерок, как трудно воскрешать те понятия, которые жили в душе человека до ареста. Не иллюзиями были эти понятия, а законами другого, раннего мира.

Освобождаться было трудно — и радостно, ибо всегда находились, вставали со дна души силы, которые давали Кристу уверенность в поведении, смелость в поступках и твердый взгляд в рассвет завтрашнего своего дня.

Крист не боялся жизни, но знал, что шутить с ней нельзя, что жизнь — штука серьезная.

Крист знал и другое — что, выходя на свободу, он становился навеки «меченым», навеки «клейменным» — навеки предметом охоты для гончих собак, которых в любой момент хозяева жизни могут спустить с поводка.

Но Крист не боялся погони. Сил было еще много — душевных даже побольше, чем раньше, физических — поменьше.

Охота тридцать седьмого года привела Криста в тюрьму, к новому увеличенному сроку, а когда и этот срок был отбыт, получен новый — еще больше. Но до расстрела было еще несколько ступеней, несколько ступеней этой страшной движущейся живой лестницы, соединяющей человека и государство.

Освободиться было опасно. За любым заключенным, у которого кончался срок, на последнем году начиналась правильная охота — не приказом ли Москвы предписанная и разработанная, а ведь «волос не упадет» и так далее. Охота из провокаций, доносов, допросов. Звуки страшного лагерного оркестра-джаза, октета — «семь дуют, один стучит» — раздавались в ушах ждущих освобождения все громче, все явственней. Тон становился все более злоеющим, и мало кто мог благополучно — и случайно! — проскочить эту вершу, эту «морду», этот невод, сеть и выплыть в открытое море, где для освобождающегося не было ориентиров, не было безопасных путей, безопасных дней и ночей.

Все это Крист знал, очень хорошо понял и знал, давно знал, берегся как мог. Но уберечься было нельзя.

Сейчас кончался третий, десятилетний, срок — а число арестов, начатых «дел», попыток дать срок, которые кончались для Криста ничем — то есть были его победой, его удачей, — и сосчитать было трудно. Крист и не считал. Это плохая примета в лагере.

Когда-то Крист, девятнадцатилетним мальчишкой, получил свой первый срок. Самоотверженность, жертвенность даже, желание не командовать, а делать все своими руками жило в душе Криста всегда, жило вместе со страстным чувством неподчинения чужой команде, чужому мнению, чужой воле. На дне души Криста хранилось всегда желание помериться силами с человеком, сидящим за следовательским столом, — воспитанное детством, чтением, людьми, которых Крист видел в юности и о которых он слышал. Таких людей было много в России, в книжной России по крайней мере, в опасном мире книг.

Крист был приобщен к «движению» во всех картотеках Союза, и когда был дан сигнал к очередной травле, уехал на Колыму со смертным клеймом «КРТД». Литерник, «литёрка», обладатель самой опасной буквы «Т». Листочек тонкой папиросной бумаги, вклеенный в личное дело Криста, листочек тонкой прозрачной бумаги — «спецуказание Москвы», текст был отпечатан на стекло-

графе очень слепо, очень неудачно, или это был десятый какой-нибудь экземпляр с пишущей машинки, у Криста был случай подержать в руках этот смертный листочек, а фамилия была вписана твердой рукой, безмятежно ясным почерком канцеляриста — будто и текста не надо — тот, кто пишет вслепую, не глядя вставит фамилию, закрепит чернила в нужной строке. «На время заключения лишить телеграфной и почтовой связи, использовать только на тяжелых физических работах, доносить о поведении раз в квартал».

«Спецуказания» были приказом убить, не выпустить живым, и Крист это понимал. Только думать об этом было некогда. И — не хотелось думать.

Все «спецуказанцы» знали, что этот листок папиросной бумаги обязывает всякое будущее начальство — от конвоира до начальника управления лагерями — следить, доносить, принимать меры, что если любой маленький начальник не будет активен в уничтожении тех, кто обладает «спецуказаниями», — то на этого начальника донесут свои же товарищи, свои сослуживцы. И что он встретит неодобрение от начальства высшего. Что лагерная карьера его — безнадежна, если он не участвует активно в выполнении московских приказов.

На угольной разведке заключенных было мало. Бухгалтер разведки, по совместительству секретарь начальника, бытовичок Иван Богданов разговаривал с Кристом несколько раз. Была хорошая работа — сторожем. Сторож, эстонец-старик, умер от сердечной слабости. Крист мечтал об этой работе. И не был на нее поставлен... И ругался. Иван Богданов слушал его.

— У тебя — спецуказание, — сказал Богданов.

— Я знаю.

— Знаешь, как это устроено?

— Нет.

— Личное дело — в двух экземплярах. Один — с человеком, как его паспорт, а другой — хранится в управлении лагерей. Тот, другой, конечно, недоступен, но никто никогда там не сверялся. Суть в здешнем листочке, в том, что идет с тобой.

Вскоре Богданова куда-то переводили, и он пришел прощаться к Кристу прямо на работу, к разведочному шурфу. Маленький костерчик-дымарь отгонял комаров от шурфа. Иван Богданов сел на край шурфа и вынул из пазухи бумажку, тончайшую выцветшую бумажку.



— Я уезжаю завтра. Вот твои спецуказания.

Крист прочел. Запомнил навечно. Иван Богданов взял листочек и сжег на костре, не выпуская из рук листка, пока не сгорела последняя буква.

— Желаю тебе...

— Будь здоров.

Сменился начальник — у Криста было много-много начальников в жизни — сменился секретарь начальника.

Крист стал сильно уставать на шахте и знал, что это значит. Освободилась должность лебедчика. Но Крист никогда не имел дела с механизмами и даже на радиолу смотрел с сомнением и неуверенностью. Но Семенов, блатарь, уходивший с работы лебедчика на лучшую работу, успокоил Криста:

— Ты — фраер, такой лох, нет спасения. Вы все такие — фраера. Все. Чего ты боишься? Заключение не должен бояться никаких механизмов. Тут-то и учиться. Ответственности никакой. Нужна только смелость, и все. Берись за рычаги, не держи меня здесь, а то и мой шанс пропадет...

Хотя Крист знал, что блатарь — это одно, а фраер — особенно фраер с литером «КРТД» — это совсем, совсем другое, когда речь идет об ответственности — уверенность Семенова передалась ему.

Нарядчик был прежний и спал тут же, в углу барака. Крист пошел к нарядчику.

— У тебя же спецуказания.

— А я откуда знаю?

— Ты-то не знаешь. Да и я, положим, дела твоего не видал. Попробуем.

Так Крист стал лебедчиком, включал и выключал рычаги электрической лебедки, разматывал стальной трос, опуская вагонетки в шахту. Отдохнул немного. Месяц отдохнул. А потом приехал какой-то бытовик-механик, и Крист опять был послан в шахту, катал вагонетки, насыпал уголь и размышлял, что механик-бытовик не останется и сам на такой ничтожной, без «навара», работе, как шахтный лебедчик, — что только для «литёрок» вроде Криста — шахтная лебедка — рай, а когда механик-бытовик уйдет — Крист снова будет двигать эти благословенные рычаги и включать рубильник лебедки.

Ни один день из лагерного времени не был забыт Кристом. Оттуда, с шахты, его увезли в спецзону, судили, дали вот этот самый срок, которому близок конец.

Крист сумел кончить фельдшерские курсы; остался в живых и — что еще важнее — приобрел независимость — важное свойство медицинской профессии на Дальнем Севере, в лагере. Сейчас Крист заведовал приемным покоем огромной лагерной больницы.

Но уберечься было нельзя. Буква «Т» в литере Криста была меткой, тавром, клеймом, приметой, по которой травили Криста много лет, не выпуская из ледяных золотых забоев на шестидесятиградусном колымском морозе. Убивая тяжелой работой, непосильным лагерным трудом, прославляемым как дело чести, дело славы, дело доблести и геройства, убивая побоями начальников, прикладами конвоиров, кулаками бригадиров, тычками парикмахеров, локтями товарищей... Убивая голодом — «юшкой» лагерного супчика.

Крист знал, видел и наблюдал бесчисленное количество раз — что никакая другая статья Уголовного кодекса так не опасна для государства, как его, Криста, литер с буквой «Т». Ни измена Родине, ни террор, ни весь этот страшный букет пунктов пятьдесят восьмой статьи. Четырехбуквенный литер Криста был приметой зверя, которого надо убить, которого приказано убить.

За этим литером охотился весь конвой всех лагерей страны прошлого, настоящего и будущего — ни один начальник на свете не захотел бы проявить слабость в уничтожении такого «врага народа».

Сейчас Крист — фельдшер большой больницы, ведет большую борьбу с блатарями, с тем миром уголовщины, который государство призвало себе на помощь в тридцать седьмом году, чтобы уничтожить Криста и его товарищей.

В больнице Крист работал очень много, не жалея ни времени, ни сил. Высшее начальство, по постоянному повелению Москвы, не раз давало приказ о снятии таких, как Крист, на общие работы, отправке. Но начальник больницы был старым колымчанином и знал цену энергии таких людей. Начальник хорошо понимал, что Крист вложит и вкладывает в свою работу очень много. А Крист — знал, что начальник это понимает.

И вот срок заключения таял медленно, как зимний лед в стране, где нет преобразующих жизнь весенних теплых дождей — а есть только медленная разрушительная работа то холодного, то жгучего солнца. Срок таял, как лед, уменьшался. Конец срока был близок.

Страшное приближалось к Кристу. Все будущее будет отравлено этой важной справкой о судимости, о статье, о литере «КРТД». Этот литер закроет дорогу в любом будущем Криста, закроет на всю жизнь в любом месте страны, на любой работе. Эта буква не только лишит паспорта, но на вечные времена не даст устроиться на работу, не даст выехать с Колымы. Крест внимательно следил за освобождениями тех немногих, кто, подобно Кристу, дождался освобождения, имея в прошлом тавро с буквой «Т» в своем московском приговоре, в своем лагерном паспорте — формуляре, в своем личном деле.

Крест пытался представить себе меру этой косной силы, управляющей людьми, оценить ее трезво.

В лучшем случае его оставят после срока на той же работе, на старом месте. Не выпустят с Колымы. Оставят до первого сигнала, до первого рога на травлю...

Что делать? Может быть, проще всего — веревка... Так многие решали этот же самый вопрос. Нет! Крест будет биться до конца. Биться, как зверь, биться, как его учили в этой многолетней травле человека государством.

Много ночей не спал Крест, думая о своем скором, неотвратимом освобождении. Он не проклинал, не боялся. Крест искал.

Озарение пришло, как всегда, внезапно. Внезапно — но после страшного напряжения — напряжения не умственного, не сил сердца, а всего существа Криста. Пришло, как приходят лучшие стихи, лучшие строки рассказа. Над ними думают день и ночь безответно, и приходит озарение, как радость точного слова, как радость решения. Не радость надежды — слишком много разочарований, ошибок, ударов в спину было на пути Криста.

Но озарение пришло. Лида...

Крест давно работал в этой больнице. Его неизменная преданность интересам больницы, его энергия, постоянное вмешательство в любые больничные дела — всегда на пользу больнице! — создали заключенному Кристу особое положение. Фельдшер Крест был не заведующим приемным покоем, то была вольнонаемная должность. Заведующим был неизвестно кто — штатная ведомость была всегда ребусом, который ежемесячно решали два человека — начальник больницы и главный бухгалтер.

Всю свою сознательную жизнь Крест любил фактическую власть, а не показной почет. И в писательском деле Криста когда-то — в молодые годы — манила не слава, не известность, а сознание собственной силы и умения напи-

сать, сделать что-то новое, свое, чего никто другой сделать не может.

Юридическими хозяевами приемного покоя были дежурные врачи, но их дежурило тридцать — и преемственность: приказов, текущей лагерной «политики» и прочих законов мира заключенных и их хозяев — хранилась только в памяти Криста. Вопросы эти тонки, не всякому доступны. Но они требуют внимания и выполнения, и дежурные врачи хорошо это понимали. Практически решение вопроса о госпитализации любого больного принадлежало Криту. Врачи это знали, даже имели словесные, конечно, прямые указания начальника.

Года два назад дежурный врач из заключенных отвел Криста в сторону...

— Тут девушка одна.

— Никаких девушек.

— Подожди. Я сам ее не знаю. Тут вот в чем дело.

Врач зашептал Криту на ухо грубые и безобразные слова. Суть дела была в том, что начальник лагерного учреждения, лагерного отделения преследует свою секретаршу — бытовичку, конечно. Лагерного мужа этой бытовички давно сгноили на штрафном прииске по приказу начальника. Но жить с начальником девушка не стала. И вот теперь проездом — этап везут мимо — делает попытку лечь в больницу, чтобы ускользнуть от преследования. Из центральной больницы больных не возвращают после выздоровления назад: пошлют в другое место. Может быть, туда, куда руки начальника этого не дотянутся.

— Вот что, — сказал Криту. — Ну-ка, давай эту девушку.

— Она здесь. Войди, Лида!

Невысокая белокурая девушка встала перед Кристом и смело встретила его взгляд.

Ах, сколько людей прошло в жизни перед глазами Криста. Сколько тысяч глаз понято и разгадано. Криту ошибался редко, очень редко.

— Хорошо, — сказал Криту. — Кладите ее в больницу.

Начальничек, который привез Лиду, бросился в больницу — протестовать. Но для больничных надзирателей младший лейтенант небольшой чин. В больницу его не пустили. До полковника — начальника больницы — лейтенант так и не добрался, попал только к майору — главврачу. С трудом дождался приема, доложил свое дело. Главный врач попросил лейтенанта не учить больничных врачей, кто больной, а кто не больной. А потом —

почему лейтенанта интересует судьба его секретарши? Пусть попросит другую в местном лагере. И ему пришлют. Словом, у главного врача нет больше времени. Следующий!..

Лейтенант уехал, ругаясь, и исчез из Лидиной жизни навсегда.

Случилось так, что Лида осталась в больнице, работала кем-то в конторе, участвовала в художественной самодеятельности. Статьи ее Крист так и не узнал — никогда не интересовался статьями людей, с которыми встречался в лагере.

Больница была большая. Огромное здание в три этажа. Дважды в сутки конвой приводил смену obsługi из лагерной зоны — врачей, сестер, фельдшеров, санитаров, и обслуга бесшумно раздевалась в гардеробной и бесшумно растекалась по отделениям больницы, и только дойдя до места работы, превращалась в Василия Федоровича, Анну Николаевну, Катю или Петю, Ваську или Женьку, «длинного» или «рябую» — в зависимости от должности — врача, сестры, санитары больничного и лица «внешней» obsługi.

Крист не ходил в лагерь при круглосуточной его работе. Иногда он и Лида видели друг друга, улыбались друг другу. Все это было два года назад. В больнице уже дважды сменились начальники всех «частей». Никто и не помнил, как положили Лиду в больницу. Помнил — только Крист. Нужно было узнать, помнит ли это и Лида.

Решение было принято, и Крист во время сбора obsługi подошел к Лиде.

Лагерь не любит сентиментальности, не любит долгих и ненужных предисловий и разъяснений, не любит всяких «подходов».

И Лида и Крист были старыми колымчанами.

— Слушай, Лида, — ты работаешь в учетной части?

— Да.

— Документы на освобождение ты печатаешь?

— Да, — сказала Лида. — Начальник печатает и сам. Но он печатает плохо, портит бланки. Все эти документы всегда печатаю я.

— Скоро ты будешь печатать мои документы.

— Поздравляю... — Лида смахнула невидимую пылинку с халата Криста.

— Будешь печатать старые судимости, там ведь есть такая графа?..

— Да, есть.

— В слове «КРТД» пропусти букву «Т».  
— Я поняла,— сказала Лида.  
— Если начальник заметит, когда будет подписывать,— улыбнешься, скажешь, что ошиблась. Испортила бланк...

— Я знаю, что сказать...

Обслуга уже строилась на выход.

Прошло две недели, и Криста вызвали и вручили справку об освобождении без буквы «Т».

Два знакомых инженера и врач поехали вместе с Кристом в паспортный отдел, чтобы видеть, какой паспорт получит Крист. Или ему откажут, как... Документы сдавались в окошечко, ответ через четыре часа. Крист пообедал у знакомого врача без волнения. Во всех таких случаях надо уметь заставить себя обедать, ужинать, завтракать.

Через четыре часа окошечко выбросило лиловую бумагу годичного паспорта.

— Годичный?— спросил Крист, недоумевающая и вкладывая в вопрос особенный свой смысл.

Из окошечка показалась выбритая военная физиономия:

— Годичный. У нас нет сейчас бланков пятилетних паспортов. Как вам положено. Хотите побыть до завтрашнего дня—паспорта привезут, мы перепишем? Или этот годовой вы через год обменяете?

— Лучше я этот через год обменяю.

— Конечно.— Окошечко захлопнулось.

Знакомые Криста были поражены. Один инженер назвал это удачей Криста, другой видел давно ожидаемое смягчение режима, ту первую ласточку, которая обязательно, обязательно сделает весну. А врач видел в этом божью волю.

Крист не сказал Лиде ни одного слова благодарности. Да она и не ждала. За такое— не благодарят. Благодарность— неподходящее слово.

1965

## АНЕВРИЗМА АОРТЫ

Дежурство Геннадий Петрович Зайцев принял в девять часов утра, а уже в половине одиннадцатого пришел этап больных—женщин. Среди них была та самая больная,

о которой Геннадия Петровича предупреждал Подшивалов,— Екатерина Гловацкая. Темноглазая, полная, она понравилась Геннадию Петровичу, очень понравилась.

— Хороша?— спросил фельдшер, когда больных увели мыться.

— Хороша...

— Это...— и фельдшер прошептал что-то на ухо доктору Зайцеву.

— Ну и что ж, что Сенькина?— громко сказал Геннадий Петрович.— Сенькина или Венькина, а попытка — не пытка.

— Ни пуха ни пера. От всей души!

К вечеру Геннадий Петрович отправился в обход больницы. Дежурные фельдшера, зная зайцевские привычки, наливали в мензурки необычайные смеси из «тинктура абсенти» и «тинктура валериани», а то и ликер «Голубая ночь», попросту денатурированный спирт. Лицо Геннадия Петровича краснело все больше, коротко остриженные седые волосы не скрывали багровой лысины дежурного врача. До женского отделения Зайцев добрался в одиннадцать часов вечера. Женское отделение уже было заложено на железные засовы, во избежание покушения насильников-блатарей из мужских отделений. В двери был тюремный глазок, или «волчок», и кнопка электрического звонка, ведущего на вахту, в помещение охраны.

Геннадий Петрович постучал, глазок мигнул, и загремели засовы. Дежурная ночная сестра отперла дверь. Слабости Геннадия Петровича были ей достаточно известны, и она относилась к ним со всем снисхождением арестанта к арестанту.

Геннадий Петрович прошел в процедурку, и сестра подала ему мензурку с «Голубой ночью». Геннадий Петрович выпил.

— Позови мне из сегодняшних эту... Гловацкую.

— Да ведь...— сестра укоризненно покачала головой.

— Не твое дело. Зови ее сюда...

.....  
Катя постучала в дверь и вошла.

Дежурный врач запер дверь на задвижку.

Катя присела на край кушетки. Геннадий Петрович растегнул ее халат, сдвинул воротник халата и зашептал: — Я должен тебя выслушать... твое сердце... Твоя заведующая просила... Я по-французски... без стетоскопа...

Геннадий Петрович прижался волосатым ухом к теплой груди Кати. Все происходило так, как и десятки раз

раньше, с другими. Лицо Геннадия Петровича побагровело, и он слышал только глухие удары собственного сердца. Он обнял Катю. Внезапно он услышал какой-то странный и очень знакомый звук. Казалось, где-то рядом мурлыкает кошка или журчит горный ручей. Геннадий Петрович был слишком врачом — ведь как-никак он был когда-то ассистентом Плетнева.

Собственное сердце билось все тише, все ровней. Геннадий Петрович вытер вспотевший лоб вафельным полотенцем и начал слушать Катю сначала. Он попросил ее раздеться, и она разделась, встревоженная его изменившимся тоном, тревогой, которая была в его голосе и глазах.

Геннадий Петрович слушал еще и еще раз — кошачье мурлыканье не умолкало.

Он походил по комнате, щелкая пальцами, и отпер задвижку. Ночная дежурная сестра, доверительно улыбаясь, вошла в комнату.

— Дайте мне историю болезни этой больной, — сказал Геннадий Петрович. — Уведите ее. Простите меня, Катя.

Геннадий Петрович взял папку с историей болезни Гловацкой и сел к столу.

— Вот видите, Василий Калиныч, — говорил начальник больницы новому парторгу на другое утро, — вы колымчанин молодой, вы всех подлостей господ каторжан не знаете. Вот почитайте, что нынче дежурный врач отхватил. Вот рапорт Зайцева.

Парторг отошел к окну и, отогнув занавеску, поймал свет, рассеянный толстым законным льдом, на бумагу рапорта.

— Ну?

— Это, кажется, очень опасно...

Начальник захохотал.

— Меня, — сказал он важно, — меня господин Подшивалов не проведет.

Подшивалов был заключенный, руководитель кружка художественной самодеятельности, «крепостного театра», как шутил начальник.

— При чем же?..

— А вот при чем, мой дорогой Василий Калиныч. Эта девка — Гловацкая — была в культбригаде. Артисты, ведь знаете, пользуются кое-какой свободой. Она — баба Подшивалова.



— Вот что...

— Само собой разумеется, как только это было обнаружено — ее из бригады мы турнули на штрафной женский прииск. В таких делах, Василий Калиныч, мы разлучаем любовников. Кто из них полезней и важней — оставляем у себя, а другого — на штрафной прииск...

— Это не очень справедливо. Надо бы обоих...

— Отнюдь. Ведь цель-то — разлука. Полезный человек остается в больнице. И волки сыты, и овцы целы.

— Так, так...

— Слушайте дальше. Гловацкая уехала на штрафной, а через месяц ее привозят бледную, больную — они ведь там знают, какую глотнуть белену, — и кладут в больницу. Я утром узнаю — велю выписать, к черту. Ее увозят. Через три дня привозят снова. Тут мне сказали, что она великая мастерица вышиванья — они ведь в Западной Украине все мастерицы, моя жена попросила на недельку положить Гловацкую, жена готовит мне какой-то сюрприз ко дню рождения — вышивку, что ли, я не знаю что...

Словом, я вызываю Подшивалова и говорю ему: если ты даешь мне слово не пытаться видаться с Гловацкой — положу ее на неделю. Подшивалов клянется и благодарит.

— И что же? Виделись они?

— Нет, не виделись. Но он сейчас действует через подставных лиц. Вот Зайцев — слов нет, врач неплохой. Даже знаменитый в прошлом. Сейчас настаивает, рапорт написан: «У Гловацкой аневризма аорты». А все находили невроз сердца, стенокардию. Присылали со штрафного с пороком сердца, с фальшивкой — наши врачи разоблачили сразу. Зайцев, изволишь видеть, пишет, что «каждое неосторожное движение Гловацкой может вызвать смертельный исход». Видал, как заряжают!

— Да-а, — сказал парторг, — только ведь еще терапевты есть, дали бы другим.

Другим терапевтам начальник показывал Гловацкую и раньше, до зайцевского рапорта. Все они послушно признали ее здоровой — начальник приказал выписать ее.

В кабинет постучали. Вошел Зайцев.

— Вы бы хоть волосы пригладили перед тем, как войти к начальнику.

— Хорошо, — ответил Зайцев, поправляя свои волосы. — Я к вам, гражданин начальник, по важному делу.

Отправляют Гловацкую. У ней аневризма аорты, тяжелая. Любое движение...

— Вон отсюда! — заорал начальник. — До чего дошли, подлецы! В кабинет являются...

Катя собрала вещи после традиционного неторопливого обыска, сложила их в мешок, встала в ряды этапа. Конвойный выкликнул ее фамилию, она сделала несколько шагов, и огромная больничная дверь вытолкнула ее наружу. Грузовик, накрытый брезентом, стоял у больничного крыльца. Задняя крышка была откинута. Стоявшая в кузове машины медицинская сестра протянула Кате руку. Из густого морозного тумана выступил Подшивалов. Он помахал Кате рукавицей, Катя улыбнулась ему спокойно и весело, протянула медсестре руку и прыгнула в машину.

Тотчас же в груди Кати стало горячо до жжения, и, теряя сознание, она увидела в последний раз перекошенное страхом лицо Подшивалова и обледенелые больничные окна.

— Несите ее в приемный покой, — распорядился дежурный врач.

— Правильней ее нести в морг, — сказал Зайцев.

1960

## КУСОК МЯСА

Да, Голубев принес эту кровавую жертву. Кусок мяса вырезан из его тела и брошен к ногам всемогущего бога лагерей. Чтобы умиловать бога. Умиловать или обмануть? Жизнь повторяет шекспировские сюжеты чаще, чем мы думаем. Разве леди Макбет, Ричард III, король Клавдий — только средневековая даль? Разве Шейлок, который хотел вырезать из тела венецианского купца фунт живого человеческого мяса, — разве Шейлок сказка? Конечно, червеобразный отросток слепой кишки, рудиментарный орган, весит меньше фунта. Конечно, кровавая жертва приносилась с соблюдением полной стерильности. И все же... Рудиментарный орган оказался вовсе не рудиментарным, а нужным, действующим, спасающим жизнь...

Конец года наполняет жизнь заключенных тревогой. Все, кто держится за свои места нетвердо (а кто из аре-

стантов уверен, что держится твердо?), — разумеется, из пятьдесят восьмой статьи, завоевавшие после многолетней работы в забое, в голоде и холоде, призрачное, неуверенное счастье нескольких месяцев, нескольких недель на работе по специальности или любым «придурком» — бухгалтером, фельдшером, врачом, лаборантом — все, кто пробился на должности, кои положено занимать вольнонаемным (а вольнонаемных нет) или бытовикам — а бытовики мало ценят эти «привилегированные» работы, ибо могут устроиться на такую работу всегда, а потому пьянствуют и кое-что похуже.

На штатных должностях работает пятьдесят восьмая, и работает хорошо. Отлично. И безнадежно. Ибо придет комиссия, найдет и снимет с работы, да и начальнику выговор даст. И начальник не хочет портить отношений с этой высокой комиссией и заранее убирает всех, кому не положено быть на этих «привилегированных» должностях.

Хороший начальник ждет приезда комиссии. Пусть комиссия поработает сама — кого ей удастся снять, снимет и увезет. Недолго увезти, а кого не снимет, тот останется, останется надолго — на год, до следующего декабря. Или самое малое на полгода. Начальник похуже, поглупей самолично снимает, не ожидая приезда комиссии, чтобы рапортовать, что все в порядке.

Начальник самый плохой и менее всех опытный выполняет честно приказы высшего начальства и не допускает пятьдесят восьмую статью ни к каким работам, кроме кайла и тачки, пилы и топора.

У этого начальника дело идет всего хуже. Таких начальников быстро снимают.

Вот эти наезды-налеты комиссий бывают всегда к концу года — у высшего начальства свои недоделки по части контроля, и к концу года эти недоделки старается высшее начальство устранить. И посылает комиссии. А кто и едет сам. Сам. И командировочные идут, и «точки» не остались без личного надзора — есть где галочку об исполнении поставить, да просто промяться, прокатиться, а то и показать свой нрав, свою силу, свою величину.

Все это известно и заключенным, и начальникам — от маленьких до самых высших, с крупными звездами на погонах. Игра эта не новая, обряд хорошо знакомый. И все же волнующий, опасный и неотвратимый.

Приезд этот декабрьский может «переломить» судьбу многим и быстро свести в могилу вчерашних счастливых.

Никаких перемен к лучшему ни для кого в лагере после таких приездов не бывает. Заключенные, особенно пятьдесят восьмая статья, ничего от таких приездов хорошего не ждут. Ждут только плохого.

Еще со вчерашнего вечера поползли слухи, лагерные «параши», те самые «параши», которые всегда сбываются. Приехало, говорят, какое-то начальство, с целой машиной бойцов и тюремным автобусом, «черным вороном», чтобы везти свою добычу в каторжные лагеря. Засуетилось местное начальство, большие стали казаться малыми рядом с хозяевами жизни и смерти — какими-то незнакомыми капитанами, майорами и подполковниками. Подполковники прятались где-то в глубине кабинетов. Капитаны и майоры бегали по двору с какими-то списками, и в этих списках наверняка была фамилия Голубева. Голубев это чувствовал, знал. Но еще ничего не объявляли, никого не вызывали. Еще никого в зоне не списывали.

С полгода назад, во время очередного приезда в поселок «черного ворона» и очередной охоты на людей, Голубев, которого тогда не было в списках, стоял около вахты рядом с заключенным-хирургом. Хирург работал в больничке не только хирургом, а лечил от всех болезней.

Очередную партию пойманных, изловленных, разоблаченных арестантов заталкивали в «черный ворон». Хирург прощался со своим другом — того увозили.

А Голубев стоял рядом с хирургом. И когда машина уползла, поднимая облака пыли, и скрылась в горном ущелье, хирург сказал, глядя в глаза Голубева, сказал про своего друга, уехавшего на смерть: «Сам виноват. Приступ острого аппендицита — и остался бы здесь».

Голубев хорошо запомнил эти слова. Запомнил не мысль, не суждение. Это было зрительное воспоминание: твердые глаза хирурга, мощные облака пыли...

— Тебя ищет нарядчик, — подбежал кто-то, и Голубев увидел нарядчика.

— Собирайся! — В руках нарядчика была бумажка-список. Список был небольшой.

— Сейчас, — сказал Голубев.

— На вахту придешь.

Но Голубев не пошел на вахту. Держась обеими руками за правую половину живота, он застонал, заковылял в сторону санчасти.

На крыльцо вышел хирург, тот самый хирург, и что-то отразилось в его глазах, какое-то воспоминание. Может

быть, пыльное облако, скрывающее автомашину, увозившую навсегда друга хирурга.

Осмотр был недолог.

— В больницу. И вызывайте операционную сестру. Ассистировать вызывайте врача с вольного поселка. Срочная операция.

В больнице, километрах в двух от зоны, Голубева раздели, вымыли, записали.

Два санитаря ввели и посадили Голубева на операционный стол. Привязали его к столу холщовыми лентами.

— Сейчас будет укол,— услышал он голос хирурга.— Но ты, кажется, парень храбрый.

Голубев молчал.

— Отвечай! Сестра, поговорите с больным.

— Больно?

— Больно.

— Так всегда с местной анестезией,— слышал Голубев голос хирурга, объясняющий что-то ассистенту.— Одни слова, что обезболивание. Вот он...

— Еще потерпи!

Голубев дернулся всем телом от острой боли, но боль почти мгновенно перестала быть острой. Хирурги что-то заговорили наперебой, весело, громко. Операция шла к концу.

— Ну, удалили твой аппендикс. Сестра, покажите больному его мясо. Видишь?— Сестра поднесла к лицу Голубева змееобразный кусочек кишки размером с полкарандаша.

— Инструкция требует показать больному, что разрез сделан не даром, что отросток действительно удален,— объяснял хирург вольнонаемному своему ассистенту.— Вот для вас и практика небольшая.

— Я вам очень благодарен,— сказал вольнонаемный врач,— за урок.

— За урок гуманности, за урок человеколюбия,— туманно выразился хирург, снимая перчатки.

— Если что-нибудь такое—вы меня обязательно вызывайте,— сказал вольнонаемный врач.

— Если что-нибудь такое—обязательно вызову,— сказал хирург.

Санитары, выздоравливающие больные в чиненых белых халатах, внесли Голубева в больничную палату. Палата была маленькая, послеоперационная, но операций в больничке было немного, и сейчас там лежали вовсе не

хирургические больные. Голубев лежал на спине, бережно касаясь бинта, замотанного наподобие набедренной повязки индийских факиров, каких-то йогов. Такие рисунки Голубев видел в журналах своего детства, а после чуть не целую жизнь не знал — есть такие факиры или йоги в действительности или их нет. Но мысль об йогов скользяла в мозгу и исчезла. Волевое напряжение, нервное напряжение спадало, и приятное чувство исполненного долга переполняло тело Голубева. Каждая клетка его тела пела, мурлыкала что-то хорошее. Это была передышка в несколько дней. От отправки в каторжную неизвестность Голубев пока избавлен. Это — отсрочка. Сколько дней заживает рана? Семь-восемь. Значит, через две недели снова опасность. Две недели — срок очень далекий, тысячелетний, достаточный для того, чтобы подготовиться к новым испытаниям. Да ведь срок заживления раны — семь-восемь дней по учебнику и первичным протяжениям, как сказали врачи. А если рана загноится? Если наклейка, закрывающая рану, отстанет от кожи раньше времени? Голубев бережно прощупал наклейку, твердую, уже подсыхающую, пропитанную гуммиарабиком марлю. Прощупал сквозь бинт. Да... Это — запасной выход, резерв, еще несколько дней, а то и месяцев. Если понадобится. Голубев вспомнил большую приисковую палату, где он лежал с год назад. Там чуть не все больные ночью отматывали свои повязки, подсыпали спасительную грязь, настоящую грязь с пола, расцарапывали, растревляли раны. Тогда эти ночные перевязки у Голубева — новичка — вызывали удивление, чуть не презрение. Но год прошел, и поступки больных стали Голубеву понятны, вызывая чуть не зависть. Теперь он может воспользоваться тогдашним опытом. Голубев заснул и проснулся оттого, что чья-то рука отогнула одеяло с лица Голубева. Голубев всегда спал по-лагерному, укрываясь с головой, стараясь прежде всего согреть, защитить голову. Над Голубевым склонилось чье-то очень красивое лицо — с усиками и прической под польку или под бокс. Словом, голова была вовсе не арестантская, и Голубев, открыв глаза, подумал, что это — воспоминание вроде йогов или сон — может быть, страшный сон, а может быть, и не страшный.

— Фраерюга, — прохрипел разочарованно человек, закрывая лицо Голубева одеялом. — Фраерюга. Нет людей.

Но Голубев, отогнув одеяло бессильными своими пальцами, поглядел на человека. Этот человек знал Голубе-

ва, и Голубев знал его. Бесспорно. Но не торопиться, не торопиться узнавать. Нужно хорошо вспомнить. Вспомнить все. И Голубев вспомнил. Человек с прической под бокс был... Вот человек снимет у окна рубашку сейчас, и Голубев увидит на его груди клубок переплетающихся змей. Человек повернулся, и клубок переплетающихся змей явился перед глазами Голубева. Это был Кононенко, блатарь, с которым Голубев был вместе на пересылке несколько месяцев назад, многосрочник-убийца, видный блатарь, который несколько лет уже «тормозился» в больницах и следственных тюрьмах. Как только приходил срок выписки, Кононенко убивал на пересылке кого-нибудь, все равно кого, любого фраера — душил полотенцем. Полотенце, казенное полотенце было любимым оружием убийства у Кононенко, его авторским почерком. Его арестовывали, заводили новое дело, снова судили, добавляли новый двадцатипятилетний срок ко многим сотням лет, уже числящимся за Кононенко. После суда Кононенко старался попасть в больницу «отдохнуть», потом снова убивал, и все начиналось сначала. Расстрелы блатарей были тогда отменены. Расстреливать можно было только «врагов народа», по пятьдесят восьмой.

«Сейчас Кононенко в больнице, — размышлял Голубев спокойно, — а каждая клетка тела радостно пела и ничего не боялась, веря в удачу. — Сейчас Кононенко в больнице. Проходит больничный «цикл» зловещих своих превращений. Завтра, а может быть, послезавтра по известной программе Кононенко — очередное убийство». Не напрасны ли все стремления Голубева — операция, страшное напряжение воли. Вот его, Голубева, и придушит Кононенко как очередную свою жертву. Может быть, не нужно было и уклоняться от отправки в каторжные лагеря, где прикрепляют «бубновый туз» — прикрепляют пятизначный номер на спине и дают полосатую одежду. Но зато там не бьют, не растаскивают «жиры». Зато там нет многочисленных Кононекок.

Койка Голубева была у окна. Напротив него лежал Кононенко. А у двери, ногами в ноги Кононенко, лежал третий. И лицо этого третьего Голубев видел хорошо, ему не надо было поворачиваться, чтобы увидеть это лицо. И этого больного Голубев знал. Это был Подосенов, вечный больничный житель.

Открылась дверь, вошел фельдшер с лекарствами.

— Казаков! — крикнул он.

— Здесь! — крикнул Кононенко, вставая.

— Тебе ксива,— и передал сложенную в несколько раз бумажку.

«Казаков?»— билось в мозгу Голубева неостановимо. Но ведь это не Казаков, а Кононенко. И внезапно Голубев понял, и на теле его выступил холодный пот.

Все оказалось гораздо хуже. Никто из трех не ошибался. Это был Кононенко — «сухарь», как говорят блатные, принявший на себя чужое имя и под чужим именем, именем Казакова, со статьями Казакова, «сменщиком» положен в больницу. Это еще хуже, еще опасней. Если Кононенко только Кононенко, его жертвой может быть Голубев, а может и не Голубев. Тут есть еще выбор, случайность, возможность спасения. Но если Кононенко — Казаков,— тогда для Голубева нет спасения. Если только Кононенко заподозрит — Голубев умрет.

— Ты что, встречал меня раньше? Что ты на меня смотришь, как удав на кролика? Или кролик на удава? Как это правильно говорится по-вашему, по-ученому?

Кононенко сидел на табуретке перед койкой Голубева и крошил бумажку-ксиву своими жесткими крупными пальцами, рассыпая бумажные крошки по одеялу Голубева.

— Нет, не встречал,— прохрипел Голубев, бледнея.

— Ну, вот и хорошо, что не встречал,— сказал Кононенко, снимая полотенце с гвоздя, вбитого в стену над койкой и встряхивая полотенцем перед лицом Голубева.— Я еще вчера собрался удавить вон этого «доктора»,— он кивнул на Подосенова, и на лице того изобразился безмерный ужас.— Ведь что, подлец, делает,— весело говорил Кононенко, указывая полотенцем в сторону Подосенова.— В мочу — вон баночка стоит под койкой — подбалтывает собственную кровь... Оцарапает палец и каплю крови добавляет в мочу. Грамотный. Не хуже докторов. Заключительный лабораторный анализ — в мочу кровь. Наш «доктор» остается. Ну, скажи, достоин такой человек жить на свете или нет?

— Не знаю,— сказал Голубев.

— Не знаешь? Знаешь. А вчера — тебя принесли. Ты со мной на пересылке был, не так ли? До моего тогдашнего суда. Тогда я шел как Кононенко...

— В глаза я тебя не видел,— сказал Голубев.

— Нет, видел. Вот я и решил. Чем «доктора» — тебя сделаю начисто. Чем он виноват? — Кононенко показал на бледное лицо Подосенова, к которому медленно-медленно прилиwała, возвращаясь обратно, кровь.— Чем



он виноват, он свою жизнь спасает. Как ты. Или, например, я...

Кононенко ходил по палате, пересыпая с ладони на ладонь бумажные крошки полученной записки.

— И сделал бы тебя, отправил бы на луну, и рука бы не дрогнула. Да вот фельдшер ксиву принес, понимаешь... Мне надо отсюда быстро выбираться. Суки наших режут на приiske. Всех воров, что в больнице, вызвали на помощь. Ты жизни нашей не знаешь... Ты, фраерюга!

Голубев молчал. Он знал эту жизнь. Как фраер, конечно, со стороны.

После обеда Кононенко выписали, и он ушел из жизни Голубева навсегда.

Пока третья койка пустовала, Подосенов успел перебраться на край койки Голубева, уселся ему в ноги — и зашптал:

— Казаков обязательно нас удавит, обоих удавит. Надо сказать начальству...

— Пошел ты к такой-то матери, — сказал Голубев.

1964

## МОЙ ПРОЦЕСС

Нашу бригаду посетил сам ФЕДОРОВ. Как всегда при подходе начальства, колеса тачек закрутились быстрее, удары кайл стали чаще, громче. Впрочем, немного быстрее, немного громче — тут работали старые лагерные волки, им было плевать на всякое начальство, да и сил не было. Убыстрение темпа работы было лишь трусливой данью традиции, а возможно, и уважением к своему бригадиру — того обвинили бы в заговоре, сняли бы с работы, судили, если бы бригада остановила работу. Бессильное желание найти повод для отдыха было бы понято как демонстрация, как протест. Колеса тачек вертелись быстрее, но больше из вежливости, чем из страха.

ФЕДОРОВ, чье имя повторялось десятками опаленных, потрескавшихся от ветра и голода губ, — был уполномоченным райотдела на приiske. Он приближался к забою, где работала наша бригада.

Мало есть зрелищ, столь же выразительных, как поставленные рядом краснорожие от спирта, раскормленные, грузные, отяжелевшие от жира фигуры лагерного на-

чальства в блестящих, как солнце, новеньких, вонючих овчинных полушубках, в меховых расписных якутских малахаях и рукавицах-крагах с ярким узором — и фигуры доходяг, оборванных «фитилей» с «дымящимися» клочками ваты изношенных телогреек, доходяг с одинаковыми грязными костистыми лицами и голодным блеском ввалившихся глаз. Композиции такого именно рода были ежедневны, ежечасны — и в этапных вагонах «Москва — Владивосток», и в рваных лагерных палатках из простого брезента, где зимовали на полюсе холода заключенные, не раздеваясь, не моясь, где волосы примерзали к стенам палатки и где согреться было нельзя. Крыши палаток были прорваны — камни во время близких взрывов в забоях попадали в палатку, а один большой камень так и остался в палатке навсегда — на нем сидели, ели, делили хлеб...

ФЕДОРОВ двигался не спеша по забою. С ним шли и еще люди в полушубках — кем они были, мне не было дано знать.

Время было весеннее, неприятное время, когда ледяная вода выступала везде, а летних резиновых чуней еще не выдавали. На ногах у всех была зимняя обувь — матерчатые бурки из старых стеганых ватных брюк с подошвой из того же материала — промокавшие в первые десять минут работы. Пальцы ног, отмороженные, кровоточащие, стыли нестерпимо. В чунях первые недели было не лучше — резина легко передавала жолод вечной мерзлоты, и от ноющей боли некуда было деться.

ФЕДОРОВ прошелся по забою, что-то спросил, и наш бригадир, почтительно изогнувшись, доложил что-то. ФЕДОРОВ зевнул, и его золотые, хорошо починенные зубы отразили солнечные лучи. Солнце было уже высоко — надо думать, что ФЕДОРОВ предпринял прогулку после *ночной работы*. Он снова спросил что-то.

Бригадир кликнул меня — я только что прикатил пустую тачку с полным фасоном бывалого тачечника — ручки тачки поставлены вверх, чтоб отдыхали руки, перевернутая тачка колесом вперед — и подошел к начальству. — Ты и есть Шаламов? — спросил ФЕДОРОВ.

Вечером меня арестовали.

Выдавали летнее обмундирование — гимнастерку, бумажные брюки, портянки, чуни — был один из важных дней года в жизни заключенного. В другой, еще более важ-

ный осенний день выдавали зимнюю одежду. Выдавали какую придется—подгонка по номерам и ростам шла уже в бараке, позже.

Подошла моя очередь, и завхоз сказал:

— Тебя Федоров вызывает. Придешь от него—получишь...

Тогда я не понял настоящего смысла завхозовых слов.

Какой-то неведомый штатский отвел меня на окраину поселка, где стоял крошечный домик уполномоченного райотдела.

Я сидел в сумерках перед темными окнами избы Федорова, жевал прошлогоднюю соломинку и ни о чем не думал. У завалинки избы была добротная скамейка, но заключенным не полагалось садиться на скамейки начальства. Я поглаживал и почесывал под телогрейкой свою сухую, как пергамент, потрескавшуюся, грязную кожу и улыбался. Что-то обязательно хорошее ждало меня впереди. Удивительное чувство облегчения, почти счастья, охватило меня. Не надо было завтра и послезавтра идти на работу, не надо было махать кайлом, бить этот проклятый камень, когда от каждого удара вздрагивают тонкие, как бечева, мускулы.

Я знал, что всегда рискую получить новый срок. Лагерные традиции на сей счет мне были хорошо известны. В 1938 году, в грозном колымском году, «пришивали дела» в первую очередь тем, кто имел маленький срок, кто кончал срок. Так делали всегда. А сюда, в штрафную зону на Джелгалу, я приехал «пересидчиком». Мой срок кончился в январе сорок второго года, но я освобожден не был, а «оставлен в лагерях до окончания войны», как тысячи, десятки тысяч других. До конца войны! День было прожить трудно, не то что год. Все «пересидчики» становились объектом особенно пристального внимания следственных властей. «Дело» мне усиленно «клеили» и на Аркагале, откуда я приехал на Джелгалу. Однако не склеили. Добились только перевода в штрафную зону, что, конечно, само по себе было зловещим признаком. Но зачем мучить себя мыслями о том, чего я не могу исправить?

Я знал, конечно, что нужно быть сугубо осторожным в разговорах, в поведении: ведь я не фаталист. И все же—что меняется оттого, что я все знаю, все предвижу? Вся жизнь свою я не могу заставить себя называть подлеца честным человеком. И думаю, что лучше совсем не жить, если нельзя говорить с людьми вовсе или говорить противоположное тому, что думаешь.

Что толку в *человеческом опыте?* — говорил я себе, сидя на земле под темным окном Федорова. Что толку знать, чувствовать, догадываться, что этот человек — доносчик, стукач, а тот — подлец, а вот тот — мстительный трус? Что мне выгоднее, полезнее, спасительнее вести с ними дружбу, а не вражду. Или, по крайней мере, — помалкивать. Надо только лгать — и им, и самому себе, и это — невыносимо трудно, гораздо труднее, чем говорить правду. Что толку, если своего характера, своего поведения я изменить не могу? Зачем же мне этот проклятый «опыт»?

Свет в комнате зажегся, занавеска задернулась, дверь избы распахнулась, и дневальный с порога помахал мне рукой, приглашая войти.

Всю малюсенькую, низенькую комнату — служебный кабинет уполномоченного райотдела занимал огромный письменный стол со множеством ящичков, заваленный папками, карандашами, карандашами, тетрадями. Кроме стола, в эту комнату с трудом вмещалось два самодельных стула. На одном, крашеном, сидел Федоров. Второй, некрашенный, залоснившийся от сотен арестантских задов, предназначался для меня.

Федоров указал мне на стул, зашелестел бумагами, и «дело» началось...

Судьбу заключенного в лагере «ломают», то есть могут изменить, три причины: тяжелая болезнь, новый срок или какая-нибудь необычайность. Необычайности, случайности не так уж мало в нашей жизни.

Слабея с каждым днем в забоях Джелгалы, я надеялся, что попаду в больницу и там я умру, или поправлюсь, или меня отправят куда-нибудь. Я падал от усталости, от слабости и передвигался, шаркая ногами по земле, — незначительная неровность, камешек, тонкое бревнышко на пути были непреодолимы. Но каждый раз на амбулаторных приемах врач наливал мне в жестяной черпачок порцию раствора марганцовки и хрипел, не глядя мне в глаза: «Следующий!» Марганцовку давали внутрь от дизентерии, смазывали ею отморожения, раны, ожоги. Марганцовка была универсальным и уникальным лечебным средством в лагере. Освобождения от работы мне не давали ни разу — простодушный санитар объяснял, что «лимит исчерпан». Контрольные цифры по группе «В» — «времени освобожденных от работы» действительно имелись для каждого лагпункта, для каждой амбулатории. «Зависить» лимит никому не хотелось — слишком мягкосердечным врачам и фельдшерам из заключенных

грозили общие работы. План был Молохом, который требовал человеческих жертв.

Зимой Джелгалу посетило большое начальство. Приехал Драбкин, начальник колымских лагерей.

— Вы знаете, кто я? Я — тот, который главнее всех, — Драбкин был молодой, недавно назначенный.

Окруженный толпой телохранителей и местных начальников, он обошел бараки. В нашем бараке еще были люди, не утратившие интереса к беседам с высоким начальством. Драбкина спросили:

— Почему здесь держат десятки людей без приговора — тех, чей срок давно кончился?

Драбкин был вполне готов к этому вопросу:

— Разве у вас нет приговора? Разве вам не читали бумажку, что вы задержаны до конца войны? Это и есть приговор. Это значит, что вы должны находиться в лагере.

— Бессрочно?

— Не перебивайте, когда с вами говорит начальник. Освобождать вас будут по ходатайствам местного начальства. Знаете, такие характеристики? — и Драбкин сделал неопределенный жест рукой.

А сколько было тревожной тишины за моей спиной, оборванных разговоров при приближении ОБРЕЧЕННОГО человека, сочувственных взглядов — не улыбок, конечно, не усмешек — люди нашей бригады давно отучились улыбаться. Многие в бригаде знали, что Кривицкий с Заславским «подали» на меня что-то. Многие сочувствовали мне, но боялись показать это — как бы я их не «взял по делу», если сочувствие будет слишком явным. Позже я узнал, что бывший учитель Фертюк, приглашенный Заславским в свидетели, отказался наотрез, и Заславскому пришлось выступать со своим постоянным партнером Кривицким. Два свидетельских показания — требуемый законом минимум.

Когда потерял силы, когда ослабел — хочется драться неудержимо. Это чувство — задор ослабевшего человека — знакомо каждому заключенному, кто когда-нибудь голодал. Голодные дерутся не по-людски. Они делают разбег для удара, стараются бить плечом, укусить, дать подножку, сдавить горло... Причин, чтобы ссора возникла, — бесконечное множество. Заключенного все раздражает: и начальство, и предстоящая работа, и холод, и тяжелый инструмент, и стоящий рядом товарищ. Ар-

стант спорит с небом, с лопатой, с камнем и с тем живым, что находится рядом с ним. Малейший спор готов перерасти в кровавое сражение. Но доносов заключенные не пишут. Доносы пишут Кривицкие и Заславские. Это тоже дух тридцать седьмого года.

«Он меня назвал дураком, а я написал, что он хотел отравить правительство. Мы сочлись! Он мне — цитату, а я ему — ссылку». Да не ссылку, а тюрьму или «высшую меру».

Мастера сих дел, Кривицкие и Заславские, частенько и сами попадают в тюрьму. Это значит, что кто-то воспользовался их собственным оружием.

В прошлом Кривицкий был заместителем министра оборонной промышленности, а Заславский — очеркистом «Известий». Заславского я бил неоднократно. За что? За то, что схитрил, что взял бревно «с вершинки» вместо «комелька», за то, что все разговоры в звене передает бригадиру или заместителю бригадира — Кривицкому. Кривицкого бить мне не приходилось — мы работали в разных звеньях, но я ненавидел его — за какую-то особую роль, которую он играл при бригадире, за постоянное безделье на работе, за вечную «японскую» улыбку на лице.

— Как к вам относится бригадир?

— Хорошо.

— С кем у вас в бригаде плохие отношения?

— С Кривицким и Заславским. ♣

— Почему?

Я объяснил, как мог.

— Ну, это чепуха. Так и запишем: плохо относятся Кривицкий и Заславский потому, что с ними были ссоры во время работы.

Я подписал...

Поздно ночью мы шли с конвоиром в лагерь, но не в барак, а в низенькое здание в стороне от зоны, в лагерьный изолятор.

— Вещи у тебя в бараке есть?

— Нет. Все на себе.

— Тем лучше.

Говорят, допрос — борьба двух волей: следователя и обвиняемого. Вероятно, так. Только как говорить о воле человека, который измучен постоянным голодом, холодом и тяжелой работой в течение многих лет — когда клетки мозга иссушены, потеряли свои свойства. Влияние

длительного, многолетнего голода на волю человека, на его душу — совсем другое, чем какая-либо тюремная голодовка или пытка голодом, доведенная до необходимости искусственного питания. Тут мозг человека еще не разрушен и дух его еще силен. Дух еще может командовать над телом. Если бы Димитрова готовили к суду колымские следователи, мир не знал бы Лейпцигского процесса.

— Ну, так как же?

— Самое главное — собери остатки разума, догадайся, пойми, узнай — заявление на тебя могли написать только Заславский с Кривицким. (По чьему требованию? По чьему плану, по какой контрольной цифре?) Взгляни, как насторожился, как заскрипел стулом следователь, едва ты назвал эти имена. Стой твердо — заяви отвод! Отвод Кривицкому и Заславскому! Победи — и ты на «свободе». Ты опять в бараке, на «свободе». Сразу кончится эта сказка, эта радость одиночества, темный уютный карцер, куда свет и воздух проникают только через дверную щель — и начнется: барак, развод на работу, кайло, тачка, серый камень, ледяная вода. Где правильная дорога? Где спасение? Где удача?

— Ну, так как же? Хотите, я по вашему выбору вызову сюда десять свидетелей из вашей бригады. Назовите любые фамилии. Я пропущу их через свой кабинет, и все они покажут против вас. Разве не так? Ручаюсь, что так. Ведь мы с вами люди взрослые.

Штрафные зоны отличаются музыкальностью названия: Желгала, Золотистый... Места для штрафных зон выбираются с умом. Лагерь Желгала расположен на высокой горе — приисковые забой внизу, в ущелье. Это значит, что после многочасовой изнурительной работы люди будут ползти по обледенелым, вырубленным в снегу ступеням, хватаясь за обрывки обмороженного тальника, ползти вверх, выбиваясь из последних сил, таща на себе дрова — ежедневную порцию дров для отопления барака. Это, конечно, понимал начальник, выбравший место для штрафной зоны. Понимал он и другое: что сверху по лагерной горе можно будет скатывать, скидывать тех, кто упирается, кто не хочет или не может идти на работу, так и делали на утренних «разводах» Желгалы. Тех, кто не

шел, рослые надзиратели хватали за руки и за ноги, раскачивали и бросали вниз. Внизу ждала лошадь, запряженная в волокушу. К волокуше за ноги привязывали отказчиков и везли на место работы.

Человек оттого, может быть, и стал человеком, что был физически крепче, выносливее любого животного. Таким он и остался. Люди не умирали оттого, что их голова простучит по джелгалинским дорогам два километра. Вскачь ведь не ездят на волокуше.

Благодаря такой топографической особенности на Джелгале легко удавались так называемые «разводы без последнего» — когда арестанты стремятся сами юркнуть, скатиться вниз, не дожидаясь, когда их скинут в пропасть надзиратели. «Разводы без последнего» в других местах обычно проводились с помощью собак. Джелгалинские собаки в разводах не участвовали.

Была весна, и сидеть в карцере было не так уж плохо. Я знал к этому времени и вырубленный в скале, в вечной мерзлоте, карцер Кадыкчана, и изолятор «Партизана», где надзиратели нарочно выдергали весь мох, служивший прокладкой между бревнами. Я знал срубленный из зимней лиственницы, обледенелый, дымящийся паром карцер прииска «Спокойный» и карцер Черного озера, где вместо пола была ледяная вода, а вместо нар — узкая скамейка. Мой арестантский опыт был велик — я мог спать и на узкой скамейке, видел сны и не падаю в ледяную воду.

Лагерная этика позволяет обманывать начальство, «заряжать туфту», на работе — в замерах, в подсчетах, в качестве выполнения. В любой плотничьей работе можно словчить, обмануть. Одно только дело положено делать добросовестно — строить лагерный изолятор. Барак для начальства может быть срублен небрежно, но тюрьма для заключенных должна быть теплая, добротная. «Сами ведь сидеть будем». И хотя традиция эта культивируется блатными по преимуществу — все же рациональное зерно в таком совете есть. Но это — теория. На практике клин и мох царствуют всюду, и лагерный изолятор — не исключение.

Карцер на Джелгале был особенного устройства — без окна, живо напоминая известные «сундуки» Бутырской тюрьмы. Щель в двери, выходящей в коридор, заменила окно. Здесь я просидел месяц на карцерном пайке — триста граммов хлеба и кружка воды. Дважды за этот месяц дневальный изолятора совал мне миску супу.



Закрывая лицо надушенным платком, следователь Федоров изволил беседовать со мной:

— Не хотите ли газетку — вот видите, Коминтерн распушен. Вам это будет интересно.

Нет, мне не было это интересно. Вот закурить бы.

— Уж извините. Я некурящий. Вот видите — вас обвиняют в восхвалении гитлеровского оружия.

— Что это значит?

— Ну, то, что вы одобрительно отзывались о наступлении немцев.

— Я об этом почти ничего не знаю. Я не видел газет много лет. Шесть лет.

— Ну, это не самое главное. Вот вы сказали как-то, что стахановское движение в лагере — фальшь и ложь.

В лагере было три вида пайков — «котлового довольствия» заключенных — стахановский, ударный и производственный — кроме штрафных, следственных, этапных. Пайки отличались друг от друга количеством хлеба, качеством блюд. В соседнем забое горный смотритель отмерил каждому рабочему расстояние — урок и прикрепил там папиросу из махорки. Вывезешь грунт до отметки — твоя папироса, стахановец.

— Вот как было дело, — сказал я. — Это — уродство, по-моему.

— Потом вы говорили, что Бунин — великий русский писатель.

— Он действительно великий русский писатель. За то, что я это сказал, можно дать срок?

— Можно. Это — эмигрант. Злобный эмигрант.

«Дело» шло на лад. Федоров был весел, подвижен.

— Вот видите, как мы с вами обращаемся. Ни одного грубого слова. Обратите внимание — никто вас не бьет, как в тридцать восьмом году. Никакого давления.

— А триста граммов хлеба в сутки?

— Приказ, дорогой мой, приказ. Я ничего не могу поделать. Приказ. Следственный паек.

— А камера без окна? Я ведь слепну, да и дышать нечем.

— Так уж и без окна? Не может этого быть. Откуда-нибудь свет попадает.

— Из дверной щели снизу.

— Ну вот, вот.

— Зимой бы застилало паром.

— Но сейчас ведь не зима.

— И то верно. Сейчас уж не зима.

— Послушайте,— сказал я.— Я болен. Обессилел. Я много раз обращался в медпункт, но меня никогда не освобождали от работы.

— Напишите заявление. Это будет иметь значение для суда и следствия.

Я потянулся за ближайшей авторучкой— их множество, всяких размеров и фабричных марок, лежало на столе.

— Нет, нет, простой ручкой, пожалуйста.

— Хорошо.

Я написал: многократно обращался в амбулаторные зоны— чуть не каждый день. Писать было очень трудно— практики в этом деле у меня маловато.

Федоров разгладил бумажку.

— Не беспокойтесь. Все будет сделано по закону.

В тот же вечер замки моей камеры загремели, и дверь открылась. В углу на столике дежурного горела «колымка»— четырехлучевая бензиновая лампочка из консервной банки. Кто-то сидел у стола в полушубке, в шапке-ушанке.

— Подойди.

Я подошел. Сидевший встал. Это был доктор Мохнач, старый колымчанин, жертва тридцать седьмого года. На Колыме работал на общих работах, потом был допущен к врачебным обязанностям. Был воспитан в страхе перед начальством. У него на приемах в амбулатории зоны я бывал много раз.

— Здравствуйте, доктор.

— Здравствуй. Разденься. Дыши. Не дыши. Повернись. Нагнись. Можно одеваться.

Доктор Мохнач сел к столу, при качающемся свете «колымки» написал:

«Заклоченный Шаламов В. Т. практически здоров. За время нахождения в «зоне» в амбулаторию не обращался.

Зав. амбулаторией врач Мохнач».

Этот текст мне прочли через месяц на суде.

Следствие шло к концу, а я никак не мог уразуметь, в чем меня обвиняют. Голодное тело ныло и радовалось, что не надо работать. А вдруг меня выпустят снова в забой? Я гнал эти тревожные мысли.

На Колыме лето наступает быстро, торопливо. В один из допросов я увидел горячее солнце, синее небо, услышал тонкий запах лиственницы. Грязный лед еще лежал в оврагах, но лето не ждало, пока растает грязный лед.

Допрос затянулся, мы что-то «уточняли», и конвойный еще не увел меня — а к избушке Федорова подводили другого человека. Этим другим человеком был мой бригадир Нестеренко. Он шагнул в мою сторону и глухо выговорил: «Был вынужден, пойми, был вынужден» — и исчез в двери федоровской избушки.

Нестеренко писал на меня заявление. Свидетелями были Заславский и Кривицкий. Но Нестеренко вряд ли когда-нибудь слышал о Бунине. И если Заславский и Кривицкий были подлецами, то Нестеренко спас меня от голодной смерти, взяв в свою бригаду. Я был там не хуже и не лучше любого другого рабочего. И не было у меня злобы против Нестеренко. Я слышал, что он в лагере третий срок, что он старый солдовчанин. Он был очень опытным бригадиром — понимал не только работу, но и голодных людей — не сочувствовал, а именно понимал. Это дается далеко не каждому бригадиру. Во всех бригадах давали после ужина добавки — черпачок жидкого супа из остатков. Обычно бригадиры давали эти черпаки тем, кто лучше других поработал сегодня, — такой способ рекомендовался официально лагерным начальством. Раздаче добавок придавалась публичность, чуть ли не торжественность. Добавки использовались и в производственных и в воспитательных целях. Не всегда тот, кто работал больше всех, работал лучше всех. И не всегда лучший хотел есть юшку.

В бригаде Нестеренко добавки давали самым голодным — по соображению и по команде бригадира, разумеется.

Однажды в шурфе я выдолбил огромный камень. Мне было явно не под силу вытащить огромный валун из шурфа. Нестеренко увидел это, молча спрыгнул в шурф, выкайлил камень и вытолкнул его наверх...

Я не хотел верить, что он написал на меня заявление. Впрочем...

Говорили, что в прошлом году из этой же бригады ушли в трибунал два человека — Ежиқов и через три месяца Исаев — бывший секретарь одного из сибирских обкомов партии. А свидетели были все те же — Кривицкий и Заславский. Я не обратил внимания на эти разговоры.

— Вот тут подпишите. И вот тут.

Ждать пришлось недолго. Двадцатого июня двери распахнулись, и меня вывели на горячую коричневую землю, на слепящее, обжигающее солнце.

— Получай вещи—ботинки, фуражку. В Ягодное пойдешь.

— Пойдешь?

Два солдата разглядывали меня внимательно.

— Не дойдет,—сказал один.— Не возьмем.

— То есть как это вы не возьмете,—сказал Федоров.— Я позвоню в опергруппу.

Солдаты эти не были настоящим конвоем, заказанным заранее, запаряженным. Два оперативника возвращались в Ягодное—восемнадцать верст тайгой—и попутно должны были доставить меня в Ягодинскую тюрьму.

— Ну, ты сам-то как?—говорил оперативник.— Дойдешь?

— Не знаю.— Я был совершенно спокоен. И торопиться мне некуда. Солнце было слишком горячим—обожгло щеки, отвыкшие от яркого света, от свежего воздуха. Я сел к дереву. Приятно было посидеть на улице, вдохнуть упругий замечательный воздух, запах зацветающего шиповника. Голова моя закружилась.

— Ну, пойдём.

Мы вошли в ярко-зеленый лес.

— Ты можешь идти быстрее?

— Нет.

Прошли бесконечное количество шагов. Ветки тальника хлестали по моему лицу. Спотыкаясь о корни деревьев, я кое-как выбрался на поляну.

— Слушай, ты,—сказал оперативник постарше.— Нам надо в кино в Ягодное. Начало в восемь часов. В клубе. Сейчас два часа дня. У нас за лето первый выходной день. За полгода кино в первый раз.

Я молчал.

Оперативники посоветовались.

— Ты отдохни,—сказал молодой. Он расстегнул сумку.— Вот тебе хлеб белый. Килограмм. Ешь, отдохни—и пойдём. Если бы не кино—черт с ним. А то кино.

Я съел хлеб, вылизал крошки с ладони, лег к ручью и осторожно напиллся холодной и вкусной ручьевогой воды. И потерял окончательно силы. Было жарко, хотелось только спать.

— Ну? Пойдешь?

Я молчал.

Тогда они стали меня бить. Топтали меня, я кричал и прятал лицо в ладони. Впрочем, в лицо они не били — это были люди опытные.

Били меня долго, старательно. И чем больше они меня били, тем было яснее, что ускорить наше общее движение к тюрьме — нельзя.

Много часов брели мы по лесу и в сумерках вышли на трассу — шоссе, которое тянулось через всю Колыму, — шоссе среди скал и болот, двухтысячекилометровая дорога, вся построенная «от тачки и кайла», без всяких механизмов.

Я почти потерял сознание и едва двигался, когда был доставлен в ягодинский изолятор. Дверь камеры откинута, открылась, и опытные руки дежурного дверью ВДА-ВИЛИ меня внутрь. Было слышно только частое дыхание людей. Минут через десять я попытался опуститься на пол и лег к столбу под нары. Еще через некоторое время ко мне подползли сидевшие в камере воры — обыскать, отнять что-нибудь, но их надежда на поживу была тщетной. Кроме вшей, у меня ничего не было. И под раздраженный рев разочарованных блатарей я заснул.

На следующий день в три часа вызвали меня на суд. Было очень душно. Нечем было дышать. Шесть лет я круглые сутки был на чистом воздухе, и мне было нестерпимо жарко в крошечной комнате военного трибунала. Большая половина комнатухи в двенадцать квадратных метров была отдана трибуналу, сидевшему за деревянным барьером. Меньшая — подсудимым, конвою, свидетелям. Я увидел Заславского, Кривицкого и Нестеренку. Грубые некрашенные скамейки стояли вдоль стен. Два окна с частыми переплетами, по колымской моде, с мелкой ячеей, будто в березовской избе Меншикова на картине Сурикова. В такой раме использовалось битое стекло — в этом-то и была конструкторская идея, учитывающая трудную перевозку, хрупкость и многое другое — например, стеклянные консервные банки, распиленные пополам в продольном направлении. Все это, конечно, заботы об окнах квартир начальства и учреждений. В бараках заключенных никаких стекол не было.

Свет в такие окна проникал рассеянный, мутный, и на столе у председателя трибунала горела электрическая лампа без абажура.

Суд был очень коротким. Председатель зачитал краткое обвинение — по пунктам. Опросил свидетелей — подтверждают ли они свои показания на предварительном следствии. Неожиданно для меня свидетелей оказалось не трое, а четверо — изъявил желание принять участие в моем процессе некто Шайлевич. С этим свидетелем я не встречался и не говорил ни разу в своей жизни — он был из другой бригады. Это не помешало Шайлевичу быстро отбарабанить положенное: Гитлер, Бунин... Я понял, что Федоров взял Шайлевича на всякий случай — если я неожиданно заявлю отвод Заславскому и Кривицкому. Но Федоров беспокоился напрасно.

— Вопросы к трибуналу есть?

— Есть. Почему с прииска Джелгала приезжает в трибунал уже третий обвиняемый по пятьдесят восьмой статье — а свидетели все одни и те же?

— Ваш вопрос не относится к делу.

Я был уверен в суровости приговора — убивать было традицией тех лет. Да еще суд в годовщину войны, 22 июня. Посовещавшись минуты три, члены трибунала — их было трое — вынесли «десять лет и пять лет поражения в правах»...

— Следующий!

В коридоре задвигались, застучали сапогами. На другой день меня перевели на пересылку. Началась не однажды испытанная мной процедура оформления нового личного дела — бесконечные отпечатки пальцев, анкеты, фотографирование. Теперь я уже назывался имярек, статья пятьдесят восемь, пункт десять, срок десять и пять поражения. Я уже не был литерником со страшной буквой «Т». Это имело значительные последствия и, может быть, спасло мне жизнь.

Я не знал, что стало с Нестеренко, с Кривицким. Ходили разговоры, что Кривицкий умер. А Заславский вернулся в Москву, стал членом Союза писателей, хоть и не писал в жизни ничего, кроме доносов. Я видел его издали. Дело все-таки не в Заславских, не в Кривицких. Сразу после приговора я мог убить доносчиков и лжесвидетелей. Убил бы их наверняка, если б вернулся после суда на Джелгалу. Но лагерный порядок предусматривает, чтоб вновь приговоренные никогда не возвращались в тот лагерь, откуда их привезли на суд.

1960

Бродячий актер, актер-арестант, напомнил мне эту историю. После концерта лагерной культбригады главный актер, он же режиссер и театральный плотник, назвал фамилию Скоросеева.

Мозг мой обожгло, и я вспомнил пересылку тридцать девятого года, тифозный карантин и нас, пятерых, выдержавших, выстоявших все-все отправки, все этапы, все «выстойки» на морозе и все же пойманных лагерной сетью и выкинутых в безбрежность тайги.

Мы — пятеро — не узнали, не знали и не хотели знать друг о друге ничего, пока этап наш не дошел до того места, где нам нужно было работать и жить. Мы встретили новость этапа по-разному: один из нас сошел с ума, думая, что его ведут расстреливать, а его вели к жизни. Другой хитрил и почти перехитрил судьбу. Третий — я! — был человеком с Золота, равнодушным скелетом. Четвертый — мастер на все руки, семидесяти с лишком лет. Пятый был — «Скоросеев, — говорил он, привставая на цыпочки, чтобы заглянуть каждому в глаза. — Скоро сею... понимаете?»

Мне было все равно, а от каламбуров я был отучен навеки. Но мастер на все руки поддержал разговор:

— Кем ты работал?

— Агрономом в Наркомземе.

Начальник угольной разведки, принимавший этап, полистал «дело» Скоросеева.

— Гражданин начальник, я еще могу...

— Сторожем поставлю...

В разведке Скоросеев работал сторожем ревностно. Не отходил ни на минуту с поста — боялся, что любой оплошностью воспользуется товарищ — донесет, продаст, обратит внимание начальника. Лучше не рисковать.

Однажды целую ночь шла густая метель. Сменщик Скоросеева был галичанин Нарынский — русский военнопленный первой мировой войны, получивший срок за подготовку заговора для восстановления Австро-Венгрии и чуть-чуть гордившийся таким небывалым, редким делом среди туч «троцкистов» и «вредителей». Нарынский, принимая от Скоросеева дежурство, смеясь, показал, что Скоросеев даже в снег, в метель не сдвинулся со своего поста. Преданность была замечена. Скоросеев укреплялся.

В лагере пала лошадь. Это было не очень большой потерей — на Дальнем Севере лошади работают плохо. Но мясо! Мясо! Шкуру надо было снять, труп замерз в снегу. Мастеров и желающих не нашлось. Вызвался Скоросеев. Начальник удивился и обрадовался — шкура и мясо! Шкура к отчету, мясо — в котел. О Скоросееве говорил весь барак, весь поселок. Мясо, мясо! Труп лошади затащили в баню, и Скоросеев оттаял труп, снял с него шкуру, выпотрошил. Шкура застыла на морозе и была вынесена на склад. Мяса нам есть не пришлось — в последнюю минуту начальник передумал — ведь не было ветеринара, подписи на акте не было! Труп лошади порубили на куски, составили акт и сожгли на костре в присутствии начальника и прораба.

Угля, который искала наша разведка, не находилось. Понемногу — по пять, по десять человек — стали уходить из лагеря в этапы. Вверх по горе, по таежной тропе уходили эти люди из моей жизни навсегда.

Там, где мы жили, была все-таки разведка, не прииск, и каждый это понимал. Каждый стремился удержаться тут подольше. Каждый «тормозился» как мог. Один стал работать необычайно старательно. Другой — молиться дольше обычного. Тревога вошла в нашу жизнь.

Прибыл конвой. Из-за гор прибыл конвой. За людьми? Нет, конвой не увел, не увел никого!

Ночью в бараке был устроен обыск. У нас не было книг, не было ножей, не было химических карандашей, газет, бумаги, — что же искать?

Отбирали вольную одежду, вольную одежду — у многих вольная одежда была, — ведь в этой разведке работали и вольнонаемные и была разведка бесконвойной. Предупреждение побегов? Выполнение приказа? Перемена режима?

Все отбиралось без всяких протоколов, без записей. Отбиралось — и все! Возмущению не было конца. Я вспомнил, как два года назад в Магадане отбирали вольную одежду у сотен этапов, у сотен тысяч людей. Десятки тысяч меховых шуб, взятых на Север, на Дальний Север, несчастными заключенными, теплых пальто, свитеров, дорогих костюмов — дорогих, чтобы дать взятку когда-нибудь — спасти свою жизнь в решительный час. Но путь спасения был отрезан в магаданской бане. Горы вольной одежды были сложены на дворе магаданской бани. Горы были выше водонапорной башни, выше банной крыши. Горы теплой одежды, горы трагедий, горы чело-



веческих судеб, которые обрывались внезапно и резко — всех выходящих из бани обрекая на смерть. Ах, как боролись все эти люди, чтобы уберечь свое добро от блатарей, от открытого разбоя в бараках, вагонах, транзитках. Все, что было спасено, утаено от блатарей, — было отобрано государством в бане. Как просто! Это было два года назад. И вот — снова.

Вольная одежда, что просочилась на прииски, настигалась позднее. Я вспомнил, как меня разбудили ночью, в бараке обыски шли ежедневно — ежедневно уводили людей. Я сидел на нарах и курил. Новый обыск — за вольной одеждой. У меня не было вольной одежды — все оставлено было в магаданской бане. Но у товарищей моих вольная одежда была. Это были драгоценные вещи — символ иной жизни, истлевшие, рваные, не чиненные — на починку не хватало ни времени, ни сил, — но все же родные.

Все стояли у своих мест и ждали. Следовательно сидел около лампы и писал акт, акт обыска, изъятия — как это называется на лагерном языке.

Я сидел на нарах и курил, не волнуясь, не возмущаясь. С единственным желанием, чтобы обыск кончился скорее и можно было спать. Но я увидел, как наш дневальный, по фамилии Прага, рубил топором свой собственный костюм, рвал на куски простыни, кромсал ботинки.

— Только на портянки. Только портянками отдам.

— Возьмите у него топор, — закричал следователь.

Прага бросил топор на пол. Обыск остановился. Вещи, которые рвал, резал и уничтожал Прага, были его вещами, его собственными. Эти вещи не успели еще записать в акт. Прага, видя, что его не хватают за руки, превратил в тряпки всю свою вольную одежду на моих глазах. И на глазах следователя.

Это было год назад. И вот — снова.

Все были взволнованы, возбуждены, долго не засыпали.

— Никакой разницы между блатарями, которые нас грабят, и государством для нас нет, — сказал я. И все согласились со мной.

Сторож Скоросеев уходил на дежурство на свою смену часа на два раньше нас. Строем по два — как позволяла таежная тропа — мы добрались до конторы злые, обиженные — наивное чувство справедливости живет в человеке очень глубоко и, может быть, неискоренимо. Казалось бы, что обижаться? Злиться? Возмущаться? Ведь это тысячный пример — этот проклятый обыск. На дне души

что-то клокотало, сильнее воли, сильнее жизненного опыта. Лица арестантов были темными от гнева.

На крыльце конторы стоял сам начальник Виктор Николаевич Плуталов. У начальника было тоже темное от гнева лицо. Наша крошечная колонна остановилась перед конторой, и сейчас же меня вызвали в кабинет Плуталова.

— Так ты говоришь,— покусывая губы, посмотрел на меня Плуталов исподлобья, с трудом, неудобно усаживаясь на табуретку за письменным столом,— что государство хуже блатарей?

Я молчал. Скоросеев! Нетерпеливый человек, господин Плуталов не замаскировал своего стукача, не подождал часа два! Или тут дело в чем-то другом?

— Мне нет дела до ваших разговоров. Но если мне доносят, или как это по-вашему? дуют?

— Дуют, гражданин начальник.

— А может быть, стучат?

— Стучат, гражданин начальник.

— Иди на работу. Ведь сами вы готовы съесть друг друга. Политики! Всемирный язык. Все понимают друг друга. Ведь я начальник — мне надо что-то делать, когда мне дуют...

Плуталов плюнул в ярости.

Прошла неделя, и с очередным этапом я уехал из разведки, из благословенной разведки, на большую шахту, где в первый же день встал вместо лошади на египетский ворот лебедки, упираясь грудью в бревно.

Скоросеев остался в разведке.

Шел концерт лагерной самодеятельности, и бродячий актер — конференсье объявлял номер, выбегал в артистическую — одну из больничных палат — поднимать дух неопытных концертантов. «Концерт идет хорошо! Хорошо идет концерт», — шептал он на ухо каждому участнику. «Хорошо идет концерт», — объявлял он громогласно и прохаживался по артистической, вытирал грязной какой-то тряпкой пот с горячего своего лба.

Все было как у больших, да и сам бродячий актер был на воле большим актером. Кто-то очень знакомым голосом читал на эстраде рассказ Зоценко «Лимонад». Конференсье склонился ко мне:

— Дай закурить.

— Закури.

— Вот не поверишь, — внезапно сказал конференсье, — если б не знал, кто читает, думал бы, что эта сука Скоросеев.

— Скоросеев?— Я понял, чьи интонации напомнил мне голос со сцены.

— Да. Я ведь эсперантист. Понял? Всемирный язык. Не какой-нибудь «бейзик инглиш». И срок за эсперанто. Я член московского общества эсперантистов.

— По пятьдесят восьмой—шесть? За шпионаж?

— Ясное дело.

— Десять?

— Пятнадцать.

— А Скоросеев?

— Скоросеев — заместитель председателя правления общества. Он-то всех и запродавал, всем дал дела...

— Маленький такой?

— Ну да.

— А где он сейчас?

— Не знаю. Удавил бы его своей рукой. Я прошу тебя как друга,— мы были знакомы с актером часа два, не больше,—если увидишь, если встретишь, прямо бей по морде. По морде, и половина грехов тебе простится.

— Так-таки половина?

— Простится, простится.

Но чтец рассказа Зоценко «Лимонад» уже вылезал со сцены. Это был не Скоросеев, а тонкий, длинный, как великий князь из романовского рода, барон, барон Мандель — потомок Пушкина. Я разочаровался, разглядывая потомка Пушкина, а конференсье уже выводил на сцену следующую жертву. «Над седой равниной моря ветер тучи собирает...»

— Слушайте,— зашептал барон, склоняясь ко мне,— разве это стихотворение? «Ветер воеет, гром грохочет»? Стихи бывают не такие. Страшно подумать, что это в то самое время, в тот же самый год, день и час Блок написал «Заклятие огнем и мраком», а Белый «Золото в лазури»...

Я позавидовал счастью барона — отвлечься, убежать, спрятаться, скрыться в стихи. Я этого делать не умел.

Ничего не было забыто. И много лет прошло. Я приехал в Магадан после освобождения, пытаюсь полностью освободиться, переплыть это страшное море, по которому двадцать лет назад привезли меня на Колыму. И хотя я знал, как трудно будет жить в бесконечных моих скитаниях,— я не хотел и часу оставаться по своей воле на проклятой колымской земле.

Денег у меня было в обрез. Попутная машина — рубль за километр — привезла меня вечером в Магадан. Белая тьма окутывала город. У меня тут есть знакомые. Должны быть. Но знакомых на Колыме ищут днем, а не ночью. Ночью никто не откроет даже на знакомый голос. Нужна крыша, нары, сон.

Я стоял на автобусном вокзале и глядел на пол, сплошь покрытый телами, вещами, мешками, ящиками. В крайнем случае... Холод только тут был как на улице, градусов пятьдесят. Железная печка не топилась, а дверь беспрестанно хлопала.

— Кажется, знакомый?

Я обрадовался даже Скоросееву в этот лютый мороз. Мы пожали друг другу руки сквозь рукавицы.

— Идем ночевать ко мне, тут у меня свой дом. Я ведь давно освобожден. Выстроил в кредит. Женился даже. — Скоросеев захохотал. — Чаю попьем...

И было так холодно, что я согласился. Долго мы ползли по горам и рывинам ночного Магадана, затянутого холодной мутно-белой мглой.

— Да, построил дом, — говорил Скоросеев, пока я курил, отдыхая, — кредит. Государственный кредит. Решил вить гнездо. Северное гнездо.

Я напился чаю. Лег и заснул. Но спал плохо, несмотря на дальний свой путь. Чем-то плохо был прожит вчерашний день.

Когда я проснулся, умылся и закурил, я понял — почему я прожил вчерашний день плохо.

— Ну, я пойду. У меня тут знакомый живет.

— Да вы оставьте чемодан. Найдете знакомых — вернетесь.

— Нет, не стоит второй раз на гору лезть.

— Жили бы у меня. Как-никак старые друзья.

— Да, — сказал я. — Прощайте. — Я застегнул полушубок, взял чемодан и уже схватился за ручку двери. — Прощайте.

— А деньги? — сказал Скоросеев.

— Какие деньги?

— А за койку, за ночевку. Ведь это же не бесплатно.

— Простите меня, — сказал я. — Я не сообразил. — Я поставил чемодан, расстегнул полушубок, нашарил в карманах деньги, заплатил и вышел в бело-желтую дневную мглу.

## СПЕЦЗАКАЗ

После 1938 года Павлов получил орден и новое назначение — наркомом внутренних дел Татарской Республики. Путь был показан — целые бригады стояли на рытье могил. Пеллагра и блатные, конвой и алиментарная дистрофия старались как могли. Запоздалое вмешательство медицины спасало кого могло или, вернее, что могло — спасенные люди навсегда перестали быть людьми. На Джелгале этого времени из трех тысяч списочного состава на работу выходило 98 — остальные были освобождены от работы или числились в бесконечных «ОП», «ОК» или временно освобожденными.

В больших больницах было введено улучшенное питание и слова Траута «для успеха лечения больных надо кормить и мыть» пользовались большой популярностью. В больших больницах было введено диетическое питание — несколько различных «столов». Правда, в продуктах было мало разнообразия и часто стол от стола почти ничем не отличался, но все же...

Больничной администрации было разрешено для особо тяжелых больных готовить спецзаказ — вне больничного меню. Лимит этих спецзаказов был небольшим — один-два на триста больничных коек.

Горе было одно: больной, которому выписывался спецзаказ — блинчики, мясные котлеты или что-нибудь еще столь же сказочное, — уже был в таком состоянии, что есть ничего не мог и, лизнув с ложки то или другое блюдо, отворачивал голову в сторону в предсмертном своем изнеможении.

По традиции, доедать эти царские объедки полагалось соседу по койке или тому больному из добровольцев, который ухаживает за тяжелобольным, помогает санитару.

Это было парадоксом, антитезисом диалектической триады. Спецзаказ давался тогда, когда больной был уже не в силах есть что-либо. Принцип, единственно возможный, положенный основанием практики спецзаказов, был таков: наиболее истощенному, самому тяжелому.

Поэтому выписка спецзаказа стала грозной приметой, символом приближающейся смерти. Спецзаказов больные боялись бы, но сознание получателей в это время было уже помрачено, и ужасались не они, а сохранившие еще

рассудок и чувства обладатели первого стола диетической шкалы.

Каждый день перед заведующим отделением больницы стоял этот неприятный вопрос, все ответы на который выглядели нечестными,— кому сегодня выписать спецзаказ.

Рядом со мной лежал молодой, двадцатилетний парень, умиравший от алиментарной дистрофии, которая в те годы называлась полиавитаминозом.

Спецзаказ превращался в то самое блюдо, которое может заказать себе приговоренный к смерти в день казни, последнее желание, которое администрация тюрьмы обязана исполнить.

Паренек отказывался от еды— от овсяного супа, от перлового супа, от овсяной каши, от перловой каши. Когда он отказался от манной, его перевели на спецзаказ.

— Любое, понимаешь, Миша, любое, что хочешь, то тебе и сварят. Понял? — Врач сидел на койке больного.

Миша улыбался слабо и счастливо.

— Ну что ты хочешь? Мясной суп?

— Не-е...— помотал головой Миша.

— Котлеты мясные? Пирожки с мясом? Оладьи с вареньем?

Миша мотал головой.

— Ну, скажи сам, скажи...

Миша прохрипел что-то.

— Что? Что ты сказал?

— Галушкі.

— Галушки?

Миша утвердительно закивал головой и, улыбаясь, откинулся на подушку. Из подушки сыпалась сенная труха.

На следующий день сварили «галушкі».

Миша оживился, взял ложку, выловил галушку из дымящейся миски, облизал ее.

— Нет, не хочу, невкусная.

К вечеру он умер.

Второй больной со спецзаказом был Виктор, с подозрением на рак желудка. Ему целый месяц выписывали спецзаказ, и больные сердились, что он не умирает,— дали бы драгоценный паек кому-нибудь другому. Викторов ничего не ел и в конце концов умер. Рака у него не оказалось— было самое обыкновенное истощение— алиментарная дистрофия.

Когда инженеру Демидову, больному после операции мастоидита, выписали спецзаказ — он отказался:

— Я не самый тяжелый в палате.— Отказался категорически, и не потому, что спецзаказ был штукой страшной. Нет, Демидов считал себя не вправе брать такой паек, который мог пойти на пользу другим больным. Врачи хотели сделать добро Демидову официальным путем. Вот что такое был спецзаказ.

## ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА

От начала и конца этих событий прошло, должно быть, много времени — ведь месяцы на Крайнем Севере считаются годами, так велик опыт, человеческий опыт, приобретенный там. В этом признается и государство, увеличивая оклады, умножая льготы работникам Севера. В этой стране надежд, а стало быть, стране слухов, догадок, предположений, гипотез любое событие обрастает легендой раньше, чем доклад-рапорт местного начальника об этом событии успеваает доставить на высоких скоростях фельдъегерь в какие-нибудь «высшие сферы».

Стали говорить: когда заезжий высокий начальник посоветовал, что культура в лагере хромает на обе ноги, культорг майор Пугачев сказал гостю:

— Не беспокойтесь, гражданин начальник, мы готовим такой концерт, что вся Колыма о нем заговорит.

Можно начать рассказ прямо с донесения врача-хирурга Браудэ, командированного из центральной больницы в район военных действий.

Можно начать также с письма Яшки Кученя, санитаря из заключенных, лежавшего в больнице. Письмо его было написано левой рукой — правое плечо Кученя было прострелено винтовочной пулей навывлет.

Или с рассказа доктора Потаниной, которая ничего не видала и ничего не слыхала и была в отъезде, когда произошли неожиданные события. Именно этот отъезд следователь определил как «ложное алиби»; как преступное бездействие, или как это еще называется на юридическом языке.

Аресты тридцатых годов были арестами людей случайных. Это были жертвы ложной и страшной теории

о разгорающейся классовой борьбе по мере укрепления социализма. У профессоров, партработников, военных, инженеров, крестьян, рабочих, наполнивших тюрьмы того времени до предела, не было за душой ничего положительного, кроме, может быть, личной порядочности, наивности, что ли,— словом, таких качеств, которые скорее облегчали, чем затрудняли карающую работу тогдашнего «правосудия». Отсутствие единой объединяющей идеи ослабляло моральную стойкость арестантов чрезвычайно. Они не были ни врагами власти, ни государственными преступниками, и, умирая, они так и не поняли, почему им надо было умирать. Их самолюбию, их злобе не на что было опереться. И, разобщенные, они умирали в белой колымской пустыне — от голода, холода, много-часовой работы, побоев и болезней. Они сразу выучились не заступаться друг за друга, не поддерживать друг друга. К этому и стремилось начальство. Души оставшихся в живых подверглись полному растрению, а тела их не обладали нужными для физической работы качествами.

На смену им после войны пароход за пароходом шли репатриированные — из Италии, Франции, Германии — прямой дорогой на крайний северо-восток.

Здесь было много людей с иными навыками, с привычками, приобретенными во время войны, — со смелостью, умением рисковать, веривших только в оружие. Командиры и солдаты, летчики и разведчики...

Администрация лагерная, привыкшая к ангельскому терпению и рабской покорности «троцкистов», нимало не беспокоилась и не ждала ничего нового.

Новички спрашивали у уцелевших «аборигенов»:

— Почему вы в столовой едите суп и кашу, а хлеб уносите в барак? Почему не есть суп с хлебом, как ест весь мир?

Улыбаясь трещинами голубого рта, показывая вырванные цингой зубы, местные жители отвечали наивным новичкам:

— Через две недели каждый из вас поймет и будет делать так же.

Как рассказать им, что они никогда еще в жизни не знали настоящего голода, голода многолетнего, ломающего волю — и нельзя бороться со страстным, охватывающим тебя желанием продлить возможно дольше процесс еды, — в бараке с кружкой горячей, безвкусной снеговой «топленной» воды доест, дососать свою пайку хлеба в величайшем блаженстве.



Но не все новички презрительно качали головой и отходили в сторону.

Майор Пугачев понимал кое-что и другое. Ему было ясно, что их привезли на смерть — сменить вот этих живых мертвецов. Привезли их осенью — глядя на зиму, никуда не побежишь, но летом — если и не убежать вовсе, то умереть — свободными.

И всю зиму плелась сеть этого, чуть не единственного за двадцать лет, заговора.

Пугачев понял, что пережить зиму и после этого бежать могут только те, кто не будет работать на общих работах, в забое. После нескольких недель бригадных трудов никто не побежит никуда.

Участники заговора медленно, один за другим, продвигались в обслугу. Солдатов — стал поваром, сам Пугачев — культторгом, фельдшер, два бригадира, а бывший механик Иващенко чинил оружие в отряде охраны.

Но без конвоя их не выпускали никого «за проволоку».

Началась ослепительная колымская весна, без единого дождя, без ледохода, без пения птиц. Исчез помаленьку снег, сожженный солнцем. Там, куда лучи солнца не доставали, снег в ущельях, оврагах так и лежал, как слитки серебряной руды, — до будущего года.

И намеченный день настал.

В дверь крошечного помещения вахты — у лагерных ворот, вахты с выходом и внутрь и наружу лагеря, где, по уставу, всегда дежурят два надзирателя, постучали. Дежурный зевнул и посмотрел на часы-ходики. Было пять часов утра. «Только пять», — подумал дежурный.

Дежурный откинул крючок и впустил стучавшего. Это был лагерный повар-заключенный Солдатов, пришедший за ключами от кладовой с продуктами. Ключи хранились на вахте, и трижды в день повар Солдатов ходил за этими ключами. Потом приносил обратно.

Надо было дежурному самому отпирать этот шкаф на кухне, но дежурный знал, что контролировать повара — безнадежное дело, никакие замки не помогут, если повар захочет украсть, — и доверял ключи повару. Тем более в 5 часов утра.

Дежурный проработал на Колыме больше десятка лет, давно получал двойное жалованье и тысячи раз давал в руки поварам ключи.

— Возьми, — и дежурный взял линейку и склонился графить утреннюю рапортчку.

Солдатов зашел за спину дежурного, снял с гвоздя

ключ, положил его в карман и схватил дежурного сзади за горло. В ту же минуту дверь отворилась, и на вахту в дверь со стороны лагеря вошел Иващенко, механик. Иващенко помог Солдатову задушить надзирателя и затащить его труп за шкаф. Наган надзирателя Иващенко сунул себе в карман. В то окно, что наружу, было видно, как по тропе возвращается второй дежурный. Иващенко поспешно надел шинель убитого, фуражку, застегнул ремень и сел к столу, как надзиратель. Второй дежурный открыл дверь и шагнул в темную конуру вахты. В ту же минуту он был схвачен, задушен и брошен за шкаф.

Солдатов надел его одежду. Оружие и военная форма были уже у двоих заговорщиков. Все шло по росписи, по плану майора Пугачева. Внезапно на вахту явилась жена второго надзирателя — тоже за ключами, которые случайно унес муж.

— Бабу не будем душить, — сказал Солдатов. И ее связали, затолкали полотенце в рот и положили в угол.

Вернулась с работы одна из бригад. Такой случай был предвиден. Конвоир, вошедший на вахту, был сразу обезоружен и связан двумя «надзирателями». Винтовка попала в руки беглецов. С этой минуты командование принял майор Пугачев.

Площадка перед воротами простреливалась с двух угловых караульных вышек, где стояли часовые. Ничего особенного часовые не увидели.

Чуть раньше времени построилась на работу бригада, но кто на Севере может сказать, что рано и что поздно. Кажется, чуть раньше. А может быть, чуть позже.

Бригада — десять человек — строем по два двинулась по дороге в забой. Впереди и сзади в шести метрах от строя заключенных, как положено по уставу, шагали конвойные в шинелях, один из них с винтовкой в руках.

Часовой с караульной вышки увидел, что бригада свернула с дороги на тропу, которая проходила мимо помещения отряда охраны. Там жили бойцы конвойной службы — весь отряд в шестьдесят человек.

Спальня конвойных была в глубине, а сразу перед дверями было помещение дежурного по отряду и пирамиды с оружием. Дежурный дремал за столом и в полусне увидел, что какой-то конвоир ведет бригаду заключенных по тропе мимо окна охраны.

«Это, наверное, Черненко, — не узнавая конвоира, подумал дежурный. — Обязательно напишу на него рапорт». Дежурный был мастером склочных дел и не упустил бы

возможности сделать кому-нибудь пакость на законном основании.

Это было его последней мыслью. Дверь распахнулась, в казарму вбежали три солдата. Двое бросились к дверям спальни, а третий застрелил дежурного в упор. За солдатами вбежали арестанты — все бросились к пирамиде — винтовки и автоматы были в их руках. Майор Пугачев с силой распахнул дверь в спальню казармы. Бойцы, еще в белье, босые, кинулись было к двери, но две автоматные очереди в потолок остановили их.

— Ложись, — скомандовал Пугачев, и солдаты заползли под койки. Автоматчик остался караулить у порога.

«Бригада» не спеша стала переодеваться в военную форму, складывать продукты, запастись оружием и патронами.

Пугачев не велел брать никаких продуктов, кроме галет и шоколада. Зато оружия и патронов было взято сколько можно.

Фельдшер повесил через плечо сумку с аптечкой первой помощи.

Беглецы почувствовали себя снова солдатами.

Перед ними была тайга — но страшнее ли она болот Стохода?

Они вышли на трассу, на шоссе Пугачев поднял руку и остановил грузовик.

— Вылезай! — он открыл дверцу кабины грузовика.

— Да я...

— Вылезай, тебе говорят.

Шофер вылез. За руль сел лейтенант танковых войск Георгадзе, рядом с ним Пугачев. Беглецы-солдаты влезли в машину, и грузовик помчался.

— Как будто здесь поворот.

Машина завернула на один из...

— Бензин весь!..

Пугачев выругался.

Они вошли в тайгу, как ныряют в воду, — исчезли сразу в огромном молчаливом лесу. Справляясь с картой, они не теряли заветного пути к свободе, шагая напрямик. Через удивительный здешний бурелом.

Деревья на Севере умирали лежа, как люди. Могучие корни их были похожи на исполинские когти хищной птицы, вцепившейся в камень. От этих гигантских когтей вниз, к вечной мерзлоте, отходили тысячи мелких щупалец-отростков. Каждое лето мерзлота чуть отступала, и

в каждый вершок оттаявшей земли немедленно вползал и укреплялся там коричневый корень-щупальце.

Деревья здесь достигали зрелости в триста лет, медленно поднимая свое тяжелое, могучее тело на этих слабых корнях.

Поваленные бурей, деревья падали навзничь, головами все в одну сторону и умирали, лежа на мягком толстом слое мха, яркого розового или зеленого цвета.

Стали устраиваться на ночь, быстро, привычно.

И только Ашот с Малининым никак не могли успокоиться.

— Что вы там? — спросил Пугачев.

— Да вот Ашот мне все доказывает, что Адама из рая на Цейлон выслали.

— Как на Цейлон?

— Так у них, магометан, говорят, — сказал Ашот.

— А ты что — татарин, что ли?

— Я не татарин, жена татарка.

— Никогда не слышал, — сказал Пугачев, улыбаясь.

— Вот, вот, и я никогда не слышал, — подхватил Малинин.

— Ну — спать!..

Было холодно, и майор Пугачев проснулся. Солдатов сидел, положив автомат на колени, весь — внимание. Пугачев лег на спину, отыскал глазами Полярную звезду — любимую звезду пешеходов. Созвездия здесь располагались не так, как в Европе, в России, — карта звездного неба была чуть скошенной, и Большая Медведица отползала к линии горизонта. В тайге было молчаливо, строго; огромные узловатые лиственницы стояли далеко друг от друга. Лес был полон той тревожной тишины, которую знает каждый охотник. На этот раз Пугачев был не охотником, а зверем, которого выслеживают, — лесная тишина для него была трижды тревожна.

Это была первая его ночь на свободе, первая вольная ночь после долгих месяцев и лет страшного крестного пути майора Пугачева. Он лежал и вспоминал — как началось то, что сейчас раскручивается перед его глазами, как остросюжетный фильм. Будто киноленту всех двенадцати жизней Пугачев собственной рукой закрутил так, что вместо медленного ежедневного вращения события замелькали со скоростью невероятной. И вот надпись — «конец фильма» — они на свободе. И начало борьбы, игры, жизни...

Майор Пугачев вспомнил немецкий лагерь, откуда он

бежал в 1944 году. Фронт приближался к городу. Он работал шофером на грузовике внутри огромного лагеря, на уборке. Он вспомнил, как разогнал грузовик и повалил колючую однорядную проволоку, вырывая наспех поставленные столбы. Выстрелы часовых, крики, бешеная езда по городу, в разных направлениях, брошенная машина, дорога ночами к линии фронта и встреча — допрос в особом отделе. Обвинение в шпионаже, приговор — двадцать пять лет тюрьмы.

Майор Пугачев вспомнил приезды эmissаров Власова с его «манифестом», приезды к голодным, измученным, истерзанным русским солдатам.

— От вас ваша власть давно отказалась. Всякий пленный — изменник в глазах вашей власти, — говорили власовцы. И показывали московские газеты с приказами, речами. Пленные знали и раньше об этом. Недаром только русским пленным не посылали посылки. Французы, американцы, англичане — пленные всех национальностей получали посылки, письма, у них были землячества, дружба; у русских — не было ничего, кроме голода и злобы на все на свете. Немудрено, что в «Русскую освободительную армию» вступало много заключенных из немецких лагерей военнопленных.

Майор Пугачев не верил власовским офицерам — до тех пор, пока сам не добрался до красноармейских частей. Все, что власовцы говорили, было правдой. Он был не нужен власти. Власть его боялась.

Потом были вагоны-теплушки с решетками и конвоем — многодневный путь на Дальний Восток, море, трюм парохода и золотые прииски Крайнего Севера. И голодная зима.

Пугачев приподнялся и сел. Солдатов помахал ему рукой. Именно Солдатову принадлежала честь начать это дело, хоть он и был одним из последних, вовлеченных в заговор. Солдатов не струсил, не растерялся, не продал. Молодец Солдатов!

У ног его лежит летчик капитан Хрусталеv, судьба которого сходна с пугачевской. Подбитый немцами самолет, плен, голод, побег — трибунал и лагерь. Вот Хрусталеv повернулся боком — одна щека краснее, чем другая, належал щеку. С Хрусталевым с первым несколько месяцев назад заговорил о побеге майор Пугачев. О том, что лучше смерть, чем арестантская жизнь, что лучше умереть с оружием в руках, чем уставшим от голода и работы под прикладами, под сапогами конвойных.

И Хрусталеv, и майор были людьми дела, и тот ничтожный шанс, ради которого жизнь двенадцати людей сейчас была поставлена на карту, был обсужден самым подробным образом. План был в захвате аэродрома, самолета. Аэродромов было здесь несколько, и вот сейчас они идут к ближайшему аэродрому тайгой.

Хрусталеv и был тот бригадир, за которым беглецы послали после нападения на отряд,— Пугачев не хотел уходить без ближайшего друга. Вон он спит, Хрусталеv, спокойно и крепко.

А рядом с ним Иващенко, оружейный мастер, чинивший револьверы и винтовки охраны. Иващенко узнал все нужное для успеха: где лежит оружие, кто и когда дежурит по отряду, где склады боепитания. Иващенко — бывший разведчик.

Крепко спят, прижавшись друг к другу, Левицкий и Игнатович — оба летчики, товарищи капитана Хрусталева.

Раскинул обе руки танкист Поляков на спины соседей — гиганта Георгадзе и лысого весельчака Ашота, фамилию которого майор сейчас вспомнить не может. Положив санитарную сумку под голову, спит Саша Малинин, лагерный, раньше военный, фельдшер, собственный фельдшер особой пугачевской группы.

Пугачев улыбнулся. Каждый, наверное, по-своему представлял себе этот побег. Но в том, что все шло ладно, в том, что все понимали друг друга с полуслова, Пугачев видел не только свою правоту. Каждый знал, что события развиваются так, как должно. Есть командир, есть цель. Уверенный командир и трудная цель. Есть оружие. Есть свобода. Можно спать спокойным солдатским сном даже в эту пустую бледно-сиреневую полярную ночь со странным бессолнечным светом, когда у деревьев нет теней.

Он обещал им свободу, они получили свободу. Он вел их на смерть — они не боялись смерти.

«И никто ведь не выдал, — думал Пугачев, — до последнего дня». О предполагавшемся побеге знали, конечно, многие в лагере. Люди подбирались несколько месяцев. Многие, с кем Пугачев говорил откровенно, — отказывались, но никто не побегал на вахту с доносом. Это обстоятельство мирило Пугачева с жизнью. «Вот молодцы, вот молодцы», — шептал он и улыбался.

Поели галет, шоколаду, молча пошли. Чуть заметная тропка вела их.

— Медвежья,—сказал Селиванов, сибирский охотник.

Пугачев с Хрусталевым поднялись на перевал, к картографической треноге, и стали смотреть в бинокль вниз — на две серые полосы — реку и шоссе. Река была как река, а шоссе на большом пространстве в несколько десятков километров было полно грузовиков с людьми.

— Заключение, наверно,—предположил Хрусталев.

Пугачев взгляделся.

— Нет, это солдаты. Это за нами. Придется разделиться,—сказал Пугачев.— Восемь человек пусть ночуют в стогах, а мы вчетвером пройдем по тому ущелью. К утру вернемся, если все будет хорошо.

Они, минуя подлесок, вошли в русло ручья. Пора назад.

— Смотри-ка,—слишком много, давай по ручью наверх.

Тяжело дыша, они быстро поднимались по руслу ручья, и камни летели вниз, прямо в ноги атакующим, шурша и грохоча.

Левицкий обернулся, выругался и упал. Пуля попала ему прямо в глаз.

Георгадзе остановился у большого камня, повернулся и очередью из автомата остановил поднимающихся по ущелью солдат, ненадолго — автомат его умолк, и стреляла только винтовка.

Хрусталев и майор Пугачев успели подняться много выше, на самый перевал.

— Иди один,—сказал Хрусталеву майор,—постреляю.

Он бил не спеша каждого, кто показывался. Хрусталев вернулся, крича:

— Идут! — и упал. Из-за большого камня выбегали люди.

Пугачев рванулся, выстрелил в бегущих и кинулся с перевала плоскогорья в узкое русло ручья. На лету он уцепился за ивовую ветку, удержался и отполз в сторону. Камни, задетые им в паденье, грохотали, не долетев еще донизу.

Он шел тайгой, без дороги, пока не обессилел.

А над лесной поляной поднялось солнце, и тем, кто прятался в стогах, были хорошо видны фигуры людей в военной форме — со всех сторон поляны.

— Конец, что ли? — сказал Иващенко и толкнул Хачатуряна локтем.

— Зачем конец?— сказал Ашот, прицеливаясь. Щелкнул винтовочный выстрел, упал солдат на тропе.

Тотчас же со всех сторон открылась стрельба по стогам.

Солдаты по команде бросились по болоту к стогам, затрещали выстрелы, раздались стоны.

Атака была отбита. Несколько раненых лежали в болотных кочках.

— Санитар, ползи,— распорядился какой-то начальник.

Из больницы предусмотрительно был взят санитар из заключенных Яшка Кучень, житель Западной Белоруссии. Ни слова не говоря, арестант Кучень пополз к раненому, размахивая санитарной сумкой. Пуля, попавшая в плечо, остановила Кученя на полдороге.

Выскочил, не боясь, начальник отряда охраны— того самого отряда, который разоружили беглецы. Он кричал:

— Эй, Иващенко, Солдатов, Пугачев, сдавайтесь, вы окружены. Вам некуда деться.

— Иди, принимай оружие,— закричал Иващенко из стога.

И Бобылев, начальник охраны, побежал, хлюпая по болоту, к стогам.

Когда он пробежал половину тропы, щелкнул выстрел Иващенко— пуля попала Бобылеву прямо в лоб.

— Молодчик,— похвалил товарища Солдатов.— Начальник ведь оттого такой храбрый, что ему все равно: его за наш побег или расстреляют, или срок дадут. Ну, держись!

Отовсюду стреляли. Зататакали привезенные пулеметы.

Солдатов почувствовал, как обожгло ему обе ноги, как ткнулась в его плечо голова убитого Иващенко.

Другой стог молчал. С десятков трупов лежало в болоте.

Солдатов стрелял, пока что-то не ударило его по голове, и он потерял сознание.

Николай Сергеевич Браудэ, старший хирург большой больницы, телефонным распоряжением генерал-майора Артемьева, одного из четырех колымских генералов, начальника охраны всего Колымского лагеря, был внезапно вызван в поселок Личан вместе с «двумя фельдшерами, перевязочным материалом и инструментом» — как говорилось в телефонограмме.

Браудэ, не гадая понапрасну, быстро собрался, и полу-



торатонный, выдавший виды больничной грузовичок двинулся в указанном направлении. На шоссе больничную машину непрерывно обгоняли мощные «студебеккеры», груженные вооруженными солдатами. Надо было сделать всего сорок километров, но из-за частых остановок, из-за скопления машин где-то впереди, из-за непрерывных проверок документов Браудэ добрался до цели только через три часа.

Генерал-майор Артемьев ждал хирурга в квартире местного начальника лагеря. И Браудэ, и Артемьев были старые колымчане, и судьба их сводила вместе уже не в первый раз.

— Что тут, война, что ли? — спросил Браудэ у генерала, когда они поздоровались.

— Война не война, а в первом сражении двадцать восемь убитых. А раненых посмотрите сами.

И пока Браудэ умывался из рукомойника, привешенного у двери, генерал рассказал ему о побеге.

— А вы, — сказал Браудэ, закуривая, — вызвали бы самолеты, что ли? Две-три эскадрильи, и бомбили, бомбили... Или прямо атомной бомбой.

— Вам все смешки, — сказал генерал-майор. — А я без всяких шуток жду приказа. Да еще хорошо — уволят из охраны, а то ведь с преданием суду. Всякое бывало.

Да, Браудэ знал, что всякое бывало. Несколько лет назад три тысячи человек были посланы зимой пешком в один из портов, где склады на берегу были уничтожены бурей. Пока этап шел, из трех тысяч человек в живых осталось человек триста. И заместитель начальника управления, подписавший распоряжение о выходе этапа, был принесен в жертву и отдан под суд.

Браудэ с фельдшерами до вечера извлекал пули, ампутировал, перевязывал. Раненые были только солдаты охраны — ни одного беглеца среди них не было.

На другой день к вечеру привезли опять раненых. Окруженные офицерами охраны, два солдата принесли носилки с первым и единственным беглецом, которого увидел Браудэ. Беглец был в военной форме и отличался от солдат только небритостью. У него были огнестрельные переломы обеих голеней, огнестрельный перелом левого плеча, рана головы с повреждением теменной кости. Беглец был без сознания.

Браудэ оказал ему первую помощь и, по приказу Артемьева, вместе с конвоирами повез раненого к себе в

большую больницу, где были надлежащие условия для серьезной операции.

Все было кончено. Невдалеке стоял военный грузовик, покрытый брезентом,— там были сложены тела убитых беглецов. И рядом — вторая машина с телами убитых солдат.

Можно было распустить армию по домам после этой победы, но еще много дней грузовики с солдатами разъезжали взад и вперед по всем участкам двухтысячекилометрового шоссе.

Двенадцатого — майора Пугачева — не было.

Солдатово долго лечили и вылечили — чтобы расстрелять. Впрочем, это был единственный смертный приговор из шестидесяти — такое количество друзей и знакомых беглецов угодило под трибунал. Начальник местного лагеря получил десять лет. Начальница санитарной части доктор Потанина по суду была оправдана; и едва закончился процесс, она переменила место работы. Генерал-майор Артемьев как в воду глядел — он был снят с работы, уволен со службы в охране.

Пугачев с трудом сполз в узкую горловину пещеры — это была медвежья берлога, зимняя квартира зверя, который давно уже вышел и бродит по тайге. На стенах пещеры и на камнях ее дна попадались медвежьи волоски.

«Вот как скоро все кончилось,— думал Пугачев.— Приведут собак и найдут. И возьмут».

И, лежа в пещере, он вспомнил свою жизнь — трудную мужскую жизнь, жизнь, которая кончается сейчас на медвежьей таежной тропе. Вспомнил людей — всех, кого он уважал и любил, начиная с собственной матери. Вспомнил школьную учительницу Марию Ивановну, которая ходила в какой-то ватной кофте, покрытой порыжевшим, вытертым черным бархатом. И много, много людей еще, с кем сводила его судьба, припомнил он.

Но лучше всех, достойнее всех были его одиннадцать умерших товарищей. Никто из тех, других людей его жизни не перенес так много разочарований, обмана, лжи. И в этом северном аду они нашли в себе силы поверить в него, Пугачева, и протянуть руки к свободе. И в бою умереть. Да, это были лучшие люди его жизни.

Пугачев сорвал бруснику, которая кустилась на камне у самого входа в пещеру. Сизая, морщинистая, прошло-

годняя ягода лопнула в пальцах у него, и он облизал пальцы. Перезревшая ягода была безвкусна, как снеговая вода. Ягодная кожица пристала к иссохшему языку.

Да, это были лучшие люди. И Ашота фамилию он знал теперь — Хачатурян.

Майор Пугачев припомнил их всех — одного за другим — и улыбнулся каждому. Затем вложил в рот дуло пистолета и последний раз в жизни выстрелил.

1959

## НАЧАЛЬНИК БОЛЬНИЦЫ

— Подожди, ты еще подзайдешь, подзасекнешься, — по-блатному грозил мне начальник больницы, доктор Доктор — одна из самых зловещих фигур Колымы... — Встань как полагается.

Я стоял «как полагается», но был спокоен. Обученного фельдшера с дипломом не бросят на растерзание любому зверю, не выдадут доктору Доктору — шел сорок седьмой, а не тридцать седьмой, и я, видевший кое-что такое, что доктор Доктор и придумать не может, был спокоен и ждал одного — пока начальник удалится. Я был старшим фельдшером хирургического отделения.

Травля началась недавно, после того, как доктор Доктор обнаружил в моем личном деле судимость по литеру «КРТД», а доктор Доктор был чекистом, политотдельщиком, пославшим на смерть немало «КРТД», и вот в его руках, в его больнице, окончивший его курсы — появился фельдшер, подлежащий ликвидации.

Доктор Доктор пробовал обратиться к помощи уполномоченного НКВД. Но уполномоченный был фронтовик Бакланов, молодой, с войны. Нечистые делишки самого доктора Доктора — для него специальные рыболовы возили рыбу, охотники били дичь, самоснабжение начальства шло на полный ход, и сочувствия у Бакланова доктор Доктор не нашел.

— Ведь с ваших же курсов, только окончил. Сами же принимали.

— Это в кадрах прохлопали. Концов не найдешь.

— Ну, — сказал уполномоченный. — Если будет нарушать, совершать, словом, мы уберем. Поможем вам.

Доктор Доктор пожаловался на плохие времена и стал терпеливо ждать. Начальники тоже могут ждать терпеливо промаха подчиненных.

Центральная лагерная больница была большою, на тысячу коек. Врачи из заключенных были всех специальностей. Вольнонаемное начальство просило и добилось разрешения открыть при хирургическом отделении две палаты для вольных — одну мужскую, другую женскую для срочных послеоперационных. В моей палате лежала одна девушка, которую привезли с аппендицитом, а аппендицит не оперировали, а повели консервативно. Девушка была бойкая, секретарь комсомольской организации горного управления, кажется. Когда ее привезли, галантный хирург Браудэ показывал новой пациентке отделение, болтая что-то о... переломах и спондилитах, показывая все отделения подряд. На улице был шестидесятиградусный мороз, а в станции переливания крови печей не было — мороз закуржавил все окно, и за металл нельзя было хвататься голой рукой, но галантный хирург распахнул станцию переливания крови, и все отшатнулись назад, в коридор.

— Вот здесь мы обычно принимаем женщин.

— Без особенного успеха, вероятно, — сказала гостья, согревая дыханием руки.

Хирург смутился.

Вот эта-то бойкая девушка повадилась ко мне в дежурку. Там стояла мороженая брусника, миска брусники, и мы говорили допоздна. Но однажды, часов в двенадцать, двери дежурки распахнулись — и вошел доктор Доктор. Без халата, в кожаной куртке.

— В отделении все в порядке.

— Вижу. А вы — кто? — обратился доктор Доктор к девушке.

— Я больная. Лежу здесь в женской палате. Пришла за градусником.

— Завтра вас здесь не будет. Я ликвидирую этот бардак.

— Бардак? Кто это такой? — сказала девушка.

— Это начальник больницы.

— Ах, вот это и есть доктор Доктор. Слышала, слышала. Тебе будет что-нибудь за меня? За бруснику?

— Ничего не будет.

— Ну, на всякий случай завтра я к нему схожу. Я ему такого начитаю, что он поймет свое место. А если тебя тронут, даю тебе честное слово...

— Ничего мне не будет.

Девушку не выписали, свидание ее с начальником больницы состоялось, и все затихло до первого общего собрания, на котором доктор Доктор выступал с докладом о падении дисциплины.

— Вот в хирургическом отделении фельдшер сидит в операционной с женщиной,— доктор Доктор спутал дежурку с операционной,— и ест бруснику.

— С кем это? — зашептали в рядах.

— С кем? — крикнул кто-то из вольнонаемных.

Но доктор Доктор не назвал фамилии.

Молния ударила, а я ничего не понял. Старший фельдшер отвечает за питание — начальник больницы решил нанести самый простой удар.

Перемерили кисель, и десять граммов киселя не хватило. С великим трудом мне удалось доказать, что выдают маленьким черпачком, а вытряхивают на большую тарелку — неизбежно пропадет десять граммов из-за того, что «липнет ко дну».

Молния предупредила меня, хотя она была и без грома.

На другой день гром ударил без молнии.

Один из палатных врачей попросил оставить его больному — умирающему — ложку чего-нибудь повкуснее, и я, обещав, велел раздатчику оставить полмиски, четверть миски какого-нибудь супа из диетического стола. Это не было законно, но практиковалось всегда и везде, в любом отделении. В обед толпа большого начальства во главе с доктором Доктором влетела в отделение.

— А это кому? — На печке грелось полмиски диетического супа.

— Это доктор Гусегов для своего больного просил.

— У больного, которого ведет доктор Гусегов, нет диетического питания.

— Подать сюда доктора Гусегова.

Доктор Гусегов, заключенный, да еще по «58—1а», измена родине, побелел от страха, явившись перед светлые очи начальства. Он недавно был взят в больницу, после многих лет заявлений, просьб. И вот неудачное распоряжение.

— Я не давал такого указания, гражданин начальник.

— Значит, вы, господин старший фельдшер, врете. Вводите нас в заблуждение,— бушевал доктор Доктор.— Подзашел, сознайся. Подзасекнулся.

Жаль мне было доктора Гусегова, но я его понимал. Я молчал. Молчали и все остальные члены комиссии — главврач, начальник лагеря. Бесновался один доктор Доктор.

— Снимай халат и в лагерь. На общие! В изоляторе сгною!

— Слушаюсь, гражданин начальник.

Я снял халат и сразу превратился в обыкновенного арестанта, которого толкали в спину, на которого кричали — давненько я не жил в лагере...

— А где барак обслуги?

— Тебе не в барак обслуги. А в изолятор!

— Ордера еще нет.

— Сажай его пока без ордера.

— Нет, не приму без ордера. Начальник лагеря не велел.

— Начальник больницы небось выше, чем начальник лагеря.

— Верно, выше, но для меня только начальник лагеря начальство.

В бараке обслуги сидеть мне пришлось недолго — ордер выписали быстро, и я вошел в лагерный изолятор, в вонючий карцер, такой же вонючий, как и десятки карцеров, в которых я сидел раньше.

Я лег на нары и пролежал до завтрашнего утра. Утром пришел нарядчик. Мы знали друг друга и раньше.

— Трое суток тебе дали с выводом на общие работы. Выходи, получишь рукавицы, и песок возить на тачке в котловане под новое здание охраны. Комедия была. Начальник ОЛПа рассказывал. Доктор Доктор требует на штрафной прииск навечно... В номерной лагерь перевести.

— Да что за пустяки, — все остальные. — Если за такие проступки на штрафной или в номерной лагерь, то ведь каждого надо. А мы фельдшера обученного лишились.

Вся комиссия знала о трусости Гусегова, знал и доктор Доктор, но — бесился еще больше.

— Ну, тогда две недели общих работ.

— И это не годится. Слишком тяжелое наказание. Неделю с выводом на свою работу в больницу, — предложил уполномоченный Бакланов.

— Да вы что? Если не будет общих работ, тачки, то никакого наказания не будет. Если только ходить ночевать в изолятор, то это одна проформа.

— Ну ладно,— сутки с выводом на общие работы.

— Трое суток.

— Ну, хорошо.

И вот я через много лет снова берусь за ручки тачки, за машину ОСО— две ручки, одно колесо.

Я—старый тачечник Колымы. Я обучен в тридцать восьмом году на золотом прииске всем тонкостям тачечного дела. Я знаю, как нажимать на ручки, чтоб упор был в плечо, знаю, как катить пустую тачку назад— колесом вперед, ручки держа вверх, чтобы отливала кровь. Я знаю, как перевернуть тачку одним движением, как вывернуть и поставить на трап.

Я—профессор тачечного дела. Я охотно катал тачки, показывал класс. Охотно развернул и выровнял камушком трап. Уроки тут не давались. Просто— тачка, наказание, и все. Никакому учету работа эта карцерная не подлежала. Несколько месяцев я не выходил из трехэтажного огромного здания центральной больницы, обходился без свежего воздуха— шутил, что наглотался чистого воздуха на прииске на двадцать лет вперед и на улицу не хожу. И вот теперь дышу чистым воздухом, вспоминаю тачечное ремесло. Две ночи и три дня пробыл я на этой работе. Вечером третьего дня навестил меня начальник лагеря. За всю свою лагерную практику на Колыме ему еще не приходилось встречать такой меры наказания за проступок, которую требовал доктор Доктор, и начальник лагеря пытался что-то понять.

Он остановился у трапа.

— Здравствуйте, гражданин начальник.

— Сегодня твоя каторга кончается, можешь больше в изолятор не ходить.

— Спасибо, гражданин начальник.

— Но сегодня доработай до конца.

— Слушаюсь, гражданин начальник.

Перед самым отбоем— перед ударом в рельс— явился доктор Доктор. С ним были два его адъютанта, комендант больницы Постель и Гриша Кобеко, больничный зубной протезист.

Постель, бывший работник НКВД, сифилитик, заразивший сифилисом двух или трех медсестер, которых пришлось отправить в вензону, в женскую венерическую зону на лесную командировку, где живут только сифилитички. Красавец Гриша Кобеко был больничным стукач, осведомитель и работодатель— достойная доктора Доктора компания.

Начальник больницы подошел к котловану, и трое тачечников, оставив работу, поднялись и встали по стойке «смирно».

Доктор Доктор разглядывал меня с величайшим удовлетворением.

— Вот ты где... Вот это для тебя самая работа и есть. Понял? Вот это и есть самая твоя работа.

Свидетелей, что ли, привел доктор Доктор, чтобы спровоцировать что-либо, хоть маленькое нарушение. Изменилось время, изменилось. Это понимает и доктор Доктор, понимаю это и я. Начальник и фельдшер — это не то что начальник и простой работяга. Далеко не то.

— Я, гражданин начальник, могу быть на всякой работе. Я могу быть даже начальником больницы.

Доктор Доктор выругался матом и удалился по направлению к вольному поселку. Ударили в рельс, и я пошел не в лагерь, не в зону, как два последних дня, а в больницу.

— Гришка, воды! — закричал я. — И пожрать чего-нибудь после ванны.

Но я плохо знал доктора Доктора. Комиссии, проверки сыпались на отделение чуть не каждый день.

А в ожидании приезда высшего начальства доктор Доктор сходил с ума.

Доктор Доктор добрался бы до меня, да другие вольные начальники сгубили его карьеру, подставили ножку, выперли с хорошей должности.

Внезапно доктор Доктор был отпущен в отпуск на материк, хотя никогда в отпуск не просился. Приехал вместо него другой начальник.

Прощальный обход. Новый начальник грузен, ленив, тяжело дышит. Хирургическое отделение на втором этаже — быстро шли, запыхались. Увидев меня, доктор Доктор не мог отказать себе в развлечении.

— Вот это та самая контрреволюция, о которой я тебе внизу говорил, — показывая на меня пальцем, громко говорил доктор Доктор. — Все собирался снять, не успел. Советую тебе сделать это немедленно, сразу же. Больничный воздух будет чище.

— Постараюсь, — равнодушно сказал толстый начальник, и я понял, что он ненавидит доктора Доктора не меньше, чем я.



## БУКИНИСТ

Из ночи я был переведен в день — явное повышение, утверждение, удача на опасном, но спасительном пути санитар из больных. Я не заметил, кто занял мое место, — сил для любопытства у меня не оставалось в те времена, я берег каждое свое движение, физическое или душевное — как-никак мне уже приходилось воскресать, и я знал, как дорого обходится ненужное любопытство.

Но краем глаза в ночном полусне я увидел бледное грязное лицо, заросшее густой рыжей щетиной, провалы глаз, глаз неизвестного цвета, скрюченные отмороженные пальцы, вцепившиеся в дужку закопченного котелка. Барачная больничная ночь была так темна и густа, что огонь бензинки, колеблемый, сотрясаемый будто бы ветром, не мог осветить коридор, потолок, стену, дверь, пол и вырывал из темноты только кусочек всей ночи: угол тумбочки и склонившееся над тумбочкой бледное лицо. Новый дежурный был одет в тот же халат, в котором дежурил я, грязный рваный халат, расхожий халат для больных. Днем этот халат висел в больничной палате, а ночью напяливался на телогрейку дежурного санитар из больных. Фланель была необычайно тонкой, просвечивала — и все же не лопалась; больные боялись или не могли сделать резкое движение, чтобы халат не распался на части.

Полукруг света раскачивался, колебался, менялся. Казалось, холод, а не ветер, не движение воздуха, а сам холод качает этот свет над тумбочкой дежурного санитар. В световом пятне качалось лицо, искаженное голодом, грязные скрюченные пальцы нашаривали на дне котелка то, чего нельзя было поймать ложкой. Пальцы, даже отмороженные, нечувствительные пальцы, были надежнее ложки — я понял суть движения, язык жеста.

Все это мне было не надо знать — я ведь был дневной санитар.

Но через несколько дней — поспешный отъезд, неожиданное ускорение судьбы внезапным решением — и кузов грузовика, сотрясающегося от каждого рывка автомашины, ползущей по вымерзшему руслу безымянной речки, по таежному зимнику ползущей к Магадану, к югу. В кузове грузовика взлетают и ударяются о дно с деревянным

стуком, перекатываются, как деревянные поленья, два человека. Конвоир сидит в кабине, и я не знаю — ударяет меня дерево или человек. На одной из кормежек жадное чавканье соседа показалось мне знакомым, и я узнал скрюченные пальцы, бледное грязное лицо.

Мы не говорили друг с другом — каждый боялся спугнуть свое счастье, арестантское счастье. Машина спешила — дорога кончилась в одни сутки.

Мы оба ехали на фельдшерские курсы, по лагерному наряду. Магадан, больница, курсы — все это было как в тумане, в белой колымской мгле. Есть ли вехи, дорожные вехи? Принимают ли пятьдесят восьмью? Только десятый пункт. А у моего соседа по кузову машины? Тоже десятый — «аса». Литер: «антисоветская агитация». Приравнивается к десятому пункту.

Экзамен по русскому языку. Диктант. Отметки выставляют в тот же день. Пятерка. Письменная работа по математике — пятерка. Устное испытание по математике — пятерка. От тонкости «Конституции СССР» будущие курсанты избавлены — это все знали заранее... Я лежал на нарах, грязный, все еще подозрительно вшивый — работа санитаром не уничтожала вшей, а может быть, мне это только казалось, вшивость — это один из лагерных психозов. Давно уж нет вшей, а никак не заставишь себя привыкнуть не к мысли (что мысль?), к чувству, что вшей больше нет; так было в моей жизни и дважды и трижды. А Конституция, или история, или политэкономия — все это не для нас. В Бутырской тюрьме, еще во время следствия, дежурный корпусной кричал: «Что вы спрашиваете о Конституции? Ваша Конституция — это Уголовный кодекс». И корпусной был прав. Да, Уголовный кодекс был нашей конституцией. Давно это было. Тысячу лет назад. Четвертый предмет — химия. Отметка — тройка.

Ах, как рванулись заключенные-курсанты к знаниям, где ставкой была жизнь. Как бывшие профессора медицинских институтов рванулись вдальбивать спасительную науку в неучей, в болванов, никогда не интересовавшихся медициной, — от кладовщика Силайкина до татарского писателя Мин Шабая...

Хирург, кривя тонкие губы, спрашивает:

— Кто изобрел пенициллин?

— Флеминг! — Это отвечаю не я, а мой сосед по районной больнице. Рыжая щетина сбрита. Нездоровая

бледная пухлость щек осталась (навалился на суп — мельком соображаю я).

Я был поражен знаниями рыжего курсанта. Хирург разглядывал торжествующего «Флеминга». Кто же ты, ночной санитар? Кто?

— Кем же ты был на воле?

— Я капитан. Капитан инженерных войск. В начале войны был начальником укрепленного района. Строили мы укрепления спешно. Осенью сорок первого года, когда рассеялась утренняя мгла, мы увидели в бухте рейдер немецкий «Граф фон Шпее». Рейдер расстрелял наши укрепления в упор. И ушел. А мне дали десять лет.

«Не веришь, прими за сказку». Верю. Знаю обычай.

Все курсанты занимались ночи напролет, впитывая, вбирая знания со всей страстью приговоренных к смерти, которым вдруг дают надежду жить.

Но Флеминг, после какого-то делового свидания с начальством, повеселел, приволок на занятия в барак роман и, поедая вареную рыбу — остатки чьего-то чужого пира, небрежно листал книгу.

Поймав мою ироническую улыбку, Флеминг сказал:

— Все равно — мы учимся уже три месяца, всех, кто удержался на курсах, всех выпустят, всем дадут дипломы. Зачем я буду сходить с ума? Согласись!..

— Нет, — сказал я. — Я хочу научиться лечить людей. Научиться настоящему делу.

— Настоящее дело — жить.

В этот час выяснилось, что капитанство Флеминга — только маска, еще одна маска на этом бледном тюремном лице. Капитанство-то не было маской — маской были инженерные войска. Флеминг был следователем НКВД в капитанском чине. Сведения отцеживались, копились по капле — несколько лет. Капли эти мерили время подобно водяным часам. Или эти капли падали на голое темя подследственного — водяные часы застенков Ленинграда тридцатых годов. Песочные часы отмеряли время арестантских прогулок, водяные часы — время признания, время следствия. Торопливость песочных часов, мучительность водяных. Водяные часы считали не минуты, отмеряли не минуты, а человеческую душу, человеческую

волю, сокрушая ее по капле, подтачивая, как скалу,— по пословице. Этот следовательский фольклор был в большом ходу в тридцатые, а то и в двадцатые годы.

По капле были собраны слова капитана Флеминга, и клад оказался бесценным. Бесценным его считал и сам Флеминг — еще бы!

— Ты знаешь, какая самая большая тайна нашего времени?

— Какая?

— Процессы тридцатых годов. Как их готовили. Я ведь был в Ленинграде тогда. У Заковского. Подготовка процессов — это химия, медицина, фармакология. Подавление воли химическими средствами. Таких средств — сколько хочешь. И неужели ты думаешь, если средства подавления воли есть — их не будут применять. Женевская конвенция, что ли?

Обладать химическими средствами подавления воли и не применять их на следствии, на «внутреннем фронте» — это уж чересчур человечно. Поверить в сей гуманизм в двадцатом веке невозможно. Здесь и только здесь тайна процессов тридцатых годов, открытых процессов, открытых и иностранным корреспондентам, и любому Фейхтвангеру. На этих процессах не было никаких двойников. Тайна процессов была тайной фармакологии.

Я лежал на коротких неудобных нарах двухспальной системы в опустевшем курсантском бараке, простреливавшемся лучами солнца насквозь, и слушал эти признания.

Опыты были и раньше — во вредительских процессах, например. Рамзинская же комедия только краем касается фармакологии.

Капля по капле сочился рассказ Флеминга — собственная ли его кровь капала на обнаженную мою память? Что это были за капли — крови, слез или чернил? Не чернил и не слез.

— Были, конечно, случаи, когда медицина бессильна. Или в приготовлении растворов неверный расчет. Или вредительство. Тогда — двойной страховкой. По правилам.

- Где же теперь эти врачи?
- Кто знает? На луне, вероятно...

.....  
Следственный арсенал—это последнее слово науки, последнее слово фармакологии.

.....  
Это был не шкаф «А»—Venepa—яды, и не шкаф «В»—Негоиса—«сильно действующие»... Оказывается, латинское слово «герой» на русский язык переводится как «сильно действующий». А где хранились медикаменты капитана Флеминга? В шкафу «П»— в шкафу преступлений или в шкафу «Ч»— чудес.

Человек, который распоряжался шкафом «П» и шкафом «Ч» высших достижений науки, только на фельдшерских лагерных курсах узнал, что у человека печень— одна, что печень— не парный орган. Узнал про кровообращение— через триста лет после Гарвея.

Тайна пряталась в лабораториях, подземных кабинетах, вонючих вивариях, где звери пахли точно так же, как арестанты грязной магаданской транзитки в тридцать восьмом году. Бутырская тюрьма по сравнению с этой транзиткой блистала чистотой хирургической, пахла операционной, а не виварием.

Все открытия науки и техники проверяются в первую очередь в их военном значении— военном— даже в будущем, в возможности догадки. И только то, что отсеяно генералами, что не нужно войне, отдается на общее пользование.

Медицина и химия, фармакология давно на военном учете. В институтах мозга во всем мире всегда копился опыт эксперимента, наблюдения. Яды Борджиа всегда были оружием практической политики. Двадцатый век принес необычайный расцвет фармакологических, химических средств, управляющих психикой.

Но если можно уничтожить лекарством страх, то тысячу раз возможно сделать обратное— подавить человеческую волю уколами, чистой фармакологией, химией без всякой «физики» вроде сокрушения ребер и топтания каблуками, зубодробительства и тушения папирос о тело подследственного.

.....  
Химики и физики— так назывались эти две школы следствия. Физики— это те, что во главу угла полагали

чисто физическое действие, видя в побоях средство обнажения нравственного начала мира. Обнаженная глубина человеческой сути — и какой же подлой и ничтожной оказывалась эта человеческая суть. Битьем можно было не только добиться любых показаний. Под палкой изобретали, открывали новое в науке, писали стихи, романы. Страх побоев, желудочная шкала пайки творили большие дела.

Битье достаточно веское психологическое орудие, достаточно эффективное.

Много пользы давал и знаменитый повсеместный «конвейер», когда следователи менялись, а арестанту не давали спать. Семнадцать суток без сна — и человек сходит с ума — не из следственных ли кабинетов почерпнуто это научное наблюдение.

Но и химическая школа не сдавалась.

Физики могли обеспечить материалом «особые совещания», всяческие «тройки», но для открытых процессов школа физического действия не годилась. Школа физического действия (так, кажется, у Станиславского) не смогла бы поставить открытый кровавый театральный спектакль, не могла бы подготовить «открытые процессы», которые привели в трепет все человечество. Химикам подготовка таких зрелищ была по силам.

Через двадцать лет после того разговора я вписываю в рассказ строки газетной статьи:

«Применяя некоторые психофармакологические агенты, можно на определенное время полностью устранить, например, чувство страха у человека. При этом, что особенно важно, нисколько не нарушается ясность его сознания...

Затем вскрылись еще более неожиданные факты. У людей, у которых «Б-фазы» сна подавлялись длительно, в данном случае на протяжении до семнадцати ночей подряд, начинали возникать различные расстройства психического состояния и поведения».

Что это? Обрывки показаний какого-нибудь бывшего начальника управления НКВД на процессе суда над судьями?.. Предсмертное письмо Вышинского или Рюмина? Нет, это абзацы научной статьи действительного члена Академии наук СССР. Но ведь все это — и в сто раз больше! — известно, испытано и применено в тридцатых годах при подготовке «открытых процессов».

Фармакслогия была не единственным оружием следственного арсенала этих лет. Флеминг назвал фамилию, которая была мне хорошо известна.

Орнальдо!

Еще бы: Орнальдо был известный гипнотизер, много выступавший в двадцатые годы в московских цирках, да и не только московских. Массовый гипноз — специальность Орнальдо. Есть фотографии его знаменитых гастролей. Иллюстрации в книжках по гипнозу. Орнальдо — это псевдоним, конечно. Настоящее имя его Смирнов Н. А. Это — московский врач. Афиши вокруг всей вертушки — тогда афиши расклеивались на круглых тумбах, — фотографии. У Свищева-Паоло фотография была тогда в Столешниковом переулке. В витрине висела огромная фотография человеческих глаз и подпись «Глаза Орнальдо». Я помню эти глаза до сих пор, помню то душевное смятение, в которое приходил я, когда слышал или видел цирковые выступления Орнальдо. Гипнотизер выступал до конца двадцатых годов. Есть бакинские фотографии выступлений Орнальдо 1929 года. Потом он перестал выступать.

— С начала тридцатых годов Орнальдо — на секретной работе в НКВД.

Холодок разгаданной тайны пробежал у меня по спине.

Часто без всякого повода Флеминг хвалил Ленинград. Верней, признал, что он — не коренной ленинградец. Действительно, Флеминг был вызван из провинции эстетам НКВД двадцатых годов, как достойная смена эстетам. Ему были привиты вкусы — шире обычного школьного образования. Не только Тургенев и Некрасов, но и Бальмонт и Сологуб, не только Пушкин, но и Гумилев.

— «А вы, королевские псы, флибустьеры, хранившие золото в темном порту?» Я не путаю?

— Нет, все правильно!

— Дальше не помню. Я — королевский пес? Государственный пес?

И улыбаясь — себе и своему прошлому — рассказал с благоговением, как рассказывает пушкинист о том, что держал в руках гусиное перо, которым написана «Полтава», — он прикасался к папкам «дела Гумилева», назвав его заговором лицейстов. Можно было подумать, что он коснулся камня Каабы — такое блаженство, такое очищение было в каждой черте его лица, что я невольно поду-

мал — это тоже путь приобщения к поэзии. Удивительная, редчайшая тропка постижения литературных ценностей в следственном кабинете. Нравственные ценности поэзии таким путем, конечно, не постигаются.

— В книгах я прежде всего читаю примечания, комментарии. Я человек примечаний, человек комментариев.

— А текст?

— Не всегда. Когда есть время.

Для Флеминга и его сослуживцев приобщение к культуре могло быть — как ни кощунственно это звучит — только в следственной работе. Знакомство с людьми литературной и общественной жизни, искаженное и все-таки чем-то настоящее, подлинное, не скрытое тысячей масок.

Так, главным осведомителем по художественной интеллигенции тех лет, постоянным, вдумчивым, квалифицированным автором всевозможных «меморандумов» и обзоров писательской жизни был — и имя это было неожиданно только на первый взгляд — генерал-майор Игнатьев. Пятьдесят лет в строю. Сорок лет в советской разведке.

— Я эту книгу «Пятьдесят лет в строю» прочитал уже тогда, когда познакомился с обзорами и был представлен самому автору. Или он мне был представлен, — задумчиво говорил Флеминг. — Неплохая книга «Пятьдесят лет в строю».

Флеминг не очень любил газеты, газетные известия, радиопередачи. Международные события мало его занимали. Другое дело — события внутренней жизни. Главное чувство Флеминга — темная обида на мрачную силу, которая обещала гимназисту объять необъятное, вознесла высоко и вот бросила в бездну без стыда или без следа, — я никак не мог запомнить правильное окончание знаменитой песни моего детства «Шумел, горел пожар московский».

Приобщение к культуре было своеобразным. Курсы какие-то краткосрочные, экскурсии в Эрмитаж. Человек рос, и вырос следователь-эстет, шокированный грубой силой, хлынувшей в «органы» в тридцатые годы, сметенный, уничтоженный «новой волной», исповедующей грубую физическую силу, презирающей не только психологические тонкости, но даже «конвейеры» или «выстойки». У новой волны просто терпения не хватало на какие-то научные расчеты, на высокую психологию. Результаты,



оказывается, проще получить обыкновенным битьем. Медлительные эстеты сами пошли «на луну». Флеминг случайно остался в живых. Новой волне было некогда ждать.

Голодный блеск затухал в глазах Флеминга, и профессиональная наблюдательность вновь подавала свой голос...

— Слышь, я смотрел на тебя во время конференции. Ты думал о своем.

— Я хочу только все запомнить, запомнить и описать.

Какие-то картины качались в мозгу Флеминга, уже отдохнувшем, уже успокоенном.

В нервном отделении, где работал Флеминг, был гигант латыш, получавший вполне официально тройной паек. Всякий раз, когда гигант принимался за еду, Флеминг садился напротив, не умея сдержатъ восхищения перед могучей ратвой.

Флеминг не расставался с котелком, тем самым котелком, с которым приехал с Севера... Это — талисман. Колымский талисман.

В нервном отделении блатари поймали кошку, убили и сварили, угостив Флеминга как дежурного фельдшера, — традиционная «лапа» — взятка колымская, колымский калым. Флеминг съел мясо и ничего не сказал о кошке. Это была кошка из хирургического отделения.

Курсанты боялись Флеминга. Но кого не боялись курсанты? В больнице Флеминг работал уже фельдшером, штатным лепилой. Все были к нему враждебны, опасались Флеминга, чувствуя в нем не просто работника органов, но хозяина какой-то необычайно важной, страшной тайны.

Враждебность увеличилась, тайна сгустилась после внезапной поездки Флеминга на свидание с молодой испанкой. Испанка была самая настоящая, дочь кого-то из членов правительства Испанской республики. Разведчица, запутанная в сеть провокаций, получившая срок и выброшенная на Колыму умирать. Но Флеминг, оказывается, не был забыт своими старыми и далекими друзьями, своими прежними сослуживцами. Что-то он должен был узнать от испанки, что-то подтвердить. А больная не ждет. Испанка поправилась и была этапирована на женский прииск. Флеминг внезапно, прервав работу в больнице, едет на свидание с испанкой, двое суток скитается на автомобильной трассе тысячеверстной, по которой пото-

ком идут машины и стоят заставы оперативников через каждый километр. Флемингу везет, он возвращается после свидания вполне благополучно. Поступок казался бы романтическим, свершенным во имя лагерной любви. Увы, Флеминг не путешествует ради любви, не совершает героических поступков ради любви. Тут действует сила гораздо большая, чем любовь, высшая страсть, и эта сила пронесет Флеминга невредимым через все лагерные заставы.

Много раз вспоминал Флеминг тридцать пятый год — внезапный поток убийств. Смерть семьи Савинкова. Сын был расстрелян, а семья — жена, двое детей, мать жены не захотели уехать из Ленинграда. Все оставили письма — предсмертные письма друг другу. Все покончили с собой, и память Флеминга сохранила строки из детской записки: «Бабушка, мы скоро умрем».

В пятидесятом году Флеминг кончил срок по «делу НКВД», но в Ленинград не вернулся. Не получил разрешения. Жена, хранившая много лет «площадь», приехала в Магадан из Ленинграда, но не устроилась и уехала обратно. Перед двадцатым съездом Флеминг вернулся в Ленинград, в ту самую комнату, в которой жил до катастрофы...

Бешеные хлопоты. Тысяча четыреста пенсия по выслуге лет. Вернуться к работе «по специальности» знатоку фармакологии, обогащенной ныне фельдшерским образованием, не пришлось. Оказалось, все старые работники, все ветераны сих дел, все оставшиеся в живых эстеты уволены на пенсию. До последнего курьера.

Флеминг поступил на службу — отборщиком книг в букинистическом магазине на Литейном. Флеминг считал себя плотью от плоти русской интеллигенции, хотя и состоящей с интеллигенцией в столь своеобразном родстве и общении. Флеминг до конца не хотел отделять свою судьбу от судьбы русской интеллигенции, чувствуя, может быть, что только общение с книгой сохранит нужную квалификацию, если удастся дожить до лучших времен.

Во времена Константина Леонтьева капитан инженерных войск ушел бы в монастырь. Но и мир книг — опасный и возвышенный мир — служение книге окрашено в фанатизм, но, как всякое книжное любительство, содержит в себе нравственный элемент очищения. Не в вахтеры же идти бывшему поклоннику Гумилева и знатоку коммен-

тариев к стихам и судьбе Гумилева. Фельдшером — по новой специальности? Нет, лучше букинистом.

— Я хлопочу, все время хлопочу. Рому!

— Я не пью.

— Ах, как это неудачно, неудобно, что ты не пьешь. Катя, он не пьет! Понимаешь? Я хлопочу. Я еще вернусь на свою работу.

— Если ты вернешься на свою работу,— синими губами выговорила Катя, жена,— я повешусь, утоплюсь завтра же.

— Я шучу. Я все время шучу. Я хлопочу. Я все время хлопочу. Подаю какие-то заявления, сутяжничаю, езжу в Москву. Ведь меня в партии восстановили. Но как?

Из-за пазухи Флеминга извлечены груды измятых листков.

— Читай. Это — свидетельство Драбкиной. Она у меня на Игарке была.

Я пробежал глазами пространное свидетельство автора «Черных сухарей».

«Будучи начальником лагпункта, относился к заключенным хорошо, за что и был вскоре арестован и осужден...»

Я перебирал грязные, липкие, многократно листанные невнимательными пальцами начальства показания Драбкиной...

И Флеминг, склоняясь к моему уху и дыша перегаром рома, хрипло объяснил, что он-то в лагере был «человеком» — вот даже Драбкина подтверждает.

— Тебе все это надо?

— Надо. Я этим заполняю жизнь. А может быть, чем черт не шутит. Пьем?

— Я не пью.

— Эх! По выслуге лет. Тысячу четыреста. Но мне надо не это...

— Замолчи, или я повешусь,— закричала Катя, жена.

— Она у меня сердечница,— объяснил Флеминг.

— Возьми себя в руки. Пиши. Ты владеешь словом. По письмам. А рассказ, роман — это ведь и есть доверительное письмо.

— Нет, я не писатель. Я хлопочу...

И, обрызгав слюной мое ухо, зашептал что-то совсем несуразное, как будто и не было никакой Колымы, а в тридцать седьмом году Флеминг сам простоял семнадцать суток на «конвейере» следствия и психика его дала заметные трещины.

— Сейчас издадут много мемуаров. Воспоминаний. Например, «В мире отверженных» Якубовича. Пусть издадут.

— Ты написал воспоминания?

— Нет. Я хочу рекомендовать к изданию одну книгу — знаешь какую. Я ходил в Лениздат — говорят, не твое дело...

— Какую же книгу?

— Записки Сансона, парижского палача. Вот это был бы мемуар!

— Парижского палача?

— Да. Я помню — Сансон отрубил голову Шарлотте Кордэ и бил ее по щекам, и щеки на отрубленной голове краснели. И еще: тогда были «балы жертв». У нас бывают «балы жертв»?

— «Бал жертв» — это относится к термидору, а не просто к послетеррорному времени. Записки же Сансона — фальшивка.

— Так разве в этом дело — фальшивка или нет. Была такая книга. Выпьем рому. Много я перебирал напитков, и лучше всего ром. Ром. Ямайский ром.

Жена собрала обедать — горы какой-то жирной снеди, которая поглощалась почти мгновенно прожорливым Флемингом. Неукротимая жадность к еде осталась навек во Флеминге, как психическая травма — осталась, как и у тысяч других бывших заключенных — на всю жизнь.

Разговор как-то прервался, в наступающих сумерках городских услышал я рядом с собой знакомое колымское чавканье.

Я подумал о силе жизни — скрытой в здоровом желудке и кишечнике, способности поглощать — это и было на Колыме защитным рефлексом жизни у Флеминга. Неразборчивость и жадность. Неразборчивость души, приобретенная за следовательским столом, тоже была подготовкой, своеобразным амортизатором в этом колымском падении, где никакой бездны Флемингу не было открыто — все он знал и раньше, и это дало ему спасение — ослабило нравственные мучения, если эти мучения были! Никаких дополнительных душевных травм Флеминг не испытал — он видел худшее, и равнодушно смотрел на гибель всех рядом, и готов был бороться только за свою собственную жизнь. Жизнь была спасена, но на душе Флеминга остался какой-то тяжелый след, который нужно было стереть,

очистить покаянием. Покаянием — обмолвкой, полунамеком, беседой с самим собой вслух, без сожаления, без осуждения. «Мне попросту не повезло». И все же рассказ Флеминга был покаянием.

. . . . .

— Видишь книжечку?

— Партбилет?

— Угу. Новенький. Но непросто все было, непросто. Полгода назад разбирал обком мою партийную реабилитацию. Сидят, читают материалы. Секретарь обкома, чуваш этот, говорит, мертво так, грубо: «Ну, все ясно. Пишите решение: восстановить с перерывом стажа».

Меня как обожгло: «с перерывом стажа». Я подумал — если я сейчас не заявлю о своем несогласии с решением, мне в дальнейшем всегда будут говорить — «а чего же вы молчали, когда разбиралось ваше дело? Ведь вас для того и вызывают лично на разбор, чтобы вы могли вовремя заявить, сказать...» Я поднимаю руку.

«Ну, что у тебя?» Мертво так, грубо.

Я говорю: «Я не согласен с решением. Ведь у меня будет всюду, на всякой работе требовать объяснения этого перерыва».

«Вот какой ты быстрый,— говорит первый секретарь обкома.— Это ты потому бойкий, что у тебя материальная база — сколько по выслуге лет получаешь?»

Он прав, но я перебиваю секретаря и говорю: прошу полной реабилитации без перерыва стажа.

Секретарь обкома вдруг говорит: «Что ты так жмешь? Что горячишься? Ведь у тебя руки по локоть в крови!»

У меня в голове зашумело. «А у вас,— говорю,— у вас не в крови?»

Секретарь обкома говорит: «Нас не было здесь».

«А там,— говорю,— где вы были в тридцать седьмом году — там у вас не в крови?»

Первый секретарь говорит: «Хватит болтать. Мы можем переголосовать. Иди отсюда».

Я вышел в коридор, и вынесли мне решение: «В партийной реабилитации отказать».

Я в Москве хлопотал полгода. Отменили. Но приняли только эту, самую первую формулировку: «Восстановить с перерывом стажа».

Тот, который докладывал мое дело в КПК, сказал — не надо было лаяться в обкоме.

Я все хлопочу, сутяжничаю, езжу в Москву и добиваюсь. Пей!

— Я не пью.

— Это не ром, коньяк. Пять звездочек коньяк. Для тебя.

— Убери бутылку.

— Да и верно, уберу, унесу, возьму с собой. Не обижайся.

— Не обижусь.

Прошел год, и я получил от букиниста последнее письмо: «Во время моего отъезда из Ленинграда скоропостижно умерла моя жена. Я приехал через полгода, увидел могильный холм, крест и любительское фото — ее в гробу. Не осуждай меня за слабость, я здоровый человек, но не могу ничего сделать — живу как во сне, утратив интерес к жизни.

Я знаю, это пройдет — но нужно время. Что видела она в жизни? Хождение по тюрьмам за справками и передачами? Общественное презрение, поездка ко мне в Магадан, — жизнь в нужде, а вот сейчас — финал. Прости, потом я напишу тебе больше. Да, я здоров, но здорово ли общество, в котором я живу.

Привет».

1956

## ПО ЛЕНДЛИЗУ

Свежие тракторные следы на болоте были следами какого-то доисторического зверя — меньше всего это была поставка по лендлизу американской техники.

Мы, заключенные, слышали об этих заморских дарах, внесших смятение в чувства лагерного начальства. Поношенные вязаные костюмы, подержанные пуловеры и джемперы, собранные за океаном для колымских заключенных, расхватали чуть не в драку магаданские генеральские жены. В списках эти шерстяные сокровища обозначались словом «подержанные», что, разумеется, много выразительнее прилагательного «поношенные» или всяких и всяческих б/у — «бывших в употреблении», знакомых только лагерному уху. В слове «подержанные» есть какая-то таинственная неопределенность — будто подержали в руках или дома в шкафу — и вот костюм стал «по-

держанным», не утратив ни одного из своих многочисленных качеств, о которых и думать было нельзя, если бы в документ вводили слово «поношенный».

Колбаса по лендлизу была вовсе не подержанной, но мы видели эти сказочные банки только издали. Свиная тушенка по лендлизу, пузатые баночки — вот это блюдо мы хорошо знали. Отсчитанная, отмеренная по очень сложной таблице замены свиная тушенка, раскраденная жадными руками начальников и еще раз пересчитанная, еще раз отмеренная перед запуском в котел — разваренная там, превратившаяся в таинственные волосинки, пахнущие чем угодно, только не мясом, — свиная тушенка по лендлизу будоражила только наше зрение, но не вкус. Свиная тушенка по лендлизу, запущенная в лагерный котел, никакого вкуса не имела. Желудки лагерников предпочитали что-нибудь отечественное — вроде гнилой старой оленины, которую и в семи лагерных котлах не разварить. Оленина не исчезает, не становится эфемерной, как тушенка.

Овсяная крупа по лендлизу — ее мы одобряли, ели. Все равно больше двух столовых ложек каши на порцию не выходило.

Но и техника шла по лендлизу — техника, которую нельзя съесть: неудобные топорики-томагавки, удобнейшие лопаты с нерусскими, экономящими силу грузчика, короткими черенками. Лопаты вмиг переодевались на длинные черенки по отечественному образцу — сама же лопата расплющивалась, чтобы захватить, подцепить побольше грунта.

Глицерин в бочках! Глицерин! Сторож в первую же ночь отчерпал котелком ведро жидкого глицерина, распродал в ту же ночь лагерникам, как «американский медок», и обогатился.

А еще по лендлизу были огромные черные пятидесяти-тонные «даймонды» с прицепами и железными бортами; пятитонные, берущие легко любую гору «студебеккеры» — лучше этих машин и не было на Колыме. На этих «студебеккерах» и «даймондах» развозили по всей тысячеверстной трассе день и ночь полученную по лендлизу американскую пшеницу в белых красивых полотняных мешках с американским орлом. Пухлые, безвкуснейшие пайки выпекались из этой муки. Этот хлеб по лендлизу обладал удивительным качеством. Все, кто ел этот хлеб по лендлизу, перестали ходить в уборную — раз в пять суток

желудок извергал что-то, что и извержением называться не может. Желудок и кишечник лагерника впитывали этот великолепный белый хлеб с примесью кукурузы, костяной муки и чего-то еще, кажется, простой человеческой надежды, весь без остатка — и не пришло еще время подсчитывать спасенных именно этой заморской пшеницей.

«Студебеккеры» и «даймонды» сжирали много бензина. Но и бензин шел по лендлизу — светлый авиационный бензин. Отечественные машины — «газики» были переоборудованы под дровяное отопление, две печки-колонки, поставленные близ мотора, топились чурками. Возникло слово «чурка» и несколько чурочных комбинатов, во главе которых были поставлены партийцы-договорники. Техническое руководство на этих чурочных комбинатах обеспечивалось главным инженером, инженером просто, нормировщиком, плановиком, бухгалтерами. Сколько рабочих — два или три в смене на каждом таком чурочном комбинате пилило на циркульной пиле чурки — я не помню. Может быть, даже и три. Техника шла по лендлизу — и к нам пришел трактор и принес в наш язык новое слово «бульдозер».

Доисторический зверь был спущен с цепи — пущен на своих гусеничных цепях, американский бульдозер со сверкающим как зеркало широким ножом, навесным металлическим щитом — отвалом. Зеркалом, отражающим небо, деревья и звезды, отражающим грязные арестантские лица. И даже конвоир подошел к заморскому чуду и сказал, что можно бриться перед этим железным зеркалом. Но нам бриться было не надо — такая мысль не могла прийти в наши головы.

На морозном воздухе долго были слышны вздохи, крик тенью нового американского зверя. Бульдозер кашлял на морозе, сердился. Вот он запыхтел, заворчал и смело двинулся вперед, приминая кочки, легко перебираясь через пни — заморская помощь.

Теперь нам не надо будет трелевать свинцовые бревна даурской лиственницы — строевой лес и дрова рассыпаны были по лесу на склоне горы. Ручная подтаска к штабелям — это и называется веселым словом «трелевка» — на Колыме непосильна, невыносима. По кочкам, по узким извилистым тропкам, на склоне горы ручная трелевка непосильна. Посылали во время оно — до тридцать восьмого года — лошадей, но лошади переносят Север хуже лю-



дей, они оказались слабее людей, умерли, не выдержав этой трелевки. Теперь на помощь нам (нам ли?) пришел отвальный нож заморского бульдозера.

Никто из нас не хотел и думать, что вместо тяжелой, непосильной трелевки, которую ненавидели все, нам дадут какую-то легкую работу. Нам просто увеличат норму на лесоповале — все равно придется делать что-то другое — столь же унижительное, столь же презренное, как всякий лагерный труд. Отмороженные пальцы наши не вылечит американский бульдозер. Но, может быть — американский солидол! Ах, солидол, солидол. Бочка, в которой был привезен солидол, была атакована сразу же толпой доходяг — дно бочки было выбито тут же камнем.

Голодным сказали, что это — сливочное масло по лендлизу, и осталось меньше полбочки, когда был поставлен часовой и начальство выстрелами отогнало толпу доходяг от бочки с солидолом. Счастливыцы глотали это сливочное масло по лендлизу — не веря, что это просто солидол, — ведь целебный американский хлеб тоже был безвкусен, тоже имел этот странный железный привкус. И все, кому удалось коснуться солидола, несколько часов облизывали пальцы, глотали мельчайшие кусочки этого заморского счастья, по вкусу похожего на молодой камень. Ведь камень тоже рождается не камнем, а мягким маслообразным существом. Существом, а не веществом. Веществом камень бывает в старости. Молодые жидкие туфы известковых пород в горах зачаровывали глаза беглецов и рабочих геологических разведок. Нужно было усилие воли, чтобы оторваться от этих кисельных берегов, этих молочных рек текучего молодого камня. Но там была гора, скала, распадок, а здесь — поставка по лендлизу, изделие человеческих рук...

С теми, кто запустил руки в бочку, не случилось ничего недоброго. Желудок и кишечник, тренированный на Колыме, справился с солидолом. А к остаткам поставили часового, ибо солидол — пища машин, существ бесконечно более важных для государства, чем люди.

И вот одно из этих существ прибыло к нам из-за океана — символ победы, дружбы и чего-то еще.

Триста человек бесконечно завидовали арстанту, сидевшему за рулем американского трактора, — Гриньке Лебедеву. Среди заключенных были трактористы и получше Лебедева — но все это были пятьдесят восьмая, литерники, литёрки — Гринька Лебедев был бытовик, отцеубийца,

если поточнее. Каждому из трехсот виделось его земное счастье: стрекоча, сидя за рулем хорошо смазанного трактора, прогрозотать на лесоповал.

Лесоповал отходил все дальше и дальше. Заготовка строевого леса на Колыме ведется в руслах ручьев, где в глубоких ущельях, вытягиваясь за солнцем, деревья в темноте, укрытые от ветра, набирают высоту. На ветру, на свету, на болотистом склоне горы стоят карлики, изломанные, исковерканные, измученные вечным кружением за солнцем, вечной борьбой за кусочек оттаявшей почвы. Деревья на склонах гор похожи не на деревья, а на уродов, достойных кунсткамеры. И только в темных ущельях по руслам горных речек деревья набирают рост и силу. Заготовка леса подобна заготовке золота и ведется на тех же самых золотых ручьях — так же стремительно, торопливо — ручей, лоток, промывочный прибор, временный барак, стремительный хищнический рывок, оставляющий речку и край — без леса на триста лет, без золота — навечно.

Где-то существует лесничество, но о каком лесоводстве при зрелости лиственницы в триста лет можно говорить на Колыме во время войны, когда в ответ на лендлиз делается стремительный рывок золотой лихорадки, обузданной, впрочем, караульными вышками зон.

Много строевого леса, да и заготовленных, раскряжеванных дров было брошено по лесосекам. Много утонуло в снегу «комельков», которые упали на землю, едва взгромоздясь на хрупкие, острые арестантские плечи. Слабые арестантские руки, десятки рук не могут поднять на чье-то плечо (и плеча такого нет) двухметровое бревно, оттащить за несколько десятков метров по кочкам, колдобинам и ямам чугунное это бревно. Много леса было брошено из-за непосильности трелевки, и бульдозер должен был помочь нам.

Но для первого своего рейса на колымской земле, на русской земле, бульдозеру была дана совсем другая работа.

Мы увидели, как стрекочущий бульдозер повернул налево и стал подниматься на террасу, на уступ скалы, где была старая дорога мимо лагерного кладбища, по которой нас сотни раз гоняли на работу.

Я не задумывался, почему последние недели нас водят на работу другой дорогой, а не гонят по знакомой, выби-

той каблуками сапог конвоя и резиновыми чунами заключенных тропе. Новая дорога была вдвое длиннее старой. На каждом шагу были подъемы и спуски. Мы уставали, пока добирались до места работы. Но никто не спрашивал, почему нас водят другой дорогой.

Так надо, таков приказ, и мы ползли на четвереньках, цепляясь за камни, разбивая пальцы о камень в кровь.

Только сейчас я увидел и понял, в чем дело. И поблагодарил бога, что он дал мне время и силу видеть все это.

Лесоповал прошел вперед. Склон горы был оголен, снег, еще неглубокий, выдут ветром. Пеньки выдернуты до последнего — под большие подкладывался заряд аммонала, и пенек взлетал вверх. Пеньки поменьше выворачивались вагами. Еще поменьше — просто руками, как стланиковые кусты...

Гора оголена и превращена в гигантскую сцену спектакля, лагерной мистерии.

Могила, арестантская общая могила, каменная яма, доверху набитая нетленными мертвецами еще в тридцать восьмом году, осыпалась. Мертвецы позли по склону горы, открывая колымскую тайну.

На Колыме тела предают не земле, а камню. Камень хранит и открывает тайны. Камень надежней земли. Вечная мерзлота хранит и открывает тайны. Каждый из наших близких, погибших на Колыме, — каждый из расстрелянных, забитых, обескровленных голодом — может быть еще опознан — хоть через десятки лет. На Колыме не было газовых печей. Трупы ждут в камне, в вечной мерзлоте.

В тридцать восьмом году на золотых приисках на рытье таких могил стояли целые бригады, непрерывно буря, взрывая, углубляя огромные, серые, жесткие, холодные каменные ямы. Копать могилы в тридцать восьмом году было легкой работой — там не было «урока», нормы, рассчитанной на смерть человека, рассчитанной на четырнадцатичасовой рабочий день. Копать могилы было легче, чем стоять в резиновых чунях на босу ногу в ледяной воде золотого забоя — «основного производства» «первого металла».

Эти могилы, огромные каменные ямы, доверху были заполнены мертвецами. Нетленные мертвецы, голые скелеты, обтянутые кожей, грязной, расчесанной, искусанной вшами кожей.

Камень, Север сопротивлялись всеми силами этой работе человека, не пуская мертвецов в свои недра. Камень, уступавший, побежденный, униженный, обещал ничего не забывать, обещал ждать и беречь тайну. Суровые зимы, горячие лета, ветры, дожди — за шесть лет отняли мертвецов у камня. Раскрылась земля, показывая свои подземные кладовые, ибо в подземных кладовых Колымы не только золото, не только олово, не только вольфрам, не только уран, но и нетленные человеческие тела.

Эти человеческие тела ползли по склону, может быть собираясь воскреснуть. Я и раньше видел издали — с другой стороны ручья — эти движущиеся, зацепившиеся за сучья, за камни предметы, видел сквозь редкий вырубленный лес и думал, что это бревна, не трелеванные еще бревна.

Сейчас гора была оголена и тайна горы открыта. Могила разверзлась, и мертвецы ползли по каменному склону. Около тракторной дороги была выбита, выбурена — кем? — из барака на эту работу не брали — огромная новая братская могила. Очень большая. И я и мои товарищи — если замерзнем, умрем, для нас найдется место в этой новой могиле, новоселье для мертвецов.

Бульдозер сгребал эти окоченевшие трупы, тысячи трупов, тысячи скелетоподобных мертвецов. Все было нетленно: скрюченные пальцы рук, гноящиеся пальцы ног — культы после обморожений, расчесанная в кровь сухая кожа и горящие голодным блеском глаза.

Уставшим, измученным своим мозгом я пытался понять — откуда в этих краях такая огромная могила. Ведь здесь не было, кажется, золотого прииска — я старый колымчанин. Но потом я подумал, что знаю только кусочек этого мира, огороженный провололочной зоной с караульными вышками, напоминающими шатровые страницы градостроительства Москвы. Высотные здания Москвы — это караульные вышки, охраняющие московских арестантов — вот как выглядят эти здания. И у кого был приоритет — у Кремлевских ли башен-караулок или у лагерных вышек, послуживших образцом для московской архитектуры. Вышка лагерной зоны — вот была главная идея времени, блестяще выраженная архитектурной символикой.

Я подумал, что знаю только кусочек этого мира, ничтожную, маленькую часть, что в двадцати километрах может стоять избушка геологоразведчиков, следящих

уран, или золотой прииск на тридцать тысяч заключенных. В складках гор можно спрятать очень много.

А потом я вспомнил жадный огонь кипрея, яростное цветение летней тайги, пытающейся скрыть в траве, в листе любое человеческое дело — хорошее и дурное. Что трава еще более забывчива, чем человек. И если забуду я — трава забудет. Но камень и вечная мерзлота не забудут.

Гриня Лебедев, отцеубийца, был хорошим трактористом и уверенно управлял хорошо смазанным заморским трактором. Гриня Лебедев тщательно делал свое дело: блестя бульдозерным ножом-щитом, подгребая трупы к могиле, сталкивал в яму, снова возвращался трелевать.

Начальство решило, что первым рейсом, первой работой бульдозера, полученного по лендлизу, будет не работа в лесу, а гораздо более важное дело.

Работа была кончена. Бульдозер нагреб на новую могилу кучу камней, щебня, и мертвецы скрылись под камнем. Но не исчезли.

Бульдозер приближался к нам. Гриня Лебедев, бытовик, отцеубийца, не смотрел на нас — литерников, пятьдесят восьмью. Грине Лебедеву было поручено государственное задание, и он это задание выполнил. На каменном лице Грини Лебедева была высечена гордость, сознание исполненного долга.

Бульдозер прогрохотал мимо нас — на зеркале-ноже не было ни одной царапины, ни одного пятна.

1965

## СЕНТЕНЦИЯ

*Надежде Яковлевне  
Мандельштам*

Люди возникали из небытия — один за другим. Незнакомый человек ложился по соседству со мной на нары, приваливался ночью к моему костлявому плечу, отдавая свое тепло — капли тепла — и получая взамен мое. Были ночи, когда никакого тепла не доходило до меня сквозь обрывки бушлата, телогрейки, и поутру я глядел на соседа, как на мертвеца, и чуть-чуть удивлялся, что мертвец жив, встает по окрику, одевается и выполняет покорно ко-

манду. У меня было мало тепла. Не много мяса осталось на моих костях. Этого мяса достаточно было только для злости — последнего из человеческих чувств. Не равнодушные, а злость была последним человеческим чувством — тем, которое ближе к костям. Человек, возникший из небытия, исчезал днем — на угольной разведке было много участков — и исчезал навсегда. Я не знаю людей, которые спали рядом со мной. Я никогда не задавал им вопросов, и не потому, что следовал арабской поговорке: не спрашивай — и тебе не будут лгать. Мне было все равно — будут мне лгать или не будут, я был вне правды, вне лжи. У блатных на сей предмет есть жесткая, яркая, грубая поговорка, пронизанная глубоким презрением к задающему вопрос: не веришь — прими за сказку. Я не расспрашивал и не выслушивал сказок.

Что оставалось со мной до конца? Злоба. И храня эту злобу, я рассчитывал умереть. Но смерть, такая близкая совсем недавно, стала понемногу отодвигаться. Не жизнью была смерть замещена, а полусознанием, существованием, которому нет формул и которое не может называться жизнью. Каждый день, каждый восход солнца приносил опасность нового, смертельного толчка. Но толчка не было. Я работал кипятильщиком — легчайшая из всех работ, легче, чем быть сторожем, но я не успевал нарубить дров для титана, кипятильника системы «Титан». Меня могли выгнать — но куда? Тайга далеко, поселок наш, «командировка» по-колымскому, — это как остров в таежном мире. Я еле таскал ноги, расстояние в двести метров от палатки до работы казалось мне бесконечным, и я не один раз садился отдыхать. Я и сейчас помню все выбоины, все ямы, все рытвины на этой смертной тропе; ручей, перед которым я ложился на живот и лакал холодную, вкусную, целебную воду. Двуручная пила, которую я таскал то на плече, то волоком, держа за одну ручку, казалась мне грузом невероятной тяжести.

Я никогда не мог вовремя вскипятить воду, добиться, чтобы титан закипал к обеду.

Но никто из рабочих — из вольняшек, все они были вчерашними заключенными — не обращал внимания, кипела ли вода или нет. Колыма научила всех нас различать питьевую воду только по температуре. Горячая, холодная, а не кипяченая и сырая.

Нам не было дела до диалектического скачка перехода количества в качество. Мы не были философами. Мы бы-

ли работягами, и наша горячая питьевая вода этих важных качеств скачка не имела.

Я ел, равнодушно стараясь съесть все, что попадалось на глаза,—обрезки, обломки съестного, прошлогодние ягоды на болоте. Вчерашний или позавчерашний суп из «вольного» котла. Нет, вчерашнего супа у наших вольняшек не оставалось.

В палатке нашей было два ружья, два дробовика. Куропатки не боялись людей, и первое время птицу били прямо с порога палатки. Добыча запекалась целиком в золе костра или варилась, когда ошипывалась бережно. Пух-перо — на подушку, тоже коммерция, верные деньги — приработок вольных хозяев ружей и таежных птиц. Выпотрошенные, ошипанные куропатки варились в консервных банках — трехлитровых, подвешенных к кострам. От этих таинственных птиц я никогда не находил никаких остатков. Голодные вольные желудки измельчили, смололи, иссосали все птичьи кости без остатка. Это тоже было одно из чудес тайги.

Я никогда не попробовал ни кусочка от этих куропаток. Мое — были ягоды, корни травы, пайка. И я — не умирал. Я стал все более равнодушно, без злобы, смотреть на холодное красное солнце, на горы, гольцы, где все: скалы, повороты ручья, лиственницы, тополя — было угловатым и недружелюбным. По вечерам с реки поднимался холодный туман — и не было часа в таежных сутках, когда мне было бы тепло.

Отмороженные пальцы рук и ног ныли, гудели от боли. Ярко-розовая кожа пальцев так и оставалась розовой, легко ранимой. Пальцы были вечно замотаны в какие-то грязные тряпки, оберегая руку от новой раны, от боли, но не от инфекции. Из больших пальцев на обеих ногах сочился гной, и не было гною конца.

Меня будили ударом в рельс. Ударом в рельс снимали с работы. После еды я сразу ложился на нары, не раздеваясь, конечно, и засыпал. Палатка, в которой я спал и жил, виделась мне как сквозь туман — где-то двигались люди, возникала громкая матерная брань, возникали драки, наступало мгновенно безмолвие перед опасным ударом. Драки быстро угасали — сами по себе, никто не удерживал, не разнимал, просто глохли моторы драки — и наступала ночная холодная тишина с бледным высоким небом сквозь дырки брезентового потолка, с храпом, хрипом, стонами, кашлем и беспамятной руганью спящих.

Однажды ночью я ощутил, что слышу эти стоны и хрипы. Ощущение было внезапным, как озарение, и не обрадовало меня. Позднее, вспоминая эту минуту удивления, я понял, что потребность сна, забытья, беспамятства стала меньше — я выпался, как говорил Моисей Моисеевич Кузнецов, наш кузнец, умница из умниц.

Появилась настойчивая боль в мышцах. Какие уж у меня были тогда мышцы — не знаю, но боль в них была, злила меня, не давала отвлечься от тела. Потом появилось у меня нечто иное, чем злость или злоба, существующее вместе со злостью. Появилось равнодушие — бесстрашие. Я понял, что мне все равно — будут меня бить или нет, будут давать обед и пайку — или нет. И хотя в разведке, на бесконвойной командировке, меня не били — бьют только на приисках, — я, вспоминая прииск, мерил свое мужество мерой прииска. Этим равнодушием, этим бесстрашием был переброшен мостик какой-то от смерти. Сознание, что бить здесь не будут, не бьют и не будут бить, рождало новые силы, новые чувства.

За равнодушием пришел страх — не очень сильный страх — боязнь лишиться этой спасительной жизни, этой спасительной работы кипятильщика, высокого холодного неба и ноющей боли в изношенных мускулах. Я понял, что боюсь уехать отсюда на прииск. Боюсь, и все. Я никогда не искал лучшего от хорошего в течение всей своей жизни. Мясо на моих костях день ото дня росло. Зависть — вот как называлось следующее чувство, которое вернулось ко мне. Я позавидовал мертвым своим товарищам — людям, которые погибли в тридцать восьмом году. Я позавидовал и живым соседям, которые что-то жуют, соседям, которые что-то закуривают. Я не завидовал начальнику, прорабу, бригадиру — это был другой мир.

Любовь не вернулась ко мне. Ах, как далека любовь от зависти, от страха, от злости. Как мало нужна людям любовь. Любовь приходит тогда, когда все человеческие чувства уже вернулись. Любовь приходит последней, возвращается последней, да и возвращается ли она? Но не только равнодушие, зависть и страх были свидетелями моего возвращения к жизни. Жалость к животным вернулась раньше, чем жалость к людям.

Как самый слабый в этом мире шурфов и разведочных канав, я работал с топографом — таскал за топографом



рейку и теодолит. Бывало, что для скорости передвижения топограф прилаживал ремни теодолита за свою спину, а мне доставалась только легчайшая, раскрашенная цифрами рейка. Топограф был из заключенных. С собой для смелости — тем летом было много беглецов в тайге — топограф таскал мелкокалиберную винтовку, выпросив оружие у начальства. Но винтовка нам только мешала. И не только потому, что была лишней вещью в нашем трудном путешествии. Мы сели отдохнуть на поляне, и топограф, играя мелкокалиберной винтовкой, прицелился в красногрудого снегиря, подлетевшего рассмотреть поближе опасность, увести в сторону. Если надо — пожертвовать жизнью. Самочка снегиря сидела где-то на яйцах — только этим объяснялась безумная смелость птички. Топограф вскинул винтовку, и я отвел ствол в сторону.

— Убери ружье!

— Да ты что? С ума сошел?

— Оставь птицу, и все.

— Я начальнику доложу.

— Черт с тобой и с твоим начальником.

Но топограф не захотел ссориться и ничего начальнику не сказал. Я понял: что-то важное вернулось ко мне.

Не один год я не видел газет и книг и давно выучил себя не сожалеть об этой потере. Все пятьдесят моих соседей по палатке, по брезентовой рваной палатке, чувствовали так же — в нашем бараке не появилось ни одной газеты, ни одной книги. Высшее начальство — прораб, начальник разведки, десятник — спускалось в наш мир без книг.

Язык мой, приисковый грубый язык, был беден, как бедны были чувства, еще живущие около костей. Подъем, развод по работам, обед, конец работы, отбой, гражданин начальник, разрешите обратиться, лопата, шурф, слушаюсь, бур, кайло, на улице холодно, дождь, суп холодный, суп горячий, хлеб, пайка, оставь покурить — двумя десятками слов обходился я не первый год. Половина из этих слов была ругательствами. Существовал в юности, в детстве анекдот, как русский обходился в рассказе о путешествии за границу всего одним словом в разных интонационных комбинациях. Богатство русской ругани, ее неисчерпаемая оскорбительность раскрылась передо мной не в детстве и не в юности. Анекдот с ругательств-

вом выглядел здесь как язык какой-нибудь институтки. Но я не искал других слов. Я был счастлив, что не должен искать какие-то другие слова. Существуют ли эти другие слова, я не знал. Не умел ответить на этот вопрос.

Я был испуган, ошеломлен, когда в моем мозгу, вот тут — я это ясно помню — под правой теменной костью — родилось слово, вовсе непригодное для тайги, слово, которого и сам я не понял, не только мои товарищи. Я прокричал это слово, встав на нары, обращаясь к небу, к бесконечности:

— Сентенция! Сентенция!

И захохотал.

— Сентенция! — орал я прямо в северное небо, в двойную зарю, орал, еще не понимая значения этого родившегося во мне слова. А если это слово возвратилось, обретенно вновь — тем лучше, тем лучше! Великая радость переполняла все мое существо.

— Сентенция!

— Вот псих!

— Псих и есть! Ты — иностранец, что ли? — язвительно спрашивал горный инженер Вронский, тот самый Вронский. «Три табачинки».

— Вронский, дай закурить.

— Нет, у меня нету.

— Ну, хоть три табачинки.

— Три табачинки? Пожалуйста.

Из кисета, полного махорки, извлекались грязным ногтем три табачинки.

— Иностранец? — Вопрос переводил нашу судьбу в мир провокаций и доносов, следствий и добавок срока.

Но мне не было дела до провокационного вопроса Вронского. Находка была чересчур огромной.

— Сентенция!

— Псих и есть.

Чувство злости — последнее чувство, с которым человек уходил в небытие, в мертвый мир. Мертвый ли? Даже камень не казался мне мертвым, не говоря уже о траве, деревьях, реке. Река была не только воплощением жизни, не только символом жизни, но и самой жизнью. Ее вечное движение, рокот неумолчный, свой какой-то разговор, свое дело, которое заставляет воду бежать вниз по течению сквозь встречный ветер, пробиваясь сквозь скалы, пересекая степи, луга. Река, которая меняла высушенное

солнцем, обнаженное русло и чуть-чуть видной ниточкой водной пробиралась где-то в камнях, повинувшись извечно-му своему долгу, ручейком, потерявшим надежду на помощь неба — на спасительный дождь. Первая гроза, первый ливень — и вода меняла берега, ломала скалы, кидала вверх деревья и бешено мчалась вниз той же самой вечной своей дорогой...

Сентенция! Я сам не верил себе, боялся, засыпая, что за ночь это вернувшееся ко мне слово исчезнет. Но слово не исчезало.

Сентенция. Пусть так переименуют речку, на которой стоял наш поселок, наша командировка «Рио-рита». Чем это лучше «Сентенции»? Дурной вкус хозяина земли — картографа ввел на мировые карты Рио-риту. И исправить нельзя.

Сентенция — что-то римское, твердое, латинское было в этом слове. Древний Рим для моего детства был историей политической борьбы, борьбы людей, а Древняя Греция была царством искусства. Хотя и в Древней Греции были политики и убийцы, а в Древнем Риме было немало людей искусства. Но детство мое обострило, упростило, сузило и разделило два этих очень разных мира. Сентенция — римское слово. Неделю я не понимал, что значит слово «сентенция». Я шептал это слово, выкрикивал, пугал и смешил этим словом соседей. Я требовал у мира, у неба разгадки, объяснения, перевода... А через неделю понял — и содрогнулся от страха и радости. Страх — потому что пугался возвращения в тот мир, куда мне не было возврата. Радости — потому что видел, что жизнь возвращается ко мне помимо моей собственной воли.

Прошло много дней, пока я научился вызывать из глубины мозга все новые и новые слова, одно за другим. Каждое приходило с трудом, каждое возникало внезапно и отдельно. Мысли и слова не возвращались потоком. Каждое возвращалось поодиночке, без конвоя других знакомых слов, и возникало раньше на языке, а потом — в мозгу.

А потом настал день, когда все, все пятьдесят рабочих бросили работу и побежали в поселок, к реке, выбираясь из своих шурфов, канав, бросая недопиленные деревья, недодаренный суп в котле. Все бежали быстрее меня, но и я доковылял вовремя, помогая себе в этом беге с горы руками.

Из Магадана приехал начальник. День был ясный, горячий, сухой. На огромном листовничном пне, что у входа в палатку, стоял патефон. Патефон играл, преодолевая шипенье иглы, играл какую-то симфоническую музыку.

И все стояли вокруг — убийцы и конокрады, блатные и фраера, десятники и работяги. А начальник стоял рядом. И выражение лица у него было такое, как будто он сам написал эту музыку для нас, для нашей глухой таежной командировки. Шеллачная пластинка кружилась и шипела, кружился сам пень, заведенный на все свои триста кругов, как тугая пружина, закрученная на целых триста лет...

1965

**АРТИСТ  
ЛОПАТЫ**



---

---

## ПРИПАДОК

Качнулась стена, и горло мое захлестнуло знакомой сладкой тошнотой. Обгорелая спичка на полу в тысячный раз проплывала перед глазами. Я протянул руку, чтоб схватить эту надоевшую спичку, и спичка исчезла — я перестал видеть. Мир еще не ушел от меня вовсе: там, на бульваре, был еще голос, отдаленный, настойчивый голос медицинской сестры. Потом замелькали халаты, угол дома, звездное небо, возникла огромная серая черепаха, глаза ее блестели равнодушно; кто-то выломал ребро черепахи, и я вполз в какую-то нору, цепляясь и подтягиваясь на руках, доверяя только рукам.

Я вспомнил чужие настойчивые пальцы, умело пригибавшие мою голову и плечи к постели. Все стихло, и я остался один на один с кем-то огромным, как Гулливер. Я лежал на доске, как насекомое, и кто-то меня пристально рассматривал в лупу. Я поворачивался, и страшная лупа следовала за моими движениями. Я изгибался под чудовищным стеклом. И только тогда, когда санитары перенесли меня на больничную койку и наступил блаженный покой одиночества, я понял, что Гулливерова лупа не была кошмаром — это были очки дежурного врача. Это обрадовало меня несказанно.

Голова болела и кружилась при малейшем движении, и нельзя было думать — можно было только вспоминать, и давние пугающие картины стали являться как кадры немого кино, двуцветные фигуры. Сладкая тошнота, похожая на эфирный наркоз, не проходила. Она была знакомой, и это первое ощущение было теперь разгадано. Я вспомнил, как много лет назад, на Севере, после шести-

месячной работы без отдыха впервые был объявлен выходной день. Каждый хотел лежать, лежать, не чинить одежды, не двигаться... Но всех подняли с утра и погнали за дровами. В восьми километрах от поселка шла лесозаготовка — нужно было выбрать бревно по силе и донести домой. Я решил идти в сторону — там километрах в двух были старые штабеля, там можно было найти подходящее бревно. Идти в гору было трудно, и когда я добрался до штабеля — легких бревен там не оказалось. Выше чернели разваленные поленницы дров, и я стал подниматься к ним. Здесь были тонкие бревна, но концы их были зажаты штабелем, и у меня не хватило сил выдернуть бревно. Я несколько раз принимался и изнемог окончательно. Но вернуться без дров было нельзя, и, собирая последние силы, я пополз еще выше к штабелю, засыпанному снегом. Я долго разгребал рыхлый скрипучий снег ногами и руками и выдернул наконец одно из бревен. Но бревно было слишком тяжелым. Я снял с шеи грязное полотенце, служившее мне шарфом, и, привязав вершину, потащил бревно вниз. Бревно прыгало и било по ногам. Или вырывалось и бежало под гору быстрее меня. Бревно застревало в кустах стланика или втыкалось в снег, и я подползал к нему и снова заставлял бревно двигаться. Я был еще высоко на горе, когда увидел, что уже стемнело. Я понял, что прошло много часов, а дорога к поселку и к зоне была еще далеко. Я дернул шарф, и бревно снова скачками кинулось вниз. Я вытащил бревно на дорогу. Лес закачался перед моими глазами, горло захлестнула сладкая тошнота, и я очнулся в будке лебедчика — тот оттирал мне руки и лицо колючим снегом.

Все это виделось мне сейчас на больничной стене.

Но вместо лебедчика руку мою держал врач. Аппарат Рива-Роччи для измерения кровяного давления стоял здесь же. И я, поняв, что я не на Севере, обрадовался.

— Где я?

— В институте неврологии.

Врач что-то спрашивал. Я отвечал с трудом. Мне хотелось быть одному. Я не боялся воспоминаний.

⟨1960⟩

## НАДГРОБНОЕ СЛОВО

Все умерли...

Николай Казимирович Барбэ, один из организаторов Российского комсомола, товарищ, помогавший мне вытащить большой камень из узкого шурфа, бригадир, расстрелян за невыполнение плана участком, на котором работала бригада Барбэ, по рапорту молодого начальника участка, молодого коммуниста Арма — он получил орден за 1938 год и позже был начальником прииска, начальником управления — большую карьеру сделал Арм. У Николая Казимировича Барбэ была бережно хранимая вещь — верблюжий шарф, голубой длинный теплый шарф, настоящий шерстяной. Его украли в бане воры — просто взяли, да и все, когда Барбэ отвернулся. И на следующий день Барбэ поморозил щеки, сильно поморозил — язвы так и не успели зажить до его смерти...

Умер Иоська Рютин. Он работал в паре со мной, а со мной работяги не хотели работать. А Иоська работал. Он был гораздо сильнее, ловчее меня. Но он понимал хорошо, зачем нас сюда привезли. И не обижался на меня, работавшего плохо. В конце концов старший смотритель — так и назывались горные чины в 1937 году, как в царское время, — велел дать мне «одиночный замер» — что это такое, будет рассказано особо. А Иоська работал в паре с кем-то другим. Но места наши в бараке были рядом, и я сразу проснулся от неловкого движения кого-то кожаного, пахнущего бараном; этот кто-то, повернувшись ко мне спиной в узком проходе между нар, будил моего соседа:

— Рютин? Одевайся.

И Иоська стал торопливо одеваться, а пахнувший бараном человек стал обыскивать его немногие вещи. Среди немногого нашлись шахматы, и кожаный человек отложил их в сторону.

— Это — мои, — сказал торопливо Рютин. — Моя ответственность. Я платил деньги.

— Ну и что ж? — сказала овчина.

— Оставьте их.

Овчина захохотала. И когда устала от хохота и утерла кожаным рукавом лицо, выговорила:

— Тебе они больше не понадобятся...

Умер Дмитрий Николаевич Орлов, бывший референт Кирова. С ним мы пилили дрова в ночной смене на при-



иске и, обладатели пилы, работали днем на пекарне. Я хорошо помню, сколь критическим взглядом обвел нас инструментальщик-кладовщик, выдавая пилу, обыкновенную поперечную пилу.

— Вот что, старик,— сказал инструментальщик. Нас всех в это время звали стариками — не то что двадцать лет спустя.— Можешь наточить пилу?

— Конечно,— сказал Орлов поспешно.— А разводка есть?

— Топором разведешь,— сказал кладовщик, уразумевший уже в нас людей знающих, не то что эти интеллигенты.

Орлов шел по тропке согнувшись, засунув руки в рукава. Пилу он держал под мышкой.

— Послушайте, Дмитрий Николаевич,— сказал я, догоняя Орлова вприпрыжку.— Я ведь не умею. Никогда пилы не точил.

Орлов повернулся ко мне, воткнул пилу в снег и надел рукавицы.

— Я думаю,— сказал он назидательным тоном,— что всякий человек с высшим образованием обязан уметь точить и разводить пилу.

Я согласился с ним.

Умер экономист, Семен Алексеевич Шейнин, добрый человек. Он долго не понимал, что делают с нами, но в конце концов понял и стал спокойно ждать смерти. Мужества у него хватало. Как-то я получил посылку — то, что посылка дошла, было великой редкостью, — и в ней были авиационные фетровые бурки, и больше ничего. Как плохо знали наши родные условия, в которых мы жили. Я понимал отлично, что бурки украдут, отнимут у меня в первую же ночь. И я их продал, не выходя из комендатуры, за сто рублей десятнику Андрею Бойко. Бурки стоили семьсот, но это была выгодная продажа. Ведь я мог купить сто килограммов хлеба, а если не сто, то купить масла, сахару. Масло и сахар последний раз я ел в тюрьме. И я купил в магазине целый килограмм масла. Я помнил о его полезности. Сорок один рубль стоило это масло. Я купил днем (работали ночью) и побежал к Шейнину — мы жили в разных бараках, — отпраздновать посылку. Купил я и хлеба...

Семен Алексеевич взволновался и обрадовался.

— Ну, как же я? Какое я имею право? — бормотал он, взволнованный чрезвычайно.— Нет, нет, я не могу...

Но я уговорил его, и, радостный, он побежал за кипятком.

И тотчас я упал на землю от страшного удара по голове.

Когда я вскочил, сумки с маслом и хлебом не было. Метровое листовое полено, которым меня били, валялось около койки. И все кругом смеялись. Прибежал Шейнин с кипятком. Много лет потом я не мог вспомнить об этой краже без страшного, почти шокового волнения. А Семен Алексеевич — умер.

Умер Иван Яковлевич Федяхин. Мы с ним ехали одним поездом, одним пароходом. Попали на один прииск, в одну бригаду. Он был философ, волоколамский крестьянин, организатор первого в России колхоза. Колхозы, как известно, первые организовывались эсерами в двадцатых годах, а группа Чайнова — Кондратьева представляла их интересы «наверху»... Иван Яковлевич и был деревенским эсером — в числе того миллиона, который голосовал за эту партию в 1917 году. За организацию первого колхоза он и получил срок — пятилетний срок заключения.

Как-то в самом начале, первой колымской осенью 1937 года, мы работали с ним у грабарки — стояли на знаменитом приисковом конвейере. Тележек-грабарок было две, отцепные. Пока коногон вез одну на промывочный прибор, двое рабочих едва успевали насыпать другую. Курить не успевали, да и не разрешалось это зрителями. Наш коногон зато курил — огромную сигарку, свернутую чуть не из полпачки махорки (махорка еще тогда была), и оставлял на борту забоя нам затянуться.

Коногоном был Мишка Вавилов, бывший заместитель председателя треста «Промимпорт», а забойщиками Федяхин и я.

Не спеша подбрасывая грунт в грабарку, мы говорили друг с другом. Я рассказал Федяхину об уроке, который давался декабристам в Нерчинске, — по «Запискам Марии Волконской» — три пуда руды на человека.

— А сколько, Василий Петрович, весит наша норма? — спросил Федяхин.

Я подсчитал — 800 пудов примерно.

— Вот, Василий Петрович, как нормы-то выросли...

Позднее, во время голода зимой, я доставал табак — выпрашивал, копил, покупал — и менял его на хлеб. Федяхин не одобрял моей «коммерции»:

— Не идет это вам, Василий Петрович, не надо вам это делать...

Последний раз я его видел зимой у столовой. Я дал ему шесть обеденных талонов, полученных мной в этот день за ночную переписку в конторе. Хороший почерк мне иногда помогал. Талоны пропадали — на них были штампы чисел. Федяхин получил обеды. Он сидел за столом и переливал из миски в миску юшку — суп был предельно жидким, и ни одной жиринки в нем не плавало... Каша-шрапнель со всех шести талонов не наполнила одной полулитровой миски... Ложки у Федяхина не было, и он слизывал кашу языком. И плакал.

Умер Дерфель. Это был французский коммунист, бывавший и в каменоломнях Кайенны. Кроме голода и холода, он был измучен нравственно — он не хотел верить, как может он, член Коминтерна, попасть сюда, на советскую каторгу. Его ужас был бы меньше, если бы он видел, что он один такой. Такими были все, с кем он приехал, с кем он жил, с кем он умирал. Это был маленький, слабый человек, побои уже входили в моду... Однажды бригадир его ударил, ударил просто кулаком, для порядка, так сказать, но Дерфель упал и не поднялся. Он умер один из первых, из самых счастливых. В Москве он работал в ТАССе одним из редакторов. Русским языком владел хорошо.

— В Кайенне было тоже плохо, — сказал он мне как-то. — Но здесь — очень плохо.

Умер Фриц Давид. Это был голландский коммунист, рабочий Коминтерна, обвинявшийся в шпионаже. У него были прекрасные вьющиеся волосы, синие глубокие глаза, ребяческий вырез губ. Русского языка он почти не знал. Я встретился с ним в бараке, набитом людьми так тесно, что можно было спать стоя. Мы стояли рядом, Фриц улыбнулся мне и закрыл глаза.

Пространство под нарами было набито людьми до отказа, надо было ждать, чтоб присесть, опуститься на корточки, потом привалиться куда-нибудь к нарам, к столбу, к чужому телу — и заснуть. Я ждал, закрыв глаза. Вдруг рядом со мной что-то рухнуло. Мой сосед Фриц Давид упал. Он поднялся в смущении.

— Я заснул, — сказал он испуганно.

Этот Фриц Давид был первым человеком из нашего этапа, получившим посылку. Посылку ему послала его жена из Москвы. В посылке был бархатный костюм, ночная рубашка и большая фотография красивой женщины. В этом бархатном костюме он и сидел на корточках рядом со мной.

— Я хочу есть,— сказал он, улыбаясь, краснея.— Я очень хочу есть. Принесите мне что-нибудь поесть.

Фриц Давид сошел с ума, и его куда-то увели.

Ночную рубашку и фотографию у него украли в первую же ночь. Когда я рассказывал о нем позднее, я всегда недоумевал и возмущался: зачем, кому нужна была чужая фотография?

— Всего и вы не знаете,— однажды сказал некий хитрый собеседник мой.— Догадаться нетрудно. Эта фотография украдена блатными, и, как говорят блатные, для «сеанса». Для онанизма, наивный друг мой...

Умер Сережа Кливанский, товарищ мой по первому курсу университета, с которым мы встретились через десять лет в этапной камере Бутырской тюрьмы. Он был исключен из комсомола в 1927 году за доклад о китайской революции на кружке текущей политики. Университет ему удалось кончить, и он работал экономистом в Госплане, пока там не изменилась обстановка, и Сереже пришлось оттуда уйти. Он поступил по конкурсу в оркестр театра имени Станиславского и был второй скрипкой— до ареста в 1937 году. Он был сангвиник, остряк, ирония его не покидала. Интерес к жизни, к событиям ее— также.

В этапной камере все ходили почти голыми, поливались водой, спали на полу. Только герой выдерживал сон на нарах. И Кливанский острил:

— Это пытка выпариванием. После нее нас подвергнут пытке вымораживанием на Севере.

Это было точное предсказание, но это не было нытьем труса. На прииске Сережа был весел, общителен. С энтузиазмом стремился овладеть блатным словарем и радовался как ребенок, выговаривая в надлежащей интонации блатные выражения.

— Вот сейчас я, кажется, припухну,— говорил Сережа, заползая на верхние нары.

Он любил стихи, в тюрьме читал их часто на память. В лагере он не читал стихов.

Он делился последним куском, вернее, еще делился... Это значит, что он так и не успел дожить до времени, когда ни у кого не было последнего куска, когда никто ничем ни с кем не делился.

Умер бригадир Дюков. Я не знаю и не знал его имени. Он был из «бытовиков», к пятьдесят восьмой статье не имел никакого отношения. В лагерях на материке он был так называемым председателем коллектива, настроен был

не то что романтически, но собирався «играть роль». Он приехал зимой и выступил с удивительной речью на первом же собрании. У бытовиков бывали собрания — ведь совершившие бытовые и служебные преступления, а равно и рецидивисты-воры считались «друзьями народа», подлежащими исправлению, а не карательному воздействию. В отличие от «врагов народа» — осужденных по пятьдесят восьмой статье. Позднее, когда рецидивистам стали давать четырнадцатый пункт пятьдесят восьмой статьи — саботаж (за отказы от работы), весь параграф четырнадцатый был изъят из пятьдесят восьмой статьи и избавлен от многолетних и многообразных карательных мер. Рецидивисты считались «друзьями народа» всегда — до знаменитой бериевской амнистии 1953 года включительно. В жертву теории и крыленковской «резинке» и пресловутой «перековке» были принесены многие сотни тысяч несчастных людей.

На том, первом, собрании Дюков предложил взять под свое руководство бригаду пятьдесят восьмой статьи — обычно бригадир политических был из их же среды. Дюков был неплохой парень. Зная, что крестьяне работают в лагерях отлично, лучше всех, помня, что пятьдесят восьмой статьи среди крестьян было очень много. В этом следует видеть особую мудрость Ежова и Берии, понимавших, что трудовая ценность интеллигенции весьма невысока, а стало быть, производственную задачу лагеря могут не выполнить, в отличие от политической задачи. Но Дюков в такие высокие соображения не вдавался, вряд ли ему приходило в голову что-либо, кроме рабочих качеств людей. Он отобрал себе бригаду — исключительно из крестьян — и приступил к работе. Это было весной 1938 года. Дюковские крестьяне пробыли всю голодную зиму 1937/38 года. Он не бывал со своими бригадниками в бане, а то бы давно понял, в чем дело.

Они работали неплохо, их надо было только подкормить. Но в этой просьбе Дюкова начальство отказало самым резким образом. Голодная бригада героически выработывала норму, работая через силу. Тогда Дюкова стали обсчитывать: замерщики, учетчики, смотрители, прорабы, он стал жаловаться, протестовать все резче и резче, выработка бригады все падала и падала, питание делалось все хуже. Дюков попробовал обратиться к высокому начальству, но высокое начальство посоветовало ответствующим работникам приписать бригаду Дюкова, вместе с самим бригадиром, к известным спискам. Это

было сделано, и все были расстреляны на знаменитой Серпантинной.

Умер Павел Михайлович Хвостов. Самое страшное в голодных людях — это их поведение. Все как у здоровых, и все же это — полусумасшедшие. Голодные всегда яростно отстаивают справедливость — если они не слишком голодны, не чересчур истощены. Они — вечные спорщики, отчаянные драчуны. Обычно лишь одна тысячная часть поругавшихся между собой людей на самых предельных нотах доводит дело до драки. Голодные вечно дерутся. Споры вспыхивают по самым диким, самым неожиданным поводам: «Зачем ты взял мое кайло?.. занял мое место?» Кто покороче, пониже, норовит дать подножку и сбить с ног противника. Кто повыше — навалиться и уронить врага своей тяжестью, а потом царапать, бить, кусать... Все это бессильно, не больно, не смертельно — и слишком часто, чтобы заинтересовать окружающих. Драк не разнимают.

Вот таким был Хвостов. Он дрался с кем-нибудь каждый день — в бараке и в той глубокой отводной траншее, которую копала наша бригада. Он был моим *зимним* знакомым — я не видел его волос. А шапка у него была ушанка с изорванным белым мехом. И глаза — темные, блестящие голодные глаза. Я читал иногда стихи, и он смотрел на меня как на полоумного.

Он вдруг начал отчаянно бить кайлом по камню траншеи. Кайло было тяжелым, Хвостов бил наотмашь, почти без перерыва бил. Я подивился такой силе. Мы давно были вместе, давно голодали. Потом кайло упало и зазвенело. Я оглянулся. Хвостов стоял, расставив ноги, и качался. Колени его сгибались. Он качнулся и упал лицом вниз. Он вытянул далеко вперед руки в тех самых рукавицах, которые он каждый вечер сам штопал. Руки открылись — на обоих предплечьях была татуировка. Павел Михайлович был капитан дальнего плавания.

Роман Романович Романов умирал на моих глазах. Когда-то он был у нас кем-то вроде командира роты: выдавал посылки, следил за чистотой в лагерной зоне, словом, был на таком привилегированном положении, о каком и мечтать не мог никто из нас, пятьдесят восьмой статьи и «литёрок», как говорили блатные, или «литерников», как произносят это слово высшие чиновники лагерей. Предел наших мечтаний — работа прачки в бане или починым ночным портным. Все, кроме камня, было нам запрещено московскими «особыми указаниями». Та-

кая бумага шла при деле каждого из нас. А вот Роман Романович был на такой недоступной должности. И даже быстро освоился с ее секретами: как открывать посылочный ящик, чтобы сахар сыпался на пол. Как разбить банку с вареньем, закатить под топчан сухари и сушеные фрукты. Всему этому Роман Романович обучился быстро и знакомств с нами не поддерживал. Он был строго официален и держался как вежливый представитель того высокого начальства, с которым мы личного общения иметь не могли. Он никогда ничего не советовал нам. Он только разъяснял: письмо можно посылать одно в месяц, посылки выдаются с 8 до 10 вечера в лагерной комендатуре и такое подобное. Мы не завидовали Роману Романовичу, мы только удивлялись. Очевидно, тут сыграло роль какое-то личное случайное знакомство Романова. Впрочем, он был недолго, всего месяца два, командиром роты. Прошла ли очередная проверка штата (время от времени, и обязательно к Новому году, такие проверки устраиваются) или кто-либо «дунул» — пользуясь красочным лагерным выражением. Но Роман Романович исчез. Он был военный работник, полковник, кажется. И вот через четыре года я попал на «витаминную командировку», где собирали хвою стланика — единственного вечнозеленого растения здесь. Эту хвою свозили за много сотен верст на витаминный комбинат. Там ее варили, и хвоя превращалась в тягучую коричневую смесь невыносимого запаха и вкуса. Ее заливали в бочки и развозили по лагерям. Тогдашней местной медициной это считалось главным общедоступным и обязательным средством от цинги. Цинга свирепствовала, да еще в сочетании с пеллагрой и прочими авитаминозами. Но все, кому доводилось проглотить хоть каплю этого страшного снадобья, соглашались лучше умереть, чем лечиться подобной чертовщиной. Но были приказы, а приказ есть приказ, и пищу в лагерях не давали до той поры, пока порция лекарства не будет проглочена. Дежурный стоял тут же со специальным крошечным черпачком. Войти в столовую было нельзя, минуя раздатчика стланика, и так то самое, чем особенно дорожил арестант — обед, пища, было непоправимо испорчено этой предварительной обязательной зарядкой. Так длилось более десяти лет... Врачи пограмотней недоумевали — как может сохраняться в этой клейкой мази витамин С, чрезвычайно чувствительный ко всяким переменам температуры. Толку от лечения не было никакого, но экстракт продолжали раздавать. Тут же, рядом со всеми поселками, было очень

много шиповника. Но шиповник никто и не решался собирать — о нем ничего не говорилось в приказе. И только много позже войны, в 1952, кажется, году, было получено, опять-таки от имени местной медицины, письмо, где категорически запрещалась выдача экстракта стланика, как разрушающе действующего на почки. Витаминный комбинат был закрыт. Но в то время, когда я встретился с Романовым, стланик собирали всюду. Собирали его «доходяги» — присковый шлак, отбросы золотых забоев — полуинвалиды, голодающие-хроники. Золотой забой из здоровых людей делал инвалидов в три недели: голод, отсутствие сна, многочасовая тяжелая работа, побои... В бригаду включались новые люди, и Молох жевал... К концу сезона в бригаде Иванова не оставалось никого, кроме бригадира Иванова. Остальные шли в больницу, «под сопку» и на «витаминные» командировки, где кормили один раз в день и хлеба больше 600 граммов ежедневно получить было нельзя. Мы с Романовым работали в ту осень не на сборе хвои. Мы работали на «строительстве». Мы строили себе дом на зиму — летом мы жили в рваных палатках.

Была отмерена шагами площадь, поставлены колышки, и мы втыкали редкую изгородь в два ряда. Промежуток заполнялся кусками заледеневшего мха и торфа. Внутри были нары из жердей, одноэтажные. Посредине стояла железная печка. На каждую ночь нам давали порцию дров, вычисленную эмпирически. Однако у нас не было ни пилы, ни топора — эти острорежущие предметы хранились у бойцов охраны, которые жили в отдельной утепленной и обитой фанерой палатке. Пилы и топоры выдавались только по утрам при разводе на работу. Дело в том, что на соседней «витаминной» командировке несколько уголовников напали на бригадира. Блатные чрезвычайно склонны к театральности, внося ее в жизнь так, что им позавидовал бы Евреинов. Бригадира решено было убить, и предложение одного из блатарей — отпилить голову бригадиру — было встречено с восторгом. Голова была отпилена обыкновенной поперечной пилой. Вот поэтому-то был приказ, запрещающий оставлять у заключенных на ночь топоры и пилы. Почему на ночь? Но в приказах никто никогда не искал логики.

Как же резать дрова, чтоб поленья влезли в печку? Более тонкие ломались ногами, а толстые целым пучком с тонкого конца вкладывались в отверстие горячей печки и постепенно сгорали. Кто-нибудь ногой подвигал их



глубже — всегда было кому присмотреть. Этот свет открытой печной двери и был единственным светом в нашем доме. Пока не выпал снег, домик продувало насквозь, но кругом стен нагребли снега, залили водой — и зимовка наша была готова. Дверь завешивалась обрывком брезента.

Здесь, в этом самом сарае, я и встретился с Романом Романовичем. Он не узнал меня. Одет он был как «огонь», как говорят блатные — и всегда метко, — ключья ваты торчали из телогрейки, из брюк, из шапки. Немало раз, верно, приходилось Роману Романовичу бегать «за уголечком», чтобы разжечь папиросу какого-нибудь блатаря... Глаза его блестели голодным блеском, а щеки были такими же румяными, как и раньше, только не напоминали воздушные шары, а туго обтягивали скулы. Роман Романович лежал в углу и с шумом втягивал в себя воздух. Подбородок его поднимался и опускался.

— Кончается, — сказал Денисов, сосед его. — У него портянки хорошие. — И, ловко сдернув с ног умирающего бурки, Денисов отмотал еще крепкие зеленые одеяльные портянки. — ... Вот так, — сказал он, грозно глядя на меня. Но мне было все равно.

Труп Романова выносили, когда нас выстраивали перед разводом на работу. Шапки у него тоже не было. Полы расстегнутого бушлата волочились по земле.

Умер ли Володя Добровольцев, пойнтист? Пойнтист — работа это или национальность? Это была работа, вызывающая зависть в бараках пятьдесят восьмой статьи. Отдельные бараки для политических в общем лагере, где были бараки и «бытовиков» и уголовников-рецидивистов, за общей проволокой, были, конечно, юридическим издевательством. От нападения шпаны и кровавых блатных расчетов это никого не защищало.

Пойнт — это железная труба с горячим паром. Этот горячий пар разогревает каменную породу, смерзшийся галечник; рабочий время от времени выгребает разогретый камень металлической ложкой величиной с человеческую ладонь, с трехметровой рукояткой.

Работа считается квалифицированной, поскольку пойнтист должен открывать и закрывать краны с горячим паром, который идет по трубам из будки, от бойлера — примитивного парового приспособления. Быть бойлеристом еще лучше, чем пойнтистом. Не всякий инженер-механик с пятьдесят восьмой статьей мог мечтать о подобной работе. И не потому, что это было квалифика-

цией. Чистой случайностью было то, что из тысяч людей на эту работу был направлен Володя. Но это преобразило его. Ему не приходилось думать о том, как бы согреться — вечная мысль... Ледящий холод не пронизывал все его существо, не останавливал работу мозга. Горячая труба спасала его. Вот почему все и завидовали Добровольцеву.

Были разговоры о том, что неспроста он сделан пойнтистом — это верное доказательство, что он осведомитель, шпион... Конечно, блатные всегда говорили — раз санитаром работал в лагере — значит,пил трудовую кровь, и цену подобным суждениям люди знали: зависть — плохая советчица. Володя сразу как-то безмерно вырос в наших глазах, как будто среди нас обнаружился замечательный скрипач. А то, что Добровольцев — это надо было по условиям работы — уходил один и, выходя из лагеря через вахту, открыв вахтенное окошечко, кричал туда свой номер «двадцать пять» таким радостным голосом, громким голосом — от этого мы уже давно отвыкли.

Иногда он работал близ нашего забоя. И мы, по праву знакомства, бегали по очереди греться к трубе. Труба была дюйма полтора в диаметре, ее можно было охватить рукой, сжать в кулаке, и тепло ощутимо переливалось из рук в тело, и не было сил оторваться, чтобы возвращаться в забой, в мороз...

Володя не гнал нас, как другие пойнтисты. Никогда он не говорил нам ни слова, хотя я знаю, что пойнтистам было запрещено пускать греться около труб нашего брата. Он стоял, окруженный облаками густого белого пара. Одежда его заледенела. Каждая ворсинка бушлата блестяла, как хрустальная игла. Он никогда с нами не разговаривал — все же цена этой работы была, очевидно, слишком дорогой.

. . . . .

В рождественский вечер этого года мы сидели у печки. Железные ее бока по случаю праздника были краснее, чем обыкновенно. Человек ощущает разницу температуры мгновенно. Нас, сидящих за печкой, тянуло в сон, в лирику.

— Хорошо бы, братцы, вернуться нам домой. Ведь бывает же чудо... — сказал коногон Глебов, бывший профессор философии, известный в нашем бараке тем, что месяц назад забыл имя своей жены. — Только, чур, правду.

— Домой?

— Да.

— Я скажу правду,— ответил я.— Лучше бы в тюрьму. Я не шучу. Я не хотел бы сейчас возвращаться в свою семью. Там никогда меня не поймут, не смогут понять. То, что им кажется важным,— я знаю, что это пустяк. То, что важно мне — то немногое, что у меня осталось,— ни понять, ни почувствовать им не дано. Я принесу им новый страх, еще один страх к тысяче страхов, переполняющих их жизнь. То, что я видел,— человеку не надо видеть и даже не надо знать. Тюрьма — это другое дело. Тюрьма — это свобода. Это единственное место, которое я знаю, где люди не боясь говорили все, что они думали. Где они отдыхали душой. Отдыхали телом, потому что не работали. Там каждый час существования был осмыслен.

— Ну, замолол,— сказал бывший профессор философии.— Это потому, что тебя на следствии не били. А кто прошел через метод номер три, те другого мнения...

— Ну а ты, Петр Иванович, что скажешь?

Петр Иванович Тимофеев, бывший директор уральского треста, улынулся и подмигнул Глебову.

— Я вернулся бы домой, к жене, к Агнии Михайловне. Купил бы ржаного хлеба — буханку! Сварил бы каши из магара — ведро! Суп-галушки — тоже ведро! И я бы ел все это. Впервые в жизни наелся бы досыта этим добром, а остатки заставил бы есть Агнию Михайловну.

— А ты? — обратился Глебов к Звонкову, забойщику нашей бригады, а в первой своей жизни — крестьянину не то Ярославской, не то Костромской области.

— Домой,— серьезно, без улыбки, ответил Звонков.— Кажется, пришел бы сейчас и ни на шаг бы от жены не отходил. Куда она, туда и я, куда она, туда и я. Вот только работать меня здесь отучили — потерял я любовь к земле. Ну, устроюсь где-либо...

— А ты? — рука Глебова тронула колено нашего дневального.

— Первым делом пошел бы в райком партии. Там, я помню, окурков бывало на полу — бездна...

— Да ты не шути...

— Я и не шучу.

Вдруг я увидел, что отвечать осталось только одному человеку. И этим человеком был Володя Добровольцев. Он поднял голову, не дожидаясь вопроса. В глаза ему падал свет рдеющих углей из открытой дверцы печки — глаза были живыми, глубокими.

— А я,— и голос его был покоен и нетороплив,— хотел бы быть обрубком. Человеческим обрубком, понимаете, без рук, без ног. Тогда я бы нашел в себе силу плюнуть им в рожу за все, что они делают с нами.

⟨1960⟩

## КАК ЭТО НАЧАЛОСЬ

Как это началось? В какой из зимних дней изменился ветер и все стало слишком страшным? Осенью мы еще рабо...

Как это началось? Бригаду Клюева задержали на работе. Неслыханный случай. Забой был оцеплен конвоем. Забой— это разрез, яма огромная, по краю которой и встал конвой. А внутри копошились люди, торопясь, подгоняя друг друга. Одни — с затаенной тревогой, другие — с твердой верой, что этот день — случайность, этот вечер — случайность. Придет рассвет, утро — и все развеется, все выяснится, и жизнь пойдет хотя и по-лагерному, но по-прежнему. Задержка на работе. Зачем? Пока не выполнят дневного задания. Тонко визжала метель, мелкий сухой снег бил по щекам, как песок. В треугольных лучах «юпитеров», подсвечивающих ночные забой, снег крутился, как пылинки в солнечном луче, был похож на пылинки в солнечном луче у дверей отцовского сарая. Только в детстве все было маленькое, теплое, живое. Здесь все было огромное, холодное и злобное. Скрипели деревянные короба, в которых вывозили грунт к отвалам. Четыре человека хватали короб, толкали, тащили, катили, пихали, волокли короб к краю отвала, разворачивали и опрокидывали, высыпая мерзлый камень на обрыв. Камни негромко катились вниз. Вон — Крупянский, вон Нейман, вон сам бригадир Клюев. Все спешат, но нет конца работе. Уже было около одиннадцати часов вечера — а гудок был в пять, приисковая сирена прогудела в пять, провизжала в пять,— когда бригаду отпустили «домой». «Домой» — в барак. А завтра в пять утра — подъем и новый рабочий день, и новый дневной план. Наша бригада сменяла клюевскую в этом забое. Сегодня нас поставили на работу в соседний забой, и только в двенадцать ночи мы сменили бригаду Клюева.

Как это началось? На прииск вдруг приехало много, очень много «бойцов». Два новых барака, рубленых бара-

ка, которые строили заключенные для себя, — были отданы охране. Мы остались зимовать в палатках — рваных брезентовых палатках, пробитых камнями от взрывов в забое. Палатки были утеплены: в землю были врыты столбы, и на рейки натянут толь. Между палаткой и толем — слой воздуха. Зимой, говорят, снегом забьете. Но все это было после. Наши бараки были отданы охране — вот суть события. Охране бараки не понравились, ведь это были бараки из сырого леса — лиственница дерево коварное, людей не любит, стены, полы и потолки за целую зиму не высохнут. Это все понимали заранее — и те, чьи боками предполагалось сушить бараки, и те, кому бараки достались случайно. Охрана приняла свое бедствие как должную северную трудность.

Зачем на прииске «Партизан» охрана? Прииск небольшой — всего две-три тысячи заключенных в 1937 году. Соседи «Партизана» — прииск «Штурмовой» и Берзино (будущий Верхний Ат-Урях) были городами с населением двенадцать — четырнадцать тысяч человек заключенных. Разумеется, смертные вихри 1938 года существенно эти цифры изменили. Но все это было после. А сейчас — зачем «Партизану» охрана? В 1937 году на прииске «Партизан» был единственный бессменный дежурный боец, вооруженный наганом, легко наводивший порядок в смиренном царстве «троцкистов». Блатари? Дежурный смотрел сквозь пальцы на милые проделки блатарей, на их грабительские экспедиции и гастролы — и дипломатически отсутствовал в особенно острых случаях. Все было «тихо». А теперь вдруг видимо-невидимо конвоиров. Зачем?

Вдруг увезли куда-то целую бригаду отказчиков от работы — «троцкистов», которые по тем временам, впрочем, не назывались отказчиками, а гораздо мягче — «неработающими». Они жили в отдельном бараке посреди поселка, неогороженного поселка заключенных, который тогда и не назывался так страшно, как в будущем, в очень скором будущем — «зоной». «Троцкисты» на законном основании получали шестьсот граммов хлеба в день и приварок, какой положено, и не работали вполне официально. Любой арестант мог присоединиться к ним, перейти в неработающий барак. Осенью тридцать седьмого года в этом бараке жило семьдесят пять человек. Все они внезапно исчезли, ветер ворочал незакрытой дверью, а внутри была нежилая черная пустота.

Вдруг оказалось, что казенного пайка, пайки — не хватает, что очень хочется есть, а купить ничего нельзя, а попросить у товарища — нельзя. Селедку, кусок селедки еще можно попросить у товарища, но хлеб? Внезапно стало так, что никто никого не угощал ничем, все стали есть, что-то жевать украдкой, наскоро, в темноте, нащупывая в собственном кармане хлебные крошки. Поиски этих крошек стали почти автоматическим занятием человека в любую свободную его минуту. Но свободных минут становилось все меньше и меньше. В сапожной мастерской вечно стояла огромная бочка с рыбьим жиром. Бочка была ростом с полчеловека, и все желающие совали в эту бочку грязные тряпки и мазали свои ботинки. Не сразу я догадался, что рыбий жир — это жир, масло, питание, что эту сапожную смазку можно есть, — озарение было подобно архимедовой эврике. Я бросился, то есть поплелся в мастерскую. Увы — бочки в мастерской давно уже не было, другие люди уже шли той же дорогой, на которую я только-только вступал.

На прииск были привезены собаки, немецкие овчарки. Собаки?

Как это началось? За ноябрь забойщикам не заплатили денег. Я помню, как в первые дни работы на прииске, в августе и сентябре, около нас, работяг, останавливался горный смотритель — название это уцелело, должно быть, с некрасовских времен — и говорил: «Плохо, ребята, плохо. Так будете работать — и домой посылать будет нечего». Прошел месяц, и выяснилось, что у каждого был какой-то заработок. Одни послали деньги домой почтовым переводом, успокаивая свои семьи. Другие покупали на эти деньги в лагерном магазине, в ларьке, папиросы, молочные консервы, белый хлеб... Все это внезапно, вдруг кончилось. Порывом ветра пронесся слух, «параша», что больше денег платить не будут. Эта «параша», как и все лагерные «параша», полностью подтвердилась. Расчет будет только питанием. Наблюдать за выполнением плана, кроме лагерных работников, им же имя легион, и кроме производственного начальства, умноженного в достаточное количество раз, — будет вооруженная лагерная охрана, бойцы.

Как это началось? Несколько дней дула пурга, автомобильные дороги были забиты снегом, горный перевал был закрыт. В первый же день, как прекратился снегопад — во время метели мы сидели дома, — после работы нас повели не «домой». Окруженные конвоем, мы шли не спеша не-

стройным арестантским шагом, шли не один час, по каким-то неведомым тропам двигаясь к перевалу, все вверх, вверх — усталость, крутизна подъема, разреженность воздуха, голод, злоба — все останавливало нас. Крики конвоиров подбодряли нас как плети. Уже наступила полная темнота, беззвездная ночь, когда мы увидели огни многочисленных костров на дорогах близ перевала. Чем глубже становилась ночь, тем ярче горели костры, горели пламенем надежды, надежды на отдых и еду. Нет, эти костры были зажжены не для нас. Это были костры конвоиров. Множество костров в сорокаградусном, пятидесятиградусном морозе. На три десятка верст змеились костры. И где-то внизу в снеговых ямах стояли люди с лопатами и расчищали дорогу. Снеговые борта узкой траншеи поднимались на пять метров. Снег кидали снизу вверх по террасам, перекидывая дважды, трижды. Когда все люди были расставлены и оцеплены конвоем — змейкой костровых огней, — рабочие были предоставлены сами себе. Две тысячи людей могли не работать, могли работать плохо или работать отчаянно — никому до этого не было дела. Перевал должен быть очищен, и пока он не будет очищен — никто не тронется с места. Мы стояли в этой снеговой яме много часов, махая лопатами, чтобы не замерзнуть. В эту ночь я понял одну странную вещь, сделал наблюдение, много раз потом подтвержденное. Труден, мучительно труден и тяжел десятый, одиннадцатый час такой добавочной работы, а после перестает замечать время — и Великое Безразличие овладевает тобой — часы идут, как минуты, еще скорее минут. Мы вернулись «домой» после двадцати трех часов работы — есть вовсе не хотелось, и соединенный суточный приварок все ели необычно лениво. С трудом удалось заснуть.

Три смертных вихря скрестились и клокотали в снежных забоях золотых приисков Колымы в зиму тридцать седьмого — тридцать восьмого года. Первым вихрем было «берзинское дело». Директор Дальстроя, открыватель лагерной Колымы Эдуард Берзин<sup>1</sup>, был расстрелян как японский шпион в конце тридцать седьмого года. Вызван в Москву и расстрелян. С ним вместе погибли его ближайшие помощники — Филиппов, Майсурадзе, Егоров, Васюков, Цвирко — вся гвардия «вишерцев», приехавшая вместе с Берзиным для колонизации Колымского края в 1932 году. Иван Гаврилович Филиппов был начальником

---

<sup>1</sup> Э. Берзин расстрелян в августе 1938 г.

УСВИТЛ<sup>1</sup>, заместителем Берзина по лагерю. Старый чекист, член коллегии ОГПУ, Филиппов был когда-то председателем «разгрузочной тройки» на Соловецких островах. Есть документальный кинофильм двадцатых годов «Соловки». Вот в этой картине и снят Иван Гаврилович в своей тогдашней главной роли. Филиппов умер в Магаданской тюрьме — сердце не выдержало.

«Дом Васькова» — так называлась и называется по сей день Магаданская тюрьма, которую строили в начале тридцатых годов, — потом из деревянной тюрьма превратилась в каменную, сохранив свое выразительное название, — начальник был по фамилии Васьков. На Вишере Васьков — человек одинокий — проводил выходные дни всегда одинаково: садился на скамейку в саду или в лесочке, заменявшем сад, и стрелял целый день по листьям из мелкокалиберной винтовки. Алексей Егоров — «рыжий Лешка», как его звали на Вишере, был на Колыме начальником производственного управления, объединяющего несколько золотых приисков, кажется, Южного управления. Цвирко был начальником Северного управления, куда входил и прииск «Партизан». В 1929 году Цвирко был начальником погранзаставы и приехал в отпуск в Москву. Здесь после ресторанного кутежа Цвирко открыл стрельбу по колеснице Аполлона над входом в Большой театр — и очнулся в тюремной камере. С его одежды были спорты петлицы, пуговицы. Среди арестантского этапа Цвирко весной 1929 года прибыл на Вишеру и отбывал там положенный трехлетний срок. С приездом на Вишеру Берзина в конце 1929 года карьера Цвирко быстро пошла вверх. Цвирко, еще заключенным, стал начальником командировки «Парма». Берзин не чаял в нем души и взял его с собой на Колыму. Расстрелян Цвирко, говорят, в Магадане. Майсурадзе — начальник УРО, отбывший когда-то срок «за разжигание национальной розни», освободившийся еще на Вишере, тоже был одним из любимцев Берзина. Арестован он был в Москве, во время отпуска, и тогда же расстрелян.

Все эти мертвые — люди из ближайшего берзинского окружения. По «берзинскому делу» арестованы и расстреляны или награждены «сроками» многие тысячи людей, вольнонаемных и заключенных — начальники приисков и лагерных отделений, лагпунктов, воспитатели и секретари парткомов, десятники и прорабы, старосты и бригади-

---

<sup>1</sup> Управление северо-восточных исправительно-трудовых лагерей.



ры... Сколько тысячелетий выдано «срока» лагерного и тюремного? Кто знает...

В удушливом дыму провокаций колымское издание сенсационных московских процессов, «берзинское дело», выглядело вполне респектабельно.

Вторым вихрем, потрясшим колымскую землю, были нескончаемые лагерные расстрелы, так называемая «гаранинщина». Расправа с «врагами народа», расправа с «троцкистами».

Много месяцев день и ночь на утренних и вечерних поверках читались бесчисленные расстрельные приказы. В пятидесятиградусный мороз заключенные-музыканты из «бытовиков» играли туш перед чтением и после чтения каждого приказа. Дымные бензинные факелы не разрывали тьму, привлекая сотни глаз к заиндевелым листочкам тонкой бумаги, на которых были отпечатаны такие страшные слова. И в то же время — будто и не о нас шла речь. Все было как бы чужое, слишком страшное, чтобы быть реальностью. Но туш существовал, гремел. Музыканты обмораживали губы, прижатые к горловинам флейт, серебряных геликонов, корнет-а-пистонов. Папиросная бумага покрывалась инеем, и какой-нибудь начальник, читающий приказ, стряхивал снежинки с листа рукавицей, чтобы разобрать и выкрикнуть очередную фамилию расстрелянного. Каждый список кончался одинаково: «Приговор приведен в исполнение. Начальник УСВИТЛ полковник Гаранин».

Я видел Гаранина раз пятьдесят. Лет сорока пяти, широкоплечий, брюхатый, лысоватый, с темными бойкими глазами, он носился по северным приискам день и ночь на своей черной машине ЗИС-110. После говорили, что он лично расстреливал людей. Никого он не расстреливал лично — а только подписывал приказы. Гаранин был председателем расстрельной тройки. Приказы читались день и ночь: «Приговор приведен в исполнение. Начальник УСВИТЛ полковник Гаранин». По сталинской традиции тех лет, Гаранин должен был скоро умереть. Действительно, он был схвачен, арестован, осужден как японский шпион и расстрелян в Магадане.

Ни один из многочисленных приговоров гаранинских времен не был никогда и никем отменен. Гаранин — один из многочисленных сталинских палачей, убитый другим палачом в нужное время.

«Прикрывающая» легенда была выпущена в свет, чтобы объяснить его арест и смерть. Настоящий Гаранин

якобы был убит японским шпионом на пути к месту службы, а разоблачила его сестра Гаранина, приехавшая к брату в гости.

Легенда — одна из сотен тысяч сказок, которыми сталинское время забивало уши и мозг обывателей.

За что же расстреливал полковник Гаранин? За что убивал? «За контрреволюционную агитацию» — так назывался один из разделов гаранинских приказов. Что такое «контрреволюционная агитация» на воле в 1937 году — рассказывать никому не надо. Похвалил русский заграничный роман — десять лет «аса»<sup>1</sup>. Сказал, что очереди за жидким мылом чересчур велики, — пять лет «аса». И по русскому обычаю, по свойству русского характера, каждый, получивший пять лет, — радуется, что не десять. Десять получит — радуется, что не двадцать пять, а двадцать пять получит — пляшет от радости, что не расстреляли.

В лагере этой лестницы — пять, десять, пятнадцать — нет. Сказать вслух, что работа тяжела, — достаточно для расстрела. За любое самое невинное замечание в адрес Сталина — расстрел. Промолчать, когда кричат «ура» Сталину, — тоже достаточно для расстрела. Молчание — это агитация, это известно давно. Списки будущих, завтрашних мертвецов составлялись на каждом прииске следователями из доносов, из сообщений своих «стукачей», осведомителей, и многочисленных добровольцев, оркестрантов известного лагерного оркестра — октета — «семь дуют, один стучит», — пословицы блатного мира афористичны. А самого «дела» не существовало вовсе. И следствия никакого не велось. К смерти приводили протоколы «тройки» — известного учреждения сталинских лет.

И хотя перфокарты еще не были тогда известны, лагерные статистики пытались облегчить себе труд, выпускаемая в свет «формуляр» с особыми метками. Формуляр с синей полосой по диагонали имели личные дела «троцкистов». Зеленые (или лиловые?) полосы были у «рецидивистов» — разумеется, рецидивистов политических. Учет есть учет. Собственной кровью каждого его формуляр не закрасишь.

Еще за что расстреливали? «За оскорбление лагерного конвоя». Это что такое? Тут речь шла о словесном оскорблении, о недостаточно почтительном ответе, любом

<sup>1</sup> Антисоветская агитация.

«разговоре» — в ответ на побои, удары, толчки. Всякий излишне развязный жест заключенного в разговоре с конвоиром трактовался как «нападение на конвой»...

«За отказ от работы». Очень много людей погибло, так и не поняв смертельной опасности своего поступка. Бессильные старики, голодные, измученные люди не в силах были сделать шаг в сторону от ворот при утреннем разводе на работу. Отказ оформляли актами. «Обут, одет по сезону». Бланки таких актов печатались на стеклографе, на богатых приисках даже в типографии заказывали бланки, куда достаточно было вставить только фамилию и данные: год рождения, статью, срок... Три отказа — и расстрел. По закону. Много людей не могли понять главного лагерного закона — ведь для него и лагеря выдуманы, — что нельзя в лагере отказываться от работы, что отказ трактуется как самое чудовищное преступление, хуже всякого саботажа. Надо хоть из последних сил, но доползти до места работы. Десятник распишется за «единицу», за «трудовую единицу», и производство даст «акцепт». И ты спасен. На сегодняшний день от расстрела. А на работе можешь вовсе не работать, да ты и не можешь работать. Выдержи муку этого дня до конца. На производстве ты сделаешь очень немного, но ты не «отказчик». Расстрелять тебя не могут. «Прав», говорят, у начальства в этом случае нет. Есть ли такое «право», я не знаю, но много раз много лет я боролся с собой, чтобы не отказаться от работы, стоя в воротах зоны на лагерном разводе.

«За кражу металла». Всех, у кого находили «металл», расстреливали. Позднее — щадили жизнь, давали только срок дополнительный — пять, десять лет. Множество самородков прошло через мои руки — прииск «Партизан» был очень «самородным», но никакого другого чувства, кроме глубочайшего отвращения, золото во мне не вызывало. Самородки ведь надо уметь видеть, учиться отличать от камня. Опытные рабочие обучали этому важному умению новичков — чтоб не бросали в тачку золото, чтоб не орал смотритель бутары: «Эй, вы, раззявы! Опять самородки на промывку загнали». За самородки платили заключенным премию — по рублю с грамма, начиная с пятидесяти одного грамма. Весов в забое нет. Решить — сорок или шестьдесят граммов найденный тобой самородок — может только смотритель. Дальше бригадира мы ни к кому не обращались. Забракованных самородков я находил много, а к оплате был представлен два раза. Один самородок весил шестьдесят граммов, а другой —

восемьдесят. Никаких денег я, разумеется, на руки не получил. Получил только карточку «стахановскую» на декаду да по шепотке махорки от десятника и от бригадира. И на том спасибо.

Последняя, самая многочисленная «рубрика», по которой расстреляно множество людей: «За невыполнение нормы». За это лагерное преступление расстреливали целыми бригадами. Была подведена и теоретическая база. По всей стране в это время государственный план «доводили» до станка — на фабриках и заводах. На арестантской Колыме план доводили до забоя, до тачки, до кайла. Государственный план — это закон! Невыполнение государственного плана — контрреволюционное преступление. Не выполнивших норму — на луну!

Третий смертный вихрь, уносивший больше арестантских жизней, чем первые два, вместе взятые, была повальная смертность — от голода, от побоев, от болезней. В этом третьем вихре огромную роль сыграли блатари, уголовники, «друзья народа».

За весь 1937 год на прииске «Партизан» со списочным составом две-три тысячи человек умерло два человека — один вольнонаемный, другой заключенный. Они были похоронены рядом под сопкой. На обеих могилах было нечто вроде обелисков — у вольного повыше, у заключенного пониже. В 1938 году на рытье могил стояла целая бригада. Камень и вечная мерзлота не хотят принимать мертвецов. Надо бурить, взрывать, выбрасывать породу. Рытье могил и «битье» разведочных шурфов очень похожи по приемам работы, по инструменту, материалу и «исполнителям». Целая бригада стояла только на рытье могил, только общих, только «братских», с безымянными мертвецами. Впрочем, не совсем безымянными. По инструкции, перед захоронением нарядчик, как представитель лагерной власти, привязывал фанерную бирку с номером личного дела к левой лодыжке голого мертвеца. Закапывали всех голыми — еще бы! Выломанные, опять-таки по инструкции, золотые зубы вписывались в специальный акт захоронения. Яму с трупами заваливали камнями, но земля не принимала мертвецов: им суждена была нетленность — в вечной мерзлоте Крайнего Севера.

Врачи боялись написать в диагнозах истинную причину смерти. Появились «полиавитаминозы», «пеллагра», «дизентерия», «РФИ» — почти «Загадка Н.Ф.И.», как у Андроникова. Здесь РФИ — «резкое физическое истощение», шаг к правде. Но такие диагнозы ставили только

смелые врачи, не заключенные. Формула «алиментарная дистрофия» произнесена колымскими врачами много позже — уже после ленинградской блокады, во время войны, когда сочли возможным хоть и по-латыни, но назвать истинную причину смерти. «Горение истаявшей свечи, все признаки и перечни сухие того, что по-ученому врачи зовут алиментарной дистрофией. И что не латинист и не филолог определяет русским словом «голод». Эти строки Веры Инбер я повторял неоднократно. Вокруг меня давно не было тех людей, которые любили стихи. Но эти строки звучали для каждого колымчанина.

Работяг били все: дневальный, парикмахер, бригадир, воспитатель, надзиратель, конвоир, староста, завхоз, нарядчик — любой. Безнаказанность побоев — как и безнаказанность убийств — развращает, растлевает души людей — всех, кто это делал, видел, знал... Конвой отвечал тогда, по мудрой мысли какого-то высшего начальства, — за выполнение плана. Поэтому конвоиры побойчей выбивали прикладами план. Другие конвоиры поступали еще хуже — возлагали эту важную обязанность на блатарей, которых всегда вливали в бригады пятьдесят восьмой статьи. Блатари не работали. Они обеспечивали выполнение плана. Ходили с палкой по забою — эта палка называлась «термометром», и избивали безответных фраеров. Забивали и до смерти. Бригадир из своих же товарищей, всеми способами стараясь доказать начальству, что они, бригадиры, — с начальством, не с арестантами, бригадиры старались забыть, что они — политические. Да они не были никогда политическими. Как, впрочем, и вся пятьдесят восьмая статья тогдашняя. Безнаказанная расправа над миллионами людей потому-то и удалась, что это были невинные люди.

Это были мученики, а не герои.

1964

## ПОЧЕРК

Поздно ночью Криста вызвали «за конбазу». Так звали в лагере домик, прижавшийся к сопке у края поселка. Там жил следователь по особо важным делам, как острили в лагере, ибо в лагере не было дел не особо важных — каждый проступок, и видимость проступка, мог быть на-

казан смертью. Или смерть, или полное оправдание. Впрочем, кто мог рассказать о своем полном оправдании. Готовый ко всему, безразличный ко всему, Крист шел по узкой тропе. Вот в домике-кухне зажегся свет — это хлебо-рез, наверное, сейчас начнет нарезать пайки к завтраку. К завтрашнему завтраку. Будут ли завтрашний день и завтрашний завтрак у Криста? Он этого не знал и радовался своему незнанию. Под ноги Кристу попало что-то, непохожее на снег или льдинку. Крист нагнулся, поднял мерзлую корочку и сразу понял, что это — шелуха репы, обледеневшая корка репы. Лед уже растаял в руках, и Крист затолкал корочку в рот. Спешить явно не стоило. Крист обошел всю тропу, начиная от края бараков, понимая, что он, Крист, проходит первым по этой длинной снежной дороге, что еще никто до него не проходил здесь, по краю поселка, к следователю сегодня. По всей дороге к снегу примерзли, как завернутые в целлофан, кусочки репы. Крист отыскал их целых десять кусочков — одни больше, другие меньше. Давно уж Крист не видел людей, которые бросали бы в снег корки от репы. Это был не заключенный, вольнонаемный, конечно. Может быть, сам следователь. Крист разжевал и съел все эти корки — во рту его запахло чем-то давно забытым — родной землей, живыми овощами, и с радостным настроением Крист постучал в дверь домика следователя.

Следователь был невысок, худощав, небрит. Здесь был только его служебный кабинет и железная койка, покрытая солдатским одеялом, и скомканная грязная подушка... Стол — самодельный письменный стол с перекошенными выдвижными ящиками, туго набитыми бумагами, какими-то папками. На подоконнике ящик с карточками. Этажерка тоже завалена туго набитыми папками. Пепельница из половины консервной банки. Часы-ходики на окне. Часы показывали половину одиннадцатого. Следователь растапливал бумагой железную печку.

Следователь был белокож, бледен, как все следователи. Ни дневального, ни револьвера.

— Садитесь, Крист, — сказал следователь, называя заключенного на «вы», и подвинул ему старую табуретку. Сам он сидел на стуле — самодельном стуле с высокой спинкой.

— Я просмотрел ваше дело, — сказал следователь, — и у меня есть к вам одно предложение. Не знаю, подойдет ли это вам.

Крист замер в ожидании. Следователь помолчал.

— Я должен знать о вас еще кое-что.

Крист поднял голову и никак не мог сдержать отрыжки. Приятной отрыжки — неудержимого вкуса свежей репы.

— Напишите заявление.

— Заявление?

— Да, заявление. Вот листок бумаги, вот перо.

— Заявление? О чем? Кому?

— Да кому угодно! Ну, не заявление, так стихотворение Блока. Ну, все равно. Поняли? Или «Птичку» пушкинскую:

Вчера я растворил темницу  
Воздушной пленницы моей.  
Я рошам возвратил певичу,  
Я возвратил свободу ей,—

продекламировал следователь.

— Это не пушкинская «Птичка», — напрягая все силы своего иссушенного мозга, прошептал Крист.

— А чья же?

— Туманского.

— Туманского? Первый раз слышу.

— А-а, вам нужна экспертиза какая-нибудь? Не я ли кого-нибудь убил. Или написал письмо на волю. Или изготовил магазинный чек для блатных.

— Совсем нет. Экспертизы такого рода нас не затрудняют. — Следователь улыбнулся, обнажив вспухшие десны, мелкие зубы, кровоточащие десны. Как бы ни была ничтожна эта сверкнувшая улыбка, она прибавила немножко свету в комнате. И в душе Криста тоже. Крист невольно поглядел следователю в рот.

— Да, — сказал следователь, поймав этот взгляд. — Цинга, цинга. Цинга здесь и вольных не оставляет. Свежих овощей нет.

Крист подумал о репе. Витамины — их больше в корке репы, чем в мякоти, — достались Кристу, а не следователю. Крист хотел поддержать этот разговор, рассказать о том, как он обсасывал, обгладывал корки репы, брошенные следователем, но не решился, боясь, что начальство осудит за чрезмерную развязность.

— Так поняли или нет? Мне нужно посмотреть ваш почерк.

Крист все еще ничего не понимал.

— Пишите! — диктовал следователь. — «Начальнику прииска. Заключение Криста, год рождения, статья,

срок, заявление. Прошу перевести меня на более легкую работу...» Достаточно.

Следователь взял недописанное заявление Криста, разорвал его и бросил в огонь... Свет печки на мгновение стал ярче.

— Садитесь к столу. С краюшка.

У Криста был каллиграфический, писарский почерк, который ему самому очень нравился, а все его товарищи смеялись, что почерк не похож на профессорский, докторский. Это не почерк ученого, писателя, поэта. Это почерк кладовщика. Смеялись, что Крист мог бы сделать карьеру царского писаря, о котором рассказывал Куприн.

Но Криста эти насмешки не смущали, и он продолжал сдавать на машинку четко переписанные рукописи. Машинистки одобряли, но втайне посмеивались.

Пальцы, привыкшие к кайлу, к черенку лопаты, никак не могли ухватить ручку, но в конце концов это удалось.

— У меня беспорядок, хаос,— говорил следователь.— Я сам понимаю. Но вы ведь поможете наладить.

— Конечно, конечно,— сказал Крист. Печка уже разгорелась, и в комнате было тепло.— Закурить бы...

— Я некурящий,— сказал следователь грубо.— И хлеба у меня тоже нет. На работу завтра вы не пойдете. Я скажу нарядчику.

Так несколько месяцев раз в неделю Крист приходил в нетопленное, неуютное жилище лагерного следователя, переписывал бумаги, подшивал.

Бесснежная зима тридцать седьмого—восьмого года уже вошла в бараки всеми своими смертными ветрами. Каждую ночь по бараку бегали нарядчики, отыскивая и будя людей по каким-то спискам «в этап». Из этапов и раньше-то не возвращались, а тут перестали и думать о всех этих ночных делах—этап так этап—работа была слишком тяжела, чтобы думать о чем-либо.

Увеличились часы работы, появился конвой, но неделя проходила, и Крист, еле живой, добирался до знакомого кабинета следователя и подшивал, подшивал бумаги. Крист перестал умываться, перестал бриться, но следователь словно не замечал впалых щек и воспаленного взгляда голодного Криста. А Крист все писал, все подшивал. Количество бумаг и папок все росло и росло, их никак нельзя было привести в порядок. Крист переписывал какие-то бесконечные списки, где были только фамилии, а верх списка был отогнут, и Крист никогда не пытался



проникнуть в тайну этого кабинета, хотя было достаточно отогнуть листок, лежащий перед ним. Иногда следователь брал в руки папку «дел», которые возникали неизвестно откуда, без Криста, и, торопясь, диктовал списки, а Крист писал.

В двенадцать диктовка кончалась, и Крист шел в свой барак и спал, спал — завтрашний развод на работу его не касался. Проходили неделя за неделей, а Крист все худел, все писал.

И вот однажды, взяв в руки очередную папку, чтобы прочитать очередную фамилию, следователь запнулся. И поглядел на Криста и спросил:

— Как ваше имя, отчество?

— Роберт Иванович, — ответил Крист, улыбаясь. Не будет ли следователь звать его «Роберт Иванович» вместо «Крист» или «вы» — это бы не удивило Криста. Следователь был молод, годился в сыновья Криту. Все еще держа в руках папку и не произнося фамилии, следователь побледнел. Он бледнел, пока не стал белее снега. Быстрыми пальцами следователь перебрал тоненькие бумажки, подшитые в папку, — их было не больше и не меньше, чем и в любой другой папке из груды папок, лежащих на полу. Потом следователь решительно распахнул дверку печки, и в комнате сразу стало светло, как будто озарилась душа до дна и в ней нашлось на самом дне что-то очень важное, человеческое. Следователь разорвал папку на куски и затолкал их в печку. Стало еще светлее. Крист ничего не понимал. И следователь сказал, не глядя на Криста:

— Шаблон. Не понимают, что делают, не интересуются. — И твердыми глазами посмотрел на Криста. — Продолжаем писать. Вы готовы?

— Готов, — сказал Крист и только много лет спустя понял, что это была его, Криста, папка.

Уже многие товарищи Криста были расстреляны. Был расстрелян и следователь. А Крист был все еще жив и иногда — не реже раза в несколько лет — вспоминал горящую папку, решительные пальцы следователя, рвущие кристовское «дело», — подарок обреченному от обрекающего.

Почерк Криста был спасительный, каллиграфический.

## УТКА

Горный ручей был уже схвачен льдом, а на перекатах ручья уже вовсе не было. Ручей вымерзал с перекатов, и через месяц от летней, грозной, гремящей воды не оставалось ничего, даже лед был вытопан, измельчен, раздавлен копытами, шинами, валенками. Но ручей был еще жив, вода в нем еще дышала — белый пар поднимался над полыньями, над проталинами.

Обессилевшая утка-нырок шлепнулась в воду. Стая давно пролетела на юг, утка осталась. Было еще светло, снежно — особенно светло из-за снега, покрывшего весь голый лес, все до горизонта. Утка хотела отдохнуть, немного отдохнуть, потом подняться и лететь — туда, вслед стае.

У нее не было сил лететь. Стопудовая тяжесть крыльев гнула ее к земле, но на воде она нашла опору, спасенье — вода на полыньях показалась ей живой рекой.

Но не успела утка оглядеться, передохнуть, как тонкий ее слух уловил звук опасности. Да не звук — грохот.

Сверху, со снежной горы, обрываясь на мерзлых, еще застывающих к вечеру кочках, бегом спускался человек. Он увидел утку давно и следил за ней с тайной надеждой, и вот надежда сбылась — утка опустилась на лед.

Человек подкрадывался к ней, но оступился, утка заметила его, и тогда человек побежал не таясь, а утка не могла лететь — устала. Ей нужно было только подняться вверх, и, кроме злобных угроз, ничего бы ей не угрожало. Но чтоб подняться в небо, нужны силы в крыльях, а утка слишком устала. Она сумела только нырнуть, исчезла в воде, и человек, вооруженный тяжелым каким-то суком, остановился у полыньи, куда нырнула утка, ждал ее возвращения. Ведь надо же будет утке дышать.

В двадцати метрах тоже была такая же полынья, и человек, ругаясь, увидел, что утка проплыла подо льдом и вылезла в другую полынью. Но летать она и там не могла. И секунды тратила она на отдых.

Человек попробовал обломать, раздавить лед, но обувь его из тряпок не годилась.

Он бил палкой по синему льду — лед чуть крошился, но не ломался. Человек обессилел и, тяжело дыша, сел на лед.

Утка плавала в полынье. Человек побежал, ругаясь и бросая камнями в утку, и утка нырнула и появилась в первой полынье.

Так они бегали — человек и утка, пока не стемнело.

Была пора возвращаться в барак с неудачной охоты, случайной охоты. Человек пожалел, что потратил силы на это безумное преследование. Голод не давал подумать как следует, составить надежный план, чтобы обмануть утку, нетерпение голода подсказало неверный путь, плохой план. Утка осталась на льду, в полынье. Пора было возвращаться в барак. Человек ловил утку не затем, чтобы сварить птичье мясо и съесть. Утка ведь птица, мясо, не правда ли? Сварить в жестяном котелке или еще лучше — закопать в золу костра. Обмазать глиной утку и зарыть ее в горящую лиловую золу или просто бросить в костер. Костер прогорит, и глиняная оболочка утки лопнет. Внутри будет горячий скользкий жир. Жир потечет на руки, будет стынуть на губах. Нет, вовсе не для этого ловил человек утку. Смутно, туманно в его мозгу вставали, строились другие зыбкие планы. Отнести эту утку в подарок десятнику, и тогда десятник вычеркнет человека из зловещего списка, который составлялся ночью. Об этом списке знал весь барак, и человек старался не думать о невозможном, о недоступном, как бы избавиться от этапа, как бы остаться здесь, на этой командировке. Здешний голод можно было еще терпеть, а человек никогда не искал лучшего от хорошего.

Но утка осталась в полынье. Человеку очень трудно было самому принимать решение, совершить поступок, действие, какому не научила его повседневная жизнь. Его не учили погоне за уткой. Оттого и движения его были беспомощны, неумелы. Его не учили думать о возможности такой охоты — мозг не умел правильно решать неожиданные вопросы, которые задавала жизнь. Его учили жить, когда собственного решения не надо, когда чужая воля, чья-то воля управляет событиями. Необычайно трудно вмешаться в собственную судьбу, «преломить» судьбу. Может быть, все к лучшему — утка умирает в полынье, человек в бараке.

Замерзшие, поцарапанные о лед пальцы с трудом согрелись за пазухой — человек каждую ладонь, обе ладони засунул за пазуху одновременно, вздрагивая от ноющей боли отмороженных навек пальцев. В голодном его теле было мало тепла, и человек вернулся в барак, протискался к печке и все же не мог согреться. Тело дрожало крупной дрожью неостановимо.

В дверь барака заглянул десятник. Он тоже видел утку, видел охоту мертвеца за умирающей уткой. Десятнику не хотелось уезжать из этого поселка — кто знает, что его ждет на новом месте. Десятник рассчитывал щедрым подарком — живая утка да «вольные» брюки — умиловать сердце прораба, который еще спал. Проснувшись, прораб мог вычеркнуть десятника из списка — не того работягу, который поймал утку, а его, десятника.

Прораб, лежа, привычными пальцами разминал папиросу «Ракета». В окно он тоже видел начало охоты. Если утку поймают — плотник сделает клетку, и прораб отвезет утку большому начальнику, вернее, его жене, Агнии Петровне. И будущее прораба обеспечено.

Но утка осталась умирать в полынье. И все пошло так, как будто утка и не залетала в эти края.

1963

## БИЗНЕСМЕН

Ручкиных в больнице много. Ручкин — это кличка-примета: повреждена, значит, рука, а не выбиты зубы. Какой Ручкин? Грек? Длинный из седьмой палаты? Этот Коля Ручкин, бизнесмен.

Правая кисть Колиной руки отстрелена взрывом. Коля — самострел, членовредитель. В медицинских отчетах самострелов числят по графе саморубов. В больницу их класть запрещено, если нет высокой, «септической» температуры. У Коли Ручкина была такая температура. Два месяца Коля боролся с заживлением раны, но молодые годы взяли свое — Коле уже недолго быть в больнице. Пора возвращаться на прииск. Но Коля не боится — что ему, однорукому, золотые забой? То время прошло, когда одноруких заставляли «топтать дорогу» для людей и тракторов в лесозаготовках, полный рабочий день в глубоком, рыхлом, хрустальном снегу. Начальство боролось с самострелами как умело. Тогда арестанты стали рвать ноги, вставляя капсуль прямо в валенок и поджигая бикфордов шнур у собственного колена. Еще удобней. «Топтать дорогу» одноруких не стали посылать. Заставят мыть золото лотком — одной рукой? Ну, летом можно будет сходить на денек. Если дождя не будет. И Коля улыбается во весь свой белозубый рот — его зубов цинга не успела прихватить. Вертеть сигарку одной левой рукой

Коля Ручкин уже научился. Почти сытый, отдохнувший в больнице, Коля улыбается, улыбается. Он бизнесмен — Коля Ручкин. Он вечно что-то меняет, носит запрещенную селедку к поносникам, а от них приносит хлеб. Поносникам ведь тоже надо задержаться, притормозиться в больнице. Коля меняет суп на кашу, а кашу на два супа, умеет «переполовинить» доверенную ему для обмена на табак пайку хлеба. Это ему дали лежачие больные — опухшие цинготики, получившие тяжелые переломы, — из палат травматических болезней или — как выговаривал фельдшер Павел Павлович — «драматических болезней», не подозревая горькой иронии своей обмолвки. Счастье Коли Ручкина началось с того дня, когда ему «отстрелило» руку. Почти сыт, почти в тепле. А матюги начальства, угрозы врачей — все это Коля считает пустяками. Да это и есть пустяки.

Несколько раз за эти два блаженных месяца, что Коля Ручкин в больнице, случались странные и страшные вещи. Рука, оторванная взрывом, несуществующая кисть — болела так, как раньше. Коля чувствовал ее всю: пальцы кисти согнуты, сложены в то самое положение, в котором кисть застыла на приiske — по черенку лопаты или рукоятке кайла, не больше и не меньше. Ложку такой рукой трудно было держать, но ложка и не была нужна на приiske — все съедобное можно было выпить «через борт» миски: суп и кашу, кисель и чай. В этих согнувшихся навеки пальцах пайку хлеба можно было удержать. Но Ручкин отрубил, отстрелил их к чертовой матери. Так почему же он чувствует эти согнутые по-приисковому, отстреленные пальцы? Ведь левая его кисть начала месяц назад разгибаться, отгибаться, как ржавый шарнир, получивший снова чуточку смазки, и Ручкин плакал от радости. Он и сейчас, наваливаясь животом на свою левую ладонь, разгибает ее, свободно разгибает. А правая, оторванная — не разгибается. Все это случалось чаще ночью. Ручкин холодел от страха, просыпался, плакал и не решался спросить об этом даже соседей, — а вдруг это что-нибудь значит? Может быть, он сходит с ума.

Боль в отрезанной кисти возникала все реже и реже, мир становился нормальным. Ручкин радовался своему счастью. И улыбался, улыбался, вспоминая, как ловко у него все это получилось.

Вышел из «кабинки» фельдшер Павел Павлович, держа в руке незакуренную махорочную сигарку, и сел рядом с Ручкиным.

— Огоньку, Павел Павлович?— сгибается перед фельдшером Ручкин.— Один момент!

Ручкин бросается к печке, открывает дверку, левой рукой скидывает на пол несколько мелких горящих углей. Ловко подбросив тлеющий уголек, Ручкин ловит его в свою ладонь и перекачивает уже почерневший, но еще хранящий пламя уголек, отчаянно раздувает его, чтоб огонь не погас, подносит прямо к лицу чуть наклонившегося вперед фельдшера. Фельдшер с силой всасывает воздух, держа во рту сигарку, и наконец прикуривает. Ключья синего дыма всплывают над головой фельдшера. Ноздри Ручкина раздуваются. В палатах просыпаются от этого запаха больные и безнадежно втягивают дым — не дым, а тень, бегущую от дыма...

Всем ясно, что покурить будет оставлено Ручкину. А Ручкин соображает: он сам затянется раза два, а потом отнесет в хирургическое, фраеру с перебитой спиной. Там Ручкина ждет обеденная паечка — не шутка. А если Павел Павлович оставит побольше, то из «бычка» возникнет новая папироса, которая будет стоить побольше паечки.

— Скоро уж тебе ехать, Ручкин,— не спеша говорит Павел Павлович.— Покантовался ты тут порядочно, припухал на совесть, дело прошлое... Расскажи, как это ты дерзнул? Может, будет что детям рассказать. Если свижусь с ними.

— Да я и не скрываю, Павел Павлович,— говорит Ручкин, а сам соображает. Папиросу, видно, Павел Павлович слабо завернул. Ишь, как вдохнет, втянет дым, так огонь движется и бумага обгорает. Не тлеет сигарка фельдшерская, а горит, как бикфордов шнур. Как бикфордов шнур. Значит, надо рассказывать покороче.

— Ну?

— Утром я встаю, пайку получаю — в курок ее, за пазуху. У нас на целый день пайки давали. Иду к Мишке-взрывнику. «Ну как?» — говорю. «Есть». Отдаю ему всю пайку-восьмисотку и получаю за нее капсуль и кусок шнура. Иду к землякам, в свой барак. Они мне не земляки, а просто так говорится. Федя и какой-то Петро. «Готово?» — спрашиваю. «Готово», — говорят. «Давайте сюда». Отдают они мне свои пайки. Я две пайки в курок, за пазуху, и топаем на работу.

На производстве, пока наша бригада инструмент получала, берем головешку из печки, отходим за отвал. Встали теснее, все трое за капсуль держимся — каждый своей правой рукой. Подожгли шнур, чик — и полетели

пальцы в сторону. Бригадир кричит: «Что же вы делаете?» Старший конвоя. «Марш в лагерь, в санчасть!» Перевязали нас в санчасти. А потом земляков угнали куда-то, а у меня температура, и я в больницу попал.

Папиросу Павел Павлович почти докурил, но Ручкин увлекся рассказом и чуть не забыл о папиросе.

— А паечки, паечки-то, две, что у тебя остались,— съел?

— А как же! Сразу после перевязки и съел. Земляки мои подходили — отломи кусочек. Пошли вы, говорю, к чертовой матери. Это моя коммерция.

1962

## КАЛИГУЛА

Записка была получена в РУРе еще до гудка в сумерки. Комендант зажег бензинку, прочел бумагу и торопливо пошел отдать распоряжение. Коменданту ничего не казалось странным.

— Он не того? — спросил дежурный надзиратель, показывая себе на лоб.

Комендант холодно посмотрел на солдата, и дежурному стало страшно за свое легкомыслие. Он отвел глаза на дорогу.

— Ведут, — сказал он, — сам Ардатов идет.

Сквозь туман были видны два конвоира с винтовками. За ними возчик вел в поводу серую исхудалую лошадь. Сзади лошади без дороги, прямо по снегу шагал грузный большой человек. Белый овчинный полушубок был распахнут, шапка-барнаулка сбита на затылок. В руке он держал палку и нещадно бил по костлявым, грязным, впавшим бокам лошади. Лошадь дергалась от каждого удара и продолжала плестись, не в силах ускорить шаг.

У проходной будки конвоиры остановили лошадь, и Ардатов, пошатываясь, вышел вперед. Он сам дышал как запаленный конь, обдавая запахом спирта вытянувшегося в струнку коменданта.

— Готово? — прохрипел он.

— Так точно! — ответил комендант.

— Тащи ее! — заорал Ардатов. — Принимай на довольствие. Людей наказываю — лошадей миловать не буду. Я ее доведу до дела. Третий день не работает, — бормотал он, тыча кулаком в грудь коменданта. — Я возчика хотел

посадить. План ведь срывается. Пла-ан... Возчик клянется: «Не я, лошадь не работает». Я п-понимаю,— икал Ардатов, — я в-верю... Дай, говорю, вожжи. Взял вожжи — не идет. Бью — не идет. Сахар даю — нарочно из дому взял — не берет. Ах ты, думаю, гадина, куда же мне теперь твои трудодни списывать? Туда ее — ко всем филонам, ко всем врагам человечества — в карцер. На голую воду. Трое суток для первого раза.

Ардатов сел на снег и снял шапку. Мокрые спутанные волосы сползли на глаза. Пытаясь встать, он качнулся и вдруг опрокинулся на спину.

Надзиратель и комендант втащили его в дежурку. Ардатов спал.

— Домой отнесем?

— Не надо. Жена не любит.

— А лошадь?

— Надо вести. Проснется, узнает, что не посадили, — убьет. Сажай ее в четвертую. К интеллигенции.

Два сторожа из заключенных внесли в дежурку дрова на ночь и стали укладывать их около печки.

— Что скажете, Петр Григорьевич? — сказал один из них, показывая глазами на дверь, за которой храпел Ардатов.

— Скажу, что это не ново... Калигула...

— Да, да, как у Державина, — подхватил второй и, выпрямившись, с чувством прочел:

Калигула, твой конь в сенате  
Не мог сиять, сияя в злате,  
Сияют добрые дела...

Старики закурили, и голубой махорочный дым поплыл по комнате.

1962

## АРТИСТ ЛОПАТЫ

В воскресенье, после работы, Криту сказали, что его переводят в бригаду Косточкина, на пополнение быстро тающей золотой приисковой бригады. Новость была важная. Хорошо это или плохо — думать Криту не следовало, ибо новость неотвратима. Но о самом Косточкине Криту слышал много на этом лишенном слухов прииске,



в оглохших, немых бараках. Крист, как и всякий заключенный, не знал, откуда приходят в его жизнь новые люди — одни ненадолго, другие надолго, но во всех случаях люди исчезали из жизни Криста, так ничего и не сказав о себе, уходили, как бы умирая, умирали, как бы уходя. Начальники, бригадиры, повара, каптеры, соседи по нарам, братья по тачке, товарищи по кайлу...

Этот калейдоскоп, это движение бесконечных лиц не утомляло Криста. Он просто не раздумывал об этом. Жизнь не оставляла времени на такие раздумья. «Не волнуйся, не думай о новых начальниках, Крист. Ты один, а начальников у тебя еще будет очень много» — так говорил шутник и философ — а кто говорил, Крист забыл. Крист не мог вспомнить ни фамилии, ни лица, ни голоса, голоса, сказавшего Кристу эти важные шутливые фразы. Важные именно потому, что шутливые. Кто осмеливался шутить, улыбаться хотя бы глубоко скрытой, сокровеннейшей улыбкой, но все же улыбкой, несомненно улыбкой, — такие люди существовали, но сам Крист был не из их числа.

Какие были бригадиры у Криста... Или свой брат пятьдесят восьмая, взявшиеся за слишком серьезное дело и вскоре разжалованные, разжалованные раньше, чем они успели превратиться в убийц. Или свой брат пятьдесят восьмая, фраера, но — битые фраера, опытные, бывалые фраера, которые могли не только приказывать на работе, но и эту работу организовать, да еще ладить с нормировщиками, конторой, начальством разнообразным, дать взятку, уговорить. Но и эти, свой брат пятьдесят восьмая, не хотели и думать о том, что приказывать на лагерной работе — худший лагерный грех, что там, где расплата кровава, где человек бесправен, взять на себя ответственность распоряжаться чужой волей на жизнь и смерть — все это слишком большой, смертный грех, грех, которого не прощают. Были бригадиры, умиравшие вместе с бригадой. Были и такие, которых эта ужасная власть над чужой жизнью развратила немедленно, и кайловище, черенок лопаты в их руках стал им помогать в разговорах со своими товарищами. И когда они вспоминали об этом, говорили, повторяя, как молитву, мрачную лагерную поговорку: «Умри ты сегодня, а я завтра». Далеко не всегда у Криста бригадирами были заключенные по пятьдесят восьмой статье. Чаще — а в самые страшные годы всегда — бригадирами Криста были бытовики, осужденные за

убийство, за служебные преступления. Это были нормальные люди, только вина власти и тяжкое давление сверху — поток смертных инструкций — диктовали этим людям поступки, на которые они не решались, быть может, в их прежней жизни. Грань между преступлением и «ненаказуемым деянием» в «служебных» статьях — да в большинстве бытовых тоже — очень тонка, подчас неуловима. Часто сегодня судили за то, за что не судили вчера, не говоря уж о «мере пресечения» — всей этой юридической гамме оттенков от проступка до преступления.

Бытовики-бригадиры были зверями по приказу. Но вовсе не только по приказу были зверями бригадиры-блатари. Бригадир-блатарь — это худшее, что могло случиться с бригадой. Но Косточкин не был ни блатарем, ни бытовиком. Косточкин был единственным сыном какого-то крупного не то партийного, не то советского работника на КВЖД, по «делу КВЖД» привлеченного и умерщвленного. Единственный сын Косточкина, учившийся в Харбине и ничего, кроме Харбина, не видевший, в свои двадцать пять лет был осужден как «чс», как «член семьи», как «литерник», на... пятнадцать лет. Воспитанный заграничной харбинской жизнью, где о невинно осужденных читали только в романах — переводных романах по преимуществу, — молодой Косточкин в глубине своего мозга не был уверен, что его отец осужден невинно. Отец воспитал в нем веру в непогрешимость НКВД. К иному суждению молодой Косточкин был вовсе не подготовлен. И когда был арестован отец, когда сам Косточкин был осужден и отправлен с Очень Дальнего Востока на Очень Дальний Север — Косточкин был озлоблен прежде всего на отца, испортившего ему своим таинственным преступлением жизнь. Что он, Косточкин, знает о жизни взрослых? Он, изучивший четыре языка — два европейских и два восточных, лучший танцор Харбина, учившийся всевозможным блюзам и румбам у приезжих мастеров сих дел, лучший боксер Харбина — средневес, переходящий в полутяжелый, обучавшийся апперкотам и хуккам у бывшего чемпиона Европы, — что он о всей этой большой политике знает? Если расстреляли — значит, что-то было. Может быть, в НКВД погорячились, может быть, надо было дать десять, пятнадцать лет. А ему, молодому Косточкину, нужно было дать — если уж нужно дать — пять вместо пятнадцати.

Четыре слова повторял Косточкин — переставлял их в разном порядке — и всякий раз выходило плохо, тревожно: «Значит, было что-то. Значит, что-то было».

Вызвав у Косточкина ненависть к расстрелянному отцу, страстное желание избавиться от этого клейма, от этого отцовского проклятия — работники следствия добились важных успехов. Но следователь не знал об этом. Следователь, который вел дело Косточкина, и сам был давно расстрелян по очередному «делу НКВД».

Не только фокстроты и румбы изучал молодой Косточкин в Харбине. Он окончил Харбинский политехнический институт — получил диплом инженера-механика.

Когда привезли Косточкина на прииск, на место его назначения, он добился свидания с начальником прииска и просил дать работу по специальности, обещая честно работать, проклиная отца, умоляя местных начальников. «Этикетки на консервные банки будет писать», — сухо сказал начальник прииска, но присутствовавший при разговоре местный уполномоченный уловил какие-то знакомые нотки в тоне молодого харбинского инженера. Начальники поговорили между собой, потом уполномоченный поговорил с Косточкиным, и забойные бригады вдруг обошло известие, что бригадиром одной из бригад назначен новичок, свой брат пятьдесят восьмая. Оптимисты видели в этом назначении признак скорых перемен к лучшему, пессимисты бормотали что-то насчет новой метлы. Но и те и другие были удивлены — кроме, разумеется, тех, кто давно отучился удивляться, — Крист не удивлялся.

Каждая бригада живет своей жизнью, в своей «секции» в бараке с отдельным входом и с остальными жителями барака встречается только в столовой. Крист часто встречал Косточкина — тот был такой отметный, краснорожий, широкоплечий, могучий. Краги — перчатки с раструбами были меховые. У бригадиров победней краги бывают тряпочные, сшитые из ватных стеганых брюк. И шапка у Косточкина была «вольная», меховая ушанка, и валенки — настоящие, а не бурки, не чуни веревочные. Всем этим Косточкин был отмечен. Работал бригадиром он один этот зимний месяц — значит, довел план, процент, а сколько — можно было узнать на доске около вахты, но таким вопросом такой старый арестант, как Крист, не интересовался.

Жизнеописание своего будущего бригадира Крист составил на нарах, мысленно. Но был уверен, что не

ошибся, не может ошибиться. Никаких других путей на бригадирскую должность у харбинца не могло быть.

Бригада Косточкина таяла, как положено таять всем бригадам, работающим в золотом забое. Время от времени — это должно звучать как от недели к неделе, а не от месяца к месяцу — в бригаду Косточкина направляли пополнение. Сегодня это пополнение — Крист. «Наверное, Косточкин даже знает, кто такой Эйнштейн», — подумал Крист, засыпая на новом месте.

Место Кристу дали, как новичку, подальше от печки. Кто раньше пришел в бригаду — занял лучшее место. Это был общий порядок, и Крист был с ним хорошо знаком.

Бригадир сидел у стола в углу, близко от лампы и читал какую-то книжку. И хотя бригадир, как хозяин жизни и смерти своих работяг, мог для своего удобства поставить единственную лампу к себе на столик, лишив света всех остальных жителей барака — не до того, чтобы читать или говорить... Говорить можно и в темноте, да и не о чем говорить и некогда. Но бригадир Косточкин сам пристроился к общей лампе и читал, читал, по временам собирая в улыбку свои пухлые детские губы сердечком, и щурил свои большие красивые серые глаза. Кристу так понравилась эта давно им не виданная мирная картина отдыха бригадира и бригады, что он решил про себя обязательно в этой бригаде остаться, отдать все силы своему новому бригадиру.

В бригаде был и заместитель бригадира, он же дневальный, низкорослый Оська, годившийся в отцы Косточкину. Оська мёл барак, кормил бригаду, помогал бригадиру — все было как у людей. И, засыпая, Крист почему-то подумал, что, наверное, его новый бригадир знает, кто такой Эйнштейн. И, ошастливленный этой мыслью, согретый только что выпитой кружкой кипятку на ночь, Крист заснул.

В новой бригаде и шума не было на разводе. Кристу показали инструменталку — получили инструмент, и Крист приладил себе лопату, как тысячу раз прилаживал раньше, сбил к черту короткую ручку с упором, укрепленную на американской лопате-совке, обухом топора разогнул этот совок чуть пошире на камне, выбрал длинный-длинный новый черенок из множества стоящих в углу сарая черенков, вддел черенок в кольцо лопаты, укрепил его, поставил лопату изогнутой под углом лопастью к собственным ногам, отмерил и пометил, «зазначил», черенок лопаты против собственного подбородка и по этой

отметке отрубил. Острым топором Крист стер, тщательно загладил торец новой рукоятки. Встал и обернулся. Перед ним стоял Косточкин, внимательно наблюдая за действиями новичка. Впрочем—Крист ждал этого. Косточкин ничего не сказал, и Крист понял, что свои суждения бригадир откладывает до работы, до забоя.

Забой был недалеко, и работа началась. Черенок дрогнул, заныла спина, ладони обеих рук встали в привычное положение, пальцы схватили черенок. Он был чуть-чуть толще, чем надо, но Крист это выправит вечером. Да и лопату подточит напильником. Руки заносили лопату раз за разом, и в мелодичный скрежет металла о камень вошел учащенный ритм. Лопата визжала, шуршала, камень сползал с лопаты при взмахе и снова падал на дно тачки, а дно отвечало деревянным стуком, а потом камень отвечал камню— всю эту музыку забоя Крист знал хорошо. Повсюду стояли такие же тачки, визжали такие же лопаты, шуршала камень, сползал с обвалов, подрубленный кайлом, и снова визжали лопаты.

Крист положил лопату, сменил напарника у «машины ОСО— две ручки, одно колесо», как называли на Колыме тачку по-арестантски. Не по-блатному, но вроде этого. Крист поставил тачку донцем на траповую доску, ручками в противоположную от забоя сторону. И быстро насыпал тачку. Потом ухватился за ручки, выгнулся, напрягая живот, и, поймав равновесие, покатил свою тачку к бутаре, к промывочному прибору. Обратное Крист прикатил тачку по всем правилам тачечников, унаследованным от каторжных столетий, ручками вверх, колесом вперед, а руки Крист, отдыхая, держал на ручках тачки, потом поставил тачку и снова взял лопату. Лопата завизжала.

Харбинский инженер, бригадир Косточкин, стоял и слушал забойную симфонию и наблюдал за движениями Криста.

— Да ты, я вижу, артист лопаты,— и Косточкин расхохотался. Смех у него был детский, неудержимый. Рукавом бригадир вытер губы.— Какую ты получал категорию там, откуда пришел?

Речь шла о категориях питания, о той «шкале желудка», подгоняющей арестанта. Эти категории, Крист знал это,— были открыты на Беломорканале, на «перековке». Слюнявый романтизм перековки имел реалистическое основание, жестокое и зловещее, в виде этой желудочной шкалы.

— Третью, — ответил Крист, как можно заметнее подчеркивая голосом свое презрение к прошлому своему бригадиру, который не оценил таланта артиста лопаты. Крист, поняв выгоду, привычно, чуть-чуть лгал.

— У меня будешь получать вторую. Прямо с сегодняшнего дня.

— Спасибо, — сказал Крист.

В новой бригаде было, пожалуй, чуть тише, чем в других бригадах, где приходилось жить и работать Кристу, чуть чище в бараке, чуть меньше матерщины. Крист хотел по своей многолетней привычке поджарить на печке кусочек хлеба, оставшийся после ужина, но сосед — Крист еще не знал, да и никогда не узнал его фамилии, толкнул Криста и сказал, что бригадир не любит, когда жарят на печке хлеб.

Крист подошел к железной, весело топящейся печке, растопырил ладони над потоком тепла, сунул лицо в струю горячего воздуха. С ближайших нар встал Оська, заместитель бригадира, и сильной рукой отвел новичка от печки: «Иди на свое место. Не загораживай печки. Пусть всем будет тепло». Это в общем-то было справедливо, но очень трудно удержать собственное тело, тянущееся к огню. Арестанты из бригады Косточкина удерживаться научились. И Кристу тоже придется научиться. Крист вернулся на место, снял бушлат. Сунул ноги в рукава бушлата, поправил шапку, скорчился и заснул.

Засыпая, Крист еще видел, как кто-то вошел в барак, что-то приказал. Косточкин выругался, не отходя от лампы и не прекращая читать книжку. Оська подскочил к пришедшему, быстрыми ловкими движениями ухватив пришедшего за локти, вытолкнул его из барака. Оська был преподавателем истории в каком-то институте в прошлой своей жизни.

Много следующих дней лопата Криста визжала, шелестел песок. Косточкин скоро понял, что за отточенной техникой движений Криста давно уж нет никакой силы, и как ни старался Крист — его тачки были всегда наполнены чуть-чуть меньше, чем надо, — это ведь от собственной воли не зависит, меру диктует какое-то внутреннее чувство, что управляет мускулами — всякими — здоровыми и бессильными, молодыми и изношенными, измученными. Всякий раз оказывалось, что в замере забоя, в котором работал Крист, не так много сделано, как ожидал бригадир от профессионализма движений артиста лопаты. Но Косточкин не придирался к Кристу, ругал его не

больше, чем других, не отводил душу в брани, не читал рацей. Может быть, понимал, что Крест работает на полной отдаче сил, сберегая лишь то, что нельзя растратить в угоду любому бригадиру в любом из лагерей мира. Или чувствовал, если не понимал — ведь чувства наши гораздо богаче мыслей, — обескровленный язык арестанта выдает не все, что есть в душе. Чувства тоже бледнеют, слабеют, но много позже мыслей, много позже человеческой речи, языка. А Крест действительно работал, как давно уже не работал — и хотя сделанного им не хватало на вторую категорию, он эту вторую категорию получал. За прилежание, за старание...

Ведь вторая категория — было высшее, чего мог добиться Крест. Первую получали рекордисты — выполняющие сто двадцать процентов плана и больше. В бригаде Косточкина рекордистов не было. Были в бригаде и третьи, выполняющие норму, и четвертые категории, нормы не выполняющие, а делавшие только восемьдесят — семьдесят процентов нормы. Но все же не открытые филоны, достойные штрафного пайка, пятой категории. Таких в бригаде Косточкина тоже не было.

Дни шли за днями, а Крест все слабел и слабел, и покорная тишина в бараке бригады Косточкина нравилась Кресту все меньше и меньше. Но как-то вечером Оська, преподаватель истории, отвел Креста в сторону и сказал ему негромко: «Сегодня кассир придет. Тебе бригадир деньги выписал, знай...» Сердце Креста стучало. Значит, Косточкин оценил прилежание Креста, его мастерство. У этого харбинского бригадира, знающего имя Эйнштейна, есть все-таки совесть.

В тех бригадах, где раньше работал Крест, ему денег не выписывалось никогда. В каждой бригаде обязательно оказывались более достойные люди — или в самом деле физически покрепче и лучше работающие, или просто друзья бригадира — такими бесплодными рассуждениями Крест никогда не занимался, принимая каждую обеденную карточку — а категории менялись каждые десять дней, процент устанавливался за прошлую выработку, — за перст судьбы, за счастье или несчастье, удачу или неудачу, которые пройдут, переменятся, не будут вечными.

Известие о деньгах, которые Кресту сегодня вечером заплатят, переполнило и душу и тело Креста горячей, неудержимой радостью. Оказывается, чувств и сил хватает на радость. Сколько могут заплатить денег?.. Даже пять-шесть рублей — и то это пять-шесть килограммов хлеба.

Крист готов был молиться на Косточкина и с трудом дождался конца работы.

Кассир приехал. Это был самый обыкновенный человек, но в хорошем дубленом полушубке, вольнонаемный. С ним пришел охранник, спрятавший куда-то револьвер или пистолет или оставивший оружие на вахте. Кассир сел к столу, приоткрыл портфель, набитый ношенными разноцветными ассигнациями, похожими на выстиранные тряпки. Кассир вытащил ведомость, расчерченную тесно, исписанную всевозможными подписями — обрадованных или разочарованных денежными начислениями людей. Кассир вызвал Криста и указал ему отмеченное «птичкой» место.

Крист обратил внимание, почувствовал особенное что-то в этой выплате, выдаче. Никто, кроме Криста, не подошел к кассиру. Никакой очереди не было. Может быть, бригадники так приучены заботливым бригадиром. Ну, что об этом думать! Деньги выписаны, кассир платит. Значит, Кристово счастье.

Самого бригадира в бараке не было, он еще не пришел из конторы, и удостоверением личности получателя занимался заместитель бригадира, Оська, преподаватель истории. Указательным пальцем Оська показал Кристу место для расписки.

— А... а... сколько? — задыхаясь, прохрипел Крист.

— Пятьдесят рублей. Доволен?

Сердце Криста запело, застучало. Вот оно, счастье. Крист поспешно, разрывая бумагу острым пером и чуть не опрокинув чернильницу-непроливайку, расписался в ведомости.

— Вот и молодчик, — сказал Оська одобрительно.

Кассир захлопнул портфель.

— Больше в вашей бригаде никого нет?

— Нет.

Крист все еще не мог понять происходившего.

— А деньги? А деньги?

— Деньги я Косточкину отдал, — сказал кассир. — Еще днем. — А низкорослый Оська железной рукой, с силой, которой никогда не имел ни один забойщик этой бригады, оторвал Криста от стола и отшвырнул в темноту.

Бригада молчала. Ни один человек не поддержал Криста, не спросил ни о чем. Даже не обругал Криста дураком... Это было Кристу страшнее этого зверя Оськи, его цепкой, железной руки. Страшнее детских пухлых губ бригадира Косточкина.



Дверь барака распахнулась, и к освещенному столу быстрыми и легкими шагами прошел бригадир Косточкин. Накатник, из которого был сложен пол барака, почти не качнулся под его легкими, упругими шагами.

— Вот сам бригадир — говори с ним, — сказал Оська, отступая. И объяснил Косточкину, показывая на Христа: — Деньги ему надо!

Но бригадир понял все еще с порога. Косточкин сразу почувствовал себя на харбинском ринге. Косточкин протянул руку к Христу привычным красивым боксерским движением от плеча, и Христ упал на пол оглушенный.

— Нокаут, нокаут, — хрипел Оська, приплясывая вокруг полуживого Христа и изображая рефери на ринге, — восемь... девять... Нокаут.

Христ не поднимался с пола.

— Деньги? Ему деньги? — говорил Косточкин, усаживаясь не спеша за стол и принимая ложку из рук Оськи, чтобы приняться за миску с горохом.

— Вот эти троцкисты, — говорил Косточкин медленно и поучительно, — и губят меня и тебя, Ося. — Косточкин повысил голос. — Загубили страну. И нас с тобой губят. Деньги ему понадобились, артисту лопаты, деньги. Эй, вы, — кричал Косточкин бригаде. — Вы, фашисты! Слышите! Меня не зарежете. Пляши, Оська!

Христ все еще лежал на полу. Огромные фигуры бригадира и дневального загораживали Христу свет. И вдруг Христ увидел, что Косточкин пьян, сильно пьян, — те самые пятьдесят рублей, которые были выписаны Христу... Сколько на них можно «выкупить» спирта, спирта, который выдан, выдается бригаде...

Оська, заместитель бригадира, послушно пошел в пляс, приговаривая:

Я купила два корыта,  
И жена моя Розита...

— Наша, одесская, бригадир. Называется «От моста до бойни». — И преподаватель истории в каком-то столичном институте, отец четверых детей, Оська снова пошел в пляс.

— Стой, наливай.

Оська нащупал какую-то бутылку под нарами, налил что-то в консервную банку. Косточкин выпил и закусил, подцепив пальцами остатки гороха в миске.

— Где этот артист лопаты?

Оська поднял и вытолкнул Христа к свету.

— Что, силы нет? Разве ты пайку не получаешь? Вторую категорию кто получает? Этого тебе мало, троцкистская сволочь?

Крист молчал. Бригада молчала.

— Всех удавлю. Фашисты проклятые,— бушевал Косточкин.

— Иди, иди к себе, артист лопаты, а то бригадир еще даст,— миролюбиво посоветовал Оська, обхватывая захмелевшего Косточкина и заталкивая его в угол, опрокидывая на бригадирский пышный одинокий топчан— единственный топчан в бараке, где все нары были двойные, двухэтажные, «железнодорожного» типа. Сам Оська, заместитель бригадира и дневальный, спавший на крайней койке, вступал в третьи свои важные, вполне официальные обязанности, обязанности телохранителя, ночного сторожа бригадирского сна, покоя и жизни. Крист ощупью добрался до своей койки.

Но заснуть не удалось ни Косточкину, ни Кристу. Дверь барака отворилась, впуская струю белого пара, и в дверь вошел какой-то человек в меховой ушанке и в темном зимнем пальто с каракулевым воротником. Пальто было изрядно измято, каракуль был вытерт, но все же это было настоящее пальто и настоящий каракуль.

Человек прошел через весь барак к столу, к свету, к топчану Косточкина. Оська почтительно его приветствовал. Оська принялся расталкивать бригадира.

— Тебя зовет Миня Грек.— Это имя было знакомо Кристу. Это был бригадир блатарей.— Тебя зовет Миня Грек.— Но Косточкин уже очухался и сел на топчане лицом к свету.

— Ты все гуляешь, Укротитель?

— Да вот... довели, гады...

Миня Грек сочувственно помычал.

— Взорвут тебя когда-нибудь, Укротитель, на воздух. А? Заложат аммонит под койку, шнур подпалят и туда...— Грек показал пальцем вверх.— Или голову пилой отпилят. Шея-то у тебя толстая, долго пилить придется.

Косточкин, медленно приходя в себя, ждал, что ему скажет Грек.

— Не налить ли по маленькой? Скажи, сгношим в два счета.

— Нет. У нас этого спирту в бригаде полно, сам знаешь. Дело мое более серьезное.

— Рад служить.

— «Рад служить»,— засмеялся Миня Грек.— Так, значит, тебя в Харбине учили разговаривать с людьми.

— Да я ничего,— заторопился Косточкин.— Просто еще не знаю, что тебе нужно.

— А вот что.— Грек заговорил что-то быстро, и Косточкин согласно кивал, Грек начертил что-то на столе, и Косточкин закивал понимающе. Оська с интересом следил за разговором.— Я ходил к нормировщику,— говорил Миня Грек — говорил не утрюмо и не оживленно, самым обыкновенным голосом.— Нормировщик сказал: Косточкина очередь.

— Да ведь у меня и в прошлом месяце снимали...

— А мне что делать...— И голос Грека повеселел.— Нашим-то где кубики взять? Я говорил нормировщику. Нормировщик говорит — Косточкина очередь.

— Да ведь...

— Ну, что там. Сам ведь знаешь наше положение...

— Ну, ладно,— сказал Косточкин.— Сосчитаешь там в конторе, скажешь, чтобы у нас сняли.

— Не бойся, фраер,— сказал Миня Грек и похлопал Косточкина по плечу.— Сегодня ты меня выручил, завтра — я тебя. За мной не пропадет. Сегодня ты меня, завтра я тебя выручу.

— ...Завтра оба мы поцелуемся,— заплясал Оська, обрадованный принятым наконец решением и боящийся, что медлительность бригадира только испортит дело.

— Ну, прощай, Укротитель,— сказал Миня Грек, вставая со скамейки.— Нормировщик говорит: смело иди к Косточкину, к Укротителю. В нем есть капля жульнической крови. Не бойся, не тушуйся. Твои ребята справятся. У тебя такие артисты лопаты...

1964

## РУР

Но — не роботами же мы были? Чапековскими роботами из РУРа. И не шахтерами Рурского угольного бассейна. Наш РУР — это рота усиленного режима, тюрьма в тюрьме, лагерь в лагере... Нет, не роботами мы были. В металлическом бесчувствии роботов было что-то человеческое.

Впрочем, кто из нас думал в тридцать восьмом году о Чапеке, об угольном Руре? Только двадцать — тридцать

лет спустя находятся силы на сравнения, в попытках воскресить время, краски и чувство времени.

Тогда мы испытывали только смутную, ноющую радость тела, иссушенных голодом мышц, которые хоть на миг, хоть на час, хоть на день избавятся от золотого забоя, от проклятой работы, от ненавистного труда. Труд и смерть — это синонимы, и синонимы не только для заключенных, для обреченных «врагов народа». Труд и смерть — синонимы и для лагерного начальства и для Москвы — иначе не писали бы в «спецуказаниях», московских путевках на смерть: «использовать только на тяжелых физических работах».

Нас привели в РУР как лодырей, как филонов, как не выполнивших норму. Но — не отказчиков от работы. Отказ от работы в лагере — это преступление, которое карается смертью. Расстреливают за три отказа от работы, за три невыхода. Три акта. Мы выходили из лагерной зоны, доползали до места работы. На работу уже не оставалось сил. Но — мы не были отказчиками.

Нас вывели на вахту. Дежурный надзиратель протянул руку к моей груди, и я закачался и едва устоял на ногах — тычок наганом в грудь сломал ребро. Боль не давала покоя несколько лет. Впрочем, это не было переломом, как после объясняли мне специалисты. Просто разорвал надкостницу.

Нас повели к РУРу, но РУРа не оказалось на месте. Я увидел еще живую землю, каменистую черную землю, покрытую обугленными корнями деревьев, корнями кустарников, отполированными человеческими телами. Увидел черный прямоугольник обугленной земли, одинаково резкий и среди бурной зелени короткого, страстного колымского лета, и среди мертвой белой нескончаемой зимы. Черная яма от костров, след тепла, след человеческой жизни.

Яма была живая. Люди ворочали бревна, торопились, ругались, и на моих глазах вставал омоложенный РУР, стены штрафного барака. Тут же нам объяснили. Вчера в общую камеру РУРа был посажен пьяный завмаг из бытовиков. Пьяный завмаг, разумеется, стены РУРа раскидал по бревну, всю тюрьму. Часовой не стрелял. Бушевал бытовик — часовые отлично разбирались в Уголовном кодексе, в лагерной политике и даже в капризах власти. Часовой не стрелял. Завмага увели и посадили в карцер при отряде охраны. Но даже завмаг-«бытовик», явный герой,

не решился уйти из этой черной ямы. Он только раскидал стены. И вот сотня людей из пятьдесят восьмой, которой был набит РУР, бережно и торопливо восстанавливала свою тюрьму, возводила стены, боясь перешагнуть через край ямы, неосторожно ступить на белый, не запятнанный еще человеком снег.

Пятьдесят восьмая торопилась восстановить свою тюрьму. Понукания, угрозы не были нужны.

Сто человек ютилось на нарах, на каркасе обломанных нар. Нар не было — все накатины, все жерди, из которых были сложены нары — без одного гвоздя, гвоздь на Колыме дело дорогое, нары были сожжены блатарями, сидевшими в РУРе. Пятьдесят восьмая не решилась бы отломать и кусочка своих нар, чтобы согреть свое иззябшее тело, похожие на веревки иссохшие мускулы свои.

Недалеко от РУРа стояло такое же закопченное, как РУР, здание отряда охраны. Барак охранников внешне не отличался от арестантского жилища, да и внутри разницы было не много. Грязный дым, мешковина в окне вместо стекла. И все же — это был барак охраны.

РУР ходил на работу. Но не в золотой забой, а на заготовку дров, на копку канав, топтать дорогу. Кормили в РУРе всех одинаково, и это тоже была радость. Рабочий день РУРа кончался раньше, чем в забое. Сколько раз мы с завистью следили, поднимая глаза от тачки, от забоя, от кайла и лопаты, и видели, как двигались на ночлег нестройные колонны РУРа. Лошади наши ржали, увидев руровцев, требуя конца работы. А может быть, лошади знали время и сами — лучше людей, и никакого РУРа лошадям было видеть не надо...

Теперь я сам подпрыгивал, то попадая, то не попадая в общий шаг, в общий такт, то обгоняя, то отставая... Я хотел одного — чтобы РУР никогда не кончился. Я не знал, на сколько суток — на десять, двадцать, тридцать — я «водворен» в РУР.

«Водворен» — тюремный этот термин хорошо был мне знаком. Кажется, глагол «водворить» употребляется только в местах заключения. Зато оборот «выдворить» вышел на широкую дипломатическую дорогу — «выдворить из пределов» и так далее. Этому глаголу хотели придать грозно-издевательскую окраску, но жизнь меняет масштабы, и в нашем случае «водворить» звучало почти как «спасти».

Каждый день после работы руровцев «гоняли» за дровами «для себя», как говорило начальство. Впрочем, гоня-

ли и забойные бригады. Поездки на санях, где проволочные лямки устраивались для людей — проволочные петли, куда можно просунуть голову и плечи, поправить лямку и тащить, тащить. Сани надо было втащить на гору километра за четыре, где были штабеля заготовленного летом стланика — черного горбатого легкого стланика. Сани нагружались и пускались прямо с горы. На сани садились блатари — те, которые сохранили еще силы, — и, хоча, съезжали с горы. А мы — сползали, не имея сил сбегать. Но скользили быстро, цепляясь за замороженные, обломанные ветки тальника или ольхи, тормозясь. Это было радостно — день кончался.

Дрова, штабеля стланика, укрытые снегом, приходилось искать все дальше с каждым днем, но мы не ворчали — поездка за дровами была чем-то вроде удара в рельс или звуком сирены — сигналом на еду, на сон.

Мы сгрузили дрова и радостно начали строиться.

— Кру...гом!

Никто не повернулся. В глазах у всех я увидел смертную тоску, неуверенность людей, которые не верят в удачу — их всегда обчитывают, обманывают, обмеряют. И хоть дрова — это не камень, сани — не тачки...

— Кру...гом!

Никто не повернулся. Арестант чрезвычайно чувствителен к нарушениям обещания, хотя, казалось бы, о какой справедливости могла бы идти речь.

Из двери барака охраны на крыльцо выбрались два человека — начальник лагеря, лейтенант постарше, и начальник отряда охраны — лейтенант помоложе. Нет хуже, когда два начальника примерно равного чина творят рядом, на глазах друг у друга. Все человеческое в них замирает, и каждый хочет проявить «бдительность», не «выказать слабости», выполнить приказ государства.

— Впрягайтесь в сани.

Никто не повернулся.

— Да это организованное выступление!

— Диверсия!

— Не пойдете по-хорошему?

— Не надо нам вашего хорошего.

— Кто это сказал? Выйди!

Никто не вышел.

По команде из барака охраны выбежали еще несколько конвоиров и окружили нас, увязая в снегу, щелкая затворами винтовок, задыхаясь от злобы на людей, лишивших конвоиров отдыха, смены, расписания службы.

— Ложись!  
Легли в снег.  
— Вставай!  
Встали.  
— Ложись!  
Легли.  
— Вставай!  
Встали.  
— Ложись!  
Легли.

Этот несложный ритм я уловил легко. И хорошо помню: было не холодно и не жарко. Будто все это делали не со мной.

Несколько выстрелов-щелчков, предупредительных выстрелов.

— Вставай!

Встали.

— Кто пойдет — отходи налево.

Никто не двинулся.

Начальник подошел близко, вплотную к тоске в этих безумных глазах. Подошел и постучал в грудь ближайшего:

— Ты — пойдешь?

— Пойду.

— Отходи налево.

— Ты — пойдешь?

— Пойду!

— Запрягайся! Конвой, принимай, считай людей.

Заскрипели деревянные полозья саней.

— Поехали!

— Вот как это делается, — сказал тот лейтенант, что постарше.

Но уехали не все. Осталось двое: Сережа Усольцев и я. Сережа Усольцев был блатарь. Все молодые уркачи вместе с пятьдесят восьмой давно катили свои сани по дороге. Но Сережа не мог допустить, чтобы какой-то паршивый фраер выдержал, а он, потомственный уркач, — отступил.

— Сейчас нас отпустят в барак... Немного постоим, — хмуро улыбнулся Усольцев, — и в барак. Греться.

Но в барак нас не отпустили.

— Собаку! — распорядился лейтенант постарше.

— Возьми-ка, — сказал Усольцев, не поворачивая головы, и пальцы блатаря положили мне на ладонь что-то очень тонкое, невесомое. — Понял?

— Понял.

Я держал в пальцах обломок лезвия безопасной бритвы и незаметно от конвоиров показывал бритву собаке. Собака видела, понимала. Собака рычала, визжала, билась, но не пыталась рвать ни меня, ни Сережу. В руках Усольцева был другой обломок бритвы.

— Молода еще! — сказал всеведущий и многоопытный начальник лагеря, лейтенант, что постарше.

— Молода! Был бы здесь Валет — показал бы, как это делается. Голенькими стояли бы!

— В барак!

Отперли дверь, отвели тяжелую железную щеколду-запор в сторону. Сейчас будет тепло, тепло.

Но лейтенант постарше сказал что-то дежурному надзирателю, и тот выкинул тлеющие головни из железной печки в снег. Головни зашипели, покрылись синим дымом, и дежурный забросал головни снегом, подгребая ногами снег.

— Заходи в барак.

Мы сели на каркасе нар. Ничего, кроме холода, внезапного холода, мы не почувствовали. Мы вложили руки в рукава, согнулись...

— Не бойся, — сказал Усольцев. — Сейчас вернутся ребята с дровами. А пока попляшем. — И мы стали плясать.

Гул голосов — радостный гул приближающихся голосов был оборван чьей-то резкой командой. Открылась наша дверь, открылась не на свет, а в ту же барачную темень.

— Выходи!

Фонари «летучая мышь» мелькали в руках конвоиров.

— Становись в строй.

Мы не сразу увидели, что строй вернувшихся с работы — тут же рядом. Что все стоят в строю и ждут. Кого они ждут?

В белой темной мгле выли собаки, двигались факелы, освещая путь быстро приближавшихся людей. По движению света можно было понять, что идут не заключенные.

Впереди шел быстрым шагом, опережая своих телохранителей, брюхатый, но легкий на ходу полковник, которого я сразу узнал, — не раз осматривал эти золотые заботы, где работала наша бригада. Это был полковник Гаранин. Тяжело дыша, расстегивая ворот кителя, Гаранин остановился перед строем и, погружая мягкий холеный палец в грязную грудь ближайшего заключенного, сказал:

— За что сидишь?



— У меня статья...

— На кой черт мне твоя статья. В РУРе за что сидишь?

— Не знаю.

— Не знаешь? Эй, начальник!

— Вот книга приказов, товарищ полковник.

— На чёрта мне твоя книга. Эх, гады.

Гаранин двинулся дальше, каждому заглядывая в лицо.

— А ты, старик, за что попал в РУР?

— Я — следственный. Мы лошадь павшую съели. Мы сторожа.

Гаранин плюнул.

— Слушать команду! Всех — по баракам! По своим бригадам! И завтра — в забой!

Строй рассыпался, все побежали по дороге, по тропке, по снегу к баракам, в бригады. Поплелись и мы с Усольцевым.

1965

## БОГДАНОВ

Богданов был щеголь. Всегда гладко выбритый, вымытый, пахнущий духами — бог знает что уж это были за духи, — в пыжиковой пышной ушанке, завязанной каким-то сложным бантом из муаровых черных широких лент, в якутской расшитой, расписной куртке, в узорчатых пижах. Отполированы были ногти, подворотничок был крахмальным, белейшим. Весь тридцать восьмой расстрельный год Богданов работал уполномоченным НКВД в одном из колымских управлений. Друзья спрятали Богданова на Черное озеро, в угольную разведку, когда наркомвнудельские престолы зашатались и полетели головы начальников, сменяя друг друга. Новый начальник с отполированными ногтями явился в глухой тайге, где и грязи с сотворения мира не было, явился с семьей, с женой и тремя ребятишками мал мала меньше. И ребятишкам и жене было запрещено выходить из дома, где жил Богданов, — так что я видел семью Богданова только два раза — в день приезда и в день отъезда.

Продукты кладовщик приносил в дом начальника ежедневно, а двухсотлитровую бочку спирта работяги перекачали по доскам, по деревянной дорожке, наслан-

ной в тайге для такого случая, — в квартиру начальника. Ибо спирт — это главное, что нужно было хранить, как учили Богданова на Колыме. Собака? Нет, у Богданова не было собаки. Ни собаки, ни кошки.

В разведке был жилой барак, палатки работяг. Жили все вместе — вольнонаемные и рабочие-зэка. Разницы между ними ни в топчанах, ни в вещах домашнего обихода никакой не было, ибо вольняшки, вчерашние заключенные, еще не приобрели чемоданов, тех самых арестантских самодельных чемоданов, известных каждому зэка.

В распорядке дня, в «режиме» тоже разницы не было, ибо предыдущий начальник, открывавший много-много приисков, находившийся на Колыме чуть не с сотворения мира, почему-то терпеть не мог всевозможных «слушаюсь» и «доношу». При Парамонове, так звали первого начальника, у нас не было поверок — и без того вставали с восходом и ложились с заходом солнца. Впрочем, заполярное солнце не уходило с неба весной, в начале лета, — какие уж тут поверки. Таежная ночь короткая. И «приветствовать» начальника мы были не обучены. А кто и был обучен, тот с удовольствием и быстро забыл эту унижительную науку. Поэтому, когда Богданов вошел в барак, никто не крикнул «внимание!», а один из новых работяг, Рыбин, продолжал чинить свой рваный брезентовый плащ.

Богданов был возмущен. Кричал, что он наведет порядок среди фашистов. Что политика Советской власти двойная — исправительная и карательная. Так вот он, Богданов, обещает испробовать на нас вторую в полной мере, что никакая бесконвойность нам не поможет. Жителей в бараке, тех заключенных, к которым обращался Богданов, было пять или шесть человек — пять, вернее, потому что на пятом месте сидели в очередь два ночных сторожа.

Уходя, Богданов ухватился за деревянную дверь палатки — ему хотелось хлопнуть дверью, но покорный брезент только бесшумно заколыхался. На следующее утро нам, пятерым заключенным плюс отсутствующий сторож, был прочитан приказ — первый приказ нового начальника.

Секретарь начальника громким и размеренным голосом прочел нам первое литературное произведение нового начальника — «Приказ № 1». У Парамонова, как выяснилось, не было даже книги приказов, и новая общая те-

традь школьницы-дочери Богданова была превращена в книгу приказов угольного района.

«Мною замечено, что заключенные района распустились, забыли о лагерной дисциплине, что выражается в невставании на поверку, в неприветствовании начальника.

Считая это нарушением основных законов Советской власти, категорически предлагаю...»

Дальше шел «распорядок дня», сохранившийся в памяти Богданова с его прошлой работы.

Тем же приказом был учрежден староста, назначен дневальный по совместительству с основной работой. Палатки перегорожены брезентовой занавеской, отделявшей чистых от нечистых. Нечистые отнеслись к этому равнодушно, но чистые — вчерашние нечистые — не простили этого поступка Богданову никогда. Приказом была посеяна вражда между вольными рабочими и начальником.

В производстве Богданов ничего не понимал, переложил все на плечи прораба, и все административное рвение сорокалетнего скучающего начальника обратилось против шести заключенных. Ежедневно замечались какие-нибудь проступки, нарушения лагерного режима, граничащие с преступлениями. В тайге был на скорую руку срублен карцер, кузнецу Моисею Моисеевичу Кузнецову был заказан железный запор для этого карцера, жена начальника пожертвовала собственный висячий замок. Замок очень пригодился. Каждый день в карцер кого-нибудь из заключенных сажали. Поползли слухи, что скоро будет вызван сюда конвой, отряд охраны.

Водку полярно-пайковую нам выдавать перестали. На сахар и махорку установили нормы.

Ежевечерне кого-нибудь из эзка вызывали в контору — и начиналась беседа с начальником района. Вызвали и меня. Листая пухлое мое личное дело, Богданов читал выдержки из многочисленных меморандумов, неумеренно восхищаясь их слогом и стилем. А иногда казалось, что Богданов боится разучиться читать — ни одной книжки, кроме немногих помятых книжек для детей, в квартире начальника не было.

Вдруг я с удивлением увидел, что Богданов попросту сильно пьян. Запах дешевых духов мешался с запахом спиртного перегара. Глаза были мутные, тусклые, но речь была ясной. Впрочем, все, что он говорил, было так обыкновенно.

На другой день я спросил у вольняшки Карташова, секретаря начальника, может ли быть такое...

— Да ты что — сейчас только заметил? Он все время пьяный. С каждого утра. Помногу не пьет, а как почувствует, что хмель проходит, — снова полстакана. Пройдет хмель — и снова полстакана. Жену бьет, подлец, — сказал Карташов. — Она потому и не показывается. Стыдно сиянки-то показывать.

Богданов бил не только свою жену. Ударил Шаталина, ударил Климовича. До меня еще очередь не дошла. Но как-то вечером я был снова приглашен в контору.

— Зачем? — спросил я Карташова.

— Не знаю. — Карташов был и за курьера, и за секретаря, и за заведующего карцером.

Я постучал и вошел в контору.

Богданов, причесываясь и охорашиваясь перед большим темным зеркалом, вытащенным в контору, сидел у стола.

— А, фашист, — сказал он, поворачиваясь ко мне. Я не успел выговорить положенного обращения.

— Ты будешь работать или нет? Такой лоб. — «Лоб» — это блатное выражение. Обычная формула и беседа...

— Я работаю, гражданин начальник. — А это — обычный ответ.

— Вот тебе письма пришли, — видишь? — Я два года не переписывался с женой, не мог связаться, не знал о ее судьбе, о судьбе моей полуторогодовалой дочери. И вдруг ее почерк, ее рука, ее письма. Не письмо, а письма. Я протянул дрожащие свои руки за письмами.

Богданов, не выпуская писем из своих рук, поднес конверты к моим сухим глазам.

— Вот твои письма, фашистская сволочь! — Богданов разорвал в клочки и бросил в горящую печь письма от моей жены, письма, которые я ждал более двух лет, ждал в крови, в расстрелах, в побоях золотых приисков Колымы.

Я повернулся, вышел без обычной формулы «разрешите идти», и пьяный хохот Богданова и сейчас, через много лет, еще слышится в моих ушах.

План не выполнялся. Богданов не был инженером. Вольнонаемные рабочие ненавидели его. Каплей, переполнившей чашу, была спиртная капля, ибо главный конфликт между начальником и работягами был в том, что бочка спирта перекечивала на квартиру начальника и быстро убывала. Все можно было простить Богданову — и издевательство над заключенными, и производственную

его беспомощность, и барство. Но дело дошло до дележа спирта, и население повелка вступило с начальником и в открытый, и в подземный бой.

Зимней лунной ночью в район явился человек в штатском — в скромной ушанке, в стареньком зимнем пальто с черным барашковым воротником. От дороги, от шоссе, от трассы район был в двадцати километрах, и человек прошагал этот путь по зимней реке. Раздевшись в конторе, приезжий попросил разбудить Богданова. От Богданова пришел ответ, что завтра, завтра. Но приезжий был настойчив, попросил Богданова встать, одеться и выйти в контору, объяснив, что пришел новый начальник угольного района, которому Богданов должен сдать дела в двадцать четыре часа. Просит прочесть приказ. Богданов оделся, вышел, пригласил приезжего в квартиру. Гость отказался, заявив, что приемку района он начнет сейчас.

Новость распространилась мгновенно. Контора стала наполняться неодетыми людьми.

— Где у вас спирт?

— У меня.

— Пусть принесут.

Секретарь Карташов вместе с дневальным вынесли бидон.

— А бочка?

Богданов залепетал что-то невнятное.

— Хорошо. Поставьте пломбы на бидон.— Приезжий запечатал бидон.— Дайте мне бумаги для акта.

Вечером следующего дня Богданов, свежесбривший, надушенный, весело помахивая расписными меховыми рукавичками, уехал в «центр». Он был совершенно трезв.

— Это не тот Богданов, который был в речном управлении?

— Нет, наверное. Они на этой службе меняют свои фамилии, не забудьте.

1965

## ИНЖЕНЕР КИСЕЛЕВ

Я не понял души инженера Киселева. Молодой, тридцатилетний инженер, энергичный работник, только что кончивший институт и приехавший на Дальний Север отработать обязательную трехлетнюю практику. Один из

немногих начальников, читавший Пушкина, Лермонтова, Некрасова — так его библиотечная карточка рассказывала. И самое главное — беспартийный, стало быть, приехавший на Дальний Север не затем, чтобы что-то проверить, в соответствии с приказами свыше. Никогда не встречавший ранее арестантов на своем жизненном пути, Киселев перещеголял всех палачей в своем палатстве.

Самолично избивая заключенных, Киселев подавал пример своим десятникам, бригадирам, конвою. После работы Киселев не мог успокоиться — ходил из барака в барак, выискивая человека, которого он мог бы безнаказанно оскорбить, ударить, избить. Таких было двести человек в распоряжении Киселева. Темная садистическая жажда убийства жила в душе Киселева и в самовластии и бесправии Дальнего Севера нашла выход, развитие, рост. Да не просто сбить с ног — таких любителей из начальников малых и больших на Колыме было много, у которых руки чесались, которые, желая душу отвести, через минуту забывали о выбитом зубе, окровавленном лице арестанта — который этот забытый начальством удар запоминал на всю жизнь. Не просто ударить, а сбить с ног и топтать, топтать полутруп своими коваными сапогами. Немало заключенных видели у своего лица железки на подошвах и каблуках киселевских сапог.

Сегодня кто лежит под сапогами Киселева, кто сидит на снегу? Зельфугаров. Это мой сосед сверху по вагонному купе поезда, идущего прямым ходом в ад, — восемнадцатилетний мальчик слабого сложения с изношенными мускулами, преждевременно изношенными. Лицо Зельфугарова залито кровью, и только по черным кустистым бровям узнаю я своего соседа: Зельфугаров — турок, фальшивомонетчик. Фальшивомонетчик по 59 — 12 — живой — да этому не поверит ни один прокурор, ни один следователь, ведь за фальшивую монету у государства ответ один — смерть. Но Зельфугаров был мальчиком шестнадцати лет, когда слушалось это дело.

— Мы делали деньги хорошие — ничем не отличить от настоящих, — взволнованный воспоминаниями, шептал Зельфугаров в бараке — в утепленной палатке, где внутри брезента ставится фанерный каркас — изобретения и такие бывают. Расстреляны отец и мать, два дяди Зельфугарова, а мальчик остался жив — впрочем, он скоро умрет, поручкой тому сапоги и кулаки инженера Киселева.

Я наклоняюсь над Зельфугаровым, и тот выплевывает прямо на снег перебитые свои зубы. Лицо его опухает на глазах.

— Идите, идите, Киселев увидит, рассердится,— толкает меня в спину инженер Вронский, тульский горняк, тверяк по рождению—последняя модель шахтинских процессов. Доносчик и подлец.

По узким ступенькам, вырубленным в горе, мы взбираемся на место работы. Это—«зарезки» шахты. Штольня, которую бьют по уклону, и немало уже вытащено веревкой камня—рельсы уходят куда-то далеко вглубь,— где бурят, откалывают, выдают на-гора породу.

И Вронский, и я, и Савченко, харбинский почттарь, и паровозный машинист Крюков—все мы слишком слабы, чтобы быть забойщиками, чтобы нам была оказана честь допустить к кайлу и лопате и к «усиленному» пайку, который отличается от пайка нашего, производственного, какой-то лишней кашей, кажется. Я знаю хорошо, что такое шкала лагерного питания, какое грозное содержание скрывают эти пищевые рационы поощрения, и не жалуюсь. Остальные—новички—горячо обсуждают главный вопрос: какую категорию питания дадут им в следующую декаду—пайки и карточки меняются подекадно. Какую? Для усиленного пайка мы слишком слабы, мускулы наших рук и ног давно превратились в бечевки—в веревочки. Но у нас еще есть мышцы на спине, на груди, у нас есть еще кожа и кости, и мы натираем мозоли на груди, выполняя желание инженера Киселева. У всех четверых мозоли на груди и белые заплатки на наших грязных, рваных телогрейках, посаженные на грудь, как будто у всех одна и та же арестантская форма.

В штольне проложены рельсы, по рельсам на веревке, на пеньковом канате, мы спускаем вагонетку—внизу ее нагрузят, а мы вытащим вверх. Руками мы, конечно, этой вагонетки не вытащим, если бы даже все четверо тянули враз, вместе, как рвут лошади гужевых троек в Москве. В лагере каждый тянет вполсилы или в полторы силы. Дружно в лагере тянуть не умеют. Но у нас есть механизм, это тот самый механизм, который был еще в Древнем Египте и позволил построить пирамиды. Пирамиды, а не какую-нибудь шахту, шахтенку. Это—конный ворот. Только вместо лошадей здесь впрягают людей—нас, и каждый из нас упирается грудью в свое бревно, жмет, и вагонетка медленно выполняет наружу. Тут, оставив ворот, мы катим вагонетку к отвалу, разгружаем ее,

тащим назад, ставим на рельсы, толкаем в черное горло штольни.

Кровавые мозоли на груди у каждого, заплаты на груди у каждого — это след бревна от конного ворота, от египетского ворота.

Здесь нас ждет, подбоченившись, инженер Киселев. Следит, чтобы мы заняли свои места в этой упряжке. Докурив свою папиросу и тщательно растоптав, растерев окурки на камнях своими сапогами, Киселев уходит. И хоть мы знаем, что Киселев нарочно измельчил, растоптал свой окурки, чтобы нам не досталось и единой табачинки, ибо прораб видел воспаленные жадные глаза, арестантские ноздри, вдыхающие издали дым этой киселевской папиросы, — все же мы не можем справиться с собой и все четверо бежим к растерзанной, уничтоженной папиросе и пытаемся собрать хоть табачинку, хоть крупиночку, но, конечно, собрать хоть крошку, хоть пылинку не удастся. И у всех у нас на глазах слезы, и мы возвращаемся в свои рабочие позиции — к потертым бревнам конного ворота, к рогатке-вертушке.

Это Киселев, Павел Дмитриевич Киселев воскресил на Аркагале ледяной карцер времен 1938 года, вырубленный в скале, в вечной мерзлоте, ледяной карцер. Летом людей раздевали до белья — по летней гулаговской инструкции — и сажали их в этот карцер босыми, без шапок, без рукавиц. Зимой сажали в одежде — по зимней инструкции. Много заключенных, побывавших в этом карцере только одну ночь, навсегда простились со здоровьем.

Говорили о Киселеве много в бараках, в палатках. Методические, ежедневные смертные избиения казались многим, не прошедшим школы 1938 года, слишком ужасными, непереносимыми.

Всех поражало, или удивляло, или задевало, что личное участие начальника участка в этих ежедневных экзекуциях. Арестанты легко прощали удары, тычки конвоирам, надзирателям, прощали своим собственным бригадирам, но стыдились за начальника участка, этого беспартийного инженера. Киселевская активность вызывала возмущение даже у тех, чьи чувства были притуплены многими годами заключения, кто видал всякое, кто научился великому равнодушию, которое воспитывает в людях лагерь.

Ужасно видеть лагерь, и ни одному человеку в мире не надо знать лагерей. Лагерный опыт — целиком отрицательный, до единой минуты. Человек становится только ху-



же. И не может быть иначе. В лагере есть много такого, чего не должен видеть человек. Но видеть дно жизни — еще не самое страшное. Самое страшное — это когда это самое дно человек начинает — навсегда — чувствовать в своей собственной жизни, когда его моральные мерки заимствуются из лагерного опыта, когда мораль блатарей применяется в вольной жизни. Когда ум человека не только служит для оправдания этих лагерных чувств, но служит самим этим чувствам. Я знаю много интеллигентов — да и не только интеллигентов, — которые именно блатные границы сделали тайными границами своего поведения на воле. В сражении этих людей с лагерем одержал победу лагерь. Это и усвоение морали «лучше украсть, чем попросить», это фальшивое блатное различие пайки личной и государственной. Это слишком свободное отношение ко всему казенному. Примеров разложения много. Моральная граница, рубеж очень важны для заключенного. Это — главный вопрос его жизни. Остался он человеком или нет.

Различие очень тонкое, и стыдиться нужно не воспоминаний о том, как был «доходягой», «фитилем», бегал как «курва с котелком» и рылся на помойных ямах, а стыдиться усвоенной блатной морали — хотя бы это давало возможность выжить как блатные, притвориться «бытовичком» и вести себя так, чтобы ради бога не узнали ни начальник, ни товарищи, пятьдесят восьмая ли у тебя статья, или сто шестьдесят вторая, или какая-нибудь служебная — растраты, халатность. Словом, интеллигент хочет быть лагерной Зоей Космодемьянской, быть с блатарями — блатарем, с уголовниками — уголовником. Ворует и пьет и даже радуется, когда получает срок по «бытовой» — проклятое клеймо «политического» снято с него наконец. А политического-то в нем не было никогда. В лагере не было политических. Это были воображаемые, выдуманные враги, с которыми государство рассчитывалось, как с врагами подлинными, — расстреливало, убивало, морило голодом. Сталинская коса смерти косила всех без различия, равняясь на разверстку, на списки, на выполнение плана. Среди погибших в лагере был такой же процент негодяев и трусов, сколько и на воле. Все были люди случайных, случайно превратившиеся в жертву из равнодушных, из трусов, из обывателей, даже из палачей.

Лагерь был великой пробой нравственных сил человека, обыкновенной человеческой морали, и девяносто девять процентов людей этой пробы не выдержали. Те, кто

выдерживал,— умирали вместе с теми, кто не выдерживал, стараясь быть лучше всех, тверже всех — только для самих себя...

Была глубокая осень, густая метель. Опоздавшая в перелете молодая утка не могла бороться со снегом, слабела. На площадке зажгли «юпитер», и обманутая его холодным светом утка кинулась, хлопая отяжелевшими, намокшими крыльями, к «юпитеру», как к солнцу, как к теплу. Но холодный огонь прожектора не был солнечным огнем, дающим жизнь, и утка перестала бороться со снегом. Утка опустилась на площадку перед штольней, где мы — скелеты в оборванных телогрейках — налегали грудью на палку ворота под улюлюканье конвоя. Савченко поймал утку руками. Он отогрел ее за пазухой, за своей костистой пазухой, высушил ее перья своим голодным и холодным телом.

— Съедем? — сказал я. Хотя множественное число тут было вовсе ни к чему — это была охота, добыча Савченко, а не моя.

— Нет. Лучше я отдам...

— Кому? Конвою?

— Киселеву.

Савченко отнес утку в дом, где жил начальник участка. Жена начальника участка вынесла Савченко два обломка хлеба, граммов триста, и налила полный котелок пустых щей из квашеной капусты. Киселев знал, как рассчитывать с арестантами, и научил этому свою жену. Разочарованные, проглотили мы этот хлеб — Савченко кусочек побольше, я — кусочек поменьше. Вылакали суп.

— Лучше было самим съесть утку, — грустно сказал Савченко.

— Не надо было носить Киселеву, — подтвердил я.

Случайно оставшись в живых после истребительного тридцать восьмого года, я не собирался вторично обрекать себя на знакомые мучения. Обрекать себя на ежечасные унижения, на побои, на издевательства, на пререкания с конвоем, с поваром, с банщиком, с бригадиром, с любым начальником — бесконечная борьба за кусок чего-то, что можно съесть — и не умереть голодной смертью, дожить до завтрашнего точно такого же дня.

Последние остатки расшатанной, измученной, истерзанной воли надо было собрать, чтобы покончить с издевательствами ценой хотя бы жизни. Жизнь — не такая уж большая ставка в лагерной игре. Я знал, что и все думают

так же, только не говорят. Я нашел способ избавиться от Киселева.

Полтора миллиона тонн полукоксуемого угля, не уступающего по калорийности донбассовскому,— таков угольный запас Аркагалы, угольного района Колымского края — где лиственные, исковерканные холодом над головой и вечной мерзлотой под корнями дерева достигают зрелости в триста лет. Значение угольных запасов при таком лесе понятно всякому начальнику на Колыме. Поэтому на Аркагалинской шахте часто бывало самое высокое колымское начальство.

— Как только какое-нибудь большое начальство приедет на Аркагалу — дать Киселеву по морде. Публично. Будет ведь обходить бараки, шахту обязательно. Выйти из рядов — и пощечина.

— А если застрелят, когда выйдешь из рядов?

— Не застрелят. Не будут ждать. По части получения пощечин опыт у колымского начальства невелик. Ведь ты пойдешь не к приезшему начальнику, а к своему прорабу.

— Срок дадут.

— Дадут года два. За такую суку больше не дадут. А два года надо взять.

Никто из старых колымчан не рассчитывал вернуться с Севера живым — срок не имел для нас значения. Лишь бы не расстреляли, не убили. Да и то...

— А что Киселева после пощечины уберут от нас, переведут, снимут — это ясно. В среде высших начальников ведь пощечину считают позором. Мы, арестанты, этого не считаем, да и Киселев, наверное, тоже. Такая пощечина прозвучит на всю Колыму.

Так помечтав о самом главном в нашей жизни у печки, у холодеющего очага, я влез на верхние нары, на свое место, где было потеплее, и заснул.

Я спал без всяких сновидений. Утром нас привели на работу. Дверь конторки раскрылась, и начальник участка шагнул через порог. Киселев не был трусом.

— Эй, ты,— закричал он,— выходи.

Я вышел.

— Значит, прогремит на всю Колыму? А? Ну, держись...

Киселев не ударил меня, даже не замахнулся для приличия, для соблюдения собственного начальнического достоинства. Он повернулся и ушел. Мне нужно было держаться очень осторожно. Ко мне Киселев больше не подходил и замечаний не делал — просто исключил меня из

своей жизни, но я понимал, что он ничего не забудет, и иногда чувствовал на моей спине ненавидящий взгляд человека, который еще не придумал способа мести.

Я много размышлял о великом лагерном чуде — чуде стукачества, чуде доноса. Когда Киселеву донесли? Значит, стукач не спал ночь, чтобы добежать до вахты или до квартиры начальника. Измученный работой днем, правдивый стукач крал у себя отдых ночной, мучился, страдал и «доказывал». Кто же? Нас было четверо при этом разговоре. Сам я — не доносил, это я твердо знал. Есть такие положения в жизни, когда человек и сам не знает, донес он или нет на товарищей. Например, бесконечные покаятные заявления всяких партийных уклонистов. Доносы это или не доносы? Я уж не говорю о беспамятстве показаний с применением горящей паяльной лампы. И так бывало. По Москве до сих пор ходит один бурят-профессор, у которого рубцы на лице от паяльной лампы тридцать седьмого года. Кто еще? Савченко? Савченко спал рядом со мной. Инженер Вронский. Да, инженер Вронский. Он. Нужно было спешить, и я написал записку.

Вечером следующего дня с Аркагалы за одиннадцать километров приехал на попутной машине врач, заключенный Кунин. Я знал его немножко — по пересылке прошлых лет. После осмотра больных и здоровых Кунин подмигнул мне и направился к Киселеву.

— Ну, как осмотр? В порядке?

— Да, почти, почти. У меня к вам просьба, Павел Дмитриевич.

— Рад служить.

— Отпустите-ка Андреева на Аркагалу. Направление я дам.

Киселев вспыхнул:

— Андреева? Нет, кого хотите, Сергей Михайлович, только не Андреева. — И засмеялся. — Это, как бы вам сказать политературнее — мой личный враг.

Есть две школы начальников в лагере. Одни считают, что всех заключенных, да и не только заключенных, всех, кто досадил лично начальнику, надо скорее отправлять в другое место, переводить, выгонять с работы.

Другая школа считает, что всех оскорбителей, всех личных врагов надо держать поближе к себе, на глазах, лично проверяя действенность тех карательных мер, которые выдуманы начальником для удовлетворения собственного самолюбия, собственной жестокости. Киселев исповедовал принципы второй школы.

— Не смею настаивать,— сказал Кунин.— Я, по правде говоря, вовсе не для этого приехал. Вот тут акты, их довольно много,— Кунин расстегнул помятый брезентовый портфель.— Акты о побоях. Я еще не подписывал их. Я, знаете, держусь простого, что называется, «народного» взгляда на эти вещи. Мертвых не воскресишь, сломанных костей не склеишь. Да мертвых в этих актах и нет. Я так говорю о мертвых, для красного словца. Я не хочу вам плохого, Павел Дмитриевич, и мог бы смягчить кое-какие врачебные заключения. Не уничтожить, а именно смягчить. Изложить то, что было,—помягче. Но, видя ваше нервное состояние, я, конечно, не хочу вас тревожить личной просьбой.

— Нет, нет, Сергей Михайлович,— сказал Киселев, придерживая за плечи вставшего с табурета Кунина.— Зачем же? А нельзя ли совсем порвать эти дурацкие акты? Ведь, честное слово, сгоряча. А потом, это такие негодяи. Любого доведут.

— Насчет того, что любого доведут эти негодяи,— у меня особое мнение, Павел Дмитриевич. А акты... Порвать их, конечно, нельзя, а смягчить можно.

— Так сделайте это!

— Я бы сделал охотно,— холодно сказал Кунин, глядя прямо в глаза Киселеву.— Но ведь я просил перевести одного зэкашку на Аркагалу— вот этого доходягу Андреева,— а вы и слушать не хотите. Засмеялись, и все...

Киселев помолчал.

— Сволочи вы все,— сказал он.— Пишите направление в больницу.

— Это сделает фельдшер вашего участка по вашему указанию,— сказал Кунин.

Этим же вечером с диагнозом «острый аппендицит» я был увезен на Аркагалу, в главную лагерную зону, и больше не видел Киселева. Но не прошло и полугода, как я услышал о нем.

В темных штреках шуршали газетой, смеялись. В газете было напечатано извещение о внезапной смерти Киселева. В сотый раз рассказывали подробности, захлебываясь от радости. Ночью в квартиру инженера через окно влез вор. Киселев был не трус, на кровати у него всегда висела заряженная охотничья двустволка. Услышав шорох, Киселев спрыгнул с кровати и, взведя курки, бросился в соседнюю комнату. Вор, услышав шаги хозяина, кинулся в окно и замешкался немного, вылезая из узкого окна.

Киселев ударил вора прикладом сзади, как в оборонительном рукопашном бою, — по всем правилам, как учили всех вольных во время войны — учили каким-то дедовским способам рукопашного боя. Двустволка выстрелила. Весь заряд влетел Киселеву в живот. Через два часа Киселев умер — хирурга ближе чем за сорок километров не было, а Сергею Михайловичу, как заключенному, не разрешили этой срочной операции.

День, когда на шахту пришло известие о смерти Киселева, был праздничным днем для заключенных. Даже, кажется, план был в этот день выполнен.

1965

## ЛЮБОВЬ КАПИТАНА ТОЛЛИ

Самая легкая работа в забойной бригаде на золоте — это работа траповщика, плотника, который наращивает трап, сшивает гвоздями доски, по которым катают тачки с «песками» к бутаре, к промывочному прибору. Деревянные «усики» доводятся до каждого забоя от центрального трапа. Все это сверху, с бутары, похоже на гигантскую сороконожку, расплюснутую, высохшую и пригвожденную навек к дну золотого разреза.

Работа траповщика — «кант» — легкая работа по сравнению с забойщиком или тачечником. В руках траповщика не бывает ни рукояток тачки, ни лопаты, ни лома, ни кайла. Топор и горсть гвоздей — вот его инструмент. Обычно на этой, необходимой, обязательной, важной работе траповщика бригадир чередует работяг, давая им хоть маленький отдых. Конечно, пальцы, намертво, навсегда обнявшие черенок лопаты или кайловище, — не разогнутся в один день легкой работы — на это нужно год или больше безделья. Но какая-то капля справедливости в этом чередовании легкого и тяжелого труда есть. Тут нет очередности, кто послабее — тот имеет лучший шанс проработать хоть день траповщиком. Для того, чтобы прибивать гвозди и подтесывать доски, ни столяром, ни плотником быть не надо. Люди с высшим образованием прекрасно с этой работой справлялись.

В нашей бригаде этот «кант» не чередовался. Место траповщика занимал в бригаде всегда всегда один и тот же человек — Исай Рабинович, бывший управляющий Госстрахом Союза. Рабиновичу было шестьдесят восемь лет, но

старик он был крепкий и надеялся выдержать десятилетний свой лагерный срок. В лагере убивает работа, поэтому всякий, кто хвалит лагерный труд,— подлец или дурак. Двадцатилетние, тридцатилетние умирали один за другим — для того их и привезли в эту спецзону,— а траповщик Рабинович жил. Были у него какие-то знакомства с лагерным начальством, какие-то таинственные связи, ибо Рабинович то работал в хозчасти временно, то конторщиком,— Исай Рабинович понимал, что каждый день и каждый час, проведенный не в забое, обещает старику жизнь, спасение, тогда как забой — только гибель, смерть. В спецзону не надо бы завозить стариков пенсионного возраста. Анкетные данные Рабиновича привели его в спецзону, на смерть.

И тут Рабинович заупрямился, не захотел умирать.

И однажды нас заперли вместе, «изолировали» 1 мая, как делали каждый год.

— Я давно слежу за вами,— сказал Рабинович,— и мне было неожиданно приятно знать, что кто-то за мной следит, кто-то меня изучает — не из тех, кому это делать надлежит.— Я улыбнулся Рабиновичу кривой своей улыбкой, разрывающей раненые губы, раздирающей цинготные десны.— Вы, наверное, хороший человек. Вы никогда не говорите о женщинах грязно.

— Не следил, Исай Давыдович, за собой. А разве и здесь говорят о женщинах?

— Говорят, только вы не вмещиваетесь в этот разговор.

— Сказать вам правду, Исай Давыдович, я считаю женщин лучше мужчин. Я понимаю единство двуединого человека, муж и жена — одно и так далее. И все же материнство — труд. Женщины и работают лучше мужчин.

— Истинная правда,— сказал сосед Рабиновича — бухгалтер Безноженько.— На всех ударниках, на всех субботниках лучше не вставай рядом с бабой — замучает, загоняет. Ты — покурить, а она сердится.

— Да и это,— рассеянно сказал Рабинович.— Наверное, наверное.

— Вот Колыма. Очень много женщин приехали сюда за мужьями — ужасная судьба, уходавания начальства, всех этих хамов, которые позаразились сифилисом. Вы знаете все это не хуже меня. И ни один мужчина не приехал за сосланной и осужденной женой.

— Управляющим Госстрахом я был очень недолго,— говорил Рабинович.— Но достаточно, чтоб «схватить де-

сятку». Я много лет заведовал внешним активом Госстраха. Понимаете, в чем дело?

— Понимаю,— сказал я безрассудно, ибо я не понимал.

Рабинович улыбнулся очень прилично и очень вежливо.

— Кроме госстраховской работы за границей,— и вдруг, поглядев мне в глаза, Рабинович почувствовал, что мне ничего не интересно. По крайней мере, до обеда.

Разговор возобновился после ложки супа.

— Хотите, я расскажу вам о себе. Я много жил за границей, и сейчас в больницах, где я лежал, в бараках, где я жил, все просили меня рассказать об одном. Как, где и что я там ел. Гастрономические мотивы. Гастрономические кошмары, мечты, сны. Надо ли вам такой рассказ?

— Да, мне тоже,— сказал я.

— Хорошо. Я — страховой агент из Одессы. Работал в «России» — было такое страховое агентство. Был молодой, старался сделать для хозяина как можно честнее и лучше. Изучил языки. Меня послали за границу. Женился на дочери хозяина. Жил за границей до самой революции. Революция не очень испугала моего хозяина — он, как и Савва Морозов, делал ставку на большевиков.

Я был за границей в революцию с женой и дочерью. Тесть мой умер как-то случайно, не от революции. Знакомство у меня было большое, но для моих знакомств не нужна была Октябрьская революция. Вы поняли меня?

— Да.

— Советская власть только становилась на ноги. Ко мне приехали люди — Россия, РСФСР делала первые покупки за границей. Нужен кредит. А для получения кредита недостаточно обязательства Госбанка. Но достаточно моей записки и моей рекомендации. Так я связал Крейгера, спичечного короля, с РСФСР. Несколько таких операций — и мне позволили вернуться на родину, и я там занимался некоторыми деликатными делами. Вы про продажу Шпицбергена и расчет по этой продаже что-нибудь слышали?

— Немножко слышал.

— Так вот — я перегружал норвежское золото в Северном море на нашу шхуну. Вот, кроме внешних активов — ряд поручений в таком роде. Новым моим хозяином стала Советская власть. Я служил как и в страховом обществе — честно.



Смышленные спокойные глаза Рабиновича смотрели на меня.

— Я умру. Я уже старик. Я видел жизнь. Мне жаль жену. Жена в Москве. И дочь в Москве. Еще не попали в облаву для членов семьи... Увидеть их уж, видно, не придется. Они мне пишут часто. Посылки шлют. Вам шлют? Посылки шлют?

— Нет. Я написал, что не надо посылок. Если выживу, то без всякой посторонней помощи. Буду обязан только себе.

— В этом есть что-то рыцарское. Жена и дочь не поймут.

— Совсем не рыцарское, а мы с вами не то что по ту сторону добра и зла, а вне всего человеческого. После того, что я видел,— я не хочу быть обязанным в чем-то никому, даже собственной жене.

— Туманно. А я—пишу и прошу. Посылки—это должность в хозобслуге на месяц, костюм свой лучший я отдал за эту должность. Вы думаете, наверное, начальник пожалел старика...

— Я думал, у вас с лагерным начальством какие-нибудь особые отношения.

— Стукач я, что ли? Ну, кому нужен семидесятилетний стукач? Нет, я просто дал взятку, большую взятку. И живу. И ни с кем результатом этой взятки не поделился—даже с вами. Получаю, пишу и прошу.

После майского сидения мы вернулись в барак вместе, заняли места рядом—на нарах вагонной системы. Мы не то что подружились—подружиться в лагере нельзя,—а просто с уважением относились друг к другу. У меня был большой лагерный опыт, а у старика Рабиновича было молодое любопытство к жизни. Увидев, что мою злость подавить нельзя, он стал относиться ко мне с уважением, с уважением—не больше. А может быть, стариковская тоска по вагонной привычке рассказывать о себе первому встречному. Жизнь, которую хотелось оставить на земле.

Вши не пугали нас. Как раз во время знакомства с Исаем Рабиновичем у меня и украли мой шарф—бумажный, конечно, но все же вязаный настоящий шарф.

Мы вместе выходили на развод, на развод «без последнего», как ярко и страшно называют такие разводы в лагерях. Развод «без последнего». Надзиратели хватали людей, конвоир толкал прикладом, сбивая, сгоняя толпу оборванцев с ледяной горы, спуская их вниз, а кто не успел, опоздал—это и называлось «развод без последне-

го», — того хватали за руки и за ноги, раскачивали и швыряли вниз по ледяной горе. И я и Рабинович стремились скорее прыгнуть вниз, выстроиться и докатиться до площадки, где конвой уже ожидал и зуботычинами строил на работу, в ряды. В большинстве случаев нам удавалось скатиться вполне благополучно, удавалось живыми добраться до забоя — а там что бог даст.

Последнего, кто опоздал, кого сбросили с горы, привязывали к конским волокушам за ноги и волокли в забой на место работы. И Рабинович и я счастливо избегали этого смертного катанья.

Место для лагерной зоны было выбрано с таким расчетом: возвращаясь с работы приходилось в гору, карабкаясь по ступенькам, цепляясь за остатки оголенных, обломанных кустиков, ползти вверх. После рабочего дня в золотом забое, казалось бы, человек не найдет сил, чтобы ползти наверх. И все же — ползти. И — пусть через полчаса, час — приползали к воротам вахты, к зоне, к баракам, к жилищу. На фронтоне ворот была обычная надпись: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства». Шли в столовую, что-то пили из мисок, шли в барак, ложились спать. Утром все начиналось сначала.

Здесь голодали не все — а почему это так, я не узнал никогда. Когда стало теплей, к весне, начинались белые ночи, и в лагерной столовой начались страшные игры «на живца». На пустой стол клали пайку хлеба, потом прятались в угол и ждали, пока голодная жертва, доходяга какой-нибудь, подойдет, замороженный хлебом, и дотронется, схватит эту пайку. Тогда все бросались из угла, из темноты, из засады, и начинались смертные побои вора, живого скелета — новое развлечение, которого я нигде, кроме «Джелгалы», не встречал. Организатором этих развлечений был доктор Кривицкий, старый революционер, бывший заместитель наркома оборонной промышленности. Вкупе с журналистом из «Известий» Заславским, Кривицкий был главным организатором этих кровавых «живцов», этих страшных приманок.

У меня был шарф, бумажный, конечно, но вязаный, настоящий шарф. Фельдшер в больнице мне подарил, когда меня выписывали. Когда этап наш сгрузили на прииске «Джелгала», передо мной возникло серое безулыбчатое лицо с глубоко засеченными, северными морщинами, с пятнами старых обморожений.

— Сменяем!

— Нет.

— Продай!

— Нет.

Все местные — а их сбежалось к нашей машине десятка два — глядели на меня с удивлением, поражаясь моей опрометчивости, глупости, гордости.

— Это — староста, лагстароста, — подсказал мне кто-то, но я покачал головой.

На безулыбчатом лице двинулись вверх брови. Староста кивнул кому-то, показывая на меня.

Но на разбой, на грабеж в этой зоне не решались. Куда было проще другое — и я знал, какое это будет другое. Я завязал шарф узлом вокруг своей шеи и не снимал более никогда — ни в бане, ни ночью, никогда.

Шарф легко было бы сохранить, но мешали вши. Вшей было в шарфе столько, что шарф шевелился, когда я, чтобы отряхнуть от вшей, снимал шарф на минуту и укладывал на стол у лампы.

Недели две боролся я с теньями воров, уверяя себя, что это — тени, а не воры. За две недели единственно я, повесив шарф на нары прямо перед собой, повернулся, чтоб налить кружку воды, — и шарф сейчас же исчез, схваченный опытной воровской рукой. Я так устал бороться за этот шарф, такого напряжения сил требовала эта надвигающаяся кража, о которой я знал, которую я чувствовал, почти видел, — я обрадовался даже, что мне нечего хранить. И впервые после приезда на «Джелгалу» я заснул крепко и видел хороший сон. А может быть, потому, что тысячи вшей исчезли и тело сразу почувствовало облегчение.

Исай Рабинович с сочувствием следил за моей героической борьбой. Разумеется, он не помогал мне сохранить мой вшивый шарф — в лагере каждый за себя, — да я и не ждал помощи.

Но Исай Рабинович работал несколько дней в хозчасти — сунул мне обеденный талон, утешая меня в моей потере. И я поблагодарил Рабиновича.

После работы все сразу ложатся, подстилая под себя свою грязную рабочую одежду.

Исай Рабинович сказал:

— Я хочу посоветоваться с вами по одному вопросу. Не лагерному.

— О генерале де Голле?

— Нет, да вы не смейтесь. Я получил важное письмо. То есть это для меня оно важное.

Я прогнал набегающий сон напряжением всего тела, встряхнулся и стал слушать.

— Я уже говорил вам, что моя дочь и жена в Москве. Их не трогали. Дочь моя хочет выйти замуж. Я получил от нее письмо. И от ее жениха — вот, — и Рабинович вынул из-под подушки связку писем — пачку красивых листков, написанных четким и быстрым почерком. Я взгляделся — буквы были не русские, латинские.

— Москва разрешила переслать эти письма мне. Вы знаете английский?

— Я? Английский? Нет.

— Это по-английски. Это от жениха. Он просит разрешения на брак с моей дочерью. Он пишет: мои родители уже дали согласие, осталось только согласие родителей моей будущей жены. Я прошу вас, мой дорогой отец... А вот письмо дочери. Папа, мой муж, морской атташе Соединенных Штатов Америки, капитан первого ранга Толли, просит твоего разрешения на наш брак. Папа, отвечай скорее.

— Что за бред? — сказал я.

— Никакой это не бред, а письмо капитана Толли ко мне. И письмо моей дочери. И письмо жены.

Рабинович медленно нашарил вошь за пазухой, вытащил и раздавил на нарах.

— Ваша дочь просит разрешения на брак?

— Да.

— Жених вашей дочери, морской атташе Соединенных Штатов, капитан первого ранга Толли, просит разрешения на брак с вашей дочерью?

— Да.

— Так бегите к начальнику и подавайте заявление, чтобы разрешили отправить экстренное письмо.

— Но я не хочу давать разрешение на брак. Вот об этом я и хочу посоветоваться с вами.

Я был ошеломлен просто этими письмами, этими рассказами, этим поступком.

— Если я соглашусь на брак — я ее никогда больше не увижу. Она уедет с капитаном Толли.

— Слушайте, Исай Давыдович. Вам скоро семьдесят лет. Я считаю вас разумным человеком.

— Это просто чувство, я еще не раздумывал над этим. Ответ я пошлю завтра. Пора спать.

— Давайте лучше отпразднуем это событие завтра. Съедем кашу раньше супа. А суп — после каши. Еще мо-

жно пожарить хлеба. Подсушить сухари. Сварить хлеб в воде. А, Исай Давыдович?

Даже землетрясение не удержало бы меня от сна, от сна-забытья. Я закрыл глаза и забыл про капитана Толли.

На следующий день Рабинович написал письмо и бросил в почтовый ящик около вахты.

Скоро меня увезли на суд, судили и через год привезли снова в ту же самую спецзону. Шарфа у меня не было, да и старосты того не было. Я приехал — обыкновенный лагерный доходяга, человек-фитиль без особых примет. Но Исай Рабинович узнал меня и принес кусок хлеба. Исай Давыдович укрепился в хозчасти и научился не думать о завтрашнем дне. Выучил Рабиновича забой.

— Вы, кажется, были здесь, когда дочь моя выходила замуж?

— Был, как же.

— История эта имеет продолжение.

— Говорите.

— Капитан Толли женился на моей дочери — на этом, кажется, я остановился, — начал рассказывать Рабинович. Глаза его улыбались. — Прожил месяца три. Протанцевал три месяца, и капитан первого ранга Толли получил линкор в Тихом океане и выехал к месту своей новой службы. Дочери моей, жене капитана Толли, выезд не разрешили. Сталин смотрел на эти браки с иностранцами как на личное оскорбление, а в Наркоминделе шептали капитану Толли: поезжай один, погулял в Москве — и молодец, что тебя связывает? Женись еще раз. Словом, вот окончательный ответ — женщина эта останется дома. Капитан Толли уехал, и год от него не было писем. А через год мою дочь послали на работу в Стокгольм, в шведское посольство.

— Разведчицей, что ли? На секретную работу?

Рабинович неодобрительно посмотрел на меня, осуждая мою болтливость.

— Не знаю, не знаю, на какую работу. В посольство. Моя дочь проработала там неделю. Прилетел самолет из Америки, и она улетела к мужу. Теперь буду ждать писем не из Москвы.

— А здешнее начальство?

— Здешние боятся, по таким вопросам не смеют иметь свое суждение. Приезжал московский следователь, меня допросил по этому делу. И уехал.

Счастье Исаия Рабиновича на этом не кончилось. Превыше всяких чудес было чудо окончания срока в срок, день в день, без зачетов рабочих дней.

Организм бывшего страхового агента был настолько крепок, что Исай Рабинович проработал еще вольнонаемным на Колыме в должности фининспектора. На «материк» Рабиновича не пустили. Рабинович умер года за два до XX съезда партии.

1965

## КРЕСТ

Слепой священник шел через двор, нащупывая ногами узкую доску, вроде пароходного трапа, настланную по земле. Он шел медленно, почти не спотыкаясь, не оступаясь, задевая четырехугольными носками огромных стоптанных сыновних сапог за деревянную свою дорожку. В обеих руках священник нес ведра дымящегося поила для своих коз, запертых в низеньком темном сарае. Коз было три: Машка, Элла и Тоня, — клички были выбраны умело, с различными согласными звуками. Обычно на его зов откликалась только та коза, которую он звал; утром же, в час раздачи корма, козы блеяли беспорядочно, истошными голосами, просовывая по очереди мордочки в щель двери сарая. Полчаса назад слепой священник подоил их в большой подойник и отнес дымящееся молоко домой. В дойке он часто ошибался в вечной своей темноте — тонкая струйка молока падала мимо подойника, неслышно; козы тревожно оглядывались на свое собственное молоко, выдоенное прямо на землю. А быть может, и не оглядывались.

Ошибался он часто не только потому, что был слеп. Раздумья мешали не меньше, и, равномерно сжимая теплой рукой прохладное вымя козы, он часто забывал сам себя и свое дело, думая о своей семье.

Ослеп священник вскоре после смерти сына — красноармейца химической роты, убитого на Северном фронте. Глаукома, «желтая вода», резко обострилась, и священник потерял зрение. Были у священника и еще дети — еще два сына и две дочери, но этот, средний, был любимым и как бы единственным.

Козы, уход за ними, кормление, уборка, дойка — все это слепой делал сам — и эта отчаянная и ненужная рабо-

та была мерой утверждения себя в жизни — слепой привык быть кормильцем большой семьи, привык иметь дело и свое место в жизни, не зависеть ни от кого — ни от общества, ни от собственных детей. Он велел жене тщательно записывать расходы на коз и записывать приход, получаемый от продажи козьего молока летом. Молоко козье покупали в городе охотно — оно считалось особенно полезным при туберкулезе. Медицинская ценность этого мнения была невелика, не больше, чем известные рационы мяса черных щенят, рекомендованного кем-то для туберкулезных больных. Слепой и его жена пили молоко по стакану, по два в день, и стоимость этих стаканов священник тоже велел записывать. В первое же лето выяснилось, что корма стоят гораздо дороже, чем выработанное молоко, да и налоги на «мелких животных» были не так уж мелки, но жена священника скрыла правду от мужа и сказала ему, что козы приносят доход. И слепой священник благодарил бога, что нашел в себе силы хоть чем-нибудь помочь своей жене.

Жена его, которую до 1928 года все в городе звали ма-тушкой, а в 1929 году перестали — городские церкви были почти все взорваны, а «холодный» собор, в котором молился когда-то Иван Грозный, был сделан музеем, — жена его была когда-то такая полная, толстая, что собственный ее сын, которому было лет шесть, капризничал и плакал, твердя: «Я не хочу с тобой идти, мне стыдно. Ты такая толстая». Она давно уже не была толстая, но полнота, нездоровая полнота сердечного больного сохранялась в ее огромном теле. Она едва ходила по комнате, с трудом двигаясь от печки в кухне до окна в комнате. Сначала священник просил почитать ему что-нибудь, но жене все было некогда — оставалась всегда тысяча дел по хозяйству, надо было сварить пищу — еду себе и козам. В магазины жена священника не ходила — небольшие ее закупки делали соседские дети, которым она наливала козьего молока или совала в руку леденец какой-нибудь.

На шестке русской печи стоял котел — чугунок, как называют такую посуду на Севере. Чугунок был с отбитым краем, и край был отбит в первый год замужества. Кипящее пошло для коз выливалось из чугуна через отбитый край и текло на шесток и капало с шестка на пол. Рядом с чугуном стоял маленький горшок с кашей — обед священника и его жены, — людям было нужно гораздо меньше, чем животным.

Но что-нибудь нужно было и людям.

Дел было мало, но женщина слишком медленно передвигалась по комнате, держась руками за мебель, и к концу дня уставала так, что не могла найти в себе сил для чтения. И она засыпала, а священник сердился. Он спал очень мало, хотя и заставлял себя спать, спать. Когда-то его второй сын, приехавший на побывку и огорченный безнадежным состоянием отца, спросил, волнуясь:

— Папа, почему ты спишь и днем и ночью? Зачем ты так много спишь?

— Дурак ты,— ответил священник,— ведь во сне-то я вижу...

И сын до самой своей смерти не мог забыть этих слов.

Радиовещание переживало тогда свое детство — у любителей скрипели детекторные приемники, и никто не осмеливался зацепить заземление за батарею отопления или телефонный аппарат. Священник только слышал о радиоприемниках, но понимал, что разлетевшиеся по свету его дети не смогут, не сумеют собрать денег даже на радионаушники для него.

Слепой плохо понимал, почему несколько лет назад они должны были выехать из комнаты, в которой жили более тридцати лет. Жена шептала ему что-то непонятное, взволнованное и сердитое своим огромным беззубым, шамкающим ртом. Жена никогда не рассказывала ему правды: как милиционеры выносили из дверей их несчастной комнаты поломанные стулья, старый комод, ящик с фотографиями, дагерротипами, чугуны и горшочки, и несколько книг — остатки когда-то огромной библиотеки, — и сундук, где хранилось последнее: золотой наперсный крест. Слепой ничего не понял, его увели на новую квартиру, и он молчал и молился про себя богу. Кричащих коз отвели на новую квартиру, знакомый плотник устроил коз на новом месте. Одна коза пропала в суматохе — это была четвертая коза, Ира.

Новые жильцы этой квартиры на берегу реки — молодой городской прокурор с франтоватой женой — ждали в гостинице «Центральная», пока их известят, что квартира свободна. В комнату священника вселяли слесаря с семьей из квартиры напротив, а две комнаты слесаря шли прокурору. Городской прокурор никогда не видел и не увидел ни священника, ни слесаря, на живом месте которых он селился жить.

Священник и его жена редко вспоминали прежнюю комнату, он — потому, что был слеп, а она — потому, что слишком много горя пришлось ей видеть на той кварти-



ре — гораздо больше, чем радости. Священник никогда не узнал, что его жена, пока могла, пекла пирожки и продавала на базаре и все время писала письма разным своим знакомым и родственникам, прося поддержать хоть чем-нибудь ее и слепого мужа. И, случалось, деньги приходили, небольшие деньги, но все же на них можно было купить сена и жмых для коз, внести налоги, заплатить паству.

Коз давно надо было продать — они только мешали, но она боялась об этом и думать — ведь это было единственное дело ее слепого мужа. И она, вспоминая, каким живым, энергичным человеком был ее муж до своей страшной болезни, не находила в себе сил заговорить с ним о продаже коз. И все продолжалось по-прежнему.

Писала она и детям, которые давно уже выросли, имели собственные семьи. И дети отвечали на ее письма — у всех были свои заботы, свои дети; впрочем, отвечали не все дети.

Старший сын давно, еще в двадцатых годах, отказался от отца. Тогда была мода отказываться от родителей — немало известных впоследствии писателей и поэтов начали свою литературную деятельность заявлениями подобного рода. Старший сын не был ни поэтом, ни негодяем, он просто боялся жизни и подал заявление в газету, когда его стали донимать на службе разговорами о «социальном происхождении». Пользы заявление не принесло, и свое каиново клеймо он проносил до гроба.

Дочери священника вышли замуж. Старшая жила где-то на юге, деньгами в семье она не распоряжалась, боялась мужа, но писала домой часто слезные письма, полные своих горестей, и старая мать отвечала и ей, плача над письмами дочери и утешая ее. Старшая дочь ежегодно посылала матери посылку в несколько десятков килограммов винограда. Посылка с юга шла долго. И мать никогда не написала дочери, что виноград всякий год приходит испорченный — из всей посылки только несколько ягодок могла она выбрать мужу и себе. И всякий раз мать благодарила, униженно благодарила и стеснялась попросить денег.

Вторая дочь была фельдшерницей, и после замужества мизерное свое жалованье вознамерилась она откладывать и посылать слепому отцу. Муж ее, профсоюзный работник, одобрил ее намерение, и месяца три сестра приносила свою посылку в родной дом. Но после родов она работать не стала и день и ночь хлопотала около своих двойняшек.

Скоро выяснилось, что муж ее, профсоюзный работник, — запойный пьяница. Служебная карьера его быстро шла вниз, и через два года он оказался агентом снабжения, да и на этой работе удержаться он долго не мог. Жена его с двумя малыми детьми, оставшись без всяких средств к жизни, снова поступила на работу и билась, как могла, содержа на жалованье медицинской сестры двух маленьких детей и себя. Чем она могла помочь своей старой матери и своему слепому отцу?

Младший сын был не женат. Ему бы и жить с отцом и матерью, но он решил попытать счастья в одиночку. От среднего брата осталось наследство — охотничье ружье, почти новенький бескурковый «зауэр», и отец велел матери продать это ружье за девяносто рублей. За двадцать рублей сыну сшили две новые сатиновые рубашки-толстовки, и он уехал к тетке в Москву и поступил на завод рабочим. Младший сын посылал деньги домой, но помалу, рублей по пяти, по десяти в месяц, а вскоре за участие в подпольном митинге он был арестован и выслан, и след его затерялся.

Слепой священник и его жена вставали всегда в шесть часов утра. Старая мать затапливала печку, слепой шел доить коз. Денег не было вовсе, но старой женщине удавалось занять в долг несколько рублей у соседей. Но эти рубли надо было отдавать, а продать было уже нечего — все носильные вещи, все скатерти, белье, стулья — все уже было давно продано, променяно на муку для коз и на крупу для супа. Оба обручальные кольца и серебряная шейная цепочка были проданы в Торгсине еще в прошлом году. Суп только по большим праздникам варился с мясом, и сахар старики покупали только к празднику. Разве зайдет кто-нибудь, сунет конфету или булку, и старая мать брала и уносила в свою комнату и совала в сухие, нервные, беспрерывнодвигающиеся пальцы слепого своего мужа. И оба они смеялись и целовали друг друга, и старый священник целовал изуродованные домашней тяжелой работой, опухшие, потрескавшиеся, грязные пальцы своей жены. И старая женщина плакала и целовала старика в голову, и они благодарили друг друга за все хорошее, что они дали друг другу в жизни, и за то, что они делают друг для друга сейчас.

Каждый вечер священник вставал перед иконой и горячо молился и благодарил бога еще и еще за свою жену. Так делал он ежедневно. Бывало, что он не всегда становился лицом к иконе, и тогда жена сползала с кровати и,

охватив его руками за плечи, ставила лицом к образу Иисуса Христа. И слепой священник сердился.

Старуха старалась не думать о завтрашнем дне. И вот наступило такое утро, когда козам было нечего дать, и слепой священник проснулся и стал одеваться, нашаривая сапоги под кроватью. И тогда старуха закричала и заплакала, как будто она была виновата в том, что у них нечего есть.

Слепой надел сапоги и сел на свое клеенчатое, заплапанное, мягкое кресло. Вся остальная мебель была давно продана, но слепой об этом не знал — мать сказала, что подарила дочерям.

Слепой священник сидел, откинувшись на спинку кресла и молчал. Но растерянности не было в его лице.

— Дай мне крест, — сказал он, протягивая обе руки и двигая пальцами.

Жена доковыляла до двери и заложила крючок. Вдвоем они приподняли стол и выдернули из-под стола сундук. Жена священника достала из деревянной коробки с нитками ключик и отперла сундук. Сундук был полон вещей, но что это были за вещи — детские рубашки сыновей и дочерей, связки пожелтевших писем, что сорок лет назад писали они друг другу, венчальные свечи с проволочным украшением — воск с узора давно уже осыпался, клубки разноцветной шерсти, связки лоскутков для заплат. И на самом дне два небольших ящичка, в каких бывают ордена, или часы, или драгоценные вещи.

Женщина тяжело и гордо вздохнула, выпрямилась и открыла коробку, в которой на атласной, новенькой еще подушке лежал наперсный крест с маленькой скульптурной фигуркой Иисуса Христа. Крест был красноватый, червонного золота.

Слепой священник ощупал крест.

— Принеси топор, — сказал он тихо.

— Не надо, не надо, — зашептала она и обняла слепого, пытаясь взять крест у него из рук. Но слепой священник вырвал крест из узловатых опухших пальцев своей жены и больно ушиб ей руку.

— Неси, — сказал он, — неси... Разве в этом бог?

— Я не буду — сам, если хочешь...

— Да, да, сам, сам.

И жена священника, полубезумная от голода, заковыляла в кухню, где всегда лежал топор и лежало сухое полено — для лучины, чтоб ставить самовар.

Она принесла топор в комнату, закинула крючок и заплакала без слез, криком.

— Не гляди,— сказал слепой священник, укладывая крест на полу. Но она не могла не глядеть. Крест лежал вниз фигуркой. Слепой священник нащупал крест и замахнулся топором. Он ударил, и крест отскочил и слегка зазвенел на полу — слепой священник промахнулся. Священник нашарил крест и снова положил его на то же место и снова поднял топор. На этот раз крест согнулся, и кусок его удалось отломить пальцами. Железо было тверже золота,— разрубить крест оказалось совсем не трудно.

Жена священника уже не плакала и не кричала, как будто крест, изрубленный в куски, перестал быть чем-то святым и обратился просто в драгоценный металл, вроде золотого самородка. Она торопливо и все же очень медленно заворачивала кусочки креста в тряпочки и укладывала их обратно в орденскую коробку.

Она надела очки и внимательно осмотрела лезвие топора, не осталось ли где золотых крупинок.

Когда все было спрятано и сундук поставлен на место, священник надел свой брезентовый плащ и шапку, взял подойник и пошел через двор около длинной наращенной доски — доить коз. С дойкой он запоздал, уже был белый день и давно открыты магазины. Магазины Торгсина, где торговали продуктами на золото, открывались в десять часов утра.

1959

## КУРСЫ

### РАНЬШЕ ВСЕГО:

Человек не любит вспоминать плохое. Это свойство людской природы делает жизнь легче. Проверьте себя. Ваша память стремится удержать хорошее, светлое и забыть тяжелое, черное. При тяжелых условиях жизни не завязывается никакая дружба. Память вовсе не безразлично «выдает» все прошлое подряд. Нет, она выбирает такое, с чем радостнее, легче жить. Это — как бы защитная реакция организма. Это свойство человеческой природы, по существу, есть искажение истины. Но что есть истина?

Из многих лет моей колымской жизни лучшее время — месяцы ученья на фельдшерских курсах при лагерной больнице близ Магадана. Такого же мнения держатся все заключенные, побывавшие хоть месяц-два на двадцать третьем километре Магаданской трассы.

Курсанты съезжались со всех концов Колымы — с севера и с юга, с запада и с юго-запада. Самый южный юг был много севернее того поселка на побережье, куда они приехали.

Курсанты из дальних управлений старались занять нижние нары — не потому, что наступала весна, а из-за недержания мочи, которое было почти у каждого «горного» заключенного. Темные пятна давних отморожений на щеках были похожи на казенное тавро, на печать, которой их клеймила Колыма. На лицах провинциалов была одна и та же угрюмая улыбка недоверия, затаенной злобы. Все «горняки» чуть прихрамывали — они побывали близ полюса холода, достигали полюса голода. Командировка на фельдшерские курсы была недобрым приключением. Каждому казалось, будто он — мышь, полумертвая мышь, которую кошка-судьба выпустила из когтей и собирается поиграть немножко. Ну что ж — мыши тоже ничего не имеют против такой игры — пусть знает это кошка.

Провинциалы жадно докуривали махорочные сигарки «пихонов» — кидаться, чтоб подобрать окурочек, на глазах у всех они все же не решались, хотя для золотых приисков и оловянных рудников открытая охота за «бычками» была поведением, вполне достойным истинного лагерника. И только видя, что кругом никого нет, провинциал быстро хватал окурочек и совал в карман, расплющив его у себя в кулаке, чтобы потом на досуге свернуть «самостоятельную» папиросу. Многие «пижоны», прибывшие недавно из-за моря — с парохода, с этапа, сохраняли вольную рубашку, галстук, кепку.

Женька Кац поминутно доставал из кармана крошечное солдатское зеркальце и осторожно причесывал свои густые кудри ломаным гребешком. Стриженным наголо провинциалам поведение Каца казалось фатовством, но замечаний ему не делали, «жить не учили» — это запрещено неписаным законом лагерей.

Курсантов разместили в чистеньком бараке вагонного типа — то есть с двухэтажными нарами с отдельным местом для каждого. Говорят, что такие нары гигиеничнее и притом ласкают глаз начальства — как же: каждому от-

дельное место. Но вшивые ветераны, прибывшие из дальних мест, знали, что мяса на их костях недостаточно, чтобы согреться в одиночку, а борьба со вшами одинаково трудна и при вагонных, и при сплошных нарах. Провинциалы с грустью вспоминали сплошные нары дальних таежных барачных бараков, вонь и душный уют пересылок.

Кормили курсантов в столовой, где питалась обслуга больницы. Обеды были много гуще приисковых. «Горняки» подходили за добавкой — им давали. Подходили второй раз — опять повар спокойно наполнял протянутую в окно миску. На приисках так никогда не бывало. Мысли медленно двигались по опустевшему мозгу, и решение созревало все яснее, все категоричнее — нужно было во что бы то ни стало остаться на этих курсах, стать «студентом», сделать, чтоб и завтрашний день был похож на сегодняшний. Завтрашний день — это завтрашний день буквально. Никто не думал о фельдшерской работе, о медицинской квалификации. О таком далеком загадывать боялись. Нет, только завтрашний день с такими же щами на обед, с вареной камбалой, с пшенной кашей на ужин, с затихающей болью остеомиелитов, упрятанных в рваные портянки, сунутые в ватные самодельные бурки.

Курсанты изнемогали от слухов, один другого тревожнее, от лагерных «параш». То говорят, что к экзаменам не будут допущены заключенные старше тридцати лет, сорока лет. В бараке будущих курсантов были люди и девятнадцати, и пятидесяти лет. То говорят, что курсы не будут открывать вовсе — раздумали, средств нет, и завтра же курсантов пошлют на общие работы, и самое страшное — *возвратят* на прежнее место жительства, на золотые прииски и оловянные рудники.

И верно, на следующий день курсантов подняли в шесть часов утра, выстроили у вахты и повели километров за десять — ровнять дорогу. Лесная работа дорожника, о которой мечтал всякий приисковый заключенный, здесь показалась всем необыкновенно тяжелой, оскорбительной, несправедливой. Курсанты «наработали» так, что на следующий день их уже не посылали.

Был слух, что начальник запретил совместное обучение мужчин и женщин. Что статью пятьдесят восьмую, пункт десять (антисоветская агитация), доселе признаваемую вполне «бытовой» статьей, не будут допускать к экзаменам. К экзаменам! Вот главное слово. Ведь должны быть приемные экзамены. Последние приемные экзамены моей жизни были экзамены в университет. Это бы-

ло очень, очень давно. Я ничего не мог припомнить. Клетки мозга не тренировались целый ряд лет, клетки мозга голодали и утратили навсегда способность поглощения и выдачи знаний. Экзамен! Я спал беспокойным сном. Я не мог найти никакого решения. Экзамен «в объеме семи классов». Это было невероятно. Это вовсе не вязалось и с работой на воле, и с жизнью в заключении. Экзамен!

К счастью, первый экзамен был по русскому языку. Диктант — страницу из Тургенева — прочитал нам местный знаток русской словесности — фельдшер из заключенных Борский. Диктант был удостоен Борским высшей отметки, и я был освобожден от устного зачета по русскому языку. Ровно двадцать лет назад в актовом зале Московского университета писал я письменную работу — приемный экзамен — и был освобожден от сдачи устных испытаний. История повторяется — один раз как трагедия, другой раз как фарс. Назвать фарсом мой случай было нельзя.

Медленно, с ощущением физической боли, перебирал я клетки памяти — что-то важное, интересное должно было мне открыться. Вместе с радостью первого успеха пришла радость припоминания — я давно забыл свою жизнь, забыл университет.

Следующим экзаменом была математика — письменная работа. Я, неожиданно для себя, быстро решил задачу, предложенную на экзамене. Нервная собранность уже сказывалась, остатки сил мобилизовались и чудесным, необъяснимым путем выдали нужное решение. За час до экзамена и через час после экзамена я не решил бы такой задачи.

Во всевозможных учебных заведениях существует обязательный экзаменационный предмет «Конституция СССР». Однако, учитывая «контингент», начальники из КВО управления лагеря вовсе сняли сей скользкий предмет, к общему удовольствию.

Третьим предметом была химия. Экзамен принимал бывший кандидат химических наук, бывший научный сотрудник Украинской академии наук А. И. Бойченко — нынешний заведующий больничной лабораторией, самолюбивый остряк и педант. Но дело было не в человеческих качествах Бойченко. Химия для меня была предметом непосильным по-особому. Химию проходят в средней школе. Моя средняя школа приходится на годы гражданской войны. Случилось так, что школьный преподаватель химии Соколов, бывший офицер, был расстрелян

во время ликвидации заговора Нуланса в Вологде, и я навек остался без химии. Я не знал — из чего состоит воздух, а формулу воды помнил лишь по старинной студенческой песне:

Сапоги мои «тово» —  
Пропускают  $H_2O$ .

Последующие годы показали, что жить можно и без химии, — и я стал забывать о всей этой истории — как вдруг на сороковом году моей жизни оказалось, что требуется знание химии — и именно по программе средней школы.

Как я, написавший в анкете — образование законченное среднее, незаконченное высшее, объясню Бойченко, что вот только химии я не изучал?

Я ни к кому не обращался за помощью — ни к товарищам, ни к начальству — жизнь моя, тюремная и лагерная, приучила полагаться только на себя. Началась «химия». Я помню весь этот экзамен и по сей день.

— Что такое окислы и кислоты?

Я начал объяснять что-то путаное и неверное. Я мог ему рассказать о бегстве Ломоносова в Москву, о расстреле откупщика Лавуазье, но окислы...

— Скажите мне формулу извести...

— Не знаю.

— А формулу соды?

— Не знаю.

— Зачем же вы пришли на экзамен? Я ведь записываю вопросы и ответы в протокол.

Я молчал. Но Бойченко был немолод, он понимал кое-что. Недовольно он взгляделся в список моих предыдущих отметок: две пятерки. Он пожал плечами.

— Напишите знак кислорода.

Я написал букву «Н» большое.

— Что вы знаете о периодической системе элементов Менделеева?

Я рассказал. В рассказе моем было мало «химического» и много Менделеева. О Менделееве я кое-что знал. Как же — ведь он был отцом жены Блока!

— Идите, — сказал Бойченко.

Назавтра я узнал, что получил тройку по химии и зачислен, зачислен, зачислен на фельдшерские курсы при центральной больнице Управления северо-восточных лагерей НКВД.

Я ничего не делал два следующие дня: лежал на койке, дышал барачной вонью и смотрел в прокопченный пото-



лок. Начинаясь очень важный, необычайно важный период моей жизни. Я ощущал это всем своим существом. Я вступал на дорогу, которая могла спасти меня. Нужно было готовиться не к смерти, а к жизни. И я не знал, что труднее.

Нам выдали бумагу — огромные листы, обгорелые с краев — след прошлогоднего пожара от взрыва, уничтожившего весь город Находку. Из этой бумаги мы сшили тетради. Нам выдали карандаши и перья.

Шестнадцать мужчин и восемь женщин! Женщины сидели в левой части класса, поближе к свету, мужчины — справа, где потемнее. Коридор в метр шириной разделял класс. У нас были новенькие узкие столы с нижней полочкой. Я и в средней школе учился на таких точно столах.

Позднее мне случилось попасть в рыбацкий поселок Олу — около Ольской эвенкской школы стояла парта, и я долго разглядывал загадочную конструкцию, пока наконец не сообразил, что это такое — парта Эрисмана.

Учебников у нас не было никаких, а из наглядных пособий — несколько плакатов по анатомии.

Научиться было геройством, а научить — подвигом.

Сначала о героях. Никто из нас — ни женщины, ни мужчины — не думал стать фельдшером для того, чтобы пожить в лагере без забот, поскорей превратиться в «лепилу».

Для некоторых — и меня в том числе — курсы были спасением жизни. И хотя мне было под сорок лет, я выкладывался полностью и занимался на пределе сил и физических, и душевных. Кроме того, я рассчитывал кое-кому помочь, а кое с кем свести счеты десятилетней давности. Я надеялся снова стать человеком.

Для других курсы давали профессию на всю жизнь, расширяли кругозор, имели немалое общеобразовательное значение, сулили твердое общественное положение в лагере.

За первым столом на первом месте от прохода сидел Мин Гарипович Шабаев — татарский писатель Мин Шабай, осужденный по статье «аса», жертва тридцать седьмого года.

Русским языком Шабаев владел хорошо, записывал лекции по-русски, хотя, как я выяснил через много лет, писал он прозу на татарском языке. В лагере многие скрывают свое прошлое. Это объяснимо и логично не только

для бывших следователей и прокуроров. Писатель, как интеллигент, как человек умственного труда, «очкарик», в местах заключения всегда вызывает ненависть и у товарищей, и у начальства. Шабаетов понял это давно, выдавая себя за торгового работника, и в разговоры о литературе не вмешивался — так было лучше всего, спокойней всего, по его мнению. Он всем улыбался и вечно что-то жевал. Одним из первых курсантов он начал приобретать отечный вид, опухать, — приисковские годы не прошли даром для Мина Гариповича. От курсов он был в полном восхищении.

— Понимаешь, мне сорок лет, и я впервые узнал, что печень-то у человека одна. Я думал — две, всего ведь по два.

Наличие у человека селезенки приводило Мина Гариповича в полный восторг.

После освобождения Мин Гарипович не стал работать фельдшером, а вернулся на милую его сердцу снабженческую работу. Стать агентом снабжения — перспектива еще более ослепляющая, чем медицинская карьера.

Рядом с Шабаетовым сидел Бокис — огромных размеров латыш, будущий чемпион Колымы по пинг-понгу. В больнице он «приземлился» уже не один год, сначала как больной, потом как санитар из больных. Врачи обещали и устроили Бокису диплом. Уже с фельдшерским дипломом Бокис выехал в тайгу, увидел золотые прииски. Тайга была для него страшным призраком, но боялся он в ней не того, чего нужно бояться, — растления собственной души. Равнодушие — это еще не подлость.

Третьим сидел Бука — одноглазый солдат второй мировой войны, осужденный за мародерство. Прииск в три месяца выбросил Буку обратно — на больничную койку. Семилетнее образование Буки, покладистый характер, украинская хитреца — все это сложилось вместе, и Бука был принят на курсы. Одним глазом Бука увидел на прииске не меньше, чем многие видят двумя; самое главное увидел — что свою судьбу можно строить в стороне от пятьдесят восьмой статьи и множества ее разновидностей. На курсах не было человека скрытнее Буки.

Месяца через два Бука заменил черную повязку искусственным глазом. Только в больничном наборе не оказалось карих глаз, и пришлось взять голубой. Впечатление было сильное, но скоро все привыкли — раньше, чем сам Бука, к разноцветным Букиным глазам. Я пытался утешить Буку рассказом о глазах Александра Македонского,

Бука вежливо меня выслушал, — глаза Александра Македонского были чем-то вроде «политики» — Бука промычал нечто неопределенное и отошел в сторону.

Четвертым в углу у стены сидел Лабутов, как и Бука — солдат мировой войны. Радист, человек бойкий, самолюбивый, он изготовил миниатюрный приемник, по которому слушал фашистское радио. Рассказал товарищу, был избобличен. Трибунал дал ему десять лет по «аса». Лабутов имел десятилетнее образование, любил вычерчивать всяческие схемы наподобие штабных карт огромного размера, со стрелками, знаками, с названием занятия, скажем, по анатомии — «Операция», «Сердце». Колымы он не знал. В тот весенний день, когда нас выгнали на работу, Лабутов вздумал выкупаться в ближайшей канаве, и мы с трудом удержали его. Фельдшер вышел из него хороший, особенно позднее, когда он постиг тайны физиотерапии, что для него как электрика и радиста было нетрудно, и укрепился на постоянную работу в кабинет электролечения.

Во втором ряду сидели Черников, Кац и Малинский. Черников был самодовольный, вечно улыбающийся мальчик — тоже фронтовик, осужденный по какой-то уголовной статье. Он и не нюхал Колымы, на курсы поступил из Маглага — из городского лагерного отделения. Грамотный достаточно, чтобы учиться, он справедливо полагал, что с курсов его не выгонят, если будут и нарушения, быстро сошелся с одной из курсанток.

Женька Кац, приятель Черникова, был бойкий «бытовичок», чрезвычайно дорожающий своими пышными кудрями. Как староста курсов — был незлобив и не имел никакого авторитета. Уже после окончания курсов, работая на амбулаторном приеме, услышав от врача, осматривающего больного: «Марганцу!» — Женька положил на рану не марлю, смоченную слабым раствором «калий гипермарганикум», а засыпал рану темно-фиолетовыми кристалликами марганца. Больной, прекрасно знавший, как лечат ожоги, не отвел руки, не запротестовал, не моргнул глазом. Это был старый колымчанин. Небрежность Женьки Каца освободила его от работы чуть не на месяц. На Колыме удача бывает редко. Ее надо хватать крепко и держать, пока есть силы.

Малинский был моложе всех в классе. Ему было девятнадцать лет — призывник последнего года войны, воспитанный в военное время, с моралью нетвердой, Костя Малинский был осужден за мародерство. Случай привел его

в больницу, где одним из врачей работал его дядя — московский терапевт. Дядя помог ему устроиться на курсы. Курсы Костю интересовали мало. Порочная его прихода, а может быть, просто молодость постоянно толкала его на разные лагерные авантюры: получение масла по поддельному талону, продажа обуви, поездка в Магадан. У него вечно были объяснения по этой части (только ли по этой?) у уполномоченных. Кто-то ведь должен был быть осведомителем.

Курсы дали Косте профессию. Через несколько лет я встретился с ним в поселке Ола. Костя выдавал там себя за фельдшера, окончившего двухлетние курсы военного времени, и я невольно мог быть причиной разоблачения лжи.

В 1957 году я ехал с Костей в одном автобусе в Москве — велюровая шляпа, мягкое пальто.

— Что ты делаешь?

— По медицине, по медицине пошел, — кричал мне Костя на прощанье.

Остальные курсанты были люди из горных управлений, люди другой судьбы.

Орлов был «литёрка», осужденный по литерной статье, то есть «тройками», или Особым совещанием.

Московский механик Орлов доплывал на приисках трижды. Как шлак, колымская машина выбросила его в местную больницу, и оттуда он попал на курсы. Ставкой была жизнь. Орлов ничего не знал, кроме занятий, как ни бесконечно трудно давалась ему медицина. Постепенно он втянулся в занятия, поверил в свое будущее.

Учитель средней школы, географ Суховенченко был старше Орлова — ему было за сорок лет. В заключении он был около восьми лет из десяти — оставалось уже немного. Притом Суховенченко был из тех, кто уцелел, укрепился — он уже имел спокойную работу и мог выжить. Он отбыл стаж доходяги и остался в живых. Он работал геологом, коллектором, помощником начальника партии. Но все это благо могло внезапно исчезнуть как дым — достаточно было сменить начальника — у Суховенченко ведь не было диплома. А память о приисковых годах была слишком свежа. Возможность получить путевку на курсы была. Курсы предполагались восьмимесячные — до окончания срока осталось бы совсем немного. Была бы приобретена хорошая лагерная профессия. Суховенченко бросил геологическую партию и получил фельдшерское образование. Но медика из него не вышло — то ли года

были не те, то ли качества души иные. Окончив курсы, Суховенченко почувствовал, что не может лечить, не имеет силы воли для решения. Перед ним были живые люди, а не камни для коллекций. Поработав немного фельдшером, Суховенченко вернулся к профессии геолога. Стало быть, он был из тех, кого зря учили. Порядочность, доброта его были вне всякого сомнения. «Политики» он боялся как огня, но доносить не пошел бы.

У Силайкина не было семи классов, человек он был уже пожилой, учиться было очень трудно. Если Кундуш, Орлов, я с каждым днем чувствовали себя все увереннее, Силайкину было все труднее. Но он продолжал учиться, рассчитывая на свою память, память у него превосходная, на свое умение ловчить и не только ловчить, но и понимать людей. По наблюдениям Силайкина, преступников вовсе нет, кроме блатарей. Все прочие заключенные вели себя на воле так, как все другие — столько же воровали у государства, столько же ошибались, столько же нарушали закон, как и те, кто не был осужден по статьям Уголовного кодекса и продолжал заниматься каждый своей работой. Тридцать седьмой год подчеркнул это с особой силой — уничтожив всякую правовую гарантию у русских людей. Тюрьму стало никак не обойти, никому не обойти.

Преступники на воле и в лагере только одни — блатары. Силайкин был умен, он был великий сердцевец и, осужденный за мошенничество, был по-своему порядочным человеком. Есть порядочность от чувства, от сердца. И есть порядочность от ума. Не честных убеждений, а честных привычек не хватало Силайкину. Он был правдив, потому что понимал, что сейчас это выгодно. Он не сделал ни одного поступка против правил потому, что понимал, что этого делать нельзя. В людей он не верил и личную корысть считал главным двигателем общественного прогресса. Он был остроумен. На занятии по общей хирургии, когда опытейший преподаватель Меерзон никак не мог втолковать курсантам «супинацию» и «пропацию», Силайкин встал, попросил слова и протянул руку с ладонью лодочкой вверх: «супу дай», и повернул ладонь: «пронесли мимо». Все — в том числе и Меерзон — запомнили, вероятно, на всю жизнь мрачную мнемонику Силайкина и оценили его колымское остроумие. Выпускные экзамены Силайкин сдал вполне благополучно и работал фельдшером — на прииске. Работал, верно, хорошо, потому что был умен и «понимал жизнь». «Понимать жизнь» — это, по его мнению, было главным.

Столь же грамотным был его сосед по столу — Логвинов — Илюша Логвинов. Логвинов, осужденный за разбой, не будучи блатарем, все больше и больше попадал под влияние уголовного рецидива. Он видел ясно силу блатарей в лагере — силу и нравственную и материальную. Начальство заискивало перед блатарями, боялось блатарей. Блатарям в лагере был «родной дом». Они почти не работали, пользовались всяческими привилегиями, и хоть у них за спиной тайком составлялись этапные списки и время от времени приезжал «черный ворон» с конвоем и забирал особо разгулявшихся блатарей, но такова была жизнь — и на новом месте блатарям не было хуже. В штрафных зонах они были тоже хозяевами.

Логвинов, сам из трудовой семьи, совершивший преступление во время войны, видел, что его ждет одна дорога. Начальник лагеря, читавший дело Логвинова, уговорил его поступить на курсы. Экзамен был кое-как сдан, началась учеба страстная, безнадёжная. Предметы медицины были слишком сложной материей для Илюши. Но он нашел в себе душевные силы не отступить, окончил курсы и работал ряд лет старшим фельдшером большого терапевтического отделения. Он освободился, женился, завел семью. Курсы открыли ему дорогу в жизнь.

Шла вводная лекция по общей хирургии. Преподаватель перечислил имена людей, стоявших на вершинах мировой медицины.

— ...И в наше время один ученый сделал открытие — переворот в хирургии, в медицине вообще...

Мой сосед нагнул перед и выговорил:

— Флеминг.

— Кто это сказал? Встаньте!

— Я.

— Фамилия?

— Кундуш.

— Садитесь.

Я ощутил чувство резкой обиды. Я-то вовсе не знал, кто такой Флеминг. Я просидел в тюрьме и лагере почти десять лет, с тридцать седьмого года, без газет и без книг и ничего не знал, кроме того, что была и кончилась война, что есть какой-то пенициллин, что есть какой-то стрептоцид. Флеминг!

— Кто ты такой? — спросил я Кундуша впервые. Ведь мы вдвоем приехали из Западного управления по разверстке, обоих нас направил на курсы наш общий спаситель врач Андрей Максимович Пантюхов. Мы вместе го-

лодали — он меньше, я — больше, но оба мы знали, что такое прииск. Друг о друге мы не знали ничего.

И Кундуш рассказал удивительную историю.

В 1941 году он был назначен начальником укрепленного района. Строители не спеша возводили доты и дзоты, пока июльским утром не рассеялся в бухте туман, и гарнизон увидел на рейде прямо перед собой немецкий линкор «Адмирал Шеер». Рейдер подошел поближе и в упор расстрелял все незаконченные укрепления, превратил все в пепел и груды камней. Кундуш получил десять лет. История была интересна и поучительна, в ней была только одна неясность — статья Кундуша: «аса». Такую статью не могли дать за оплошность, обнаруженную «Адмиралом Шеером». Когда мы сошлись побольше, я узнал, что Кундуш был осужден по пресловутому «делу НКВД» — одному из массовых открытых или закрытых процессов времени Лаврентия Берии: «ленинградское дело», «дело НКВД», Рыковский процесс, Бухаринский процесс, «кировское дело» — все это и были «этапы большого пути». Кундуш был горячим, порывистым человеком, не всегда умевшим сдерживать вспыльчивость и в лагере. Был человеком безусловно порядочным, особенно после того, как воочию увидел «практику» мест заключения. Его собственная работа в недалеком прошлом — завотделом у Заковского в Ленинграде предстала перед ним в истинном, подлинном виде. Не потерявший интереса к книге, к знанию, к новости, умеющий ценить шутку, Кундуш был одним из самых привлекательных курсантов. Фельдшером он проработал несколько лет, но после освобождения перешел на работу снабженца, стал стивидором в Магаданском порту, пока не был реабилитирован и вернулся в Ленинград.

Любитель книг, особенно примечаний и комментариев, никогда не пропускающий напечатанного мелким шрифтом, Кундуш обладал широкими, но разбросанными знаниями, с удовольствием беседовал на всякие отвлеченные темы и по всем вопросам имел какой-то свой взгляд. Вся его натура протестовала против лагерного режима, против насилия. Личное свое мужество он доказал позднее, в смелой поездке на свидание к заключенной девушке — испанке, дочери кого-то из членов мадридского правительства.

Кундуш был рыхлого сложения. Все мы, конечно, ели кошек, собак, белок и ворон и, конечно, конскую падаль — если могли достать. Но став фельдшерами, мы этого

не делали. Кундуш, работая в нервном отделении, сварил в стерилизаторе кошку и съел ее один. Скандал едва удалось потушить. С господином Голодом Кундуш встречался на прииске и хорошо запомнил его лицо.

Все ли рассказывал Кундуш о себе? Кто знает? Да и зачем это знать? «Не веришь — прими за сказку». В лагере не спрашивают ни о прошлом, ни о будущем.

Слева от меня сидел Баратели, грузин, осужденный за какое-то служебное преступление. Русским языком он владел плохо. На курсах он нашел земляка — преподавателя фармакологии, нашел поддержку и материальную, и моральную. Прийти поздно вечером в «кабинку» при больничном отделении, где сухо и тепло, как в летнем хвойном лесу, напиться чаю с сахаром или поест не спеша перловой каши с крупными брызгами подсолнечного масла, почувствовать ноющую, расслабляющую радость всех оживающих мускулов — разве это не предел чудес для человека с прииска? А Баратели был на прииске.

Кундуш, я и Баратели сидели за четвертым столом. Третий стол был короче других — там был выступ печки-голландки, и сидели за этим столом двое — Сергеев и Петрашкевич. Сергеев был «бытовичок», бывший в заключении агентом снабжения — фельдшерская школа ему была не очень нужна. Занимался он небрежно. На первых практических занятиях по анатомии в морге — чего-чего, а трупов в распоряжении курсантов было сколько угодно, — Сергеев упал в обморок и был отчислен.

Петрашкевич не упал бы в обморок. Он был с прииска, да притом «литерник» по «казровской» статье. Литер этот был нередкий в тридцать седьмом году: «осужден как член семьи», и больше ничего. Так получали «срока» дети, отцы, матери, сестры и прочие родственники осужденных. Дед Петрашкевича (не отец, а дед!) был видным украинским националистом. По этим соображениям в 1937 году был расстрелян отец Петрашкевича — украинский учитель. Сам Петрашкевич — школьник, шестнадцати лет, получил «десять рокив», «как член семьи».

Я неоднократно замечал, что заключение, особенно северное, как бы консервирует людей — их духовный рост, их способности замирают на уровне времени ареста. Этот анабиоз длится до освобождения. Человек, просидевший в тюрьме или лагере двадцать лет, не приобретает опыта обычной жизни — школьник остается школьником, мудрый — только мудрым, но не мудрейшим.

Петрашкевичу было двадцать четыре года. Он бегал



по классу, кричал, привешивал за спину Шабаяева или Силайкина какие-то бумажки, пускал голубей, смеялся. Отвечал преподавателям с полной школьной выкладкой. Но был он парень неплохой, фельдшером стал хорошим. «Политики» чурался как огня и боялся читать газеты.

Организм мальчика был недостаточно силен для Колымы. Петрашкевич умер от туберкулеза через несколько лет, не успев выбраться на Большую землю.

Женщин было восемь. Старостой была Муза Дмитриевна — в прошлом какой-то партийный или, скорее, профсоюзный работник — это занятие кладет неизгладимое клеймо на все повадки, манеры и интересы. Было ей лет сорок пять, и доверие начальства она старалась оправдать. Ходила она в какой-то бархатной кацавейке и хорошем шерстяном платье. Во время войны американских шерстяных вещей было пожертвовано огромное количество колымчанам. Конечно, в глубину тайги, до приисков, эти подарки не доходили, да и на побережье их постаралось расхватать местное начальство — выпрашивая или просто отбирая у заключенных эти свитеры и фуфайки. Но кое у кого из магаданских жителей остались эти «тряпки». И Муза их сохранила.

В курсовые дела она не мешалась, ограничивая свою власть лишь женской группой. Дружбу Муза водила с самой молоденькой курсанткой — Надей Егоровой, оберегая Надю от соблазнов лагерного мира. Надя этой опекой тяготилась не очень, и Муза не могла препятствовать бурному развитию романа Нади с лагерным поваром.

— Путь к сердцу женщины лежит через желудок. — Силайкин с удовольствием повторял эти слова. Перед Надей и ее соседкой Музой появлялись диетические блюда — всякие тефтели, ромштексы, блинчики. Порция была двойная и даже тройная. Штурм был недолгим, Надя сдавалась. Благодарная Муза продолжала охранять Надю — уже не от повара, а от лагерного начальства.

Занималась Надя плохо. Зато она отводила душу в культбригаде. Культбригада, клуб, художественная самодеятельность — единственное место в лагере, где мужчинам и женщинам разрешено встречаться. И хотя дремлющее око лагерного надзора следит, чтоб отношения мужчин и женщин не перешагнули границу дозволенного — а по местному обычаю, доказать адюльтер надо столь же веско, как это делал полицейский комиссар в «Миллом друге» Мопассана. Надзиратели наблюдают, ловят. Терпения не всегда хватает, ибо — по Стендалю —

узннк больше думает о своей решетке, чем тюремщик о своих ключах. Надзор ослабевает.

Если в культбригаде и нельзя рассчитывать на любовь в ее самом древнем и вечном варианте, то все равно: репетиции кажутся заключенному другим миром, более похожим на тот, в котором он жил когда-то. Это — немаловажное соображение, хотя лагерный цинизм и не позволяет признаться в таких чувствах. Вполне реальный выигрыш в мелких преимуществах, которые получает культработник, — внезапная выписка махорки, сахара. Разрешение не стричь волос — не последнее дело в лагере. Из-за стрижки волос возникали целые побоища, скандалы, в которых участвовали вовсе не актеры и не воры...

Пятидесятилетний Яков Заводник, бывший комиссар колчаковского фронта (однокашник Зеленского, расстрелянного по Рыковскому процессу секретаря МК), отбивался кочергой от лагерных парикмахеров и попал из-за волос на штрафной прииск. Что это такое? Разве Самсонова сила — не легенда? В чем причина сего аффекта? Ясно, что психика повреждена желанием утвердить себя хоть в малом, в ничтожном — еще одно свидетельство великого смещения масштабов.

Уродливость тюремной жизни — раздельная жизнь мужчин и женщин — в культбригаде как-то сглаживается. В конечном счете это — тоже обман, но все же он дороже «низких истин». Все, кто может пиццать и петь, все, кто читал дома стихи и играл в домашних спектаклях, кто брэнчал на мандолине и плясал чечетку, — все «имеют шанс» попасть в культбригаду.

Надя Егорова пела в хоре. Танцевать она не умела, двигалась по сцене неуклюже, но ходила на репетиции. Бурная личная жизнь отнимала у нее много времени.

Елена Сергеевна Мелодзе, грузинка, была тоже «членом семьи» своего расстрелянного мужа. Взволнованная до глубины души его арестом — Мелодзе наивно думала, что ее муж в чем-то виноват, — она успокоилась, когда попала в тюрьму сама. Все стало ясным, логичным, простым — таких, как она, оказались десятки тысяч.

Разница между подлецом и честным человеком заключается вот в чем: когда подлец попадает невинно в тюрьму — он считает, что только он не виноват, а все остальные — враги государства и народа, преступники и негодяи. Честный человек, попав в тюрьму, считает, что раз

его могли невинно упечь за решетку, то и с его соседями по нарам могло случиться то же.

Здесь —

Гегель и книжная мудрость  
И смысл философии всей —

событий 1937 года.

К Мелодзе вернулось душевное спокойствие, ровное, веселое настроение. На Эльгене, женской таежной «командировке», Мелодзе на тяжелые работы не попала. И вот она — на фельдшерских курсах. Медички из нее не вышло. После освобождения — срок ее наказания кончался в начале пятидесятых годов — ее «прикрепили», как и всех, кто освобождался тогда, на колымское местожительство пожизненно. Она вышла замуж.

Рядом с Мелодзе сидела жизнерадостная, смешливая Галочка Базарова, молодая девушка, осужденная за какие-то проступки во время войны. Галочка всегда смеялась, даже хохотала, что ей вовсе не шло — у нее были редкие огромные зубы. Но это ее не смущало. Курсы дали ей профессию операционной сестры — целый ряд лет после освобождения она проработала в Магаданской больнице, где на первые заработки надела на зубы коронки из нержавеющей стали и сразу похорошела.

За Базаровой сидела Айно — белозубая финка. Срок ее начался военной зимой 1939/40 года. Русскому языку она научилась в заключении, и, будучи девушкой работающей, по-фински аккуратной, она обратила на себя внимание кого-то из врачей и попала на курсы. Учиться ей было трудно, но она училась и выучилась на сестру... Жизнь на курсах ей нравилась.

Рядом с Айно сидела маленькая женщина. Ни фамилии, ни лица ее я вспомнить не могу. Или это была какая-нибудь разведчица, или действительно тень человека.

На следующей скамейке сидела Маруся Дмитриева, приятельница Черникова, со своей подругой Тамарой Никифоровой. Обе осуждены по бытовым статьям, обе не бывали в тайге, обе учились охотно.

Рядом с ними сидела черноглазая Валя Цуканова, кубанская казачка — большая из больницы. На первые занятия она ходила еще в больничном халате. Она бывала в тайге и училась весьма успешно. Следы голода и болезни не скоро сошли с ее лица, но когда сошли — оказалось, что Валя — красавица. Когда она окрепла, начала «крутить любовь», не дождавшись окончания курсов.

Многие за ней ухаживали, но безуспешно. Сошлась она с кузнецом и на свидания бегала в кузню. После освобождения работала ряд лет фельдшером на отдельном участке.

Нам хотелось учиться, а нашим преподавателям хотелось учить. Они соскучились по живому слову, по передаче знаний, которая им была запрещена, передаче знаний, которая до ареста составляла смысл их жизни. Профессора и доценты, кандидаты медицинских наук, лекторы курсов усовершенствования врачей, они впервые за многие годы получили выход своей энергии. Преподаватели курсов были все, кроме одного, пятьдесят восьмой статьи.

Начальство внезапно сообразило, что познание тайн воротного кровообращения не обязательно связано с антисоветской пропагандой, и курсы были обеспечены высококвалифицированными преподавателями. Правда, слушателями должны были быть бытовики. Но где найти столько бытовиков с семилетним образованием? Бытовики и так отбывали срок на привилегированных должностях и не нуждались ни в каких курсах. О том, чтобы привлечь на курсы пятьдесят восьмую, высокое начальство и слышать не хотело. В конце концов был найден компромисс — «аса» и пункт десятый пятьдесят восьмой статьи — как нечто почти бытовое — были допущены к испытаниям.

Было составлено и вывешено на стене расписание. Расписание! Все как в настоящей жизни. Машина, похожая на тяжело груженный, кое-как собранный старенький таежный грузовик, неуверенно двинулась по ухабам и болотам Колымы.

Первой лекцией была анатомия. Читал сей предмет больничным патологоанатом Давид Уманский, семидесятилетний старик.

Эмигрант царского времени, Уманский получил диплом доктора медицины в Брюсселе. Жил и работал в Одессе, где врачебная практика была удачной — за несколько лет Уманский стал собственником многих домов. Революция показала, что дома — не самый надежный вид вклада. Уманский вернулся к врачебной деятельности. К половине тридцатых годов он, чувствуя тогдашние ветры, решил забраться подальше и нанялся на работу в Дальстрой. Это его не спасло. Он «прошел по разверсткам» Дальстроя, в 1938 году был арестован и осужден на 15 лет.

С того времени он работал заведующим моргом больницы. Хорошо работать ему мешало презрение к людям, обида на свою жизнь. У него хватало ума не ссориться с лечащими врачами — на вскрытиях он мог бы доставить им много неприятностей, а может быть, это был не ум, а презрение, и он уступал в спорах на «секции» из простого чувства презрения.

Ум у доктора Уманского был ясный. Он был неплохим лингвистом — это было его хобби, любимое дело. Он знал много языков, изучил в лагере восточные и пытался вывести законы формирования языков, тратя на это все свободное время у себя в морге, где он жил вместе с ассистентом, фельдшером Дунаевым.

Попутно, легко и как бы шутя, прочел Уманский и курс латинского языка для будущих фельдшеров. Уж что это был за латинский язык, не знаю, но родительский падеж в рецептурных записях стал даваться мне легко.

Доктор Уманский был человеком живым, откликавшимся на любое политическое событие и имеющим свое продуманное мнение по любому вопросу международной или внутренней жизни. «Самое главное, дорогие друзья, — говорил он на своих частных беседах, — выжить и пережить Сталина. Смерть Сталина — вот что принесет нам свободу». Увы, Уманский умер в Магадане в 1953 году, не дождавшись того, чего ждал столько лет.

Читал он неплохо, но как-то нежотя. Это был самый равнодушный из всех преподавателей. Время от времени устраивались опросы, повторения, анатомия общая сменялась анатомией частной. Лишь один раздел своей науки Уманский категорически отказался читать: анатомию половых органов. Ничто не могло его убедить, и курсанты закончили обучение, так и не получив знаний по этому разделу из-за чрезмерной стыдливости брюссельского профессора. Какие причины были у Уманского? Ему казалось, что и нравственный, и культурный, и образовательный уровень курсантов недостаточно высок, чтоб подобные темы не вызывали нездорового интереса. Этот нездоровый интерес вызывался и в гимназиях — анатомическим атласом, например, и Уманский это помнил. Он был не прав — провинциалы, например, конечно, отнеслись бы к вопросу со всей серьезностью.

Человеком он был порядочным и раньше многих преподавателей увидел в курсантах — людей. Доктор Уманский был убежденным вейсманистом. Рассказывая нам

о делении хромосом, он вскользь сообщил, что сейчас, кажется, есть другая теория деления хромосом, но он просто эту новую теорию не знает и решается нам излагать только хорошо известное. Так мы и воспитались вейсманистами. Полное торжество вейсманистов при изобретении электронного микроскопа не застало доктора Уманского в живых. Это торжество доставило бы старому доктору радость.

Названия костей, названия мышц зубрили мы наизусть, разумеется, русское, а не латинское название. Мы зубрили вдохновенно, увлеченно. В зубрежке всегда есть какое-то демократическое начало — мы были все равны перед наукой — анатомией. Никто не старался ничего понять. Старались просто запомнить. Лучше всех шло дело у Базаровой и Петрашкевича — вчерашних школьников (если исключить время заключения, которое у Петрашкевича подходило к восьми годам).

Тщательно зубря урок, я вспомнил общежитие 1-го Московского университета в 1926 году — Черкаску, где ночью по темным коридорам ходили пьяные от занятий медики и зубрили, зубрили, заткнув уши пальцами. Общежитие грохотало, смеялось, жило. Жизнерадостные фоновцы, литературоведы, историки смеялись над бедными зубрилами от медицины. Мы презирали науку, где надо не понимать, а зубрить.

Через двадцать лет я зубрил анатомию. За эти двадцать лет я хорошо понял, что такое специальность, что такое точные науки, что такое медицина, что такое инженерное дело. И вот — привел бог случай заняться этим самому.

Мозг еще был способен и брать и отдавать знания.

Доктор Благоразумов читал «Основы санитарии и гигиены». Предмет был скучен, оживить лекции остротами Благоразумов не решался, а может быть, не умел по соображениям политического благоразумия — он помнил тридцать восьмой год, когда всех специалистов, всех врачей, инженеров, бухгалтеров заставляли работать с тачкой и кайлом, согласно «спецуказаниям», присланным из Москвы. Благоразумов два года возил тачку, трижды доходил от голода, холода, цинги и побоев. На третий год ему разрешили врачевать в качестве фельдшера на медпункте при врачах — бытовике. Много врачей умерло в том году. Благоразумов остался живой и твердо запомнил: никаких бесед, ни с кем. Дружба только вокруг «выпить, закусить». В больнице его любили. Докторские запои

скрывались фельдшерами, а когда скрыть было нельзя — Благоразумова тащили в карцер, в кондей. Он выходил из карцера и продолжал чтение лекций. Это никому не казалось странным.

Читал он старательно, заставляя записывать важное под диктовку, проверяя систематически записи и усвоение, — словом, Благоразумов был преподавателем добро-совестным и благоразумным.

\* \* \*

Фармакологию читал больничный фельдшер Гогоберидзе, бывший директор Закавказского фармакологического института. Русским языком он владел хорошо, и грузинского акцента в речи его было не больше, чем у Сталина. В прошлом Гогоберидзе был видным партийцем — его подпись есть на сапроновской «платформе 15». Время с 1928 года по 1937-й он провел в ссылке, а в 1937 году ему был объявлен новый приговор — пятнадцатилетний срок колымских лагерей. Гогоберидзе было под шестьдесят лет. Гипертония мучила его. Он знал, что скоро умрет, но не боялся смерти. Он ненавидел мерзавцев и, изблотив своего доктора по фамилии Кроль в отделении, где он работал, во взятках и поборках с заключенных, Гогоберидзе избил врача и заставил того отдать обратно чьи-то хромовые сапоги и «шкеры» в полосу. С Колымы Гогоберидзе не уехал. Он был освобожден с пожизненной ссылкой в Нарым, но испросил разрешения заменить Нарым на Колыму. Он жил в поселке Ягодный и там умер в начале пятидесятых годов.

Единственным бытовиком среди наших преподавателей был доктор Кроль — харьковский специалист по кожным и венерическим болезням. Все наши учителя пытались воспитать в нас нравственную порядочность и рисовали в лирических отступлениях от лекций идеал моральной чистоты, воспитать силу ответственности за великое дело помощи больному, да еще больному-заключенному, да еще заключенному на Колыме — повторяя, кто как сумел, то самое, что было внушено в их молодости институтами, факультетами медицины, врачебной присягой. Все, кроме Кроля. Кроль чертил нам другие перспективы, подходил к нашей будущей работе с другой, лучше ему известной, стороны. Он не уставал рисовать нам картины материального благоденствия фельдшеров. «Заработаете

на масло», — хихикал Кроль и плотоядно улыбался. У Кроля были вечные темные дела с ворами — они приходили даже в перерыве между лекциями. Что-то он продавал, покупал, менял, мало стесняясь своих студентов. Лечение импотенции начальствующих лиц давало большой доход Кролю, охраняло его во время заключения. Кроль брался за какие-то таинственные знахарские операции в этом направлении — судить его было некому, связи у него были большие.

Две плюхи, которые он получил от фельдшера Гогоберидзе, не вывели Кроля из себя. «Погорячился, брат, погорячился», — говорил он позеленевшему от злости Гогоберидзе.

Кроль пользовался общим презрением и товарищей-преподавателей, и курсантов. К тому же преподавал он путано, не обладая талантом учить. Кожные болезни — тот раздел, который после курсов пришлось мне перечитать внимательно с карандашом и бумагой.

Ольга Степановна Семеняк, бывший доцент кафедры диагностической терапии Харьковского медицинского института, не читала лекций на наших курсах. Но мы проходили у нее практику. Она научила меня выстукивать, выслушивать больного. К концу практики она подарила мне старенький стетоскоп — это одна из немногих моих колымских реликвий. Ольге Степановне было около пятидесяти лет, ее десятилетний срок еще не кончился. Осуждена она была за контрреволюционную агитацию. На Украине оставались ее муж и двое детей — все погибли во время войны. Война кончилась, кончился и срок заключения Ольги Степановны, но ей было некуда ехать. Она осталась в Магадане после освобождения.

На женском участке Эльген Ольга Степановна провела несколько лет. Она нашла в себе силы справиться со своим великим горем. Ольга Степановна была человеком наблюдательным и видела, что в лагере только одна группа людей сохраняет в себе человеческий образ — религиозники: церковники и сектанты. Личное несчастье заставило Семеняк сблизиться с сектантами. В своей «кабинке» она дважды в день молилась, читала Евангелие, старалась делать добрые дела. Добрые дела было делать ей нетрудно. Никто не может сделать больше добрых дел, чем лагерный врач, но мешал характер — упрямый, вспыльчивый, заносчивый. На совершенствование в этом направлении Семеняк не обращала внимания.



Заведующей она была строгой, педантичной и персонал держала в ежовых рукавицах. К больным была всегда внимательна.

После рабочего дня «студентов» кормили обедом в больничной раздатке. Семеняк обычно сидела тут же, пила чай.

— А что вы читаете?

— Ничего, кроме лекций.

— Вот прочтите,— она протянула мне маленькую книжку, похожую на молитвенник. Это был томик Блока, малой серии «Библиотека поэта».

Дня через три я вернул ей стихи.

— Понравились?

— Да.— Мне было совестно сказать, что я хорошо знаю, знал эти стихи.

— Прочтите мне «Девушка пела в церковном хоре».

Я прочел.

— Теперь — «О дальней Мэри, светлой Мэри»... Хорошо. Теперь вот это...

Я прочел «В голубой далекой спаленке».

— Вы понимаете, что мальчик-то умер...

— Да, конечно.

— Умер мальчик,— повторила Ольга Степановна сухими губами и свела в морщины свой белый крутой лоб. Она помолчала.— Дать вам что-нибудь еще?

— Да, пожалуйста.

Ольга Степановна открыла ящик письменного стола и вынула книжку, похожую на томик Блока. Это было Евангелие.

— Почитайте, почитайте. Особенно вот это — «К коринфянам» апостола Павла.

Через несколько дней я вернул ей книгу. Та безрелигиозность, в которой я прожил всю сознательную жизнь, не сделала меня христианином. Но более достойных людей, чем религиозники, в лагерях я не видел. Раствление охватывало души всех, и только религиозники держались. Так было и пятнадцать, и пять лет назад.

В «кабинке» Семеняк познакомился я со строительным десятником из заключенных Васей Швецовым. Вася Швецов, красавец лет двадцати пяти, пользовался огромным успехом у всех лагерных дам. В отделении Семеняк он навещал раздатчицу Нину. Толковый, способный парень, он видел много ясно и ясно объяснял, но запомнился он мне по особому поводу. Я поругал Васю за Нину — она была беременна.

— Сама ведь лезет,— сказал Швецов.— Что тут придумаешь? Я в лагере вырос. С мальчиков в тюрьме. Сколько я их, этих баб, имел—веришь ли, и счесть нельзя. И знаешь что? Ведь ни с одной ни часу не спал я на кровати. А все как-то — то в сенях, то в сарае, чуть ли не на ходу. Веришь?—Так рассказывал Вася Швецов, первый больничный красавец.

Николай Сергеевич Минин, хирург-гинеколог, заведовал женским отделением. Лекций он у нас не читал, мы проходили практику, практику без всякой теории.

В большие бураны больничный поселок заносило снегом до крыш, и только по дыму труб можно было ориентироваться. У каждого отделения вырублены были ступеньки вниз — к входной двери. Мы вылезли из своего общежития наверх, побежали к женскому отделению и вошли в мининский кабинет в половине девятого, надели халаты и, приоткрыв дверь, скользнули в комнату. Шла обычная пятиминутка, сдача сестрой ночного дежурства. Минин, огромный седобородый старик, сидел за маленьким столом и морщился. Рапорт ночного дежурства кончился, и Минин махнул рукой. Все зашумели... Минин повернул голову направо. На небольшом стеклянном подносе старшая сестра принесла стаканчик голубоватой жидкости. Запах был знакомым. Минин взял стаканчик, выпил и разгладил седые усы.

— Ликер «Голубая ночь»,— сказал он, подмигивая курсантам.

Я несколько раз был на его операциях. Оперировал он всегда «под мухой», но уверял, что руки дрожать не будут. Операционные сестры утверждали то же самое. Но после операции, когда он размывался, полоща руки в большом тазу, толстые мощные пальцы его дрожали мелкой дрожью, и он грустно разглядывал свои непослушные, трясущиеся руки.

— Отработался, Николай Сергеевич, отработался,— тихонько говорил он себе. Но продолжал оперировать еще несколько лет.

До Колымы он работал в Ленинграде. Арестован был в тридцать седьмом году, года два возил тачку на Колыме. Был он соавтором большого учебника по гинекологии. Фамилия второго автора была Серебряков. После ареста Минина учебник стал выходить с одной фамилией Серебрякова. На сутяжнические хлопоты после освобождения у Минина не хватило сил. Его освободили, как всех, без права выезда с Колымы. Он стал пить еще боль-

ше, а в 1952 году повесился в своей комнате в поселке Дебин.

Во время революции старый большевик Николай Сергеевич Минин вел переговоры с АРА от имени Советского правительства, встречался с Нансеном. Позднее читал лекции по радио по антирелигиозным вопросам.

Все его очень любили — как-то выходило так, что Минин всем хотел добра, хотя ничего никому не делал, ни хорошего, ни плохого.

Доктор Сергей Иванович Куликов читал «Туберкулез». В тридцатых годах усердно внушалось гражданам Большой земли, что климат Колымы и климат Дальнего Востока — одно и то же. Колымские горы якобы благоприятствуют лечению туберкулеза и стабилизируют состояние легочных больных, во всяком случае. Ревнителю сего утверждения забывали, что Колымские сопки покрыты болотами, что реки золотых районов проложили себе путь в болотах, что лесотундра Колымы — самое вредное место для легочников. Забывали про почти поголовную заболеваемость туберкулезом у эвенков, якутов, юкагиров Колымы. В больницах для заключенных туберкулезные отделения не планировались. Но бацилла Коха — есть бацилла Коха, и туберкулезные отделения пришлось создавать весьма вместительные.

Сергей Иванович был по видимости сед и дряхл, заметно глуховат, но бодр душой и телом. Предмет свой он считал главнейшим, сердился, когда ему противоречили. Помалкивал, но, слыша важные газетные новости, усмехался и сверкал глазами.

Доктор Куликов отбыл десять лет по какому-то пункту пятьдесят восьмой статьи. Когда освободился, получил пожизненное прикрепление. На Колыму к нему приехала семья: старушка жена и дочь — тоже врач-туберкулезник.

Химик Бойченко вел лабораторную практику курсантов. Меня он запомнил хорошо и относился с полным презрением к человеку, не знающему химии.

Курс нервных болезней читала Анна Израилевна Понизовская. К этому времени она была на свободе и даже успела защитить кандидатскую диссертацию. Ряд лет в заключении довелось ей проработать с крупным невропатологом, профессором Скобло, который много и помог ей в оформлении темы, — так говорили в больнице. С профессором Скобло она встречалась уже после моего знакомства с ним — в 1939 году весной мы с ним вместе мыли

полы на магаданской пересылке. Мир мал, Анна Израилевна была дамой чрезвычайно важной. Она любезно согласилась прочесть несколько лекций на курсах фельдшеров. Само чтение лекций обставлялось столь торжественно, что я из всех ее лекций запомнил только шелковое черное шуршащее платье Анны Израилевны и резкий запах ее духов — ни у одной нашей курсантки не было духов. Повар подарил, правда, Наде Егоровой крошечный флакончик дешевого одеколона «Сирень», но Надя так его осторожно и жадно нюхала во время занятий, что на два ряда назад не доносилось никакого запаха. А может быть, мешал вечный насморк мой, полученный на Колыме.

Помню, что приносили в класс какие-то плакаты — схемы условного рефлекса, должно быть, но был ли от этого толк — не знаю.

Психические заболевания решили нам вовсе не читать, сокращая и без того куцую программу. А преподаватели были — председатель приемной комиссии курсов, доктор Сидкин, был большим психиатром.

Болезни уха, горла, носа читал нам доктор Задер, чистокровный венгр. Писанный красавец с бараньими глазами, доктор Задер знал по-русски очень плохо и передать что-либо курсантам почти не мог. Читать он вызвался для практики в русском языке. Занятия с ним были прямой потерей времени.

Мы донимали Меерзона, который к тому времени был назначен главным врачом больницы, — как же мы будем знать то, что читает Задер?

— Ну, если вы только этого не будете знать, то ничего, — отвечал в своей обычной манере Меерзон.

На Колыму Задер попал только что — сразу после войны. В 1956 году он был реабилитирован, но дело было в конце года, он решил не возвращаться в Венгрию, а, получив кучу денег при расчете с Дальстроем, поселился где-то на юге. С доктором Задером вскоре после того, как он принял зачеты от всех курсантов, случилась одна история.

Доктор Януш Задер, отоларинголог, был венгерским военнопленным, «салашистом», стало быть. «Термин» его был 15 лет. Он быстро выучился по-русски, он был медик, время, когда медиков держали на общих работах, прошло (и притом это указание касалось только литеры «Т» — то есть троцкистов), притом специальность его была самая дефицитная — ухо, горло и нос. Он оперировал и лечил удачно. Работал он в хирургическом отделении, как ординатор — это было нагрузкой к его основной спе-

циальности. На полостных операциях он ассистировал обычно заведующему хирургическим отделением, хирургу Меерзону. Словом, доктору Задеру везло, даже среди вольнонаемных он имел кое-какую клиентуру, он был одет в вольное, носил длинные волосы и был сыт, и мог бы быть и пьян, но спирта он не брал в рот ни капли. Известность его все росла и росла, пока не произошла одна история, которая лишила нашу больницу отоларинголога на долгое время.

Все дело в том, что эритроцит, то есть красный кровяной шарик, живет 21 день. Живая человеческая кровь находится в непрерывном обновлении. Но кровь, выведенная из человеческого организма, не может жить более 21 дня. При хирургическом отделении, как и положено, была своя станция переливания крови, куда сдавали кровь доноры — и вольнонаемные, и заключенные, — вольнонаемные получали 1 рубль за кубик, а заключенные в 10 раз меньше. Для какого-либо гипертоника это был основательный доход, брали по 300—400 граммов в месяц, — сдай, это тебе нужно для леченья, и, кроме того, ты получишь дополнительный паек и деньги. Из заключенных донорами были обслуга (санитары и т. п.), которая и держалась при больнице потому, что давала больным кровь. В переливании крови здесь нуждались больше, чем где-нибудь на земле, но, конечно, переливания крови назначались не по общим медицинским показаниям, в части истощения, например, а лишь в тех случаях, когда это нужно было вследствие или подготовки к операции, или уж особенно тяжелого состояния в терапевтических отделениях.

В станции переливания крови всегда был запас заранее взятой крови. И наличие этого запаса было гордостью нашей больницы. Во всех других больницах если и переливали кровь, то непосредственно от человека к человеку. Донор и реципиент лежали на соседних столах во время этой манипуляции.

Кровь, сроки хранения которой прошли, — выбрасывалась.

Недалеко от больницы был свиноводхоз, где время от времени при забоях свиней копили кровь и привозили ее в больницу. Здесь в кровь наливали раствор лимоннокислого натрия для предупреждения свертываемости и давали больным пить эту жидкость, нечто вроде самодельного гематогена, очень питательную и любимую больными, питание которых состояло из всяких юшек и перловых каш. Выдачи гематогена для больных не были новостью.

Случилось так, что заведующий хирургическим отделением, врач Меерзон, уехал в командировку, и заведование отделением перешло к доктору Задеру.

Во время обхода отделения он считал себя обязанным посетить и станцию переливания крови, где обнаружил, что у значительного запаса крови уже выходит срок хранения, и выслушал сообщение медсестры о ее намерении вылить эту кровь. Доктора Задера это удивило. «Разве эту кровь надо выбрасывать?» — спросил он. Сестра сказала, что так делается всегда.

— Перелейте эту кровь в чайники и выдайте ее тяжелым больным — «рег ос», — распорядился Задер. Сестра раздала кровь, и больные были этим очень довольны. — В будущем, — сказал венгр, — всю кровь, которая стареет, выдавайте таким же образом.

Так началась практика раздачи донорской крови в палатах. Когда заведующий отделением вернулся, он затеял скандал на высоких нотах: что фашист Задер поит больных человеческой кровью — ни больше, ни меньше. Больные узнали об этом в тот же день, ибо в больницах слухи распространяются еще быстрее, чем в тюрьмах, и тех, которые получали когда-то кровь, стало рвать. Задер был устранен от работы без всяких объяснений, и детальная докладная записка, уличающая Задера во всевозможных преступлениях, полетела в санитарное управление. Растерявшийся Задер пытался объяснить, что ведь никакой принципиальной разницы нет между переливанием в вену и приемом через рот, что эта кровь — хорошее дополнительное питание, но никто его не слушал. Волосы Задеру остригли, вольнонаемный пиджачок сняли и в арестантской робе его перевели в бригаду Лурье на лесозаготовку, и доктор Задер уже успел попасть на стахановскую доску лесного участка, когда явилась комиссия санитарного управления, обеспокоенная, впрочем, не самим фактом такого переливания крови, но тем обстоятельством, что ушная и горловая клиентура осталась без врача. По счастливой случайности комиссию эту возглавил майор медицинской службы, только что демобилизованный из армии и всю войну проработавший в хирургических отделениях медсанбата. Ознакомившись с материалами «обвинения», он никак не мог понять — в чем дело? За что преследуется Задер? И когда было выяснено, что Задер раздавал больным человеческую кровь, «давал пить кровь», майор сказал, пожимая плечами:

— На фронте я это делал четыре года. А что, здесь нельзя это делать? Я ведь не знаю, я здесь недавно.

Задер был возвращен в хирургическое отделение из леса, несмотря на письменный протест бригадира лесозаготовок, который считал, что у него по чьему-то капризу берут лучшего лесоруба.

Но интерес к работе Задер потерял и никаких рационализаторских предложений больше не вносил.

Доктор Доктор был подлец законченный. Говорили, что он взяточник и самоснабженец — но разве на Колыме были начальники иных привычек? Мстительный и склочный — и это простительно.

Доктор Доктор ненавидел заключенных. Не то что плохо или недоверчиво к ним относился. Нет, он их тиранил, унижал повседневно и повсечасно, придирался, оскорблял и широко использовал свою безграничную власть (в пределах больницы) для наполнения карцеров, штрафных участков. Бывших заключенных он не считал за людей и неоднократно грозил — хирургу Трауту, например, что дать новый срок Трауту доктор Доктор не задумается. Каждый день свозили ему в квартиру то свежую рыбу — бригада «больных» ловила на море сетями, — то парниковые овощи, то мясо со свиносовхоза — и все это в количествах, достаточных для прокормления Гулливера. Доктор Доктор имел прислугу — дневального из заключенных, и тот помогал ему в реализации всех приношений. С «материка» в адрес доктора Доктора шли посылки с махоркой — валютой Колымы. Начальником больницы он был целый ряд лет, пока наконец другой гангстер не свалил доктора Доктора. Начальнику Доктора показалось, что «отчисления» маловаты.

Но все это было после, а во времена курсов доктор Доктор был царь и бог. Ежедневно устраивались собрания, и Доктор выступал там с речами, сильно забирая в сторону культа личности.

По части всяких клеветнических «меморандумов» Доктор тоже был большой мастер и мог «оформить» кого угодно.

Был он начальником мстительным, мелко мстительным.

— Вот ты мне не поклонился при встрече, а я на тебя напишу донос, да не просто донос, а официальный мемо-

рандум. Напишу «кадровый троцкист и враг народа» — и уж будь покоен — штрафной прииск тебе обеспечен.

Собственное детище — курсы огорчали доктора Доктора. Слишком много там оказалось курсантов пятьдесят восьмой статьи — доктор Доктор побаивался за свою карьеру. Типичный администратор тридцать седьмого года, доктор Доктор уволился было из Дальстроя к концу сороковых годов, но, увидя, что все остается по-прежнему и что на «материке» надо работать, вернулся на колымскую службу. Хотя процентные надбавки надо было выслуживать заново, Доктор очутился в привычной обстановке.

Посетив курсы перед выпускными экзаменами, доктор Доктор благожелательно выслушал доклад об успехах учащихя, обвел всех курсантов своими светло-голубыми стекляными глазами и спросил:

— А банки-то все могут ставить?

Почтительный хохот преподавателей и «студентов» был ему ответом. Увы, именно банок-то мы и не научились ставить — никто из нас не думал, что эта нехитрая процедура имеет свои секреты.

Глазные болезни преподавал доктор Лоскутов. Мне выпало счастье знать и ряд лет работать вместе с Федором Ефимовичем Лоскутовым — одной из самых примечательных фигур Колымы. Батальонный комиссар времен гражданской войны — колчаковская пуля навеки засела в левом легком — Лоскутов получил медицинское образование в начале двадцатых годов и работал как военный врач, в армии. Случайная шуточка по адресу Сталина привела его в военный трибунал. Со сроком в три года он приехал на Колыму и первый год работал слесарем на прииске «Партизан». Потом был допущен к врачебной работе. Трехлетний срок подходил к концу. Это было время, известное по Колыме и по всей России под названием «гаранинщины», хотя правильней было бы назвать это время «павловщиной» по имени тогдашнего начальника Дальстроя. Полковник Гаранин был только заместителем Павлова, начальником лагерей, но именно он был председателем расстрельной тройки и подписывал весь 1938 год бесконечные списки расстрелянных. В 1938 году было страшно освобождаться по пятьдесят восьмой статье. Всем, кто кончал срок, грозило новое «дело», созданное, навязанное, организованное. Спокойней было



иметь в приговоре лет десять, пятнадцать, чем три, пять. Легче было дышать.

Лоскутов был осужден снова — «колымской тройкой» во главе с Гараниным — на десять лет. Способный врач, он специализировался на глазных болезнях, оперировал, был ценнейшим специалистом. Санитарное управление держало его близ Магадана, на двадцать третьем километре — в нужных случаях его отвозили с конвоем в город Магадан для консультаций, операций. Один из последних земских врачей, Лоскутов был универсалом: он мог делать несложные полостные операции, знал гинекологию и был специалистом по болезням глаз.

В 1947 году, когда новый срок его подходил к концу, было снова сфабриковано дело уполномоченным Симоновским. В больнице арестовали нескольких фельдшеров и сестер и осудили их на разные сроки. Сам Лоскутов вновь получил десять лет. На этот раз настаивали, чтобы его удалили из Магадана и передали в «Берлаг» — новый, внутренний лагерь на Колыме для политических рецидивистов со строгим режимом. Несколько лет больничному начальству удавалось отстоять Лоскутова от «Берлага», но в конце концов он туда попал и *по третьему сроку!* с применением зачетов освобожден в 1954 году. В 1955 году был полностью реабилитирован по всем трем срокам.

Когда он освободился, у него была одна смена белья, гимнастерка и штаны.

Человек высоких нравственных качеств, доктор Лоскутов всю свою врачебную деятельность, всю свою жизнь лагерного врача подчинил одной задаче: активной постоянной помощи людям, арестантам по преимуществу. Эта помощь была отнюдь не только медицинской. Он всегда кого-то устраивал, кого-то рекомендовал на работу после выписки из больницы. Всегда кого-то кормил, кому-то носил передачи — тому щепотку махорки, тому кусок хлеба.

Попасть к нему в отделение (он работал как терапевт) считали большие за счастье.

Он непрерывно хлопотал, ходил, писал.

И так не месяц, не год, а целых двадцать лет изо дня в день, получая от начальства только дополнительные сроки наказания.

В истории мы знаем такую фигуру. Это — тюремный врач Федор Петрович Гааз<sup>1</sup>, о котором написал книжку

---

<sup>1</sup> Ф. П. Гааз умер в 1853 г.

А. Ф. Кони. Но время Гааза было другим временем. Это были шестидесятые годы прошлого столетия — время нравственного подъема русского общества. Тридцатые годы двадцатого столетия таким подъемом не отличались. В атмосфере доносов, клеветы, наказаний, несправия, получая один за другим тюремные приговоры по провокационно созданным делам, — творить добрые дела было гораздо труднее, чем во времена Гааза.

Одному Лоскутов устраивал выезд на «материк», как инвалиду, другому подыскивал легкую работу — не спрашивая у больного ничего, распоряжался его судьбой умно и полезно.

У Федора Ефимовича Лоскутова было маловато грамотности — в школьном смысле этого слова, — он пришел в медицинский институт с низким образованием. Но он много читал, хорошо наблюдал жизнь, много думал, свободно судил о самых различных предметах — он был широко образованным человеком.

В высшей степени скромный человек, неторопливый в рассуждениях — он был фигурой примечательной. Был у него недостаток — его помощь была, на мой взгляд, чересчур неразборчива, и потому его пробовали «оседлать» блатари, чувствуя пресловутую слабинку. Но впоследствии он хорошо разобрался и в этом.

Три лагерных приговора, тревожная колымская жизнь с угрозами начальства, с унижениями, с неуверенностью в завтрашнем дне — не сделали из Лоскутова ни скептика, ни циника.

И выйдя на настоящую волю, получив реабилитацию и кучу денег вместе, он так же раздавал их, кому надо, так же помогал и не имел лишней пары белья, получая несколько тысяч рублей в месяц.

Таков был преподаватель глазных болезней. После окончания курсов мне пришлось проработать несколько недель — первых моих фельдшерских недель — именно у Лоскутова. Первый вечер закончился в процедурной. Привели больного с загортанным абсцессом.

— Что это такое? — спросил меня Лоскутов.

— Загортанный абсцесс.

— А лечение?

— Выпустить гной, следя, чтобы больной не захлебнулся жидкостью.

— Положите инструменты кипятить.

Я положил в стерилизатор инструменты, вскипятил, вызвал Лоскутова:

— Готово.

— Ведите больного.

Больной сел на табуретку, с открытым ртом. Лампочка освещала ему гортань.

— Мойте руки, Федор Ефимович.

— Нет, это вы мойте,— сказал Лоскутов.— Вы будете делать эту операцию.

Холодный пот пробежал у меня по спине. Но я знал, хорошо знал, что, пока своими руками не сделаешь чего-либо, ты не можешь сказать, что умеешь это делать. Нетрудное вдруг оказывается непосильным, сложное — невероятно простым.

Я вымыл руки и решительно подошел к больному. Широко раскрытые глаза больного укоризненно и испуганно глядели на меня.

Я примерился, проткнул созревший абсцесс тупым концом ножа.

— Голову! Голову! — закричал Федор Ефимович.

Я успел нагнуть голову больного вперед, и он выхаркнул гной прямо на полы моего халата.

— Ну, вот и все. А халат смените.

На следующий день Лоскутов откомандировал меня в «полустационар» больницы, где жили инвалиды, поручив мне перемерить у всех артериальное давление. Захватив аппарат Рива-Роччи, я перемерил у всех шестидесяти и записал на бумагу. Это были гипертоники. Я измерял давление там целую неделю, по десять раз у каждого, и только потом Лоскутов показал мне карточки этих больных.

Я радовался, что произвожу эти измерения в одиночестве. Много лет позже я сообразил, что это было рассчитанным приемом — дать мне освоиться спокойно; иначе надо было вести себя в первом случае, где требовалась срочность решения, смелая рука.

Всякий день открывалось что-то новое и в то же время явно знакомое — из лекционного материала.

Симулянтов и аггравантов Федор Ефимович не разоблачал.

— Им только кажется,— говорил грустно Лоскутов,— что они агграванты и симулянты. Они больны гораздо серьезней, чем думают сами. Симуляция и аггравация на фоне алиментарной дистрофии и духовного маразма лагерной жизни — явление неописанное, неописанное...

Александр Александрович Малинский, читавший курс внутренних болезней, был вымытый, раскормленный сангвиник, чисто выбритый, седой, начинающий полнеть весельчак. Губы у него были темно-розовые, сердечком. Да аристократические родинки на длинных ножках дрожали на его багровой спине — таким он представлял иногда курсантам в больничной бане, в парильне. Спал он — единственный из колымских врачей, да, мне кажется, единственный из всех колымчан — в сшитой на заказ мужской длинной рубашке до щиколоток. Это было обнаружено во время пожара в его отделении. Пожар удалось сразу потушить, и о нем быстро забыли, но о нижней ночной рубашке доктора Малинского больница толковала много месяцев.

Бывший лектор курсов усовершенствования врачей в Москве, он с трудом приспособлялся к уровню курсантских знаний.

Холодок отчуждения был постоянно между лектором и слушателями. Александр Александрович хотел бы порвать эту завесу, но не знал, как это сделать. Он сочинил несколько пошловатых анекдотов — это не сделало предмет его занятий более доступным.

Наглядность? Но даже в лекциях по анатомии мы обходились без скелета. Уманский рисовал нам мелом на доске нужные кости.

Малинский читал лекции, от всего сердца стараясь дать нам как можно больше сведений. Очень зная лагерь — он был арестован в тридцать седьмом году, — Малинский дал в лекциях много важных советов в части медицинской этики в ее лагерном преломлении. «Научитесь верить больному», — горячо призывал Александр Александрович, подпрыгивая у доски и постукивая мелом. Речь шла о прострелах, люмбаго, но мы понимали, что этот призыв касается материй более важных — здесь речь идет о поведении *настоящей* медицины в лагере, о том, что уродливость лагерной жизни не должна уводить медика с его настоящих путей.

Мы многим обязаны доктору Малинскому — сведениями, знаниями, и, хотя всегдашнее его стремление держаться от нас на значительном расстоянии, по нашему мнению, и как бы на горе не внушало нам симпатии, мы признавали его достоинства.

Колымский климат Александр Александрович переносил хорошо. Уже после реабилитации он по собственному

желанию остался доживать свою жизнь в Сеймчане, в одном из овощных хозяйств Колымы.

Александр Александрович регулярно читал газеты, но мнениями ни с кем не делился — опыт, опыт... Книги читал он только медицинские.

Заведующей курсами была вольнонаемная договорница, врач Татьяна Михайловна Ильина, сестра Сергея Ильина, известного футболиста, как рекомендовалась она сама. Татьяна Михайловна была дама, старавшаяся до мелочей попадать в тон высшему начальству. Она сделала большую карьеру на Колыме. Ее духовный подхалимаж был почти беспределен. Когда-то она просила принести что-либо почитать «получше». Я принес драгоценность: однотомник Хемингуэя с «Пятой колонной» и «48 рассказами». Ильина повертела вишневого цвета книжку в руках, полистала.

— Нет, возьмите обратно: это — роскошь, а нам нужен черный хлеб.

Это были явно чужие, ханжеские слова, и выговорила она их с удовольствием, но не совсем кстати. После такого афронта я забыл думать о роли книжного советчика доктора Ильиной.

Татьяна Михайловна была замужем. На Колыму она приехала с двумя детьми — женой при муже. Муж ее, боевой офицер, после войны подписал договор с Дальстроем и приехал с семьей на северо-восток: там сохранялись офицерские пайки, чины и льготы, а семья была большая, двое детей. Он был назначен начальником политотдела одного из горных управлений Колымы — должность немаленькая, почти генеральская, и притом с перспективами. Но Николаев — фамилия мужа Татьяны Михайловны была Николаев — был человеком наблюдательным, совестливым и отнюдь не карьеристом. Приглядевшись к тому бесправию, спекуляции, доносам, воровству, подсиживанию, самоснабжению, взяткам и казнокрадству и всем жестокостям, которые творят колымские начальники над заключенными, Николаев начал пить. Деморализующее влияние людской жестокости он понял и осудил глубоко и бесповоротно. Жизнь открылась ему самыми страшными страницами, много страшнее, чем были фронтовые годы. Он был не взяточник, не подлец. Он начал пить.

От должности начальника политотдела он был быстро отстранен и за короткий срок — всего за два-три года — проделал карьеру сверху вниз и дошел до синекурной,

малооплачиваемой и невлиятельной должности инспектора КВЧ больницы для заключенных. Рыбная ловля стала его вынужденной страстью. Глубоко в тайге, на берегу реки Николаев чувствовал себя лучше, спокойней. Когда сроки его договора кончились, он уехал на «материк».

Татьяна Михайловна не последовала за ним. Напротив, она вступила в партию, положила начало карьере. Детей они разделили — девочка досталась отцу, мальчик — матери.

Но все это случилось после, а сейчас доктор Ильина была заботливой и тактичной заведующей нашими курсами. Побаявывая заключенных, она старалась иметь с ними дела поменьше и даже, кажется, прислугу из заключенных себе еще не завела.

Хирургию — общую и частную — читал Меерзон. Меерзон был учеником Спасокукоцкого, хирургом с большим будущим, крупной научной судьбы. Но — он был женат на родственнице Зиновьева и в 1937 году арестован и осужден на десять лет — как глава какой-то террористической, вредительской, антисоветской организации... В 1946 году, когда открылись фельдшерские курсы, он только что освобожден из заключения. (На общих работах ему довелось работать меньше года — все заключение он был хирургом.) Тогда начали входить в моду «пожизненные прикрепления» — пожизненно был прикреплен и Меерзон. Только что освобожденный — он был сугубо осторожен, сугубо официален, сугубо неприступен. Разбитая вдребезги большая судьба, озлобление искали выход и находили в острогах, в насмешливости...

Лекции читал он превосходно. Меерзон был десять лет лишен любимой преподавательской работы — беседы на ходу с операционными сестрами были, конечно, не в счет — впервые он видел перед собой аудиторию, «студентов», курсантов, жаждущих получить медицинские знания. И хоть состав курсантов был очень пестрым — это не смущало Меерзона. Сначала его лекции были увлекательными, огненными. Первый же опрос был ушатом ледяной воды, вылитой на разгорячившегося Меерзона. Аудитория была слишком простой: слова «элемент», «форма» подлежали разъяснению, и разъяснению подробному. Меерзон это понял, он был крайне огорчен, но не подал виду и постарался приспособиться к уровню. Равняться

приходилось на последних — на финку Айно, на завмага Силантьева и т. д.

— Образуется свищ,— говорил профессор.— Кто знает, что такое свищ?

Молчание.

— Это — дыра, дыра такая...

Лекции потускнели, хотя и не утратили своего делового содержания.

Как и подобает хирургу, Меерзон относился с явным презрением ко всем другим медицинским специальностям. У себя в отделении заботу персонала о стерильности он довел почти до столичных высот, требуя скрупулезного выполнения требований хирургических клиник. В других же отделениях он вел себя с нарочитым пренебрежением. Приходя на консультации, он никогда не снимал полушубка и шапки и в полушубке садился на кровать к больному — в любом терапевтическом отделении. Это делалось нарочно, выглядело как оскорбление. Палаты были все же чистыми, и мокрые следы от валенок Меерзона долго затирали ворчащие санитары, когда консультант уходил. Это было одним из развлечений хирурга — язык у Меерзона был подвешен хорошо, и он всегда был готов излить на терапевта свою желчь, свою злость, свое недовольство миром.

На лекциях он не развлекался. Излагая все ясно, точно, исчерпывающе, он умел найти понятные всем примеры, живые иллюстрации, и если видел, что усвоение идет хорошо,— радовался. Он был ведущим хирургом больницы и позднее — главным врачом, и на наших курсах мнение его имело решающее значение во всех вопросах внутрикурсовой жизни. Все его действия на виду у курсантов, все его разговоры были продуманны и целесообразны.

В первый день посещения нами настоящей операции, когда мы толпились в углу операционной в стерильных халатах, впервые надетых, в фантастических марлевых полумасках, Меерзон оперировал. Ассистировала его постоянная операционная сестра — Нина Дмитриевна Харченко, договорница, секретарь комсомольской организации больницы. Меерзон подавал отрывистые команды:

— Кохер!.. Иглу!

И Харченко хватала со столика инструменты и бережно вкладывала их в протянутую в сторону, затянутую светло-желтой резиновой перчаткой руку хирурга.

Но вот она подала не то, что нужно, и Меерзон грубо выругался и, взмахнув рукой, бросил пинцет на пол. Пин-

цет зазвенел, Нина Дмитриевна покраснела и робко пода-  
ла нужный инструмент.

Мы были обижены за Харченко, обозлены на Меерзона. Мы считали, что он не должен был так делать. Хотя бы ради нас, если он такой уж грубиян.

После операции мы обратились к Нине Дмитриевне со словами сочувствия.

— Ребята, хирург отвечает за операцию,— сказала она серьезно и доверительно. В голосе ее не было смущения и обиды.

Будто поняв все, что творилось в душе неопитов, следующее свое занятие Меерзон посвятил особой теме. Это была блестящая лекция об ответственности хирурга, о воле хирурга, о необходимости сломать волю больного, о психологии врача и психологии больного.

Лекция эта вызвала единодушное восхищение, и со времени этой лекции мы — в своей курсантской среде — поставили Меерзона выше всех.

Столь же блестящей, прямо-таки поэтической была его лекция «Руки хирурга» — где речь о существовании медицинской профессии, о понятии стерильности шла в высоком накале. Меерзон читал ее для себя, почти не глядя на слушателей. В ней было много рассказов. И паника, охватившая клинику Спасокукоцкого при таинственном заражении больных при чистых операциях — разгаданная бородавка на пальце ассистента. Это была лекция о строении кожи, о хирургической безупречности. И почему ни один хирург, ни операционная сестра или фельдшер хирургического отделения не имеет права участвовать в лагерных «ударниках», не имеет права на физическую работу. И за этим мы видели страстную многолетнюю борьбу хирурга Меерзона с безграмотным лагерным начальством.

Иногда в день, посвященный проверке усвоенного, Меерзон успевал сделать опрос скорее, чем рассчитывал. Остаток времени был посвящен интереснейшим рассказам «по поводу»: о выдающихся русских хирургах, об Олпеле, Федорове и особенно о Спасокукоцком, которого Меерзон боготворил. Все было остроумно, умно, полезно, все было самое «настоящее». Менялся наш взгляд на мир, мы делали медиками благодаря Меерзону. Мы учились медицинскому мышлению, и учились успешно. Каждый из нас был другим после восьмимесячных этих курсов по программе двухлетних школ.



Из Магадана впоследствии Меерзон переехал в Некси-  
кая — в Западное управление. В 1952 году был внезапно  
арестован и увезен в Москву — его пытались «пришить»  
к делу врачей, и вместе с ними он был освобожден в 1953 го-  
ду. Вернувшись на Колыму, Меерзон проработал там  
недолго, боясь оставаться долее в столь зыбкой и опасной  
местности. Он уехал на материк.

При больнице был клуб, но курсанты туда не ходи-  
ли — кроме девушек, Женьки Каца и Борисова.

Нам казалось кощунством потратить хоть час свобод-  
ного времени на что-либо, кроме занятий. Мы занима-  
лись день и ночь. Сначала я пытался переписывать записи  
набело в беловую тетрадку — но на это не хватало ни вре-  
мени, ни бумаги.

Лагерная больница была уже переполнена людьми  
с войны — русские эмигранты из Маньчжурии, пленные  
японцы, которым вместо хлеба выдавали рис — многие  
сотни людей, осужденных как шпионы военными трибу-  
налами, — но все это еще не приобрело того размаха, ко-  
торый приобрели репрессии немного позже, к концу навигации  
1946 года, когда пять тысяч заключенных, привезен-  
ных на пароходе «КИМ», в декабре были залиты водой из  
брандспойтов во время затянувшегося рейса. Работу по  
перевозке, ампутациям этих отмороженных мы вели уже  
полноправными фельдшерами и не в Магадане.

Каждый день нас мучили сомнения — не закроют ли  
курсы? Слухи, один страшнее другого, мешали мне спать.  
Но занятия понемногу шли, шли, и наконец настал день,  
когда крайние нытики и маловеры должны были переве-  
сти с облегчением дух.

Прошло более трех месяцев, а курсы все работали. На-  
чались новые сомнения — выдержим ли мы выпускной  
экзамен? Ведь курсы были учреждением вполне официаль-  
ным, они давали право лечить. Правда, в 1953 году сани-  
тарный отдел Дальстроя разъяснял Калининскому горздра-  
ву, что окончившие эти курсы могут лечить только на  
Колыме, но столь странные границы медицинских знаний  
не были приняты во внимание на местах.

Большим огорчением было то, что программа была  
сокращена и давала права медсестры или медбрата. Но  
и это было дело второстепенное. Хуже было то, что на ру-

ки не давали никаких документов. «Справки будут вложены в ваши личные дела», — объясняла Ильина. Оказалось, что в личных делах никаких следов нашего медицинского образования нет. После освобождения кое-кому из нас пришлось собирать свидетельства, заверенные преподавателями курсов.

После трех месяцев занятий время стало двигаться очень, очень быстро. Приближающийся день экзаменов не радовал — экзамен подводил итог нашей замечательной жизни на двадцать третьем километре. Мы, выдавшие Колыму, мы, ветераны тридцать седьмого года, — знали, что лучшей жизни не будет. И потому тревожились и грустили, впрочем, умеренно, ибо Колыма научила нас не рассчитывать долее чем на день вперед.

День экзамена приближался. Уже открыто говорили, что больницу эту переводят за 500 километров в глубь тайги — на левый берег реки Колымы, в поселок Дебин.

За месяц до окончания курсов устроен был пробный экзамен по всем предметам. Я не придавал значения этому случаю и только после выпускного экзамена сообразил, что все билеты, которые курсанты получили на настоящем экзамене, были — по всем предметам — повторением вопросов предварительного экзамена. Конечно, члены комиссии — высокое начальство из санотдела Дальстроя — могли задавать и задавали дополнительные вопросы. Но основа уверенности для выпускника, основа впечатления для экзаменатора была уже заложена в удачном знакомом билете. Я помню свой билет по хирургии — «варикозное расширение вен».

Еще до экзаменов прошел успокоительный слух, что выпущены будут все, обязательно все, никто не будет лишен скромных медицинских прав. Это всех обрадовало. Слух оказался верным.

Понемногу наши знакомства укреплялись, расширялись. Мы уже не были посторонними, мы были посвященными, мы были членами великого врачебного ордена. Так смотрели на нас и врачи, и больные.

Мы перестали быть обыкновенными людьми. Мы стали специалистами.

Я чувствовал себя — впервые на Колыме — необходимым человеком: больнице, лагерю, жизни, самому себе. Я чувствовал себя полноправным человеком, на которого никто не мог кричать и издеваться над ним.

И хотя многие начальники сажали меня в карцер за разные проступки против лагерного режима, выдуманные

и действительные,— я и в карцере оставался человеком, нужным больнице. Я выходил из карцера опять на фельдшерскую работу.

Разбитое в куски самолюбие получило тот необходимый клей, цемент, при помощи которого можно было восстановить разбитое вдребезги.

Курсы шли к концу, и молодые ребята завели себе девушек, все как полагается. Но те, кто был постарше, не позволили чувству любви вмешаться в будущее. Любовь была слишком дешевой ставкой в лагерной игре. Нас учили воздержанию годами, и учили не зря.

Острейшее самолюбие росло во мне. Чужой отличный ответ на любом занятии я воспринимал как личное оскорбление, как обиду. Я должен был уметь ответить на все вопросы преподавателя.

Знания наши росли понемногу, а главное — расширялся интерес, и мы спрашивали, спрашивали врачей — пусть наивно, пусть глупо. Но врачи не считали наивным и глупым ни один наш вопрос. На все давался ответ всякий раз с достаточной категоричностью. Ответы вызывали новые вопросы. На медицинские споры между собой мы еще не отваживались. Это было бы слишком самонадеянно.

Но... однажды меня позвали вправить вывих плеча. Врач давал наркоз «рауш», а я вправлял ногой — по Гиппократову способу. Под пяткой что-то мягко щелкнуло, и плечевая кость вошла на свое место. Я был счастлив. Татьяна Михайловна Ильина, присутствовавшая при вправлении вывиха, сказала:

— Вот как хорошо вас учили,— и я не мог не согласиться с ней.

Разумеется, я ни разу не был ни в кинематографе, ни на постановках культбригады, которая в Магадане, да и в больнице, была вполне грамотной и отличалась выдумкой и вкусом, какие могут пробиться сквозь цензурные заслоны КВЧ. Магаданской культбригадой руководил в то время Л. В. Варпаховский, впоследствии главный режиссер Московского театра имени Ермоловой. У меня не было времени, да и медленно раскрывающиеся тайны медицины интересовали меня гораздо больше.

Медицинская терминология перестала быть абракадаброй. Я брался за чтение медицинских статей и книг без прежнего бессилия и без страха.

Я уже не был человеком обыкновенным. Я обязан был уметь оказывать первую помощь, уметь разобраться в со-

стоянии тяжелобольного хотя бы в общих чертах. Я обязан был видеть опасность, угрожающую жизни людей. Это было и радостно, и тревожно. Я боялся — выполню ли я свой высокий долг.

Я знал, как взяться за сифонную клизму, за аппарат Боброва, за скальпель, за шприц...

Я умел перестелить постельное белье у тяжелобольного и мог научить этому санитаров. Я мог объяснить санитарам — для чего производится дезинфекция, уборка.

Я узнал тысячу вещей, которых я не знал раньше, — нужных, необходимых, полезных людям вещей.

Курсы кончились, новых фельдшеров стали отправлять мало-помалу на места для работы. Вот и список, в руках конвоира список, в котором есть и моя фамилия. Но я сажусь в машину последний. Я везу больных на Левый берег. Машина битком набита, я сажусь у самого края спиной к борту. Пока я усаживался, у меня сдвинулась рубашка, и ветер дует в щель борта машины. В руках у меня сверток с пузырьками: валерьянкой, ландышевыми каплями, с йодом, нашатырем. В ногах — туго набитый мешок с моими учебными тетрадами фельдшерских курсов.

Не один год эти тетради были для меня лучшей опорой, пока наконец, во время моего отъезда, медведь, забравшийся в таежную амбулаторию, не изорвал в клочья все мои записи, переколов все банки и пузырьки.

1960

## ПЕРВЫЙ ЧЕКИСТ

Синие глаза выцветают. В детстве — васильковые, превращаются с годами в грязно-мутные, серо-голубые обывательские глазки; либо в стекловидные щупальцы следователей и вахтеров; либо в солдатские «стальные» глаза — оттенков бывает много. И очень редко глаза сохраняют цвет детства...

Пучок красных солнечных лучей делился переплетом тюремной решетки на несколько меньших пучков; где-то посреди камеры пучки света вновь сливались в сплошной поток, красно-золотой. В этой световой струе густо золотились пылинки. Мухи, попавшие в полосу света, сами становились золотыми, как солнце. Лучи заката

били прямо в дверь, окованную серым глянцевитым железом.

Звякнул замок — звук, который в тюремной камере слышит любой арестант, бодрствующий и спящий, слышит в любой час. Нет в камере разговора, который мог бы заглушить этот звук, нет в камере сна, который отвлек бы от этого звука. Нет в камере такой мысли, которая могла бы... Никто не может сосредоточиться на чем-либо, чтобы пропустить этот звук, не услышать его. У каждого замирает сердце, когда он слышит звук замка, стук судьбы в двери камеры, в души, в сердца, в умы. Каждого этот звук наполняет тревогой. И спутать его ни с каким другим звуком нельзя.

Звякнул замок, дверь открылась, и поток лучей вырвался из камеры. В открытую дверь стало видно, как лучи пересекли коридор, кинулись в окно коридора, перелетели тюремный двор и разбились на оконных стеклах другого тюремного корпуса. Все это успели разглядеть все шестьдесят жителей камеры в то короткое время, пока дверь была открыта. Дверь захлопнулась с мелодичным звоном, похожим на звон старинных сундуков, когда хлопают крышку. И сразу все арестанты, жадно следившие за броском светового потока, за движеньем луча, как будто это было живое существо, их брат и товарищ, — поняли, что солнце снова заперто вместе с ними.

И только тогда все увидели, что у двери, принимая на свою широкую черную грудь поток золотых закатных лучей, стоит человек, щурясь от резкого света.

Человек был немолод, высок и широкоплеч, густая шапка светлых волос покрывала всю голову. Только приглядевшись, можно было понять, что седина давно уже высветлила эти желтые волосы. Морщинистое, похожее на рельефную карту лицо было покрыто множеством глубоких оспин вроде лунных кратеров.

Человек был одет в черную суконную гимнастерку без пояса, расстегнутую на груди, в черных суконных брюках галифе, в сапогах. В руках он мял черную шинель, изрядно потертую. Одежда держалась на нем кое-как — пуговицы были все спороты.

— Алексеев, — сказал он негромко, повертывая большую волосатую кисть руки ладонью к своей груди. — Здравствуйте...

Но к нему уже шли, ободряя его нервным, взрывчатым арестантским смехом, хлопали его по плечам, пожимали ему руки. Уже приближался староста камеры, выборное

начальство, чтобы указать место новичку. «Гавриил Алексеев», — повторял медведеобразный человек. И еще: «Гавриил Тимофеевич Алексеев»... Черный человек отодвинулся в сторону, и солнечный луч уже не мешал видеть глаза Алексеева — крупные, васильковые, детские глаза.

Камера скоро узнала подробности жизни Алексеева — начальника пожарной команды наро-фоминской фабрики — оттуда и черный, казенный костюм. Да, член партии с лета 1917 года. Да, солдат-артиллерист, принимал участие в октябрьских боях в Москве. Да, исключался из партии в двадцать седьмом году. Был восстановлен. И снова исключен — неделю тому назад.

Разно себя держат арестанты при аресте. Разломить недоверие одних — очень трудное дело. Исполдволь, день ото дня привыкают они к своей судьбе, начинают кое-что понимать.

Алексеев был другого склада. Как будто он молчал много лет — и вот арест, тюремная камера возвратила ему дар речи. Он нашел здесь возможность понять самое важное, угадать ход времени, угадать собственную свою судьбу и понять — почему. Найти ответ на то огромное, нависшее над всей его жизнью и судьбой, и не только над жизнью и судьбой его, но и сотен тысяч других, огромное, исполинское «почему».

Алексеев рассказывал не оправдываясь, не спрашивая, а просто стараясь понять, сравнить, угадать.

С утра и до вечера он ходил взад-вперед по камере, огромный, медведеобразный, в черной гимнастерке без пояса, обняв кого-нибудь за плечи своей огромной лапой, и спрашивал, спрашивал... Или рассказывал.

— За что ж тебя исключили, Гаврюша?

— Да понимаешь как. Было занятие политкружка. Тема — Октябрь в Москве. А я ведь — мураловский солдат, артиллерист, две раны получил. Я лично наводил орудия на юнкеров, что были у Никитских ворот. Мне говорит преподаватель на занятии: «Кто командовал войсками Советской власти в Москве в момент переворота?» Я говорю — Муралов, Николай Иванович. Я хорошо его знал, лично. Как я скажу иначе? Что я скажу?

— Это был провокационный вопрос, Гавриил Тимофеевич. Ведь ты знал, что Муралов объявлен врагом народа?

— Да ведь как иначе скажешь? Я ведь это не из политграмоты знаю. В ту же ночь меня и арестовали.

— А как ты попал в Наро-Фоминск? В пожарную охрану?

— Пил очень. Демобилизовали меня из Чека еще в восемнадцатом году. Муралов же меня туда и направил. Как особо надежного... Ну и болезнь у меня там началась.

— Какая болезнь, Гаврюша? Ты такой здоровый медведь...

— Увидите еще. Я и сам не знаю, что у меня за болезнь... Не могу ее запомнить. Что со мной бывает, не помню. А что-то бывает... Тревога начинается, злоба, и приходит Она...

— От водки?

— Нет, не от водки... От жизни. Водка само собой.

— А учиться бы... Дороги были все открыты.

— Да ведь как учиться. Одним учиться, а другим учебку эту защищать. Не красно я говорю, а, землячок? А потом года прошли — не на рабфак же идти. Остался этот вохр проклятый. Да водка. Да Она.

— А дети у тебя есть?

— Была дочь от первой жены. Ушла от меня. Сейчас живу с одной ткачихой. Ну, мой арест испугает ее до полусмерти, если не до смерти. А мне арест — сразу легко. Ни о чем думать не надо. Все будет решено без меня. Подумают без меня. Как дальше жить Гаврюше Алексееву?

Прошло немного дней, всего несколько дней. Пришла Она.

Алексеев жалобно крикнул, размахнул руки и рухнул на нары навзничь. Лицо его посерело, пузырчатая пена текла из его синего рта, ослабевших губ. Теплый пот выступал на серых щеках, на волосатой груди. Соседи ухватили за руки, навалились на ноги Алексеева. Тело его дрожало крупной дрожью.

— Голову, голову ему берегите, — и кто-то подsunул черную шинель под потную голову Алексеева с вклокоченными волосами.

Пришла Она. Припадок падучей продолжался очень долго, мощные клубки мускулов все вздувались, кулаки кого-то били, и неловкие пальцы соседей разнимали эти могучие кулаки. Ноги куда-то бежали, но навалившаяся тяжесть нескольких человек удерживала Алексеева на нарах.

Вот мускулы постепенно ослабели, пальцы разжались, Алексеев спал.

Все это время дежурные по камере стучали в дверь, яростно вызывая врача. Ведь должен же был быть какой-

нибудь врач в Бутырках. Какой-нибудь Федор Петрович Гааз. Или просто дежурный военврач какого-то там ранга, лейтенант медицинской службы.

Вызвать врача оказалось непросто, но врач все-таки пришел. Врач явился в халате, надетом на офицерский мундир, в сопровождении двух дюжих помощников фельдшерского вида. Врач взобрался на нары и осмотрел Алексеева. Припадок за это время прошел, и Алексей спал. Врач, не сказав ни слова и не ответив ни на один вопрос, которыми сыпали окружившие врача арестанты, ушел. Вслед за ним ушли его безмолвные помощники. Звякнул замок — и вызвал взрыв возмущения. И когда первое волнение стихло, открылась «кормушка» в тюремной двери, и дежурный надзиратель, сгибаясь, чтоб заглянуть в кормушку, сказал: «Врач сказал: ничего делать не надо. Это — эпилепсия. Следите, чтобы язык не западал... Будет следующий припадок — вызывать не надо. Лечить эту болезнь нечем».

Камера и не вызывала больше врача к Алексееву. А приступов эпилепсии у него было еще очень много.

Алексеев отлеживался после припадков, жалуясь на головную боль. Проходил день-два, и снова выползала огромная медведеобразная фигура в черной суконной гимнастерке и в черных суконных брюках галифе и шагала, шагала по цементному полу камеры. Снова сверкали синие глаза. После двух тюремных дезинфекций, «прожарок», черное сукно одежды Алексеева побурело и уже не казалось черным.

А Алексеев все шагал, шагал — простодушно рассказывая о своей прошлой жизни, о жизни до болезни, торопясь выложить очередному своему собеседнику то, что еще не было им сказано в этой камере.

— ...Сейчас, говорят, специальные исполнители есть. А знаешь, как у Дзержинского было поставлено дело?

— Как?

— Если Коллегия выносит вышак, приговор должен привести в исполнение тот следователь, который вел дело... Тот, который доказывал и требовал высшей меры. Ты требуешь смертной казни для этого человека? Ты убежден в его виновности, уверен, что он враг и подлежит смерти? Убей своей рукой. Разница очень большая — подписать бумажку, утвердить приговор или убить самому...

— Большая...

— Кроме того, каждый следователь должен был сам



найти и время и место для этих своих дел... Разно было. Одни в кабинете, другие в коридоре, в подвале каком-нибудь. Все это при Дзержинском следователь подготовлял сам... Тыщу раз подумаешь, пока станешь просить для человека смерти...

— Гаврюша, а расстрелы ты видал?

— Ну, видал. Кто их не видал.

— А правда, что тот, кого расстреливают, падает лицом вперед?

— Да, правда. Когда он смотрит на тебя.

— А если сзади стрелять?

— Тогда упадет спиной, навзничь.

— А тебе приходилось... Так...

— Нет, я следователем не был. Я ведь малограмотный. Просто был в отряде. Боролся с бандитизмом и так далее. Заболел вот этой штукой, и демобилизовали меня. Как припадочного. Да выпивать стал. Тоже, говорят, не способствует излечению.

Тюрьма не любит хитрецов. В камере каждый двадцать четыре часа в сутки у всех на глазах. Человеку не хватит сил скрыть свой истинный характер — притвориться не тем, чем он есть, в следственной камере тюрьмы, в минутах, часах, сутках, неделях, месяцах напряженности, нервности, — когда все лишнее, показное слетает с людей как шелуха. И остается истина — созданная не тюрьмой, но тюрьмой проверенная и испытанная. Воля, еще не сложенная, не раздавленная, как почти неизбежно бывает в лагере. Но кто думал тогда о лагере, о том, что это такое. Некоторые, может быть, знали и рады были рассказать о лагере, предупредить новичка. Но человек верит тому, чему хочет верить.

Вот сидит чернобородый Вебер, силезский коммунист, коминтерновец, которого привезли с Колымы на «доследование». Он знает, что такое лагерь. А вот Александр Григорьевич Андреев, бывший генеральный секретарь общества политкаторжан, правый эсер, знавший и царскую каторгу и советскую ссылку. Андреев, тот знает какую-то истину, незнакомую большинству. Рассказать об этой истине нельзя. Не потому, что она — секрет, а потому, что в нее нельзя верить. Поэтому и Вебер и Андреев молчат. Тюрьма — это тюрьма. Следственная тюрьма — это следственная тюрьма. У каждого свое дело, своя борьба, свое поведение, которого не подкажешь, свой долг, свой характер, своя душа, свой запас душевных сил, свой опыт. Человеческие качества испытывают не только и не столь-

ко в тюремной камере, а за стенами камеры, в каком-нибудь кабинетике следовательском. Судьба, которая зависит от цепи случайностей, а чаще — вовсе от случайностей не зависит.

Даже следственная тюрьма — не только срочная — любит простодушных, откровенных. К Алексееву камера относилась доброжелательно. Любили ли его? Разве в следственной камере могут кого-нибудь любить? Ведь это следствие, транзитка, пересылка. К Алексееву камера относилась доброжелательно.

Шли недели, месяцы, Алексеева все не вызывали на допросы. И Алексеев все шагал, шагал.

Есть две школы следователей. Первая считает, что арестованного нужно ошарашить, оглушить немедленно. Эта школа строит свой успех на быстрой психологической атаке, напоре, подавлении воли следственного арестанта, пока тот не очухался, не огляделся, не собрался с силами нравственными. Допросы следователи этой школы начинают в ночь ареста, многочасовые, со всевозможными угрозами. Вторая школа считает, что тюремная камера только измучит, ослабит волю арестованного к сопротивлению. Чем дольше пробудет в следственной камере арестант до встречи со следователем — тем это выгоднее следователю. Арестованный готовится к допросу, первому в его жизни допросу, напрягаясь изо всех сил. А допроса нет. Нет неделю, месяц, два месяца. Всю работу по подавлению психики арестанта за следователя делает тюремная камера.

Неизвестно, как используют первая и вторая школы такое эффективное оружие, как пытки. Рассказ этот относится к началу тридцать седьмого года, а пытать стали только со второй половины года.

Следователь Гавриила Тимофеевича Алексеева принадлежал ко второй школе.

К концу третьего месяца алексеевского хождения по камере прибежала девушка в военной гимнастерке и звала Алексеева — «с инициалом», но без вещей, — стало быть, на допрос. Алексеев причесал свои светлые кудри собственной пятерней — и, поправив свою побуревшую гимнастерку, шагнул за порог камеры.

С допроса он пришел скоро. Допрашивали, значит, в особом корпусе, допросном, куда не возили. Алексеев был удивлен, подавлен, поражен, потрясен и испуган.

— Что-нибудь случилось, Гавриил Тимофеевич?

— Да, случилось. Новое на допросе. Обвиняют в заговоре против правительства.

— Спокойней, Гаврюша. В этой камере всех обвиняют в заговоре против правительства.

— Убить, говорят, хотел.

— И это часто бывает. А в чем тебя раньше обвиняли?

— Да в Наро-Фоминске после ареста. Я начальником пожарной охраны на текстильной фабрике был. Невелик чин, стало быть.

— Чинов тут не разбирают, Гаврюша.

— Вот и допрашивали про занятия политкружка. Что хвалил Муралова. А я ведь у него в отряде в Москве был. Как скажу? А сейчас вдруг совсем и не о Муралове речь.

Оспины и морщины обозначились резче. Алексеев улыбался как-то нарочито спокойно и в то же время неуверенно, и синие глаза его вспыхивали все реже. Но странное дело — эпилептические припадки стали реже. Близкая опасность, необходимость бороться за жизнь отодвинули, что ли, в сторону припадки.

— Что делать?.. Они угробят меня.

— Ничего не надо делать. Говори только правду. Показывай правду, пока в силах.

— Так ты думаешь, что ничего не будет?

— Напротив, обязательно что-нибудь будет. Без этого отсюда не выпускают, Гаврюша. Но — расстрел не одно и то же, что десять лет срока. А десять лет — не пять.

— Я понял.

Гавриил Тимофеевич стал чаще петь. А пел он чудесно. Тенор был такой чистый, светлый. Пел Алексеев негромко, в дальнем углу от «волчка»:

Как хороша была та ночка голубая,  
Как ласково светила бледная луна...

Но чаще, все чаще — другая:

Отворите окно, отворите,  
Мне недолго осталось жить.  
И меня на свободу пустите,  
Не мешайте страдать и любить.

Алексеев обрывал песню, вскакивал и шагал, шагал...

Ссорился он очень часто. Тюремная жизнь, следственная жизнь располагает к ссорам. Это надо знать, понимать, все время держать себя в руках или уметь отвлекаться... Гавриил Алексеев не знал этих тюремных тонкостей и лез на ссору, на драку. Тот что-то сказал Гавриилу

Алексееву поперек, тот оскорбил Муралова. Муралов был богом Алексеева. Это был бог его юности, бог всей его жизни.

Когда Вася Жаворонков, паровозный машинист из Савеловского депо, сказал что-то о Муралове — в стиле последних партийных учебников, Алексеев бросился на Васю, схватил медный чайник, в котором раздавали в камере чай.

Этот чайник, оставшийся в Бутырской тюрьме еще с царских времен, был огромным медным цилиндром. Начищенный кирпичом, чайник сверкал как закатное солнце. Приносили этот чайник на палке, а наши дежурные, когда разливали чай, держали чайник вдвоем.

Силач, геркулес, Алексеев смело ухватился за ручку чайника, но не мог его сдернуть с места. Чайник был полон воды — еще до ужина, когда чайник уносили, было далеко.

Так все смехом и кончилось, хотя Вася Жаворонков, побледнев, готовился встретить удар. Вася Жаворонков был почти одноделец Гавриила Тимофеевича. Его тоже арестовали после занятия политкружка. Ему задал вопрос руководитель занятий: «Что бы ты делал, Жаворонков, если бы Советской власти внезапно не стало?» Простодушный Жаворонков ответил: «Как что? Работал бы машинистом в депо, как и сейчас. У меня четверо детей». На следующий день Жаворонков был арестован, и следствие уже было закончено. Машинист ждал приговора. Дело было сходное, и Гавриил Тимофеевич консультировался у Жаворонкова, и были они друзьями. Но когда обстоятельства алексеевского дела изменились — его стали обвинять в заговоре против правительства, — трусоватый Жаворонков отделился от приятеля. И замечания насчет Муралова не преминул вставить.

Только успокоили Алексеева в этой полукомической схватке с Жаворонковым, как вспыхнула новая ссора. Алексеев вновь обозвал кого-то хитрованом. Снова Алексеева оттаскивали от кого-то. Уже вся камера понимала и знала: скоро должна была прийти Она. Товарищи ходили рядом с Алексеевым, взяв его под руки, готовые ежесекундно ухватить его руки, ноги, поддержать голову. Но Алексеев вдруг вырвался, вспрыгнул на подоконник, вцепился обеими руками в тюремную решетку и тряс ее, тряс, ругаясь и рыча. Черное тело Алексеева висело на решетке, как огромный черный крест. Арестанты отрывали пальцы

Алексеева от решетки, разгибали его ладони, спешили, потому что часовой на вышке уже заметил возню у открытого окна.

И тогда Александр Григорьевич Андреев, генеральный секретарь общества политкаторжан, сказал, показывая на черное, сползающее с решетки тело:

— Первый чекист...

Но в голосе Андреева не было злорадства.

1964

## ВЕЙСМАНИСТ

На земле у порога амбулатории были свежие следы медвежьих когтей. Замочек, хитрый винтовой замочек, которым запиралась дверь, валялся в кустах, вырванный вместе с пробоями, прямо «с мясом»...

Внутри домика пузырьки, бутылки, банки были сметены с полок на пол и превращены в стеклянную кашу. Грубый запах валерьяновых капель еще держался в домике.

Тетрадки фельдшерских курсов, где учился Андреев, были изорваны в клочья. Несколько часов Андреев с трудом, по листочку, собирал свои драгоценные записки — ведь никаких учебников на фельдшерских курсах не было. Для борьбы с болезнями фельдшер Андреев был вооружен в глубокой тайге только этими тетрадками. Одна из тетрадок пострадала больше других. Тетрадка по анатомии. Первый лист ее, где неумелой андреевской рукой, никогда не учившейся рисованию, была изображена схема деления клетки, элементы клеточного ядра, таинственные хромосомы. Но медвежьи когти так яростно терзали этот чертеж, эту тетрадку с обложкой из целлофана, что тетрадку пришлось бросить в печку, в железную печку. Потеря была невознаградимой. Это был курс лекций профессора Уманского.

Фельдшерские курсы были при больнице для заключенных, а Уманский был патологоанатомом, прозектором, заведующим моргом. Патологоанатом — высший, как бы загрубный контроль работы лечащих врачей. На «секции», на рассечении, на вскрытии трупа судят о правильности диагноза, правильности лечения.

Но морг для заключенных — это особый морг. Казалось бы, великая демократка смерть не должна была ин-

тересоваться — кто лежит на секционном столе морга, не должна была говорить с трупами на разных языках.

Лечить заключенного-больного, да еще заключенному-врачу непросто, если этот врач не подлец.

И в больнице и в морге для заключенных все делается по той же самой форме, какую надлежит соблюдать в любой больнице мира. Но — масштабы смещены — и истинное содержание истории болезни арестанта иное, чем истории болезни вольнонаемного.

Тут дело не только в том, что представитель смерти — патологоанатом — сам еще живой человек с живыми страстями, обидами, достоинствами и недостатками, разным опытом. Тут дело в чем-то большем, ибо официальной сухости протокола «секции» бывает мало и для жизни и для смерти.

Если больной умирал при диагнозе рака, а злокачественной опухоли по вскрытию не оказывалось — было только глубочайшее, запущенное физическое истощение, Уманский негодовал и не прощал врачей, не сумевших спасти от голода арестанта. Но если было видно, что врач понимает, в чем дело, и, не имея права назвать истинный диагноз «алиментарная дистрофия» — голод, лихорадочно ищет синонимов — голод в виде авитаминозов, полиавитаминозов, скорбута III, пеллагры, им же имя легион, — Уманский помогал врачу своим твердым суждением. И больше того. Если врач хотел ограничиться вполне респектабельным диагнозом гриппозной пневмонии или сердечной недостаточности, то указующий перст патологоанатома возвращал внимание врачей к лагерным особенностям любого заболевания.

Врачебная совесть Уманского тоже была связана, закована. Первый диагноз «алиментарной дистрофии» был поставлен после войны, после ленинградской блокады, когда голод и в лагерях назван был своим надлежащим словом.

Патологоанатому надо быть бы судьей, а Уманский был сообщником... Потому-то он и был судьей, что мог быть сообщником. Как бы он ни был связан инструкцией, традицией, приказом, разъяснениями, Уманский смотрел глубже, дальше, принципиальней. Свои обязанности видел он не в том, чтобы ловить врачей на мелочах, на мелких ошибках, а в том, чтобы видеть — и указать другим! — то большое, что стояло за этими мелочами, тот «фон» голодного истощения, меняющий картину болезни, которую врач изучал по учебнику. Учебник болезней за-

ключенных еще не был написан. Он никогда не был написан.

Отморожения в лагере ошеломительны для приехавших с «материка» фронтовых хирургов. Лечение переломов ведется вопреки воле больных. Для того чтобы попасть в туберкулезное отделение, больные возят с собой чужие «харчки» и берут в рот явно бацилльную отраву перед анализом при поступлении. Больные подбалтывают кровь в мочу, хотя бы оцарапав собственный палец, чтобы попасть в больницу, чтобы хоть на день, хоть на час избавиться от самого страшного, что существует в заключении, — от убийственного и унижительного труда.

Уманский, как и все старые колымчане-врачи, знал все это, одобрял и прощал. Учебник болезней заключенных не был написан.

Уманский получил медицинское образование в Брюсселе, а в революцию вернулся в Россию, жил в Одессе, лечил...

В лагере он понял, что для совести спокойней резать мертвых, а не лечить живых. Уманский стал заведующим моргом, патологоанатомом.

Семидесятилетний, еще не дряхлый старик с расшатанным протезом обеих челюстей, серебряной головой, коротко стриженный по-арестантски остряк с вздернутым носом вошел в класс.

Для курсантов его лекция имела особое значение. Не потому, что это была первая лекция, а потому, что отныне, с первого слова, сказанного профессором Уманским, курсы начинали жить, начинали существовать въявь и всерьез, какой бы ни казалось это курсантам сказкой. Время тревог миновало. Решение об открытии курсов принято. Для многих навсегда не будет изнурительного труда в золотых забоях, повседневной борьбы за жизнь. Ученье начато курсом лекций профессора Уманского «Анатомия и физиология человека».

Серебряноголовый старик в расстегнутом полушубке, черном, поношенном полушубке — в полушубке, не в ватном бушлате, как ходили мы, — подошел к доске и взял огромный кусок мела в свой маленький кулачок. Скомканную шапку-ушанку профессор бросил на стол — был апрель, холодно было еще.

— Я начну свои лекции с рассказа о строении клетки. Сейчас много споров в науке...

Где? Каких споров? Прошлая жизнь всех тридцати человек — от бывшего следователя до продавца из сельма-

га — была очень далека от жизни любой науки... Прошлая жизнь курсантов была более далека от нас, чем загробная, — в этом-то уж каждый из курсантов был уверен... Какое им было дело до каких-то споров в какой-то науке? Да и что это за наука? Анатомия? Физиология? Биология? Микробиология? Ни один курсант не сказал бы в тот день, что это такое — «биология». Те курсанты, что были пограмотней других, достаточно много голодали, чтобы не сохранить интереса к спорам в какой-то науке...

— ...Много споров в науке. Сейчас принято излагать эту часть курса по-другому, но я буду рассказывать вам так, как считаю верным. Я договорился с вашей администрацией, что этот раздел буду излагать по-своему.

Андреев попробовал вообразить себе эту администрацию, с которой договорился брюссельский профессор. Начальник больницы, который острым взглядом вахтера пронизывал каждого курсанта на вступительном экзамене. Или пахнувший спиртом, икающий, красноносый исполняющий обязанности начальника санотдела. Больше никакой высшей администрации Андреев придумать, вообразить не мог.

— Этот раздел я буду излагать по-своему. И передаю вам я не хочу скрывать своего мнения.

«Скрывать своего мнения», — повторил шепотом Андреев, восхищенный этими необыкновенными словами из необыкновенной науки.

— Не хочу скрывать своего мнения. Я — вейсманист, друзья мои...

Уманский сделал паузу, чтобы мы могли оценить его смелость и его деликатность.

Вейсманист? Это курсантам было все равно.

Никто из тридцати человек не знал и никогда не узнал, что такое митоз и что такое нуклеопротеидные нити — хромосомы, содержащие дезоксирибонуклеиновую кислоту.

Не интересовалась дезоксирибонуклеиновой кислотой и администрация больницы.

Но прошел год-два, всю общественную жизнь по разным направлениям прорезали темные лучи биологической дискуссии, и слово «вейсманист» стало достаточно понятным для следователей со средним юридическим образованием и для обыкновенных людей, подверженных бурям политических репрессий. «Вейсманист» зазвучало гро-



зно, зазвучало зловеще, вроде хорошо известных «троцкист» и «космополит».

Именно тогда, через год после биологической дискуссии, Андреев вспомнил и оценил и смелость и деликатность старика Уманского.

Тридцать карандашей рисовало в тридцати тетрадках воображаемые хромосомы. Вот эта-то тетрадка с хромосомами и вызвала особенную ярость медведя.

Не только таинственными хромосомами, не только снисходительными и умными «секциями» запомнился Андрееву Уманский.

В конце курса, когда новобранцы медицины уже чувствовали на себе белый фельдшерский халат, отделяющий медиков от обыкновенных смертных, Уманский вновь выступил со странным заявлением:

— Я не буду вам читать анатомию половых органов. Я договорился с вашей администрацией. Для прошлых выпусков эта часть читалась. Доброго не получилось ничего. Лучше отдам эти часы для терапевтической практики — банки, по крайней мере, научитесь ставить.

Так курсанты и получили дипломы, не проходя важного раздела анатомии. Но разве только этого не знали будущие фельдшера?

Через месяц-два после начала курсов, когда вечно сосящий голод удалось остановить, побороть, заглушить, и Андреев уже не бросался поднимать каждый окурочек, который видел на дороге, на улице, на земле, на полу, и на лице Андреева стали проступать какие-то новые — или старые? — человеческие черты, сам взгляд, не только глаза стали более человеческими, — Андреев был приглашен пить чай к профессору Уманскому.

Чай-то был именно чай. Хлеба и сахару тут не полагалось, да Андреев и не ждал такого чаепития — с хлебом. Чай — это была вечерняя беседа с профессором Уманским, беседа в тепле, беседа один на один.

Уманский жил в морге, в канцелярии морга. Двери в прозекторскую вовсе не было, и секционный стол, застеленный, впрочем, клеенкой, был виден из комнаты Уманского из всех углов. Дверь в прозекторскую не существовала, но Уманский принюхался ко всем запахам на свете и вел себя так, как будто дверь есть. Андреев не сразу сообразил, что именно делает комнату комнатой, а потом понял, что комнатный пол настлан на полметра выше, чем пол прозекторской. Работа кончалась, и на свой рабо-

чий стол Уманский ставил фотографию молодой женщины, фотографию в жестяной какой-то оправе, заделанную грубо и неровно зеленоватым оконным стеклом. Личная жизнь профессора Уманского и начиналась с этого выверенного, привычного движения. Пальцы правой руки хватались за доску выдвижного ящика, вытаскивали ящик, упирая его в живот профессора. Лево́й рукой Уманский доставал фотографию и ставил на стол перед собой...

— Дочь?

— Да. Если сын, было бы гораздо хуже, не правда ли?

Разницу между сыном и дочерью для заключенного Андреев понимал хорошо. Из ящиков стола — ящиков оказалось очень много — профессор извлек бесчисленные листы нарезанной рулонной бумаги, измятой, изношенной, расчерченной на столбики, множество столбиков, множество строк. В каждую клеточку мелким почерком Уманского было вписано слово. Тысячи, десятки тысяч слов, выгоревших от времени химических чернил, кой-где подновленных. Уманский знал, наверное, двадцать языков...

— Я знаю двадцать языков, — сказал Уманский. — Еще до Колымы знал. Отлично знаю древнееврейский. Это — корень всего. Здесь, в этом самом морге, в соседстве трупов, я изучил арабский, тюркский, фарси... Составил таблицу — сводку единого языка. Вы понимаете, в чем дело?

— Мне кажется, да, — сказал Андреев. — Мать — «муттер», брат — «брудер».

— Вот-вот, но все гораздо сложнее, важнее. Я сделал кое-какие открытия. Этот словарь будет моим вкладом в науку, оправдает мою жизнь. Вы не лингвист?

— Нет, профессор, — сказал Андреев, и колющая боль пронзила его сердце — ему так хотелось в этот момент быть лингвистом.

— Жаль. — Чуть изменился чертеж морщин лица Уманского и снова сложился в привычное, ироническое выражение. — Жаль. Это занятие — интересней медицины. Но медицина — надежней, спасительней.

Уманский учился в Брюсселе. После революции вернулся на родину, работал врачом, лечил. Уманский разгадал суть тридцать седьмого года. Понимал, что его долгая заграничная жизнь, его знание языков, его свободомыслие — достаточный повод для репрессий; старик попытался перехитрить судьбу. Уманский сделал смелый ход — он поступил на службу в Дальстрой, завербовался

на Колыму, на Дальний Север, как врач, и приехал в Магадан вольнонаемным. Лечил и жил. Увы, Уманский не учел универсализма действующих инструкций, Колыма его не спасла, как не спас бы и Северный полюс. Уманский был арестован, судим трибуналом и получил срок в десять лет. Дочь отказалась от врага народа, исчезла из жизни Уманского, осталась только случайно сохраненная фотография на письменном столе брюссельского профессора. Десятилетний срок уже кончался, зачеты рабочих дней Уманский получал аккуратно и очень интересовался этими зачетами рабочих дней.

Настал день, когда Андреев снова был приглашен пить чай к профессору Уманскому.

Поцарапанная эмалированная кружка с горячим чаем ждала Андреева. Рядом с кружкой стоял стакан хозяйна — настоящий стеклянный стакан, зеленоватый, мутный и невероятно грязный даже на опытный андреевский взгляд. Уманский никогда не мыл своего стакана. Это также было открытием Уманского, его вкладом в науку гигиены, принципом, который проводился Уманским в жизнь со всей твердостью, настойчивостью и педагогической нетерпимостью.

— Немытый стакан в наших условиях чище, стерильнее, чем мытый. Это — лучшая гигиена, единственная, может быть... Вы поняли?

Уманский пощелкал пальцами.

— В полотенце больше инфекции, чем в воздухе. Эрго: стакан не следует мыть. У меня староверский, личный стакан. И полоскать не следует — в воздухе меньше инфекции, чем в воде. Азбука санитарии и гигиены. Вы поняли? — Уманский прищурился: — Это — открытие не только для морга.

После очередного чаепития и лингвистического заклинания, Уманский зашептал на ухо Андрееву, почти задыхаясь:

— Самое главное — пережить Сталина. Все, кто переживут Сталина, — будут жить. Вы поняли? Не может быть, что проклятия миллионов людей на его голову не материализуются. Вы поняли? Он непременно умрет от этой ненависти всеобщей. У него будет рак или еще что-нибудь! Вы поняли? Мы еще будем жить.

Андреев молчал.

— Я понимаю и одобряю вашу осторожность, — сказал Уманский, уже не шепча. — Вы думаете, что я провокатор какой-нибудь. А мне семьдесят лет.

Андреев молчал.

— Вы правильно молчите,— сказал Уманский.— Провокаторы были и семидесятилетними стариками. Все было...

Андреев молчал, восхищаясь Уманским, не в силах преодолеть себя и заговорить. Это безотчетное, всесильное молчание было частью поведения, к которому привык Андреев за свою лагерную жизнь с множеством обвинений, следствий и допросов — внутренних правил, которые не так-то просто было нарушить, отбросить. Андреев пожал руку Уманского, сухую, горячую маленькую старческую ладонь с цепкими горячими пальцами.

Когда профессор кончил срок, он получил пожизненное прикрепление к Магадану. Уманский умер 4 марта 1953 года, до последней минуты продолжая свою никому не завещанную, никем не продолженную работу по лингвистике. Профессор так никогда и не узнал, что создан электронный микроскоп и хромосомная теория получила экспериментальное подтверждение.

1964

## В БОЛЬНИЦУ

Крист был высокого роста, а фельдшер еще выше, широкоплечий, мордастый — Кристу уже давно, много лет, все начальники казались мордастыми. Поставив Криста в угол, фельдшер разглядывал свою добычу с явным одобрением.

— Так ты санитаром был, говоришь?

— Был.

— Это хорошо. Мне нужен санитар. Настоящий санитар. Чтобы был порядок.— И фельдшер обвел рукой огромную мертвую амбулаторию, похожую на конюшню.

— Я болен,— сказал Крист.— Мне в больницу надо...

— Все больны. Успеешь. Порядочек наведем. Пустим вот этот шкаф в дело,—фельдшер постучал по дверце огромного пустого шкафа.— Ну, время позднее. Ты вымой полы — и ложись. Меня по подъему разбудить.

Не успел Крист разогнать ледяную воду по всем углам холодной замороженной амбулатории, как сонный голос нового хозяина прервал работу Криста.

Крист вошел в соседнюю комнату — такую же конюш-необразную. В углу был втиснут топчан. Укрытый грудой рваных одеял, полушубков, тряпья, засыпающий фельдшер звал Криста.

— Сними с меня валенки, санитар.

Крист стащил с ног фельдшера вонючие валенки.

— Поставь к печке повыше. А утром подашь тепленькими. Я люблю тепленькие.

Крист отогнал тряпкой грязную ледяную воду в угол амбулатории, вода створожилась, превратилась в шугу во время ледостава, схватилась льдом. Крист вытер пол амбулатории, лег на топчан и сразу же забылся в своем всегдашнем здешнем полусне и как бы через мгновенье — проснулся. Фельдшер тряс его за плечо:

— Ты что же это? Развод давно идет.

— Я не хочу работать санитаром. Отправьте меня в больницу.

— В больницу? Больницу надо заслужить. Значит, не хочешь работать санитаром?

— Нет, — сказал Крист, привычным движением оберегая лицо от ударов.

— Выходи на работу! — Фельдшер вытолкал Криста из амбулатории и сквозь туман прошагал вместе с Кристом к вахте.

— Вот лодырь, симулянт. Гоняйте его, гоняйте, — кричал фельдшер конвоирам, выводившим очередную партию заключенных за проволоку. Многоопытные конвоиры небожно тыкали Криста штыками и прикладами.

Носили плавник в лагерь, легкая работа. Плавник носили за два километра, добывали из весенних заломов горной, вымерзшей до дна реки. Очищенные от коры, вымытые, высушенные ветром бревна было трудно выдернуть из залама — там их держали руки водорослей, сучьев, сила камней. Плавника было много. Непосильных бревен не попадалось. Крист радовался этому. Каждый заключенный выбирал себе бревно по силе. Путешествие за два километра — чуть не целый рабочий день. Это была инвалидная командировка — поселок, и спроса было немного. Витаминный ОЛП — отдельный лагерный пункт витаминный. Да здравствует вита! Но Крист не понимал, не хотел понимать этой страшной иронии.

День проходил за днем, а Криста в больницу не отправляли. Отправляли других, но не Криста. Каждый

день фельдшер приходил на вахту и, показывая на Криста рукавицей, кричал конвоирам:

— Гоняйте его, гоняйте.

И все начиналось сначала.

Больница, желанная больница была всего в четырех километрах от поселка. Но для того чтобы туда попасть, нужно направление, бумажка. Фельдшер понимал, что он — хозяин жизни и смерти Криста. Понимал это и Крист.

От барака, где спал Крист — это и называется в лагере «жил», — до вахты было всего шагов сто. Витаминный поселок был одним из самых заброшенных — тем выше, толще, грознее казался фельдшер и тем ничтожнее — Крист.

На этой стошаговой дороге Крист встретил — он не мог вспомнить: кого? А человек уже прошел мимо, скрылся в тумане. Ослабевшая, голодная память не могла подсказать Кристу ничего. И все же... Крист думал день и ночь, преодолевая мороз, голод и боль отмороженных рук и ног: кто? Кто встретился ему на тропе? Или Крист сходит с ума? Крист знал этого человека, ушедшего в туман, знал не по Москве, не по воле. Нет, гораздо важнее, гораздо ближе. И Крист вспомнил. Два года назад этот человек был начальником лагеря, но не витаминного, а золотого, на золотом прииске, где встретился Крист лицом к лицу с настоящей Колымой. Это был начальник, лагерный «обсос», как говорят блатные. Вольнонаемный начальник — и его судили при Кристе. После суда начальник куда-то исчез, говорили, что его расстреляли, — и вот он — встретился с Кристом на тропке витаминной командировки. Крист нашел бывшего начальника в лагерной конторе. Тот работал на какой-то неизвестной должности, несомненно канцелярской, у бывшего начальника была, конечно, пятьдесят восьмая статья, но не литер, и ему было разрешено работать в конторе.

Конечно, это Крист мог знать и узнать начальника. Начальник же не мог помнить Криста. И все-таки... Крист подошел к загородке, за которой сидят конторщики во всем мире...

— Что, уличаешь, что ли? — по-блатному сказал бывший начальник лагеря, поворачиваясь к Кристу лицом.

— Да. Я ведь с прииска, — сказал Крист.

— Рад видеть землячка. — И, хорошо понимая Криста, бывший начальник сказал: — Подойди ко мне вечером. Я тебе селедку вынесу.

Ни имени, ни фамилии друг друга они не знали. Но то ничтожное, кратковременное, что соединило их когда-то случайно, вдруг сделалось силой, которая может изменить человеческую жизнь. И сам начальник, отдавая свою селедку не своим витаминным голодным товарищам, а Кристу, который был с ним на золоте, помнил, знал, что золото и витаминная командировка — разные вещи. Ни тот, ни другой не говорили об этом. Оба понимали, оба чувствовали, — Крист — свое подземное право, а бывший начальник — свой долг.

Каждый вечер бывший начальник приносил Кристу селедку. С каждым вечером селедка была все крупнее. Лагерный повар не удивлялся внезапному капризу конторщика, который раньше не брал своей порции селедки никогда. Крист съедал эту селедку по своей прищковой привычке — со шкурой, с головой, с костями. Иногда бывший начальник приносил и недоеденный, обкусанный хлеб. Крист подумал, что дальше эту вкусную селедку есть опасно: вдруг не примут в больницу — тело потеряет вид, необходимый для госпитализации. Кожа будет недостаточно суха, крестец недостаточно угловат. Крист рассказал бывшему начальнику, что его, Криста, отправляли в больницу, а фельдшер своей властью оставил его здесь, и вот...

— Да, фельдшер здесь — сучара хорошая. Я здесь больше года — никто еще здесь лепилу не похвалил. Но мы обманем его. В больницу здесь отправляют каждый день. А списки пишу я. — И бывший начальник улыбнулся.

Вечером Криста вызвали на вахту. Там уже стояли двое заключенных — в руках одного был маленький фаверный чемоданчик.

— Конвоя нет отправить вас, — на крыльцо вышел дежурный. — Завтра отправим.

Для Криста это было смертью — завтра все разоблачится. Фельдшер загонит Криста в какой-нибудь ад. Крист не знал, как называется этот ад, куда он может попасть, что будет хуже того, что Крист уже видел. Но Крист не сомневался, что такие места, где еще хуже, — есть. Оставалось ждать и молчать.

Снова вышел дежурный.

— Идите в барак. Не будет конвоя.

Но вышел вперед арестант с чемоданчиком:

— Давайте мне направление, гражданин дежурный. И я всех доведу. Лучше всякого бойца. Ведь вы же знаете

меня? Так делали не один раз. Я — бесконвойный, а те — куда они убегут. В ночь, в мороз...

Дежурный ушел внутрь вахты, сейчас же вернулся и подал человеку с чемоданчиком конверт из газетной бумаги.

— Вещи с вами?

— Какие вещи...

— Ну, айда!

Железная щеколда открылась и выпустила трех арестантов в белую морозную мглу.

Бесконвойный шел впереди, бежал, по мнению Криста. Туман кое-где раздвигался, пропуская желтый свет уличных электрических фонарей.

Прошло бесконечно много времени. Капли горячего пота ползли по впалому животу Криста, по костлявой его спине. Сердце Криста стучало, стучало. А Крист все бежал, бежал за своими ускользящими во мглу товарищами. На углу поселка начиналось большое шоссе.

— Ждать тебя!..

Крист испугался, что его бросят, оставят.

— Слышь, ты, — сказал бесконвойный. — Знаешь, где больница?

— Знаю.

— Мы пойдем вперед. А у больницы подождем.

Арестанты исчезли в темноте, и Крист, отдышавшись, пополз вдоль кювета, поминутно останавливаясь и снова бросаясь вперед. Рукавицы Крист потерял, но не замечал, что царапает снег, лед и камень голыми своими ладонями. Крист рычал, сопел, скреб землю. Впереди ничего не было видно, кроме белой мглы. Из этой белой мглы, яростно гудя, выскакивали огромные грузовики и сейчас же скрывались в тумане. Но Крист не останавливался, чтобы пропустить мимо себя машину и снова ползти к больнице. Крист держался руками за кювет, за валик кювета — как огромный канат был протянут через ледяную бездну — к теплу и спасению. Крист полз, полз, полз.

Мгла слегка поредела, и Крист увидел поворот к больнице и крошечные домики больничного поселка. Шагов триста, не больше. И, снова зарывав, Крист пополз.

— Мы уже думали, подох ты, — равнодушно и незло сказал бесконвойный, стоявший на крыльце больничного барака. — Нас без тебя не принимают тут.

Но Крист не слушал и не отвечал. Теперь наступило самое главное, самое трудное — положат его в больницу или не положат.



Пришел врач, молодой чистый человек в неправдоподобно белом халате, записал всех в книгу.

— Раздевайтесь.

Кожа Криста шелушилась, слетала с тела легкими пластинками, как дактилоскопические оттиски в личном деле.

— Пеллагра называется,— сказал бесконвойный.

— У меня тоже такое было,— сказал третий, и это были первые слова его, которые услышал Крист.— Перчатки с обеих рук снимали. В Магадан послали, в музей.

— В музей?— презрительно сказал бесконвойный.— Мало таких перчаток в Магадане.

Но третий арестант не слушал бесконвойного.

— Ты,— дергал он за руку Криста.— Слушай сюда! С этой болезнью тебе горячие уколы назначат, обязательно. Мне назначали, я их за хлебушек променял блатарям. Так и поправился.

Вот из шкафа достали и бланки историй болезни. Три бланка. Всех положат. Вошел санитар.

— Пока во вторую.

Обливание теплой водой, белье без вшей. Коридор, где на столике дежурного еще не погашен фитиль коптилки с рыбьим жиром, налитым на блюде из донышка консервной банки. Дверь в пустую палату, откуда пахло морозом, улицей, льдом. Санитар пошел за дровами— растапливать погасшую железную печь.

— Вот что,— сказал бесконвойный,— давайте-ка ляжем вместе, а то мы тут нарежем дуба.

Все легли на одну койку, обняв друг друга. Потом бесконвойный выскользнул из-под трех одеял, собрал все матрасы, все одеяла, какие были в палате, навалил все горой на койку, где легли арестанты, и сам нырнул в костлявые объятия Криста. Больные заснули.

1964

## ИЮНЬ

Андреев вышел из штольни и пошел в ламповую сдавать свою потухшую «вольфу».

«Опять ведь привяжутся,— лениво думал он про службу безопасности.— Проволока-то сорвана...»

В шахте курили, несмотря на запрещения. Куренье грозило сроком, но никто еще не попался.

Недалеко от породного терриконника Андреев встретил Ступницкого, профессора артиллерийской академии. На шахте Ступницкий работал десятником поверхности, несмотря на свою пятьдесят восьмую статью. Служака он был расторопный, исполнительный, подвижный, несмотря на годы, шахтному начальству и не снились такие десятники.

— Слушайте,— сказал Ступницкий.— Немцы бомбили Севастополь, Киев, Одессу.

Андреев вежливо слушал. Сообщение звучало так, как известие о войне в Парагвае или Боливии. Какое до этого дело Андрееву? Ступницкий сыт, он десятник— вот его и интересуют такие вещи, как война.

Подошел Гриша Грек, вор.

— А что такое автоматы?

— Не знаю. Вроде пулеметов, наверное.

— Нож страшнее всякой пули,— наставительно сказал Гриша.

— Верно,— сказал Борис Иванович, хирург из заключенных.— Нож в животе— это верная инфекция, всегда опасность перитонита. Огнестрельное ранение лучше, чище...

— Лучше всего гвоздь,— сказал Гриша Грек.

— Станови-и-ись!

Построились в ряды, пошли из шахты в лагерь. Конвой в шахту никогда не заходил— подземная тьма берегла людей от побоев. Вольные десятники тоже остерегались. Не дай бог свалится на голову из «печи» угольная глыба... Как ни был дерзок на руку Николай Антонович, «старшой», и тот почти отвык от своей старинной привычки. Дрался только Мишка Тимошенко, молодой смотритель из заключенных, «пробивающий карьеру».

Мишка Тимошенко шел и думал: «Поддам заявление на фронт. Послать меня не пошлют, а польза будет. А то дерись не дерись— кроме срока, ничего не зарабатываешь». Утром он пошел к начальнику. Косаренко, начальник лагпункта, был малый неплохой. Мишка встал по всем правилам.

— Вот заявление на фронт, гражданин начальник.

— Ишь ты... Ну, давай, давай. Первый будешь... Только тебя не возьмут...

— Из-за статьи, гражданин начальник?

— Ну да.

— Что ж мне с этой статьей делать? — сказал Мишка.

— Не пропадешь. Ты — ловкач, — прохрипел Косаренко. — Позови-ка мне Андреева.

Андреев был удивлен вызовом. Никогда его пред светлые очи самого начальника лагпункта не вызывали. Но было привычное безразличие, бесстрашие, равнодушие. Андреев постучал в фанерную дверь кабинета:

— Явился по вашему приказанию. Заключенный Андреев.

— Ты — Андреев? — сказал Косаренко, с любопытством разглядывая вошедшего.

— Андреев, гражданин начальник.

Косаренко порылся в бумажках на столе, что-то нашел, стал читать про себя. Андреев ждал.

— У меня есть для тебя работа.

— Я работаю откатчиком на третьем участке...

— У кого?

— У Корягина.

— Завтра останешься дома. В лагере будешь работать. Не умрет Корягин без откатчика.

Косаренко встал, потрясая бумажкой, и захрипел:

— Зону будешь ломать. Проволоку скатывать. Вашу зону.

Андреев понял, что речь шла о зоне пятьдесят восьмой статьи — в отличие от многих лагерей, барак, где жили «враги народа», был окружен колючей проволокой внутри самой лагерной зоны.

— Один?

— Вдвоем с Маслаковым.

«Война, — подумал Андреев, — по мобплану, наверное...»

— Можно идти, гражданин начальник?

— Да. У меня два рапорта на тебя есть.

— Работаю не хуже других, гражданин начальник...

— Ну, иди...

Разгибали ржавые гвозди и снимали колючую проволоку, наматывая ее на палку. Десять рядов, десять железных нитей, да еще поперечные косые нитки — на целый день хватило этой работы Андрееву и Маслакову. Ничем эта работа не была лучше любой другой работы. Косаренко ошибся — чувства заключенных огрубели.

В обед Андреев узнал еще новость: паек хлеба был снижен с килограмма до пятисот граммов — это была грозная новость, ибо приварок ничего не решал в лагере. Решал хлеб.

На следующий день Андреев вернулся в шахту.

В шахте было привычно холодно и привычно темно. Андреев спустился по людскому ходу на нижний штрек. Порожняк сверху еще не подавали, и Кузнецов, второй откатчик смены, сидел невдалеке от нижней плиты, на свету, и ждал вагонов.

Андреев сел рядом. Кузнецов был бытовиком, деревенским убийцей.

— Слушай,— сказал Кузнецов.— Меня вызывали.

— Куда?

— Туда. За мост.

— Ну и что?

— Велели на тебя заявление подать.

— На меня?

— Да.

— А ты?

— Я подал. Что сделаешь?

«Действительно,— подумал Андреев,— что сделаешь?»

— Чего же ты там писал?

— Ну, написал, что сказали. Что хвалил Гитлера...

«Ведь он не подлец,— думал Андреев.— Он просто несчастный человек...»

— Что же теперь со мной сделают?— спросил Андреев.

— Не знаю. Уполномоченный сказал: это так, для порядка.

— Ну да,— сказал Андреев.— Конечно, для порядка. У меня ведь срок кончается в нынешнем году. Новый намотать успеют.

Вагончики гремели по уклону.

— Эй, вы!— закричал старший плитовой.— Сказочки! Забирай порожняк!

— Я, пожалуй, откажусь с тобой работать,— сказал Кузнецов.— Будут ведь опять вызывать, а я скажу: не знаю, я с ним не работаю. Вот как...

— Так лучше всего,— согласился Андреев.

Со следующей смены напарником Андреева стал Чудаков, тоже бытовик. В отличие от словоохотливого Кузнецова, этот — молчал. Либо от рода был молчаливым, либо предупредили «за мостом».

Через несколько смен Андреева и Чудакова поставили в вентиляционный штрек на верхнюю плиту — спускать в уклон на тридцать метров пустые вагонетки и вытаскивать груженные. Вагонетку разворачивали на плите, наво-

дили колеса на рельсы, уходящие в уклон, прикрепляли к вагонетке стальной трос и, цепляя барабанчиком за лебедочный трос, толкали вагонетку вниз. Цепляли по очереди. Очередь была Чудакова.

Вагонетки шли и шли, одна за другой, рабочий день был в полном разгаре, как вдруг Чудаков ошибся — столкнул вагонетку вниз, не прицепив ее к тросу. «Орел!» — авария шахтная! Раздался глухой грохот, лязг железа, треск стоек; столбы белой пыли заполнили уклон.

Чудакова тут же арестовали, а Андреев вернулся в барак. Вечером его вызвали к Косаренко, к начальнику.

Косаренко метался по кабинету.

— Что наделал? Что наделал, я спрашиваю? Вредитель!

— Да вы с ума сошли, гражданин начальник, — сказал Андреев. — Ведь это Чудаков случайно...

— Ты научил, гад! Вредитель! Остановил шахту!

— При чем же тут я? И никто шахты не останавливал — шахта работает... Чего вы орете?

— Он не знает! Вот Корягин пишет... Он член партии.

Большой рапорт, написанный мелким почерком Корягина, действительно лежал на столе начальника.

— Ответишь!

— Воля ваша!

— Иди, гад!

Андреев ушел. В бараке, в кабинке десятников был шумный разговор, прерванный с приходом Андреева.

— Ты к кому?

— К вам, Николай Антонович, — обратился Андреев к старшему. — Куда работать завтра выходить?

— Доживи до завтра, — сказал Мишка Тимошенко.

— Это не твоя забота.

— Вот через таких грамотеев я и срок имею, честное слово, Антоныч, — сказал Мишка. — Через Иванов Ивановичей этих.

— Вот к Мишке пойдешь, — сказал Николай Антонович. — Так Корягин распорядился. Если тебя не арестуют. А Мишка выкрутит тебе кручину.

— Надо знать, где находишься, — строго сказал Тимошенко. — Фашист проклятый.

— Ты сам фашист, дурак, — сказал Андреев и пошел отдать кой-какие вещи товарищам — запасные портянки, старый, но еще крепкий бумажный шарф, чтоб к аресту не было ничего лишнего из вещей.

Соседом Андреева по нарам был бывший декан горного факультета Тихомиров. Он работал на шахте крепильщиком. Главный инженер пытался «выдвинуть» профессора хотя бы в десятники, но начальник угольного района Свищев отказал наотрез и недобро посмотрел на своего заместителя.

— Если поставить Тихомирова,— сказал Свищев главному инженеру,— тогда вам нечего делать на шахте. Поняли? И чтобы я больше таких разговоров не слышал.

Тихомиров ждал Андреева.

— Ну, что?

— Переспим это дело,— сказал Андреев.— Война.

Андреева не арестовали. Оказалось, что Чудаков не хочет лгать. Его продержали с месяц на карцерном пайке — кружка воды и триста граммов хлеба, но не могли склонить ни к каким заявлениям — Чудаков в заключении был не первый раз и знал всему настоящую цену.

— Что ты меня учишь? — сказал он следователю.— Андреев мне ничего плохого не сделал. Я знаю порядки. Вам ведь меня судить неинтересно. Вам Андреева надо засудить. Ну, пока я жив, не засудите его, мало еще каши лагерной ели.

— Ну,— сказал Корягин Мишке Тимошенко,— на тебя одна надежда. Ты справишься.

— Есть, понятно,— сказал Тимошенко.— Сначала мы ему «по животу» — паек снизим. Ну и если проговорится...

— Дурак,— сказал Корягин.— При чем тут проговорится? Первый день на свете живешь, что ли?

Корягин снял Андреева с подземной работы. Зимой холод в шахте достигает всего двадцати градусов на нижних горизонтах, а на улице — шестьдесят. Андреев стоял в ночной смене на высоком терриконнике, где громоздилась порода. Вагонетки с породой поднимались туда время от времени, и Андреев должен был разгружать их. Вагонеток было мало, холод страшный, и даже ничтожный ветер превращал ночь в ад. Там впервые на колымской земле Андреев заплакал — раньше никогда этого с ним не бывало, разве лишь в молодые годы, когда приходили письма матери и Андреев не в силах был их прочитать без слез и вспомнить о них без слез. Но это было давно. А здесь почему он плакал? Бессилие, одиночество, холод — Андреев привык, настроился в лагере вспоминать стихи, что-то шептать, повторять неслышно — на морозе думать было нельзя. Человеческий мозг не может работать на морозе.

Несколько ледяных смен, и Андреев снова в шахте, снова на откатке, и напарник его — Кузнецов.

— Хорошо, что ты здесь! — радовался Андреев. — И меня опять в шахту взяли. Что с Корягиным случилось?

— Да, говорят, на тебя материалы уже собрали. Достаточно, — говорил Кузнецов. — Больше не надо. Я и вернулся. Работать с тобой хорошо. И Чудаков вышел. Изолятора ему дали. Как скелет. Банщиком будет пока. Не будет больше на шахте работать.

Новости были значительные.

Десятники из заключенных ходили в лагерь без конвоя после смены, выполнив свои отчетные обязанности. Мишка Тимошенко решил сходить в баню до прихода рабочих из лагеря, как делал всегда.

Незнакомый костлявый банщик отпер крючок и открыл дверь.

— Ты — куда?

— Я — Тимошенко.

— Вижу, что Тимошенко.

— Ты меньше разговаривай, — сказал десятник. — Не пробовал еще моего термометра — попробуешь. Иди, давай пар. — И, оттолкнув банщика, Тимошенко вошел в баню. Черный влажный мрак наполнял шахтерскую баню. Черные закопченные потолки, черные шайки, черные лавки вдоль стен, черные окна. В бане было темно и сухо, как в шахте, и шахтерская лампа «вольфа» с треснутым стеклом висела, воткнутая крючком в столб посреди бани, как в шахтную стойку.

Мишка быстро разделся, выбрал неполную бочку холодной воды, завел туда паровую трубу — в помещении бани был бойлер, и воду грели горячим паром.

Костлявый банщик смотрел с порога на розовое, пышное тело Тимошенко и молчал.

— Я вот так люблю, — сказал Тимошенко, — чтобы парок был живой. Ты воду нагреешь немного, я в бочку залезу, и ты пускай пар помалу. Хорошо будет, я постучу по трубе, и ты пар выключай. Прежний-то банщик, одноклассный, все мои привычки знал. Где он?

— Не знаю, — ответил костлявый. Ключицы банщика натягивали гимнастерку.

— А ты откуда?

— Из изолятора.

— Ты Чудаков, что ли?

— Да, Чудаков.

— Не узнал тебя. Богатым будешь,— засмеялся десятник.

— Это я в изоляторе так доплыл— вот ты и не узнаешь! Слышь, Мишка,— сказал Чудаков,— а ведь я видел тебя...

— Где?

— А за мостом. Слышал, что ты там уполномоченному пел...

— Каждый сам себя спасает,— сказал Тимошенко.— Закон тайги. Время военное. А ты — дурак. Дурак ты, Чудаков. Дурак, и уши холодные. Такое принял из-за этого черта Андреева.

— Ну, это уж мое дело,— сказал банщик и вышел. Пар загремел, забурился в бочке, вода согрелась. Мишка постучал — Чудаков выключил пар.

Мишка влез на скамейку и со скамейки перевалился в узкую высокую бочку... Были бочки пониже, пошире, но десятник любил париться именно в этой. Вода достигала Мишке до горла. Жмурясь от удовольствия, десятник постучал по трубе. Сейчас же забурился пар. Стало тепло. Мишка просигналил банщику, но горячий пар продолжал хлестать в трубу. Пар обжигал тело, и Тимошенко испугался, застучал еще, пытаясь вырваться, выскочить из бочки, но бочка была узка, железная труба мешала лезть — в бане ничего не было видно из-за белого, клокочущего, густеющего пара, и Мишка закричал диким голосом.

Баня для рабочих в этот день не состоялась.

Когда открыли двери и окна, густой мутно-белый туман рассеялся — пришел лагерный врач. Тимошенко уже не дышал — он был сварен заживо.

Чудакова из банщиков перевели куда-то, вернулся одноклассник — его никто не снимал с работы, просто он был один день на группе «В» — временно освобожден от работы по болезни. У него была температура.

1959

## МАЙ

Днище деревянной бочки было выбито и заделано решеткой из полосового железа. В бочке сидел пес Казбек. Сотников кормил Казбека сырым мясом и просил всех прохожих тыкать в собаку палкой. Казбек рычал и грыз



палку в щелы. Прораб Сотников воспитывал злобу в будущем цепном псе.

Золото всю войну мыли лотками — старательской добычей, ранее запрещенной на приисках. Раньше лотком мог мыть только промывальщик из службы разведки. Суточный план давался до войны в кубометрах грунта, а во время войны — в граммах металла.

Однорукий лоточник ловко нагребал грунт на лоток скребком и, намыв воды, осторожно встряхивал лоток над ручьем, сбывая в ручей размытый в лотке камень. На дне лотка, когда сбегала вода, оставалась золотая крупинка, и, положив лоток на землю, рабочий ногтем поддевал крупинку и переносил ее на клочок бумаги. Бумага складывалась, как аптечный порошок. Целая бригада одноруких саморубов зимой и летом «мыла» золото. И сдавала крупинки металла, зернышки золота в приисковую кассу. За это одноруких кормили.

Следователь Иван Васильевич Ефремов поймал таинственного убийцу, которого искали больше недели. Неделю назад в избушке геологоразведчиков, километрах в восьми от поселка, были зарублены топором четыре взрывника. Украдены были хлеб и махорка, деньги не найдены. Прошла неделя, и в рабочей столовой татарин из плотничьей бригады Русланова выменял вареную рыбу на щепотку махорки. Махорки на прииске не было с начала войны — привозили «аммонал», зеленый самосад невероятной крепости, пытались выращивать табак. Махорка была только у вольняшек. Татарин был арестован и во всем признался и даже показал место в лесу, куда он закинул в снег окровавленный топор. Ивану Васильевичу Ефремову выходила большая награда.

Случилось так, что Андреев был соседом по нарам этого татарина — самого обыкновенного голодного парнишки, «фитиля». Арестовали и Андреева. Через две недели его выпустили, — за это время было много новостей — Колька Жуков зарубил ненавистного бригадира Королева. Этот бригадир бил Андреева ежедневно на глазах у всей бригады, бил беззлобно, не спеша, и Андреев боялся его.

Андреев ошупал в кармане бушлата обломок пайки белого американского хлеба, оставшийся от обеда. Была тысяча способов продлить наслаждение пищей. Можно было лизать этот хлеб; пока он не исчезнет с ладони; можно было отщипывать от него крошки, мельчайшие кро-

шки, и сосать каждую крошку, ворочая ее во рту языком. Можно было поджарить на печке, всегда топящейся, подсушить этот хлеб и есть темно-коричневые, обожженные кусочки хлеба — еще не сухари, но и не хлеб. Можно было резать хлеб ножом на тончайшие пластины и только тогда подсушивать их. Можно было заварить хлеб горячей водой, вскипятить его, размешать и превратить в горячий суп, в мучную болтушку. Можно было крошить кусочки в холодную воду и солить их — получалось нечто вроде тюри. Все это надо было успеть сделать за те четверть часа, что оставались у Андреева из обеденного перерыва. Андреев доедал хлеб по-своему. В маленькой консервной банке кипятилась вода, пресная снеговая вода, грязная от попавших в банку мельчайших углей или стланиковой хвои. В белый крутой кипяток Андреев совал свой хлеб и ждал. Хлеб раздувался, как губка, белая губка. Палочкой, щепкой Андреев отрывал горячие кусочки губки и вкладывал их в рот. Размокший хлеб исчезал во рту мгновенно.

Никто не обращал внимания на андреевские затеи. Он был одним из сотен тысяч колымских «фитилей», «доходяг», чей разум давно уже пошатнулся.

Каша была тоже по лендлизу — американская овсянка с сахаром. И хлеб был по лендлизу — из канадской муки с примесью костей и риса. Хлеб выпекали необыкновенно пышный, и ни один раздатчик не рисковал готовить пайки с вечера — каждая «двухсотка» теряла за ночь в весе десять — пятнадцать граммов, и самый честный хлеборез мог оказаться жуликом помимо воли. У белого хлеба почти не было отбросов — человеческий организм выкидывал лишнее лишь раз в несколько дней.

Суп, первое блюдо, тоже было по лендлизу — запах свиной тушенки и мясные волокна, похожие на туберкулезные палочки под микроскопом, попадались в обеденных мисках каждому.

Была, говорят, еще колбаса, консервированная колбаса, но для Андреева она оставалась легендой, как и сгущенное молоко «Альфа» — которое многие помнили еще по детству, по посылкам «Ара». Фирма «Альфа» все еще существовала.

По лендлизу были и красные кожаные ботинки на толстой клеевой подошве. Эти кожаные ботинки выдавали только начальству — даже не всякий горный мастер мог приобрести импортную обувь. Присковому начальству

шли и гарнитур в коробках — костюмы, пиджаки и рубашки с галстуками.

Говорят, выдавали и шерстяные вещи, собранные среди населения Америки, но до заключенных они не доходили — жены начальства прекрасно разбирались в качестве материала.

Зато до заключенных хорошо доходил инструмент. Инструмент был тоже по лендлизу — гнутые американские лопаты с короткими крашеными ручками. Лопаты были подбористы — над самой формой лопаты кто-то думал. Лопатами все были довольны. Крашеные черенки от лопат поотбивали и сделали новые, прямые и длинные — каждому по мерке — конец черенка должен был доставать до подбородка.

Кузнецы чуть-чуть развернули нос лопаты, подточили их — и вышел славный инструмент.

Топоры американские были очень плохи. Это были не топоры, а топорики, вроде майн-ридовских индейских томагавков, и для серьезной плотничьей работы не годились. На плотников наших топоры по лендлизу произвели сильное впечатление — тысячелетний инструмент, очевидно, отмирал.

Поперечные пилы были тяжелыми, толстыми и неудобными в работе.

Зато великолепен был солидол, белый, как сливочное масло, без запаха. Блатари сделали попытку продавать солидол вместо сливочного масла, но на прииске уже некому было сливочное масло покупать.

«Студебеккеры», полученные по лендлизу, носились взад и вперед по кручам Колымы. Это была единственная машина на Дальнем Севере, которую не затрудняли подъемы. Огромные «даймонды», полученные тоже по лендлизу, тащили девяностотонный груз.

Мы лечились по лендлизу — медикаменты были американские, и впервые появился чудодейственный на первых порах сульфидин. Лабораторная посуда была подарком Америки. Рентгеновские аппараты, резиновые грелки и пузыри...

О том, что белому американскому хлебу скоро конец, говорили еще в прошлом году после Курской дуги, но Андреев не прислушивался к этим лагерным «парашам». Что будет, то будет. Прошла еще одна зима, а он все еще жив, он, не загадывавший никогда дальше сегодняшнего вечера.

Черняшка будет скоро, черняшка. Черный хлеб. Наши к Берлину идут.

— Черный здоровее, — врачи говорили.

— Американцы-то дураки, верно.

На будущем этом прииске не было ни одного радио-приемника.

«Инфекция убийства», как говорил Воронов, — вспомнил Андреев. Убийство заразительно. Если убивают где-либо бригадира — сразу же находятся подражатели, и бригадиры находят людей, которые дежурят, пока бригадир спит, охраняют бригадирский сон. Но все напрасно. Одного зарубили, второму разбили голову ломом, третьему перепилили шею двуручной пилой...

Всего месяц назад Андреев сидел у костра — была его очередь греться. Смена кончалась, костер затухал, и четверо очередных арестантов сидели по четырем сторонам, окружая костер, согнувшись и протянув руки к угасающему пламени, к уходящему теплу. Каждый голыми руками почти касался рдеющих углей, отмороженными, нечувствительными пальцами. Белая мгла наваливалась на плечи, плечи и спину знобило, и тем сильнее было желание прижаться к огню костра, и страшно было разогнуться, взглянуть в сторону, и не было сил встать и уйти на свое место, каждому в свой шурф, где они бурили, бурили... Не было сил встать и уйти от бригадира, который уже подходил к ним.

Андреев лениво соображал, чем будет бить бригадир, если полезет драться. Головной, очевидно, или камнем... скорей всего головней...

Бригадир был уже шагах в десяти от костра. Вдруг из шурфа близ тропы, где шел бригадир, выполз человек с ломом в руках. Человек этот догнал бригадира и замахнулся ломом. Бригадир упал лицом вперед. Человек бросил лом в снег и пошел мимо костра, где сидел Андреев с тремя другими рабочими. Он пошел к большому костру, около которого грелись конвойные.

Андреев не переменял позы во время убийства. Никто из четырех не двинулся с места, не был в силах отойти от костра, от ускользящего тепла. Каждый хотел сидеть до самого конца, до той минуты, когда прогонят. Но гнать было некому — бригадира убили, — и Андреев был счастлив, как и его сегодняшние товарищи.

Последним усилием своего бедного голодного мозга, иссушенного мозга, Андреев понимал, что надо искать какой-то выход. Разделить судьбу одноруких лоточников

Андреев не хотел. Он, давший когда-то себе клятву не быть бригадиром, не искал спасения в опасных лагерных должностях. Его путь иной — ни воровать, ни бить товарищей, ни доносить на них он не будет. Андреев терпеливо ждал.

Этим утром новый бригадир послал Андреева за аммонитом — желтым порошком, который взрывник рассыпал в бумажные пакеты. На большом аммонитном заводе, где шла перевалка и расфасовка взрывчатки, прибывшей с материка, работали женщины-заключенные — работа считалась легкой. На своих работниц аммонитный завод ставил свое клеймо — волосы их, будто после пергидроля, делались золотистыми.

Железная печурка в избушке взрывников топилась желтыми кусками аммонита.

Андреев показал записку зрителя, расстегнул бушлат и размотал свой дырявый шарф.

— Портянки мне надо, ребята, — сказал он, — мешок.

— Да разве наши мешки, — начал молодой взрывник, но тот, что был постарше, толкнул товарища локтем, и тот замолчал.

— Дадим тебе мешок, — сказал взрывник постарше, — вот.

Андреев снял шарф и отдал его взрывнику. Потом разорвал мешок на портянки и завернул в них ноги — по-крестьянски, ибо на свете существует три способа «увертки» портянок: по-крестьянски, по-армейски и по-городскому.

Андреев заматывал по-крестьянски, накидывая портянку на ступни сверху. Андреев с трудом втиснул ноги в бурки, встал и, взяв ящик с аммонитом, вышел. Ногам было жарко, горлу — холодно. Андреев знал, что и то, и другое — ненадолго. Он сдал аммонит зрителю и вернулся к костру. Нужно было дожидаться зрителя.

Зритель наконец подошел к костру.

— Покурим, — торопливо сказала несколько голосов.

— Кто-то покурит, а кто-то и нет, — и зритель, завернув тяжелую полу полушубка, достал жестяную баночку с махоркой.

Только теперь Андреев развязал тряпочки, на которых держались бурки, и стащил бурки с ног.

— Хороши портяночки, — без зависти сказал кто-то, замотанный в тряпки, показывая на андреевские ноги, обернутые кусками плотной блестящей мешковины.

Андреев устроился поудобней, двинул ногами и закричал. Вспыхнуло желтое пламя. Пропитанные аммонитом портянки горели ярко и медленно. Охваченные огнем брюки и телогрейка тлели. Соседи шарахнулись в стороны. Смотритель повалил Андреева навзничь и засыпал его снегом.

— Как же ты, гад!

— Посылай за лошадью. Да пиши карту о несчастном случае.

— Скоро обед, может, дождешься...

— Нет, не дождусь,— солгал Андреев и закрыл глаза.

В больнице ноги Андреева залили теплым раствором марганцовки и положили без повязки на койку. Одеяло было укреплено на каркасе — получилось нечто вроде палатки. Андреев был надолго обеспечен больницей.

К вечеру в палату вошел врач.

— Слышь, вы, господа каторжане,— сказал он,— война кончилась. Неделю назад кончилась. Второй курьер из управления пришел. А первого курьера, говорят, беглецы убили.

Но Андреев не слушал врача. У него поднималась температура.

1959

## В БАНЕ

В тех недобрых шутках, которыми только лагерь умеет шутить, баню часто называют «произволом». «Фраера кричат: произвол! — начальник в баню гонит» — это обычная, традиционная, так сказать, ирония, идущая от блатных, чутко все замечающих. В этом шутовском замечании скрыта горькая правда.

Баня всегда отрицательное событие для заключенных, отягчающее их быт. Это наблюдение есть еще одно из свидетельств того смещения масштабов, которое представляется самым главным, самым основным качеством, которым лагерь наделяет человека, попавшего туда и отбывающего там срок наказания, «термин», как выражался Достоевский.

Казалось бы, как это может быть? Уклонение от бани — это постоянный предмет недоумения врачей и всех начальников, которые видят в этом банном абсентеизме род протеста, нарушения дисциплины, некоего вызова ла-

герному режиму. Но факт есть факт. И годами проведение бани — это событие в лагере. Мобилизуется, инструктируется конвой, все начальники лично принимают участие в уловлении уклоняющихся. О врачах и говорить нечего. Провести баню и дезинфицировать белье в дезкамере — это прямая служебная обязанность санитарной части. Вся низшая лагерная администрация из заключенных (старосты, нарядчики) также оставляют все дела и занимаются только баней. Наконец, производственное начальство тоже неизбежно вовлечено в этот великий вопрос. Целый ряд производственных мер применяется в дни бани (их три в месяц).

И в эти дни все на ногах с раннего утра до поздней ночи.

В чем же дело? Неужели человек, до какой бы степени нищеты он ни был доведен, откажется вымыться в бане, смыть с себя грязь и пот, которые покрыли его изъеденное кожными болезнями тело, и хоть на час ощутить себя чище?

Есть русская поговорка: «Счастливый, как из бани», и эта поговорка верна и точно отражает то физическое блаженство, которое ощущает человек с чистым, вымытым телом.

Неужели разум потерян у людей до такой степени, что они не понимают, не хотят понимать, что без вшей лучше, чем со вшами. А вшей много, и вывести их без дезкамеры почти нельзя, особенно в густо набитых бараках.

Конечно, вшивость — понятие, нуждающееся в уточнении. Какой-нибудь десяток вшей в белье за дело не считается. Вшивость тогда начинает беспокоить и товарищей и врачей, когда их можно смахивать с белья, когда шерстяной свитер ворочается сам по себе, сотрясаемый угнездившимися там вшами.

Так неужели человек — кто бы он ни был, не хочет избавиться от этой муки, которая мешает ему спать и борясь с которой он в кровь расчесывает свое грязное тело?

Нет, конечно. Но — первым «но» является то, что для бани выходных дней не устраивается. В баню водят или после работы, или до работы. А после многих часов работы на морозе (да и летом не легче), когда все помыслы и надежды сосредоточены на желании как-нибудь скорей добраться до нар, до пищи и заснуть — банная задержка почти невыносима. Баня всегда на значительном расстоянии от жилья. Это потому, что та же самая баня служит не только заключенным — вольнонаемные с поселка моются

там же, и она обычно расположена не в лагере, а на поселке вольнонаемных.

Задержка в бане — это вовсе не какой-нибудь час, отводимый на мытье и дезинфекцию вещей. Народу моется много, партия за партией, и все опоздавшие (их везут в баню прямо с работы, не завозя в лагерь, ибо там они разбегутся и найдут какой-нибудь способ укрыться от бани) ждут на морозе очереди. В большие морозы начальство старается сократить пребывание арестантов на улице — их пускают в раздевалку, в которой места на 10—15 человек, и туда сгоняют сотню людей в верхней одежде. Раздевалка не отапливается или отапливается плохо. Все мешается вместе — голые и одетые в полушубки, все толчется, ругается, гудит. Пользуясь шумом и теснотой, и воры и не воры крадут вещи товарищей (пришли ведь другие, отдельно живущие бригады — найти краденое никогда нельзя). Сдать вещи никому нельзя.

Вторым или, вернее — третьим «но» является то, что, пока бригада моется в бане, обслуга обязана — при контроле санитарной части — сделать уборку барака — подмести, вымыть, выбросить все лишнее. Эти выбрасывания лишнего производятся беспощадно. Но ведь каждая тряпка дорога в лагере, и немало энергии надо потратить, чтоб иметь запасные рукавицы, запасные портянки, не говоря уж о другом, менее портативном, о продуктах и говорить нечего. Все это исчезает бесследно и на законном основании, пока идет баня. С собой же на работу и потом в баню брать запасные вещи бесполезно — их быстро усмотрит зоркий и наметанный глаз блатарей. Любому вору хоть закурить да дадут за какие-либо рукавички или портянки.

Человеку свойственно быстро обрастать мелкими вещами, будь он нищий или какой-нибудь лауреат — все равно. При каждом переезде (вовсе не тюремного характера) у всякого обнаруживается столько мелких вещей, что диву даешься — откуда могло столько собраться. И вот эти вещи дарятся, продаются, выбрасываются, достигая с великим трудом того уровня в чемодане, который позволяет захлопнуть крышку. Обрастает так и арестант. Ведь он рабочий — ему надо иметь и иголку, и материал для заплат, и лишнюю старую миску, может быть. Все это выбрасывалось, и после каждой бани все вновь заводили «хозяйство», если не успевали заранее забить все это куда-нибудь глубоко в снег, чтобы вытащить через сутки.



Во времена Достоевского в бане давали одну шайку горячей воды (остальное покупалось фраерами). Норма эта сохранилась и по сей день. Деревянная шайка не очень горячей воды и жгучие, прилипающие к пальцам куски льда, наваленного в бочку, — неограниченно. Шайка одна, никакого второго ушата для того, чтобы развести воду, не дается. Стало быть, горячая вода остужается кусками льда, и это вся порция воды, которой должен вымыть арестант голову и тело. Летом вместо льда дается холодная вода, все-таки вода, а не лед.

Положим, арестант должен уметь вымыться любым количеством воды — от ложки до цистерны. Если воды — ложка, он промоет слипшиеся гнойные глаза и будет считать туалет законченным. Если цистерна — будет брызгать на соседей, менять воду каждую минуту и как-нибудь ухитрится употребить в положенное время свою порцию. На кружку, черпак или таз тоже существует свой расчет и негласная техническая инструкция.

Все это показывает остроумие в разрешении такого бытового вопроса, как банный. Но, конечно, не решает вопроса чистоты. Мечта о том, чтобы вымыться в бане, — неосуществимая мечта.

В самой бане, отличающейся все тем же гулом, дымом, криком и теснотой (кричат, как в бане, — это бытующее выражение), нет никакой лишней воды, да и покупать ее никто не может. Но там не хватает не только воды. Там не хватает тепла. Железные печи не всегда раскалены докрасна, и в бане (в огромном большинстве случаев) попросту холодно. Это ощущение усугубляется тысячей сквозняков из дверей, из щелей. Постройки положены, как и все деревянные строения, на мох, который быстро сохнет и крошится, открывая дырки наружу. Каждая баня — это риск простуды, и это все знают (в том числе, конечно, и врачи). После каждого банного дня увеличивается список освобожденных от работы по болезни, список действительных больных, и это всем врачам известно.

Запомним, что дрова для бани приносят накануне сами бригады на своих плечах, что опять-таки часа на два затягивает возвращение в барак и невольно настраивает против банных дней.

Но всего этого мало. Самым страшным является дезинфекционная камера, обязательная, по инструкции, при каждом мытье.

Нательное белье в лагере бывает «индивидуальное» и «общее». Это — казенные, официально принятые выра-

жения наряду с такими словесными перлами, как «заключенность», «завшивленность» и т. д. Белье «индивидуальное» — это белье поновей и получше, которое берегут для лагерной обслуги, десятников из заключенных и тому подобных привилегированных лиц. Белье не закреплено за кем-либо из этих арестантов особо, но оно стирается отдельно и более тщательно, чаще заменяется новым. Белье же «общее» есть общее белье. Его раздают тут же, в бане, после мытья, взамен грязного, собираемого и подсчитываемого, впрочем, отдельно и заранее. Ни о каких выборах по росту не может быть и речи. Чистое белье — чистая лотерея, и странно и до слез больно было мне видеть взрослых людей, плакавших от обиды при получении испорченного чистого взамен крепкого грязного. Ничто не может человека заставить отойти от тех неприятностей, которые и составляют жизнь. Ни то ясное соображение, что ведь это всего на одну баню, что, в конце концов, пропала жизнь и что тут думать о паре нательного белья, что, наконец, крепкое белье он получил тоже случайно, а они спорят, плачут. Это, конечно, явление порядка тех же психических сдвигов в сторону от нормы, которые характерны почти для каждого поступка заключенного, та самая деменция, которую один врач-невропатолог называл универсальной болезнью.

Жизнь арестанта в своих душевных переживаниях сведена на такие позиции, что получение белья из темного окошечка, следующего в таинственную глубину банных помещений, — событие, стоящее нервов. Задолго до раздачи вымывшиеся толпой собираются к этому окошечку. Судят и рядят о том, какое белье выдавалось в прошлый раз, какое белье выдавали пять лет назад в Бамлаге, и как только открывается доска, закрывающая окошечко изнутри, — все бросаются к нему, толкая друг друга скользкими, грязными, вонючими телами.

Это белье не всегда выдают сухим. Слишком часто его выдают мокрым — не успевают просушить — дров не хватает. А надеть мокрое или сырое белье после бани вряд ли кому-либо приятно.

Проклятия сыплются на голову ко всему привыкших банщиков. Одевшие сырое белье начинают замерзать окончательно, но надо подождать дезинфекции носильного платья.

Что такое дезинфекционная камера? Это — вырытая яма, покрытая бревенчатой крышей и промазанная глиной изнутри, отапливаемая железной печью, топка кото-

рой выходит в сени. Туда навешиваются на палках бушлаты, телогрейки и брюки, дверь наглухо закрывается, и дезинфектор начинает «давать жар». Никаких термометров, никакой серы в мешочках, чтоб определить достигнутую температуру, там нет. Успех зависит или от случайности, или от добросовестности дезинфектора.

В лучшем случае хорошо нагреты только вещи, висящие близко к печи. Остальные, закрытые от жара первыми, только сыреют, а развешанные в дальнем углу и вынимают холодными. Камера эта никаких вшей не убивает. Это одна проформа и аппарат создания дополнительных мук для арестанта.

Это отлично знают и врачи, но не оставлять же лагерь без дезкамеры. И вот, после часа ожидания в большой «одевалке», начинают вытаскивать охапками вещи, совершенно одинаковые комплекты; их бросают на пол — отыскивать свое предлагают каждому самосильно. Парящие, намоченные от пара бушлаты, ватные телогрейки и ватные брюки арестант, ругаясь, напяливает на себя. Теперь ночью, отнимая у себя последний сон, он будет подсушивать телогрейку и брюки у печки в бараке.

Немудрено, что банный день никому не нравится.

1955

## КЛЮЧ АЛМАЗНЫЙ

Грузовик остановился у переправы, и люди стали сгружаться, неловко и медленно перекидывая через борт «студбеккера» свои негнущиеся ноги. Левый берег реки был низменным, правый — скалистым, как и полагается им быть по теории академика Бэра. Мы сошли с дороги прямо на дно горной реки и сделали шагов двести по промытым сухим камням, гремящим под нашими ногами. Темная полоска воды, казавшаяся такой узкой с берега, оказалась широкой и быстрой мелкой горной рекой. Нас ждала лодка-плоскодонка, и перевозчик с шестом вместо весел перегонял лодку на ту сторону, нагрузив ее тремя пассажирами, и возвращался обратно один. Переправа длилась до самого вечера. На другом берегу мы долго карабкались по узкой каменистой тропке вверх, помогая друг другу, как альпинисты. Узкая тропка, едва заметная среди пожелтевшей поникшей травы, вела в ущелье, где

в синеватой дали сходились вершины гор справа и слева, ручей в этом ущелье и назывался — ключ Алмазный.

Это была удивительная командировка — тот самый ключ Алмазный, куда мы так давно и тщетно стремились из золотых забоев и о котором все мы слышали столько невероятного. Говорили, что на этом ключе нет конвоиров, нет ни проверок, ни бесконечных переключек, нет колючей проволоки, нет собак.

Мы привыкли к шелканью винтовочных затворов, заучили наизусть предупреждение конвоира: «Шаг влево, шаг вправо — считаю побегом — шагом арш!» — и мы шли, и кто-нибудь из шутников, а они есть всегда в любой, самой тяжелой обстановке, ибо ирония — это оружие безоружных, кто-нибудь из шутников повторял извечную лагерную остроту — «прыжок вверх считаю агитацией». Подсказывалась эта злая острота неслышно для конвоира. Она вносила ободрение, давала секундное, крошечное облегчение. Предупреждение мы получали четырежды в день: утром, когда шли на работу, днем, когда шли на обед и с обеда, и вечером — как напутствие перед возвращением в барак. И каждый раз после знакомой формулы кто-то подсказывал замечание насчет прыжка, и никому это не надоедало, никого не раздражало. Напротив — остроту эту мы готовы были слышать тысячу раз.

И вот теперь — сбьлись мечты, мы на ключе Алмазном, и с нами нет конвоя, и только чернобородый молодой человек, отпустивший бороду явно для солидности, вооруженный ижевкой, наблюдает за нашей переправой. Нам уже объяснили, что это — начальник лесного участка, наш начальник, вольнонаемный десятник.

На ключе Алмазном велась заготовка столбов для высоковольтной линии электропередачи.

Не много на Колыме мест, где растут высокие деревья, — мы будем вести выборочный лесоповал, самое выгодное дело для нашего брата.

Золотой забой — это работа, убивающая человека, и притом быстро. Там пайка больше, но ведь в лагере убивает большая пайка, а не маленькая. В верности этой лагерной пословицы мы давно успели убедиться. Забойщика, ставшего «доходягой», не откормить никаким шоколадом.

Выборочный лесоповал выгодней сплошного повала, ибо лес редкий, малорослый — деревья выросли на болотах, великанов среди них нет, трелевка — доставка леса в штабеля на собственных плечах по рыхлому снегу мучи-

тельна. А ведь двенадцатиметровые столбы для электролинии и нельзя трелевать людьми. Это делает лошадь или трактор. Стало быть, можно жить. К тому же командировка эта бесконвойная — значит, никаких карцеров, никаких побоев, начальник участка — вольнонаемный, инженер или техник — нам, несомненно, повезло.

Мы переночевали на берегу, а утром по тропе двинулись к нашему бараку. Солнце еще не зашло, когда мы пришли к низкому длинному таежному срубам с крышей, закрытой мхом и засыпанной камнями. В бараке жило пятьдесят два человека, да нас пришло двадцать. Нары из накатника были высокими, потолок — низким, стоять во весь рост можно было только в проходе.

Начальник был парень подвижной, поворотливый. Молодыми глазами, но опытным взглядом оглядел он ряды своих новых работяг. Мой шарф заинтересовал его немедленно. Шарф был, конечно, не шерстяной, а бумажный, но все же шарф, вольный шарф. Шарф был мне подарен в прошлом году больничным фельдшером, и с тех пор я не снимал его с шеи ни зимой, ни летом. Я стирал его, как мог, в бане, но ни разу не сдавал в вошебойку. Вшей, которых много было в шарфе, жарилка бы не убила, а шарф бы украли немедленно. За шарфом моим велась и правильная охота моими соседями по бараку, жизни и работе. Велась и неправильная — любым случайным человеком — кто бы отказался заработать на табак, на хлеб — такой шарф купит любой вольняшка, а вшей можно легко выпарить. Это трудно сделать только арестанту. Но я героически завязывал шарф перед сном на своем горле узлами, страдая от вшей, к которым нельзя привыкнуть, так же как нельзя привыкнуть к холоду.

— Не продашь ли? — сказал чернобородый.

— Нет, — ответил я.

— Ну, как знаешь. Тебе шарф не нужен.

Этот разговор мне не понравился. Плохо было и то, что кормили здесь только один раз в сутки — после работы. А утром — только кипяток и хлеб. Но такое мне приходилось встречать и раньше. Начальники мало обращали внимания на кормежку арестантов. Каждый устраивал как попроще.

Все продукты хранились у вольнонаемного десятника — он со своей ижевкой жил в крошечном срубе в десяти шагах от барака. Такое хранение продуктов тоже было новостью — обычно продукты хранятся не у производственного начальства, а у самих заключенных, но порядок

на ключе Алмазном, очевидно, был лучше — в руках голодных арестантов держать запасы пищи всегда опасно и рискованно, и об этом риске все знают.

На работу ходили далеко — километра четыре, и было ясно, что день ото дня выборочный лесоповал будет отодвигаться все дальше и дальше в глубь ущелья.

Дальняя ходьба даже с конвоем для арестанта скорее хорошо, чем плохо: чем больше времени уходит на ходьбу, тем меньше — на работу, что бы там ни подсчитывали нормировщики и десятники.

Работа была не хуже и не лучше всякой арестантской работы в лесу. Мы валили отмеченные засечками десятника деревья, кряжевали их, очищали от сучьев, собирали сучья в кучу. Наиболее тяжелым делом было повалить дерево комлем на пенек, чтобы спасти его от снега, но десятник знал, что вывозка будет срочной, что придут трактора, знал, что в начале зимы не будет глубокого снега, который мог бы покрыть эти сваленные деревья, и не всегда требовал поднять дерево на пенек.

Удивительное ждало меня вечером.

Ужин на ключе Алмазном — это был завтрак, обед и ужин; соединенные вместе, они не выглядели богаче и сытнее, чем любой обед или ужин на прииске. Желудок мой настоятельно меня уверял, что общая калорийность и питательность еще меньше, чем на прииске, где мы получали меньше половины положенного нам пайка — все остальное оседало в мисках начальников, обслуги и блатарей. Но я не верил изголодавшемуся на Колыме желудку. Его оценки были преувеличенными или преуменьшенными — он слишком многого хотел, слишком неотвязно требовал, был чересчур пристрастен.

После ужина никто почему-то не ложился спать. Все чего-то ждали. Поверки? Нет, проверок здесь не было. Наконец дверь открылась, и вошел неумолимый чернобородый десятник с бумагой в руке. Дневальный снял бензиновую коптилку с верхних нар и поставил ее на стол, что был вкопан посреди барака. Десятник сел к свету.

— Что это будет? — спросил я у соседа.

— Проценты за сегодняшний день, — сказал сосед, и в тоне его я уловил нечто такое, что меня испугало — я слышал такой тон в очень серьезных обстоятельствах, когда жертвам тридцать восьмого года замеряли каждый день работу в золотом забое «индивидуальным замером». Я не мог ошибиться. Тут было что-то такое, что даже я еще не знал, какая-то опасная новость.

Десятник, не глядя ни на кого, ровным, скучным голосом прочел фамилий и проценты выполнения нормы каждым рабочим, аккуратно свернул бумажку и вышел. Барак молчал. Слышно было только тяжелое дыхание нескольких десятков людей в темноте.

— У кого меньше ста,— объяснил повеселевший сосед,— тому завтра хлеба давать не будут.

— Совсем?

— Совсем!

Такого я действительно никогда и нигде не встречал. На приисках паек определялся по декадной выработке бригады. В худшем случае давали штрафной паек— триста граммов, а не лишали хлеба вовсе.

Я напряженно думал. Хлеб— основная наша пища здесь. Половину всех калорий мы получаем в хлебе. Приварок же— вещь неопределенная, пищевая ценность его зависит от тысяч разных причин— от честности повара, от его сытости, от трудолюбия повара, ибо повару-лодырю помогают «работяги», которых повар прикармливает; от энергичного и неусыпного контроля; от честности начальства; от честности дневального, сытости и порядочности конвоиров; от отсутствия или присутствия блатарей. Наконец, и вовсе случайное событие— черпак раздатчика, зачерпнувшего одну юшку, может свети пищевые достоинства приварка чуть не к нулю.

Проценты расторопный десятник вычислял с потолка, конечно. И я дал себе слово: если меня постигнет это лишение хлеба, как метод производственного воздействия,— не ждать.

Прошла неделя, во время которой я понял, почему продукты хранятся под койкой у десятника. О шарфе он не забыл.

— Слушай, Андреев, продай мне шарф.

— Дареный, гражданин начальник.

— Не смеди.

Но я наотрез отказался. В тот же вечер я был в списке не выработавших норму. Доказывать я ничего не собирался. Утром я отмотал свой шарф и отнес его нашему сапожнику.

— Только смотри пропарь.

— Знаем— не маленькие,— весело ответил сапожник, радуясь своему неожиданному приобретению.

Сапожник дал мне за него пайку-пятисотку. Я отломил от нее кусок и спрятал остальное за пазуху. Я напился кипятку и вышел вместе со всеми на работу, но отставал,

отставал, а потом свернул с дороги в лес и, далеко огибая наш поселочек, пошел вдоль той самой дороги, по которой пришел сюда месяц назад. Я шел в полуверсте от тропы, выпавший снег не мешал мне идти, собак-ищеек у чернобородого десятника не было, и только впоследствии я узнал, что он успел пробежать на лыжах до будки перевозчика, ибо горная река здесь не замерзала долго — и общил с попутным конвоем в лагерь о моем побеге.

Я сел на снег и затянул тряпочками бурки пониже колена. Этот сорт обуви только назывался бурками. Это была местная модель — экономящая продукция военного времени. Бурки сотнями тысяч кроились из старых, изношенных ватных стеганых брюк. Подошва делалась из того же материала, прошитого несколько раз и снабженного завязочками. К буркам давались фланелевые портянки — так обували рабочих, добывающих золото на пятидесяти-шестидесятиградусном морозе. Эти бурки расплзались через несколько часов при работе в лесу — они рвались о сучья, о ветки; через несколько дней — при работе в золотом забое. Дыры на бурках чинились в ночных сапожных мастерских на живую нитку. К утру починка бывала произведена. На подошву нашивали слой за слоем, обувь окончательно приобретала бесформенный вид, становилась похожей на берег горной реки, обнаженный после обвала.

В этих бурках с палкой в руках я шел к реке — несколько километров выше переправы. Я сполз с каменной крутизны, и лед захрустел под моими ногами. Длинная промоина-полынья перегораживала дорогу — и не было видно конца этой полынье. Лед подломился, и я легко шагнул в дымящуюся жемчужную воду, и ватная подошва моя ощутила выпуклые камни дна. Я поднял высоко ногу — заледеневшие бурки засверкали, и я шагнул еще глубже, выше колена, и, помогая себе палкой, перебрался на ту сторону. Там я тщательно обил бурки палкой и сцарапал лед с бурок и брюк — ноги были сухи. Я потрогал кусочек хлеба за пазухой и пошел вдоль берега. Часа через два я вышел на шоссе. Приятно было идти без вшивого шарфа — горло и шея как бы отдохали, укрытые старым полотенцем, «сменкой», которую дал мне сапожник за мой шарф.

Я шел налегке. Очень важно для больших переходов — и зимой и летом, чтоб руки были свободны. Руки участвуют в движении и согреваются на ходу, так же, как и ноги. Только в руках ничего не надо нести — даже карандаш покажется немислимой тяжестью через двадцать —



тридцать километров. Все это я давно и хорошо знал. Знал и кое-что другое: если человек способен пронести одной рукой некую тяжесть несколько шагов — он может нести, тащить эту тяжесть бесконечно — появится второе, третье, десятое дыхание. Я — «доходяга», дойду куда угодно. По ровной дороге. Зимой идти даже легче, чем летом, если мороз не слишком силен. Я ни о чем не думал, да и думать на морозе нельзя — мороз отнимает мысли, превращает тебя быстро и легко в зверя. Я шел без расчета, с единственным желанием выбраться с этой проклятой бесконвойной командировки. Километрах в тридцати от лагеря на шоссе в избушке жили лесорубы, и там я рассчитывал перегреться, а при удаче и заночевать.

Было уже темно, когда я добрался до этой избушки, открыл дверь и, переступив через морозный пар, вошел в барак. Из-за русской печи навстречу мне поднялся человек — знакомый мне бригадир лесорубов Степан Жданов — из заключенных, конечно.

— Раздевайся, садись.

Я немедленно разделся, разулся, развесил одежду около печки.

Степан открыл заслонку печи и, надев рукавицу, вытащил оттуда горшок.

— Садись, ешь. — Он дал мне хлеба и супу.

Я лег спать на полу, но заснул не скоро — ныли ноги, руки.

Куда я иду и откуда — Степан не спрашивал. Я оценил его деликатность — навеки. Я никогда больше его не видел. Но и сейчас вспоминаю горячий пшенный суп, запах пригоревшей каши, напоминающий шоколад, вкус чубука трубки, которую, обтерев рукавом, протянул мне Степан, когда мы прощались, чтоб я мог курнуть на дорогу.

Мутным зимним вечером я добрался до лагеря и сел в снег недалеко от ворот.

Вот сейчас я войду — и все кончится. Кончатся эти чудесные два дня свободы после многих лет тюрьмы — и снова вши, снова ледяной камень, белый пар, голод, побои. Вон прошел в лагерь через вахту актер из культбригады — бесконвойник-одиночка. Я знал его. Вот прошли рабочие с лесозавода — топчутся, чтобы не замерзнуть, а конвоир взошел на вахту, в тепло и не спешит. Вот вошел начальник лагеря лейтенант Козычев, бросил окурочек «Казбека» в снег, и тотчас туда кинулись лесорубы, стоявшие около вахты. Пора. Всю ночь сидеть не будешь. Все

задуманное надо стараться доводить до конца. Я толкнул дверь и вошел в проходную. В руке я держал заявление начальнику лагеря о всех порядках на бесконвойной командировке. Козычев прочел заявление и отправил меня в изолятор. Там я спал, пока не вызвали к следователю, но, как я и предполагал, «давать дело» мне не стали — у меня был велик срок. «Поедешь на штрафной прииск», — сказал следователь. И меня отправили туда через несколько дней — на центральной пересылке людей подолгу не держали.

1959

## ЗЕЛЕНЫЙ ПРОКУРОР

Масштабы смещены, и любое из человеческих понятий, сохраняя свое написание, звучание, привычный набор букв и звуков, содержит в себе нечто иное, чему на материке нет имени: мерки здесь другие, обычаи и привычки особенные; смысл любого слова изменился.

В тех случаях, когда выразить новое событие, чувство, понятие обычными человеческими словами нельзя — рождается новое слово, заимствованное из языка блатарей — законодателей мод и вкусов Дальнего Севера.

Смысловые метаморфозы касаются не только таких понятий, как Любовь, Семья, Честь, Работа, Добродетель, Порок, Преступление, но и слов, сугубо присущих этому миру, рожденных в нем, например, «ПОБЕГ»...

В ранней юности мне довелось читать о побеге Кропоткина из Петропавловской крепости. Лихач, поданный к тюремным воротам, переодетая дама в пролетке с револьвером в руках, расчет шагов до караульной двери, бег арестанта под выстрелами часовых, цокот копыт рысака по булыжной мостовой — побег был классическим, вне всякого сомнения.

Позднее я прочел воспоминания ссыльных о побегах из Якутии, из Верхоянска и был горько разочарован. Никаких переодеваний, никакой погони! Езда зимой на лошадях, запряженных «гусем», как в «Капитанской дочке», прибытие на станцию железной дороги, покупка билета в кассе... Мне было непонятно, почему это называется побегом? Побегам такого характера когда-то было дано название «самовольная отлучка с места жительства», и, на

мой взгляд, такая формула больше передает существо дела, чем романтическое слово «побег».

Даже побег эсера Зензинова из бухты Провидения, когда американская яхта подошла к лодке, с которой Зензинов ловил рыбу, и взяла на борт беглеца, не выглядит настоящим побегом — таким, как кропоткинский.

Побегов на Колыме всегда было очень много и всегда неудачных.

Причиной этому — особенности сурового полярного края, где никогда царское правительство не решалось поселить заключенных, как на Сахалине, для того, чтобы этот край обжить, колонизовать.

Расстояния до материка исчислялись тысячами верст — самое узкое место, таежный вакуум — расстояние от жилых мест приисков Дальстроя до Алдана — было около тысячи километров глухой тайги.

Правда, в сторону Америки расстояния были значительно короче — Берингов пролив в своем самом узком месте всего сто с небольшим километров, но зато и охрана в эту сторону, неполненная пограничными частями, была абсолютно непробиваема.

Первый же путь доводил до Якутска, а оттуда либо конным, либо водным путем дальше — самолетных линий тогда еще не было, да и закрыть самолеты на глухой замок проще простого.

Понятно, что зимой никаких побегов не бывает — пережить зиму где-нибудь под крыщей, где есть железная печка, — страстная мечта каждого арестанта, да и не только арестанта.

Неволя становится невыносимой весной — так бывает везде и всегда. Здесь к этому естественному метеорологическому фактору, действующему крайне повелительно на чувства человека, присоединяется и рассуждение, добытое холодной логикой ума. Путешествие по тайге возможно только летом, когда можно, если продукты кончатся, есть траву, грибы, ягоды, корни растений, печь лепешки из растертого в муку ягеля — оленьего мха, ловить мышей-полевок, бурундуков, белок, кедровок, зайцев...

Как ни холодны летние ночи на Севере, в стране вечной мерзлоты, все же опытный человек не простудится, если будет ночевать на каком-нибудь камне. Будет вовремя перевертываться с боку на бок, не станет спать на спине, подложит траву или ветки под бок...

Бежать с Колымы нельзя. Место для лагерей было выбрано гениально. И все же — власть иллюзии, иллюзии, за

которую расплачиваются тяжкими днями карцера, дополнительным сроком, побоями, голодом, а зачастую и смертью, власть иллюзии сильна и здесь, как везде и всегда.

Побегов бывает очень много. Едва лишь ногти лиственниц покроются изумрудом — беглецы идут.

Почти всегда это — новички-первогодки, в чьем сердце еще не убита воля, самолюбие и чей рассудок еще не разобрался в условиях Крайнего Севера — вовсе не похожих на знаемый до сих пор материковский мир. Новички оскорблены виденным до глубины души — побоями, истязаниями, издевательством, растлением человека... Новички бегут — одни лучше, другие хуже, но у всех одинаковый конец. Одних ловят через два дня, других — через неделю, третьих — через две недели... Бóльших сроков для странствия беглецов с «направлением» (позже это выражение разъяснится) не бывает.

Огромный штат лагерного конвоя и оперативки с тысячами немецких овчарок вкупе с пограничными отрядами и той армией, которая размещена на Колыме, скрываясь под названием Колымполк, — достаточно для того, чтобы переловить сто из ста возможных беглецов.

Как же становится возможен побег и не проще ли силы оперативки направить на непосредственную охрану, охрану, а не ловлю людей?

Экономические соображения доказывают, что содержание штата «охотников за черепами» обходится стране все же дешевле, чем глухая охрана тюремного типа. Предотвратить же самый побег необычайно трудно. Тут не поможет и гигантская сеть осведомителей из самих заключенных, с которыми начальство расплачивается папиросками махорки и супчиком.

Тут дело идет о человеческой психологии, о ее извивах и закоулках, и ничего предугадать тут нельзя, кто, и когда, и почему решится на побег. То, что случается, — вовсе не похоже на все предположенное.

Конечно, на сей счет существуют «профилактические» меры — аресты, заключение в штрафные зоны — в эти тюрьмы в тюрьмах, переводы подозрительных с места на место — очень много разработано «мероприятий», которые оказывают, вероятно, свое влияние на сокращение побегов, возможно, что побегов было бы еще больше, не будь штрафных зон с надежной и многочисленной охраной, расположенных далеко в глуши.

Но из штрафных зон тоже бегут, а на бесконвойных командировках никто не делает попытки к отлучке. В ла-

гере бывает всякое. К тому же тонкое наблюдение Стендаля в «Пармском монастыре» о том, что «тюремщик меньше думает о своих ключах, чем арестант о своей решетке» — справедливо и верно.

Колыма ты, Колыма,  
Чудная планета.  
Девять месяцев — зима,  
Остальное — лето.

Поэтому к весне готовятся — охрана и оперативка увеличивают штаты людей и собак, натаскивают одних, инструктируют других; готовятся и арестанты — прячут консервы, сухари, подбирают «партнеров»...

Имеется единственный случай классического побега с Колымы, тщательно продуманного и подготовленного, талантливо и неторопливо осуществленного. Это — то самое исключение, которое подтверждает правило. Но и в этом побеге осталась виться веревочка, у которой был конец, была незначительная, на первый взгляд пустяковая, оплошность, которая позволила найти беглеца — ни много ни мало как через два года. По-видимому, самолюбие Видоков и Лекоков было сильно задето, и делу было уделено гораздо больше внимания, сил и средств, чем это делалось в обычных случаях.

Любопытно, что человек, «пошедший в побег», осуществивший его со сказочной энергией и остроумием, был вовсе не политический арестант и вовсе не блатарь — специалист сих дел, а осужденный за мошенничество на 10 лет.

Это понятно. Побег политика всегда перекликается с настроениями воли и, как тюремная голодовка, силен своей связью с волей. Надо знать, хорошо знать заранее — для чего и куда ты бежишь. Какой политик 1937 года мог ответить на такой вопрос? Случайные в политике люди не бегут из тюрем. Они могли бы бежать к семье, к знакомым, но в тридцать восьмом году это значило подставить под репрессивный удар всех, на кого поглядит на улице такой беглец.

Тут не отделаешься ни пятнадцатью, ни двадцатью годами. Поставить под угрозу жизнь близких и знакомых — вот единственный возможный результат побега такого политика. Ведь надо, чтоб кто-то беглеца укрывал, прятал, помогал ему. Среди политиков 1938 года таких людей не было.

У редких, возвращавшихся по окончании срока, собственные жены первыми проверяли правильность и за-

конность документов вернувшегося из лагеря мужа и, чтобы известить начальство о прибытии, бежали в милицию наперегонки с ответственным съемщиком квартиры.

Расправа со случайными, невинными людьми была очень проста. Вместо того чтобы дать им выговор, предупредить, их пытали, а после пыток давали десять, двадцать лет «далеких таборив» — или каторги, или тюрьмы. Оставалось только умирать. И они умирали, не думая ни о каких побегах, умирали, обнаруживая лишний раз национальное свойство терпения, прославленное еще Тютчевым и беззастенчиво отмечавшееся впоследствии политиками всех уровней.

Блатари не бежали потому, что не верили в успех побега, не верили, что доберутся до материка. Притом люди сыского и лагерного аппарата — многоопытные работники распознают блатарей каким-то шестым чувством, уверяя, что на блатарях какое-то каиново клеймо, которое нельзя скрыть. Наиболее ярким «толкованием» этого шестого чувства был случай, когда ловили более месяца вооруженного грабителя и убийцу по колымским дорогам — с приказом застрелить его при опознании.

Оперативник Севастьянов остановил незнакомого человека в бараньем тулупе близ заправочной колонки на одной из дорожных станций, и когда человек повернулся, Севастьянов выстрелил ему прямо в лоб. И хотя Севастьянов не видел грабителя в лицо никогда, хотя дело было зимой и беглец был в зимней одежде, хотя приметы, данные оперативнику, были самого общего характера (татуировку ведь не будешь рассматривать у каждого встречного, а фотография бандита была выполнена плохо, мутно), все же чутье не обмануло Севастьянова.

Из-под полы убитого выпал винтовочный обреш, в карманах был найден браунинг.

Документов было более чем достаточно.

Как расценить такой энергичный вывод из подсказанного шестым чувством? Еще минута — и Севастьянов был бы застрелен сам.

А если бы он застрелил невинного?

Для побегов на материк у блатарей не нашлось ни силы, ни желания. Взвесив все «за» и «против», преступный мир решил не рисковать, а ограничиться устройством своей судьбы на новых местах — что, конечно, было благоразумно. Побег отсюда для уголовщины казались слишком смелой авантюрой, ненужным риском.

Кто же будет бежать? Крестьянин? Поп? Пришлось

встретить только одного беглеца-попа, да и то этот побег произошел еще до знаменитого свидания патриарха Сергия с Буллитом, когда первому американскому послу были переданы из рук в руки списки всех православных священников, отбывающих заключение и ссылку на всей территории Советского Союза. Патриарх Сергей в бытность свою митрополитом и сам познакомился с камерами Бутырской тюрьмы. После рузвельтовского демарша все духовные лица из заключений и ссылок были освобождены поголовно. Намечался конкордат с церковью, крайне необходимый ввиду приближения войны.

Осужденный за бытовое преступление — растлитель малолетних, казнокрад, взяточник, убийца? Но всем им не было никакого смысла бежать. Их срок, «термин», по выражению Достоевского, обычно бывал невелик, в заключении они пользовались всяческими преимуществами и работали на лагерной службе, в лагерной администрации и вообще на всех «привилегированных» должностях. Зачеты они получали хорошие, а самое главное — по возвращении домой, в деревню и в город, они встречали самое приветливое к себе отношение. Не потому, что эта приветливость — качество русского народа, жалеющего «несчастненьких» — жалость к «несчастненьким» давно отошла в область предания, стала милой литературной сказкой. Время изменилось. Великая дисциплинированность общества подсказывала «простым людям» узнать, как к сему предмету относится власть. Отношение было самое благожелательное, ибо этот контингент отнюдь не тревожил начальство. Ненавидеть полагалось лишь «троцкистов», «врагов народа».

Была и вторая, тоже важная причина безразличного отношения народа к вернувшимся из тюрем. В тюрьмах побывало столько людей, что вряд ли в стране была хоть одна семья, родственники или знакомые которых не подвергались преследованиям и репрессиям. После вредителей настала очередь кулаков; после кулаков — «троцкистов», после «троцкистов» — людей с немецкими фамилиями. Крестовый поход против евреев чуть-чуть не был объявлен.

Все это привело людей к величайшему равнодушию, воспитало в народе полное безразличие к людям, отмеченным Уголовным кодексом в любой его части.

Если в былые времена человек, побывавший в тюрьме и вернувшийся в родное село, вызывал к себе то настороженное отношение, то враждебность, то презрение, то со-

чувствие — явное или тайное, то теперь на таких людей никто не обращал внимания. Моральная изоляция «клеименых», каторжных давно отошла в небытие.

Люди из тюрьмы — при условии, если их возвращение разрешено начальством, — встречались самым радушным образом. Во всяком случае, любой «чубаровец», растливший и заразивший сифилисом свою малолетнюю жертву, по отбытии срока мог рассчитывать на полную «духовную» свободу в том самом кругу, где он вышел за рамки Уголовного кодекса.

Беллетристическое толкование юридических категорий играло тут не последнюю роль. В качестве теоретиков права выступали почему-то писатели и драматурги. А тюремная и лагерная практика оставалась книгой за семью печатями; из докладов по служебной линии не делалось никаких серьезных, принципиальных выводов...

Зачем же было бежать бытовикам из лагерей? Они и не бежали, полностью доверяясь заботам начальства.

Тем удивительнее побег Павла Михайловича Кривошея.

Приземистый, коротконогий, с толстой багровой шеей, слившейся с затылком, Павел Михайлович недаром носил свою фамилию.

Инженер-химик одного из харьковских заводов, он в совершенстве знал несколько иностранных языков, много читал, хорошо разбирался в живописи, в скульптуре, имел большое собрание антикварных вещей.

Видная фигура среди специалистов Украины, беспартийный инженер Кривошей до глубины души презирал всех и всяческих политиков. Умница и хитрец, он был с юношеских лет воспитан в страсти не к стяжанию — это было бы слишком грубо, неумно для Кривошея, — а в страсти к наслаждению жизнью — так, как он это понимал. А это значило — отдых, порок, искусство... Духовные удовольствия были не по его вкусу. Культура, высокий уровень знаний открывали ему наряду с материальным достатком большие возможности в удовлетворении потребностей и желаний низких, низменных.

Павел Михайлович и в живописи научился разбираться затем, чтобы набить себе цену, чтобы занять высокое место среди знатоков и ценителей, чтобы не ударить в грязь лицом перед очередным своим чисто чувственным увлечением женского и мужского пола. Сама по себе живопись его ни капли не волновала и не интересовала, но



иметь суждение даже о квадратном зале Лувра он считал своей обязанностью.

Точно так же и литература, которую он почитывал, и преимущественно на французском или английском, и преимущественно — для практики в языке, литература сама по себе интересовала его мало, и один роман он мог читать бесконечно, по страничке на сон грядущий. И уж, конечно, нельзя было думать, что в свете может быть такая книга, которую Павел Михайлович будет читать до утра. Сон свой он охранял тщательно, и никакой детективный роман не мог бы нарушить мерного кривошеевского режима.

В музыке Павел Михайлович был профаном полным. Слуха у него не было, а о блоковском понимании музыки ему и слышать не приходилось. Но Кривошей давно понял, что отсутствие музыкального слуха — «не порок, а несчастье», и примирился с этим. Во всяком случае, у него хватало терпения выслушать какую-нибудь фугу или сонату и поблагодарить исполнителя или, вернее, исполнительницу.

Здоровья он был превосходного, телосложения пикнического, с некоторой склонностью к полноте, что, впрочем, в лагере не представляло для него опасности.

Родился Кривошей в 1900 году.

Носил он всегда очки, роговые или вовсе без оправы, с круглыми стеклами. Медлительный, неповоротливый, с высоким лысеющим круглым лбом, Павел Михайлович Кривошей был фигурой чрезвычайно импозантной. Тут был, вероятно, и расчет — важные манеры производили впечатление на начальников и должны были облегчить Кривошею судьбу в лагере.

Чуждый искусству, чуждый художественному волнению творца или потребителя, Кривошей нашел себя в собирательской деятельности, в антиквариате. Этому делу он отдался со всей страстью — было и выгодно, и интересно, и давало Кривошею новые знакомства. Наконец, такое хобби облагораживало низменные вожелания инженера.

Инженерного жалованья — «спецставки» тогдашних времен — стало недостаточно для той широкой жизни, которую вел Павел Кривошей, антиквар-любитель.

Понадобились средства, казенные средства, а уж в решительности-то Павлу Михайловичу отказать было нельзя.

Он получил расстрел с заменой десятью годами —

срок, огромный для середины тридцатых годов. Значит, там были мошенничества миллионные. Имущество его было конфисковано, продано с молотка, но, конечно, такой финал Павлом Михайловичем был предусмотрен заранее. Странно было бы, если б Кривошей не сумел скрыть несколько сот тысяч. Риск был невелик, расчет прост. Кривошей — бытовик, просидит, как «друг народа», полсрока или еще менее и выйдет по зачетам или по амнистии и будет проживать припрятанные деньги.

Однако в материковском лагере Кривошею держали недолго — он был увезен, как долгосрочник, на Колыму. Это осложнило его планы. Правда, расчет на статью и на барские манеры оправдался полностью — на общих работах в горном забое Кривошей не был ни одного дня. Вскоре он был направлен по специальности инженера в химическую лабораторию Аркагалинского угольного района.

Это было время, когда знаменитое чай-урьинское золото еще не было открыто и на месте многочисленных поселков с тысячами жителей стояли еще старые лиственницы и шестисотлетние тополя. Это было время, когда никто еще не думал, что самородки Ат-Уряхской долины могут быть исчерпаны или превзойдены; и жизнь еще не передвигалась на северо-запад, по направлению к тогдашнему полюсу холода — Оймякону. Вырабатывали старые прииски, и открывались новые. Приисковая жизнь — все времянка.

Уголь Аркагалы — будущего Аркагалинского бассейна — был форпостом разведчиков золота, будущей топливной базой края. Вокруг маленькой штольни, где, встав на рельс, можно было достать рукой до кровли, до потолка штольни, пробитой экономно, по-таежному, как говаривало начальство, штольни ручной работы — от кайла и лопаты — как все тогдашние тысячеверстные дороги Колымы. Дороги эти и прииски первых лет — ручные, где из механизмов применялась только «машина ОСО: две ручки и колесо».

Арестантский труд — дешев.

Геологические изыскательные партии еще захлебывались в золоте Сусумана, в золоте Верхнего Ат-Уряха.

Но — и Кривошей это хорошо понимал — геологические маршруты достигнут окрестностей Аркагалы и продвинутся дальше к Якутску. За геологами придут плотники, горняки, охрана...

Надо было торопиться.

Прошло несколько месяцев, и к Павлу Михайловичу приехала из Харькова его жена. Она приехала не на свидание, нет, последовала за мужем, повторяя подвиг жен декабристов. Жена Кривошея была не первая и не последняя из «русских героинь» — имя геолога Фаины Рабинович хорошо на Колыме известно. Но Фаина Рабинович — выдающийся геолог. Судьба ее — исключение.

Приехавшие за мужьями жены обрекали себя на холод, на постоянные муки странствий за мужем, которого то и дело переводили куда-либо, и жене надо было бросать найденное с трудом место работы и ехать в края, где женщине ездить опасно, где она может подвергнуться насилию, грабежу, издевательствам... Но и без путешествия каждую такую страдальницу ждали грубые ухаживания и приставания начальства, начиная от самого высокого и кончая каким-нибудь конвоиром, уже вошедшим во вкус колымской жизни. Предложение разделить пьяную холостяцкую компанию было уделом всех женщин без исключения, и если заключенной командовали просто: «Раздевайся и ложись!» — без всяких Пушкиных и Шекспиров, и заражали ее сифилисом, то с женами зэка обращение было еще более свободное. Ибо при изнасиловании заключенной всегда можно нарваться на донос своего друга или соперника, подчиненного или начальника, а за «любовь» с женами зэка, как с лицами, юридически независимыми, никакой статьи подобрать было нельзя.

Самое же главное — вся поездка за тринадцать тысяч верст оказывалась вовсе бессмысленной — никаких свиданий с мужем бедной женщине не давали, а обещания разрешить свидания превращали в оружие собственных ухаживаний.

Некоторые жены привозили разрешения Москвы на свидания раз в месяц, при условии примерного поведения и выполнения норм выработки. Все это, конечно, без ночевки, в обязательном присутствии лагерного начальника.

Почти никогда жене не удавалось устроиться на работу в том именно поселке, где отбывал заключение ее муж.

А если ей, паче всякого чаяния, и удавалось устроиться вблизи мужа — того немедленно переводили в другое место. Это не было развлечением начальников — это было выполнение служебной инструкции, «приказ есть приказ». Такие случаи были предусмотрены Москвой.

Жене не удавалось передать никаких съестных продуктов мужу — на этот счет опять-таки существовали прика-

зы, нормы, зависимость от результатов труда и поведения.

Передать хлеб мужу через конвоиров? — побоятся, им это запрещено. Через начальника? Начальник согласен, но требует уплаты натурой — собственным телом. Денег ему не нужно, денег у него у самого куры не клюют, недаром он давно уж «стопроцентник», то есть получает четверной оклад. Да у такой женщины вряд ли есть деньги на взятки, особенно на взятки по колымским масштабам. Вот какое безвыходное положение создавалось для жен заключенных. Да если еще жена — жена «врага народа» — тут уж с ней окончательно не церемонились — всякое надругательство над ней считалось заслугой и подвигом и, во всяком случае, оценивалось положительно в политическом смысле.

Многие из жен приехали по вербовке на три года и в этом капкане вынуждены были ждать обратного парохода. Сильные духом, — а сила понадобилась бóльшая, чем их мужьям-арестантам, — дожидались срока договора и уезжали назад, так и не повидав мужей. Слабые, вспоминая преследования на «материке» и боясь туда возвращаться, живя в обстановке разгула, угара, пьянства, больших денег, вышли замуж снова и еще снова, нарожали детей и махнули рукой на арестанта-мужа и на себя самое.

Жена Павла Михайловича Кривошея работы на Аркагале, как следовало ожидать, не нашла и уехала, пробыв там малое время, в столицу края, в город Магадан. Устроившись там на работу счетоводом — у Ангелины Григорьевны не было специальности — она была век свой домашняя хозяйка, жена Кривошея подыскала угол и стала жить в Магадане, где все же было повеселее, чем в тайге — в Аркагале.

А оттуда по секретному проводу в тот же Магадан, к начальнику розыскного отдела, учреждения, расположенного на той же, чуть не единственной улице города, где и поделенный на перегородки барак для семейных, где нашла себе убежище Ангелина Григорьевна, летело зашифрованное служебное сообщение: «Бежал з/к Кривошей Павел Михайлович, 1900 года рождения, статья 168, срок 10, номер личного дела...»

Думали, что его прячет жена в Магадане. Арестовали жену, но ничего от нее не добились. Да, была, видела, уехала, работала в Магадане. Длительная слежка, наблюдение не дали никаких результатов. Контроль отходящих пароходов, отлетающих самолетов был усилен, но все бы-

ло напрасно — никаких следов мужа Ангилины Григорьевны не было.

Кривошей уходил в противоположную морю сторону, держа направление на Якутск. Он шел налегке. Кроме брезентового плаща, геологического молотка да сумки с малым количеством «образцов» геологических пород, запаса спичек и запаса денег — у него ничего не было.

Он шел открыто и не спеша, по выючным конным дорогам, оленьим тропам, придерживаясь становищ, поселков, не отклоняясь глубоко в тайгу и всякий раз ночуя под крышей — шалаша, чума, избы... В первом же крупном якутском поселке он нанял рабочих, которые по его указанию копали шурфы, закопушки-канавы, словом, проделывали ту же самую работу, которую и раньше случалось им выполнять для настоящих геологов. Технических знаний для должности коллектора у Кривошея хватало, притом Аркагала, где он жил около года, была последней базовой стоянкой многих геологических партий, и Кривошей пригляделся к манерам, к повадкам геологов. Медленность движений, роговые очки, ежедневное бритье, подпиленные ногти — все это внушало доверие безграничное.

Кривошей не торопился. Он заполнял путевую тетрадь таинственными знаками, несколько схожими с полевыми журналами геологов. Медленно поспешая, он неуклонно двигался к Якутску.

Иногда он даже возвращался, отклонялся в сторону, задерживался — все это было нужно для «обследования бассейна ключа Рябого», для правдоподобия, для замечания следов. Нервы у Кривошея были железные, приветливая улыбка сангвиника не сходила с его лица.

Через месяц он перешел Яблоновый хребет, два якута, выделенные колхозом для важной правительственной работы, несли его сумки с «образцами».

Они стали приближаться к Якутску. В Якутске Кривошей сдал свои камни в камеру хранения на пароходной пристани и отправился в местное геологическое управление — с просьбой помочь ему переслать несколько важных посылок в Москву, в Академию наук. Павел Михайлович сходил в баню, в парикмахерскую, купил дорогой костюм, несколько цветных рубашек, белье и, расчесав свои редующие волосы, явился к высокому научному начальству, благодушно улыбаясь.

Высокое научное начальство отнеслось к Кривошею благожелательно. Знание иностранных языков, обнаруженное Кривошеем, произвело нужное впечатление.

Видя в приезде большую культурную силу, чем не очень был богат тогдашний Якутск,— научное начальство умолило Кривошею погостить там подольше. На смущенные фразы Павла Михайловича о том, что ему надо спешить в Москву, начальство обещало устроить ему проезд за казенный счет до Владивостока. Кривошей благодарил спокойно, не теряя достоинства. Но у научного начальства были свои виды на Павла Михайловича.

— Вы не откажетесь, конечно, дорогой коллега,— говорило начальство заискивающим тоном,— прочесть нашим научным работникам две-три лекции... О... на вольную тему, конечно, по вашему выбору. Что-нибудь о залеганиях угля в Средне-Якутской возвышенности, а?

У Кривошея засосало под ложечкой.

— О, конечно, с большим удовольствием. В пределах, так сказать, допустимого... Сведения, вы сами понимаете, без апробации в Москве...

Тут Кривошей пустился в комплименты научным силам города Якутска.

Никакой следователь не поставил бы вопрос хитрее, чем это сделал якутский профессор по своей симпатии к ученому гостю, к его осанке, роговым очкам и по желанию лучшим образом послужить родному краю.

Лекция состоялась и даже собрала порядочное количество слушателей. Кривошей улыбался, цитировал по-английски Шекспира, что-то чертил, перечисляя десятки иностранных фамилий.

— Не много знают эти москвичи,— говорил в буфете якутскому профессору его сосед по креслу.— Все, что в лекции геологического, в сущности, знает каждый школьник второй ступени, а? А химические анализы угля— это уже не из геологии, а? Только очки блестят!

— Не скажите, не скажите,— нахмурился профессор.— Все это очень полезно, и дар популяризации, несомненно, есть у нашего столичного коллеги. Надо будет его попросить повторить свое сообщение для студентов.

— Ну, разве что для студентов... первого курса,— не унимался сосед профессора.

— Замолчите. В конце концов, это одолжение, любезность. Даровому коню...

Лекция для студентов была повторена Кривошеем с большой любезностью, вызвала общий интерес и вполне доброжелательную оценку слушателей.

Средствами якутских научных организаций московский гость был доставлен в Иркутск.

Коллекция его — несколько ящиков, набитых камнями, — была отправлена еще раньше. В Иркутске «руководителю геологической экспедиции» удалось отправить эти камни по почте в Москву, в адрес Академии наук, где они и были получены и несколько лет лежали на складах, представляя собой научную тайну, о сущности которой никто так и не догадался. Предполагалось, что за этой таинственной посылкой, собранной каким-то сумасшедшим геологом, потерявшим знания и забывшим свое имя, — стоит какая-то трагедия Заполярья, еще не раскрытая.

— Самое удивительное, — говаривал Кривошей, — что за все мое чуть ли не трехмесячное путешествие у меня нигде, никто — ни в кочевых сельсоветах, ни в высоких научных учреждениях — не спрашивал документов. Документы-то у меня были, но нигде, ни разу не пришлось их предъявить.

В Харьков Кривошей, естественно, не показывал и нос. Он основался в Мариуполе, купил там дом, поступил с подложными документами на работу.

Ровно через два года, в годовщину своего «похода», Кривошей был арестован, судим, приговорен снова к 10 годам и направлен для отбывания наказания снова на Колыму.

Где была допущена оплошность, сводившая на нет этот поистине героический поступок, подвиг, требующий удивительной выдержки, гибкости ума, физической крепости — всех человеческих качеств одновременно?

Побег этот — беспрецедентен по тщательности подготовки, по тонкой и глубокой идее, психологическому расчету, положенному в основание всего дела.

Побег этот удивителен по крайне малому количеству лиц, принимавших участие в его организации. В этом и был залог успешности намеченного предприятия.

Побег этот замечателен еще и потому, что в нем в прямую борьбу с государством — с тысячами вооруженных винтовками людей, в краю чалдонов и якутов, приученных получать за беглецов по полпуда белой муки с головы — таков был тариф царского времени, узаконенный и позже, — вступил человек-одиночка; он, справедливо вынужденный видеть в каждом встречном доносчика или труса, — он поборолся, сразился и — победил!

Где же, в чем же была та оплошность, которая стубила его блестяще задуманное и великолепно выполненное дело?

Его жену задержали на Севере. Ей не разрешили выезда на материк — документы на это выдавало то же самое учреждение, которое занималось делами ее мужа.

Впрочем, это было предусмотрено, и она стала ждать. Месяцы тянулись за месяцами, — ей отказывали, как всегда, без объяснения причин отказа. Она сделала попытку уехать с другого конца Колымы — самолетом над теми же таежными реками и распадками, по которым продвигался несколько месяцев назад ее муж, но и там, конечно, ее ждал отказ. Она была заперта в огромной каменной тюрьме величиной в одну восьмую часть Советского Союза — и не могла найти выхода.

Она была женщина, она устала от бесконечной борьбы с кем-то, чьего лица она не могла рассмотреть, от борьбы с кем-то, кто был гораздо сильнее ее, сильнее и хитрее.

Деньги, которые она привезла с собой, кончились — жизнь на Севере дорогая — яблоко на магаданском базаре стоило сто рублей. Ангелина Григорьевна поступила на службу, но служащим по местному найму, не завербованным с материка, платили оклады другие, мало отличавшиеся от окладов Харьковской области.

Муж часто ей твердил: «Войну выигрывает тот, у кого крепче нервы», и Ангелина Григорьевна часто во время бессонных белых полярных ночей шептала эти слова немецкого генерала. Ангелина Григорьевна чувствовала, что нервы ее начинают сдавать. Ее измучило это белое безмолвие природы, глухая стена людского равнодушия, полная неизвестность и тревога, тревога за судьбу мужа, — ведь он мог просто умереть в пути от голода. Его могли убить другие беглецы, застрелить оперативники, и только по неотвязному вниманию к ней и к ее личной жизни со стороны Учреждения Ангелина Григорьевна радостно заключала, что муж ее не пойман, «в розыске» и, стало быть, она страдает не напрасно.

Ей хотелось бы довериться кому-либо, кто мог бы понять ее, посоветовать что-либо — ведь она так мало знала Дальний Север. Она хотела бы облегчить ту страшную тяжесть на душе, которая, как ей казалось, росла с каждым днем, с каждым часом.

Но кому она может довериться? В каждом, в каждой Ангелина Григорьевна видела, чувствовала шпиона, доносчика, наблюдателя, и чувство не обманывало ее — все ее знакомые — во всех поселках и городах Колымы — были вызваны, предупреждены Учреждением. Все ее знакомые напряженно ждали ее откровенности.



На втором году она сделала несколько попыток связаться с харьковскими знакомыми по почте — все ее письма были скопированы, пересланы в харьковское Учреждение.

К концу второго года своего вынужденного заключения, полунищая, почти в отчаянии, зная только, что муж ее жив, и пытаясь с ним связаться, она послала на имя Павла Михайловича Кривошея письма во все большие города — «Почтамт, до востребования».

В ответ она получила денежный перевод и в дальнейшем получала деньги каждый месяц понемногу, по пятьсот — восемьсот рублей, из разных мест, от разных лиц. Кривошей был слишком умен, чтобы отправлять деньги из Мариуполя, а Учреждение слишком опытно, чтобы этого не понимать. Географическая карта, которая отводится в подобных случаях для разметки «боевых операций», подобна штабным военным картам. Флажки на ней — места отправки денежных переводов на Дальний Север адресатке — располагались на станциях железной дороги близ Мариуполя, к северу, никогда не повторяясь дважды. Розыску теперь нужно было приложить немного усилия — установить фамилии людей, приехавших в Мариуполь на постоянное жительство за последние два года, сличить фотографии...

Так был арестован Павел Кривошей. Жена была его смелой и верной помощницей. Она привезла ему на Аркагалу документы, деньги — более пятидесяти тысяч рублей.

Как только Кривошей был арестован, ей немедленно разрешили выезд. Измученная и нравственно, и физически, Ангелина Григорьевна покинула Колыму с первым же пароходом.

А сам Кривошей отбыл и второй срок — заведую химической лабораторией в центральной больнице для заключенных, пользуясь маленькими льготами от начальства и так же презирая и боясь «политических», как раньше, крайне осторожный в разговорах, чутко трусливый при чужих словах... Эта трусость и чрезмерная осмотрительность имела другую все же почву, чем у обыкновенного труса-обывателя, Кривошею все это было чуждо, все «политическое» его вовсе не интересовало, и он, зная, что именно этого сорта криминал оплачивается самой дорогой ценой в лагере, — не хотел жертвовать своим, слишком дорогим ему, житейским, материальным, а не духовным, покоем.

Кривошей и жил в лаборатории, а не в лагерном бараке — привилегированным арестантам это разрешалось.

За шкафами с кислотами и щелочами гнездилась его койка, казенная, чистая. Ходили слухи, что он развратничает в своей пещере каким-то особенным образом и что даже иркутская проститутка Сонечка, способная «на все подлости», поражена способностями и знаниями Павла Михайловича по этой части. Но все это могло быть и неправдой, лагерным «свистом».

Было немало вольнонаемных дам, желавших «закрутить роман» с Павлом Михайловичем, мужчиной цветущим. Но заключенный Кривошей, осторожный и волевой, пресекал все щедро расточаемые ему авансы. Он не хотел никаких незаконных, чрезмерно рискованных, чрезмерно караемых связей. Он хотел покоя.

Павел Михайлович аккуратно получал зачеты, как бы они ни были ничтожны, и через несколько лет освобожден был без права выезда с Колымы. Это, впрочем, нисколько не смущало Павла Михайловича. На другой же день после освобождения оказалось, что у него есть и превосходный костюм, и плащ какого-то заграничного покроя, и добротная велюровая шляпа.

Он устроился по специальности на один из заводов в качестве инженера-химика — он и в самом деле был специалистом «высокого давления». Поработав неделю, он взял отпуск «по семейным обстоятельствам», как было сказано в документе.

— ???

— За женщиной еду, — чуть улыбнувшись, сказал Кривошей. — За женщиной!.. На ярмарку невест в совхоз «Эльген». Жениться хочу.

Этим же вечером он возвратился с женщиной.

Около совхоза «Эльген», женского совхоза, есть заправочная станция — на окраине поселка, на «природе». Вокруг, соседствуя с бочками бензина, — кусты тальника, ольхи. Сюда собираются ежевечерне все освобожденные женщины «Эльгена». Сюда же приезжают на машинах «женихи» — бывшие заключенные, которые ищут подругу жизни. Сватовство происходит быстро — как все на колымской земле (кроме лагерного срока), и машины возвращаются с новобрачными. Подобное знакомство при надобности происходит в кустах — кусты достаточно густы, достаточно велики.

Зимой все это переносится в частные квартиры-домики. Смотрины в зимние месяцы отнимают, конечно, гораздо больше времени, чем летом.

— А как же Ангелина Григорьевна?

— Я не переписываюсь с ней теперь.

Было ли это правдой или нет, допытываться не стоило. Кривошей мог ответить великолепным лагерным приговором: не веришь — прими за сказку!

Когда-то в двадцатые годы, на заре «туманной юности» лагерных учреждений, в немногочисленных зонах, именовавшихся концлагерями, побеги вообще не карались никаким дополнительным сроком наказания и как бы не составляли преступления. Казалось естественным, что арестант, заключенный, должен бежать, а охрана должна его ловить и что это вполне понятные и закономерные отношения двух людских групп, стоящих по разные стороны тюремной решетки и этой решеткой соединенных друг с другом. Это были романтические времена, когда, пользуясь словом Мюссе, «будущее еще не наступило, а прошлое не существовало более». Еще вчера атаман Краснов, пойманный в плен, отпускался на честное слово. А самое главное — это было время, когда границы терпения русского человека еще не испытывались, не раздвигались до бесконечности, как это было сделано во второй половине тридцатых годов.

Был еще не написан, не составлен кодекс 1926 года с его пресловутой 16-й статьей («по соответствию») и статьей 35, обозначившей в обществе целую социальную группу «тридцатипятичников».

Первые лагеря были открыты на шаткой юридической основе. В них было много импровизации, а стало быть, и того, что называется местным произволом. Известный соловецкий Курилка, ставивший заключенных голыми на пеньки в тайге — «на комарей», был, конечно, эмпириком. Эмпиризм лагерной жизни и порядков в них был кровавым — ведь опыты велись над людьми, над живым материалом. Высокое начальство могло одобрить опыт какого-нибудь Курилки, и тогда его действия вносились в лагерные скрижали, в инструкции, в приказы, в указания. Или опыт осуждался, и тогда Курилка шел под суд сам. Впрочем, больших сроков наказания тогда не было — во всем IV отделении Соловков было два заключенных с десятилетним сроком — на них показывали пальцами, как на знаменитостей. Один был бывший жандармский полковник Руденко, другой Марджанов, капеллевский офицер. Пятилетний срок считался значительным, а двух- и трехлетние приговоры составляли большинство.

Вот в эти-то самые годы, до начала тридцатых годов — за побег не давалось никакого срока. Бежал — твое счастье, поймали живого — опять твое счастье. Живыми ловили не часто — вкус человеческой крови разжигал ненависть конвоя к заключенным. Арестант боялся за свою жизнь, особенно при переходах, при этапах, когда неосторожное слово, сказанное конвою, могло привести на тот свет, «на луну». В этапах действуют более строгие правила, и конвою сходит с рук многое. Заключенные при переходах с командировки на командировку требовали у начальства связывать им руки за спиной на дорогу, видя в этом некоторую жизненную гарантию и надеясь, что в этом случае арестанта не «сактируют» и не запишут в его формуляр сакраментальной фразы «убит при попытке к побегу».

Следствия по таким убийствам велись всегда спустя рукава, и, если убийца был достаточно догадлив, чтобы дать в воздух второй выстрел — дело всегда кончалось для конвоира благополучно — в инструкциях полагается предупредительный выстрел перед прицелом по беглецу.

На Вишере, в четвертом отделении СЛОНа — уральского филиала Соловецких лагерей — для встречи пойманных беглецов выходил комендант управления Нестеров — коренастый, приземистый, с длинными белокожими руками, с короткими толстыми пальцами, густо заросшими черными волосами; казалось, что и на ладонях у него растут волосы.

Беглецов, грязных, голодных, избитых, усталых, покрытых серой дорожной пылью с ног до головы, бросали к ногам Нестерова.

— Ну, подойди, подойди поближе.

Тот подходил.

— Погулять, значит, захотел! Доброе дело, доброе дело!

— Уж вы простите, Иван Спиридоныч.

— Я прощаю, — певуче, торжественно говорил Нестеров, вставая с крыльца. — Я-то прощаю. Государство не простит...

Голубые глаза его мутнели, затягивались красными ниточками жил. Но голос его по-прежнему был доброжелателен, добродушен.

— Ну, выбирай, — лениво говорил Нестеров, — плеска или в изолятор...

— Плеска, Иван Спиридонович.

Волосатый кулак Нестерова взлетал над головой бег-

леца, и счастливый беглец отлетал в сторону, утирая кровь, выплевывая выбитые зубы.

— Ступай в барак!

Иван Спиридонович сбивал любого с ног одним ударом, одним «плеском» — этим он и славился и гордился.

Арестант тоже был не в убытке — «плеском» Ивана Спиридоновича заканчивались расчеты за побег.

Если же беглец не хотел решить дело по-семейному и настаивал на официальном возмездии, на ответственности по закону — его ждал лагерный изолятор, тюрьма с железным полом, где месяц, два, три на карцерном пайке казались беглецу гораздо хуже нестеровского «плеска».

Итак, если беглец оставался в живых — никаких особенных неприятных последствий побега не оставалось — разве что при отборе на освобождение, при «разгрузках» бывший беглец уж не может рассчитывать на свою удачу.

Росли лагеря, росло и число побегов, увеличение охраны не достигало цели — это было слишком дорого, да и по тем временам желающих поступить в лагерную охрану было крайне мало.

Вопрос об ответственности за побег решался неудовлетворительно, несолидно, решался как-то по-детски.

Вскоре было прочитано новое московское разъяснение: дни, которые беглец находился в побеге, и тот срок, который он отбывал в изоляторе за побег, — не входят в исчисление основного его срока.

Приказ этот создал значительное недовольство в учетных учреждениях лагеря — потребовалось и увеличить штат, да и столь сложные арифметические вычисления были не всегда под силу работникам лагерного учета.

Приказ был внедрен, прочитан на поверках всему лагерному составу.

Увы, он не напугал будущих беглецов.

Каждый день в рапортчиках командиров рот росла графа «в бегах», и начальник лагеря, читавший ежедневные сводки, хмурился день ото дня все больше.

Когда бежал любимец начальника, музыкант лагерного духового оркестра Капитонов, повесив свой корнет-а-пистон на сук ближайшей сосны — Капитонов вышел из лагеря с блестящим инструментом, как с пропуском, — начальник потерял душевное равновесие.

Поздней осенью были убиты во время побега трое заключенных. После опознания начальник распорядился их трупы выставить на трое суток у лагерных ворот, отку-

да выходили все на работу. Но и такая неофициальная острая мера не остановила, не уменьшила побегов.

Все это было в конце двадцатых годов. Потом последовала «перековка», Беломорканал — концлагеря были переименованы в «исправительно-трудовые», количество заключенных выросло в сотни тысяч раз, побег уже трактовался как самостоятельное преступление — в кодексе 1926 года была 82-я статья, и наказание по ней определялось в год дополнительного к основному сроку.

Все это было на материке, а не на Колыме — лагере, который существовал с 1932 года, — вопрос о беглецах был поставлен лишь в 1938 году. С этого года наказание за побег было увеличено, «термин» вырос до целых трех лет.

Почему колымские годы, с 1932 по 1937 год включительно, выпадают из летописи побегов? Это — время, когда там работал Эдуард Петрович Берзин. Первый колымский начальник с правами высшей партийной, советской и профсоюзной власти в крае, зачинатель Колымы, расстрелянный в 1938 году и в 1965 году реабилитированный, бывший секретарь Дзержинского, бывший командир дивизии латышских стрелков, разоблачивший знаменитый заговор Локкарта, — Эдуард Петрович Берзин пытался, и весьма успешно, разрешить проблему колонизации сурового края и одновременно проблемы «перековки» и изоляции. Зачеты, позволявшие вернуться через два-три года десятилетникам. Отличное питание, одежда, рабочий день зимой 4—6 часов, летом — 10 часов, колоссальные заработки для заключенных, позволяющие им помогать семьям и возвращаться после срока на материк обеспеченными людьми. В перековку блатарей Эдуард Петрович не верил, он слишком хорошо знал этот зыбкий и подлый человеческий материал. На Колыму первых лет вора́м было попасть трудно — те, которым удалось туда попасть, — не жалели впоследствии.

Тогдашние кладбища заключенных настолько малочисленны, что можно было подумать, что колымчане — бессмертны.

Бежать никто с Колымы и не бежал — это было бы бредом, чепухой...

Эти немногие годы — то золотое время Колымы, о котором с таким возмущением говорил разоблаченный шпион и подлинный враг народа Николай Иванович Ежов на одной из сессий ЦИКа СССР — незадолго до «ежовщины».

В 1938 году Колыма была превращена в спецлагерь для рецидива и «троцкистов». Побег стал караться тремя годами.

— Как же вы бежали? Ведь у вас не было ни карты, ни компаса.

— Так и бежали. Вот Александр обещал вывести...

Мы вместе ждали отправки на «транзитке». Неудачных беглецов было трое: Николай Карев, малый лет двадцати пяти, бывший ленинградский журналист, ровесник его Федор Васильев — ростовский бухгалтер, и камчадал Александр Котельников. Александр Котельников — колымский абориген, камчадал по народности, а по профессии каюр, погонщик оленей, осужденный здесь же за кражу казенного груза. Котельникову было лет пятьдесят, а то и много больше — возраст якута, чукчи, камчадала, эвенка определить на взгляд трудно. Котельников хорошо говорил по-русски, только звук «ш» никак не мог выговорить и заменял его звуком «с», равно как и на всех диалектах Чукотского полуострова. Он имел представление и о Пушкине, о Некрасове, бывал в Хабаровске, словом, был путешественник опытный, но романтик в душе — слишком уж детски молодо сверкали его глаза.

Он-то и взялся вывести молодых своих новых друзей из заключения.

— Я им говорил — ближе в Америку, пойдемте в Америку, но они хотели материк, я вел материк. Чукчей дойти надо, кочевых чукчей. Чукчи были здесь, ушли, как русский человек пришел вот к ним... Не успел.

Беглецы шли всего четыре дня. Они бежали в начале сентября, в ботинках, в летней одежде, в уверенности дойти до чукотских кочевий, где их, по уверениям Котельникова, ждет помощь и дружба.

Но выпал снег, густой снег, ранний снег. Котельников пошел в эвенкский поселок, затем, чтоб купить торбаза. Он купил торбаза, а к вечеру отряд оперативников настиг беглецов.

— Тунгус — враг, предатель, — плевался Котельников.

Вывести Карева и Васильева из тайги старый каюр брался совершенно бесплатно. О новом своем трехлетнем «довеске» Котельников не грустил.

— Вот придет весна — выпустят на прииск, на работу — и я опять уйду.

Чтобы скоротать время, он учил Карева и Васильева

чукотской, камчадальской речи. Заводилой этого обреченного на неудачу побега был, конечно, Карев. От всей его фигуры, театральной даже в этой тюремно-лагерной обстановке, от модуляций его бархатного голоса веял ветер легкомысленности — даже не авантюризма. С каждым днем он понимал все лучше безвыходность таких попыток, все чаще задумывался и слабел.

Васильев был просто добрым товарищем, готовым разделить любую участь друга. Все они бежали, конечно, на первом году своего заключения, пока еще были иллюзии... и физическая сила.

Из палатки-кухни кочевого поселка геологов летней белой ночью исчезло двенадцать банок мясных консервов. Пропажа была в высшей степени загадочной — все сорок рабочих и техников были людьми вольными, с порядочными заработками, и вряд ли нуждающимися в такой вещи, как мясные консервы. Даже если бы это были консервы сказочной цены — сбывать их было некуда в глухом, бесконечном лесу. «Медвежий» вариант также был сразу отвергнут, ибо ничто на кухне не было сдвинуто с места. Можно было думать, что это сделал кто-то нарочно, «по злобе» на повара, в чьем ведении находились продукты кухни; правда, повар, человек добродушнейший, отрицал, что среди сорока его товарищей скрывается и пакостит его, повара, враг. Если же и это предположение было неверным, то оставалось еще одно. И вот для проверки этого последнего предположения прораб разведки Касаев, взяв с собой двух рабочих порасторопней, вооружив их ножами, а сам захватив единственное огнестрельное оружие, которое было на командировке, — мелкокалиберную винтовку, — отправился осматривать окрестности. Окрестностями были серо-коричневые ущелья, без всякого следа зелени, ведущие на большое известняковое плато. Поселок геологов расположен был как бы в яме, на зеленом берегу речки.

Разгадывать тайну пришлось недолго. Часа через два, когда они не спеша поднялись на плато, — один из рабочих поглазастей протянул руку — на горизонте была движущаяся точка. Они пошли по краю зыбких молодых туфов, молодого камня, еще не успевшего окаменеть и похожего на белое масло, противно соленое на вкус. Нога в нем вязла, как в болоте, и сапоги, окунутые в этот полужидкий, маслообразный камень, покрывались как бы белой краской. По краю было идти легко, и часа через пол-



тора они нагнали человека. Человек был одет в обрывки бушлата и в рваные ватные брюки с голыми коленями. Обе штанины были обрезаны — из них была сделана обувь, уже прорванная, истертая вконец. Для той же цели еще ранее были отрезаны и изношены рукава от бушлата. Его кожаные ботинки или резиновые чуни давно были сношены о камни и сучья и, очевидно, брошены.

Человек был бородат, волосат, бледен от невыносимого страдания. У него был понос, отчаянный понос. Одиннадцать целехоньких консервных банок лежали тут же на камнях. Одна банка была разбита о камни и дочиستا съедена еще вчера.

Он шел уже месяц к Магадану, кружась в лесу, как гребец в густом тумане на озере, и плутая, потеряв всякое направление, шел наудачу, пока не наткнулся на командировку — только тогда, когда совсем ослабел. Он ловил полевых мышей, ел траву. Он держался до вчерашнего дня. Он заметил дымок еще вчера, дождался ночи, взял консервы, выполз на плато к утру. В кухне он взял спички, но пользоваться спичками ему не было необходимости. Он съел консервы, и страшная жажда, пересохший рот вынудили его опуститься по другому распадку до ручья. И там он пил, пил холодную вкусную воду. Через сутки лицо его отекло, начавшееся расстройство кишечника уносило последние силы.

Он был рад любому концу своего путешествия.

Другой беглец, которого выволокли на ту же командировку из тайги оперативники, был какой-то важной персоной. Участник группового побега с соседнего прииска, побега с грабежом и убийством самого начальника прииска — он был последний из всех десяти бежавших. Двое было убито, семеро поймано, и вот последний был изловлен на двадцать первый день. Обувки у него не было, потрескавшиеся подошвы ног кровоточили. За неделю, по его словам, он съел только крошечную рыбку из пересохшего ручья, рыбку, которую он ловил несколько часов, обессилев от голода. Лицо его было опухшим, бескровным. Конвоиры очень заботились о нем, о его диете, о выздоровлении — мобилизовали фельдшера командировки, строго-настрого приказав ему заботиться о беглеце. Беглец прожил в бане поселка целых три дня, и наконец, постриженный, побритый, вымытый, сытый, он был уведен оперативкой на следствие, исходом которого мог быть только расстрел. Сам беглец об этом, конечно, знал, но это был арестант бывалый, равнодушный, уже давно

перешагнувший ту грань жизни в заключении, когда каждый человек становится фаталистом и живет «по течению». Возле него все время были конвоиры, бойцы охраны, говорить ему ни с кем не давали. Каждый вечер он сидел на крыльце бани и разглядывал огромный вишневый закат. Огонь вечернего солнца перекатывался в его глазах, и глаза беглеца казались горящими — очень красивое зрелище.

В одном из колымских поселков, в Оротукане, стоит памятник Татьяне Маландиной, и оротуканский клуб носит ее имя. Татьяна Маландина была договорницей, комсомолкой, попавшей в лапы уголовников-беглецов. Они ее ограбили, изнасиловали, по гнусному блатарскому выражению, «хором», и убили в нескольких сотнях метров от поселка, в тайге. Было это в 1938 году, и начальство тщетно распространяло слухи, что ее убили «троцкисты». Однако клевета подобного рода была чересчур нелепой и возмутила даже родного дядю убитой комсомолки — лейтенанта Маландина, лагерного работника, который именно после смерти племянницы резко изменил свое отношение к ворами и к другим заключенным, ненавидя первых и оказывая льготы вторым.

Оба этих беглеца были пойманы тогда, когда силы их были на исходе. По-другому себя вел беглец, задержанный группой рабочих на тропе близ разведочных шурфов. Третий день шел обложной дождь непрерывно, и несколько рабочих, напялив на себя брезентовую спецовку — куртки и брюки, отправились посмотреть, не пострадала ли от дождя маленькая палаточка — кухня с посудой и продуктами, полевая кузница с наковальней, походным горном и запасом бурового инструмента. Кузница и кухня стояли в русле горного ручья, в ущелье — километрах в трех от места жилья.

Горные реки разливаются в дожди очень сильно, и можно было ждать каких-нибудь каверз погоды. Однако то, что люди увидели, привело их в крайнее смущение. Ничего не существовало. Не было кузницы, где хранился инструмент для работ целого участка — буры, подбурники, кайла, лопаты, кузнечный инструмент; не было кухни с запасом продуктов на все лето; не было котлов, посуды — ничего не было. Ущелье было новым — все камни в нем были заново поставлены, принесены откуда-то обезумевшей водой. Все старое было сметено вниз по ручью, и рабочие прошли по берегам ручья до самой речки, куда ру-

чей впадал, — километров шесть-семь, и не нашли ни кусочка железа. Много позже в устье этого ручья, когда вода спала, на берегу, в тальнике, забитом песком, была найдена смятая камнями, вывороченная, исковерканная эмалированная миска из столовой поселка — и это было все, что осталось после грозы, после паводка.

Возвращаясь обратно, рабочие наткнулись на человека в кирзовых сапогах, в намокшем плаще, с большой заплечной сумкой.

— Ты беглец, что ли? — спросил человека Васька Рыбин, один из канавщиков разведки.

— Беглец, — полуутвердительно ответил человек. — Обсушиться бы...

— Ну, пойдем к нам — у нас печка горит. — Летом в дождь всегда топились железные печи в большой палатке — все сорок рабочих жили в ней.

Беглец снял сапоги, развесил портянки вокруг печи, достал жестяной портсигар, насыпал махорку в обрывок газеты, закурил.

— Куда идешь-то в такой дождь?

— На Магадан.

— Пожрать хочешь?

— А что у вас есть?

Суп и перловая каша не соблазнили беглеца. Он развязал свой мешок и вынул кусок колбасы.

— Ну, братец, — сказал Рыбин, — ты беглец-то не настоящий.

Рабочий постарше, заместитель бригадира Василий Кочетов встал.

— Куда ты? — спросил его Рыбин.

— До ветру. — И перешагнул через доску — порог палатки.

Рыбин усмехнулся.

— Вот что, браток, — сказал он беглецу, — ты сейчас собирайся и иди куда хотел. Тот, — сказал он про Кочетова, — к начальству побегал. Чтоб тебя задержать, значит. Ну, бойцов у нас нет, ты не бойся, а прямо иди и иди. Вон хлебушка возьми да пачку табаку. И дождик как будто поредел, на твое счастье. Держи прямо на большую сопку, не ошибешься.

Беглец молча намотал непросохшие портянки сухими концами на ступни, натянул сапоги, вскинул мешок на плечи и вышел.

Через десять минут кусок брезента, заменявший дверь, откинулся, и в палатку влезло начальство — прораб Ка-

саев с мелкокалиберкой через плечо, два десятника и Кочетов, вошедший в палатку последним.

Касаев постоял молча, пока привык к темноте палатки, огляделся. Никто не обратил внимания на вошедших. Все занимались своим делом — кто спал, кто чинил одежду, кто вырезал ножом какие-то мудреные фигуры из коряги — очередные эротические упражнения, кто играл в «буру» самодельными картами...

Рыбин ставил в печку на горящие угли закопченный котелок из консервной банки — собственное какое-то вариво.

— Где беглец? — заорал Касаев.

— Беглец ушел, — сказал Рыбин спокойно, — собрался и ушел. Что я — держать его должен?

— Да он же раздетый был, — закричал Кочетов, — спать собирался.

— Ты ведь тоже собирался до ветру, а под дождем куда бегал? — ответил Рыбин.

— Пошли домой, — сказал Касаев. — А ты, Рыбин, смотри: это добром не кончится...

— Что ж ты мне можешь сделать? — сказал Рыбин, подходя к Касаеву ближе. — На голову соли насыпать? Или сонного зарезать? Так, что ли?

Прораб и десятники вышли.

Это — маленький лирический эпизод в однообразно мрачной повести о беглецах Колымы.

Начальник командировки, встревоженный постоянными визитами беглецов — трое в течение одного месяца, — тщетно добивался в высших инстанциях организации на командировке оперпоста из вооруженных солдат охраны. На такие расходы для вольнонаемных управление не пошло, предоставив ему справляться с беглецами собственными силами. И хотя к этому времени, кроме касаяевской мелкокалиберки, в поселке завелись еще две охотничьих двустволки центрального боя и патроны к ним снаряжались как жиганы — кусками свинца, вроде как для медведя, — все же всем было ясно, что при нападении голодных и отчаянных беглецов жиганы эти — ненадежная помощь.

Начальник был парень бывалый, — внезапно на командировке были построены две караульные вышки, точно такие же, какие стоят по углам настоящих лагерных зон.

Это был остроумный камуфляж. Фальшивые караульные вышки должны были убедить беглецов, что на командировке вооруженная охрана.

Расчет начальника был, по-видимому, правильным — беглецы больше не посещали эту командировку, находившуюся всего в двухстах километрах от Магадана.

Когда работы на первом металле, то есть на золоте, передвинулись в Чай-Урьинскую долину — путем, который когда-то прошел Кривошей, двинулись десятки беглецов. Тут было всего ближе до материка, но об этом ведь знало и начальство. Количество «секретов» и оперпостов было резко увеличено — охота за беглецами была в полном разгаре. Летучие отряды прочесывали тайгу и наглухо закрывали «освобождение через зеленого прокурора» — так назывались побеги. «Зеленый прокурор» освобождал все меньше, меньше и, наконец, перестал освобождать совсем.

Пойманных обычно убивали на месте, и немало трупов лежало в морге Аркагалы, ожидающих опознания — приезда работников учета для снятия отпечатков пальцев мертвецов.

А в десяти километрах в лесу от угольной аркагалинской шахты в поселке Кадыкчан, известном выходом угольных мощных пластов почти на поверхность — пласты были в 8, 13 и 21 метр мощностью, — был расположен такой оперпост, где солдаты спали, ели, вообще базировались.

Во главе этого летучего отряда летом сорокового года стоял молодой ефрейтор Постников, человек, в котором была разбужена жажда убийства и который свое дело выполнял с охотой, рвением и страстью. Он лично поймал целых пять беглецов, получил какую-то медаль и, как полагаются в таких случаях, некоторую денежную награду. Награда выдавалась и за мертвых, и за живых — одинаково, так что доставлять в целости пойманного не было никакого смысла.

Постников со своими бойцами бледным августовским утром наткнулся на беглеца, вышедшего к ручью, где была засада.

Постников выстрелил из маузера и убил беглеца. Решено было его не тащить в поселок и бросить в тайге — следов и рысжих, и медвежьих встречалось здесь много.

Постников взял топор и отрубил обе руки беглеца, чтобы учетная часть могла сделать отпечатки пальцев, положил обе мертвых кисти в свою сумку и отправился домой — сочинять очередное донесение об удачной охоте.

Это донесение было отправлено в тот же день — один

из бойцов понес пакет, а остальным Постников дал выходной день в честь своего успеха...

Ночью мертвец встал и, прижимая к груди окровавленные культишки рук, по следам вышел из тайги и кое-как добрался до палатки, где жили рабочие-заключенные. С белым, бескровным лицом, с необычайными синими безумными глазами, он стоял у двери, согнувшись, привалясь к дверной раме, и, глядя исподлобья, что-то мычал. Он трясся в сильнейшем ознобе. Черные пятна крови были на телогрейке, брюках, резиновых чунях беглеца. Его напоили горячим супом, закутали какими-то тряпками страшные руки его и повели в медпункт, в амбулаторию. Но уже из избышки, где жил оперпост, бежали солдаты, бежал сам ефрейтор Постников.

Солдаты повели беглеца куда-то — только не в больницу, не в амбулаторию — и больше о беглеце с отрубленными руками никто ничего не слышал.

Постников и весь его оперпост работали до первого снега. При первых морозах, когда дел по таежному розыску становится меньше, опергруппу эту куда-то перевели из Аркагалы.

Побег — великое испытание характеров, выдержки, воли, выносливости физической и духовной. Думается, ни для какой полярной зимовки, ни для какой экспедиции не так трудно подобрать товарищей, как в побег.

Притом голод, острый голод — всегдашняя угроза для беглеца. Если ж понять, что именно от голода и бежит арестант и, стало быть, голода не боится, то вырастает еще одна смутная опасность, с которой может встретиться беглец, — он может быть съеден своими собственными товарищами. Конечно, случаи людоедства в побеге редки. Но все же они существуют, и, думается, нет ни одного старого колымчанина, пробывшего на Дальнем Севере с десятков лет, кто бы не сталкивался с людоедами, получившими срок именно за убийство товарища в побеге, за употребление в пищу человеческого мяса.

В центральной больнице для заключенных длительное время находился больной Соловьев с хроническим остеомиелитом бедра. Остеомиелит — воспаление костного мозга — возник после пулевого ранения кости, умело растравленного самим Соловьевым. Соловьев, осужденный за побег и людоедство, «тормозился» в больнице и рассказывал охотно, как он с товарищем, готовясь в побег, нарочно пригласили третьего — «на случай, если заголодаем».

Беглецы шли долго, около месяца. Когда третий был убит и частью съеден, а частью «зажарен в дорогу» — двое убийц разошлись в разные стороны — каждый боялся быть убитым в любую ночь.

Встречались и другие людоеды. Это самые обыкновенные люди. На людоедах нет никакого кайнова клейма, и, пока не знаешь подробностей их биографии — все обстоит благополучно. Но даже если и узнаешь об этом — тебе это не претит, тебя это не возмущает. На брезгливость и возмущение такими вещами не хватает физических сил, просто места не хватает, где могли бы жить чувства подобной тонкости. К тому же история нормальных полярных путешествий нашего времени несвободна от похожих поступков — таинственная смерть шведского ученого Мальмгре-на, участника экспедиции Нобиле, — на нашей памяти. Что же требовать от голодного, затравленного получело-века-полузверя?

Все побеги, о которых шел рассказ, — это побеги на родину, на материк, побеги с целью вырваться из цепких лап тайги, добраться до России. Все они кончаются одинаково — никому не выбраться с Дальнего Севера. Неудача такого рода предприятий, безвыходность их и, с другой стороны, повелительная тоска по свободе, ненависть и отвращение к принудительному труду, к физическому труду, ибо ничего другого в заключенном лагерь воспитать не может. На воротах каждой лагерной зоны насмешливо выведено: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства» — и имя автора этих слов. Надпись делается по специальному циркуляру и обязательна для каждого лагерного отделения.

Вот эта тоска по свободе, жгучее желание очутиться в лесу, где нет колючей проволоки, караульных вышек с винтовочными стволами, блестящими на солнце, где нет побоев, тяжелой многочасовой работы без сна и отдыха, — рождает побег особого рода.

Арестант чувствует свою обреченность: еще месяц, два — и он умрет, как умирают товарищи на его глазах.

Он все равно умрет, так пусть он умрет на свободе, а не в забое, в канаве, упав от усталости и голода.

Летом на прииске работа тяжелей, чем зимой. Пески промывают именно летом. Слабеющий мозг подсказывает заключенному некий выход, при котором можно и летом продержаться, да и начало зимы пробыть в теплом помещении.

Так рождается «уход во льды», как красочно окрещены такие побегы «вдоль трассы».

Заклученные, вдвоем, втроем, вчетвером, бегут в тайгу в горы и устраиваются где-нибудь в пещере, в медвежьей берлоге — в нескольких километрах от трассы — огромного шоссе в две тысячи километров длиной, пересекающего всю Колыму.

У беглецов — запас спичек, табаку, продуктов, одежды — всего, что можно было собрать к побегу. Впрочем, собрать что-либо почти никогда заранее не удастся, да это вызвало бы подозрения, сорвало бы замысел беглецов.

Иногда грабят в ночь побега лагерный магазин, или «ларек», как говорят в лагере, и уходят с награбленными продуктами в горы. Большой же частью уходят без всего — на «подножный корм». Этим подножным кормом бывает совсем не трава, не корни растений, не мыши и не бурундуки.

По огромному шоссе день и ночь идут машины. Среди них — много машин с продуктами. Шоссе в горах — все в подъемах и спусках — машины вползают на перевалы медленно. Вскочить на машину с мукой, скинуть мешок — вот тебе и запас пищи на все лето. А везут ведь не только муку. После первых же грабежей машины с продуктами стали отправлять в сопровождении конвоя, но не каждую машину отправляли таким образом.

Кроме открытого грабежа на большой дороге, беглецы грабили соседние с их базой поселки, маленькие дорожные командировки, где живут по два-три человека путевые обходчики. Группы беглецов посмелей и побольше останавливают машины, грабят пассажиров и груз.

За лето при удаче такие беглецы поправлялись и физически, и «духовно».

Если костры раскладывались осторожно, следы награбленного были тщательно замечены, караул был бдителен и зорок — беглецы жили до поздней осени. Мороз, снег выжимал их из голого, неуютного леса. Облетали осины, тополя, лиственницы осыпали свою ржавую хвою на грязный холодный мох. Беглецы были не в силах более держаться — и выходили на трассу, на шоссе, сдавались на ближайшем оперпосту. Их арестовывали, судили, не всегда быстро — зима успевала давно начаться, давали им срок за побег, и — они выходили в ряды работяг на прииск, где (если им случалось вернуться на тот же прииск, откуда они бежали) уже не было их прошлогодних това-



рищей по бригаде — те либо умерли, либо ушли в инвалидные роты полумертвецами.

В 1939 году впервые были созданы для обессиленных работяг так называемые «оздоровительные команды» и «оздоровительные пункты». Но так как «выздоровливать» надо было несколько лет, а не несколько дней, то эти учреждения не оказали желанного действия на воспроизводство рабочей силы. Зато лукавая частушка запомнилась всем колымчанам, верящим, что, пока арестант сохраняет иронию, он остается человеком:

Сначала ОП, потом ОК,  
На ногу бирку — и пока!..

Бирку с номером личного дела привязывают к левой ноге при погребении арестанта.

Беглец же, хоть и получил пять лет дополнительного срока, если следователю не удалось пришить ему грабеж машин, — оставался здоровым и живым, а иметь срок в 5, 10 или 15 лет, в 20 лет — разницы, по сути дела, тут нет никакой, потому что и пять лет проработать в забое нельзя. В приисковом забое можно проработать пять недель.

Участились такие курортные побеги, участились грабежи, участились убийства. Но не грабежи и не убийства раздражали высшее начальство, привыкшее иметь дело с бумагой, с цифрами, а не с живыми людьми.

А цифры говорили, что стоимость награбленного — укорочение жизни путем убийства и вовсе не входило в счет — гораздо меньше, чем стоимость потерянных рабочих часов и дней.

Курортные побеги напугали начальство больше всего. 82-я статья УК была вовсе забыта, не применялась более никогда.

Побеги стали трактоваться как преступление против порядка, управления, против государства, как политический акт.

Беглецов стали привлекать ни много ни мало как по пятьдесят восьмой статье, наряду с изменниками Родины. И пункт пятьдесят восьмой статьи был выбран юристами знакомый, применявшийся ранее в шахтинском процессе «вредителей». Это был четырнадцатый пункт пятьдесят восьмой статьи — «контрреволюционный саботаж». Побег — есть отказ от работы, отказ от работы — есть контрреволюционный саботаж. Именно по этому пункту и по этой статье стали судить беглецов. Десять лет за по-

бег — стало минимальным дополнительным сроком. Повторный побег карался двадцатью пятью годами.

Это никого не напугало и не уменьшило ни числа побегов, ни числа грабежей.

Одновременно с этим всякое уклонение от работы, отказ от работы тоже стали толковаться как саботаж, и наказание за отказ от работы — высшее лагерное преступление — стало все увеличиваться. «Двадцать пять и пять поражений» — вот формула многолетней практики приговоров отказникам и беглецам военного и послевоенного времени.

Те специфические черты, которые отличают побег на Колыме от обыкновенных побегов, не делают их менее трудными. Если в огромном большинстве случаев перейти ту грань, которая отделяет побег от самовольной отлучки, — легко, то трудности возрастают с каждым днем, с каждым часом продвижения по негостеприимной, враждебной всему живому природе Дальнего Севера. Крайне сжатые сроки побегов, сжатые временами года, вынуждают и торопливость в подготовке, и необходимость преодолеть большие и трудные расстояния в короткое время. Ни медведь, ни рысь не опасны беглецу. Он погибает от собственного бессилия в этом суровом краю, где у беглеца крайне мало средств борьбы за жизнь.

Рельеф местности мучителен для пешехода, перевалы следуют за перевалами, ущелья за ущельями. Зверинные тропы едва заметны, почва в редком, уродливом таежном лесу — зыбкий сырой мох. Спать без костра рискованно — подземный холод вечной мерзлоты не дает камням нагреться за день. Пищи в пути нет никакой — кроме сухого ягеля, оленьего мха, который можно растереть и смешать с мукой и печь лепешки. Подбить палкой куропатку, кедровку — трудная задача. Грибы и ягоды — плохая пища в дороге. Притом они бывают в конце столь кратковременного летнего сезона. Стало быть, весь запас пищи должен быть взят с собой, из лагеря.

Трудны таежные пути побега, но еще труднее подготовка к нему. Ведь всякий день, всякий час будущие беглецы могут быть разоблачены, выданы начальству своими товарищами. Главная опасность — не в конвое, не в надзирателях, а в своих товарищах-арестантах, тех, которые живут одной жизнью с беглецом и рядом с ним двадцать четыре часа в сутки.

Каждый беглец знает, что они не только не помогут ему, если заметят что-либо подозрительное, но и не прой-

дут равнодушно мимо увиденного. Из последних сил голодный, измученный арестант доползет, дошагает до «вахты», чтобы донести и разоблачить товарища. Это делается не даром — начальник может угостить махоркой, похвалить, сказать спасибо. Собственную трусость и подлость доносчик выдает за что-то вроде долга. Он не доносит только на блатных, потому что боится удара ножом или веревочной удавки.

Групповой побег с количеством участников более двух-трех, если он не стихийен, внезапен, как бунт, почти немислим. Такой побег нельзя подготовить из-за растленных и продажных, голодных, ненавидящих друг друга людей, наполняющих лагерь.

Вовсе не случайно, что единственный групповой подготовленный побег, чем бы он ни кончился, удался именно потому, что в том лагерном отделении, откуда шли беглецы, вовсе не было старых колымчан, уже отравленных, разложенных колымским опытом, униженных голодом, холодом и побоями, не было людей, которые выдали бы беглецов начальству.

Ильф и Петров в «Одноэтажной Америке» полусерьезно указывают на непреодолимое желание жаловаться — как на национальную черту русского человека, как на нечто присущее русскому характеру. Эта национальная черта, исказившись в кривом зеркале лагерной жизни, находит выражение в доносе на товарища.

Побег может вспыхнуть как импровизация, как стихия, как лесной пожар. Тем трагичней судьба его участников — случайных, мирных созерцателей, вовлеченных в водоворот действия почти помимо воли.

Никто из них еще не пригляделся, как коварна осень Колымы, никто и не подозревает, что багряного пожара листьев, травы и деревьев — хватает на два-три дня, а с высокого бледно-голубого неба, окраски чуть более светлой, чуть более, чем обычно, может внезапно сыпаться мелкий холодный снег. Никто из беглецов не знает, как толковать вдруг распластавшиеся по земле зеленые ветви стланика, прижавшегося к земле на глазах беглецов. Как толковать внезапное бегство рыбы вниз по течению ручьев.

Никто не знает, есть ли в тайге поселки. И какие. Дальневосточники, сибиряки напрасно надеются на свои таежные знания и охотничий талант.

В конце осени, осени послевоенной, автомашина — открытый грузовик с двадцатью пятью заключенными

шел в один из каторжных лагерей. В нескольких десятках километров от места назначения арестанты набросились на конвой, обезоружили конвоиров и «ушли в побег» — все двадцать пять человек.

Шел снег, жесткий ледяной снег, одежды у беглецов не было. Собаки быстро нашли следы — четырех групп, на которые разделились бежавшие. Группу с оружием, взятым у конвоя, перестреляли всю. Две группы были захвачены через день, а последняя — на четвертый день. Этих доставили прямо в больницу: у всех были отморожения четвертой степени — руки и ноги — колымский мороз, колымская природа были всегда в союзе с начальством, были враждебны одиночке-беглецу.

Беглецы долго лежали в больнице в отдельной палате, у двери которой сидел конвоир, — больница была хоть и арестантская, но не каторжная. У всех пятерых были ампутированы то рука, то нога, а у двоих и обе ноги сразу.

Так расправился колымский мороз с торопливыми и наивными новичками.

Все это очень хорошо понимал подполковник Яновский. Впрочем, подполковником он был на войне, здесь он был заключенным Яновским, культургом большого лагерного отделения. Это отделение было сформировано сразу после войны только из новичков — из военных преступников, из власовцев, из военнопленных, служивших в немецких частях, из полицаев и жителей оккупированных немцами сел, заподозренных в дружбе с немцами.

Здесь были люди, за плечами которых был опыт войны, опыт ежедневных встреч со смертью, опыт риска, опыт звериного уменья в борьбе за свою жизнь, опыт убийства.

Здесь были люди, которые уже бежали и из немецкого, и из русского плена, и из английского плена... Люди, которые привыкли ставить на карту свою жизнь, люди с воспитанной примером и инструкцией смелостью. Обученные убивать разведчики и солдаты, они продолжали войну в новых условиях, войну за себя — против государства.

Начальство, привыкшее общаться с послушными «троцкистами», не подозревало, что здесь находятся люди дела, действия прежде всего.

За несколько месяцев до событий, о которых будет идти речь, лагерь этот посетил какой-то большой начальник. Знакомясь с жизнью новичков и их работой на производстве, начальник посетовал, что культурная работа, художественная самодеятельность в лагере оставляет желать лучшего. И бывший подполковник Яновский, культ-

орг лагеря, почтительно доложил: «Не беспокойтесь, мы готовим такой концерт, о котором вся Колыма заговорит».

Это была весьма рискованная фраза, но на нее в то время никто не обратил внимания, в чем, впрочем, Яновский был уверен.

Всю зиму на должности лагерной obsługi медленно, один за другим, продвигались и подбирались участники будущего, намеченного на весну побега. Нарядчик, староста, фельдшер, парикмахер и бригадир, все штатные должности obsługi из заключенных были заняты людьми, подобранными самим Яновским. Здесь были летчики, шоферы, разведчики — все те, кто мог принести успех дерзко задуманному побегу. Условия Колымы были изучены, трудностями никто не пренебрегал и ни в чем не ошибался. Целью была свобода — или счастье умереть не от голода, не от побоев, не на лагерных нарах, а в бою, с оружием в руках.

Яновский понимал, как важно, необходимо его товарищам сохранить физическую силу, выносливость наряду с силой нравственной, духовной. На должностях obsługi можно было быть почти сытым, не ослабеть.

Пришла обычная безмолвная колымская весна — без пения птиц, без единого дождя. Лиственницы оделись ярко-зеленой молодой хвоей, редкий голый лес как бы сгустился, деревья сдвинулись друг к другу, пряча своими ветвями людей и зверей. Начались белые, точнее, бледно-сиреневые ночи...

Караульная вахта близ лагерных ворот имеет две двери — наружу и внутрь лагеря — такова архитектурная специфика зданий подобного рода. Дежурят надзиратели по двое.

Ровно в пять часов утра в окошечко вахты постучали. Дежурный надзиратель посмотрел в стекло — пришел лагерный повар Солдатов за ключом от шкафа с продуктами — ключ хранился на вахте, на гвоздике, вбитом в стену. Несколько месяцев подряд каждый день ровно в пять часов утра повар приходил сюда за ключами. Дежурный откинул крючок ипустил Солдатова. Второго надзирателя на вахте не было, он только что вышел во внешнюю дверь — квартира, где он жил с семьей, была метрах в трехстах от вахты.

Все было рассчитано, и автор спектакля смотрел через маленькое окно, как начинается первый акт давно задуманного спектакля, как все то, что было повторено тысячу

раз воображением и рассудком, одевается в живую плоть и кровь.

Повар отошел к стене, где висел ключ, и в окошечко постучали снова. Надзиратель хорошо знал стучавшего — это был заключенный Шевцов, механик и оружейных дел мастер, неоднократно чинивший автоматы, винтовки и пистолеты в отряде, — человек «свой».

В этот момент Солдатов бросился на надзирателя сзади и задушил его при помощи вошедшего на вахту Шевцова. Мертвеца бросили под топчан в углу вахты и завалили дровами. Солдатов и Шевцов стащили с убитого шинель, шапку и сапоги, и Солдатов, надев форму надзирателя и вооружившись наганом, сел за дежурный стол. В это время вернулся второй надзиратель. Пока он успел что-нибудь сообразить — он был задушен, как и первый. Его одежду надел Шевцов.

Неожиданно на вахту вошла жена второго надзирателя, ходившего позавтракать домой. Ее убивать не стали, а только связали ей руки и ноги, заткнули кляпом рот и положили вместе с мертвыми.

Привел бригаду рабочих ночной смены конвоир и вошел на вахту расписаться в сдаче людей. Он был также убит. Так была приобретена винтовка и еще одна шинель.

На дворе около вахты уже ходили люди, как и полагается во время развода по работам, и подполковник Яновский принял в этот момент командование.

С ближайших угловых вышек пространство около вахты простреливалось. На обеих вышках были часовые, но в мутном утре после белой ночи часовые не замечали ничего подозрительного на площадке у вахты. Как всегда, дежурный надзиратель раскрыл ворота, сосчитал людей, как всегда, вышли два конвоира принимать бригаду. Вот конвоиры построили бригаду маленькую, всего в десять, нет, даже в девять человек, повели... То, что бригада свернула с дороги на тропку, тоже не вызвало тревоги часовых — тропкой, которая вела мимо отряда охраны, и раньше водили конвоиры работяг, если запоздает развод по работам.

Бригада шла мимо отряда охраны, и сонный дежурный, видя ее в раскрытую дверь, только подивился, почему бригаду ведут по тропке в затылок друг другу, гуськом, а не обычным строем по дороге — как был оглушен и обезоружен, а «бригада» кинулась к пирамиде винтовок, стоящих тут же, на глазах дежурного, в первой половине казармы.

Вооруженный автомат Яновский распахнул дверь, где спало сорок солдат охраны — молодых кадровиков конвойной службы. Автоматная очередь в потолок уложила всех на пол под койки. Передав автомат Шевцову, Яновский пошел на двор, куда его товарищи уже тащили продукты, оружие с боеприпасами из взломанных складов отряда охраны.

Часовые с вышек не решились открыть стрельбу — позже они говорили, что нельзя было увидеть и понять, что творится в отряде охраны. Их показаниям не было дано веры, и часовые были впоследствии наказаны.

Беглецы собирались неспешно. Яновский приказал брать только оружие и патроны, как можно больше патронов, а из продуктов — только галеты и шоколад. Фельдшер Никольский набил сумку с красным крестом индивидуальными пакетами. Все переоделись в новую военную форму, подобрали каждый себе сапоги из каптерки отряда.

Еще когда выходили арестантским строем из лагеря и брали отряд, выяснилось, что в побеге участвуют не все — не хватало бригадира Петра Кузнецова, друга подполковника Яновского. Он был неожиданно переведен в ночную смену, вместо заболевшего десятника. Яновский не хотел уходить без товарища, с которым многое было вместе пережито, многое задумано.

Послали за бригадиром на производство, и Кузнецов пришел и переоделся в солдатскую одежду.

Командир атакованного отряда охраны и начальник лагеря вышли из своих квартир не прежде, чем узнали от своих дневальных, что беглецы покинули территорию лагеря.

Телефонный провод был перерезан, и в ближайшее лагерное отделение успели сообщить о побеге лишь тогда, когда беглецы уже вышли на трассу, на центральное шоссе.

Выйдя на шоссе, беглецы остановили первый порожний грузовик. Шофер вылез из кабины под угрозой револьвера, и Кобаридзе, летчик-истребитель, взял в руки баранку. Яновский сел в кабину рядом с ним и развернул на коленях карту, захваченную в отряде охраны; машина помчалась к Сеймчану — к ближайшему аэродрому. Захватить самолет и улететь!

Второй, третий, четвертый поворот налево. Пятый поворот!

Машина завернула налево с большого шоссе и помчалась над кипящей рекой, вдоль скального прижима по узкой, извилистой, хрустящей под колесами каменистой дороге. Кобаридзе убавил скорость — недолго было и полететь под откос в воду с десятисаженной высоты. Маленькие, словно игрушечные, домики командировки виднелись внизу, около речки. Дорога гнулась, огибая скалу за скалой, и уходила вниз — машина опускалась с перевала. Домики поселка вынырнули из тайги совсем близко, и Яновский сквозь ветровое стекло кабины увидел солдата, бегущего навстречу машине с винтовкой наперевес. Солдат отскочил в сторону, машина пронеслась мимо, и сразу вслед беглецам отрывисто защелкали выстрелы — охрана была уже предупреждена.

Решение у Яновского было готово заранее, и километров через десять Кобаридзе затормозил машину. Беглецы бросили грузовик и, перешагнув через затянутый мхом кювет, вошли в тайгу и исчезли. До аэродрома было еще километров семьдесят, и Яновский решил идти напролом.

Они ночевали в пещере близ небольшого горного ручья, все вместе, греясь друг о друга и выставив сторожевое охранение.

Утром другого дня, едва беглецы тронулись в путь, они наткнулись на оперативников — местная группа прощупывала лес. Четыре оперативника были убиты первыми выстрелами беглецов. Яновский велел зажечь лес — ветер дул в сторону погони, и беглецы пошли дальше.

Но уже по всем колымским дорогам летели грузовики с солдатами — незримая армия регулярных войск поспешила на помощь лагерной охране и оперативке. На центральном шоссе разъезжали десятки военных машин.

Дорога на Сеймчан была на много десятков километров забита военными частями. Самое высокое колымское начальство лично руководило редкой операцией.

Замысел Яновского был разгадан, и на охрану аэродрома было мобилизовано такое количество регулярных войск, что они с трудом были размещены на подступах к аэродрому.

К вечеру второго дня группа Яновского вновь была обнаружена и приняла бой. Отряд войск оставил на месте десять убитых. Яновский, пользуясь направлением ветра, снова зажег тайгу и снова ушел, перебравшись через большой горный ручей. Третья ночевка беглецов, которые все еще не потеряли ни одного человека, была выбрана Яновским на болоте, посреди которого стояли стога.



Беглецы ночевали в стогах, и, когда белая ночь кончилась, когда таежное солнце осветило верхушки деревьев, стало видно, что болото окружено солдатами. Почти не прячась, солдаты перебегали от дерева к дереву.

Командир того самого отряда, на который напали беглецы в начале своего похода, замахал тряпкой и закричал:

— Сдавайтесь, вы окружены. Вам некуда деться...

Шевцов высунулся из стога:

— Правда твоя. Иди, принимай оружие...

Командир отряда выскочил на болотную тропу, побежал к стогам, закачался, уронил фуражку и упал лицом в болотную лужу. Пуля Шевцова попала ему прямо в лоб.

Тотчас же началась беспорядочная стрельба отовсюду, слышались слова команды, солдаты кинулись на стога со всех сторон, но круговая оборона невидимых беглецов, скрытых в сене, оборвала атаку. Раненые стонали, уцелевшие залегли в болоте; время от времени щелкал выстрел, и солдат дергался и вытягивался.

Снова началась стрельба по стогам, на этот раз безответная. После часа стрельбы была предпринята новая атака, снова остановленная выстрелами беглецов. Снова лежали трупы в болоте и стонали раненые.

Длительный обстрел начался снова. Установили два пулемета, и после нескольких очередей — новая атака.

Стога молчали.

Когда солдаты разметали в разные стороны каждый стог — выяснилось, что в живых только один беглец — повар Солдатов. У него были прострелены обе голени, плечо и предплечье, но он еще дышал. Остальные все были мертвы, застрелены. Но остальных было не одиннадцать, а всего девять человек.

Не было самого Яновского, и не было Кузнецова.

В тот же вечер в двадцати километрах вверх по реке был задержан неизвестный, одетый в военную форму. Окруженный бойцами, он покончил с собой из пистолета. Мертвец был тут же опознан. Это был Кузнецов.

Недоставало только главаря — подполковника Яновского. Судьба его навсегда осталась неизвестной. Его искали долго — много месяцев. Он не мог ни уплыть по реке, ни уйти горными тропами — все было блокировано самым наилучшим образом. По всей вероятности, он покончил с собой, укрывшись предварительно в какую-нибудь глубокую пещеру или медвежью берлогу, где его труп съели таежные звери.

Из центральной больницы на это сражение был вытребован лучший хирург с двумя вольнонаемными, обязательно вольнонаемными фельдшерами. Больничная полуторка едва к вечеру пробралась к совхозу «Эльген», где был штаб действующего отряда, — такое количество военных «студебеккеров» заграждало ей путь.

— Что тут — война, что ли? — спросил хирург у высокого начальника, руководителя операции.

— Война не война, а двадцать восемь убитых пока имеется. А сколько раненых — вы и сами узнаете.

Хирург перевязывал и оперировал до вечера.

— Сколько же беглецов?

— Двенадцать.

— Да вы бы вызвали самолеты и бомбили их, бомбили. Атомными бомбами.

Начальник покосился на хирурга:

— Вы — вечный балагур, я вас давно знаю, а вот увидите — снимут меня с работы, заставят в отставку раньше времени идти. — Начальник тяжело вздохнул.

Он был догадлив. С Колымы его перевели, сняли с работы именно за этот побег.

Солдатов поправился и был осужден на двадцать пять лет. Начальник лагеря получил десять лет, часовые, стоявшие на вышках, — по пять лет заключения. Осуждено было очень много людей на прииске по этому делу — более шестидесяти человек — все, кто знал и молчал, кто помогал и кто думал помочь, да не успел. Командир отряда получил бы большой срок, да пуля Шевцова избавила его от неизбежного наказания.

Даже врач Потапова, начальница санчасти, в штате которой работал бежавший фельдшер Никольский, привлечена была к ответственности, но ее удалось спасти, срочно переведя в другое место.

1959

## ПЕРВЫЙ ЗУБ

Арестантский этап был тот самый, о котором я мечтал долгие свои мальчишеские годы. Почернелые лица и голубые рты, обожженные уральским апрельским солнцем. Гиганты конвоиры вскакивают на ходу в розвальни, розвальни взлетают; рубленая рана через все лицо у одноглазого конвоира — передового, яркие синие глаза у началь-

ника конвоя — с половины первого дня этапа мы уже знали его фамилию — Щербаков. Арестанты — а нас было около двухсот человек — уже знали фамилию начальника. Почти чудесным образом, недоступным, непонятым для меня. Арестанты произносили эту фамилию обыденно, как будто путешествие наше с Щербаковым длится вечно. И он вошел в нашу жизнь навек. Да так оно и было — для многих из нас. Гибкая огромная фигура Щербакова мелькала тут и там, то забежала вперед, он встречал и провожал глазами последнюю телегу этапа и только потом пускался вдогонку, в обгонку. Да, у нас были телеги, классические телеги, на которых сибирские чалдоны везли вещи, — этап шел в свой пятидневный путь арестантским строем, без вещей, напоминая на остановках и поверках нестройные ряды призывников где-нибудь на вокзале. Но все вокзалы надолго остались в стороне от наших жизненных путей. Было утро, бодрящее апрельское утро, сумерки, редующая полутьмнота монастырского двора, где строился, зевая и кашляя, наш этап для того, чтобы пуститься в дальнюю дорогу.

В подвале соликамской милиции, в бывшем монастыре, мы провели ночь после смены заботливого и немногословного московского конвоя на ораву кричащих загорелых молодцов под командой синеглазого Щербакова. Вчера вечером мы вливались в холодный настывший подвал — вокруг церкви был лед, снег, чуть таявший днем, а вечером замерзавший — синие, серые сутробы покрывали весь двор, и чтобы добраться до сути снега, до его белизны — надо было сломать жесткую, режущую руки корку льда, разрыть ямку и только тогда вытащить из ямки крупнозернистый, рассыпающийся снег, который так радостно таял во рту и, обжигая преснотой, чуть охлаждал пересохшие рты.

Я входил в подвал одним из первых, мог выбрать место потеплее. Огромные ледяные своды пугали меня, и я — неопытный юнец — искал глазами подобие печки, хотя бы такой, как у Фигнер, у Морозова. И ничего не находил. Но мой случайный товарищ, товарищ только на эту краткую минуту входа в тюремный, церковный подвал — невысокий блатарь Гусев, толкнул меня к самой стене, к единственному окну, закрытому решетками, с двойным стеклом. Окно было полукруглым и начиналось от самого пола этого подвала, с метр высотой, и было похоже на бойницу. Я было хотел выбрать другое место потеплей, но толпа людей лилась и лилась в узкую

дверь, и вернуться назад не было никакой возможности. Гусев столь же спокойно, не говоря мне ни слова, ударил носком сапога в стекло, разбив сначала первую, а потом и вторую раму. В пробитое отверстие хлынул холодный воздух, обжигая как кипяток. Охваченный струей этого воздуха, я, и без того намерзший долгим ожиданием и нескончаемым пересчетом на дворе, задрожал от холода. Не сразу я понял всю мудрость Гусева — только мы из двухсот арестантов всю эту ночь дышали свежим воздухом. Люди были набиты, вбиты в подвал так, что нельзя было ни сесть, ни лечь, только стоять.

До половины стен подвал был в белом пару дыхания, нечистом, душном. Начались обмороки. Задыхавшиеся старались пробиться к двери, в которой была щель и был «волчок», глазок, пробовали дышать через этот глазок. Но стоявший снаружи часовой-конвоир время от времени тыкал штыком своей винтовки в глазок, и попытки вдохнуть свежий воздух через тюремный глазок были прекращены. Никаких фельдшеров, врачей к упавшим в обморок, ясное дело, не вызывали. Только мы с Гусевым продержались благополучно у разбитого мудрым Гусевым стекла. Строились долго... Мы выходили последними, туман рассеялся, и открылся потолок, сводчатый потолок, тюремное и церковное небо было совсем близко — рукой подать. И на сводах подвала соликамской милиции я нашел письма, сделанные простым углем огромными буквами по всему потолку: «Товарищи! В этой могиле мы умирали трое суток и все же не умерли. Крепитесь, товарищи!»

Под крики команды этап выполз за околицу Соликамска и двинулся в низину. Небо было синее-синее, как глаза начальника конвоя. Солнце жгло, ветер охлаждал наши лица — они стали коричневыми к первой же ночевке в пути. Ночевка этапа, подготовленная заранее, проходила всегда по установленной форме. Для арестантской ночевки у крестьян снимались две избы — одна почище, другая победнее — нечто вроде сарая, да иногда и сарай. Надо было попасть в «чистую», конечно. Но это не зависело от моей воли: каждый вечер в сумерках всех пропускали мимо начальника конвоя, который взмахом руки показывал, где очередной арестант должен провести очередную ночь. Тогда Щербаков показался мне мудрейшим из мудрых, потому что он не рылся в каких-нибудь бумагах, списках, отыскивая «постатейные данные», а в тот же момент, как этап переставал двигаться, взмахивал рукой и отсекал

очередного этапника. Позже я подумал, что Щербаков человек наблюдательный — всякий раз его выбор, сделанный каким-то непостижимым уму способом, — оказывался верным — вся «пятьдесят восьмая» была вместе, а «тридцать пятая» — также. Еще позже, через один-два года, я подумал, что в тогдашней мудрости Щербакова никакого чуда нет: навык угадывать по внешнему виду — доступен всем. В нашем этапе дополнительными признаками могли бы быть вещи, чемоданы. Но вещи везли отдельно, на подводах, на розвальнях крестьян.

На первой же ночевке и случилось событие, ради которого ведется этот рассказ. Двести человек стояли, ожидая прихода начальника конвоя, а в левой стороне слышались какие-то крики, возня, пыхтение людей, рев, ругань и наконец явственный крик: «Драконы! Драконы!» Перед арестантским строем выкинули на снег человека. Лицо его было разбито в кровь, нахлобученная на его голову чужой рукой шапка-папах торчала и не могла прикрыть узкой, сочащейся кровью, раны. Человек был одет в коричневую тканину домашней работы — какой-нибудь украинец, хохол. Я знал его. Это был Петр Заяц, сектант. Его везли из Москвы в одном вагоне со мной. Он все молился, молился.

— Не хочет стоять на проверке! — доложил, задыхаясь, разгоряченный возней конвоир.

— Поставить его, — скомандовал начальник конвоя.

Зайца поставили, поддерживая под руки, двое огромных конвоиров. Но Заяц был выше их на голову, крупнее, тяжелей.

— Не хочешь стоять, не хочешь?

Щербаков ударил Зайца кулаком в лицо, и Заяц сплюнул на снег.

И вдруг я почувствовал, как сердцу стало обжигающе горячо. Я вдруг понял, что все, вся моя жизнь решится сейчас. И если я не сделаю чего, а чего именно, я не знаю и сам, то, значит, я зря приехал с этим этапом, зря прожил свои двадцать лет.

Обжигающий стыд за собственную трусость отхлынул с моих щек — я почувствовал, как щеки стали холодными, а тело — легким.

Я вышел из строя и срывающимся голосом сказал:

— Не смейте бить человека.

Щербаков с великим удивлением разглядывал меня.

— Иди в строй.

Я вернулся в строй. Щербаков отдал команду, и этап,

делясь на две избы, повинуюсь движению щербаковского пальца, — стал таять в темноте. Перст Щербакова указал мне на «черную» избу.

На сырой, прошлогодней, пахнувшей гнилью соломе укладывались мы спать. Солома была насыпана на голую гладкую землю. Ложились вповалку, чтоб было теплее, и только блатари, устроившись около фонаря, висевшего на балке, играли в вечную свою «буру» или «стос». Но вскоре и блатари заснули. Заснул и я, размышляя о своем поступке. У меня не было старшего товарища, не было примера. Я был один в этом этапе, у меня не было ни друзей, ни товарищей. Сон мой был прерван. В лицо мне светил фонарь, и кто-то из моих разбуженных соседей-блатарей уверенно и подобострастно повторял:

— Он, он...

Фонарь держал в руках конвойный.

— Выходи.

— Сейчас оденусь.

— Выходи так.

Я вышел. Нервная дрожь била меня, и я не понимал, что должно сейчас произойти.

Я и два конвоира вышли на крыльцо.

— Снимай белье!

Я снял.

— Вставай в снег.

Я встал. Я поглядел на крыльцо и увидел две наведенные на меня винтовки. Сколько прошло времени этой уральской ночью, первой моей уральской ночью — я не помню.

Я услышал команду:

— Одевайся.

Я натянул на себя белье. Удар по уху сбил меня в снег. Удар тяжелого каблука пришелся прямо в зубы, и рот наполнился теплой кровью и быстро стал отекать.

— В барак!

Я вошел в барак, добрался до своего места, уже занятого другим телом места. Все спали или делали вид, что спали... Солоноватый вкус крови не проходил — во рту было что-то постороннее, что-то ненужное, и я ухватил пальцами это ненужное и с усилием вырвал из собственного рта. Это был выбитый зуб. Я бросил его там, на прелой соломе, на голом земляном полу.

Я обнял руками грязные и вонючие тела товарищей и заснул. Заснул. Я даже не простудился.

Утром этап вышел в путь, и синие невозмутимые глаза

Щербакова обвели арестантские ряды привычным взглядом. Петр Заяц стоял в рядах, его не били, да и он не кричал ничего насчет драконов. Блатари посматривали на меня недружелюбно и с опаской — в лагере каждый учится отвечать сам за себя.

Еще двое суток дороги — и мы подошли к управлению — новому бревенчатому домику на берегу реки.

Принимать этап вышел комендант Нестеров — начальник с волосатыми кулаками. Многие из блатарей, шагавшие рядом со мной, этого Нестерова знали, очень хвалили.

— Вот приведут беглецов. Нестеров выходит: «А-а, молодцы, явились. Ну, выбирайте: плеска или в изолятор». А изолятор там с железными полами, больше трех месяцев не выдерживают люди, да следствие, да срок дополнительный. «Плеска, Иван Васильевич». Развертывается — и с ног! Еще раз развертывается — и снова с ног. Мастер был. «Иди в барак». И все. И следствию конец. Хороший начальник.

Нестеров обошел ряды, внимательно оглядывая лица.

— Жалоб на конвой нет?

— Нет, нет, — ответил нестройный хор голосов.

— А ты, — волосатый перст дотронулся до моей груди. — Ты почему неразборчиво отвечаешь? Хрипишь что-то.

— У него зубы болят, — ответили мои соседи.

— Нет, — ответил я, стараясь заставить свой разбитый рот выговаривать слова как можно тверже. — Жалоб на конвой нет.

— Рассказ неплохой, — сказал я Сазонову. — Литературно грамотный. Только ведь не напечатают его. И конец какой-то аморфный.

— У меня есть другой конец, — сказал Сазонов. — Через год я был большим начальником в лагере. Тогда ведь «перековка» была, и Щербакову выходило место младшего оперуполномоченного в том отделении, где я работал. Там от меня многое зависело, и Щербаков боялся, что я запомнил эту историю с зубом. Щербаков этот случай тоже не забыл. У него была большая семья, место было выгодное, заметное, и он, человек простодушный и прямой, явился ко мне, чтобы узнать, не буду ли я возражать против его назначения. Пришел с бутылкой, мириться по русскому обычаю, но я пить с ним не стал и уверил Щербакова, что я ничего плохого ему не сделаю.

Щербаков обрадовался, долго извинялся, топтался у двери моей, все задевая каблуком за коврик, и не мог окончить разговор.

— Дорога ведь, этап, понимаешь. С нами беглецы были.

— Этот конец тоже не годится,— сказал я Сазонову.

— Тогда у меня есть еще один.

Перед тем как получить назначение на работу в то отделение, где мы встретились снова с Щербаковым, я встретил на улице в лагерном поселке санитаря Петра Зайца. Молодой черноволосый, чернобровый гигант исчез. Вместо него был хромой, седой старик, кашляющий кровью. Меня он даже не узнал, а когда я взял его за руку и назвал его по фамилии, вырвался и пошел своей дорогой. И по глазам его было видно, что Заяц думает о чем-то своем, мне недоступном, где мое появление или не нужно, или оскорбительно для хозяина, беседующего с менее земными людьми.

— И этот вариант не годится,— сказал я.

— Тогда я оставляю первый. Если и нельзя напечатать — легче, когда напишешь. Напишешь — и можно забывать...

1964

## ЭХО В ГОРАХ

В учетном отделе никак не могли подобрать старшего делопроизводителя. Впоследствии, когда дело разрослось, эта должность вместила целый самостоятельный отдел — «группу освобождения». Старший делопроизводитель выдавал документы об освобождении заключенных и был фигурой важной в мире, где вся жизнь нацелена на ту минуту, когда арестант получает документ, дающий ему право не быть арестантом. Старший делопроизводитель сам должен быть из заключенных — так предусмотрено экономной штатной ведомостью. Конечно, можно бы заполнить такую вакантную должность и по партийной путевке или по какой-либо профсоюзной организации, либо уломать армейского командира, уходящего из армии, но время было еще не такое. На службу в лагерь — с какими хочешь полярными окладами — желающих найму в лагерях считалась еще делом позорным, и во всем учет-



ном отделе, ведающем всеми делами заключенных, работал только один вольнонаемный — инспектор Паскевич, тихий запойный пьяница. В отделе он бывал мало — большая часть его времени тратилась на фельдъегерские поездки, ибо лагерь был, как полагается, расположен далеко от людских глаз.

И вот старшего делопроизводителя никак не могли найти. То выяснится, что вновь назначенный работник связан с блатным миром и выполняет его таинственные поручения. То окажется, что делопроизводитель освобождает за деньги каких-то южных спекулянтов-валютчиков. То получится, что парень честен и тверд, но растяпа и путаник и освобождает не того, кого нужно.

Высокое начальство искало нужного им человека со всей энергией — ведь как-никак ошибки в деле освобождения считались самым что ни на есть криминалом и могли привести к быстрому окончанию карьеры лагерного ветерана, к «увольнению из войск ОГПУ», а то еще и довести до скамьи подсудимых.

Лагерь был тот самый, что год назад назывался 4-м отделением Соловецких лагерей, а теперь был самостоятельным, важным лагерем на Северном Урале.

Только старшего делопроизводителя этому лагерю и не хватало.

И вот с Соловков, с самого острова, прибыл спецконвой. Это большая редкость для Вишеры. Туда некого возить спецконвоем. Лошадиные теплушки — вагоны красного цвета с нарами внутри — или известные пассажирские классные с затянутыми решеткой окнами — так и кажется, что вагон стыдится своих решеток. На юге жители, спасаясь от воров, ставят в окна решетки причудливой формы — как цветы, лучи, — живое воображение южан подсказывает им эти неоскорбительные для глаз прохожего формы решеток, которые все же остаются решетками. Так и классный пассажирский вагон перестает быть обыкновенным вагоном из-за этих железных вуалеток, закрывающих его глаза.

По уральским, по сибирским дальним железным дорогам еще ходили в то время знаменитые «стольпинские» вагоны — кличка, которую тюремные вагоны сохраняют еще много десятков лет, вовсе не будучи стольпинскими.

«Стольпинский» вагон — с двумя маленькими квадратными окнами с одной стороны вагона и несколькими большими — с другой. Эти окошечки, затянутые решетка-

ми, вовсе не позволяют видеть снаружи то, что делается внутри, даже если подойти вплотную к окошечку.

Внутри вагон поделен на две части массивными решетками с тяжелыми гремящими дверями, каждая половина вагона имеет свое маленькое окно.

С обеих сторон — отделения для конвоя. И коридор для конвоя.

Спецконвой в «столыпинских» вагонах не ездит. Конвоиры возят одиночек в обыкновенных поездах, заняв одно из крайних купе — все еще было по-семейному, просто — как до революции. Опыт еще не был накоплен.

Прибыл спецконвой с Острова — так называли Соловки тогда, просто Остров, как остров Сахалин, — и сдал невысокого пожилого человека на костылях в обязательном соловецком бушлате шинельного сукна, в такой же шапочке-ушанке — соловчанке.

Человек был спокоен и сед, порывист в движениях, и было видно, что он еще только учится искусству ходить на костылях, что он еще недавно стал инвалидом.

В общем бараке с двойными нарами было тесно и душно, несмотря на раскрытые настежь двери с обоих концов дома. Деревянный пол был посыпан опилками, и дежурный, сидевший при входе, разглядывал в свете семилинейной керосиновой лампы прыгающих в опилках блох. Время от времени, послюнив палец, дежурный пускался на поиски стремительных насекомых.

В этом бараке и было отведено место приезжему. Ночной барачный дежурный сделал неопределенный жест рукой, показывая в темный и вонючий угол, где вповалку спали одетые люди и где не было места не только для человека, но и для кошки.

Но приезжий спокойно натянул шапку на уши и, положив свои костыли на длинный обеденный стол, взобрался на спящих людей сверху, лег и закрыл глаза, не делая ни одного движения. Силой собственной тяжести он продавил себе место в других телах, и если его сонные соседи делали движение — тело приезжего немедленно вмещалось в это ничтожное свободное пространство. Нащупав локтем и бедром доски нар, приезжий расслабил мускулы тела и заснул.

На другое утро выяснилось, что приехавший инвалид — тот самый долгожданный старший делопроизводитель, которого так ждет управление лагеря.

В обед его вызвали к начальству, а к вечеру перевели в другой барак — административной obsługi, где прожи-

вали все чиновники лагеря из заключенных. Это был барак удивительной, редчайшей конструкции.

Его строили, когда начальником лагеря был бывший моряк, топивший в восемнадцатом году Черноморский флот, когда туда приезжал знаменитый мичман Раскольников.

Моряк сделал сухопутную лагерную карьеру, а постройка барака для obsługi была его выдумкой, его данью своему морскому прошлому. В этом бараке двухэтажные нары были подвесные — на стальных тросах. Висели кучками, по четыре человека, как моряки в кубрике. Для прочности конструкция была связана с одной стороны длинной железной толстой проволокой.

Поэтому все нары качались одновременно при малейшем движении хотя бы одного из жителей этого барака.

А так как двигались одновременно несколько человек, то подвесные койки были в непрерывном движении и негромко, но явственно скрипели, скрипели. Качанье и скрип не прекращались ни на минуту в течение суток. Только во время вечерних проверок движущиеся нары останавливались, как уставший маятник, и замолкали.

В этом бараке я и познакомился со Степановым, с Михаилом Степановичем Степановым. Так звали нового старшего делопроизводителя, без всяких «он же», столь распространенных здесь.

Впрочем, на сутки раньше я видел его пакет, привезенный спецконвоем, его личное дело. Это было тоненькое дело в зеленой обложке, начинавшееся обычной анкетой, снабженной двумя занумерованными фотографиями — анфас и в профиль — и с квадратиком дактилоскопического оттиска, похожего на срез миниатюрного деревца.

В анкете был указан год его рождения — 1888-й — я хорошо запомнил эти три восьмерки, место последней работы — Москва, НК РКИ... Был членом ВКП(б) с 1917 года.

На один из последних вопросов было отвечено: подвергался, был членом партии эсеров с 1905 года... Запись велась, как обычно, казенной рукой, покороче.

Срок — 10 лет — вернее, высшая мера с заменой десяти годами.

Лагерная работа — был в Соловках старшим делопроизводителем более полугода.

Не очень была интересная анкета у нашего Михаила Степановича. В лагере было много колчаковских и анненковских командиров, был командир пресловутой Дикой дивизии, была авантюристка, выдававшая себя за дочь

Николая Романова, был знаменитый карманник Карлов, по кличке Подрядчик, и впрямь похожий на подрядчика, лысый, с огромным брюхом и опухшими пальцами — один из ловчайших карманников, артист, которого показывали начальству.

Был Майеровский, взломщик и художник, беспрерывно рисующий на чем-либо — на доске, листке бумаги — одно и то же — голых женщин и мужчин, переплетенных между собой всевозможными противоестественными способами общения. Ничего другого Майеровский рисовать не мог. Он был проклятым сыном весьма обеспеченных родителей из научной среды. Для блатных он был чужаком.

Было несколько графов, несколько грузинских князей из свиты Николая II.

Личное дело Степанова было заложено в новую лагерную обложку и поставлено на полки буквы «С».

И я не узнал бы этой удивительной истории, если б не случайный воскресный разговор в служебном кабинете.

Впервые я увидел Степанова без костылей. Удобная палка, давно, очевидно, им заказанная в лагерной столярке, была в его руках. Ручка у палки была больничного типа — она была вогнута, а не горбатилась, как ручка обыкновенной трости.

Я сказал «ого» и поздравил его.

— Поправляюсь, — сказал Степанов. — У меня ведь все цело. Это — цинга.

Он засучил штанину, и я увидел уходящую вверх лилово-черную полосу кожи. Мы помолчали.

— Михаил Степанович, а за что ты сидишь?

— Да как же? — и он улыбнулся. — Я ведь Антонова отпустил...

Семнадцатилетний питерский гимназист Миша Степанов, сын учителя гимназии, перед пятым годом вступил в партию, в которую ему сам бог велел вступить по тогдашней моде среди молодых русских интеллигентов. Освещенная легендарным светом «Народной воли», только что созданная партия эсеров делилась на многочисленные течения и теченьица. Среди этих течений видное место занимали эсеры-максималисты — группа известного террориста Михаила Соколова. Родственные связи привели Мишу Степанова в эту группу, и вскоре он с увлечением вошел в быт подпольной России: в явки, конспиративные квартиры, обучение стрельбе, динамит...

В лабораториях, по обычаю, стояла бутылка с нитроглицерином — на случай ареста, обыска.

На конспиративной квартире семеро боевиков были окружены полицией. Эсеры отстреливались, пока хватило патронов. Отстреливался и Миша Степанов. Их арестовали, судили, повесили всех, кроме несовершеннолетнего Миши. А Михаил получил вместо веревки вечную каторгу и попал неподалеку от родного Питера — в Шлиссельбург.

Каторга — это режим, он меняется в зависимости от обстановки и характера самодержца. «Вечной» каторгой в царское время считалась двадцатилетняя каторга с двумя годами ручных и четырьмя годами ножных кандалов.

В Шлиссельбурге в степановское время применяли и эффективную «новинку» — сковывали каторжников попарно — самый надежный способ поссорить их между собой.

В каком-то рассказе Барбюс показал нам трагедию влюбленных, скованных вместе, они стали люто ненавидеть друг друга...

С каторжниками это делалось давно. Подбор напарников в цепях — это была великолепная выдумка мастеров сих дел; тут тюремное начальство могло острить как умело — сковывать высокого с низкорослым, сектанта с атеистом, а самое главное, могло сортировать политические «букеты» — сковывать вместе анархиста и эсера, эсдека и чернопередельца.

Чтобы не поссориться с прикованным к тебе человеком, нужна была величайшая выдержка обоих либо слепое преклонение молодого перед старшим и страстное желание старшего передать все лучшее, что есть в его душе, — товарищу.

Подчас человеческая воля, перед которой ставилось новое, сильнейшее испытание, еще более крепла. Закалялся характер, дух.

Так прошли кандалные сроки Михаила Степанова, сроки ношения ручных и ножных кандалов.

Шли обыкновенные каторжные годы — номер, бубновый туз на халате были уже привычными, незаметными.

В это время Михаил Степанович, молодой человек двадцати двух лет, встретился в Шлиссельбурге с Серго Орджоникидзе. Серго был выдающимся пропагандистом, и много дней проговорили они со Степановым в Шлиссельбургской тюрьме. Встреча и дружба с Орджоникидзе

сделали Михаила Степанова из эсера-максималиста — большевиком-эсдеком.

Он поверил верой Серго в будущее России, в свое будущее. Михаил еще молод, если даже «вечная» будет отбыта день в день, все же он выйдет на волю моложе сорока лет и еще сумеет послужить новому знамени, он будет ждать эти двадцать лет.

Но ждать пришлось гораздо меньше. Февраль семнадцатого года открыл двери царских тюрем, и Степанов очутился на воле гораздо раньше, чем ждал и готовился. Он нашел Орджоникидзе, вступил в партию большевиков, принимал участие в штурме Зимнего, а после Октябрьской революции, кончив военные курсы, ушел на фронт красным командиром и подвигался по военной лестнице от фронта к фронту, все выше и выше.

На Тамбовском, антоновском фронте комбриг Степанов командовал сводным отрядом бронепоездов, и командовал небезуспешно.

«Антоновщина» шла на убыль. Против Красной Армии на Тамбовщине стояли весьма своеобразные части. Жители местных деревень, превращавшиеся внезапно в регулярное войско со своими командирами.

В отличие от многих других банд времен гражданской войны, Антонов следил за моральным состоянием частей и вдохновлял своих солдат через своих политических комиссаров, созданных им по образцу комиссаров Красной Армии.

Сам Антонов давно был осужден революционным трибуналом, приговорен заочно к смерти, объявлен вне закона. По всем частям Красной Армии был разослан приказ Верховного командования, требующий немедленного расстрела Антонова при поимке и опознании, как врага народа.

«Антоновщина» шла на убыль. И вот однажды комбригу Степанову доложили, что операция полка ВЧК увенчалась полным успехом и что Антонов, сам Антонов захвачен.

Степанов велел привести пленника. Антонов вошел и остановился у порога. Свет «летучей мыши», повешенной у двери, падал на угловатое, жесткое и вдохновенное лицо.

Степанов велел конвоиру выйти и ждать за дверью. Потом он подошел к Антонову вплотную — он был чуть не на голову ниже Антонова — и сказал:

— Сашка, это ты?

Они были скованы одной цепью в Шлиссельбурге целый год и ни разу не поспорились.

Степанов обнял связанного пленника, и они поцеловались.

Степанов долго думал, долго ходил по вагону молча, а Антонов печально улыбался, глядя на старого товарища. Степанов рассказал Антонову о приказе — впрочем, это не было новостью для пленника.

— Я не могу тебя расстрелять и не расстреляю, — сказал Степанов, когда решение как будто было найдено. — Я найду способ дать тебе свободу. Но ты дай, в свою очередь, слово — исчезнуть, прекратить борьбу против Советской власти — все равно это движение обречено на гибель. Дай мне слово, твое честное слово.

И Антонов, которому было легче — нравственные муки товарища по каторге он хорошо понимал, — дал это честное слово. И Антонова увели.

Трибунал был назначен на завтра, а ночью Антонов бежал. Трибунал, который должен был лишний раз судить Антонова, судил вместо него начальника караула, который плохо расставил посты и этим дал возможность бежать столь важному преступнику. Членами трибунала были и сам Степанов, и его родной брат. Начальник караула был обвинен и приговорен к году тюрьмы условно — за неправильную расстановку постов.

Как случилось, что Степанов не знал, что Антонов — бывший политкаторжанин? В то недолгое время, что Михаил Степанов пробыл на Тамбовском фронте, он не успел ознакомиться с одной самой важной листовкой Антонова. В этой листовке Антонов писал: «Я — старый народоволец, был на царской каторге много лет. Не чета нашим вождям Ленину и Троцкому, которые кроме ссылки ничего и не видали. Я был закован в кандалы...» — и так далее. С этой листовкой Степанову пришлось познакомиться много позднее.

И тогда казалось, что все кончено и совесть чиста — и перед Антоновым, чью жизнь спас Степанов, и перед Советской властью, ибо Антонов исчезает и «антоновщина» — конец.

Но случилось не так. Антонов и не думал держать своего слова. Он явился, вдохновляя свои «зеленые» войска, и бои вспыхнули с новой силой.

— Вот тогда я и поседел, — говорит Степанов. — Не позже.

Вскоре общее командование принял Тухачевский, его энергичные действия по ликвидации «антоновщины» увенчались полным успехом — орудийным огнем были сметены наиболее зловредные села. «Антоновщина» шла к концу. Сам Антонов лежал в лазарете в сыпном тифу, и когда лазарет был окружен красноармейскими конниками, брат Антонова застрелил его на больничной койке и застрелился сам. Так умер Александр Антонов.

Кончилась гражданская, Степанов демобилизовался и поступил под начало Орджоникидзе, который был тогда народным комиссаром рабоче-крестьянской инспекции. Член партии с 1917 года, Степанов и поступил туда управлениями НК РКИ.

Было это в 1924 году. Так он служил там год, два и три года, а к концу третьего года стал замечать что-то вроде слежки за собой — кто-то просматривал его бумаги, переписку.

Много ночей провел Степанов без сна. Вспоминал каждый шаг своей жизни, каждый день своей жизни — все было в ней яснее ясного — кроме той, антоновской истории. Но ведь Антонов-то мертв. С братом своим Степанов не делился ничем, никогда.

Вскоре его вызвали на Лубянку, и следователь крупного чекистского чина спросил неторопливо: не было ли случая, чтобы Степанов, будучи командиром Красной Армии, в военной обстановке отпустил на свободу захваченного в плен Александра Антонова?

И Степанов рассказал правду. Тогда раскрылись все тайны.

Оказывается, той тамбовской летней ночью Антонов бежал не один. Он и захвачен был вместе с одним из своих офицеров. Тот, после смерти Антонова, бежал на Дальний Восток, перешел границу к атаману Семенову и несколько раз приходил оттуда как диверсант, и был захвачен, и сидел на Лубянке, и «пошел в сознание». И, строясь в одиночной камере свою подробную исповедь, он упомянул, что в таком-то году он был захвачен в плен красными вместе с Антоновым и в ту же ночь бежал. Антонов ему ничего не говорил, но он, как военный специалист, как царский офицер, думает, что здесь имело место предательство со стороны красного командования. Эти несколько строк из летописи сумбурной и беспорядочной жизни были взяты на проверку. Найден был протокол трибунала, где начальник караула Грешнев получил свой год условно за неправильную расстановку постов.



Где теперь Грешнев? Взялись за архивы армейские — давно демобилизован, живет на родине, крестьянствует. У него — жена, трое маленьких детей в деревушке под Кременчугом. Грешнева внезапно арестовывают и везут в Москву.

Если бы Грешнева арестовали во время гражданской войны, он, может быть, и на смерть пошел бы, но не выдал своего командира. Но время идет, что ему война и его командир — Степанов? У него трое детей мал мала меньше, молодая жена, жизнь впереди. Грешнев рассказал, что он выполнил просьбу Степанова, да не просьбу, а личный приказ — что, дескать, побег нужен для пользы дела и что командир обещает, что Грешнева не засудят.

Оставляют Грешнева и берутся за Степанова. Его судят, приговаривают к расстрелу, заменяют десятью годами лагеря, везут на Соловки...

В 1933 году летом я шел по Страстной площади. Пушкин еще не перешагнул площадь и стоял в конце или, вернее, в начале Тверского бульвара — там, где его поставил Опекушин, понимавший, что за штука архитектурное согласие камня, металла и неба. Кто-то сзади ткнул меня палкой. Я оглянулся — Степанов! Он уже давно освобожден, работал начальником аэропорта. Трость была все та же.

— Ты все еще хромаешь?

— Да. Последствия цинги. По-медицинскому это называется контрактурой.

⟨1959⟩

## БЕРДЫ ОНЖЕ

Анекдот, превратившийся в мистический символ... Живая реальность, ибо с подпоручиком Кижe общались люди как с живым человеком — все, что так хорошо рассказал нам Юрий Тынянов, долгое время не принималось мной как запись были. Поразительная история павловского времени была для меня лишь гениальной остротой, злой шуткой какого-либо досужего вельможи-современника, превратившейся, помимо воли автора, в ярчайшее свидетельство черт примечательного царствования. Лесковский часовой — история того же плана, утверждающая преемственность нравов самодержавия. Но

самый факт царевой «описки» внушал мне сомнения — до 1942 года.

Побег был обнаружен лейтенантом Куршаковым на станции Новосибирск. Всех арестантов вывели из теплушек и под мелким холодным дождем считали, перекликались по списку на статью и срок — все было напрасно. В строю по пять было тридцать восемь полных рядов, а в тридцать девятом ряду стоял один человек, а не два, как было при отправке. Куршаков проклинал минуту, когда он согласился принять этап без личных дел, прямо по списку, где под номером шестьдесят значился бежавший арестант. Список был затерт; притом бумагу никак нельзя было уберечь от дождя. От волнения Куршаков едва разбирал фамилии, да и буквы в самом деле расплылись. Номера 60 не было. Половина пути уже была пройдена. За такие потери взыскивали строго, и Куршаков уже прощался с погонами и офицерским пайком. Боялся он и отправки на фронт. Шел второй год войны, а Куршаков счастливо служил в конвойной охране. Он зарекомендовал себя исполнительным и аккуратным офицером. Десятки раз возил он этапы, большие и маленькие, водил эшелоны, бывал и в спецконвое, и никогда не было у него побега. Его даже наградили медалью «За боевые заслуги» — такие медали выдавали и в глубоком тылу.

Куршаков сидел в теплушке, где помещалась охрана, и дрожащими, скользкими от дождя пальцами перебирал содержимое своего злополучного пакета — продовольственный аттестат, письмо из тюрьмы в адрес лагерей, куда он вез этап, и список, список, список. И из всех бумаг, из всех строк он видел только цифру 192. А 191 арестант были заперты в закрытых наглухо вагонах. Промокшие люди ругались и, стащив с себя пиджаки и пальто, старались подсушить одежду на ветру у щели дверей вагона.

Куршаков был растерян, подавлен побегом. Конвойные, свободные от наряда, пугливо молчали в углу вагона, а на лице помощника Куршакова, старшины Лазарева, отражалось попеременно все то, что было на лице его начальника — беспомощность, страх...

— Что делать? — сказал Куршаков. — Что делать?

— Дай-ка список...

Куршаков протянул Лазареву несколько измятых, скелотых булавок и бумажных листков.

— Номер шестьдесят, — прочел Лазарев. — Он же Берды, статья сто шестьдесят вторая, срок десять лет.

— Вор,— сказал Лазарев, вздыхая.— Вор. Зверь какой-то.

Частое общение с воровским миром приучило конвойных пользоваться «блатной феней», воровским словарем, где зверями называются жители Средней Азии, Кавказа и Закавказья.

— Зверь,— подтвердил Куршаков.— И говорить-то, наверное, по-русски не умеет. Мычал, наверное, на поверках. Шкуру с нас, брат, снимут за этого...— и Куршаков приблизил листок к глазам и с ненавистью прочел:— Берды...

— А может, и не снимут,— внезапно окрепшим голосом выговорил Лазарев. Блестящие бегающие глаза его поднялись вверх.— Есть одна думка.— Он быстро зашептал в ухо Куршакову.

Лейтенант недоверчиво покачал головой:

— Не выйдет ведь ничего...

— Попытать можно,— сказал Лазарев.— Фронт-то небось... Война небось.

— Действуй,— сказал Куршаков.— Здесь простоим еще суток двое— я на станции узнавал.

— Денег дай,— сказал Лазарев.

К вечеру он вернулся.

— Туркмен,— сказал он Куршакову.

Куршаков пошел к вагонам, открыл дверь первой теплушки и спросил у заключенных — нет ли среди них человека, знающего хоть несколько слов по-туркменски. В теплушке ответили, что нет, и Куршаков дальше не ходил. Он перевел с вещами одного из заключенных в ту теплушку, откуда бежал арестант, а в первый вагон конвойные втолкнули какого-то оборванного человека, охрипшего, кричащего что-то важное, страшное на непонятном языке.

— Поймали, проклятые,— сказал высокий арестант, освобождая беглецу место. Тот обнял ноги высокого и заплакал.

— Брось, слышь ты, брось,— хрипел высокий.

Беглец что-то быстро говорил.

— Не понимаю, брат,— сказал высокий.— Ешь вот суп, у меня в котелке остался.

Беглец похлебал супу и заснул. Утром он снова кричал и плакал, выскочил из вагона и кинулся в ноги Куршакову. Конвоиры загнали его обратно в вагон, и до самого конца пути беглец лежал под нарами, вылезая только тогда, когда раздавали пищу. Он молчал и плакал.

Сдача этапа прошла вполне благополучно для Куршакова. Отпустив несколько ругательств по адресу тюрьмы, пославшей этап без личных дел, дежурный комендант вышел принимать этап и начал переключку по списку. Пятьдесят девять человек отошли в сторону, а шестидесятый не выходил.

— Это беглец,— сказал Куршаков.— Он у меня в Новосибирске сорвался, да мы его нашли. На базаре. Вот горюшка-то хватило. Я вам покажу его. Зверь — по-русски ни слова.

Куршаков вывел за плечо Берды. Затворы винтовок шелкнули, и Берды вошел в лагерь.

— Как его фамилия?

— А вот,— Куршаков указал.

— Он же Берды,— прочел комендант.— Статья сто шестьдесят вторая, срок десять лет. Зверь, а боевой...

Комендант твердой рукой написал против фамилии Берды: «Склонен к побегу, пытался бежать во время следования».

Через час Берды вызвали. Он обрадованно вскочил, ему казалось, что все разъяснится, сейчас он будет свободен. Он весело бежал впереди конвоира.

Его отвели в конец двора, к бараку, отгороженному тройным рядом колючей проволоки, толкнули в ближайшую дверь, в вонючую темноту, откуда гудели голоса.

— Зверюга, братцы...

Я встретился с Берды Онже в больнице. Он уже немного говорил по-русски и рассказал, как три года назад на базаре в Новосибирске с ним долго пытался разговаривать русский солдат, патрульный, как думает Берды. Солдат повел туркмена для выяснения личности на вокзал. Солдат разорвал документы Берды и втолкнул его в арстантский вагон. Настоящая фамилия Берды — Тошаев, он крестьянин глухого аула близ Чарджоу. В поисках хлеба и работы вместе с земляком, знавшим по-русски, доплелись они до Новосибирска, товарищ ушел куда-то на базаре.

Что он, Тошаев, подавал уже несколько заявлений, ответа еще нет. Личного дела на него так и не пришло, он числится в группе «безучетников» — лиц, содержащихся в заключении без документов. Что он привык уже откликаться на фамилию Онже, что ему хочется домой, что здесь холодно, что он часто болеет, что на родину он писал, но сам писем не получал, возможно, потому, что его часто переводят с места на место.

Берды Онже хорошо выучился говорить по-русски, но за три года не научился есть ложкой. Он брал обеими руками миску — суп всегда бывал чуть теплым — миска не могла обжечь ни пальцев, ни губ... Берды пил суп, а то, что оставалось на дне, вытаскивал пальцами... Кашу он ел также пальцами, отложив в сторону ложку. Это было по-техой всей палаты. Разжевав кусочек хлеба, Берды превращал его в тесто и раскатывал вместе с золой, выгребая ее из печи. Туго замесив тесто, он скатывал шарик и сосал его. Это был «гашиш», «анаша», «опиум». Над этим эрзацем не смеялись — каждому приходилось не раз крошить сухие березовые листья или смородинный корень и курить вместо махорки.

Берды удивился, что я сразу понял суть дела. Ошибка машинистки, занумеровавшей продолжение кличек того человека, который шел под номером 59, беспорядок и путаница в торопливых отправках тюремных этапов военного времени, рабский страх Куршаковых и Лазаревых перед своим начальством...

Но ведь был живой человек — номер пятьдесят девятый. Он-то мог сказать, что кличка «Берды» принадлежит ему? Мог, конечно. Но каждый развлекается как может. Каждый рад смущению и панике в рядах начальства. Навести начальство на истинный путь может только фраер, а не вор. А пятьдесят девятый номер был вор.

1959

## ПРОТЕЗЫ

Лагерный изолятор был старый-старый. Казалось, толкни деревянную стенку карцера — и стена упадет, рассыплется изолятор, раскатятся бревна. Но изолятор не падал, и семь одиночных карцеров верно служили. Конечно, любое слово, сказанное громко, слышали бы соседи. Но те, кто сидели в карцере, боялись наказания. Дежурный надзиратель ставил на камере мелом крест — и камера лишалась горячей пищи. Ставил два креста — лишалась и хлеба. Это был карцер по лагерным преступлениям; всех подозреваемых в чем-то более опасном — увозили в управление.

Сейчас впервые внезапно были арестованы все начальники лагерных учреждений из заключенных — все заведующие. Клеилось какое-то крупное дело, готовился какой-то лагерный процесс. По чьей-то команде.

И вот все мы, шестеро, стояли в тесном коридоре изолятора, окруженные конвоирами, чувствуя и понимая только одно: что нас опять зацепили зубья той же машины, что и несколько лет назад, что причину мы узнаем лишь завтра, не раньше...

Всех раздевали до белья и заводили каждого в отдельный карцер. Кладовщик записывал принятые на хранение вещи, заталкивал в мешки, привязывал бирки, писал. Следователь, я знал его фамилию — Песнякевич — управлял «операцией».

Первый был на костылях. Он сел на скамейку возле фонаря, положил костыли на пол и стал раздеваться. Стальной корсет обнажился.

— Снимать?

— Конечно.

Человек стал развязывать веревки корсета, и следователь Песнякевич нагнулся помочь.

— Уличаешь, старый приятель? — по-блатному сказал человек, вкладывая в слово «уличаешь» блатной, неоскорбительный смысл.

— Узнаю, Плеве.

Человек в корсете был Плеве, заведующий портновской мастерской лагеря. Это было важное место с двадцатью мастерами, работавшими на заказ и на вольный заказ по разрешению начальства.

Голый человек свернулся на скамейке. Стальной корсет лежал на полу — шла запись в протоколе отобранных вещей.

— Как записывать эту штуку? — спросил кладовщик изолятора у Плеве, толкая носком сапога корсет.

— Стальной протез — корсет, — ответил голый человек.

Следователь Песнякевич отошел куда-то в сторону, и я спросил у Плеве:

— Ты правда знал этого легаша по воле?

— А как же! — сказал Плеве жестко. — Его мать в Минске бордель держала, а я туда ходил. Еще при Николае Кровавом.

Из глубины коридора вышел Песнякевич и четыре конвоира. Конвоиры взяли Плеве за ноги и под руки и внесли в карцер. Замок щелкнул.

Следующим был заведующий конбазой Караваев. Бывший буденновец, в гражданскую он потерял руку. Караваев постучал железом протеза о стол дежурного:

— Вы, суки.

— Снимай свое железо. Сдавай руку.

Караваев взмахнул отвязанным протезом, но на конноармейца навалились конвоиры и втолкнули его в карцер. Витиеватый мат донесся к нам.

— Слушай, ты, Ручкин,— заговорил заведующий изолятором,— за шум — лишаем горячей пищи.

— Иди ты со своей горячей пищей.

Заведующий изолятором вынул из кармана кусок мела и поставил на карцере Караваева крест.

— Ну, кто же распишется, что сдал руку?

— Да никто не распишется. Поставь какую-нибудь птичку,—скомандовал Песнякевич.

Была очередь врача, доктора нашего Житкова. Глухой старик, он сдал ушной слуховой рожок. Следующим был полковник Панин, заведующий столярной мастерской. У полковника оторвало ногу снарядом где-то в Восточной Пруссии на германской. Столяр он был превосходный и рассказывал мне, что у дворян детей всегда обучали какому-нибудь ремеслу, ручному ремеслу. Старик Панин отстегнул протез и ускакал на одной ноге в свой карцер.

Нас осталось двое — Шор, Гриша Шор, старший бригадир, и я.

— Смотри, как ловко идет,— сказал Гриша, им овладевала нервная веселость ареста,— тот ногу, этот руку. А я вот сдам — глаз.— И Гриша ловко вынул свой правый фарфоровый глаз и показал мне его на ладони.

— Да разве у тебя искусственный глаз? — удивленно сказал я.— Никогда не замечал.

— Плохо замечаешь. Да и глаз хорошо подобрался, удачно.

Пока записывали Гришин глаз, заведующий изолятором развеселился и хихикал неудержимо.

— Тот, значит, руку, тот ногу, тот ухо, тот спину, а этот — глаз. Все части тела соберем. А ты чего? — Он внимательно оглядел меня голого.— Ты что сдашь? Душу сдашь?

— Нет,— сказал я.— Душу я не сдам.

## ПОГОНЯ ЗА ПАРОВОЗНЫМ ДЫМОМ

Да, это было моей мечтой: услышать гудок паровоза, увидеть белый паровозный дым, стелющийся по откосу железнодорожной насыпи.

Я ждал белого дыма, ждал живого паровоза.

Мы ползли, изнемогая и не решаясь бросить бушлаты, полушубки, пятнадцать всего километров нам осталось до дома, до барачков. Но мы боялись бросить бушлаты и полушубки прямо на дороге, бросить в кювет и бежать, идти, ползти, избавиться от страшной тяжести одежды. Мы боялись бросить бушлаты — одежда через несколько минут превратится зимой ночью в мерзлый куст стланика, в камень обледеневший. Ночью мы никогда не найдем одежды, она потеряется в зимней тайге, как терялась телогрейка летом среди кустов стланика, если не привязать к самой вершине кустов, как веху, веху жизни. Мы знали, что без бушлатов и полушубков мы не спасемся. И мы ползли, теряя силы, согреваясь в поту и — лишь остановишь движение — чувствуя, как мертвящий холод проползает по бессильному телу, потерявшему свою главную способность — быть источником тепла, простого тепла, рождающего если не надежды, то злобу.

Мы ползли все вместе, вольные и заключенные. Шофер, у которого кончился бензин, остался ждать помощь, которую вызовем мы. Остался, собрав костер из единственного сухого дерева, которое оказалось под рукой — из дорожных вешек. Спасение шофера грозило, может быть, смертью другим машинам — ведь все дорожные вешки были собраны, сломаны и положены в костер, горящий небольшим, но спасительным огнем, и шофер согнулся над костром, над пламенем, время от времени подкладывая очередную палочку, щепочку — шофер даже не думал согреться, погреться. Он только берег жизнь... Если бы шофер бросил машину, уполз вместе с нами по холодным острым камням горного шоссе, бросил груз — шофер получил бы срок. Шофер ждал, а мы ползли — за помощью.

Я полз, стараясь не сделать ни одной лишней мысли — мысли были как движения — энергия не должна быть потрачена ни на что другое, как только на царапанье, переваливание, перетаскивание своего собственного тела вперед по зимней ночной дороге.



И все же паровозным дымом казалось наше собственное дыхание на пятидесятиградусном морозе. Серебряные лиственницы в тайге казались взрывом паровозного дыма. Белая мгла, которой было закрыто небо и наполнена наша ночь, тоже была паровозным дымом, дымом моей многолетней мечты. В этом безмолвии белом я услышал не шум ветра, услышал музыкальную фразу с неба и ясный, мелодичный, звонкий человеческий голос, звучащий прямо в морозном воздухе над нами. Музыкальная фраза была галлюцинацией, звуковым миражем, в нем было что-то от паровозного дыма, заполнившего мое ущелье. Человеческий голос был только продолжением, логическим продолжением этого зимнего музыкального миража.

Но я увидел, что этот голос слышу не я один. Все ползущие слышали этот голос. Холодея, но не в силах двинуться. В голосе с неба было что-то большее, чем надежда, большее, чем наше черепашье движение к жизни. Голос с неба повторял: передаю сообщение ТАСС. Пятнадцать врачей... Их незаконно обвинили, они ни в чем не повинны, их признания получены путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия.

Врачей отпустили. Вот это номер! А как же почта Лидии Тимашук и орден. Как журналистка Елена Кононенко, прославлявшая бдительность и героиню этой самой бдительности, бдительность олицетворенную, персонафицированную бдительность, бдительность, показанную на обозрение всему миру.

Ибо смерть Сталина не произвела на нас, многоопытных, надлежащего впечатления.

Уже давно играла какая-то небесная музыка, когда мы поползли вперед. Никто не сказал ни слова — каждый справлялся с новостью сам.

Уже замерцали огни поселка. Навстречу к ползущим выходили их жены, подчиненные и начальники. Навстречу мне не вышел никто — я сам должен был доползти до барака, до комнаты, до койки, зажечь и растопить железную печку. И когда я согрелся, напился горячей воды, согретой в кружке прямо в печке, на горящих дровах, выпрямился перед огнем, чувствуя, как теплый свет пробегает по моему лицу — не вся же кожа лица была отморожена раньше — были ведь и сохранившиеся пятна, дольки, части, — я принял решение.

На следующий день я подал заявление об увольнении.

— Увольнение — в руке божией, — насмешливо сказал начальник района, но заявление принял, и с очередной фельдъегерской почтой это заявление увезли.

«На Колыме я семнадцать лет. Прошу меня уволить. Я не пользуюсь, как бывший заключенный, никакими правами на выслугу лет, на начисления. Расходов по моему увольнению государство почти не несет. Прошу». Через две недели я получил ответ-отказ без всяких мотивировок. Тут же я написал протест прокурору, требуя вмешательства и так далее.

Суть была в том, что если возникает какая-нибудь надежда — должны быть сняты или разбиты всякие юридические оковы — чтобы формальности, бумажки не задержали. Скорее всего — переписка моя бесполезна. А вдруг...

В клубе сорвали портреты Берии, а я все писал, писал... Арест Берии не укрепил меня в моих надеждах. Те события совершались как бы сами по себе, и тайная их связь с моей судьбой не ощущалась явно. Не о Берии мне надо было думать.

Прокурор ответил через две недели. Это был прокурор, занимавший высокие должности в соседнем управлении. Прокурор был снят с работы и переведен в захолустье. Жена прокурора торговала швейными машинами по удешевленным ценам — об этом даже был написан фельетон. Прокурор пробовал обороняться наиболее привычным оружием — доносил, что дневальный начальника управления Азбукин торгует среди заключенных махоркой по десять рублей за сигарку. А махорку получает в посылках с материка самолетами, чуть ли не дипломатической почтой — по особым весовым багажным нормам для высшего начальства, а то и вовсе без всяких норм. За столом начальника управления садились по двадцать человек ежедневно, и никакие полярные ставки, никакие выслуги лет не могли покрыть расходов на вино, на фрукты. Начальник управления был нежный семьянин, отец двух детей. Все расходы покрывала продажа махорки — десять рублей самодельная папироса — восемь спичечных коробков, шестьдесят папирос в пачке-осьмушке. Шестисот рублей осьмушка, пятьдесят граммов — игра стоила свеч.

Прокурор, посягнувший на способ обогащения, был немедленно снят и переведен к нам, в захолустье. Прокурор следил за выполнением закона, быстро отвечал на пи-

сьма, вдохновленный ненавистью к начальству, разгоряченный борьбой с начальством.

Я написал второе заявление: «Мне было отказано в увольнении. Теперь, посылая вам справку прокурора...»

Через две недели я получил отказ. Без всякой мотивировки — как будто мне нужен был заграничный паспорт, когда не объясняют причин отказа.

Я написал областному прокурору, прокурору Магаданской области, и получил ответ, что я имею право на увольнение и выезд. Борьба высших сил перешла в какую-то новую стадию. Каждый поворот руля оставлял следы в виде многочисленных приказов, разъяснений, разрешений. Нащупывалось какое-то соответствие, мои заявления попадали, как говорят блатные, «в цвет». В цвет времени?

Через две недели я получил отказ. Без всякой мотивировки. И хотя я писал многократно слезные письма моему начальнику — начальнику санотдела управления фельдшеру Цапко — никаких ответов от Цапко я не получал.

Триста километров было от моего участка до управления, до ближайшего врачебного участка.

Я понял, что нужна личная встреча. И Цапко приехал вместе с новым начальником лагерей, обещал мне многое, все обещал — даже увольнение.

— Подберу, как приедем назад. Да оставайся еще на зиму. Весной уедешь.

— Нет. Если даже меня не уволят совсем, из вашего управления я обязательно уйду.

Мы расстались. Август переходил в сентябрь. Кончился обратный ход рыбы из ручьев. Но я не интересовался ни вершами, ни взрывами, после которых всплывала рыба и белые брюха горбуши и кеты качались на горных волнах, заносились в речные затоны и гнили, тухли.

Должен был прийти случай. И случай пришел. Наш район посетил сам начальник дорожного управления инженер-полковник Кондаков. Ночевал он в избе начальника района. Торопясь, боясь, что Кондаков заснет, я постучал в дверь.

— Войдите.

Кондаков сидел за столом, расстегнув китель и растирая натертый воротником красный след, опоясывающий круглую белую шею.

— Фельдшер района. Разрешите обратиться по личному делу.

— В дороге я ни с кем не разговариваю.

— Я это предвидел,— холодно и спокойно сказал я.— Я написал вам письмо-заявление. Вот конверт— там все сказано. Не откажите прочесть в то время, когда найдете нужным.

Кондакову стало неловко, и он перестал возиться с воротом гимнастерки. Как-никак Кондаков был инженером, человеком с высшим, пусть техническим образованием.

— Садитесь. Расскажите, в чем дело.

Я сел и рассказал.

— Если все так, как вы говорите, я обещаю вам уволить вас, как только вернусь в управление. Дней через десять.

И Кондаков записал в крошечную книжечку мою фамилию.

Через десять дней мне позвонили из управления— друзья позвонили, если у меня были там друзья. Или просто любопытные, зрители, а не актеры, которые спокойно много часов подряд, много лет следят, как рыба вырывается из дырявой верши, как лиса отгрызает лапу, чтобы уйти из капкана. Следят, не делая попытки ослабить капкан и выпустить лису. Просто — следят за борьбой зверя и человека.

Телефонограмма — из района в управление за мой собственный счет. Разрешение на такую телеграмму я вымолил у начальника района... Никакого ответа.

Колымская зима наступила. Лед затянул ручьи, и только кое-где на быстринах текла, бежала, жила вода, дымящаяся, как паровозный пар.

Нужно было спешить, спешить.

— Я отправляю тяжелобольного в управление,— доложил я начальнику. У больного был разыгравшийся язвенный стоматит на почве недоедания, авитаминоза, язвенный стоматит, который так легко смешать с дифтерией. На такие отправки мы имели право; более того — обязаны были отправлять. По приказу, по закону, по совести.

— А кто будет сопровождать?

— Я.

— Сам?

— Да. На неделю закроем медпункт.

Такие случаи бывали и раньше, и начальник об этом знал.

— Я опись составлю. Во избежание кражи. И шкаф под пломбу уполномоченного.

— Вот это правильно.— Начальник успокоился.

Мы выехали на попутных, замерзали, отогреваясь через каждые тридцать километров — и на третьи сутки, еще засветло, добрались до управления в желто-белой дневной колымской мгле.

Первый человек, которого я увидел — был фельдшер Цапко, начальник санотдела.

— Привез тяжелобольного, — доложил я, но Цапко смотрел не на больного, а на чемоданы — у меня были даже чемоданы — фанерные, самодельные, где были книги, дешевый мой костюм бумажный, белье, подушка, одеяло... Цапко все понял.

— Без начальника разрешения на отъезд не даю.

Пошли к начальнику. Это был маленький начальник, по сравнению с инженер-полковником Кондаковым. По нетвердости его тона, неуверенности ответов я понял, что пришли какие-то новые приказы, новые «разъяснения»...

— Не хочешь остаться еще на зиму? — Был конец октября. Зима была уже в разгаре.

-- Нет.

— Ну что ж. Раз не хочет, не держите...

— Слушаюсь, товарищ начальник! — Цапко вытянулся перед начальником лагеря, щелкнул каблуками, и мы вышли в грязный коридор.

— Ну так вот, — с удовольствием сказал Цапко. — Ты добился всего, чего хотел. Мы тебя увольняем на все четыре стороны. На материк поедешь. На твое место назначен фельдшер Новиков. Он, как и я — с фронта, с войны. Поедете с ним назад к тебе — там все сдашь по всей форме, и тогда приезжай за расчетом.

— За триста километров? Да снова сюда — да ведь на эту поездку месяц уйдет. Не меньше.

— Больше я сделать ничего не могу. Все сделал.

Я понял, что и беседа с начальником лагеря была обманом, приготовлена была заранее.

На Колыме нельзя советоваться ни с кем. У заключенного и бывшего заключенного нет друзей. Первый же советчик побежит к начальнику, чтобы рассказать, выдать товарища, проявить бдительность.

Цапко давно ушел, а я все сидел на полу в коридоре и курил, курил.

— А что это за Новиков? Фельдшер с фронта?

Я нашел Новикова. Это был оглушенный Колымой человек. Его одиночество, трезвость, неуверенный взгляд говорили, что Колыма для Новикова оказалась совсем не такой, совсем не такой, какую он ждал, начиная охоту за

длинными рублями. Новиков был слишком новичком, слишком фронтовиком.

— Слушай,— сказал я.— Ты с фронта. Я здесь семнадцать лет. Отбыл два срока. Сейчас меня увольняют. Я увижу семью. На фельдшерском пункте моем все в порядке. Вот опись. Все под пломбой. Подпиши приемный акт заглазно...

Новиков подписал, не советуясь ни с кем.

Я не пошел к Цапко докладывать о том, что акт подписан. Я пошел прямо в бухгалтерию. Бухгалтер посмотрел мои документы — все справки, все бумажки.

— Ну что ж,— сказал.— Можешь получить расчет. Только есть одна заковка. Вчера получена телефонограмма из Магадана — все увольнения прекратить до весны, до будущей навигации.

— Да что мне навигация. Ведь я самолетом.

— Так приказ общий, сам ведь знаешь. Не вчера родился.

Я снова сидел на полу в конторе и курил, курил. Прошел Цапко.

— Не уехал еще?

— Нет, не уехал.

— Ну, бывай...

Разочарование было почему-то неглубоким. К таким ударам в спину я привык. Но сейчас не должно было ничего случиться плохого. Я всем телом, всей волей своей еще был в движении, в стремлении, в борьбе. Просто что-то было не додумано. Какая-то ошибка есть у судьбы в холодном ее расчете, в игре со мной. Вот ее ошибка. Я пошел к секретарю начальника, того самого инженер-полковника Кондакова — он снова был в отъезде.

— Была вчера телефонограмма о прекращении увольнений?

— Была.

— Но ведь я,— я чувствовал, как пересохло горло, и едва выговаривал слова,— ведь я уволен еще месяц назад. По приказу 65. Ко мне не должна относиться вчерашняя телефонограмма. Я уже уволен. Месяц назад. Я — в пути, в дороге...

— Да, вроде так,— согласился лейтенант.— Пойдем к бухгалтеру!

Бухгалтер согласился с нами, но сказал:

— Подождем возвращения Кондакова. Пусть он решает.

— Ну,— сказал лейтенант.— Не советую. Приказ сам Кондаков подписывал. По собственному. Никто ему не подкладывал на подпись. Он с тебя шкуру сдерет за невыполнение.

— Хорошо,— сказал бухгалтер, косо взглянув на меня.— Только,— бухгалтер пощелкал пальцами,— дорога за свой собственный счет.

Билет до Москвы самолетом и поездом стоил три с половиной тысячи рублей, и я имел право на оплату дороги Дальстроем, моим хозяином в течение четырнадцати заключенных и трех вольных — не вольных, а вольнонаемных лет.

Но по тону главного бухгалтера я понял, что здесь он не сделает мне ни малейшей уступки.

На книжке моей — бывшего зэка — без начислений за выслугу лет — за три года скопилось шесть тысяч рублей.

Зайцы, которых я ловил, варил, жарил и ел, рыба, которую я ловил, варил, жарил и ел,— помогли скопить мне эту удивительную сумму.

Я заплатил в кассу деньги, получил аккредитив на три тысячи, документы, пропуск до аэропорта Оймякона, и стал искать машину попутную. Машина скоро нашлась. Двести рублей — двести километров. Я продал одеяло, подушку — к чему это все в самолете, продал книги медицинские тому же Цапко по казенной цене — уж Цапко продаст учебники и справочники по цене удешевленной. Но мне некогда было об этом думать.

Хуже было другое. Я потерял талисман — самодельный нож, который возил с собой много лет. Я спал на мешках с мукой и выронил, очевидно, из кармана. Чтобы найти нож, надо было разгружать машину.

Рано утром мы приехали в Оймякон, где я работал год назад, в Томтор, в милое мое почтовое отделение, где столько писем я отправил и столько писем получил. Слез около гостиницы аэропорта.

— Слышь, ты,— сказал шофер грузовика,— ты ничего не потерял?

— Я нож потерял на муке.

— Вот он. Я доску кузовную открыл, нож выпал на дорожку. Доброе перышко.

— Возьми это перышко себе. На память. Мне не нужен больше талисман.

Но радость моя была преждевременной. В Оймяконском порту нет рейсовых самолетов, и пассажиров скопилось еще с осени на десятки машин. Списки по четыр-

надцать человек, ежедневная перекличка. Транзитная жизнь.

— Когда был последний самолет?

— Был неделю назад.

Значит, придется тут просидеть до весны. Зря я отдал свой талисман шоферу.

Я пошел в лагерь, к прорабу, где год назад работал фельдшером.

— На материк собрался?

— Да. Помоги уехать.

— Завтра к Вельтману вместе пойдем.

— А капитан Вельтман все еще начальником аэропорта?

— Да. Только он не капитан, а майор. Нашивки новые недавно получил.

Утром прораб и я вошли в кабинет Вельтмана, поздоровались.

— Вот — наш малый уезжает.

— А что же он сам не пришел? Он меня знает не хуже, чем тебя, прораб.

— Да просто для крепости, товарищ майор.

— Хорошо. У тебя вещи где?

— Все со мной, — я показал маленький фанерный чемоданчик.

— Вот и отлично. Иди в гостиницу и жди.

— Да я...

— Молчать! Делай как приказано. А ты, прораб, трактор завтра дашь, ровнять аэродром, а... без трактора...

— Дам, дам, — сказал, улыбаясь, Супрун.

Я распрощался и с Вельтманом и с прорабом и вошел в коридор гостиницы и, ступая через ноги и тела, добрался до свободного места у окна. Здесь было, правда, похолодней, но потом, через несколько самолетов, через несколько очередей, я передвинусь к печке, к самой печке.

Прошел какой-нибудь час, и лежавшие вскочили на ноги, прислушиваясь жадно к небу, к гуду.

— Самолет!

— Грузовой «дуглас»!

— Не грузовой, а пассажирский.

По коридору метался дежурный аэропорта в шапке-ушанке с кокардой, держа в руках список — тот самый список на четырнадцать человек, который уже не первый месяц учили здесь наизусть.

— Все, кого вызвал, быстрее покупайте билеты. Летчик пообедает, и в путь.



— Семенов!

— Есть!

— Галицкий!

— Есть!

— А почему моя фамилия вычеркнута? — бесновался четырнадцатый. — Я же в очереди тут третий месяц.

— Что вы мне говорите? Это начальник порта вычеркнул. Вельтман — своей рукой. Только что. Вас отправят со следующим самолетом. Достаточно? А если хотите спорить — вот кабинет Вельтмана. Он — там... Он вам и объяснит.

Но на объяснения четырнадцатый не решился. Мало ли что может случиться. Физиономия четырнадцатого Вельтману не понравится. И тогда не только не увезут на следующем самолете, а вычеркнут вовсе из списков. Бывало и такое.

— А кого вписали?

— Да вот неразборчиво, — дежурный с кокардой взглядывался в новую фамилию и вдруг выкрикнул мою фамилию.

— Вот я.

— К кассиру — быстро.

Я думал: не буду играть в благородство, я не откажусь, я уеду, улечу. За мной семнадцать лет Колымы.

Я бросился к кассиру, последний, вытаскивая неприготовленные документы, комкая деньги, роняя на пол вещи.

— Беги быстро, — сказал кассир. — Ваш летчик уже пообедал, а сводки плохие — надо погоду проскочить, добраться до Якутска.

Этот неземной разговор я слушал чуть дыша.

Летчик во время посадки подрулил самолет поближе к двери столовой. Посадка давно была кончена. Я бежал со своим фанерным чемоданчиком к самолету. Не надевая рукавиц, зажав в стынущих пальцах покрытый инеем самолетный билет, я задыхался от бега.

Дежурный по аэродрому проверил мой билет, посадил в люк. Летчик задвинул люк, прошел в кабину.

— Воздух!

Я добрался до места, до кресла, не в силах думать ни о чем, не в силах ничего понимать.

Сердце стучало, стучало целых семь часов, пока самолет не оказался внезапно на земле. Якутск.

В Якутском аэропорту мы спали в обнимку с новым моим товарищем — соседом по самолету. Нужно было высчитать самый дешевый путь до Москвы — хоть у меня

путевые документы были до Джембула, я понимал, что колымские законы вряд ли действуют на Большой земле. Вероятно, можно будет устроиться на работу и на жизнь и не в Джембуле. У меня еще будет время об этом размыслить.

А пока — дешевле всего до Иркутска самолетом, а там поездом до Москвы. Пять суток там. Или можно еще до Новосибирска, а там — тоже в Москву по железной дороге. Какой самолет раньше отправляется... Я купил билет на Иркутск.

До самолета оставалось несколько часов, и за эти несколько часов я прошел Якутск, взглядываясь в замороженную Лену, в молчаливый одноэтажный, похожий на большую деревню город. Нет, Якутск еще не был городом, не был Большой землей. В нем не было паровозного дыма.

1964

## ПОЕЗД

На Иркутском вокзале я лег под свет электрической лампочки, ясный и резкий — как-никак в поясе у меня были защиты все мои деньги. В полотняном поясе, который мне шили в мастерской два года назад, и ему наконец предстояло сослужить свою службу. Осторожно ступая через ноги, выбирая дорожки между телами грязными, вонючими, рваными, ходил по вокзалу милиционер и — что было еще лучше — военный патруль с красными повязками на рукавах, с автоматами. Конечно, милиционеру было бы не справиться со шпаной — и это, вероятно, было установлено гораздо ранее моего появления на вокзале. Не то что я боялся, что у меня украдут деньги. Я давно уже ничего не боялся, а просто с деньгами было лучше, чем без денег. Свет падал мне в глаза, но тысячи раз ранее падал мне свет в глаза, и я выучился превосходно спать при свете. Я поднял воротник бушлата, именуемого в официальных документах полупальто, всунул руки в рукава покрепче, чуть-чуть опустил валенки с ног; пальцам стало свободно, и я заснул. Сквозняков я не боялся. Все было привычно: паровозные гудки, двигавшиеся вагоны, вокзал, милиционер, базар около вокзала — как будто я видел только многолетний сон и сейчас проснулся. И я испугался, и холодный пот выступил на коже. Я испугался страшной силе человека — желанию и умению за-

бывать. Я увидел, что готов забыть все, вычеркнуть двадцать лет из своей жизни. И каких лет! И когда я это понял, я победил сам себя. Я знал, что я не позволю моей памяти забыть все, что я видел. И я успокоился и заснул.

Я проснулся, перевернул портянки сухой стороной, умылся снегом — черные брызги летели во все стороны, и отправился в город. Это был первый настоящий город за восемнадцать лет. Якутск был большой деревней. Лена отошла от города далеко, но жители боялись ее возвращения, ее разливов, и песчаное русло-поле было пустым, — там была только вьюга. Здесь, в Иркутске, были большие дома, беготня жителей, магазины.

Я купил там пару трикотажного белья — такого белья я не носил восемнадцать лет. Мне доставляло несказанное удовольствие стоять в очередях, платить, протягивать чек. «Номер?» Я забыл номер. «Самый большой». Продащица неодобрительно покачала головой. «Пятьдесят пятый?» — «Вот-вот». И она завернула мне белье, которого и носить не пришлось, ибо мой номер был 51 — это я выяснил уже в Москве. Продащицы были одеты все в синие одинаковые платица. Я купил еще помазок и перочинный нож. Эти чудесные вещи стоили баснословно дешево. На Севере все такое было самодельным — и помазки и перочинные ножи.

Я зашел в книжный магазин. В букинистическом отделе продавали «Русскую историю» Соловьева — за 850 рублей все тома. Нет, книг я покупать до Москвы не буду. Но подержать книги в руках, постоять около прилавка книжного магазина — это было как хороший мясной борщ... Как стакан живой воды.

В Иркутске наши дороги разделились. Еще в Якутске, вчера, мы ходили по городу все вместе и билеты на самолет брали все вместе. В очередях стояли все вместе, вчетвером — доверять кому-либо деньги никому не приходило в голову. Это было не принято в нашем мире. Я дошел до моста и посмотрел вниз: на кипящую, зеленую, прозрачную до дна Ангару — могучую, чистую. И, трогая замерзшей рукой холодные бурые перила, вдыхая запах бензина и зимней городской пыли, я глядел на торопливых пешеходов и понял, насколько я горожанин. Я понял, что самое дорогое, самое важное для человека — время, когда рождается родина, пока семья и любовь еще не родились. Это время детства и ранней юности. И сердце мое сжа-

лось. Я слал привет Иркутску от всей души. Иркутск был моей Вологдой, моей Москвой.

Когда я подходил к вокзалу, кто-то ударил меня по плечу.

— С тобой будут говорить,— сказал беленький мальчик в телогрейке и отвел меня в темноту. Немедленно из мрака вынырнул невысокий человек, внимательно на меня глядя.

Я увидел по взгляду, с кем я имею дело. Трусливый и наглый, льстивый и ненавидящий был этот так хорошо знакомый мне взгляд. Из темноты виднелись еще какие-то рожи, мне их знать было не надо — они появятся в свое время — с ножами, с гвоздями, с пиками в руках. Сейчас передо мной было только одно лицо, с бледной, землистой кожей, с опухшими веками, с крошечными губами, как бы приклеенными к скошенному выбритому подбородку.

— Ты кто? — Он выставил грязную руку с длинными ногтями. Отвечать было необходимо. Никакой защиты ни патруль, ни милиционер тут оказать не могли. — Ты — с Колымы!

— Да, с Колымы.

— Ты где работал там?

— Фельдшером на партиях.

— Фельдшером? Лепилой? Кровь, значит, пил нашего брата. Есть с тобой разговор.

Я сжимал в кармане купленный новенький перочинный ножик и молчал. Надеяться можно было только на случай, на какой-нибудь случай. Терпение и случай — вот что спасало и спасает нас. И случай пришел. Два кита, на которых стоит арестантский мир.

Тьма расступилась.

— Я знаю его. — На свет появилась новая фигура, вовсе мне незнакомая. У меня была великая память на лица. Но этого человека я не видел никогда.

— Ты? — палец с длинным ногтем описал полукруг.

— Да, он работал на Кудыме, — сказал неизвестный. — Говорят, человек. Помогал нашим. Хвалили.

Палец с ногтем исчез.

— Ну, иди, — злобно сказал вор. — Мы подумаем.

Счастье было в том, что ночевать мне в вокзале было больше не надо. Поезд на Москву отходил сегодняшним вечером.

Утром был тяжелый свет электрических ламп — мутных, никак не хотевших погаснуть. В хлопающие две-

ри виднелся иркутский день, холодный, светлый. Тучи людей, загромаждавшие проходы, заполнявшие всякий квадратный сантиметр цементного пола, засаленной скамейки,— если кто-нибудь встанет, двинется, уйдет. Нескончаемое стояние в очереди перед кассой — билет на Москву, на Москву, а там видно будет... Не в Джамбул, как указано в документах. Но кому нужны эти колымские документы в этой свалке людей, в этом бесконечном движении. Наступившая наконец моя очередь у окошка, судорожные движения, чтобы достать деньги, просунуть пачку блестящих кредиток в кассу, где они исчезнут — неминуемо исчезнут, как исчезла вся жизнь до этой минуты. Но чудо продолжало совершаться, и окошечко выбросило какой-то твердый предмет, шероховатый, твердый, тоненький, как ломтик счастья,— билет на Москву. Касирша что-то кричала вроде того, что это — поезд смешанный, что плацкартное место — в смешанном вагоне, что настоящее можно взять только на завтра или на послезавтра. Но я не понял ничего, кроме слов «завтра» и «сегодня». Сегодня, сегодня. И, сжимая крепко билет, пытаюсь ощущать все его грани своей бесчувственной, отороженной кожей, я выдрался, выбрался на свободное место. Я был человек с самолета — у меня не было лишних вещей — только небольшой фанерный баульчик. Я был человек с Дальнего Севера — у меня не было лишних вещей — только маленький фанерный чемодан, тот самый, который я безуспешно пытался продать в Адыгалахе, собирая деньги на поездку в Москву. Дорогу мне не оплатили, но это все было пустяками. Главное — это твердая картонная дощечка железнодорожного билета.

Отдышавшись где-то в вокзальном углу — место мое под яркой лампой было, конечно, занято, я пошел через город и вернулся к вокзалу.

Посадка уже началась. На горке стоял игрушечный поезд, неправдоподобно маленький, просто несколько грязных картонных коробок поставлены были рядом — среди сотен других, где жили дорожники или эксплуатационники, где было развешано замороженное белье, хлопающее под ударами ветра.

Мой поезд ничем не отличался от этих вагонных составов, превращенных в общежития.

Состав не был похож на поезд, следующий во столько-то часов в Москву, а был похож на общежитие. И там и тут спускались со ступенек вагонов люди, и там и тут по воздуху двигались какие-то вещи над головами движущи-

щихся людей. Я понял, что у поезда нет самого главного, нет жизни, нет обещания движения — нет паровоза. Действительно, ни у одного из общежитий не было паровоза. Мой состав был похож на общежитие. И я не поверил бы, что эти вагоны могут увезти меня в Москву, но посадка уже шла.

Бой, страшный бой у входа в вагон. Кажется, что работа вдруг кончилась на два часа раньше, чем надо, и все прибежали домой, в барак, к теплой печке и рвутся в двери.

Какие там проводники... Каждый искал свое место сам, сам закреплялся и укреплялся. Моя плацкартная средняя полка была, конечно, занята каким-то пьяным лейтенантом, беспрерывно рыгающим. Я стащил лейтенанта на пол и показал ему свой билет.

— У меня тоже билет на это место есть, — миролюбиво объяснил лейтенант, икнул, соскользнул на пол и тут же заснул.

Вагон все набивался и набивался людьми. Вверх поднимались и исчезали где-то вверху огромные какие-то тюки, чемоданы. Запахло резкой вонью овчинных тулупов, людского пота, грязи, карболки.

— Пересылка, пересылка, — повторял я, лежа на спине, вдвинутый в узкое пространство между средней и верхней полкой. Снизу вверх прополз мимо меня лейтенант с расстегнутым воротом, с красным помятым лицом. Лейтенант уцепился за что-то вверху, подтянулся на руках и исчез...

В суматохе, в крике вагонной этой транзитки я так и не услышал самого главного, что мне хотелось и надо было услышать, о чем я мечтал семнадцать лет, что стало для меня неким символом материка, символом жизни, символом Большой земли. Я не услышал гудка паровоза. Я и не подумал о нем во время сражения за место в вагоне. Гудка я не услышал. Но дрогнули и качнулись вагоны, и вагон наш, наша пересылка, начал куда-то перемещаться, как будто я начинаю засыпать и барак плывет перед моими глазами.

Я заставил себя понять, что я еду — в Москву.

На стрелочном каком-то перегоне, тут же, у Иркутска, вагон трянуло, и сверху вывалилась и повисла фигура лейтенанта, крепко, впрочем, вцепившегося в верхнюю полку, на которой он спал. Лейтенант рыгнул, и прямо на мое место, а также и на полку моего соседа — обрушилась

блевотина. Блевотина была неудержимой. Сосед снял свою шубу — не телогрейку, не бушлат, а пальто-москвичку с меховым воротником и, матерясь неудержимо, стал счищать блевотину.

У соседа моего было бесконечное количество каких-то плетеных корзин, зашитых в рогожу и не зашитых. Время от времени из глубины вагона появлялись какие-то женщины, укутанные в деревенские платки, в полушубках, с точно такими же плетеными корзинами на плечах. Женщины что-то кричали моему соседу, тот махал им приветственно рукой.

— Свояченья! В Ташкент к родным поехала, — объяснял он мне, хотя я и не требовал никаких объяснений.

Ближайшую свою плетенку сосед охотно раскрывал и показывал. Кроме пиджачной потрепанной пары да еще кое-каких вещичек, в плетенке ничего не было. Зато было много фотографий — семейных и групповых — на огромных паспарту, фотографий, часть которых была еще дагерротипами. Фотография покрупнее извлекалась из плетенки, и сосед мой охотно и подробно объяснял, кто где тут стоит, кто убит на войне, а кто получил орден, кто учится на инженера. «А вот — я», — непременно тыкал он в фотографию — куда-то посредине, и все, кому он показывал эти фотографии, покорно, вежливо и сочувственно кивали головой.

На третий день совместной жизни в этом трясущемся вагоне сосед мой, составив обо мне представление полное, ясное и безусловно правильное, хотя я ничего о себе не рассказывал, сказал мне быстро, пока внимание других соседей было чем-то отвлечено:

— У меня в Москве пересадка. Ты сможешь мне одну плетенку вытащить через проходную. Сквозь весы?

— Меня же встречают в Москве.

— Ах да. Я и забыл, что у вас — встреча.

— А что ты везешь?

— Что? Семечки. А из Москвы галоши повезем...

Ни на одной из станций я не выходил. Еда у меня была. Я боялся, что поезд обязательно уйдет без меня, что случится что-нибудь плохое — не может же счастье быть бесконечным.

Напротив на средней полке лежал какой-то человек в шубе, бесконечно пьяный, без шапки и рукавиц. Пьяные друзья посадили его в вагон, вручили билет проводнице. Сутки он ехал, потом где-то слез, вернулся с бутылкой ка-

кого-то темного вина, выпил ее прямо из горлышка, бросил бутылку — на пол вагона. Бутылку ловко подхватила проводница и унесла ее в свое проводничье логово, заваленное одеялами, которых никто не брал в смешанном вагоне, простынями, которые никому не понадобились. За барьером из одеял в том же купе проводников на верхней, третьей полке обосновалась проститутка, едущая с Колымы, а может быть, и не проститутка, а превращенная Колымой в проститутку... Дама эта сидела недалеко от меня на нижнем месте, а качающийся свет тусклой вагонной свечи по временам падал на бесконечно утомленное лицо, на покрашенные чем-то, только не губной помадой, губы. Потом к ней кто-то подходил, что-то говорил, и она исчезала в купе проводников. «Пятьдесят рублей», — сказал лейтенант, уже протрезвившийся и оказавшийся весьма милым молодым человеком.

Мы играли с ним в очень интересную игру. Когда в вагон садился новый пассажир, каждый из нас старался угадать профессию этого пассажира, возраст, занятие. Мы обменивались наблюдениями, потом он садился к пассажиру, заговаривал с ним и приходил ко мне с ответом.

Так дама с накрашенными губами, но с ногтями без следа лака была нами определена как медицинский работник, а леопардовая шубка, в которую дама была одета, явно искусственная, поддельная шубка, говорила, что ее обладатель скорее медицинская сестра или фельдшер, но не врач. Врач не носил бы искусственную шубку. О нейлоне, синтетике тогда еще не слыхивали. Заключение наше оказалось верным.

Время от времени мимо нашего купе пробегал откуда-то изнутри вагона двухлетний ребенок на кривых ножках, грязный, оборванный, голубоглазый. Бледные щечки его были покрыты какими-то лишаями. Через минуту-две вслед за ним шагал уверенно и твердо молодой отец — в телогрейке, с тяжелыми, крепкими, рабочими темными пальцами. Он ловил мальчика. Малыш смеялся, улыбался отцу, и отец улыбался мальчику и в радостном восторге возвращал малыша на место — в одно из купе нашего вагона. Я узнал их историю. Обычную колымскую историю. Отец — бытовик какой-то, только что освобожден, уезжал на материк. Мать ребенка не захотела возвращаться, и отец ехал с сыном, твердо решив вырвать ребенка, а может быть, и себя, из цепких объятий Колымы. Почему не поехала мать? Может быть, это была обычная история.



Нашла другого, полюбила колымскую вольную жизнь — она уже была вольняшкой и не хотела попадать на материк в положение человека второго сорта... А может быть, молодость отцветала. Или любовь, колымская любовь, кончилась, мало ли что? А может быть, и еще страшнее. Мать отбывала по пятьдесят восьмой статье — самой бытовой из всех бытовых — и знала, чем ей грозит возвращение на Большую землю. Новым сроком, новыми мученьями. На Колыме тоже нет гарантий от срока, но — ее не будут ловить, как ловили всех на материке.

Я ничего не узнал и ничего не хотел узнавать. Благородство, порядочность, любовь к своему ребенку, которого отец и видел-то, наверно, немного, ведь ребенок был в яслях, в детском саду.

Неумелые руки отца, расстегивающие детские штанишки, огромные разноцветные пуговицы, пришитые грубыми, неумелыми, но добрыми руками. Счастье отца и счастье мальчика. Этот двухлетний малыш не знал слова «мама». Он кричал: «Папа, папа!» И он, и темнокожий слесарь играли друг с другом, с трудом находя место среди пьяных, среди картежников, среди спекулянтских корзин и тюков. Эти-то два человека в нашем вагоне были, конечно, счастливы.

Пассажиру, который спал вторые сутки от Иркутска, который проснулся лишь затем, чтобы выпить, проглотить новую бутылку водки, или коньяка, или настойки, дальше спать не пришлось. Поезд\* тряхнуло. Спящий пьяный пассажир рухнул на пол и застонал, застонал. Вызванная проводниками медицинская помощь определила, что у пассажира перелом плеча. Его уволокли на носилках, и он исчез из моей жизни.

Внезапно в вагоне возникла фигура моего спасителя, или сказать — спаситель будет слишком громко, дело ведь тогда не дошло до чего-нибудь важного, кровавого. Знакомый мой сидел, меня не узнавая и как бы не желая узнавать. Все же мы переглянулись с ним, и я подошел к нему. «Хочу хоть до дому доехать, посмотреть родных», — вот последние слова этого блатаря, которые я слышал.

Вот это все: и резкий свет лампы на Иркутском вокзале, и спекулянт, везущий с собой чужие фотографии для камуфляжа, и блевотина, которую извергала на мою полку глотка молодого лейтенанта, и грустная проститутка на третьей полке купе проводников, и двухлетний грязный ребенок, счастливо кричащий «папа! папа!» — вот это все

и запомнилось мне как первое счастье, непрерывное счастье воли.

Ярославский вокзал. Шум, городской прибой Москвы — города, который был мне роднее всех городов мира. Остановившийся вагон. Родное лицо жены, встречающей меня — так же, как и раньше, когда я возвращался из многочисленных своих поездок. На этот раз командировка была длительной — почти семнадцать лет. А самое главное — я возвращался не из командировки. Я возвращался из ада.

1964

---

---

## ПРИМЕЧАНИЯ

Издание четырехтомного Собрания сочинений Варлама Шаламова осуществляется впервые.

«Колымские рассказы», главный труд Варлама Тихоновича Шаламова, написаны им в 1954—1973 гг. и составляют шесть сборников: «Колымские рассказы», «Левый берег», «Артист лопаты», «Очерки преступного мира», «Воскрешение лиственницы», «Перчатка, или КР-2».

Еще не реабилитированный, бесправный, лишенный возможности жить в Москве, Шаламов работал агентом по снабжению на торфоразработках в поселке Туркмен близ станции Решетниково (тогда Калининской области). А вечерами в бараке для рабочих одержимо писал — стихи и рассказы. В его письме к Б. Пастернаку от 24 октября 1954 г. читаем: «Рассказы, которые я начал писать, достаются мне с большим трудом — там ведь ход совсем другой».

В 1973 г. Шаламовым дописываются последние рассказы из сборника «Перчатка, или КР-2», рукописи которых были заключены в отдельную папку с надписью: «Проза 1973 года». Но сборник остался незавершенным.

Двадцать лет жизни писателя прошли в ледяном аду Вишеры (1929—1932) и Колымы (1937—1953).

Двадцать лет отдал он созданию колымской эпопеи. Трудно найти подходящие слова, чтобы оценить этот подвиг человека и писателя.

Источниками текстов «Колымских рассказов» являются рукописи В. Шаламова, переданные им в 1966—1979 гг. в Центральный государственный архив литературы и искусства (ныне Российский государственный архив литературы и искусства).

Тексты в основном имеют незначительную вариантность: автограф, машинопись с правкой, беловая машинопись. Лишь поздние рассказы из сборника «Перчатка, или КР-2» не имеют набело перепечатанных текстов.

В. Шаламов редко датировал свои рассказы. Поэтому даты многих из них определены по косвенным признакам и даются в угловых скобках. Очень помог при датировке перечень рассказов, который вел писатель по мере их создания. При сопоставлении точно датированных автором рассказов с этим перечнем определялись возможные хронологические рамки написания многих рассказов.

Кроме того, до 1967 г. В. Шаламов записывал свои рассказы в школьные тетрадки, которые имели типографскую отметку о годе и квартале их изготовления. Это обстоятельство также помогало определить дату создания рассказа.

Таким образом, источниками датировки произведений были: авторская датировка рукописи; список прозаических работ, регулярно пополнявшийся писателем; типографская отметка о времени изготовления тетради; соответствующие упоминания в текстах рукописей, письмах, записях и т. п.; почерк автора, имевший свои особенности в 50-х, 60-х, 70-х гг.; бумага — носитель текста, и др.

Сведения о первых публикациях рассказов указываются по отечественным изданиям.

Впервые многие «Колымские рассказы», исключая произведения из сборника «Перчатка, или КР-2», были опубликованы американским русскоязычным «Новым журналом» в 1966—1976 гг. Публикации разрозненных рассказов В. Шаламов считал разрушающими художественную ткань колымской эпопеи и недопустимым нарушением авторской воли.

Произведения, вошедшие в первый том Собрания сочинений, печатаются по изд.: Ш а л а м о в В. Избранное в двух томах. М., Русская книга, 1992.

## КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗЫ

По снегу. Впервые: Знамя, 1989, № 6.

На представку. Впервые: Юность, 1988, № 10.

Ночью. Впервые: Юность, 1988, № 10.

Плотники. Впервые: Знамя, 1989, № 6.

Одиночный замер. Впервые: Юность, 1988, № 10.

Посылка. Впервые: Воскрешение лиственницы. М., Худож. лит., 1989.

Дождь. Впервые: Москва, 1988, № 9.

- Кант. Впервые: Знамя, 1989, № 6.  
Сухим пайком. Впервые: Знамя, 1989, № 6.  
Интжектор. Впервые: Воскрешение лиственницы. М., Худож. лит., 1989.  
Апостол Павел. Впервые: Юность, 1988, № 10.  
Ягоды. Впервые: Дружба народов, 1988, № 5.  
Сука Тамара. Впервые: Родина, 1989, № 2.  
Шерри-бренди. Впервые: Москва, 1988, № 9.  
Рассказ посвящен памяти О. Э. Мандельштама, умершего на пересылке во Владивостоке, где годом раньше, в 1937 г., находился перед отправкой на Колыму В. Шаламов.  
Детские картинки. Впервые: Семья, 1988, 1 июня.  
Сгущенное молоко. Впервые: Юность, 1988, № 10.  
Хлеб. Впервые: Знамя, 1989, № 6.  
Заклинатель змей. Впервые: Юность, 1988, № 10.  
Татарский мулла и чистый воздух. Впервые: Знамя, 1989, № 6.  
Первая смерть. Впервые: Родина, 1989, № 2.  
Тетя Поля. Впервые: Труд, 1988, 24 ноября.  
Галстук. Впервые: Вологодский комсомолец, 1989, 16 апр.  
Тайга золотая. Впервые: Юность, 1988, № 10.  
Васька Денисов, похититель свиней. Впервые: Огонек, 1988, № 22.  
Серафим. Впервые: Сельская молодежь, 1988, № 11.  
Выходной день. Впервые: Огонек, 1988, № 22.  
Домино. Впервые: В мире книг, 1988, № 8.  
Геркулес. Впервые: Сельская молодежь, 1987, № 7.  
Шоковая терапия. Впервые: Юность, 1988, № 10.  
Стланник. Впервые: Сельская молодежь, 1965, № 3.  
Красный Крест. Впервые: Левый берег. М., Современник, 1989.  
Заговор юристов. Впервые: Юность, 1988, № 10.  
Тифозный карантин. Впервые: Новый мир, 1988, № 6.

## ЛЕВЫЙ БЕРЕГ

- Прокуратор Иудеи. Впервые: На Севере Дальнем, 1988, № 2.  
Прокаженные. Впервые: На Севере Дальнем, 1988, № 2.  
В приемном покое. Впервые: Левый берег. М., Современник, 1989.  
Геологи. Впервые: Левый берег. М., Современник, 1989.  
Медведи. Впервые: Сельская молодежь, 1987, № 7.

Ожерелье княгини Гагариной. Впервые: На Севере Дальнем, 1988, № 2.

Иван Федорович. Впервые: На Севере Дальнем, 1988, № 2.

*Никишов* Иван Федорович — начальник «Дальстроя» в 1939—1948 гг.

*Демидов* Георгий Георгиевич (1908—1987) — физик, репрессирован в 1938 г., в золотых забоях Колымы работал 10 лет. Вместе с Шаламовым находился в больнице для заключенных в поселке Дебин.

*Гридасова* Александра Романовна — жена И. Ф. Никишова.

*Козин* Вадим (1903—1994) — певец.

*Варпаховский* Леонид Викторович (1908—1976) — театральный режиссер.

Академик. Впервые: Кодры, 1988, № 4.

Алмазная карта. Впервые: Левый берег. М., Современник, 1989.

Необращенный. Впервые: Левый берег. М., Современник, 1989.

Лучшая похвала. Впервые: На Севере Дальнем, 1988, № 2.

Потомок декабриста. Впервые: На Севере Дальнем, 1988, № 2.

Комбеды. Впервые: Горизонт, 1988, № 7.

Магия. Впервые: Кодры, 1988, № 4.

Лида. Впервые: На Севере Дальнем, 1988, № 2.

Аневризма аорты. Впервые: На Севере Дальнем, 1988, № 2.

Кусок мяса. Впервые: Левый берег. М., Современник, 1989.

Мой процесс. Впервые: На Севере Дальнем, 1988, № 2.

*Федоров* — старший оперуполномоченный НКВД.

*Драбкин* Абель — начальник управления Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей (УСВИТЛ).

*Кривицкий* Ефим Борисович, *Заславский* Илья Петрович фигурируют как свидетели в деле В. Шаламова, которое вел старший оперуполномоченный Федоров в мае 1943 г. По словам свидетелей, Шаламов «высказывал махровые контрреволюционные измышления по адресу руководителей ВКП(б) и Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Советского Союза... высказывал клеветнические измышления о политике Советской власти в области развития русской культуры» (дело № 9646).

Эсперанто. Впервые: Левый берег. М., Современник, 1989.

Спецказ. Впервые: Левый берег. М., Современник, 1989.

Последний бой майора Пугачева. Впервые: Новый мир, 1988, № 6.

Начальник больницы. Впервые: Левый берег. М., Современник, 1989.

Доктор Михаил Львович — начальник Центральной больницы для заключенных в поселке Дебин.

Букинист. Впервые: Левый берег. М., Современник, 1989.

По лендлизу. Впервые: Левый берег. М., Современник, 1989.

Сентенция. Впервые: Новый мир, 1988, № 6.

## АРТИСТ ЛОПАТЫ

Припадок. Впервые: Левый берег. М., Современник, 1989.

Надгробное слово. Впервые: Новый мир, 1988, № 6.

Как это началось. Впервые: Дружба народов, 1988, № 5.

Почерк. Впервые: Знамя, 1989, № 6.

Утка. Впервые: Книжное обозрение, 1988, 25 ноября, № 47.

Бизнесмен. Впервые: Левый берег. М., Современник, 1989.

Калигула. Впервые: Левый берег. М., Современник, 1989.

Артист лопаты. Впервые: Советский воин, 1988, № 8.

РУР. Впервые: Левый берег. М., Современник, 1989.

Богданов. Впервые: Левый берег. М., Современник, 1989.

Инженер Киселев. Впервые: Левый берег. М., Современник, 1989.

Любовь капитана Толли. Впервые: Семья и школа, 1989, № 5.

Крест. Впервые: Аврора, 1987, № 7.

В основе рассказа — события жизни родителей В. Шаламова, Тихона Николаевича (1868—1933) и Надежды Александровны (1870—1934).

Курсы. Впервые: Левый берег. М., Современник, 1989.

Первый чекист. Впервые: Новый мир, 1988, № 6.

Вейсманист. Впервые: Литературная Россия, 1988, 5 авг., № 31.

Уманский Яков Михайлович умер в 1951 г.

В больницу. Впервые: Левый берег. М., Современник, 1989.

Июнь. Впервые: Левый берег. М., Современник, 1989.

Май. Впервые: Левый берег. М., Современник, 1989.

В бане. Впервые: Левый берег. М., Современник, 1989.

Ключ Алмазный. Впервые: Левый берег. М., Современник, 1989.

Зеленый прокурор. Впервые: Левый берег. М., Современник, 1989.

Первый зуб. Впервые: Левый берег. М., Современник, 1989.

Эхо в горах. Впервые: Левый берег. М., Современник, 1989.

*Антонов Александр Степанович* (1888—1922)—руководитель восстания крестьян в Тамбовской и частично Воронежской губерниях.

Берды Онже. Впервые: Родина, 1989, № 2.

Протезы. Впервые: Родина, 1989, № 2.

Погоня за паровозным дымом. Впервые: Левый берег. М., Современник, 1989.

Поезд. Впервые: Новый мир, 1988, № 6.



---

---

## СОДЕРЖАНИЕ

### КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗЫ

По снегу . . . . .	7
На представку . . . . .	8
Ночью . . . . .	13
Плотники . . . . .	16
Одиночный замер . . . . .	21
Посылка . . . . .	23
Дождь . . . . .	27
Кант . . . . .	30
Сухим пайком . . . . .	34
Инжектор . . . . .	47
Апостол Павел . . . . .	49
Ягоды . . . . .	54
Сука Тамара . . . . .	56
Шерри-бренди . . . . .	61
Детские картинки . . . . .	66
Сгущенное молоко . . . . .	69
Хлеб . . . . .	72
Заклинатель змей . . . . .	78
Татарский мулла и чистый воздух . . . . .	84
Первая смерть . . . . .	90
Тетя Поля . . . . .	94
Галстук . . . . .	97
Тайга золотая . . . . .	103
Васька Денисов, похититель свиней . . . . .	107
Серафим . . . . .	109
Выходной день . . . . .	116

Домино . . . . .	119
Геркулес . . . . .	127
Шоковая терапия . . . . .	130
Стланик . . . . .	139
Красный Крест . . . . .	141
Заговор юристов . . . . .	148
Тифозный карантин . . . . .	164

## ЛЕВЫЙ БЕРЕГ

Прокуратор Иудей . . . . .	183
Прокаженные . . . . .	186
В приемном покое . . . . .	190
Геологи . . . . .	194
Медведи . . . . .	198
Ожерелье княгини Гагариной . . . . .	200
Иван Федорович . . . . .	208
Академик . . . . .	218
Алмазная карта . . . . .	226
Необращенный . . . . .	231
Лучшая похвала . . . . .	238
Потомок декабриста . . . . .	251
«Комбеды» . . . . .	262
Магия . . . . .	275
Лида . . . . .	278
Аневризма аорты . . . . .	286
Кусок мяса . . . . .	290
Мой процесс . . . . .	297
Эсперанто . . . . .	311
Спецзаказ . . . . .	317
Последний бой майора Пугачева . . . . .	319
Начальник больницы . . . . .	331
Букинист . . . . .	337
По лендлизу . . . . .	350
Сентенция . . . . .	357

## АРТИСТ ЛОПАТЫ

Припадок . . . . .	367
Надгробное слово . . . . .	369
Как это началось . . . . .	381
Почерк . . . . .	390
Утка . . . . .	395

Бизнесмен . . . . .	397
Калигула . . . . .	400
Артист лопаты . . . . .	401
РУР . . . . .	412
Богданов . . . . .	418
Инженер Киселев . . . . .	422
Любовь капитана Толли . . . . .	431
Крест . . . . .	439
Курсы . . . . .	445
Первый чекист . . . . .	485
Вейсманист . . . . .	494
В больницу . . . . .	501
Июнь . . . . .	506
Май . . . . .	513
В бане . . . . .	519
Ключ Алмазный . . . . .	524
Зеленый прокурор . . . . .	531
Первый зуб . . . . .	571
Эхо в горах . . . . .	577
Берды Онже . . . . .	586
Протезы . . . . .	590
Погоня за паровозным дымом . . . . .	593
Поезд . . . . .	603
Примечания . . . . .	612

**Шаламов В. Т.**

Собрание сочинений. В 4 т. Т. 1. КОЛЫМ-  
СКИЕ РАССКАЗЫ: Колымские рассказы; Левый  
берег; Артист лопаты/Сост., подгот. текста и при-  
меч. И. Сиротинской.— М.: Худож. лит., 1998.—  
620 с.

ISBN 5-280-03161-5 (Т. 1)

ISBN 5-280-03162-3

В первый том Собрания сочинений Варлама Тихоновича  
Шаламова (1907—1982) вошли рассказы из трех сборников:  
«Колымские рассказы», «Левый берег» и «Артист лопаты».

**ББК 84(2Рос = Рус)6**

**ВАРЛАМ ТИХОНОВИЧ  
ШАЛАМОВ**

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
ТОМ I**

**Редакторы Н. Новикова, Е. Иванова**  
**Художественный редактор А. Максимов**  
**Технический редактор Л. Свищкина**  
**Корректор И. Лебедева**

Изд. лиц. № 010153 от 14.02.97.  
Сдано в набор 16.08.96. Подписано в печать 13.01.97. Формат 84 × 108<sup>1/32</sup>. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 32,76 + 1 вкл. = 32,81. Усл. кр.-отт. 32,81. Уч.-изд. л. 37,49 + 1 вкл. = 37,51. Тираж 10 000 экз. «С» — 312. Заказ 656

Ордена Трудового Красного Знамени издательство  
«Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78,  
Ново-Басманная, 19

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат». 143200, Можайск, ул. Мира, 93

ISBN 5-7027-0704-4



9 785702 707044 >

## ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Издательство «Художественная литература» — одно из крупнейших издательств России. Ежегодно оно выпускает более 100 названий книг тиражами от 5 тыс. до 100 тыс. экземпляров. Это — собрания сочинений и избранное классиков отечественной и зарубежной литературы, лучшие произведения современных авторов, книги по литературоведению и критике, детская и оригинальная учебная литература, факсимильные и репринтные переиздания уникальных изданий и книг.

Книги издательства можно приобрести в фирменном магазине «Пегас» по адресу: 107882, г. Москва, ул. Ново-Басманная, 19 (метро «Красные ворота»), тел.: (095) 261-85-41.

*Форма оплаты любая.*

*По вопросам закупки тиражей и оптовых партий  
обращаться в отдел реализации издательства.*

*Тел.: (095) 267-22-25 или (095) 267-63-61.*

В издательстве  
**«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»**

готовятся к изданию книги:

*К 200-летию со дня рождения*  
*А. С. Пушкина*

**А. С. Пушкин.** Сочинения в 4-х томах с иллюстрациями автора

**Сборник «В краю чужом...»** (Пушкин и Русское Зарубежье)



В 1997 году начинается выпуск первых томов восьмитомного **Собрания сочинений М. Е. Салтыкова-Щедрина.**